

Л.Н. АНДРЕЕВ

Л.Н. АНДРЕЕВ

6

НАУКА



ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ

Фотография 1908 г.

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А.М. ГОРЬКОГО

ИНСТИТУТ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ЛИДССКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(Великобритания)

Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание
сочинений и писем

В двадцати трех томах



МОСКВА НАУКА 2013

Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание
сочинений и писем

Том шестой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1908 года



МОСКВА НАУКА 2013

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
А65

- ISBN 978-5-02-036248-2 © Институт мировой литературы
ISBN 978-5-02-038067-7 (т. 6) им. А.М. Горького РАН, Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Лидский университет (Великобритания),
составление, подготовка текстов, статьи,
комментарии, 2013
- © Российская академия наук и издательство
“Наука”, Полное (академическое) собрание
сочинений и писем Л.Н. Андреева
в 23 томах, разработка, оформление, 2007
(год начала выпуска), 2013
- © Редакционно-издательское оформление.
Издательство “Наука”, 2013
- © John Buckland-Wright, наследники, ил. 1947 г.,
2013
- © Jacques Filledier, наследники, ил. 1967 г., 2013

Рассказы и повести

ИВАН ИВАНОВИЧ

I

На Иване Ивановиче было новое пальто – совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет – марок и вообще не практичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то, во всяком случае, ясно чувствовалось, что он лучший из всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городских в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто. 10

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича – как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули: 20

– Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиной и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули. 30

– Как фамилия? – спросил один. В руке у него был револьвер-браунинг.

– Товарищи! – сказал Иван Иванович.

– Ну-ну! – грозно окрикнул кто-то.

– Гражданин, – поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отвращением сказал:

40 – Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

– Авдеев, – солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией, не знали – ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах – ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

50 – А револьвер-то? – сказал кто-то. – Забыли?

– Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

– Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте. Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется – селедку.

Но шашка была свежо отпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, 60 краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

– Вот так!

– Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

– Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

– Можно идти теперь?

70 – Что?! – удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

– Неужели? – нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезали из-под лба и дико таращились.

– Не стоит, – сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

– А по-моему, стоит. Всех их стоит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка ты! пойдём поговорим!

– Не стоит! – поддержали другие. – Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

– Делайте как хотите, – равнодушно сказал он.

– Господи! – сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился. – Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

90

– Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? – И он подмигнул Ивану Ивановичу.

– Как же это? – удивился тот. – В моем положении, и вдруг...

– Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? – вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

– Нет уж, Бог с ним! – отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся. – Я ведь, собственно, ничего не имею... Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

– Мы вас не уговариваем...

– Да нет же, Господи, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете, – а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что, когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Дорогою – нужно было пройти с четверть версты – он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу.

– Вот говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда Господь Бог изгнал из рая Адама и Еву, кого Он у дверей поставил?.. Архангела, полицейского. Вот оно откуда еще началось!

– Товарищ, вы слышите? – смеясь окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

120 – Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь, – он показал браунинг, – так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий, потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

– Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами – и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей, и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

140 – Все поймут, товарищ, поверьте, – повторил молодой, и Петров кротко согласился:

– Может быть, – и шутливо крикнул околоточному: – Ну что, крючок, очухался?

– Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки, – обиженно ответил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил: – Сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну и нагородили!..

II

150 В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог куда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так, и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады – она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятого баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал – и пошел жаловаться 160 к Петрову.

– Не знаешь? – презрительно сказал тот. – Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

– Да у меня и пилы нет.

– Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но наконец нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

– А ты бы шинель-то снял, – посоветовал рабочий. – Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

– Боюсь, украдут, – сказал околоточный.

– Ну вот! – удивился старик. – Кому оно нужно. Тут, брат, 170 граждане, а не воры... Воры-то у вас все остались.

– Рассказывай! – не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком, изнанкой наверх, и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Попригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться: рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

– Смотри-ка, – сказал Иван Иванович, – и бабы тут. Тоже 180 работают.

– А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

– Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

– Ну и гадюка же ты! – удивился рабочий. – Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

– Граждане, а деретесь, – упавшим голосом возразил околоточный.

– Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

190

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти у лавки стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович ослабил и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно 200 глядел на выставленную баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

- Ага! – сказал околоточный.
- Ты что?
- Ничего, так. Рано вы в граждане записались.
- Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех:

- Попробуй-ка перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. “Привязался”, – подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

- Даже и смотреть нельзя, скажите пожалуйста, какие цацы!

– Глаз-то у тебя нехороший, – серьезно заметил старик. – Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде вместо красного знамени. И дешево и сердито!

- Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иваныч совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

- Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О Господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое барригада.

- Упри его концом сюда, так – чтобы остряком оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову.

- Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:

- Убирайся вон.

– Как же это так? – пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то из-под низу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно возвышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее. 250

– А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, – сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. – Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

– Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги. 260

– Я не виноват! Она... Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал – плюнул.

– Гуманность! – сказал он презрительно.

– Господин Петров! Господин Петров! – звал его околоточный. – Я ей сказал...

– Молчать!

270

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

– Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

– Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят – всех доставляйте сюда. Хорошо!

– Что хорошо? – спросил Петров.

– Так. Все хорошо. Погода хорошая.

280

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

– А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, огляды-

ваясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что и впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

– Послушайте, вы, – сказал он молодому, – как вы шашку нацепили? Разве так носят?

– А что? – спросил тот.

– А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

– Сойдет и так, – засмеялся молодой. – Сие не есть важно.

“Сие, – подумал Иван Иванович. – Вот еще дурак: сие”, – и с отвращением сплюнул.

– Куда вы меня ведете-то? – грубо спросил он. Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

– Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

– Надо свернуть, – сказал один.

– Ничего, пройдем, – ответил молодой.

– Лучше свернуть, – поддержал другой и вынул револьвер. –

310 А у вас есть револьвер, товарищ?

– Нет, – беззаботно ответил Василий.

Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. “Так, так”, – подумал он.

Свернули в коротенький безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо выкрикивал что-то непонятное и все порывался

ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова: 330

– Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: “этот самый!” – вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый, пьяный офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника. Потом сделал строгое лицо, тяжело слез с лошади и пошел к Василию. Но на седле он держался крепко, а по земле от хмеля ходить не мог: ноги были мягки, как мокрая тряпка, и подвертывались. Махнув рукой, он круто повернулся на одной ноге, покачнулся и снова, тяжело сопя, полез на лошадь. Солдаты его подсадили. 340

– Так как же? – сказал он задыхаясь. – Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

– Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. 350 Сразу все кончалось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

– Так как же? – сказал офицер. – Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

– Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали. 360

– К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

– Не хочу.

– Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

– Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно добродушные глаза и сказал: 370

– Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну, валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

– Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

380 – А шашку-то вы взяли?

– Вот она! – весело ответил Иван Иванович.

– Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908

ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ

Посвящается А.М.А.

Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет, – так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, 10 живут городские люди. Потому что все эти двери – обман. Когда откроешь одну, за ней стоит другая; и когда откроешь эту, за ней видна еще и еще; и сколько бы ни шел по городу, везде ты увидишь двери и обманутых людей, которые входят и выходят.

И я боюсь города, его каменных стен и людей его, у которых маленькие, сжатые, кубические души, имеющие так много дверей и ни одного свободного выхода. Но бывает иногда – и причину этого явления знает только таинственная душа моя, – но бывает иногда: вдруг очарует меня далекий город. Так далек я от него, что даже зарева ночных огней его не вижу; так далек я от него, 20 что даже не слышу его грохота, – и вдруг он кажется мне близким, вдруг он протягивает ко мне свои каменные пальчатые руки и зовет с величавым укором.

– Глупый человек, пересыпающий между пальцами морской песок и следящий бесконечное движение его! Нет голоса у морского ветра и слуха нет у волн его, – зачем же стучишь ты в дверь, которая замкнута навеки? Посмотри на меня. Разве я не такое же море, как и это, и мало простора в берегах моих? И дома мои – волны, и грохот мой – грохот бури; и улицы мои – течения, и недра мои – пучина. Погрузись же в меня! Одинокий, стань одною 30 из моих маленьких волн; обособленный, растворишься в их однородности; великий, умалишься их малостью; единый, умножешься их множеством. Иди же ко мне!

Так говорит лживый город и протягивает каменные пальчатые руки. И тогда трепещет моя обольщенная душа порываясь;

и тогда прижимаюсь я к ней, к моей возлюбленной, к той, которую я люблю больше всего на свете, и шепчу ей с ужасом:

– Ты слышишь? Город зовет меня.

Бледная, она говорит:

40 – Посмотри: вот над морем идут облака. Это хоронят умершего героя. Ты видишь титанов в багряных плащах, шагающих так важно? Их волосы разметались, лица их суровы и грозны, и нет на них печали. Они хоронят умершего героя.

– Я не хочу смотреть на небо!

Бледная, она говорит:

– Послушай: вот поют волны и ударяет в литавры прибой.

– Я не слышу! Я не вижу: меня зовет город. Мне чужды облака, эти бесформенные, безобразные груды сгустившихся паров; холодом и тиною дышит на меня плеск волны, безразличием вечности пугает меня огненный закат. Я хочу милых, подвижных людей, которые говорят так понятно; я хочу каменных домов, я хочу электричества, которое я сам зажигаю, сам гашу! Ты помнишь, как ночью под окнами поют гудящие трамваи – как по асфальту щелкают копыта – как пахнет мокрой пылью – как тесно движется горячая толпа – как над громадою домов горят на черном небе огненные слова, золотые, зеленые, красные...

– “Шоколад и какао”... Ты про эти слова говоришь?

60 – Да, “шоколад и какао”. А что говорит мне солнце? Вечность. А что говорят луна и звезды? Вечность и тайна. Я не хочу вечности и тайны. Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то, что я понимаю, что сладко и не пугает меня.

– Хорошо, – говорит она и улыбается нежно. – Иди. Но там тебе будет плохо, и я пойду с тобою.

Возлюбленная моя! Ограждающая от зла и смерти! Творящая добро и жизнь! Возлюбленная моя! Люди видят тебя как женщину, а ты – великая и светлая тайна, священный престол, у которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы: твоя могила темна и сыра, боюсь, что там будет плохо тебе, – пошла бы за мною. Если бы умирала ты и я бы сказал: не умирай, ты не знаешь, как мне будет плохо без тебя, – ты преодолела бы смерть и жить осталась бы ты. Если бы я сказал.

Кто ты, светлая тайна?

Я сучусь, я в радостной, хлопотливой тревоге. Это уже не лес и не пустынное море, это вагон, наполненный людьми. Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город; у всех вещи: чемоданы, картонки и саки, и у меня чемодан, картонка, сак. Все суетятся,

хватают вещи, толкаются, зовут носильщика, и я тоже. И все мы, не я один, как в лесу, – и все мы дружно идем к выходу и садимся на извозчиков. Номер моего извозчика: 14.800.

80

Ее я все время немного забываю, но в карете, где нас почему-то лишь двое, я благодарно смотрю в ее усталое лицо и целую руку:

– Правда: как весело, как шумно! Как много народу! Смотри: идут солдаты.

– У тебя усталые глаза.

– Это ничего. Так ты будешь ждать меня?

– Да, – когда ты придешь.

Упрямая, она хочет поселиться в отеле, который в самом конце города, почти там, где начинается большой городской лес. И со мной в город идти не хочет, говорит, что там, на улицах и в ресторанах, она мне не нужна. Это правда, я все время немного забываю ее, и как будто она несколько отдалилась от меня. Как будто это множество людей, мужчин и женщин, частицу которых составляем мы, разъединяет нас, ее делает похожей на всех женщин в розовых шляпках, меня – на всех мужчин в черных шляпах. И минутами даже странно: почему я говорю ей “ты”? Почему она говорит мне “ты”? Но приятно.

В отеле нас и еще каких-то двух дам и господина поднимают на лифте – всех вместе. В лесу или на берегу моря людей всегда видишь издали, а здесь мы, незнакомые, так близки, что лица кажутся огромными, особенно носы. Странно подумать, что и у меня должно быть такое же огромное, носатое лицо, и мне неловко, все кажется, что где-то что-то у меня не в порядке. Потом нам отводят комнату, номер 212-й. Направо и налево по коридору такие же двери и комнаты, и во всех них живут. Под нами, под полом, еще три этажа, и там всё такие же комнаты и двери, и везде живут. Как много людей в городе! А там, внизу, щелкают по асфальту подковы, поют гудящие трамваи, что-то движется, переливается бесконечно, и, охваченный восторгом, я распахиваю окно и кричу, поверх крыш и верхушек деревьев, туда, в сизую дымчатую даль, где колокольни и трубы и какие-то блестящие шпиди:

– Город! Город! Город!

Потом быстро оплескиваю водою лицо, торопливо ем и пью что-то, что подадут всем, наскоро целую ее, – и туда, вниз, на улицу, где бурлит и грохочет это море. Поскорее стать одною из этих маленьких волн, умалиться их малостью, умножиться их множеством, растворить свое одинокое, сумасшедшее “я” в однороднос-

120 ти всех этих таких же одиноких, сумасшедших “я”, сделавшихся “мы”.

– Город! Город!

То был смутный и странный день, и мне трудно его вспомнить и рассказать, как сон. Я хорошо помню форму всех облаков, какие я видел когда-либо на небе; я твердо помню бледное лицо морской бури, несущейся с визгом на скалы; и все деревья в лесу, и все цветы в поле, – о них я мог бы рассказать, потому что я их помню. Но как запомнить то, что так похоже одно на другое, что
130 движется так странно – что известно и неизвестно, что есть я и не я? Одно я знаю: оно охватило меня, и, как сон, овладело мною оно; и душу мою оно истерзало; и еще более одинокой и дикой стала она; и там, где глаза мои видели “шоколад и какао”, там нашла она новую, еще более горькую тайну. Ибо тайной этой стал я сам: единый и множественный, растворенный и нерастворимый, человек и человечество.

...Возлюбленная моя!

Помню, что сперва, по выходе из отеля, я отдался толпе.
140 И она подхватила меня и понесла вдоль каменных домов, мимо блестящих, безумно богатых, пестро изукрашенных витрин; и двери, двери, двери, и зеркальные стекла, отражающие белые рубашки, перстни и лица, и милая, горячая, увлекательная толпа. Я двигался как и все; и как бы я ни шел, быстро или медленно, и что бы я ни делал: останавливался ли у витрин и разглядывал выставленные вещи, ожидал ли на перекрестке удобной минуты, чтобы под мордами лошадей и перед толстыми колесами дрожащих автомобилей перескочить на другую сторону; и закуривал ли я сигару; и входил ли я в магазин; и покупал ли я газету, и
150 вставлял ли я в петлицу купленный цветок, – я роковым образом отражал движения и поступки других, толпы; я удваивал, утраивал их, повторял бесконечно.

И целый час, быть может больше, я наслаждался как никогда; что-то вроде фамильной гордости испытывал я при мысли, что я похож на всех людей, как и они на меня, что я тоже принадлежу к этому великому и славному семейству. Что такое носовой платок? Так, пустяки, маленькая, печальная необходимость. Но когда он у одного, у двух, у всех, – он становится символом, маленьким белым знаменем братства. Мы все употребляем носовой платок; эта
160 старая, избитая истина, ставшая незамечаемым шаблоном, вдруг

наполнила меня чувством нелепого восторга и трогательного расположения к людям. Нисколько не сговариваясь, приехавши с разных концов света, говоря на разных языках, – вдруг оба мы, и я и он, вынимаем из кармана платки, разворачиваем, одинаковым движением подносим к лицу и... раз! готово.

– Почему, когда проходит поезд, все, даже незнакомые люди, размахивают платками, именно носовыми платками? – фантазировал я. И с наслаждением отыскивал все новые и новые сходства, все новые и новые фамильные черты... И то, что уже вскоре должно было ужаснуть меня, – эта роковая, трагическая похоть того, что должно быть различно, эта убийственная необходимость для каждого влезать в одну и ту же форму: иметь нос, желудок, чувствовать и мыслить по одним и тем же учебникам логики и психологии, – радовало меня как ребенка в эти первые часы общения моего с городской толпой. Очень возможно, что в это время я напевал про себя или насвистывал что-то веселенькое, как и некоторые другие счастливцы, двигавшиеся рядом со мною. 170

Неприятное началось постепенно, и началось оно с того, что эти общность и сходство, которым я радовался, стали проникать несколько глубже, чем я бы хотел. Выразилось это первоначально в очень неопределенном и смутном чувстве, что я не совсем тот, каким был и каким желал бы остаться; а вскоре целый ряд маленьких поступков, которые я начал совершать давно уже, но заметил только теперь, привели меня к открытию, что воля моя, равно как и желания мои, потеряли свою самостоятельность и в значительной степени подчинены воле и желаниям других людей. И я уже встретил одного, двух, трех, одетых как я: такие же шляпы, такая же материя на платье и ботинки; и у всех у нас роза в петлице. И уже увидел я одного, двух, трех, похожих на меня лицом, – и вот уже не принадлежит мне мое платье и лицо мое не принадлежит мне. Так же с волею и желаниями моими: прежде была моя воля и мои желания, а теперь они наши, общие, как и роза в петлице. 180 190

Разве я любил когда-нибудь стоять и рассматривать галстуки, или дешевые безделушки из терракоты и скверного фарфора, или безобразно раскрашенные фотографические портреты усатых господ? Почему же теперь я стою и рассматриваю жадно? Разглядываю ярлыки и соображаю что-то, и вдруг, охваченный нестерпимым, бешеным желанием покупать всю эту дрянь, всю эту мерзость, о которой стыдно будет вспомнить там, на берегу моря, устремляюсь в предательскую дверь, толкаю кого-то и извиняюсь и покупаю, покупаю. И возле себя я вижу таких же растерянных господ, с натянутой улыбкой выбирающих вещи, за которые им 200

попадет впоследствии от жены и от собственной совести. Зачем я приобрел эту зелененькую ящерицу из жести, которую некуда девать? Только потому, что дешево. Но разве я любил когда-нибудь дешевые вещи? И зачем я купил этот отвратительно пестрый, невыносимый галстук, от которого лицо тотчас же принимает все типичные черты дегенерата? Ведь я же его никогда не надену – даю в этом клятву.

210 Помню, я еще смеялся вначале; но уже вскоре веселость эта, несколько искусственная, утонула в новом, особенном чувстве, постепенно овладевавшем мною. Это было чувство торопливости, боязни опоздать куда-то, чего-то не успеть. И стоял ли я беззаботно у витрины или так же по виду беззаботно двигался с толпою – внутри меня непрестанно трепетала какая-то маленькая секундная стрелочка и погоняла меня: скорее, скорее! Скорее иди, скорее смотри, скорее кури свою сигару! У моря целыми часами я мог лежать не шевелясь и пересыпать песок между пальцев так медленно, как будто целая вечность передо мною, а тут я, сво-

220 бодный, незанятый, фланер, – изнывал под незаметными ударами какого-то острого бича: скорее, скорее! И вот тогда я стал вместе с ними, со всеми этими торопящимися людьми, прыгать на гудящие трамваи и ехать куда-то. И сперва это успокаивало меня: я стоял на площадке, курил не торопясь и добродушно смотрел на улицу, которая вся, целиком, лавиной экипажей, автомобилей и велосипедов движется куда-то вместе со мною.

Но было ли в самом движении что-то такое, что вызывало желание двигаться еще быстрее, увлекала ли меня толпа, эти люди, которые так торопливо входили в вагон и выходили и прыгали, я

230 стал покорно перепрыгивать с одного трамвая на другой, с трамвая на железную дорогу, с железной дороги на подземную, электрическую. Всей массой, торопливо, громко стуча каблуками по асфальту, мы подходили к кассе, бросали деньги, потом через одну-две ступеньки бежали куда-то, вверх или вниз, под стеклянную, закопченную крышу или в голубой свет больших электрических фонарей, освещающих подземную станцию. Там мы рассыпались по перрону, а вагоны уже подбегали и забирали нас, как песок забирает воду, или выбрасывали нас из других, и громко хлопали двери, и вот уже несемся мы в глубокой тьме или где-то наверху,

240 между черных, глухих стен, закопченных дымом, испещренных огромными вывесками. Как много домов, как много стен, глухих, черных, страшных! В них нет ни дверей, ни окон, – и вдруг кажется: это не дома, это – огромные каменные гробницы, и весь живой город замуравлен в них.

И вот тут стало мне жутко и беспокойно; казалось, я что-то потерял и это потерянное есть мое я. Уже случилось так у одной кассы, что я сказал кассирше, бросая деньги:

– И вот этому дайте билет.

При этом я твердо ткнул себя пальцем в грудь, чтобы она не ошиблась. Как будто недостаточно и непонятно было бы, если бы я сказал: дайте билет мне. Потом, в одном из вагонов, кажется, железной дороги, я наткнулся на одну очень неприятную и даже несколько испугавшую меня встречу. Когда я уже сидел, против меня занял место какой-то господин, самый обыкновенный господин в котелке, с небольшими усиками. На нем было черное пальто с бархатным воротником, коричневые перчатки, и в руках он держал тросточку с серебряной ручкой – таких тросточек я много видел в магазинах и как раз одну купил для себя. Подробнее описать я его не могу, так как он был совершенно обыкновенен. На одну, на две минуты я отвернулся, чтобы посмотреть в окно; мы перелетали какую-то бесконечную, широкую, движущуюся улицу, и когда взглянул вновь, то с мгновенным испугом увидел: рядом с ним сидел другой, точь-в-точь такой же господин. Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тожество, это было безумное превращение одного в двоих, чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призраке. И они сидели, до ужаса одинаковые, думали о чем-то, конечно, до ужаса одинаковом, и руки их, у того и у другого, лежали на палках с серебряными ручками. Боже мой, но ведь и у меня есть такая палка! И что было самое ужасное и непонятное: ни они сами, ни кто-либо другой не замечали этого безумного тожества, и все были спокойны.

– Позвольте мне спичку, я забыл свои, – говорю я несколько дрожащим голосом.

– Я не курю.

Он говорит, он не призрак! И вдруг другой, улыбнувшись приветливо, протягивает мне спички – он курит. Он не совсем похож на этого – он курит! Милый человек, если бы ты знал, что все твое человеческое держится только на том, что ты куришь, а он нет, ты не выпускал бы сигары изо рта, ты спал бы с нею, ты приказал бы мертвому тебе раздвинуть рот и всунуть туда огромнейшую гаванну с золотым ярлыком! И пусть при воскресении мертвых ты явишься с нею к престолу Судии, Он простит тебе эту вольность, мой милый брат!

И я успокоился как будто. Но то жуткое и тревожное, что вошло в меня, уже не оставляло меня и в дальнейшие часы; и что бы я ни делал, какие бы движения и поступки толпы я ни отражал,

уже не удовлетворение и радость, а легкий щемящий страх ощущал я. От этого, вероятно, так и похоже на дурной сон все то, что я видел в огромном, прекрасном городе.

290 О ней я не думал. И помню, я начал искать одиночества. И было очень жарко.

Было очень жарко. Уж давно я начал ощущать эту тягостную, безысходную жару раскаленного города, но так как и всем было, очевидно, жарко, то я поступал как все: вытирал лицо платком и старался сесть ближе к открытому окну, искал тени – и не особенно беспокоился. Но когда от шумного центра я стал углубляться в пустынные площади, в которых каждая пядь земли залита размякшим горячим асфальтом, я ясно почувствовал, какая это
300 ужасная, особенная, ни на что не похожая жара.

Я не хочу бранить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в котором на озерах плавают даже в лодках; и эти газоны, и эти бульвары, и цветники; я видел множество людей, которые только и делают, что льют воду на его асфальтовые улицы и на всю эту зелень, иначе она тотчас же завянет. Но что же поделаешь, если вода сохнет мгновенно и сами фонтаны кажутся выбрасывающими не живую, холодную влагу, а сухую, серебристую, нарезанную на полоски бумажку; если весь
310 этот асфальт, и камень, и железные столбы, и рельсы, и тысячи железных вагонов, крыш, мостов накаляются сплошь и наполняют воздух горячим, безысходным удушьем. Я слышал ведь, что в этом городе умирают от жары – не от солнца, как под тропиками, а от жары, где-нибудь в комнатах, в тени. Вдруг станет душно – и вдруг нечем дышать – и человек умер, сердце его остановилось. И солнце неповинно в этих убийствах. Взгляните на него, когда восходит оно из-за моря: разве бывает у убийцы такой лучезарный, такой величавый и благостный лик!

Все пустыннее, все теснее, все уж становились улицы, по
320 которым я двигался бесцельно, тускло бороздя неподвижный, удушающий жар. Это уже не были те широкие, прямые улицы-аллеи, которые дают иллюзию воздуха и простора, это были изогнутые, узкие коридоры с отвесными стенами, подпирающими небо, каменные трещины, полные заколдованных неотпирающихся дверей, обманчивые пути, заводящие в ловушку. Уже час я шел, а им не было конца, как не видел я и их начала; на запутанный клубок они были похожи, на огромный, запутанный каменный клубок, которым играла гигантская кошка. И то, чего я искал,

одиночества, свободы от толпы, вдруг начало меня тревожить. В лесу, или на берегу моря, или в настоящей пустыне – я долго 330 могу оставаться один, и там одиночество не пугает меня, потому что оно явно, откровенно, правдиво. Там моей мысли не касается ни одна спрятанная стенами человеческая мысль, там моя воля не пересекается незримыми волнами других человеческих воль, там я один. В пустынности же этих улиц, где так много окон и дверей, я почувствовал ложь, и, как всякая ложь, она немедленно превратилась в таинственную угрозу.

Почему на улице нет никого, когда кругом людей так много?

Я их чувствую. Я громко стучу каблуками по асфальту, и как 340 одинок, как моляще-одинок этот непонятный, дробный, жалкий звук! Я свободно перехожу с одной стороны на другую, останавливаюсь и стою минутами, и напеваю я громко, чтобы показать, что я один, но я не один. Тело мое одиноко, это правда, но к мысли моей легкими прикосновениями припадают чьи-то чужие мысли, и в сердце мое входят чужие чувства, и множество скрытых людей наполняет меня своей таинственной жизнью.

Нечто подобное я испытал однажды в королевской библиотеке, куда, с любезного разрешения ее директора, получил доступ в праздничный день. Был вечер, и в огромном помещении, с миллионом книг, молчаливо теснившихся на полках, я находил 350 ся один и работал. Помню необычайную остроту моей мысли, в обыкновенное время довольно вялой и инертной. Помню затем ее постепенно нараставшую возбужденность, отрывочность и бессвязность образов, произвольность чувств, страшную парадоксальность и неожиданность идей, все то, что заставило меня под конец признать себя нездоровым и бросить начатую работу. Помню, наконец, мой испуг, когда я вдруг понял, что это книги действуют на меня – не те, которые я выбрал сам и читаю, а те, молчаливые, запертые в шкапах, сжатые на полках. Это они, молчаливые книги, соединили какими-то таинственными путями мой 360 мозг с тысячью других, уже умерших мозгов и предательски, молчаливо вливают в меня свою чуждую жизнь. Помню и сторожа, который открывал мне дверь, хмурого человека с необыкновенно старообразным лицом и такими напряженными движениями головы, будто все время он слышит что-то непонятное.

Но то были книги: умершие голоса, угасшие чувства, высохшие слезы, – а здесь два миллиона живых людей, два миллиона раз повторяющих одно и то же безумно сходственное “я”. И то, что они были везде, а я их не видел, делало их еще более ощутимыми и власти их надо мною придавало характер фатальности. 370

Я уверен, я убежден непоколебимо, что здесь, где-то поблизости, за одним из этих окон, плачет женщина или ребенок, – иначе откуда бы эти загадочные слезы беспомощности и жалобы, которые уже шевелятся внутри меня?

И мне становится невыносимо. И я хочу уйти скорее из этой пустыни, населенной плачущими призраками, но я не знаю, куда идти. Уже давно я здесь, и очень возможно, что я кружусь по одним и тем же улицам, и тогда я не могу уйти отсюда, тогда я буду кружиться вечно. Нелепая мысль, но она мучит меня до того, что
380 хочется бежать. Можно спросить о дороге, вот идет человек, здесь иногда показываются эти одинокие торопливые фигуры... Нет, не могу, – я боюсь его. Почему? Я не знаю. Но я боюсь его улыбки, поклона, его вежливого предупредительного ответа. Конечно, он ответит предупредительно, но лучше я пройду мимо, притворюсь, что хорошо знаю, куда иду, и пройду мимо такой же торопливой, озабоченной походкой. Так почему-то будет лучше.

Боже мой! Как я устал! Боже мой, как я устал! И ни одного извозчика, а я не могу идти, я задыхаюсь от этой невыносимой, дьявольской жары, у меня дрожат и подгибаются ноги. Боже мой,
390 что же я буду делать? И вдруг – и это было одним из самых диких, тяжелых, непонятных чувств, какие я испытывал в жизни, – я чувствую свои каблуки. Высокие, твердые кожаные каблуки, на которых я ходил всегда, не замечая их. Но теперь я чувствую, я слышу, как твердо прикасаются они к твердому горячему камню, и мгновенный дикий ужас пронизывает меня. Что мне показалось в эту минуту среди этих каменных молчаливых домов? Я не знаю – мне трудно вспомнить то, что похоже на тяжелый сон.

Кажется, вот что. Кажется, – я боюсь ошибиться – мне по-
чудилось – будто я начал уже каменеть, превращаться в камень,
400 одеваться в какую-то твердую, непроницаемую оболочку, подобную камню. Будто я, уже одетый в камень, безнадежно отделен от воздуха и земли и должен задохнуться в своей каменной одежде. И будто уже безразлично теперь, буду ли я идти или упаду, я безнадежно окован камнем, я каменный и мертвый. И это, что еще живет во мне, тоже сейчас окаменеет, и тогда не будет ничего.

Но ужас продолжался недолго, может быть, одну секунду или еще меньше. И уже в следующую секунду – и это показывает, насколько уже я был утомлен, – он исчез совершенно и заменился чувством отчаянной, плаксивой беспомощности. Помню, я сел на
410 какие-то каменные ступеньки перед закрытой зеркальной дверью. Долго вздыхал, покачивая головой, потом начал плакать, и даже, кажется, громко, потому что меня услышали. Отворилась дверь сзади меня, и кто-то спросил:

– Что с вами? Отчего вы плачете? Вы нездоровы? Почему вы уселись на ступеньках?

Я встал и извинился. У портье – это оказался портье – был очень приветливый вид, и говорил он с участием, за которым чувствовалась готовность подать мне первую помощь или отвезти в ближайшую лечебницу. Что мог я сказать этому городскому человеку? Что понял бы он?

420

– Вам нужен врач?

Что мог сказать я этому городскому человеку? И я пошел поскорее, чувствуя на своей спине его недоверчивый взгляд, и мне уже не было ни страшно, ни безнадежно, а только стыдно. И тоскливо немного.

...Возлюбленная моя!

Почему я не поехал прямо к ней – я ведь так хотел? Не знаю. Но, как только я сел удобно в мягкое, широкое ландо, и возле меня поплыли такие же ландо, автомобили, трамваи, и на тротуарах запестрела живая, горячая, приветливая толпа, я вдруг повеселел, внутри опять забегала, погоняя, маленькая секундная стрелка, и я понял, что нужно ехать в ресторан обедать, что я очень хочу есть. Не скажу, чтобы я действительно хотел есть, но был тот час, когда все обедают, и нужно было торопиться, чтобы не опоздать. Потом пришлось бы брать блюда по карте, что стоит дороже и вообще считается почему-то неудобным.

430

Не буду утомлять вас описанием ресторана. Вы, конечно, знаете эти роскошные рестораны-дворцы, в которых едят одновременно две-три тысячи человек, где одной прислуги, поваров – двести-триста человек, не помню сколько. Этими ресторанами, убранными в мрамор, живопись и драгоценное дерево, гордится город, и пообедать там считается таким же долгом для приезжего, как и осмотр памятников. Вероятно, и мне кто-нибудь говорил про этот ресторан, потому что я прямо назвал кучеру его имя.

440

Было так много народу, что я долго не мог найти свободного столика и должен был ждать, пока не встанет какая-то отобедавшая пара. И голова немного кружилась: я принужден был пройти два этажа среди тесно сдвинутых столиков, говора, лязга ножей, женских больших шляп; приходилось ежеминутно извиняться. Но, когда я сел наконец и окинул взором большую залу, внизу густо усеянную людьми, мне очень понравилось. И есть я стал с удовольствием, как и мой незнакомый, неразговорчивый сосед, занявший свободное место против меня. Но от непрерывного ли

450

жужжанья, в какое превращался весь этот лязг и отдаленный говор, оттого ли, что я действительно устал, мне опять сделалось не совсем хорошо; какая-то странная, назойливая, досадная мысль закопошилась в мозгу. Как будто я нашел, отгадал что-то особенное, но никак не могу схватить его.

460 И вдруг я понял: я ведь не видал никогда, как сразу, одновременно, едят тысячи человек. Что такое еда? Это так просто, так обыкновенно, этого никогда не замечаешь: берешь в рот, что лежит на тарелке, жуешь, глотаешь. И так же делают другие, кто за столом. Но послушайте, что это за ужасная, за кошмарная вещь, когда сразу, одновременно, под одним потолком, тесно прижавшись друг к другу, едят тысячи человек!

Режут, раскрывают рот, жуют, глотают. Режут, открывают рот, жуют, глотают. Я смотрю на соседа: он только что раскрыл рот. Запихивает туда что-то. Я гляжу направо, налево – везде раскрытые рты, перемалывающие челюсти, особенные, странные, незнакомые глаза, какие бывают только при еде. У некоторых, как у моего соседа, странно движутся уши, и в отчетливой напряженной работе челюстей ясно видится безглазый, костлявый череп с белыми крепкими зубами. Боже мой, но ведь и я ем, и у меня так же движутся челюсти! И вот, побледневший, я чувствую свой жующий череп, потом весь свой скелет, как он сидит на стуле, во всей его строгой, неумолимой серьезности; и направо, и налево, и впереди себя я вижу тысячи таких же неумолимо-серьезных скелетов; сверху у них что-то улыбается, говорит, чокается, кивает шляпами, а внутри все та же строгая серьезность, изумительная простота, спокойствие. Те, снаружи, как будто не догадываются, что сытости нет, что все это напрасно, жадничают, потом довольно улыбаются, закуривают сигары; а эти, внутри, безнадежно спокойны, терпеливы, покорны. Вот один поднялся и идет к выходу; я вижу, как пришли в движение его кости, обтянутые серыми брюками, и мне хочется встать и крикнуть ему:

– Послушайте, постойте! Посмотрите, кого вы несете внутри себя!

490 Но он уже ушел. И я поворачиваю к слуге мой спокойный, послушный череп и говорю ему беспокойно:

– А вина! Почему вы не подали мне вина?

– Вы не заказывали вина.

– Разве? Все равно. Принесите. Но, пожалуйста, поскорее.

Слава богу, я выпил вина, и кошмар проходит. Я снова вижу людей, и только минутами, при повороте головы, я чувствую

внутри себя что-то неладное, но и это скоро исчезает. Но какое отвратительное впечатление, когда в таком приятном месте внезапно почувствуешь свой скелет, как он сидит и ворочает голым черепом! И почему он так серьезен – так возмутительно генеральски-солиден, разве он – не я? Но довольно о нем. Слава богу, это прошло... 500

И от вина, вероятно, мысли мои принимают более естественное, даже несколько смешливое направление. Вдруг я ясно вижу, что это не люди, которые обедают, что это зверинец, тысячи зверей, которых привели сюда кормить; посадили их, привязали им на шею салфетки и подсовывают им разную еду. И мне доставляет удовольствие разглядывать лица и улавливать сходство с тем или другим животным. Курю сигару, улыбаюсь и думаю: а на кого похож я сам? 510

Но они продолжают жевать и глотать, жевать и глотать, и это снова начинает раздражать меня. Вдобавок мне подали кислое, плохое вино, от которого становится скучно. Я расплачиваюсь, вновь осторожно пробираюсь между бесчисленными столиками, где жуют и глотают, и наконец выбираюсь на улицу.

Тут хорошо. Светит солнце, и хотя по-прежнему жарко, но все-таки есть чем дышать. И они к тому же гораздо лучше, когда ходят, чем когда едят. Они даже нравятся мне. Беру извозчика и еду в Зоологический сад. Раньше я и не думал ехать в сад, хотя слышал о нем много хорошего, но теперь почему-то мне кажется это естественным и даже необходимым. Вероятно, какая-нибудь ассоциация идей, одна из тех, которым так легко поддаешься в городе, когда становишься одною из его маленьких волн. А может быть, я вспомнил лес, и мне захотелось видеть деревья и зелень, кто знает! Что может ответить на это человек, у которого его я уже начало расплываться в многоликую, то смеющуюся, то плачущую гримасу? 520

На сад я как-то мало обратил внимания в первые минуты. Приятно мелькнула зелень перед глазами, вдруг отошел, стал глухим и мягким непрерывный городской шум; утомленные, окаменевшие ноги отрадно почувствовали мягкую податливость гравия, усыпающего дорожки, и это было пока все, что дал мне сад. Вся же острота внимания моего была немедленно обращена на зверинец, на эти павильоны, клетки, проволочные и железные загородки, каменные бассейны и гроты, где смутно и заманчиво мелькнули на отдалении многочисленные движущиеся фигуры 530

зверей с их характерными, звериными и птичьими, столь отличными от человека очертаниями и окраской. Очень возможно – это
540 случилось потому, что и все другие люди, одновременно со мной вошедшие в сад, не обнаружили никакого интереса к деревьям и зелени, а все сразу, жадно любопытствуя, устремились к зверям. И первое время, подобно им, я был очень поверхностен в осмотре, перебегал от одной клетки к другой, из павильона в павильон, почти сразу увидел огромный, мясистый, отвратительный рот гиппопотама, высовывающийся из грязной воды, и каких-то маленьких, отчаянно горлающих птичек; посмеялся перед обезьянами, успел бросить хлеба медведям – и в полчаса, должно быть, обежал весь огромный, крайне богатый зверинец.

550 Потом оторвался от толпы и сел, окончательно сраженный жаром, чувствуя с отвращением, что мой крахмальный высокий воротничок раскис, обрюзг, съежился, перекопился, как старчески неопрятная физиономия после сильной попойки. У нас в лесу к вечеру становится всегда прохладнее, а здесь железо и камень, набирая тепло, к вечеру душат город, как разбойники. Сидеть было легче; и притом сел я очень удобно, возле самой клетки с тиграми и львами. Но уже вскоре я раскаялся, что выбрал такое место.

560 Дело в том, что, приглядываясь к метавшимся в клетке зверям, я вдруг заметил, что им жарко, нестерпимо жарко, жарче, кажется, чем даже мне. И помню, я слегка рассердился, так это показалось мне дико.

– Симуляция, мой друг, симуляция! – мысленно сказал я бенгальскому тигру, тщетно стараясь встретить его мерцающий, загадочный взгляд: – ты не белый медведь с северного полюса, ты из Индии, ты привык к такому солнцу, перед которым наше не жарче переносной печки. Зачем же ты притворяешься?

570 Но потом пригляделся еще и еще; вспомнил все эти понурые тела, устало и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся на досках, вспомнил теплую, нагретую, как в ванне, грязную воду, из которой просяще высовывалась толстая, глупая рожа гиппопотама с крохотными глазками; – и понял со страхом, что не одному тигру, а всем им нестерпимо жарко; что весь этот звериный, птичий, водяной мир вокруг меня задыхается от неестественной, дикой, нелепой жары. Задыхается молча, не жалуясь, никем не понимаемый, одинокий в звериной пестроте своей.

И опять я искал глаз тигра, но теперь уже с другой целью: мне хотелось выразить ему сочувствие. Не пожать ему лапу, на это я не решился бы, но просто с лаской и грустью взглянуть ему в

глаза. Но я был чужд ему со всем моим идиотским сочувствием; я 580
не существовал для него, и все так же упорно, все тем же загадоч-
но-мерцающим взглядом он смотрел перед собой. И только на по-
воротах, слегка подняв голову, он окидывал глазами сад, и в этом
движении мною почувствовалось что-то разумное, понятное.

– Это он радуется зелени! – подумал я. Правда, как было бы
ужасно, если бы в эту жару их оставили совсем без зелени!

И тут, следуя за его взорами, я внимательно пригляделся к
саду. И мне стало совестно. Мне, человеку, стало совестно пе-
ред зверем. Не за жестокость, нет, что такое жестокость в этом
мире! – а за мою, за нашу человеческую глупость. Сад, Боже мой! 590
Огромный, прекрасный сад... И этому я мог радоваться! И это
я мог считать за кусочек природы! И это я мог рекомендовать в
утешение зверю, умному, неиспорченному, честному зверю!

И я вспомнил с тоскою все эти сады, в которых нет местечка,
куда не упал бы тысячекратно взгляд человеческий; все эти улич-
ные аллеи, стволы, окруженные жалкою полоскою земли с валяю-
щимися окурками; корни, придавленные асфальтом. Я смотрю на
деревья против меня и вижу – им жарко, нестерпимо жарко, как и
зверям, – несчастные деревья! И только цветы радуются и высоко 600
держат голову, политые. Да ведь это рабы – эти жалкие городские
цветы, которые могут расти и в тюрьме, которые можно купить
стаканом воды из водопровода. Рабы!

– Но кислород и озон. Кислород! Понимаешь, тигр, все это
нужно для кислорода. Это вовсе не глупость, кислород!

Но он не понимает. Он не смотрит на меня; и, тяжело подтяв-
шись, иду дальше, куда-то дальше. И таким безнадежно-далеким,
безумно-недостижимым кажется мне мое пустынное море. Но по-
чему я не думаю о ней? Почему, когда я вспомню ее чистые гла-
за, обращенные ко мне с вопросом, – становится стыдно, хочется 610
опустить голову, спрятать ее в какой-то темный мешок, почему?

...Помню еще вот что: я долго сидел один в каком-то мало по-
сещаемом углу и очень долго, очень серьезно обдумывал вопрос:
как может убежать тигр? Ну допустим, сторож напился пьян и
забыл затворить клетку, и это как раз к ночи, когда в саду нет
никого. А дальше? Улица. Нет, это невозможно: что будет делать
он в своей шкуре на этих улицах! Но, положим, он как-нибудь
их проскочит – а дальше? Шоссе, железная дорога, расчищенные
парки, фермы; тысячи вооруженных людей, посланных в погоню.
Нет, не годится.

И помню – я, вероятно, несколько задремал от усталости – 620
я очень часто и упорно представлял себе одну картину: тигр в

цилиндре, в перчатках, скрывающих когти, берет билет у кассы и едет по подземной дороге. Потом по железной дороге. У него чемодан из желтой кожи, увязанный ремнями плед, и он все едет, едет. До Индии ведь так далеко! И он все едет, едет... И в руках у него палка с серебряной ручкой, а во рту огромная дымящаяся сигара. Едет...

Их там было много, маленьких городских детей с боннами и
630 гувернантками, но я избегал смотреть на них: при том состоянии, в котором я находился, и в их детских, милых личиках, в их глазах я мог увидеть что-нибудь печальное. Но постепенно утомленное внимание мое стала привлекать девочка – маленькая девочка, с голыми ручками и ножками, в белой рубашечке, по краям обшитой широкими красными полосами. Я плохо разбираюсь в возрасте детей и не знаю, сколько ей было лет: три, четыре года, а может быть, пять.

Сперва я долго, с упорством бессознательности, вглядывался в ее светлые, короткие локоны, свободно раскинутые на круглой
640 головке, и белую, нежную шейку, на которой проходила тоненькая серебряная цепочка, вероятно, от крестика, – пока не зажглось во мне чувство какой-то тихой, безмерной радости, умиления, близкого к молитвенному восторгу. Радостно изумленный, я уже сознательно вгляделся в нее, в ее личико, в ее легкую, стройную, строго соразмерную фигурку. Боже, я еще никогда не видал такого совершенного, такого очаровательного человеческого детеныша! Так вот отчего мне весело!

Все в ней было совершенно. Глаза, движения, каждый шаг круглых, наивно незаконченных ножек в белых туфельках – все было
650 в ней совершенно. И это была не только совершеннейшая красота, это была мысль, огромная, загадочная мысль, великая и светлая тайна, которую читаю я в небесах, когда темной ночью сквозь стекло телескопа бросаю мой взор в глубину Млечного Пути, в мириады сверкающих миров. Но мысль, спустившаяся на землю! Но тайна, принявшая родной и знакомый образ человека! Что же такое – ты, человек, если можешь быть так прекрасен порою!

И какой самостоятельный детеныш: ходит одна между детей – гувернантки не видно, – напевает, думает о чем-то – какие должны быть у нее мысли! – посматривает на небо, на меня взглянула.
660 И это среди зверей, с их зубами и мерцающим загадочным взглядом! Идет куда-то, все одна, – иду за нею, идет дальше – иду за нею. Вот у одной из боковых дорожек железная невысокая решет-

ка и за ней овальный, каменный бассейн, полный все тою же грязной, теплой водой. Вода колышется, ходит большими плоскими волнами, видимо, какое-то большое тело беспокойно бороздит ее там внизу. Вот куда мы шли!

Девочка обнимает тоненькими беленькими пальчиками железные прутья и прижимает к ним свое очаровательное личико. В том, как стоят ее ножки, во всей ее позе видно великолепное, царственно-спокойное ожидание. Стоит и ждет, спокойно, великодушно, терпеливо, – очаровательно надменный детеныш человека! 670

И вот, спуская воду с пологих плеч, показывается он. У него круглый, точеный, умный череп, туго обтянутый короткой шерстью – от воды она прилегла совсем как кожа и поблескивает тускло. Он стоит твердо, как изваяние, опершись плавниками о камень, и неподвижно смотрит на девочку своими изумительными, мистическими глазами. Большие, черные, лишенные бровей и ресниц, они смотрят, как широко открытые черные окна, с простотой и величавой откровенностью тысячелетней неразгаданной тайны. И кажется, глядя в эти бездонные глаза, будто остановились все часы в городе и замерли их суетливые стрелки; будто нет времени, и, увлекаемый неведомой силою, погружаешься в самые первоисточники бытия, теряешь имя, память, образ человека... 680

И прямо напротив, глаза в глаза, смотрит на него, царя и чудовище, другой царь: маленький, надменный, очаровательный детеныш человека. Что за странная встреча, здесь, в этом городе? Что думаете вы, оба, глядя так просто, так понятно друг на друга?

Слышу нежный, влюбленный лепет:

– Милый! Милый!

Молчание. 690

– Милый!

Молчание.

– Я очень люблю тебя!

И я отошел от них на цыпочках, не решаясь оглянуться, как глупый шпион, застигнутый у чьих-то священных дверей. Помню, я долго блуждал по аллеям, взволнованный, смущенный, радостный, и так бережно нес себя, будто боялся расплескать что-то драгоценное. Правда, вскоре новые, тягостные впечатления сгладили это чувство и вновь бросили меня к скорби, печали и даже отчаянию, но с тех пор до сего дня мои беспокойные мысли возвращаются непрестанно к этим двум, встретившимся так странно. И разве все то, что я видел потом в городе, не было непрестанным возвращением все к этой же великой тайне? И разве не новыми кажутся мне теперь пустынные море и лес? И разве не 700

новый таинственный смысл влагаю я в мои поцелуи, когда бережно устами моими я прикасаюсь к устам ее, моей возлюбленной, той, которую я люблю больше всего на свете?

710 ...Возлюбленная моя! Одинокю ждущая меня, чтобы дать покой моей исстрадавшейся мысли и открыть последнюю великую тайну. Ограждающая от зла! Творящая благо и жизнь! Возлюбленная моя...

И опять я не поехал к ней, как хотел первоначально. Та странная нерешительность и безволие, которые овладели мною с первых шагов по улице города, продолжали удерживать меня в саду, хотя я взял от него самое лучшее и более хорошего ждать не мог. И действительно, уже вскоре я наткнулся на зрелище, которое наполнило меня отвращением и гневом.

720 Это были орлы и орлицы – десять–двенадцать царей и цариц, запертых в небольшую железную клетку. Правда, для воробьев или каких-нибудь мелких птиц эта высокая, почти в два этажа, широкая клетка показалась бы обширнейшим великолепным дворцом. Но для них, для этих огромных, свободных, царственных птиц, с их саженым размахом крыла, она была чудовищно, безобразно мала. И когда какой-нибудь из несчастных пленных царей пробовал лететь – что за беспорядок, что за отвратительный, жалкий беспорядок поднимался в клетке! Этот несчастный бил своими крыльями по железным прутьям, по земле, по своим, наконец, товарищам, и все они начинали кричать, браниться, ссориться, как торговки, как женщины, собравшиеся со своими горшками к одной печке. Их хриплый, дикий клекот, который звучит так мощно
730 над вершинами гор, над великим простором океана, – здесь становился похож на пьяные голоса сердитых, обиженных людей, изнывающих от тесноты, беспорядка, бессмыслицы жизни. Я не знаю их языка, но ясно, с отвращением, понимал я их пошлую брань, гнусные намеки, противные, плаксивые жалобы, циничный смех и ругательства.

И это были орлы! У всех у них были грязные, встопорщенные перья, обломанные крылья; их энергичные остроклювые лица с зоркими, орлиными, властными глазами выражали мелкую злость, раздражение, глупую зависть. И только немногие пытались лететь; большинство же, привыкшее к неволе или даже рожденное в ней, цепко держалось когтями за грязные, загаженные перекладыны или обрубленные сучья коротких, вкопанных в землю стволов; и когда те пробовали лететь – эти, обеспокоенные, возмущенные, начинали клеветать, браниться яростно, быть может, даже звали полицию. Мне хотелось посмотреть, как движутся эти, и я стал

поджидать, и я дождался: они не летали, они – прыгали, короткими прыжками, как большие воробьи, как куры в курятнике.

И это были орлы.

Я должен отдать справедливость людям, которые стояли у 750 этой клетки: они не смеялись. Они подходили быстро, заранее полные того невольного почтения, какое человек оказывает свободному зверю и птице; взглядывали коротко и медленно отходили. Трудно сказать по лицам, что думали они; но мне кажется, судя по внезапной вялости движений и походки: им становилось скучно. И в то время как у клетки с обезьянами всегда стояла густая толпа, здесь было почти пусто.

К сожалению, я должен также упомянуть об одном господине, который засмеялся и даже обратился ко мне с каким-то шутивным замечанием. Но чем меньше о нем говорить, тем лучше. 760

Я уже шел к выходу, когда откуда-то из глубины сада пронесся громкий, странный, весьма продолжительный крик. Здесь многие кричали: кричали попугаи, ревели львы, испускали свой дикий вопль олени, наполняя воздух густыми, трубными, могучими звуками – столь не соответствовавшими их кротким и задумчивым глазам, – хохотали гиены, тявкали и даже выли собаки, и я не знаю, почему я остановился и потом решительно и быстро пошел в направлении загадочного звука. Конечно, мне не следовало этого делать, но, видимо, уже так печально складывался для меня этот бесконечный, тяжелый, кошмарный день. Кроме того, 770 в самом существе загадочного крика было что-то настолько повелительное, что я не посмел послушаться. Вместе с тем многие обычные, по-видимому, посетители сада отнеслись к нему совершенно равнодушно, и только два-три человека так же решительно и быстро последовали за мною.

Уже два раза я назвал крик загадочным, но это потому, что сразу я совершенно не мог определить его сущность. По силе, по своеобразной дикости, по духу своему – это был, несомненно, голос зверя, но в то же время в нем ясно чувствовалось что-то человеческое, даже слова как будто, целые фразы, выкрикиваемые 780 на неизвестном, но очень выразительном языке. И так же трудно мне определить то, что выражал этот крик. Поскольку он был человечесен – это было чувство бешеного гнева, громовая музыка непрерывных огненных проклятий; но поскольку он оставался звериным – в нем было еще что-то, не поддающееся определению, но еще более страшное.

Вообще, весь этот крик был настолько страшен и угрожающ, что последнее расстояние я бежал почти бегом, мне начинало ка-

790 заться, что там случилось что-то и надо поспешить. Но, когда мне оставалось всего несколько шагов и я уже видел кучку людей, толпившихся у железной решетки, – крик вдруг оборвался, и наступило молчание. Осмотревшись, я узнал место: это было почти рядом с тем, где я видел девочку и тюленя; и люди толпились около такого же овального бассейна с грязной, взбудораженной водой. Я приблизился к самой решетке: да, как раз так же ходила вода, разрезаемая понизу большим мечущимся телом, но было ли больше неизвестное тело, или движение его бешенее и быстрее, – волна казалась короче, острее, беспокойнее.

800 Мелькнула темная, скользкая спина, одно-два беспокойных ломаных движения, тяжелый густой вздох, фырканье, и на поверхность выбрался он, тот, что кричал. Повернулся тяжело, вздохнул так, словно у него была одышка, и неподвижно уставился на нас, как бы давая время лучше разглядеть его безобразное, скуластое, страшное лицо. По-видимому, он был стар, очень болен и скоро должен был умереть; его большие черные глаза отсвечивали кровью, щетинистые редкие усы были седоваты; и, когда он открывал рот и молча скалился, видны были испорченные, гнилые, искрошенные зубы. Вначале мне показалось, что он смотрит на нас; но нет, он смотрел дальше – гораздо дальше.

810 И вот тут он снова закричал, сразу, всюю полнотою и силой этого дикого, неслыханного крика. И так же сразу, весь похолодев от чувства непередаваемого ужаса, я понял, что он – проклинает. Стоит в своей грязной лоханке, посередине огромного города, – и проклинает проклятием зверя и город этот, и людей, и землю, и небо. Он стар, он очень болен и скоро должен умереть.

820 Было бы безумием пытаться передать всю грозную силу проклятий несчастного зверя. Все ядовитые слова, какими обмениваемся мы, люди, когда хотим выразить наше неудовольствие друг другу или небу, кажутся комариными укусами сравнительно с этой речью, где каждый напряженно трепещущий звук был налит смертоносным ядом. Я знаю благородный гнев библейского Иова; я помню гневные упреки Каина; в моих ушах еще звучат проклятия пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов; но что значат они все перед этим простым, как голос самой оскорбленной земли, проклятием умирающего зверя! Он не ждал ответа; одинокий, умирающий, он не искал понимания; он проклинал в века и пространства, бросал свой голос в их чудовищную, безумную пустоту. И почудилось мне: вместе с проклятием его встают из гроба гигантские тени умерших столетий и идут торжественно в 830 кровавой мгле; и новые встают за ними; и бесконечной вереницей

огромных, бледных, окровавленных теней они беззвучно облегают землю и в пространство направляют свой страшный путь...

– Послушайте! послушайте! что же это такое! – схватил я за плечо соседа, лицо которого, как зеркало, отразило мое побледневшее, искаженное болью лицо.

– Я не знаю. Он каждый день так. Он, вероятно, очень болен.

– Это невозможно! Этого же нельзя оставить. Его надо убить! – сказал другой и взволнованно зашагал куда-то.

...И я бежал, гонимый проклятием зверя. И я ворвался в темную комнату, где одиноко ждала она; и я упал перед ней на колени 840 и с рыданием закричал в ее бледное лицо:

– Он проклял меня! Слышишь, он проклял меня!

Мы были в лесу. Уже светила луна, и мы были в лесу, я и она, моя возлюбленная. Она сразу поняла, что случилось со мною; в моих бессвязных речах она почувствовала яд города и молча, как больного ребенка, как человека, отравленного угаром, увлекла меня сюда. И сказала мне:

– Дыши! Дыши всей грудью! И не думай. И смотри на лес. 850

Но я не смотрел на лес – я смотрел на нее. Под светом луны лицо ее было холодно и бело как мрамор. Она молчала и думала о чем-то. О чем думала эта женщина, такая чужая и такая близкая бесконечно?

– Отчего так бледно твое лицо?

– Щеки мои горят. Это так кажется от луны.

– Отчего у тебя такие большие, такие черные глаза? Куда ты смотришь?

– Я смотрю на тебя, мой милый. Я хочу согнать тени с твоего лица. 860

– Пойдем дальше. Здесь я чувствую еще город.

Все дальше и дальше шли мы, обвеянные лесною свежестью, и мы хотели проникнуть в самое сердце тишины и мягкого света. Здесь, в глубине леса, где не видно уже было станционных огней, луна сияла царственно и мощно. И так священна была светозарная тишина, что казался святотатством каждый легкий звук, хруст сучка под ногами, легкий шелест платья. Вдруг она остановилась.

– За нами идет кто-то. Послушай!

Я прислушался: было светло и немо. И ее, в ее белом платье, и 870 меня облегали пестрые тени сучьев и листья; и так неподвижны,

так тихи были эти легкие тени, что переставало вериться в самое существование звука.

– Нет никого. Тебе послышалось.

– Я боюсь идти дальше. Сядем лучше здесь.

880 Так она сказала, веря и не веря. И в этих словах я узнал ее, храбрую и трусливую, сильную и слабую женщину, которая смело пойдет на смерть, когда нужно, и испугается до слез темной тени в углу. И я начал смеяться над нею, целуя ее нежно; и такую милую она стала, и вдруг радостно вздохнула вся душа моя – ибо великая радость для мужчины быть защитником женщины и хранителем ее.

– Трусиха! – смеялся я. – Маленькая, глупенькая женщина, которая вдруг испугалась леса.

И, обижаясь слегка, она отстраняла меня:

– Нет, я не боюсь леса. Но я так ясно почувствовала, что здесь кто-то есть. Сядем вот тут, в тени...

890 И мы сели в тени высокой, толстой сосны, опершись спинами о ее теплый, шершавый ствол. Перед нами тянулись длинные тени дерев, а когда я взглянул назад – росистая трава отливалась дымчатым серебром и по ней тянулись такие же дымчатые, длинные, тающие тени. И так по всему лесу неподвижно лежали они, далеко, до той не уловимой взглядом грани, где все вдруг становится непонятным: тени и свет, и чернь и серебро, и дымчатость прозрачной хвои, и все сливается в одну молчаливую, серебристо-черную тайну.

И тихо жаловался я ей, моей возлюбленной:

900 – Я боюсь проклятия зверя. За что он проклял меня, за что? Разве я виноват, что на земле так плохо? Когда я родился, земля уже была такою; и такою же останется она, когда я умру. Ведь так коротка и бессильна моя жизнь!

И тихо спрашивала она, прижимаясь ко мне:

– А они тоже проклинали – эти тени, которые ты видел?

– Нет. Ведь они мертвые. Они шагали молча. У них огромные, окровавленные головы, но они шагали молча...

– В кровавой мгле?

– Да... в кровавой мгле.

Я смотрел на черные тающие тени и думал вслух:

– Он сожжет их города.

910 – Кто?

– Тот, кто захочет правды. И наступит время, когда ни одного города не останется на земле. Быть может, не останется и человека.

– А кто знает правду?

– Зверь знает.

Она задумалась, и я почувствовал, как нахмурились и сошлись ее брови. И сказала с уверенностью:

– Нет, он тоже не знает. Зачем он проклял тебя? Он не знает правды. Разве тебе не так же плохо, как и ему? Милый мой, дай мне твой лоб, я поцелую его.

– Возьми мои губы.

920

– Нет. Когда жалеют человека, его нужно целовать в лоб, где его мысли.

И я сказал:

– Что это значит: поцелуй? Вот прикоснулись твои губы к моему лбу, и я уже другой. Откуда это могущество? И что такое женщина? И что такое любовь?

– Женщина – это я. И любовь – это я.

– Ведь ты же умрешь когда-нибудь? Но разве ты чувствуешь смерть?

– Я чувствую только жизнь. Смерти нет.

930

– Я люблю тебя.

– Я люблю тебя.

И сказав эти священные слова: “я люблю тебя”, и услышав этот священный ответ: “я люблю тебя”, – вдруг почувствовал я и величие, и тайну, и грозное могущество нашей человеческой любви. И почувствовал я, что, еще не борясь, еще отступая, и падая, и плача, я уже победил неведомого врага тем, что громко сказал в эту лунную ночь: “я люблю тебя”. Помню, как чуду поклонился я ей, женщине, которую люблю, и к коленам ее припал в безмолвии и тайне. И слышал: вот положила она на голову чудесную руку свою и благословила меня великим благословением любви в безмолвии и тайне...

940

И тогда... О город! Проклятый город.

И тогда я услышал этот подлый шорох позади нас, это мерзкое учащенное дыхание. Я приподнялся, окликнул и вот что увидел: из-за дерева, стоявшего в нескольких шагах позади нас, высывалась темная, насторожившаяся голова в круглом котелке. После моего оклика он, подглядывавший негодяй, испуганно спрятался; потом вышел и большими шагами, осторожно, на цыпочках, неся на отлете руки, в одной из которых была зажата тросточка с серебряной, блестящей ручкой, бесшумно удалился. Он горбился при этом, когда шел; и навсегда я запомнил эту картину: лес, полный лунного дыма, ее, широко открывшую испуганные, оскорбленные глаза, и скользкую по серебристой траве воровскую тень сгорбившегося господина в котелке и с приподнятыми руками.

950

И навсегда я запомнил это чувство тяжкого оскорбления, невыносимого отвращения, близкого к тошноте, и холодной, смертельной скуки, убивающей желание жить.

Да, я сразу понял, кто был этот господин. Это был один из тех отвратительных, жалких, полусумасшедших эротоманов, которых всюду и всегда, днем и ночью, преследуют грязные, сладострастные образы. Их доводит до сумасшествия, до полного скотства город, полный красивых, но чужих и недоступных женщин. Днем они шатаются по улицам, выслеживают женщин, раздевают их мысленно и замирают от гнусного, сладострастного восторга, когда ветер или сама женщина чуть-чуть поднимет подол шелковой юбки. Они заходят в магазины обуви, чтобы видеть ноги примеривающих ботинки женщин, действующие на них как дурман; и потом на этих крохотных и скудных обрывках действительности они создают картины гнуснейшего, фантастического разврата, перед которым целомудрием и святостью кажется наивный, правдивый разврат древних. По тысячам скабресных карточек они изучили все разнообразие женского тела и знают столько форм женских грудей и бедер, сколько едва ли может запомнить сам Творец. Отвратительные, они жалки и несчастны в то же время, ибо голодны ненасытимо. По вечерам они безнадежно пристают к порядочным женщинам, выслушивают презрительные ругательства, иногда терпят даже побои; бессильные, таскаются по садам, по темным аллеям, где прячутся влюбленные, подкарауливают, подстерегают, чтобы видом хотя бы чужой любви дать пищу своему жалкому воображению, хотя бы обманом утолить свой ненасытимый голод. Как те голодные собаки в загородных ресторанах, которые появляются неизвестно откуда и целыми часами сидят у стола и целыми часами, не замечаемые никем, молитвенно виляют грязными, запаршивевшими хвостами.

И этот давно, по-видимому, следил за нами, быть может, еще с самого города, с вагона. Как должен был он прятаться искусно, какие чудеса ловкости он должен был проделать, чтобы остаться незамеченным и притаиться так близко. И с отвращением я представил себе, как он стоял за деревом, пока мы говорили; он ничего не понимал из того, что мы говорили, его ноги ныли от усталости, но он слышал слово “люблю”, которое он понимает так по-своему, он видел поцелуи, и это наполняло его чувством сладострастных и гнусных предвкушений. Вероятно, он сердился на меня: зачем я так медлю?.. И в жилетном кармане у него тикали часы.

– Кто это? – спросила она сурово.

– Так. Не спрашивай.

– Пойдем.

И по тому, как был суров ее голос, как холодно оперлась она о мою руку, я чувствовал, что она оскорблена где-то в самой глубине женской души своей, оскорблена не только им, которого она не знает, но и мною. Ибо я тоже мужчина. Но разве не оскорблен я сам? И так шли мы с ней по мертвому лесу и молчали, и было так больно нам обоим. И оттого, что мы молчали и не говорили о том, что больно, становилось одиноко и грустно, так одиноко и грустно. Ибо и в ней я почувствовал женщину, и отдалилась она от меня, и стала чужой и странной – она, моя возлюбленная, она, чистая и безгрешная. 1000

Вот и станция, та самая станция с большими электрическими фонарями. Быть может, и он здесь – поджидает поезд и разгуливает среди таких же господ, в котелках и с тросточками. Вот кто-то в конце платформы закуривает сигару и освещает белокурые, приподнятые усы – не он ли это? 1010

– Ты взял обратно билеты?

– Да. Вот твой. Возьми его и поезжай.

– А ты?

– Я не поеду. Я хочу пройтись немного.

– А ничего? Теперь ночь.

– Нет, ничего. Ты возьмешь экипаж от вокзала.

– Да. 1020

– Не нужно на трамвае. Возьми экипаж.

– Хорошо. Ты поздно вернешься?

– Не знаю.

Так одиноко, так грустно было нам обоим.

И только уже прощаясь, входя в дверь вагона, она тихонько пожала мою руку. И хотя пожатие имело такой вид, будто она только благодарит меня за помощь, за то, что помог подняться ей на ступеньки, я понял, так как хорошо знал язык ее руки, что она простила меня. Взглянул ей в глаза: они улыбаются мне. Возлюбленная моя! Но уже двигался поезд, и скорее по движению губ, по выражению всего милого лица, чем по звуку, я уловил ее последние слова: 1030

– Я не буду спать. Я буду ждать тебя.

...Возлюбленная моя!

Когда бываешь с женщинами, приходится сдерживаться, и гнев хорошо знает это: он свертывается в острый колючий клубок и тихонько лежит в душе, только изредка покалывая ее и холодя. И лишь теперь, оставшись один, я свободно отдался ему.

Помню, я шагал крупно по гладко шоссированной дороге,
1040 окаймленной огромными черными буками, размахивал палкой,
не той безвредной тросточкой с серебряной ручкой, а настоя-
щей, хорошей палкой, которую я вывез еще оттуда; и даже бил
ею по стволам, по редким кустикам, ронявшим ночную росу.
И при этом выкрикивал что-то, вероятно короткие, злые ругатель-
ства. Не знаю, кого имел в виду мой бешеный гнев, которому я
отдаюсь так редко. Тот негодяй, который подсматривал за нами,
как-то вдруг сразу потерял свое лицо, смешался с другими, кого я
видел сегодня, растворился в чем-то огромном, бесформенном и
поганом. Поганом, иначе я не могу назвать того, что слепо лезло
1050 на меня своим грязным серым брюхом, тысячью ослабленных,
ухмыляющихся идиотских рож.

Откуда взялись эти рожи, когда весь день я видел только лица,
вполне приличные, чистые, гладко выбритые человеческие лица?
А черт их знает откуда! Разве можно понять что-нибудь в этом
сплошном идиотстве, которое... которое...

На этой прямой как стрела буковой аллее, служившей, оче-
видно, городским жителям для катания, еще не совсем прекра-
тилась жизнь. Как огромные тяжелые призраки, пронеслись
изредка автомобили, загораясь вдалеке парюю ярких, ослепитель-
1060 ных, чудовищных глаз и принося с собою массу холодного крутя-
щегося воздуха, и совсем редко проплывали тихие, молчаливые
велосипеды, осторожно и мягко нащупывающие дорогу. И все это
двигалось к городу, и все это возмущало меня и вызывало дикую,
нелепую потребность скандала. Именно скандала. Бросить в ав-
томобиль камень или свалить велосипедиста, а когда он станет
кричать и ругаться, закричать самому и избить его, изломать его
тихую, осторожную, проклятую машину. Пусть кричит! И с нена-
вистью я пропускал каждый велосипед, оценивая его взглядом, и
так было до тех пор, пока чей-то веселый, слегка пьяный голос не
1070 крикнул мне из-за яркого ацетиленового фонаря:

– Добрый вечер!

– Добрый вечер! – ответил я.

Действительно: и велосипед его слегка покачивался, и фонарь
то выхватывал из темноты толстый, гладкий ствол, то бесцельно
уходил куда-то в глубину леса и таял там. – Бог с ним! – подумал
я, – бог с ним, раз он говорит: “добрый вечер”, – и перестал бить
палкой по деревьям.

Но беспокойство, раз овладевшее мною, уже не оставляло
меня. За своей спиной я продолжал чувствовать город; и с каж-
1080 дым шагом, удаляясь от меня, он становился все больше, неот-

вратимее, фатальнее. Я пытался думать о пустынном море, но тусклы были мои мысли и бледны были образы мои; и все крепче сжимались вокруг измученного сердца каменные объятия призрачного чудовища. Почему я стал вдруг произносить громко это безнадежное, печальное слово: умер! Шел, кивал головою утвердительно и повторял с тоскою, с безнадежною грустью:

– Умер. Да, да. Умер!

Кто умер? О ком я говорил так печально, и кивал головою, и жмурил глаза с безысходной, томительной грустью? Пронесился автомобиль, и я бросал в его яркий, ослепительный свет:

1090

– Умер. Да, да. Умер!

Проплывал велосипедист, и его одинокую фигуру я провожал тем же кивком головы и странными, безнадежными словами:

– Умер. Да, да. Умер!

Слева от дороги, за редкою сеткою стволов и сучьев, пролегалo железнодорожное полотно и время от времени сверкающей линией окон пронеслись поезда; и им я сообщил эту печальную, трагическую весть:

– Умер. Умер.

Очевидно, и поступки мои приобрели характер той же непроизвольности, как и чувства, ибо многое, что я делал в тот день, я не умею объяснить и до сих пор. Так, помню хорошо, что я сошел с дороги и, имея самый решительный и разумный вид, долго разыскивал пеню, на котором можно было бы сесть. И когда нашел, то так же решительно, как бы и это имея в виду, отдался самой безутешной скорби. Сидел согнувшись, как бы над гробом умершего, и плакал продолжительными обильными слезами и платок держал у лица. Вообще, припоминая тогдашнюю позу свою, я с удивлением замечаю, что по каким-то загадочным причинам я очень старательно, очень точно и искренно имитировал человека, который только что потерял кого-то горячо любимого и в присутствии друзей и близких изливает горе свое над его прахом. И уже не вслух, а только про себя я повторял эти безутешные слова:

1100

1110

– Умер! Да, да. Умер!

Помню еще тот печальный вид, какой приобрело небо за эти часы. Оно затуманилось, сплошь задернулось белесой, тусклой, расплзающейся дымкой; и луна, уже опустившаяся низко, светила скупо и уныло, как фонарь сквозь синюю промасленную бумагу. И в лесу уже не было ни ярких пятен света, ни теней: он весь молча стоял в этом тусклом, безжизненном свете и не дышал. Потом почти сразу наступила такая же безжизненная темнота, и

1120

впечатление было такое, будто луна не зашла, а погасла, как фонарь, в котором иссякло последнее масло.

...О ком говорил я так печально и над чьим гробом я плакал так безутешно? Говорил ли я о человеке – или о звере, который умирает одиноко в своей грязной лохани, – или о себе – или о ней – или о неведомом, которого мне жалче, чем себя, чем зверя, чем человека? Не знаю. Не спрашивайте меня...

1130 Когда вновь я шел по дороге, возвращаясь в город, она была темна и пустынна. Потом далеко впереди мелькнул слабый огонек, очевидно, кто-то с фонариком вышел из боковой аллеи, и чуть слышно долетело скрипение колес. И так грустно было мне, что захотелось человека, кто бы он ни был, этот далекий неизвестный человек с тусклым фонариком. Я устал, мне трудно было идти, меня покачивало от слабости и от недавних слез, но я собрал последние силы и нагнал его. Он же двигался медленно. И в густой предрассветной темноте я различил небольшую тележку, доверху наполненную чем-то, с фонариком, стоявшим на краю,
1140 и силуэт высокого, сгорбленного, хмуро шагавшего человека. Он шел понурившись и даже не обратил внимания на мои шаги и приветствие, быть может, не слышал его; но кто же вез тележку?

Боже мой! Это была собака. Худая, высокая, как и ее хозяин, она вытягивалась в своей веревочной упряжи, и видно было, как напрягается ее грудь и задние, длинные, жилистые ноги. И вопреки тому, что делают собаки, когда к ним подходят незнакомые люди, – она не залаяла, она даже не взглянула на меня. Точно оба они, и хозяин ее и она, были лишены и зрения и слуха.

1150 Так некоторое время молча шагали мы все трое, и маленький огарок в фонаре тускло озарял серые, равномерно вытягивающиеся ноги. И громко, сам пугаясь звука своего хриплого голоса, я сказал ему:

– Послушайте, вы! Что делаете вы с собакой?

Но он не ответил, как будто не слышал. И снова шагали мы в темноте: я, хмурый человек и собака, и прошло много времени, когда я снова крикнул ему:

– Послушайте! Оставьте собаку. Я вам говорю!

И снова он не ответил, и мой голос потерялся где-то в темноте
1160 позади нас, потерялся и погас. И снова молча шагали мы трое: он, я и собака, вдруг так тесно связанные общностью каких-то страданий, что как будто и всю жизнь, и еще раньше, до жизни, всегда было так: прямая дорога, он, собака и я, шагающие молча к далекому городскому зареву. И время от времени одинокий го-

лос, молящий и бессильный, похожий на голос женщины, бросал отрывисто и хрипло:

– Оставьте собаку! Оставьте собаку!

И опять тишина, поскрипывание немазанных колес, глухие шаги и тусклый свет фонарика, озаряющий две жилистые, равномерно вытягивающиеся собачьи ноги. Что это? Последний сон, 1170 последний дикий кошмар засыпающего города?

Но нет. Вот он остановился и снял зачем-то широкополую мягкую шляпу; и сама остановилась собака, остановилась и молча легла, и вдруг сразу часто и быстро задышала. Остановился и я. И, отвечая на все то, что я говорил ему давно, отвечая еще на что-то, чего я ему не говорил, он произнес коротко и глухо:

– Все мы должны работать.

И только, и больше ничего. Но было что-то в голосе этого старого раба, от чего вдруг захотелось безумствовать, кричать, побежать к тому несчастному, умирающему зверю, разбудить его 1180 дикими словами:

– Послушай, старик! Выходи сюда. Я буду рядом с тобою. Мы будем проклинать вместе. Кричи, громче кричи! Пусть услышит тебя город, и земля, и небо! Громче кричи, старик. Тебе недолго осталось жить, кричи об опасности, кричи об ужасе этой жизни, кричи о смерти! И проклинай, проклинай, и к твоему проклятию зверя я присоединю мое последнее проклятие человека! Город! Город!

И он стоял и молчал, этот старый раб, и часто и быстро дышала измученная собака. И я снял шляпу, и я поклонился ему низко, 1190 как герцогу, как королю. И я снял шляпу, и я поклонился низко его собаке – как королеве поклонился я ей.

Город! Город!

...К тебе иду я, моя возлюбленная! Встреть меня ласково. Я так устал! Я так устал!

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

Посвящается Л.Н. Толстому

1. В ЧАС ДНЯ, ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апopleксии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

– Пойдите, – удивился министр, – откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

– Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая
20 устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности – как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасили, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную
30 мысль о тщете заповор, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными 40 пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, 50 будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, – громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили 60 убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, – он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит – не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул. 70

– В час дня, ваше превосходительство! – звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

– В час дня, ваше превосходительство.

И этот завтрашний “час дня”, который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением

стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую
80 убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

– Ну? Чего тебе надо? – сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

– В час дня, ваше превосходительство! – И черный столб ухмылялся и кланялся.

90 Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, – положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносящий кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений
100 но взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь – открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

– Ого! – вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми
110 ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, – и трудно было поверить, что это у него так
120 много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое че-

ловеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит, и не может уйти!

– Дураки! – сказал он презрительно и веско.

– Дураки! – повторил он громче и слегка повернул голову к 130 двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

“Ну конечно, – думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью, – ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну а потом, конечно, эта смерть – но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду 140 радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: “В час дня, ваше превосходительство!”

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много 150 испытывавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, – а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час для самоубийства, – а перед самым концом вдруг передумал. И всегда, в самое последнее мгновение, может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет. 160

“В час дня, ваше превосходительство”, – сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть пред-

отвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет – завтра этого не будет, – и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: “В час дня, ваше превосходительство”.

170 – Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

– Ничего, – ответила тишина. – Ничего.

– Нет, ты говоришь что-то.

– Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

180 Уже не завтрашних убийц боялся он, – они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь, – а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшную казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они короткие, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

200 И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком, ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал – и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки – их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, 210 безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую – нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам – отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему происходившему на суде обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, – и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помешался один из назвавших себя – Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, шурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно-молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь

в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, шурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости – но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее – и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизмой, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, самым чистым и правдивым – ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. 80 Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно,

думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной 90 силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем – так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почти-тельностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного 100 сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, 110 он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

– Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать – без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, 120 вешал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем по-

стороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку. 130

“Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, – думала она про Головина. – А Вася? Что же это, Боже мой, Боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?”

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем – была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и как ни странно – это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову. 140

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора. 150

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится скоро все, – сказал Вернер. 160

– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

– Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно обругался Головин.

– Так и нужно было ожидать, – ответил Вернер спокойно.

– Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До самой казни вместе будем сидеть. 170

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. МЕНЯ НЕ НАДО ВЕШАТЬ

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырьмя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окри-

кивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок, — оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

— Она меня самого убьет, — сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

— Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками!

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на

убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспомощности свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, 90 оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнувшие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Ян- 100 сона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и 110 лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами – как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бес- толково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, кото- рый не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

– Она сказала, что меня надо вешать.

120 – Какая такая она? – густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

– Ты!

– Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбающемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать. 130

– Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

– Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из залы:

– Ну и дурак же ты, парень.

– Меня не надо вешать, – упрямо повторил Янсон.

– Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь. 140

– Ну-ну, помалкивай! – сердито окрикнул другой конвойный.

Но не утерпел сам и добавил: – Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

– Может, помилуют? – сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

– Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь 150 ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой и ему дали поесть – с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему 160 наставительно:

– Что, брат? Вот и повесили!

– А когда меня будут вешать? – недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

– Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

– Ну а когда? – настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать
170 не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

– Когда, когда! – рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. – Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз, и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

– А я не хочу! – вдруг весело сморщился Янсон. – Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся:
180 скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведенному в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, – показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

190 – Тьфу, чтоб тебя! – отплюнулся он. – Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

– А я не хочу – га-га-га! – смеялся Янсон.

– Сатана! – сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще
200 немного – и вот развалится гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу, – а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только шурился лукаво.

– Ну то-то! – сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только
210 иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

– Успеешь еще, сатана. Посиди! – и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более 220 далеко и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнил и стал немного важничать.

“Теперь она меня и так бы полюбила, – подумал он как-то про хозяйку. – Теперь я толстый, не хуже хозяина”.

И только выпить водки очень хотелось – выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы; и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил: 230

– Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

– Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

– Ты шутишь?

– То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, – сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшаяся, на 240 время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

– Ага! – сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. – Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно 250 оглядел осужденного: теперь все пойдет как следует. Сатана

посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни, – и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

– Видеться с кем будешь или нет?

– Зачем видеться?

– Ну, проститься. Мать, например, или брат.

– Меня не надо вешать, – тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя. – Я не хочу.

260 Надзиратель посмотрел – и молча махнул рукой.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное:

270 шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землю свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеей ногою ступил на первую ступень эшафота.

280

День опять успокоил его, и ночь опять напугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, – но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

290 Но камера была такая маленькая, что казалось, не острые, а тупые углы в ней и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь – глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прятаясь лицом

в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

300

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза, и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине с открытым ртом и громко, залиvisto храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше всё в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая 310 мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты – и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полуоткрыт, как бы 320 от непрерывного величайшего удивления; и, прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытывавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

– Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует, – говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными 330 глазами. – Иван, слышишь? А, Иван?

– Меня не надо вешать, – тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

– А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, – наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. – А то убить убил, а вешаться не хочешь.

– Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

– Я не хочу, – сказал Янсон.

340 – Что ж, милый, не хоти, дело твое, – равнодушно сказал старший. – Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился – все что-нибудь да есть.

– Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая – фронт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в 12 часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

– Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

350 Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

– А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

– Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

– Я не хочу, – сказал он вяло.

360 Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную, без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. МЫ, ОРЛОВСКИЕ

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, 10 совершенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя “экспроприаторами”. О последнем преступлении, где заpiresательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

– Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

– Мы все, орловские, проломленные головы, – говорил он степенно и рассудительно. – Орел да Кромы – первые воры. Карачев да Ливны – всем ворах дивны. А Елец – так тот всем ворах отец. Что ж тут толковать! 20

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто 30 она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

– Верно!

Иногда подчеркивал:

– Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил 40 и попросил председателя:

– Дозвольте засвистать!

– Это зачем? – удивился тот.

– А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза – и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество – все было в этом пронзительном, и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

– Вот разбойник! – сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

– А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

– Верно! – сказал Цыганок, когда приговор был прочитан. – Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

– Ну, идем что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи – 70 отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху – так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один – как одна неугасающая мысль о победе, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре, и все

устремлялись к одному – к побегу, к воле, к жизни. То, раздувая ноздри как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух – ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точка взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной. 90

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок натающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их. 100

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

– Ишь запакостил!

Цыганок быстро возразил:

– Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

– Ай не находится? Ловко! Вот и повесь поди, ха-ха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!

– Жив останешься зато.

– Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал, дурак!

– Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

– А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

– Нет, с музыкой, – огрызнулся надзиратель.

– Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! – И он запел что-то залихватское.

– Совсем ты, милый, порешился, – сказал надзиратель. – Ну так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

130 – Какой скорый! Еще разок приходи, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей – то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

140 – Ц-ах! – чмокал Цыганок облизываясь и сплевывал набегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: стало темно и душно, и куском нетаяющего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще два раза заходил надзиратель, и оскалив зубы Цыганок говорил:

– Какой скорый. Еще разок зайди.

И наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

– Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

150 – Ну и черт с тобой, вешай сам! – огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил как лошадь.

160 Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно

выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, 170
зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в
голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестол-
ково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле,
полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с
четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

– Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалей-
те... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово
и прислушается.

180

Потом вскочил – и целый час, не переводя духу, ругался по-
матершине.

– У, такие-сякие, туда-та-та! – орал он, выворачивая налив-
шиеся кровью глаза. – Вешать так вешать, а не то... У, такие-сякие...

И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в
дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

– Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было
настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами,
бранился и плевал – его человеческий мозг, поставленный на 190
чудовищно-острую грань между жизнью и смертью, распадался
на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь,
он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна
набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели и в гла-
зах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он
спросил чиновника:

– Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

– Об этом вам нечего беспокоиться, – сухо ответил чинов-
ник.

200

– Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут
меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожа-
лейте.

– Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

– А то он у вас тут все мыло поел, – указал Цыганок на надзи-
рателя, – ишь как рожа-то лоснится.

– Молчать!

– Уж не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг
как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он 210
сумел крикнуть:

– Карету графа Бенгальского!

5. ПОЦЕЛУЙ – И МОЛЧИ

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день подтвержден. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видаться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе – что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее, представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить – отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: “Здравствуй, отец”, – казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снеж-

ную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнувший бензином, с новенькими поперечными погонами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

– Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

– Здравствуй, Сереженька!

50

Поцеловала в губы – и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, – а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. “Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну”, – твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как нужно держать себя на свидании.

– Главное, поцелуй – и молчи! – учил он. – Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? – а то скажешь не то что следует.

– Понимаю, Николай Сергеевич, – отвечала мать плача.

– И не плачь. Избавь тебя Господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

– А зачем же ты сам плачешь?

70

– С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

– Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была масляная неделя и на улицах было шумно илюдно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

– Посиди, Сереженька, – попросила мать.

80

– Сядь, Сергей, – подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

– Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

– Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

– Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

90 Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: “Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть”. И вдруг спросил:

– А как сестра? Здорова?

– Ниночка ничего не знает, – поспешно ответила мать. Но полковник строго остановил ее:

– Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали и...

100 Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще, и короче, и громче.

– Се... Сер... Се... Се... – повторяла она не сдвигая губ. – Се...

– Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясаясь, каждой складкой своего сюртука, каждой морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

110 мучь! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

– Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

– Когда?

– Завтра утром, – такими же белыми губами ответил Сергей.

120 Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

– Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

– Поцелуй ее от меня, – сказал Сергей.

– Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

– Какие Хвостовы? Ах да!

Полковник перебил:

– Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

– Простись! – приказал полковник. – Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головой и твердила бессмысленно: 130

– Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

– Прощай, Сергей! – сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

– Ты... – начал Сергей.

– Ну? – отрывисто спросил отец.

– Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? – твердила мать, покачивая головой. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась. 140

– Ты... – опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

– Ты, отец, благородный человек.

– Что ты! Что ты! – испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головой на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей – пушистые белые волосы, а он – арестантский халат. 150

– А я? – вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

– Что ты, мать? – крикнул полковник.

– А я? – говорила она качая головой, с безумной выразительностью. – Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

– Мамочка! – бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать. 160

Последними словами полковника были:

– Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили – и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец – и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

170 К Василию Каширину пришла только мать – отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

– Не стоило вам, мамаша, приходиться. Только себя и меня измучите.

– Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкою, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

180 – Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

– Ну, ну, хорошо. Что тебе – холодно?

– Холодно... – отрезал Василий и опять зашагал, искоса сердито глядя на мать.

– Может, простудился?

– Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: “А нашто с понедельника велел блины ставить”, – но испугалась и заголосила:

190 – Говорила я ему: ведь сын ведь, пойдя, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

– Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

– Васенька, это про отца-то! – Старуха вся укоризненно вытянулась.

– Про отца.

– Про родного отца!

– Какой он мне родной отец.

200 Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут выросло что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И почти плача – от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико тарщило свои маленькие глупые глаза, – Василий закричал:

– Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

– А ты бы не трогал людей, тебя бы... – кричала старуха.

– Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает.

210 Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

– Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?

220

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горячее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос; и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

– Не могу. Ей-же-богу, не могу! – отказывалась она, мотая головой, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей всё лили вино, всё лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса, – а ей всё лили вино. Всё лили.

6. ЧАСЫ БЕГУТ

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часы вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили; на масленицу
10 из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошадемок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических
20 солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо – обрывалась – снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью
30 приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину, – уходил незаметно, чтобы снова, так же незаметно, прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно-немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным
40 ном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. СМЕРТИ НЕТ

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она как нечто мучительное для Сережи Головина, для Муси, для других, – ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала – как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень 10 добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, – мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь – это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенно жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная 20 неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо как на символ обреченности и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

– Подари его мне, – упрашивала она.

– Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно 30 и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее – никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась – как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.

Заложив за спину руки, в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика- 40 ка-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неумоимо. Рукава халата были ей длинные, и она отвернула их,

и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала – и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какую умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучатся, как жалеют, – и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

– Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умереть вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

– Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе, – безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела, – убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, – тогда... тогда она достойна мученического венца.

“Неужели? – думает Муся стыдливо. – Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались, обо мне, такой маленькой и незначительной?”

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное, тихо сияющее 90 счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

“И это – смерть. Какая же это смерть?” – думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, – они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, 100 когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

– Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

– Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она – она! – Муся ответила бы с улыбкой:

– Нет. Это вы думаете, что *это* – я, но *это* не я. Я та, с которой 110 вы говорите, как же я могу быть *этим*?

– Но ты умрешь и станешь этим.

– Нет, я не умру.

– Тебя казнят. Вот петля.

– Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я – бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

– Не касайтесь этого места. Это место – свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она – ибо нить 120 жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах – и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался, – он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром

во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

– Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину, – вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала – и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему:

140 – Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем не важно, убил ты NN или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер,
150 голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше, – Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном – как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрерывно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно-прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыку становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно, и лица их были ясны, и радостны, и близки – ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрерывно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихоплыли светлые поющие образы. Муся думала: 170

“Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать”.

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупниц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет, – и стала отдаваться им спокойно. 180

И теперь – вдруг совершенно ясно и отчетливо она услышала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову – за окном стояла ночь, и часы звонили. “Опять, значит!” – подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! – слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник. 190

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед, – Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину. 200

“Ушли!” – думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами, совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.

– Ну, еще! – просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх,

210 туда, где несутся перелетные птицы и кричат как герольды. На-
право, налево, вверх и вниз – кричат как герольды. Зовут, опове-
щают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами,
и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях,
разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город.
Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муся.
Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так
тонки девичьи исхудалые руки, – а на устах улыбка. Завтра, когда
будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечело-
веческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут из ор-
220 бит остекленевшие глаза, – но сегодня она спит тихо и улыбается
в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая,
как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звяк-
нуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не
кричал – просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери – в темном отверстии
показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на
Мусю глаза – и пропадает бесшумно, как явилось.

230 Звонят и поют куранты – долго, мучительно. Точно на высо-
кую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тя-
желее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз – и
вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные,
без фонарей кареты.

8. ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ

О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо. 10

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в “честное слово”. Свои смеялись над ним, что, если сыщик, рожа, заведомый шпион, даст ему честное слово, что он не сыщик, – Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись. 20

– Или вы все ослы, или я осел, – говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

– Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один как следует, с аппетитом позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб 30 Вернера и сказал:

– А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

– Не хочется.

– Ну так я съем. Ладно?

– Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей; с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: “Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, – умереть”, – и развеселился. И, как ни странно, со второго же

утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

50 – Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, – крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подзревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется – и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

60 “Неужели я боюсь? – подумал Сергей с удивлением. – Вот еще глупости!”

Боялся не он – боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, – тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

70 “Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!”

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

– Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

– Я тебе покажу! – грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова – правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. “Это оттого, что тянут долго, – подумал Сергей, – хорошо бы все это время, до казни, проспять”, – и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, 90 появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

“Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?”

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание – и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание – и снова еще более продолжи- 100 тельный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, – стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили – не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный 110 и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

– Фу-ты, черт! – мучительно удивлялся Сергей. – Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою – вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого – не будет.

И все сделалось странно.

120

Попробовал ходить по камере – странно, что ходит. Попробовал сидеть – странно, что сидит. Попробовал выпить воды – странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть паль-

цы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: “Как это странно, я кашляю”.

“Да что я, с ума, что ли, схожу! – подумал Сергей холодея. – Этого еще неоставало, чтобы черт их побрал!”

130 Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения, – ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой всё, и земля, и жизнь, и люди; и всё это видимо одним взглядом, всё до самого конца, до загадочного обрыва – смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственной рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной – но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: “мне страшно” – звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога – увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

150 – Вот тебе и Мюллер! – вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. – Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки – ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и, к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата, – быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

– Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его покраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

– Дело в том, Мюллер, – рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, – дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение – подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем – Сергея Головина, пеленают его как куклу и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь – приходится. 170

Перегнулся на правый бок и повторил:

– Приходится, брат Мюллер.

9. УЖАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжело, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распутившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, 10 останавливался и что-то разыскивал глазами – словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица и прежде, молодое ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильяричал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему 20 было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

30 И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет куда хочет, а его везут – куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение, бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь – его осилит, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице.

И то, что эту машинную работу над ним исполняют люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог – казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, – и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего. 50

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкаф, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкаф, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи. 60

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, приговоренному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее, смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того, смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают. 70

Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке – просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: “па-па”,

“ма-ма”, но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам вздрагивая думал:

“Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это кукла Василия Каширина”.

90 Казалось, еще немного и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может в раннем еще детстве, он услышал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были:

“Всех скорбящих радость”.

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: “Всех скорбящих радость”, – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

– Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

110 А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей “всех скорбящих радости” и даже сам как будто не знал о ней – так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозинку, – он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо 120 прошептал:

– Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

– Всех скорбящих радость, приходи ко мне, поддержи Васью Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покупивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко “Васькой Кашириным”, –

теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:

– Всех скорбящих радость!

130

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами зевнул.

– Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

140

Исчезло все.

Безумие тяжело наползало. Сознание погасло, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головой о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, – и ничего. Будет ничего.

150

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит – пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

160

– Я не буду! Я не буду! – шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

– Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыв глаза, покачался – и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папироску. И тот любезно раскрыл серебряный, с декадентским рисунком портсигар.

170

10. СТЕНЫ ПАДАЮТ

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, – было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо – вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же – только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел; но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое, – но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую сво-

боду духа. И на суде – и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность, – он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске. 50

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками – даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку – это помогало думать. 60

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершённой ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

– Нет, зачем же! – отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами. 70

– Ну? – ответил он кому-то полувопросом. – Вот и все. Где же страх?

Страх действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему – чувство 80 смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел

он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, заборы, привинченный к полу стол и подумал:

90 “Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни – и как будто ее нет. Посмотрю на стены – как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?”

Начинали дрожать руки – невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове – наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

100 Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом – перед лицом смерти возвращалась играя прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепию невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

110 – Что это! Какое божественное зрелище! – медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новую предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц покинутого городка, и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шею так, не глядел так, – ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

130

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым – как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

– Милые вы мои! – вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее – даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

140

– Милые товарищи мои! – шептал он и плакал горько. – Милые товарищи мои!

150

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы, – не знало и этого его вдруг воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

– Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера – ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

160

11. ИХ БЕЗУТ

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные как лед и горячие как огонь, – и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были
10 вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной – не замечали этого. Все шурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он
30 был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

– Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издала, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

– Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

40 – Да я ничего. Я держусь.

И повторил:

– Я держусь.

Вернер обрадовался.

– Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: “Откуда он смотрит? Откуда он говорит?” И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

– Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

– И я тебя очень люблю, – ответил, тяжело ворочаясь, язык. 50

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

– Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой... светлый и мягкий? А, что?

– А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю. 60

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.

– Да, – сказала Муся. – Да, Вернер.

– Да, – ответил он. – Да, Муся, да!

Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

– Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав. 70

– Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он – гимнастикой занимается!

– По Мюллеру? – улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

– Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:

– Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав. 80

– Нет, ты пойми, – обрадовался Головин. – Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассестись парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое чело-

веческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

– Понимаю, – кивнула Муся головою. – А ты?

90 – Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное – просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом – безгранично ширью, зазвенела каплями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все

100 запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.

– У-ах! – широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

– Давно такая погода? – осведомился Вернер. – Совсем весна.

– Второй только день, – был предупредительный и вежливый ответ. – А то все больше морозы.

110 Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жан-дарм сказал неопределенно:

– Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился:

– Куда? Куда же он едет? Ах да! Еще один? Кто же это?

120 Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое – при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

– Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

– Кто вы?

– Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN.

А вы?

– Я – Янсон. Меня не надо вешать.

130

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, – и познакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

– А что вы сделали, Янсон?

– Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

– Тебе страшно? – спросил Вернер.

140

– Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг после одного поворота потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С-скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

150

160

– Куда мы едем? – спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике, и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

– Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

170 – Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

– Тоже! – неожиданно весело, почти со смехом, ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделывать над ними милые, но страшно смешливые люди.

– Жена есть? – спросил Янсон.

– Нету. Какая там жена! Я один.

– Я тоже один. Одна, – поправился Янсон подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки рождала смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

– Вот и приехали! – сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку – жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо – и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, 190 отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон – и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо – а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро несколько раз подряд зевнул и Янсон.

– Хоть бы поскорее! – сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово “фонарь”, а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

– Ты что говоришь? – спросил Вернер, отвечая также 210 зевотой.

– Фонарь. Лампа в фонаре коптит, – сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптила лампа, и уже почернели сверху стекла.

– Да, коптит.

И вдруг подумал: “А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...” То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колена и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча. 220

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей, – все делал как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать, – Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

– Ай!

– Вася, что с тобою? – рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил: 230

– Я хотел их поддержать, а они...

– Пойдем, Вася, я поддержу тебя, – сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

– Ай!

– Вася, это я, Вернер.

– Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия: 240

– Ну как?

– Плохо, – так же тихо ответила Муся. – Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

– Не знаю, Муся, но думаю, что нет, – ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

– Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

– Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет. 250

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

– Была, Вернер? Была?

– Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

– Тут местов нету, жандарм! – крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. – Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети, – разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

– А! Господа! – протянул он. – Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

– Тоже? А?

– Тоже! – улыбнулся Вернер.

270 – Да неужто всех?

– Всех.

– Ого! – оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

– Министра?

– Министра. А ты?

– Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

280 Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

– Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

– Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

– Верно, – с удовольствием согласился Цыганок. – Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то, – ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. – Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, – указал он глазами на Василия. – Барин, а барин, боишься, а?

290 – Ничего, – ответил туго ворочающийся язык.

– Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее

вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрерывно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него 300
Вернер:

– Хозяина зарезал.

– Господи! – удивился Цыганок. – И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искося, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

– Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется, – схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. – Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся так же 310
прямо смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик – машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным 320
видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда – “поезд стоит пять минут”.

И тут наступит смерть – вечность – великая тайна.

12. ИХ ПРИВЕЗЛИ

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой – запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

– Теперь скоро, – сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

10 Никто не пошевелинулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

– Холодно, – сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замершими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна. Таня Ковальчук засуетилась.

– На платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

– Шею? – неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его не слышал, – как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же
20 слово.

– Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, – посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

– Милый, а тебе не холодно, а?

– Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? – спросила Муся. – У нас есть.

– Хочу!

– Дай ему папиросу, Сережа, – обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта
30 Янсона вышел синий дымок.

– Ну, спасибо, – сказал Янсон. – Хорошо.

– Как странно! – сказал Сергей.

– Что странно? – обернулся Вернер. – Что странно?

– Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и, бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь,
40 пепел. Потухла.

– Потухла, – сказала Таня.

– Да, потухла.

– Ну и к черту! – сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

– Барин, а что, если бы конвойных того... а? Попробовать?

– Не надо, – так же шепотом ответил Вернер. – Выпей до конца.

– А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам 50 не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

– Нет, не надо, – сказал Вернер и обернулся к Янсону: – Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

– Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки: 60

– Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалится.

– Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, – сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугуун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, 70 кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

– Станция! – сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно – кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.

Поезд остановился. 80

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспмятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, раз-

бывались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне, тупо и бессильно, сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

– Разве пешком? – спросил кто-то почти весело.

90 – Тут недалеко, – ответил другой кто-то так же весело. Потом большой черной молчаливой толпой шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

100 – Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

– Действительно, не могли дороги прочистить.

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо-яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все – и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

– Скоро четыре.

110 – Говорил: рано выезжаем.

– Светает в пять.

– Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте на полянке остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

– Калошу потерял, – сказал Сергей Головин.

– Ну? – не понял Вернер.

– Калошу потерял. Холодно.

– А где Василий?

120 – Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

– А где Муся?

– Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно-понятно продолжали двигаться фонарики. На лево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

– Море, – сказал Сергей Головин, вносясь и ловя ртом воздух. – Там море.

Муся звучно отозвалась:

130

– Мою любовь, широкую, как море!

– Ты что, Муся?

– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

– Мою любовь, широкую, как море... – повторил Вернер и вдруг весело удивился: – Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задышающийся шепот Цыганка:

140

– Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

– Надо проститься... – сказала Таня Ковальчук.

– Погоди, еще приговор будут читать, – ответил Вернер. – А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

– Ну что там, доктор? Вы скоро? – спросил кто-то нетерпеливо.

150

– Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

– Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

– Не читать, – за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. Цыганок сказал:

– Буде, батя, дурака ломать; ты меня простишь, а они меня повесят. Ступай откудова пришел.

160

И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

– Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

– Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

– Хорошо.

170 – Мы с тобою, Мусечка? – спросила Ковальчук. – Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым ртом, – впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

– Прощайте, товарищи!

– Прощай, товарищ! – крикнули ему.

180 Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума, – но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

– Ах, Боже мой! – дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок. – Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

– Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

190 Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими, пальцами:

– Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер страдая ответил:

– Не могу, милый. Я с ним.

– Ах ты. Боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

– Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:

– С тобою?

200 – Да.

– Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

– Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

– Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы.

210 Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс – и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

– Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и как слепой зашагал в лес по цельному снегу.

– Куда ты? – испуганно шепнул другой. – Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

220

– Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! – грозно сказал Цыганок. – Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

– Прощай, барин! – громко сказал Цыганок. – На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси – жарко мне там будет.

– Прощай.

– Я не хочу, – сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было – он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

230

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

– А я, значит, Мусечка, одна, – печально сказала Таня Ковальчук. – Вместе жили, и вот...

– Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

240

– Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника... понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею я, как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

– Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

– Поцелуйтесь, поцелуйтесь, – поощрительно сказал женщинам Цыганок. – Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и по привычке поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

– Одна я, – вдруг заговорила Таня и вздохнула. – Умер Сережа, умер и Вернер, и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

260 Складывали в ящики трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высывался среди губ, орошенных кровавой пеной, – плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

МОИ ЗАПИСКИ

Повесть

I

Мне было двадцать семь лет, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики, — когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили: есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращения к самим себе; но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и “человека-зверя”, каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко: был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства. 10

Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея¹⁾. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все 30

Примечания автора “Моих записок”.

¹⁾ Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере.

черты наглой и даже бесстыдной лжи: и как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, *не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности.* Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу: откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков; и после упорных стараний мне удалось наконец найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей была столь правдоподобна, что моя истинная невинность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишнее страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии: говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, т.е. гармонии между видимым и мыслимым, на основании строгих законов логического мышления. И вместо того чтобы радоваться, я в наивном, юношеском отчаянии восклицал: “Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?” (См. мой “Дневник заключенного” от 29 июня 18...) 40 50 60

Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять-шесть лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но, помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не вправе просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова: “жертва судебной ошибки”, как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там, где, при совокупности определенных данных, нормально устроенный и развитый мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу. 70

Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления, — такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы.

И единственная цель, какую руководился я при составлении моих скромных “Записок”, это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, — человек, существо 80 высшего порядка, обладающее и разумом и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, *осужденный на смерть*, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию и красоту²⁾. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в “надменности”, спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать: жестокие в недомыслии своем, они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, — как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так 90 никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но — увы! — бесплодную гибель. И если тон моих “Записок” иногда может показаться благосклонному читателю *слишком* решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих.

Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой “Дневник заключенного” 100, неизвестный читателю; но дело в том, что полное опубликование “Дневника” я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной.

О цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твоё буйное кипение сил, но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность! Только с сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами. 110

²⁾ Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клеветают на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл в существовании человека.

II

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже – да простится мне эта маленькая нескромность! – даже преклонения перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей головой и побеливших мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною
10 роковые двери.

Не одаренный литературным талантом³⁾, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья, – все это придавало юному
20 математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки и нередко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самом по себе и хорошем, но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована⁴⁾.

И вот первые дни заключения я вел себя как и все другие без-
30 умцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невиновности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головой о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи,

³⁾ То, что люди называют обычно “литературным талантом” и чем так наивно восхищаются, есть в сущности не что иное, как неудержимая склонность к вымыслу и лжи.

⁴⁾ Подобно тому как человек, обладающий походкою быстрою и решительною, попав на неверный путь, пойдет значительно дальше и возврат сделает более затруднительным, чем тот, кто движется медленно и вяло.

пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства⁵⁾. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной мстью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость. 40

В некоторое оправдание могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моею женой, вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невиновность, еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви, – и вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, 60 насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, – сам присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы и она, неизвестно для чего, разделила мою участь⁶⁾. В настоящее время госпожа NN – счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак.

Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором 70

⁵⁾ Обычно я кушаю умеренно, но, обладая сильным и крепким телом, со свойственным ему энергичным и быстрым обменом веществ, я очень скоро слабею при полном отсутствии пищи.

⁶⁾ Особенно диким покажется читателю этот взгляд, если вспомнить, что я был хорошо знаком с естественными науками и лучше всякого другого мог понимать, насколько повелительны требования здорового инстинкта. Но – увы! – все мы забываем о естественных науках, когда нам изменяет любимая женщина, – да простится мне эта маленькая шутка.

она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь принуждают ее нарушить данное обещание, — это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо показалось мне посланием самого дьявола.

Огненные письма меня згли мой измученный мозг, и в диком иступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: “Приди! Дай мне только взглянуть в твои лживые глаза! Дай мне только
80 ко услышать твой лживый голос! Дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний, горький смех” (см. “Дневник заключенного” от 14 дек. 18...).

Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство: воистину, они прозревали во мне убийцу.

Мрачности тогдашнего моего мирозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака
90 моей невесты, а следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать, и умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом
100 к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели⁷⁾.

Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко

⁷⁾ Очень характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее: в приписке к завещанию некоторую, довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной.

не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери оказалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий. 110

Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню. 120

“Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека *одного*? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга, – а человека вы оставили одного. Дали ему душу – и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя – и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?” – так восклицал я в “Дневнике заключенного”, терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть *преимущество*, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души⁸⁾. 130 140

⁸⁾ Пусть рассудит мой серьезный читатель, во что превратилась бы жизнь, если бы отнять у человека его право, его обязанность быть одиноким? В сборище праздных болтунов, в унылую коллекцию прозрачностеклянных кукол, убивающих друг друга своим однообразием, в дикий город, где все двери открыты, окна распахнуты и прохожие скучливо, сквозь стеклянные стены, наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладает лицом, и морда вместо лица у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души.

И, называя друзей моих “вероломными изменниками, предателями”, не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, 150 в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени *возвращаются обратно*. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу, и если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: “о, закопайте меня вместе с ним!”, то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния⁹⁾. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали.

160 Законом жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным *вымысел*? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми!

Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-170 однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первоначально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересною работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем – обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом, сам своей неподвижною фигурой, 180

⁹⁾ В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.

со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятою ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так, даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться.

Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.

III

Так печально прожил я в тюрьме пять или шесть лет.

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искусства и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту про-
10 зрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом “гнусном пороке”¹⁰⁾, к которому я естественно приведен был всей совокупностью обстоятельств.

Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вожелений я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту, и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. И время, ко-
20 торое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, одинаково оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний: если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы несколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с г-жою NN ее фактический муж.

Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего

¹⁰⁾ Какое нелепое название! Как мало люди разбираются в том, что действительно порочно и что часто лишь естественно и необходимо!

порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я 40
могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной не-
удовлетворенности¹¹⁾.

Второе – это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, – что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, *что бегство из тюрьмы для меня невысказано*.

Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном¹²⁾. Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен с жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел тело Прометея.

Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреодолимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это был ужас безнадежности.

Здесь как в моей памяти, так и в “Дневнике” существует некоторый пробел; я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке: в коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье и что я пополнил (см. “Дневник заключенного” от 16 апреля 18...).

¹¹⁾ Известны факты, когда некоторые животные прибегали к искусственному удовлетворению половых потребностей; но большею частью это происходило совершенно случайно, как опыт едва ли может быть повторено и во всяком разе безусловно лишено разумности.

¹²⁾ Пусть вспомнит мой благосклонный читатель прелестную сказочку А. Шопенгауэра об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем, что впереди перед самой мордой привязывают на палке кусок душистого сена. И бедный осел – животное далеко не глупое – идет туда, куда посылают его выгоды господина.

Факт тот, что, погасив все надежды, сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму¹³⁾. Многочисленные чертежи, испещряющие тогдашний мой “Дневник”, свидетельствуют о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли, а дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово “εὕρηχα”^{*} уже тогда роднит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел, на пепелище родного города.

Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро¹⁴⁾, и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух; и, гуляя по камере, я каждый раз при повороте, бессознательно, со смутным интересом взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко вычерчивала свой контур железная решетка.

“Почему небо так красиво именно сквозь решетку? – размышлял я гуляя. – Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому *голубое* чувствуется особенно сильно наряду с *черным*? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому *безграничное* постигается человеческим умом лишь при непременно условии введения его в *границы*, например включения его в *квадрат*?”

Вспомнив затем, как всегда в той жизни при взгляде в широко открытое окно, не защищенное решеткой, или в небесный простор я испытывал потребность лететь, мучительную по своей явной бесплодности и нелепости¹⁵⁾, – я вдруг почувствовал нежность к

¹³⁾ До сих пор, к сожалению, я не могу узнать имени инженера, строившего нашу тюрьму: по-видимому, и сам г. начальник, за давностью времени, забыл его имя. Так неблагодарна память у лучших людей! Впрочем, анонимность в строении нашей тюрьмы нисколько не мешает ее солидности и не уменьшает нашей благодарности к неизвестному творцу.

^{*} “Эврика”, “я изобрел” (*древнегреч.*).

¹⁴⁾ 6-го мая.

¹⁵⁾ Помню то завистливое чувство, какое в детстве испытывал я даже по отношению к воробьям, этим прозаическим птицам, пользующимся своею способностью летать только для того, чтобы с одной кучи лошадиного навоза переноситься на другую. Но мне, человеку, казалось сверхъестественно обидным,

решетке, нежную благодарность, почти любовь. Скованная руками, слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле своего создания, вделанная в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собою образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив в свои железные квадраты бесконечное, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу для размышления людям рассудительным и восхищая мудреца!

Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро¹⁶⁾, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану*, вызывающему восторг своею законченностью.

110

120

что я, человек, не имею того, чем обладает глупый воробей. Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к бесконечному полету и бесплодность его сделает еще более мучительною. И, вместо того чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в клетке? Конечно, я шучу: как новый способ передвижения воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность.

¹⁶⁾ 6-го мая.

IV

Дабы сделать дальнейшее повествование более понятным моему благосклонному читателю, я вынужден сказать несколько слов о том исключительном, весьма для меня лестном и, боюсь, даже не вполне заслуженном положении, какое занимаю я в нашей тюрьме. С одной стороны, моя душевная ясность, редкая законченность мирозерцания и благородство чувств, поражающие всех моих собеседников, с другой – некоторые весьма, впрочем, скромные услуги, оказанные мною г. начальнику, создали для
10 меня ряд привилегий, которыми я пользуюсь, конечно, вполне умеренно, не желая выходить из общего плана и системы нашей тюрьмы. Так, на еженедельные, отнюдь не ограниченные временем свидания ко мне допускаются все желающие меня видеть, что подчас составляет довольно изрядную аудиторию. Не смея вполне принять уверения г. начальника¹⁷⁾, что я мог бы составить “гордость любой тюрьмы”, я могу, однако, без ложной скромности сказать, что слова мои пользуются надлежащим весом и что среди посетителей моих я насчитываю немало горячих почитателей и пылких почитательниц. Упомяну, что сам г. начальник,
20 равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением, черпая у меня силу и мужество для продолжения их нелегкого труда. Конечно, вполне свободно я пользуюсь тюремной библиотекой и даже архивом тюрьмы; и если на мою просьбу дать мне точный план тюрьмы г. начальник ответил вежливым отказом, то отнюдь не по чувству недоверия ко мне, а лишь потому, что таковой план составляет государственную тайну.

Признаюсь, не без некоторого трепета приступаю я к изображению нашей тюрьмы¹⁸⁾.

Это – огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы
30 Т, со стенами, сложенными в пять, местами в шесть кирпичей. Расположенное на окраине города, на границе пустынного, поросшего бурьяном поля, оно издалека привлекает взоры путника своими суровыми очертаниями, суля ему покой и отдых от бесконечных скитаний. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и вблизи, как

¹⁷⁾ К сожалению, несколько иронические.

¹⁸⁾ Так как материалом для описания служат главным образом мои наблюдения, естественно ограниченные моим положением узника, то заранее извиняюсь за его неполноту. Считаю своим долгом принести в этих строках горячую благодарность тем из моих любезных посетителей, которые снабдили меня большим количеством фотографий и рисунков, дающих мне возможность составить довольно точное представление о внешнем виде нашей тюрьмы.

говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные плоские окна с железными решетками естественно завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и мрачной красоты. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что законы существуют и нарушителей их ждет кара, кара, кара!¹⁹⁾ 40

Моя камера находится на высоте пятого этажа, и в решетчатое окно открывается прекрасный вид на далекий город и часть пустынного поля, уходящего направо; налево же, вне пределов моего зрения, продолжается предместье города и находится, как мне сказали, церковь с прилегающим к ней городским кладбищем. О существовании церкви и даже кладбища я знал, впрочем, и раньше по печальному перезвону колоколов, какого требует обычай при погребении умерших. 50

Вполне соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство тюрьмы столь же закончено, гармонично и целесообразно. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который вздумал бы убежать из нашей тюрьмы. Допустим, что смельчак обладает сверхъестественной геркулесовской силой и ломает замок на своей двери, – что он находит? Коридор, многократно прегражденный решетчатыми дверьми, способными выдержать канонаду, и вооруженных надзирателей. Допустим, что он убивает всех надзирателей, ломает все двери и выбирается на двор, – быть может, он думает, что он уже на свободе? А стены? А стены, что трижды каменным кольцом обвивают нашу тюрьму! 60

Допуская всю эту галиматью – я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на моем лице мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое 70

¹⁹⁾ Интересно то обстоятельство, что крик ворона, которому народное поверье приписывает злое и даже угрожающее значение, когда он раздается над головою, довольно верно воспроизводит своим звуком это чисто человеческое слово: кара! кара! В зимние сумерки, когда над пустынным полем и над крышею нашей тюрьмы носятся тучи бесприютного воронья, я слышу, даже сквозь толстые стекла, этот неумолчный и злоеющий крик: кара! кара! кара!

и беззаботное, но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной²⁰⁾. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста: читай, мой друг, читай, – говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать, – ты ничего не прочтешь на моем лице!

80 Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим: читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к г-же NN. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какою наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению г. начальника, из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери – мое изобретение. *Да, это я изобрел окошечко в двери.*

90 Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном, – но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же как Ньютону – его бином, Кеплеру – его законы вращения светил.

Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей: формы замков и т. п., и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора²¹⁾. Окошечко же в двери – мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.

Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах: однажды во время проверки некий арестант железной нож-

20) Лишь очень немногие люди, с чрезвычайно сильной волей, умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах в то время, как душа их, отданная во власть сновидениям, трепещет ужасами чудовищного кошмара, – но как исключения они не могут приниматься в соображение.

21) Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме: вместо прежних колец я ввел двойное полуовальное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность, ∞ ; впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение.

кой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодяя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась, но я был в отчаянии: великая *целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой*, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того несомненно возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее? 110

Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки; и действительно, по прошествии двух или трех недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения г. начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего “Дневника заключенного”, относящейся к тому времени (1 сент. 18...): 120

“Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят: он рассказывает, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он кажется виновным, – такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самим собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения”²²⁾. 130

И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы

²²⁾ Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей, – мне кажется абсолютно неосуществимой. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль.

140 в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека; но чего не может сделать один, то делает другой, и так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости.

Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорожими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ, имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти; характер у меня прекрасный, ровный, *сон крепкий*²³⁾, почти без сновидений. Фигурою своею, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько микельанджеловского Моисея – так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей.

160 Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех губительных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких, – пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными²⁴⁾. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству, а так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем несомненно

²³⁾ Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и не крепок.

²⁴⁾ Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное, так называемое “влияние среды”. Имея свою “средю” только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих часто пагубных влияний.

движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья²⁵⁾.

Мой день ясен; и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередой плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство – моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют всё, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком и что является только необходимым отражением общих законов²⁶⁾, но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и *всегда* неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареною которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какою проводятся казни: совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна²⁷⁾.

²⁵⁾ Известно, что все люди, обладающие могучею любовью к человечеству, как-то: пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники, умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот: все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен, – да простится мне эта маленькая шутка.

²⁶⁾ Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы *причинять* им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу.

²⁷⁾ Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей г. начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений.

Наконец есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворною, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе, и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. При-
210 знаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погубило бы на моем месте жертвою безумия, отчаяния, тоски – а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль; в пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно – как царь. Разружьте его – и
220 завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым потом, построю его! *Ибо я должен жить.*

Да простится мне невольный пафос последних строк, столь нейдущих к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроения моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов; истине же подобает спокойная твердость и холодная простота.

P. S. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.

Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так, позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать г. начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд, с разрешения г. начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю.

Это господин лет двадцати шести—восьми, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании²⁸⁾. Некоторая, вполне, впрочем, естественная, несдержанность в речах, страстная порывистость, с какой он рассказывает о себе, порою горький, даже иронический смех, а вслед за тем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удастся его извлечь даже прикосновением руки, — дополняют облик моего нового знакомого. Мне лично он не особенно симпатичен, и, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собеседника.

О своей прошлой жизни г. К. рассказал мне очень мало.

— Ну что там! Был художником, вот и все, — повторяет он с досадливой гримасой и совершенно отказывается говорить о том “безнравственном деянии”²⁹⁾, за которое присужден к одиночному заключению.

— Я не хочу развращать вас, дедушка, живите себе честно, — шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я

²⁸⁾ Господин К. принадлежит к хорошей семье, обладающей приличными средствами.

²⁹⁾ Меня, как психофизиолога, очень интересовали свойства этого загадочного деяния, за которым чувствуется какая-то извращенность.

допускаю единственно из желания сделать приятное г. начальнику тюрьмы, выпытав у узника действительную причину его страданий, принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. И действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению у г. К. ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, что тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, хохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. Горе г. К., вначале для меня не совсем понятное, заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель³⁰. Таким образом, благодаря свойству материала, прежде чем начать новую картину, г. К. должен уничтожить прежнюю, начисто стерши ее с грифельной доски; и это будто бы каждый раз доводит его почти до иступления.

– Вы не можете себе представить, что это значит, – рассказывал он, хватая мои руки своими тонкими, цепкими пальцами, – пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно, бываю очень весел и даже что-то там такое свишу, и раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме и свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался, по крайней мере. А вот когда кончу... нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает, дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг и топтать его ногами³¹. Вы понимаете меня?

– Понимаю, мой друг, вполне понимаю и сочувствую вам.

– Ей-богу? Ну так слушайте, дедушка. Уже последние штрихи я провожу с такою болью, с такою тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил – вы понимаете, что это значит? Это значит, что оно ожило, оно живет, что в нем уже есть своя таинственная жизнь. И в то же время оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво, как селедка, – вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки, глупец, радуюсь, плачу и радуюсь. Нет, думаю, этого уж я не уничтожу,

³⁰ Между прочим, поразительно искусство, с каким он овладел новым для него материалом: я видел некоторые его произведения, и, как мне кажется, они могут удовлетворить вкусу самого строгого знатока графических искусств; впрочем, я лично к живописи равнодушен, предпочитая ей живую, правдивую природу.

³¹ Рискованный образ, свидетельствующий о том, что мозг моего юного друга находится не в полном порядке.

оно так хорошо, что я его не уничтожу, пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового и писать не хочется, совсем не хочется. А все-таки страшно – вы понимаете меня?

– Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестает вам нравиться...

– Фу, дедушка, какую ерунду вы говорите! (Он так именно и выразился: “ерунду”.) Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если б он пожил, из него вышел бы настоящий подлец³²⁾, а когда он умирает... Нет, не то, дедушка, не то. Ведь я сам его убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть? А я почему знаю. А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка, творить! Да что я, каторжник, что ли?

– Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме.

– Дедушка, дедушка! Когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я же на убийцу похож. Случается, день, два хожу я около него... знаете, я раз палец себе на правой руке обкусал, чтоб не писать, ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мученья, творить, зная, что все это погибнет, вы понимаете это?

– Кончайте, мой друг, не волнуйтесь, потом я изложу мой взгляд.

К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей г. К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так напугали г. начальника тюрьмы, он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать, вообще проявил все признаки крайнего огорчения. С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека (по сравнению с собой я мог бы назвать его юношей), тщетно пытаюсь удержать его пальцы, разрывавшие одежду, – я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. “О пылкая юность, – подумал я, когда он несколько успокоился, и ласково разбирал рукою его тонкие, спутавшиеся волосы, – как легко ты впадаешь в отчаяние! Какой-то рисунок, который в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзой и склеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий!” Но, конечно, я не ска-

³²⁾ Почему из ребенка, если он останется жив, должен непременно выйти подлец? Удивительное легкомыслие.

зал этого моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями³³).

– Спасибо вам, дедушка, – сказал г. К., видимо успокоившись. – Говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным: лицо у вас такое почтенное, а в глазах... Вы никого не убивали, дедушка?

120 Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжкого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкому юноше:

– Вы художник, дитя мое, вам ведомы тайны человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей, подобно морю, отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым тридцать лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе?

130 Но, занятый своими мыслями, художник не обратил, по-видимому, особенного внимания на мои слова и продолжал упавшим голосом:

– Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок – я его уничтожил и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно, – продолжал он раздумчиво, потирая лоб, – лучше бы совсем разбить доску, тогда в наказание мне не дали бы новую...

– Вы лучше просто возвратите ее начальству.

140 – Ну хорошо, продержусь я еще неделю, а потом? Ведь я же знаю себя. Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку: возьми грифель, возьми грифель.

Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута и один конец искусно прихвачен спинкою кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройтись по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и отдернул одежду: *вся стена за ней была испещрена рисунками.*

Художник уже вскочил с постели, и так мы молча стояли друг против друга. С мягкой укоризной я сказал:

150 – Как вы могли себе позволить это, мой друг! Ведь вы же знаете правила³⁴ тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются!

³³) Человек так любит, чтобы с ним соглашались, что согласием в пустяках можно задешево купить его для весьма крупных и совсем для него неожиданных решений.

³⁴) Примечание третье к § 25 “Правил для заключенных”.

– Не знаю я никаких правил! – угрюмо сказал г. К.

– И потом, – уже строго продолжал я, – вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю вы не брали грифеля в руки...

– Конечно, не брал, – с странной насмешкой и даже вызовом сказал художник.

Вообще, даже будучи уличен, он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем виновато. Вглядевшись пристальнее в рисунки на стене, изображавшие каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался 160

странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша.

– Это йод? Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду?

– Нет, кровь.

– Кровь?

– Да.

Скажу откровенно, в эту минуту он мне даже понравился.

– Как вы добыли ее?

– Из руки.

– Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдающего 170 за вами в глазок?

Он хитро улыбнулся и даже подмигнул:

– А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?

Мои симпатии сразу рассеялись: я видел перед собою не особенно умного и, вероятно, уже сильно испорченного человека, даже не допускающего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помня, однако, данное мною г. начальнику обещание, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ре- 180 бенку, сказал ему:

– Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведенный в этой тюрьме, у меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков, и, сам подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки – как мне их ни жаль, ибо они искренно восхищают меня, – и я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо?

Он вяло ответил:

– Хорошо.

– По существу же вопроса я скажу вам следующее. В нашей тюрьме, где в настоящую минуту мы имеем печальное удоволь-

ствие находится, все построено по крайне целесообразному плану и строжайше подчинено законам и правилам. И то весьма строгое, сознаюсь, распоряжение, в силу которого так кратко и, скажу, эфемерно существование ваших творений, преисполнено глубочайшей мудрости. Предоставляя вам совершенствоваться в вашем искусстве, оно в то же время благо разумно ограждает других людей от вредного, быть может, влияния ваших произведений и, во всяком случае, логически заканчивает, довершает, укрепляет и выясняет значение вашего одиночного заключения. Что значит одиночное заключение в нашей тюрьме? Это значит, что человек один. А будет ли он один, если произведениями своими так или иначе будет делиться со сторонними лицами?

По выражению лица г. К. я заметил с чувством глубокой радости, что слова мои произвели на него надлежащее впечатление, из области поэтических вымыслов возвратив его в страну суровой, но прекрасной действительности. И, возвысив голос, я продолжал:

– Что же касается нарушенного вами правила, по которому нельзя делать ни надписей, ни рисунков на стенах нашей тюрьмы, то и оно не менее логично. Пройдут годы, на вашем месте окажется, быть может, такой же узник, как и вы, и увидит начертанное вами, – разве это допустимо! Подумайте! И во что бы наконец превратились, стены нашей тюрьмы, если бы каждый желающий оставлял на них свои кощунственные следы!³⁵⁾

– К черту!

220 Так, именно так выразился г. К. И сказал он это громко и даже как будто спокойно.

– Что ты хочешь этим сказать, мой юный друг?

– Хочу сказать, что ты можешь издыхать здесь, мой старей друг³⁶⁾, а я отсюда уйду.

– Из нашей тюрьмы бежать нельзя, – сурово возразил я.

– А вы пробовали?

– Да. Пробовал.

Он с недоверием посмотрел на меня и усмехнулся. Он усмехнулся!

230 – Вы трус, дедушка. Вы просто жалкий трус.

³⁵⁾ Конечно, стены можно перекрашивать, что и делается почти всякий раз, как на место одного умершего или выбывшего узника является другой; но это сопряжено с расходами и не всегда достигает цели: сковырнув верхний слой краски, узник может найти следы надписи или рисунка.

³⁶⁾ Буквально так.

Я – трус! О, если бы этот самодовольный щенок знал, какую бурю гнева поднял он в моей душе, – он завизжал бы от страха и спрятался под кровать. Я – трус! Мир обрушился мне на голову и не раздавил меня, и из его страшных обломков я создал новый мир – по моему чертежу и плану; все злые силы жизни: одиночество, тюрьма, измена и ложь, все ополчились на меня – и все их я подчинил своей воле. И я, подчинивший себе даже сны, я – трус!.. Впрочем, не буду утомлять внимание моего любезного читателя этими лирическими отступлениями, не идущими к делу. Продолжаю.

240

После некоторого молчания, нарушаемого лишь громким дыханием г. К., я грустно сказал ему:

– Я – трус! И это вы говорите человеку, который пришел с единственной целью – помочь вам! Помочь не только словом, к которому вы, к сожалению, безучастны, но и делом.

– Помочь? Каким же это образом?

– Я достану вам бумагу и карандаш.

Художник молчал. И голос его был тих и робок, когда он спросил запинаясь:

– И... рисунки мои... останутся?

250

– Да, останутся.

Трудно передать тот буйный восторг, которому отдался экзальтированный юноша: ни в горе, ни в радости не знает границ наивная и чистосердечная юность. Он горячо жал мне руки, тормошил меня, беспокоя мои старые кости, называл меня другом, отцом, даже “милой старой мордашкой” (!) и тысячью других ласковых и несколько наивных слов. К сожалению, беседа наша затянулась, и, несмотря на уговоры юноши, не желавшего расстаться со мной, я поторопился к себе.

К г. начальнику тюрьмы я не пошел, так как чувствовал себя несколько взволнованным. До глубокой ночи, как в ту далекую пору, я шагал по камере, стараясь понять, какой способ бежать из нашей тюрьмы, неизвестный мне, открыл этот далеко не умный юноша. Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? Нет, я допустить этого не могу, я не должен этого допускать. И, постепенно восстанавливая в памяти все, что я знал о нашей тюрьме, я понял, что г. К. напал на какой-нибудь старый, давно мною отброшенный способ, в неосуществимости которого убедится так же, как и я. Из нашей тюрьмы бежать невозможно.

260

Но еще долго, терзаемый сомнениями, измерял я шагами мою одинокую камеру, придумывая различные планы, как облегчить положение г. К. и тем на всякий случай отвлечь его от мысли о

270

бегстве: ни в каком случае он не должен бежать из нашей тюрьмы. Затем я предался спокойному и глубокому сну, каким благодетельная природа наградила людей с чистой совестью и ясною душою.

280 Между прочим, чтобы не забыть, упомяну, что в эту ночь я уничтожил мой “Дневник заключенного”. Уже давно я собирался сделать это, но та естественная жалость и малодушная любовь, которую мы питаем даже к нашим ошибкам и недостаткам, удерживала меня; к тому же в “Дневнике” не было ничего предосудительного, что могло бы так или иначе компрометировать меня. И если теперь я уничтожил его, то единственно из желания предать полному забвению мое прошлое и избавить возможного читателя от скуки длинных жалоб и стенаний, от ужаса кошмарных проклятий. Да почиет в мире.

Передав г. начальнику тюрьмы содержание моей беседы с г. К., я попросил не подвергать его взысканию за испорченные стены, чтобы этим не выдать меня, и предложил следующий план спасения бедного юноши, принятый г. начальником после некоторых, чисто, впрочем, формальных, возражений.

– Ему важно, – сказал я, – чтобы рисунки его сохранялись, – а в чьих руках они находятся, это, по-видимому, для него безразлично. Пусть же он, пользуясь своим искусством, сделает ваш портрет, г. начальник, а затем всего низшего персонала! Не говоря о чести, которую вы окажете ему этим снисхождением, чести, которую он наверное сумеет оценить, рисунок может оказаться не бесполезным и для вас, как весьма оригинальное украшение вашей гостиной или кабинета³⁷). Наконец, ничто не мешает нам уничтожить рисунки, если мы этого захотим, так как наивный и несколько самовлюбленный юноша даже не допускает, вероятно, мысли, чтобы чья-нибудь рука поднялась на его произведения.

Улыбнувшись, г. начальник с крайней, весьма польстившей меня вежливостью предложил, чтобы серия портретов была начата с меня. Привожу дословно то, что сказал мне г. начальник: 20

– Ваше лицо так и просится на полотно. Мы повесим ваш портрет в канцелярии.

Не иначе как яростью творчества могу я назвать ту страстную, молчаливую возбужденность, с какой г. К. воспроизводил мои черты. Обычно болтливый, здесь он молчал целыми часами, оставляя без ответа мои шутки и указания.

– Молчите! молчите! – почти кричал он на меня, не обращая внимания на мои слова, что, когда я молчу, мое лицо принимает выражение не свойственной мне мрачности и только добродушный, благосклонный смех мог бы передать истинный его характер³⁸). 30

– Молчите, дедушка, молчите – вы лучше всего, когда молчите, – настойчиво повторял он, вызывая невольную улыбку перед своим увлечением профессионала.

Мой портрет, приложенный к настоящей книге, напомнит вам, благосклонный читатель, о том загадочном свойстве худож-

³⁷) Г. начальник – большой ценитель искусств, особенно живописи и скульптуры.

³⁸) Вообще, я с детства отличаюсь довольно веселым нравом; нередкие шутки, к которым я позволяю себе прибегать, вероятно, не остались незамеченными моим благосклонным читателем.

ников, по которому очень часто собственные чувства, даже внешние черты они переносят на объект своего творчества³⁹). Так, с поразительным сходством передав нижнюю часть моего лица, где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства, г. К., несомненно, перенес в мои глаза свою собственную муку и даже ужас. Их остановившийся, застывший взгляд, мерцающее где-то в глубине безумие, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой – все это не мое.

– Да разве это я? – воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо. – Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным.

50 – Вы, дедушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повесите?

Он снова стал болтлив как сорока, этот милый юноша, и все лишь потому, что его жалкая мазня сохранится на некоторое время. О пылкая, о счастливая юность! Здесь я не мог воздержаться от маленькой шутки, имевшей целью несколько проучить самоуверенного юнца, и с улыбкой спросил:

– Ну, как же, по-вашему, господин художник, убийца я или нет?

60 Художник, прищутив один глаз, другим критически оглядел меня и портрет: И, насвистывая какую-то польку, небрежно ответил:

– А черт вас знает, дедушка!

Я улыбался. Г. К. понял наконец мою шутку, засмеялся и затем с внезапной серьезностью сказал:

– Вот вы говорите: человеческое лицо, а знаете вы, что нет на свете ничего хуже человеческого лица? Даже говоря правду, даже крича о правде, оно лжет, лжет, дедушка, потому что говорит на своем языке⁴⁰). Знаете, дедушка, со мной был ужасный случай,

³⁹) Небезызвестен тот курьезный факт, что художники, которые либо сами курносы, либо имеют курносых жен, – переносят эту черту на свои картины; только этим можно объяснить характер лица у некоторых Мадонн.

⁴⁰) К сожалению, г. К. здесь, несомненно, прав. Как правда, так и ложь для выражения своего пользуются одними и теми же человеческими словами, одними и теми же проявлениями чувств, одною и тою же игрой физиономии. Всякий, кому приходилось в жизни встречать искусного лжеца, знает на себе могущественное действие его слез, заклятий и уверений; искренность слез при этом может быть настолько велика, что сам лжец обманывается ею – к искреннему удовольствию холодного мыслителя, сознающего весь трагикомизм положения.

это было в одной картинной галерее в Испании, я рассматривал Христа, и вдруг... Христос, ну вы понимаете, Христос: огромные 70 глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь – ну, одним словом, Христос. И вдруг меня ударило: вдруг мне показалось, что это – величайший преступник, томимый величайшими, неслыханными муками раскаяния... Дедушка, что вы так смотрите на меня? Дедушка!

Приблизив свои глаза к самому лицу художника, я осторожным шепотом, как того требовали обстоятельства, спросил его медленно, разделяя каждое слово:

– Не думаете ли вы, что когда дьявол искушал Его в пустыне, то Он не отрекся от него, как потом рассказывал, а согласился, 80 продал себя – не отрекся, а продал, понимаете? Не кажется ли вам это место в Евангелии сомнительным?

На лице моего юного друга выразился чрезвычайный испуг; обеими ладонями упершись в мою грудь, как бы отталкивая меня, он произнес таким тихим голосом, что я едва мог разобрать его невнятные слова:

– Что такое? Что вы говорите? Иисус – продался... Зачем?

Я тихо пояснил:

– А чтобы люди, дитя мое, чтобы люди поверили в Него!

– Ну?!

90

Я улыбался. Глаза г. К. стали круглые, как будто его душила петля; и вдруг, с тем неуважением к старости, которое отличало его, он резким толчком свалил меня на кровать и сам отскочил в угол. Когда же я с медленностью, естественной для моего возраста, стал выбираться из неудобного положения, в какое поставила меня несдержанность этого юнца⁴¹⁾, он громко закричал на меня:

– Не смей! Не смей вставать! Дьявол!

Но я и не думал вставать; я только сел на кровати и уже сидя с невольной усмешкой над горячностью юноши, добродушно покачал головою и засмеялся:

100

– Ах, юноша, юноша! Ведь вы же сами вовлекли меня в этот богословский разговор.

Но он упрямо таращил на меня свои глаза и твердил:

– Сидите, сидите! Я *этого* не говорил. Нет, нет!

– Нет, это вы сказали, вы, мой юный друг, вы. Помните, Испания, картинная галерея... Ах, маленький шутник! Сказал и отказывается, насмехаясь над неуклюжей старостью. Ай-ай-ай!

Г. К. опять опустил руки и тихо *сознался*:

⁴¹⁾ Я упал навзничь, головою между подушкой и спинкою кровати.

– Да, это я сказал. Но вы, дедушка...

110 Не помню, впрочем, что он говорил потом: так трудно запомнить всю ребяческую болтовню этого доброго, но, к сожалению, слишком легкомысленного молодого человека. Помню только, что мы расстались друзьями и он горячо жал мне руки, выражая свою искреннюю признательность, даже называл меня, насколько помнится, своим “спасителем”.

Между прочим, мне удалось убедить г. начальника, что портрет даже такого человека, как я, но все же узника, не подобает месту столь торжественно официальному, как канцелярия нашей тюрьмы. И сейчас портрет находится на стене моей камеры⁴²⁾,
120 приятно разнообразя несколько холодную монотонность ее безупречно белых стен.

Оставив на время нашего художника, ныне увлекающегося портретом г. начальника тюрьмы, я перейду к дальнейшему повествованию.

⁴²⁾ Конечно, с разрешения г. начальника.

VII

Моя душевная ясность, как я уже имел удовольствие сообщить читателю, создала изрядный круг моих почитателей и почитательниц. Не без понятного волнения расскажу о тех приятных часах задушевного разговора, которые назову я скромно “Мои беседы”.

Затрудняюсь объяснить, чем заслужил я это, но большинство входящих относятся ко мне с чувством глубочайшего почтения, даже преклонения, и только немногие являются с целью спора, всегда, впрочем, имеющего умеренный и приличный характер. 10
Обычно я усаживаюсь посредине комнаты, в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне на этот случай г. начальником, слушатели же тесно окружают меня, и некоторые наиболее экзальтированные юноши и девицы усаживаются у моих ног.

Имея перед собою аудиторию, более чем наполовину состоящую из женщин и вполне единодушно настроенную в мою пользу, я обычно обращаюсь не столько к уму, сколько к чуткому и правдивому сердцу. К счастью, я обладаю некоторым ораторским даром, а те довольно обычные в ораторском искусстве эффекты, к которым прибегают и прибегали все проповедники начиная, 20
вероятно, с Магомета⁴³⁾ и которыми я умею пользоваться недурно, — позволяют мне влиять на слушателей моих в желаемом направлении. Вполне понятно, что перед милыми слушательницами моими я не столько мудрец, открывший тайну железной решетки, сколько великий страдалец за не совсем им понятное, но правое дело; чуждаясь рассуждений отвлеченных, они с жадностью ловят каждое слово сочувствия и ласки и отвечают тем же. Предоставляя им любить меня и верить в мое непреложное познание жизни, я даю им счастливую возможность хотя бы на время уйти от холода жизни, ее мучительных сомнений и вопросов. 30

Скажу откровенно, без ложной скромности, которую я ненавижу, как лицемерие: бывали лекции, когда сам я, находясь в состоянии пафоса, вызывал в моей аудитории чрезвычайно повышенное настроение, у некоторых, наиболее нервных посетительниц моих переходившее в истерический смех и слезы. Конечно, я не пророк, я просто скромный мыслитель, но едва ли кому-

⁴³⁾ Достаточно взглянуть на любую картину, изображающую знаменитого проповедника в момент его деятельности: как в позе, так и в выражении лица, то гневно-решительного, то благостного, полного любви и ласки, вы найдете все признаки, по которым ораторское искусство отличается от пустой и бесцветной болтовни.

нибудь удастся убедить некоторых моих почитательниц, что в речах моих нет пророческого смысла и значения.

Помню одну такую лекцию, имевшую место два месяца тому
40 назад. В эту ночь мне, против обыкновения, как-то не спалось; может быть, просто потому, что была полная луна, влияющая, как известно, на сон и делающая его прерывистым и тревожным. Смутно помню то странное ощущение, какое испытал я, когда бледный диск луны показался за моим окном и железные квадраты черными зловещими линиями разрезали его на маленькие серебряные участки. “Значит, и луна так же”, – думал я сквозь сон, прозревая какую-то новую огромную и важную истину, к сожалению тотчас же забытую при полном пробуждении⁴⁴⁾.

И, отправляясь на лекцию, я чувствовал себя утомленным и
50 склонным скорее к молчанию, нежели к беседе: ночное видение беспокоило меня. Но когда я увидел эти милые лица, эти глаза, полные веры и горячей мольбы о дружеском совете, когда я узрел перед собою эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сева, – мое сердце загорелось восторгом, жалостью и любовью. Минуя обычные формальности, какими сопровождается встреча людей, отклонив от себя приветственно протянутые руки, я с благословляющим жестом, которому умею придать особое величие, обратился к зрителям, взволнованным уже одним видом моим.

60 – Придите ко мне, – воскликнул я, – придите ко мне вы все, ушедшие от той жизни: здесь, в тихой обители, под святым покровом железной решетки, у моего любвеобильного сердца, вы найдете покой и отраду. Возлюбленные мои чада, отдайте мне вашу печальную, исстрадавшуюся душу, и я одену ее светом, я перенесу ее в те благодатные страны, где никогда не заходит солнце извечной правды и любви!

Уже многие начали плакать; но еще не настало время для слез, и, прервав их жестом отеческого нетерпения, я продолжал:

70 – Ты, милая девушка, пришедшая из того мира, что называет себя свободным, – что за грустные тени лежат на твоём милом, прекрасном лице? А ты, мой смелый юноша, почему так бледен

⁴⁴⁾ Как человек смелый, болтливый и решительный, попадая в собрание людей тихих, заглушает их невнятные голоса – так разум, когда человек бодрствует, забывает все иные голоса, глухо доносящиеся из потаенных глубин человеческого организма. И только во сне, когда утомленный разум, потерявший нить логического мышления, бессильно скачет через нелепые провалы, – они начинают звучать громко и властно, часто оказываясь несколько не глупее, чем сам господин великий разум.

ты? Почему не упоение победою, а страх поражения вижу я в твоих опущенных глазах? И ты, честная мать, скажи мне: какой ветер сделал твои глаза красными? Какой дождь, неистово бушующий, сделал влажным твое старческое лицо? Какой снег так выбелил твои волосы – ведь они были темными когда-то!

Но поднявшийся плач и вопли почти заглушили окончание моей речи, да и сам я, сознаюсь в этом без стыда, смахнул с глаз не одну предательскую слезу. Не дав окончательно утихнуть волнению, я возгласил голосом суровой и правдивой укоризны: 80

– Не оттого ли вы плачете, что темна ваша душа, поражена несчастьями, ослеплена хаосом, обескрылена сомнениями, – отдайте же ее мне, и я направлю ее к свету, порядку и разуму. Я знаю истину! Я постиг мир! Я открыл великое начало целесобразности! Я разгадал священную формулу железной решетки! Я требую от вас: поклянитесь мне на холодном железе ее квадратов, что отныне без стыда и страха вы исповедуете мне все дела ваши, все ошибки и сомнения, все тайные помыслы души и мечты вожделеющего тела!⁴⁵⁾ 90

– Клянемся! Клянемся! Клянемся! Спаси нас! Открой нам правду! Возьми на себя наши грехи! Спаси нас! Спаси нас! – раздалась многочисленная восклицания.

Должен упомянуть о печальном инциденте, разыгравшемся как раз на этой лекции. В тот именно момент, когда возбуждение достигло наивысшего предела и уже открылись сердца, чтобы глаголать, некий юноша, вида хмурого и озлобленного, громко воскликнул, обращаясь, по-видимому, ко мне:

– Лжец! Не слушайте его, он лжет!

Благосклонный читатель легко поверит, что лишь с большим трудом удалось мне спасти неосторожного от ярости собравшихся: оскорбленные в том самом ценном, что есть у человека, в его вере в добро и божественный смысл жизни, слушательницы мои толпою накинулись на безумца и, еще одна минута, подвергли бы его жестокому избиению. Памятуя, однако, что больше радости у пастыря об одном грешнике раскаявшемся, нежели о десяти праведниках, я отвел юношу в сторону, где бы никто не мог нас услышать, и вступил с ним в непродолжительную, впрочем, беседу. 100

– Это меня, дитя мое, вы назвали лжецом?

110

⁴⁵⁾ Пусть не смущается мой читатель несколько повышенным тоном моей речи: когда желаешь привлечь людей на свою сторону, необходимо внушить им, что ты знаешь и понимаешь больше, чем они.

Тронутый моей снисходительностью, бедный юноша сконфузился и запинаясь ответил:

– Извините меня за резкость, но мне кажется, что вы говорите неправду.

– Я понимаю вас, мой друг: вас смутил, вероятно, тот несколько преувеличенный экстаз, в котором находятся женщины, и вы, как человек умный, не склонный к мистическому, заподозрили меня в обмане, в гнусном обмане. Нет, нет, не извиняйтесь; я понимаю вас. Поймите же и вы меня: именно из трясины суеверий, из глубокого омута предрассудков и необоснованных верований
120 хочу я извлечь их заблудившуюся мысль и поставить ее на твердые основы строго логического мышления. Железная решетка, о которой я упомянул, отнюдь не есть какой-либо мистический знак, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вам, как человеку умному, я с готовностью изложу, объясню эту формулу: решетка – это та схема, в которой расположены управляющие миром законы, упраздняющие хаос и на место его восстанавливающие забытый людьми строгий, железный, ненарушимый порядок. Как человек со светлой головою, вы
130 легко поймете...

– Простите, я действительно не понял вас, и, если позволите, я... Но зачем же вы заставили их клясться?

– Мой друг, душа человеческая, мнящая себя свободной и постоянно томящаяся этой лживой свободой, неизбежно требует для себя уз, каковыми являются для одних клятва, для других присяга, для третьих просто честное слово. Ведь вы же даете честное слово?⁴⁶⁾

– Даю.

– И этим вы только стремитесь ввести себя в мировую гармонию, где все строжайше подчинено закону. Разве падение камня не есть выполнение клятвы, той клятвы, что называется законом тяготения?
140

Не буду передавать подробно этой и последующих наших бесед, приведших к тому, что строптивый и несдержанный юноша, оскорбивший меня наименованием лжеца, стал одним из самых горячих моих приверженцев и не только принес требуемую клятву, но выполнил и многое, к чему обязывало его нахождение в среде моих учеников.

Возвращусь к остальным. За то время, как я беседовал с юношей, жажда покаяния достигла у моих очаровательных прозелиток крайнего предела: не имея силы дожидаться меня, они в страст-

⁴⁶⁾ На этом основано большинство обрядов, напр. брак.

ном испугу исповедовались друг другу, придавая комнате вид сада, где одновременно щебечут десятки райских птиц. Когда же я освободился, они одна за другою в глубокой, интимной, сокрытой от постороннего слуха беседе открыли мне всю свою взволнованную душу.

Тайна исповеди священна, и, конечно, я не позволю себе ни здесь, ни в другом месте разглашать того, что в слезах, иногда с краской нестерпимого стыда, доверили мне мои милые “исповедницы”. Связанные клятвой, имеющие слушателем бесстрастного старца, которому чуждо все житейское, мелочное, грязное, они трепетно вливали в мое ухо горячую исповедь, подолгу останавливаясь на тех; по виду незначительных, но по существу важных подробностях, которые составляют тело события⁴⁷⁾. Если порою их и смущали мои прямые, настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновение; и в полной обнаженности вставала предо мною таинственная душа человека. Я видел, как изо дня в день, из часа в час боролись в ней изначальный и страшный хаос с жадным стремлением к гармонии и порядку; как в кровавой борьбе извечной лжи с бессмертной правдой непостижимыми путями ложь переходила в правду и правда становилась ложью. Все силы, какие есть в мире, нашел я в душе человека, и не дремала ни одна из них, и в буйном водовороте своем каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основанием которому служит морская пучина, а вершиною – небо. И каждый человек, как я это познал и увидел, был подобен тому богатому и знатному господину, который устроил пышный маскарад в замке своем и осветил замок огнями; и съехались отовсюду странные маски, и, любезно кланяясь, приветствовал их господин, тщетно вопрошая, кто это; и приходили новые, все более странные, все более ужасные, и все любезнее кланялся господин, шатаясь от усталости и страха. А они смеялись и нашептывали странные речи об извечном хаосе, откуда пришли они, покорные, на зов господина⁴⁸⁾. И огни горели в замке – и горели в замке огни – и далеко свети-

⁴⁷⁾ Если моему благосклонному читателю когда-либо изменила жена, то ему, вероятно, было интересно знать не только то, что данный факт совершился, но и то, как и при каких обстоятельствах (вечер, утро, помещение и пр.) произошло событие. Иначе ему трудно будет судить о степени виновности горячо, быть может, любимой супруги.

⁴⁸⁾ Хотя я глубоко убежден, что мой вдумчивый читатель вполне понимает меня, все же, во избежание недоразумений, считаю необходимым ему разъяснить приведенную аллегория: замок – это душа; господин – это человек, властитель своей души; странные маски – это те силы, которые действуют в душе человека и в таинственное существо которых он не может проникнуть никогда.

лись окна, навевая мысль о празднике, и все любезнее, все ниже, все веселее кланялся обезумевший господин. Мой благосклонный читатель легко поймет, что к чувству некоторого страха, который я испытал, вскоре присоединился глубочайший восторг и даже умиление: ибо уже вскоре увидел я, что побежден извечный хаос и поднимается к небу торжествующая песня светлой гармонии. Не упоминая, конечно, имен, даже избегая всякого намека, могущего установить *личность*, я скажу, что среди предавшихся мне был убийца;⁴⁹⁾ но и в душе убийцы открыл я неиссякаемый родник чистой правды и бесконечного стремления к добру.

Не обошлось, к сожалению, дело без недоразумений, столь обычных в нашей жизни⁵⁰⁾.

Несмотря на это, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехом, и число посвященных растет, хотя условия моей жизни ставят этому весьма серьезные преграды. Не без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посетительницы стараются выразить свои чувства любви и поклонения. Не боясь вызвать улыбку на устах читателя, так как и сам я чувствую *комичность* дальнейшего, – сообщу, что в числе приношений, особенно в первое время, было очень много фруктов, пирожков и различных изысканных лакомств. *Боюсь, однако, что никто не поверит, что я действительно отказался от таких приношений*, предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем излишества, на которые в избытке любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочим, на прошлой моей лекции одна милая и почтенная дама привезла мне целую корзину живых цветов. К сожалению, я принужден был в выражениях весьма любезных отказаться и от этого подарка.

– Простите, сударыня, но цветы не входят в систему нашей тюрьмы. Я очень ценю ваше великодушное внимание – целую ваши ручки, сударыня! – но от цветов я принужден отказаться.

⁴⁹⁾ Упомяну только, что это была женщина.

⁵⁰⁾ Так, одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цель моих вопросов, правда касавшихся довольно интимных вещей, и создала на этой почве целую историю, могшую иметь неприятные последствия. Считаю нужным упомянуть об этом ничтожном факте лишь для того, чтобы еще раз в этих строках выразить горячую признательность г. начальнику нашей тюрьмы, с присущей ему прозорливостью сумевшему разобраться, где правда и где ложь, и поставить легкомысленную и вздорную девицу на надлежащее место. Впрочем, на некоторое, весьма непродолжительное время собеседования наши пришлось прекратить: возмущенный несправедливостью, я почувствовал себя таким расстроенным, что, несмотря на уговоры г. начальника, утверждавшего, что если общество мне необходимо, то я еще более необходим для общества, – я предпочел уединиться.

Идя тернистым путем подвига и самоотречения, я не должен ласкать свой взгляд эфемерной и призрачной красотой этих очаровательных лилий и роз. В нашей тюрьме все цветы гибнут, сударыня.

Вчера же другая дама доставила мне очень ценное распятие из слоновой кости, фамильную, как она сказала, драгоценность. Не страдая грехом лицемерия, я откровенно сказал щедрой дарительнице, что моя мысль, воспитанная в законах строго научного мышления, не может признать ни чудес, ни божественности Того, Кто справедливо именуется Спасителем мира. “Но в то же время, – сказал я, – с глубочайшим уважением я отношусь к Его личности и безгранично чту Его заслуги перед человечеством”.

– Если я вам скажу, сударыня, что святое Евангелие составляет уже давно мою настольную книгу, что нет дня в моей жизни, когда я не развернул бы этой великой книги, черпая в ней силу и мужество для прохождения моего нелегкого пути, – вы поймете, что ваш щедрый дар не мог попасть в более подходящие руки⁵¹⁾. Отныне, благодаря вам, печальное иногда уединение моей камеры исчезает: я не один. Благословляю тебя, дочь моя. 230

Здесь не могу умолчать о тех странных размышлениях, к которым привело меня распятие, будучи повешено рядом с моим портретом. Это было в сумерки; за стеною на невидимой церкви тягуче звонил колокол, сзывая верующих; вдалеке, по пустынному, поросшему бурьяном полю черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль; и тихо было в нашей тюрьме, как в гробнице. Я долго с вниманием всматривался в черты Иисуса, столь покойные, столь радостные в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо смотрело со стены. И с привычкой вслух обращаться к неодушевленным предметам, создавшейся долгими годами уединения, я шутливо сказал неподвижному распятию: 240

– Здравствуй, Иисус! Рад приветствовать Тебя в нашей тюрьме. Здесь нас трое: Ты, я и тот, что смотрит со стены, и, надеюсь, мы трое уживемся в мире и добром согласии. Тот молчит и смотрит. Ты молчишь, и глаза Твои закрыты, – я буду говорить за троих: верный знак того, что согласие наше никогда не нарушится. 250

Те оба молчали, и, продолжая шутку, я обратил мою речь к портрету. Укоризненно покачав головой, я сказал:

⁵¹⁾ Настоятельно рекомендую моему читателю эту великую книгу; только советую читать ее с глубочайшим вниманием, вникая в смысл каждого слова, каждой, как будто случайной, недомолвки.

– Куда ты смотришь так пристально и странно, мой неизвестный друг и сожитель? В глазах твоих тайна и укор – ужели ты дерзашь укорить Того? Отвечай!

И, делая вид, что портрет отвечает, я продолжал измененным голосом, с выражением крайней суровости и безграничной скорби:

– Да, я укоряю Его. Иисус, Иисус! Зачем так чист, так благоденствен Твой лик? Только по краю человеческих страданий, как по берегу пучины, прошел Ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась Тебя, – мне ли, человеку, велишь Ты погрузиться в черную глубину? Велика Твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет в ней одного маленького, но очень интересного штришка: ужаса бесцельности!

Здесь, с выражением гнева, я перебил речь портрета.

– Как смеют, – воскликнул я, – как смеют в нашей тюрьме говорить о бесцельности?

Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто еще крепче сомкнув их, ответил тихо:

– Кто знает тайны Иисусова сердца?

Я расхохотался, и мой уважаемый читатель легко поймет этот смех: оказалось, что я, холодный и трезвый математик, обладаю чуть ли не поэтическим талантом и могу сочинять очень интересные комедии. Мною же придуманный, но все же неожиданный для меня ответ Иисуса показался мне столь восхитительным, что три или четыре раза я с упоением повторил его.

– Кто знает тайны Иисусова сердца?

Не знаю, чем бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовил громовый ответ со стороны моего почтенного сожителя, когда появление тюремщика, принесшего пищу, внезапно прекратило ее. Но, видимо, лицо мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный человек с суровым сочувствием спросил:

– Молились?

Не помню, Впрочем, что я ответил ему.

В нашей тюрьме часы для употребления пищи распределены так: утром мы получаем горячую воду и хлеб, в двенадцать часов дня нам дают обедать, а в шесть вечера вместе с горячей водой дают и ужин: что-нибудь простое, неприхотливое, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища в общем несколько однообразна, но это и к лучшему, так как, не останавливая внимания нашего на суетных попытках угодить желудку, тем самым освобождают дух наш для возвышенных занятий.

VIII

На прошедшей неделе, в воскресенье, в нашей тюрьме случилось большое несчастье: известный читателю г. К., художник, покончил жизнь свою самоубийством, бросившись головой вниз со стола на каменный пол. Падение и сила удара были так ловко рассчитаны несчастным молодым человеком, что череп рассекся надвое. Горе г. начальника тюрьмы не поддается описанию. Призвав меня к себе в кабинет, г. начальник в весьма гневных и резких выражениях, даже не подав мне руки, упрекнул меня в обмане и успокоился только после моих горячих извинений и 10 обещания, что впредь подобные случаи не повторятся: я составлю такой проект надзора над преступниками, по которому самоубийства станут невозможными. Также огорчена смертью художника и почтенная супруга г. начальника, портрет которой остался незаконченным.

Конечно, я и сам не ожидал такого исхода, хотя уже за несколько дней до самоубийства г. К., при одном случае, он возбуждал во мне сильное беспокойство. Именно: пришедши к нему в камеру с утренним приветом, я с изумлением увидел, что г. К. *вновь сидит перед грифельной доской* и чертит на ней каких-то 20 человечков.

— Что это значит, мой друг? — осведомился я с осторожностью, к которой обязывал меня мрачный и несговорчивый нрав юноши. — А как же портрет господина младшего помощника?

— К черту!

— Но ведь вы же...

— К черту!

После некоторого молчания я рассеянно заметил:

— Ваш портрет господина начальника пользуется большим успехом. Хотя некоторые из видевших и утверждают, что правый 30 ус несколько короче левого...

— Короче?

— Да, короче. Но в общем находят, что сходство схвачено весьма удачно.

Г. К. отложил грифель и по виду совершенно спокойно сказал:

— Скажите вашему начальнику, что больше рисовать всю эту тюремную сволочь⁵²⁾ я не стану.

После этих слов мне оставалось только удалиться, что я и вознамерился сделать. Но г. К., не могший обойтись без излияний, 40 схватил меня за руку и с обычной горячностью сказал:

⁵²⁾ Буквально.

– Вы подумайте, дедушка, что это за ужас. Каждый день пере-
до мною новая отвратительная рожа⁵³⁾. Сидит и смотрит на меня
лягушечьими глазами. Что это? Сперва я смеялся, мне даже нра-
вилось, но когда каждый день лягушечьи глаза, мне стало страш-
но. А он еще квакать начинает: ква-ква! Что это?

В глазах художника действительно был какой-то страх, даже
безумие, пожалуй, – то безумие, которое уже вскоре свело его в
столь преждевременную могилу.

50 – Дедушка! Нужно что-нибудь красивое, поймите меня.

– А супруга господина начальника? Разве...

Умолчу о тех крайне неприличных выражениях, в каких г. К.,
под влиянием возбуждения, отозвался о даме. Должен, однако,
признаться, что до известной степени художник был прав в своих
жалобах. Я несколько раз присутствовал при сеансах и заметил,
что все позировавшие для художника держались не совсем есте-
ственно. Люди искренние и наивные, они, очевидно, в сознании
необычности и важности своего положения, в убеждении, что
60 черты их лица, увековеченные на полотне, перейдут к потомству,
несколько преувеличивали те свойства, которые так характерны
для их высокого и ответственного назначения в нашей тюрьме.
Некоторая напыщенность поз, преувеличенное выражение су-
ровой властности, явное сознание собственной значительности
и отсюда видимое пренебрежение к предмету, на который об-
ращены их взоры, – все это искажало их добрые и приветливые
лица⁵⁴⁾. Но не понимаю, что ужасного нашел художник там, где
было место лишь для улыбки. Более того, меня искренно возму-
тило то поверхностное отношение, с каким художник, считаю-
щий себя талантливym и умным, прошел мимо людей, не заметив,
70 что у каждого из них теплится искра Божия. В поисках какой-то
фантастической красоты он легкомысленно прошел мимо тех ис-
тинных красот, которыми полна душа человека. Не могу здесь
не пожалеть о тех несчастных людях, подобных г. К., которые,
в силу какого-то особенного устройства их мозгов, всегда обра-
щают свои взоры в сторону темного, когда так много радости и
света в нашей тюрьме!⁵⁵⁾

⁵³⁾ Буквально.

⁵⁴⁾ Мой благосклонный читатель не осудит строго этих простых и честных лю-
дей, если вспомнит тот общеизвестный факт, что даже великие мыслители,
артисты и государственные мужи, позируя перед художником или фотогра-
фом, неизбежно принимают более или менее значительную позу, которая
должна уже сама по себе свидетельствовать об их уме, таланте и высоком
искусстве в управлении людьми.

⁵⁵⁾ Так называемый пессимизм не есть научная теория, а просто скверное
устройство мозгов. Ведь есть же скверные часы, которые всегда показывают
время неверно.

Высказав все это г-ну К., я услышал, к сожалению, все тот же стереотипный и неприличный ответ:

– К черту!

Мне оставалось только пожать плечами, что я и сделал; художник же, вдруг совершенно изменив тон и обращение, серьезно обратился ко мне с вопросом, также, по моему мнению, достаточно неприличным:

– Зачем вы лжете, дедушка?

Конечно, я удивился:

– Я – лгу?!

– Ну как хотите, ну пусть правду, но только зачем? Я вот смотрю и думаю: зачем? зачем?

Мой благосклонный читатель, хорошо знающий, *чего стоила мне правда*, легко поймет мое глубокое негодование; умышленно 90 привожу эту дерзкую и подобные ей *клеветнические* фразы, чтобы показать, в какой атмосфере злобы, недоверия и неуважения приходится мне проходить тяжкий путь испытания. А он грубо настаивал:

– Нет, мне довольно ваших улыбок, вы мне прямо скажите: зачем?

Тогда я, признаюсь, вспылил:

– Ты хочешь знать, зачем говорю я *правду*? Затем что я ненавижу ложь и предаю ее вечному проклятию! Затем что роковая судьба сделала меня жертвою несправедливости, и, как жертва, 100 как Тот, Кто принял на Себя великий грех мира и его великие страдания, я хочу указать людям путь. Жалкий эгоист, ты знаешь только себя и свое несчастное искусство, а я – я люблю людей.

Гнев мой возрстал, я чувствовал, как надуваются жилы на моем лбу:

– Безумец, жалкий маляр, несчастный школьник, влюбленный в краски! Перед тобой проходят люди, а ты только и видишь, что лягушечьи глаза – как повернулся твой язык, чтобы сказать это? О, если бы хоть раз ты заглянул в человеческую душу! Какие 110 сокровища нежности, любви, кроткой веры, святого смирения открыл бы ты там. И тебе, дерзкому, показалось бы, что ты вошел в храм – светлый, сияющий огнями храм. Но не мечите бисера перед свиньями, – сказано про таких, как ты.

Художник молчал, подавленный моей гневной и, к сожалению, не совсем сдержанной речью, наконец вздохнув, он сказал:

– Простите меня, дедушка, я говорю глупости, конечно, но я так несчастен и так одинок. Конечно, милый дедушка, все это правда об искре Божией и обо всей этой красоте, но ведь и начищенный сапог красив! Я не могу, я не могу. Вы подумайте, разве может человек иметь такие усы, как у него⁵⁶). А он еще жалуется: левый ус короче!

Он по-детски засмеялся и вздохнув добавил:

– Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Действительно в ней есть что-то хорошее. Хотя все-таки она – корова.

Он опять засмеялся и осторожно, боясь смахнуть рукавом непрочный рисунок, отнес грифельную доску в угол. *И здесь я совершил то, к чему обязывал меня мой долг: схватив доску, сильным ударом я раздробил ее на куски.* Я думал, что художник с яростью бросится на меня, но этого не произошло: его слабому мозгу мой поступок показался таким кошунственным, таким сверхъестественно ужасным, что ни слова не могли произнести его помертвевшие губы.

– Что вы сделали? – наконец спросил он тихо. – Вы ее разбили?

И, подняв руку, я торжественно ответил:

– Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною! Несчастный, разве ты не видишь, что твое искусство уже давно смеется над тобою, что с твоей доски сам дьявол корчит тебе свои гнусные рожи!

– Да! Дьявол!

– Далекий твоему дивному искусству, я первоначально не понял тебя, твоей тоски – твоего ужаса бесцельности. Но когда сегодня, войдя, я увидел тебя за этим гибельным занятием, я сказал себе: пусть лучше он не творит совсем, чем творит так. Послушай меня.

Здесь впервые я открыл этому юноше священную формулу железной решетки, которая, разделяя бесконечное на квадраты, тем самым подчиняет его нам. С трепетом внимал г. К. моим речам, с ужасом невежды глядя на те знаки, которые ему, несомненно, казались кабалистическими и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми в математике.

– Я ваш раб, дедушка, – сказал он под конец, целуя холодными губами мою руку.

– Нет, ты будешь моим любимым учеником, сын мой. Благоговляю тебя.

⁵⁶) Какой удивительный аргумент!

И показалось мне, художник был спасен. Правда, ко мне относился он с большою холодностью, легко объясняемой, впрочем, тем чрезмерным уважением, какое внушил я ему, но портрет г-жи начальницы писал с таким жаром, с таким усердием, что почтенная дама была искренно тронута. И странно: в черты этой уже немолодой и несколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже г. начальник, уже давно привыкший к лицу своей супруги, был искренно восхищен его новым и невиданным выражением. Таким образом, все шло, казалось, прекрасно, как вдруг эта новая катастрофа, весь ужас которой знаю я *один*. 160

Признаюсь, в надежде не быть понятым превратно, что все последние дни я провел в состоянии крайней, даже несколько болезненной тревоги. 170

Не желая вызывать лишних толков, я скрыл от г. начальника, что художник перед самой смертью своею подбросил мне письмо, замеченное мною, к сожалению, только утром. Я не сохранил этой бумажки и не помню всего, что наговорил мне на прощание несчастный юноша; кажется, это была благодарность за мою попытку спасти его и искреннее сожаление, что слабые силы его не дают ему возможности воспользоваться моими указаниями. Но одна фраза крепко запечатлелась в моей памяти, и вы поймете, почему это, если я приведу ее во всей ее пугающей простоте: 180

“Я уйду из вашей тюрьмы” – так гласит эта фраза.

И он действительно ушел: вот стены, вот окошечко в двери, вот вся наша тюрьма, а его нет, он ушел. Следовательно, и я мог уйти вместо того, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воле, я мог бы взлезть на стол, и – одно мгновение неслышной боли – я уже на свободе, я уже торжествую над замком и стенами, над правдой и ложью, над радостью и страданиями. Не скажу, чтобы и прежде не думал я о самоубийстве как об одном из способов бегства, но лишь впервые со всею соблазнительностью встала предо мною эта возможность⁵⁷⁾. В припадке низкого малодушия, которого я не 190

⁵⁷⁾ Интересный вопрос для психологов: насколько соблазнительность самоубийства объясняется тем, что в этом акте несомненна наличность именно убийства, первородного греха, к которому доселе так склонен человек. Раздвоение личности может быть так велико, что самоубийца, нанося удар себе, может испытывать тот сладострастный загадочный восторг, какой испытывает и настоящий убийца, разделяя ножом живые ткани. Вспомним скорпиона, который в ослеплении гнева яростно жалит собственное тело.

скрою от моего читателя, как не скрываю от него хороших сторон моих, быть может, даже в припадке временного помешательства, я мгновенно забыл все, что знал о нашей тюрьме и ее великой целесообразности, забыл – стыдно сказать – даже великую формулу железной решетки, понятую и усвоенную с таким трудом; 200 и уже приготовил из полотенца мертвую петлю, чтобы удавить себя. И уже в последнюю минуту, когда все было готово и оставалось только оттолкнуть табурет, я, с не покидавшею меня даже в эти минуты склонностью к мышлению, подумал: но куда же я иду? Ответ был: я иду в смерть. А что такое смерть? И ответ был: не знаю.

И этих коротких размышлений было достаточно, чтобы я пришел в себя и с горьким смехом над малодушием своим снял с шеи роковую петлю. Как за минуту перед этим я готов был рыдать от тоски, так теперь я хохотал, хохотал как иступленный, 210 в сознании, *что еще одна ловушка*, подставленная насмешливым случаем, блестяще избегнута мною. О, сколько ловушек в жизни человека: как хитрый рыбак, судьба ловит его то на блестящую приманку какой-то правды, то на волосатого червячка темной лжи, то на призрак жизни, то на призрак смерти. Мой дорогой юноша, мой очаровательный глупец, мой восхитительный безумец – кто сказал вам, что наша тюрьма кончается здесь, что из *одной тюрьмы* вы не попали в *другую*, откуда уж едва ли придется вам бежать! Вы поторопились, мой друг, вы страшно поторопились, вы забыли меня спросить *кое о чем*, и кое-что я сказал 220 бы вам; я сказал бы вам, что как над тем, что вы зовете жизнью и бытием, так и над тем, что вы называете небытием и смертью, одинаково царит всесильный *Закон*. Только глупцы, умирая, думают, что они кончают с собой – они кончают только с одной формой себя, чтобы немедленно принять другую.

Так размышлял я, смеясь над глупым самоубийцей, смешным разрушителем уз вечности; и вот что сказал я, обращаясь к тем двум безгласным сожителям моим, что неподвижно прилипли к белой стене:

– Верую и исповедую, что тюрьма наша бессмертна. Что скажете вы на это, *друзья мои*? 230

Но они молчали. И, рассмеявшись добродушно – что за тихие сожители у меня! – я неторопливо разделся и отдался спокойному сну. И во сне я видел иную величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиною, и г. глав-

Отнять жизнь почти всегда удовольствие для человека, даже в том случае, если жизнь эта – собственная.

ного начальника тюрьмы; не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были: мне помнится что-то вроде ангельского глаза, с нежным вниманием и любовью прикованного ко мне. Мой благосклонный читатель, конечно, догадался, что я шучу: никакого сна я не видел, да и не имею обыкновения их видеть.

240

Не надеясь, что г. начальник, занятый неотложными делами по управлению, вполне поймет и оценит мою мысль о невозможности бегства из нашей тюрьмы, в своем докладе я ограничился лишь указанием некоторых способов, которыми могут быть предотвращены самоубийства. С великодушной близорукостью, свойственной людям деловым и доверчивым, г. начальник не заметил слабых сторон моего проекта⁵⁸⁾ и горячо жал мне руки, выражая благодарность от имени всей нашей тюрьмы. *В этот день впервые я имел честь выкушать стакан чаю в самой квартире г. начальника, в присутствии его любезной супруги и очаровательных детей, называвших меня дедушкой.* Слезы умиления, овлажившие мои глаза, лишь в слабой степени могли выразить овладевшие мною чувства.

250

Между прочим, по просьбе г-жи начальницы, принявшей во мне горячее участие, я подробно рассказал трагическую историю убийства, так неожиданно и страшно приведшего меня в тюрьму. Я не мог найти достаточно сильных выражений – да их и нет на человеческом языке, – чтобы достойно заклеить неизвестного злодея, не только убившего трех беззащитных людей, но в какой-то слепой и дикой ярости изуверски надругавшегося над ними.

260

Как показал осмотр и вскрытие трупов, убийца последние удары наносил уже мертвым; и свойство некоторых колотых ран, бесцельных и жестоких, указывало на садические наклонности отвратительного злодея. Очень возможно, впрочем, – даже и злодеям нужно отдавать справедливость, – что человек этот, опьяненный видом крови стольких невинных жертв, временно перестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вожделий. Характерно, что убийца после совершения преступления пил вино и кушал бисквиты – *остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев.* Но есть нечто ужаснейшее, чего

270

⁵⁸⁾ В действительности самоубийств предотвратить нельзя. Изучая в этом смысле летописи нашей тюрьмы, я напал на некоторые факты, свидетельствующие о почти гениальной находчивости самоубийц: так, один арестант покончил с собою, засунув в горло намотанную на палке грязную тряпку, которой прощипали ретирады.

ни понять, ни объяснить не может мой человеческий разум: заку-
ривая сам, убийца, по-видимому в чувстве какого-то странного
дружелюбия, вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего
покойного отца.

Давно уже не припоминал я этих ужасных подробностей,
почти стертых рукою времени; и теперь, восстанавливая их перед
потрясенными слушателями, не хотевшими верить, что такие
ужасы возможны, я чувствовал, как бледнело мое лицо и волосы
шевелились на моей голове. В тоске и гневe я поднялся с кресла
280 и, выпрямившись во весь рост, воскликнул:

– Земное правосудие часто бывает бессильно, – воскликнул
я, – но я умоляю правосудие небесное, умоляю справедливую
жизнь, которая никогда не прощает, умоляю все высшие законы,
под властью которых живет человек, – да не избежит виновный
заслуженной им беспощадной кары! кары!

Потрясенные моими рыданиями слушатели тут же выразили
пылкую готовность хлопотать о моем освобождении и хоть от-
части искупить этим нанесенную мне несправедливость. Я же,
290 попросив извинения, удалился к себе в камеру.

По-видимому, мой старческий организм уже не выносит та-
ких потрясений; да и трудно, даже будучи сильным человеком,
вызывать в воображении некоторые образы, не рискуя целостью
рассудка: только этим могу я объяснить ту странную галлюци-
нацию, что в одиночестве камеры предстала моим утомленным
глазам. В некотором оцепенении, бесцельно я смотрел на запер-
тую глухую дверь, когда мне почудилось, что сзади меня кто-то
стоит; это чувство и раньше в своей обманчивости посещало
меня, и некоторое время я медлил обернуться. Когда же я обер-
нулся, то увидел следующее: в пространстве между распятием
300 и моим портретом, на некотором расстоянии от пола, не превы-
шащем, впрочем, четверти аршина, как бы висящим в воздухе,
явился труп моего отца. Затрудняюсь передать подробности, так
как уже давно наступили сумерки, но могу сказать наверное, что
это был именно образ трупа, а не живого человека, хотя во рту
у него и дымилась сигара. Точнее сказать, дыма от сигары не
было, а только светился слабо красноватый, как бы потухающий
огонек. Характерно, что ни в эту минуту, ни потом я не ощутил
запаха табаку – сам я давно уже не курю. Здесь – я вынужден
310 сознаться в своей слабости, но обман зрения был поразителен, – я
заговорил с галлюцинацией. Подойдя близко, насколько это было
возможно, – труп не отодвигался по мере моего приближения,
но оставался совершенно неподвижным, и, наступая дальше,
я должен был прямо наткнуться на него, – я сказал призраку:

– Благодарю тебя, отец. Ты знаешь, как тяжело твоему сыну, и ты пришел, ты пришел, чтобы засвидетельствовать мою невиновность. Благодарю тебя, отец. Дай мне твою руку, и крепким сыновним пожатием я отвечу на твой неожиданный приход... Не хочешь? Давай руку! Давай руку – я тебе говорю, иначе я назову тебя лжецом!

320

Я протянул руку, но, конечно, галлюцинация не удостоила меня ответом, и я навсегда лишился возможности узнать, каково прикосновение тени. Тот крик, который я испустил и который так обеспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был вызван *внезапным* исчезновением призрака, столь внезапным, что образовавшаяся на месте трупа пустота показалась мне почему-то более ужасною, нежели сам труп.

Такова сила человеческого воображения, когда, возбужденное, творит оно призраки и видения, заселяя ими бездонную и навеки молчаливую пустоту. Грустно сознаться, что существуют, 330 однако, люди, которые верят в призраки и строят на этом вздорные теории о каких-то сношениях между миром живых людей и загадочной страной, где обитают умершие. Я понимаю, что может быть обмануто человеческое ухо и даже глаз⁵⁹⁾, но как может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый разум человека?

⁵⁹⁾ Между прочим, я сказал тюремщику:

– У меня какое-то странное ощущение, как будто здесь пахнет сигарным дымом. Вам не кажется?

Тюремщик добросовестно обнюхал воздух и ответил:

– Нет, я не нахожу этого. Вам показалось.

Вот, если вам нужны подтверждения, прекрасное доказательство, что все виденное мною если и существовало – то только на сетчатке моего глаза.

Произошло нечто в высокой степени неожиданное: хлопоты моих друзей, г. начальника и его супруги, увенчались успехом, и вот уже два месяца как я на свободе.

Счастлив сообщить, что тотчас же по выходе из нашей тюрьмы я занял положение весьма почетное, на которое едва ли смел когда-либо рассчитывать в сознании моих скромных достоинств. Вся печать с единодушным восторгом встретила меня; многочисленные журналисты, фотографы, даже карикатуристы (люди
10 нашего времени так любят смех и удачные остроты) в сотнях статей и рисунков воспроизвели всю историю моей замечательной жизни. С поразительным единодушием, не сговариваясь друг с другом, газеты присвоили мне наименование “Учитель”, высоко-лестное имя, которое, после некоторых колебаний, я принял с глубокой признательностью⁶⁰⁾.

Те средства, которые оставила мне добрая матушка и которые сильно возросли за то время, пока я находился в тюрьме, дали мне возможность устроиться не только прилично, но даже и роскошно в одном из наиболее аристократических отелей. В моем
20 распоряжении находится многочисленный штат прислуги, автомобиль – прекрасное изобретение, с которым я познакомился впервые, и вообще я так умело распорядился деньгами, что, несомненно, попади богатство в мои руки в свое время, я не оставил бы его лежать втуне. Живые цветы, в изобилии доставляемые очаровательными посетительницами, придают моему уголку вид оранжереи или даже кусочка тропического леса. Мой слуга, весьма приличный молодой человек, положительно в отчаянии: никогда, по его словам, он не видал столько цветов и не обонял
30 одновременно столько различных запахов. Если бы не мой преклонный возраст и не та строгая и важная корректность, с какой держусь я с моими почитательницами, я не знаю, перед чем могли бы остановиться они в выражениях своих пылких чувств. Сколько надушенных записочек! Сколько томных вздохов и покорно молящих глаз! Даже не обошлось дело без прелестной незнаком-

⁶⁰⁾ Не знаю, стоит ли упоминать о нескольких враждебных замечках, вызванных раздражением и завистью – пороком, столь часто пятнающим человеческую душу: в одной из этих заметок, появившейся, между прочим, в очень грязной газетке, какой-то негодяй, руководствуясь жалкими сплетнями и ни на чем не основанными слухами о моих беседах в нашей тюрьме, назвал меня “изувером и лжецом”. Возмущенные наглостью жалкого писаки, друзья мои хотели подвергнуть его преследованию, но я убедил их этого не делать: в самом себе находит порок достойную его кару.

ки под черной вуалью: три раза в различные часы таинственно появлялась она и, узнав, что у меня есть посетители, столь же таинственно исчезала.

Добавлю, что в настоящее время я удостоен чести быть избранным в почетные члены многих человеколюбивых обществ, как-то: “Лиги мира”, “Лиги борьбы с детской преступностью”, “Общества друзей человека” и некоторых других. Кроме того, по приглашению редактора одной из наиболее распространенных газет, с будущего месяца я начинаю серию публичных лекций, для каковой цели отправляюсь в турне вместе с моим любезным импресарио⁶¹⁾.

Между прочим, во избежание излишних пересудов (я живу сейчас точно в стеклянном колпаке), я отказался на некоторое время от продолжения тех приятных собеседований, которые на языке моих очаровательных посетительниц назывались исповедью; надеюсь, впрочем, что со временем мне удастся их восстановить и с избытком вознаградить за испытанные лишения мою милую паству.

Как видит мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звук, и за мои страдания я получаю ныне немалую награду. Но, не смея ни в чем упрекнуть столь милостивую ко мне судьбу, я все же не чувствую того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание. Правда, первое время я был положительно счастлив; но уже вскоре привычка к строго логическому мышлению, зоркость и неподкупность взгляда, приобретенная созерцанием мира сквозь математически правильную 60 решетку, привели меня к ряду разочарований.

Боюсь сейчас сказать это с полной уверенностью, но, кажется, вся их жизнь на так называемой свободе есть сплошной самооб-

⁶¹⁾ Я уже подготовил материалы для первых трех моих лекций и в надежде, что читателю моему это будет не совсем безынтересно, сообщу конспект таковых.

Лекция первая

Хаос или порядок? Извечная борьба между тем и другим. Вечный бунт и вечное поражение бунтовщика хаоса. Торжество закона и порядка.

Лекция вторая

Что такое душа человека? Извечная борьба двух начал в душе человека: хаоса, из коего она рождена, и гармонии, к коей она неудержимо стремится. Ложь как детище хаоса и правда как дитя гармонии. Торжество правды и гибель лжи.

Лекция третья

Разъяснение священной формулы железной решетки.

ман и ложь. Жизнь каждого из тех людей, кого я видел за эти дни, движется по строго определенному кругу, столь же прочному, как коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, как циферблат тех часов, что в невинности разума ежеминутно подносят они к глазам своим, не понимая рокового значения вечно движущейся и вечно к своему месту возвращающейся стрелки, – и каждый из них чувствует это⁶²⁾, но в странном ослеплении уверяет, что он совершенно свободен и движется *вперед*. Подобно глупой птице, которая бьется до полного истощения сил о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживает, эти люди беспомощно бьются о стены своей стеклянной тюрьмы. Я не могу без негодования говорить об ихнем небе, глубиной и бесконечностью которого они так восхищаются: наглое, оно обманывает их своею мнимой доступностью, своею лживой красотой. Меня поражает безумие их широко открытых, ничем не защищенных окон, в которые вливается свободно бесконечность, безумие их
70 столь же широко открытых глаз, только усиленным морганием кладущих преграду между собой и вечностью. Додумавшись до того, что время необходимо разделить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умеют справиться с вечностью, надев на нее железную решетку. О, если б они поняли, что свободы нет, что свободы не нужно, – как были бы они счастливы в сознании мудрой подчиненности целесообразным и строгим велениям рока.

Глубоко ошибся я, как кажется, и в значении тех приветствий, которые выпали на мою долю по выходе из тюрьмы. Конечно, я
90 был убежден, что во мне они приветствуют представителя нашей тюрьмы, закаленного опытом вождя, учителя, явившегося к ним лишь для того, чтобы открыть им великую тайну целесообразности. И когда они поздравляли меня с дарованной мне свободой, я отвечал благодарностью, не подозревая, какой идиотский смысл влагают они в это слово⁶³⁾. Поверит ли читатель такой дикой несообразности: ни одна из газет не осмелилась напечатать моего рассказа о том, каким простым и мудрым способом пришел я к удовлетворению моих половых потребностей, находя, что это может повредить их общественной нравственности.

100 – А как бы вы поступили на моем месте? – спросил я одного, по виду даже неглупого господина, стыдливо выслушавшего мой рассказ. Он замялся.

⁶²⁾ Как чувствует, вероятно, и цирковая лошадь.

⁶³⁾ Да простится мне это грубое выражение, но я не в силах далее сдерживать моего отвращения к их нелепой жизни, к их помыслам, к их чувствам.

– Вероятно, поступил бы так же, но рассказывать об этом... И вообще, чтобы Онания был великим человеком... – он фыркнул. – Вы шутите, конечно?

Я шучу?! Глупые лицемеры, боящиеся сказать правду даже там, где она их украшает. Вообще, моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытание в среде этих лживых и мелочных людей. Положительно ни один субъект не поверил, что в тюрьме я был счастлив как никогда. Чему же они тогда удивляются во мне и зачем печатают мои портреты? Разве так мало идиотов, которые в тюрьме несчастны! И самое любопытное, всю соль чего сумеет оценить мой благосклонный читатель: часто ни на грош не веря мне, они, тем не менее, *совершенно искренно* восхищаются мною, кланяются, жмут руки и на каждом шагу лопочут: “Учитель!”, “Учитель!”. И если бы от своей постоянной лжи они получили какую-нибудь пользу – но нет: они совершенно бескорыстны и лгут точно по чьему-то высшему приказу, лгут в фанатическом убеждении, что ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры, даже не умеющие сделать порядочного грима, они с утра до ночи кривляются на каких-то подмостках и, умирая самой настоящей смертью, страдая самым настоящим страданием, в свои предсмертные судороги вносят грошовое искусство арлекина⁶⁴). Даже мошенники у них не настоящие, а только играют роль мошенников, сами же остаются честными людьми; а роль честных – исполняют преимущественно мошенники, и исполняют скверно, и публика видит это, но, во имя все той же фатальной лжи, несет им венки и букеты. А если действительно находится такой талантливый актер, что умеет совершенно стереть границу между правдой и обманом, так, что даже и они начинают верить, – они в восторге называют его великим, объявляют подписку на памятник⁶⁵). Отчаянные трусы, они больше всего боятся самих себя и, любуясь с восторгом отражением в зеркале своего лживого загримированного лица, – воют от ужаса и злости, когда кто-нибудь неосторожный подставляет зеркало ихней душе.

Без сомнения, мой благосклонный читатель должен принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту

⁶⁴) Пусть мой благосклонный читатель обратит внимание на записки самоубийц, а также пусть вспомнит он все знаменитые “Исповеди” и автобиографии, в которых глубочайшие страдания роковым образом сочетаются с чисто актерской, почти произвольной игрой жеста, интонацией и словами. Я убежден, что если гальванизировать свежий труп одного из них, то в свои движения, наряду с несомненной мертвецкой искренностью, он внесет некоторую искусственную жестикуляцию.

⁶⁵) Но денег не дают.

140 свойственна некоторая ворчливость. Конечно, я встретил немало достойнейших людей, безусловно правдивых, искренних и смелых; горжусь сознанием, что у них я нашел надлежащую оценку моей личности. При поддержке этих друзей моих я надеюсь с успехом закончить борьбу за истину и справедливость. Для моих шестидесяти лет я еще достаточно крепок, и нет, кажется, силы, что могла бы сломить мою железную волю.

150 Временами мною овладевает усталость: благодаря нелепому строю их жизни, я даже ночью не имею надлежащего покоя. Огромные окна, эти бессмысленные зияющие провалы, даже сквозь толстую завесу зовущие к какому-то полету, – возбуждают и беспокоят меня. И сознание, что, ложась спать, я мог в рассеянности не запереть на ключ двери моей спальни, заставляет меня десятки раз вскакивать с постели и с дрожью ужаса ощупывать замок. Недавно так и случилось: вынув ключ из двери и спрятав его под подушку, в полной уверенности, что дверь заперта, я вдруг услышал стук, а затем дверь *приоткрылась*, пропустив улыбающееся лицо моего слуги. Вы, дорогой читатель, легко поймете тот ужас, какой испытал я при этом неожиданном появлении: мне почудилось, что кто-то вошел в *мою душу*. И, хотя мне вовсе нечего скрывать, подобное вторжение мне кажется по меньшей мере неприличным.

160 На днях я слегка простудился – в их окна страшно дует, и попросил моего слугу поболтать возле меня ночь. Наутро я шутя спросил его:

– Ну как, много я болтал во сне?

– Нет, вы ничего не говорили.

– А мне снился какой-то страшный сон, и, помнится, я даже плакал.

– Нет, вы все время улыбались, и я еще подумал: какие счастливые сны видит наш Учитель.

170 Милый юноша – по-видимому, он искренно предан мне, и это так трогает меня в настоящие тяжелые дни.

Завтра сажусь за составление лекции. Пора!

Х

Боже мой, что со мною случилось! Я не знаю, как рассказать об этом читателю. Я был на краю пропасти. Я *чуть не погиб*. Какие жестокие испытания посылает мне судьба. Ведь мне шестьдесят лет – шестьдесят лет. Безумцы, мы улыбаемся, ничего не подозревая, когда над нами уже занесена чья-то убийственная рука, улыбаемся, чтобы в следующее мгновение дико вытаращить глаза от ужаса. Я – я плакал о чем-то. Я плакал! Еще одно мгновение – и, обманутый, я бросился бы вниз, думая, что лечу к небу. Оказывается – оказывается: та “прелестная незнакомка” 10 под черною вуалью, что трижды таинственно являлась ко мне, есть не кто иная, как г-жа NN, моя бывшая невеста, моя любовь, моя мечта и страдание. *Ведь ни одной женщины, кроме нее, я не знал и не любил во все эти бесконечные, ужасные года.* И оказалось...

Но порядок, порядок! Да простит мне мой благосклонный читатель невольную жалкую бессвязность предыдущих строк, но мне шестьдесят лет, и силы мои слабеют. Силы мои слабеют, и я один. Будь хоть ты моим другом в эту минуту, мой неизвестный читатель: ведь не железный же я, и силы мои слабеют. Слушай, 20 друг: подробно и точно, со всею объективностью, на какую только способен мой холодный и светлый разум, постараюсь передать я происшедшее⁶⁶).

Я сидел за составлением лекции, весь охваченный жаром интересной работы, когда мой слуга доложил, что *вновь* явилась незнакомка под черной вуалью и просит разрешения видеть меня. Признаюсь, не без некоторого, вполне понятного раздражения я уже готовился ответить отказом, но любопытство, наконец, нежелание причинить обиду побудили меня принять неожиданную 30 гостью. Придав своему лицу и позе то обычное выражение величавого благородства, с каким встречаю я посетителей, и только слегка смягчив его ввиду романического характера истории шутиливой и приятной улыбкой, я приказал открыть дверь.

– Прошу садиться, моя дорогая гостья, – любезно предложил я незнакомке, которая, все еще не снимая вуали, в каком-то странном оцепенении стояла предо мною.

Она села.

– Уважая всякую тайну, – продолжал я шутиливо, – я все же просил бы вас снять это мрачное, безобразящее вас покрывало. Разве нуждается в маске человеческое лицо? 40

⁶⁶) И пойми то, чего недоскажет мой язык.

В волнении, причину которого я понял, как оказалось, совершенно неверно, странная посетительница ответила отказом.

– Хорошо, я сниму, но только потом. Я раньше хочу посмотреть на вас.

Приятный голос незнакомки не вызвал во мне никаких воспоминаний. Весьма заинтригованный и даже польщенный, я с полной готовностью предоставил посетительнице все сокровища моего ума, опыта и таланта. С увлечением, какого уже давно у меня не бывало, я рассказал ей всю поучительную историю 50 моей жизни, непрерывно освещая ее в мельчайших подробностях лучом великой целесообразности⁶⁷⁾. Страстное внимание, с каким слушала незнакомка мои речи, частые и глубокие вздохи, нервный трепет тонких пальцев, обтянутых черною перчаткой, взволнованные восклицания: – О Боже! – вдохновили меня. И – что редко позволяю я себе с дамами – я рассказал ей всю прекрасную повесть моих многолетних отношений с г-жою NN, которая, как воплотившаяся мечта, сама того не ведая, разделяла мое уединение и мое ложе в нашей тюрьме. Захваченный своим рассказом, я, признаюсь, не обратил должного внимания на странное 60 поведение моей посетительницы: потеряв всякую сдержанность, она хватала мои руки с тем, чтобы в следующее мгновение резко оттолкнуть их, плакала и, пользуясь каждой паузой в моей речи, умоляла:

– Не надо, не надо, не надо! Замолчите! Я не могу этого слышать!

И в ту минуту, когда я всего менее этого ожидал, она сдернула вуаль, и моим глазам предстало лицо ее, моей любви, моей мечты, моей бесконечной и горькой муки. Оттого ли, что всю жизнь я прожил с нею в одной мечте, с нею был молод, с нею 70 мужал и старился, с нею подвигался к могиле, – лицо ее не показалось мне ни старым, ни увядшим: оно было как раз тем, каким видел я в грезах моих, бесконечно дорогим и любимым.

Что сделалось со мною? Впервые за десятки лет я забыл, что у меня есть лицо, впервые за десятки лет, как юноша, как пойманный преступник, я беспомощно смотрел и ждал какого-то смертельного удара.

– Ты видишь, ты видишь! Это я. Боже мой, ведь это же я! Что же ты молчишь? Ты не узнал меня?

Я не узнал ее! Лучше бы никогда не знать мне этого лица! 80 Лучше бы ослепнуть мне, чем снова увидеть ее!

⁶⁷⁾ При этом я пользовался отчасти тем материалом, над которым только что работал, готовя мои лекции.

– Что же ты молчишь? Какой ты страшный! Ты забыл меня!

– Сударыня...

Конечно, мне и следовало так продолжать: я видел, как отшатнулась она, я видел, как дрожащими пальцами, почти падая, она искала вуалетку, я видел, что еще слово мужественной правды, и страшное видение исчезнет, чтобы снова не вернуться никогда. Но кто-то чужой во мне – не я, не я! – произнес эту нелепую, смешную фразу, в которой звучало сквозь холод ее так много ревности и безнадежной тоски:

90

– Сударыня, вы изменили мне. Я вас не знаю. Быть может, вы ошиблись дверью. Вас, вероятно, ждут ваш муж и дети. Позвольте – мой слуга проводит вас до кареты.

Думал ли я, что эти слова, сказанные все же голосом строгим и холодным, *так* отзовутся в сердце женщины: с криком, всю горькую страстность которого я не сумею передать, она бросилась предо мною на колени, восклицая:

– Так ты любишь меня!

И здесь, к стыду моему, началось то дикое, сверхъестественное, чему я не могу и не смею найти оправдания. Забывая, что жизнь прожита, что мы старики, что все погребло, развеено временем как пыль и вернуться не может никогда; забывая, что я сед, что горбится моя спина, что голос страсти звучит дико из старческого рта, – я разразился неистовыми жалобами и упреками. Внезапно помолодев на десятки лет, мы оба закружились в бешеном потоке любви, ревности и страсти.

– Да, я изменила тебе! – кричали мне ее помертвевшие губы. – Я знала, что ты невинен...

– Молчи, молчи.

– Надо мной смеялись, даже друзья твои, твоя мать, которую я за это ненавижу, все предали тебя. И только я одна твердила: он невинен.

О, если бы знала эта женщина, что делают со мной ее слова! Если бы рог архангела, зовущего на Страшный суд, зазвучал над самым ухом моим, он не испугал бы меня так: что значит для смелого слуха рев трубы, зовущей к борьбе и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией, точно ударом оглушенный, я закричал в диком и непонятном восторге:

– Молчи! Я...

110

Если бы женщина эта была послана Богом, она замолчала бы; если бы дьяволом была послана – замолчала бы она и тогда.

Но не было в ней ни Бога, ни дьявола, и, *перебивая* меня, не давая мне окончить начатого, она продолжала:

– Нет, я не замолчу. Я все должна сказать тебе, я столько лет ждала тебя. Слушай, слушай!

Но вдруг увидела она мое лицо и отступила в испуге.

– Что ты? Что с тобою? Зачем ты смеешься? Я боюсь твоей улыбки. Перестань смеяться! Не надо, не надо!

130 Но я и не смеялся, я только улыбался тихо. А затем совершенно серьезно и без улыбки я сказал:

– Я улыбаюсь, потому что рад видеть тебя. Говори мне о себе.

И как во сне увидел я склоненное ко мне лицо, и тихий, страшный шепот коснулся моего слуха:

– Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь, всю жизнь я любила только тебя одного. Я жила с другим и была верна ему, у меня дети, но, ты знаешь, все они чужие мне: и он, и дети, и я сама. Да, я изменила тебе, я преступница, но я не знаю, что сделалось тогда

140 со мною, ты ведь знаешь, какой он? Он был так добр со мною, он притворялся, я потом узнала это, что также не верит в твою виновность, и этим, подумай, *этим* он купил меня.

– Ты лжешь!

– Клянусь тебе. Целый год ходил он около меня и говорил только о тебе. Знаешь, он даже плакал однажды, когда я рассказала ему о тебе, о твоих страданиях, о твоей любви.

– Но ведь он же лгал!

– Ну да, конечно, лгал. Но тогда он показался мне таким милым, таким добрым, что я поцеловала его в лоб. Но только в лоб, 150 больше не было ничего, даю тебе честное слово⁶⁸⁾. Потом мы с ним возили цветы тебе, в тюрьму. И вот раз, когда мы возвращались... нет, ты послушай... он вдруг предложил мне поехать покататься, вечер был такой хороший...

– И ты поехала! Как же смела ты поехать! Ты только что видела мою тюрьму, ты только что была вблизи меня – и смела поехать с ним? Какая подлость!

– Молчи, молчи. Я знаю, я преступница. Но я так устала, так измучилась, а ты был так далеко. Пойми меня.

Она заплакала ломая руки.

160 – Пойми меня. Я так измучилась тогда. И он... ведь он же видел, какая я... он осмелился поцеловать меня.

– Поцеловать! И ты позволила! В губы?

⁶⁸⁾ Неправда.

– Нет, нет! Только в щеку⁶⁹⁾.

– Ты лжешь.

– Нет, нет. Клянусь тебе. Ну а потом... ну а потом...

Я засмеялся.

– Ну а потом, конечно, в губы. И ты ответила ему? И вы катались по лесу – ты, моя невеста, моя любовь, моя мечта. И все это для меня? И детей с ним ты рожала для меня? Говори! Да говори же!

170

В бешенстве я ломал ее руки, и, извиваясь как змея, безнадежно пытаюсь укрыться от моего взгляда, она шептала:

– Прости меня, прости меня.

– Сколько у тебя детей?

– Прости меня.

Но рассудок покидал меня, и в нарастающем бешенстве, топая ногою, я кричал:

– Сколько детей? Говори. Я убью тебя!

И это я действительно сказал: по-видимому, рассудок окончательно готовился меня покинуть, если я, я мог грозить убийством незащитной женщине. И она, догадываясь, очевидно, что это только слова, ответила с притворной готовностью:⁷⁰⁾

– Убей! Ты имеешь право на это! Я преступница. Я обманула тебя. А ты мученик, ты святой! Когда ты рассказывал мне... Это правда, что даже в мыслях ты не изменял мне? Даже в мыслях!

И снова под ногами моими раскрылась бездна, все шаталось, все падало, все становилось бессмыслицей и сном, и, с последней попыткой сохранить погасавший рассудок, я крикнул грубо:

– Но ведь ты же счастлива! Ты не можешь быть несчастна, ты не имеешь права быть несчастной! Иначе я сойду с ума!

190

Но она не поняла. С горьким смехом, с безумной улыбкой, в которой мука сочеталась с какой-то светлой небесной радостью, она сказала:

– Я счастлива? Я – счастлива? О друг мой, только у ног твоих я могу найти счастье. С той минуты, как ты вышел из тюрьмы, я возненавидела мой дом, мою семью, я там одна, я всем чужая. Если бы ты знал, как я ненавижу этого негодяя!

– Ты говоришь о муже!

– Он вор. Мой муж ты! Ты мудрый, ты верно почувствовал: в тюрьме ты был не один: я всегда была с тобою...

200

– И ночь?

– Да, все ночи.

⁶⁹⁾ Неправда.

⁷⁰⁾ Несомненно, притворною.

– А кто же лежал с *ним*?

– Молчи, молчи! Если бы ты только слышал, если бы ты только видел, с какою радостью я бросила ему в глаза – подлец! Десятки лет оно жгло мой язык; ночью, в его объятиях, я тихонько твердила про себя: подлец, подлец, подлец! И ты понимаешь: то, что он считал страстью, было ненавистью, презрением⁷¹⁾. И я сама искала его объятий, чтобы еще раз, еще раз оскорбить его.

210 Она захохотала, пугая меня диким выражением своего лица.

– Нет, ты подумай только: всю жизнь он обнимал только ложь. И когда, обманутый, счастливый, он засыпал, я долго и тихонько лежала открывши глаза и тихонько скрипела зубами, и мне хотелось ущипнуть, уколоть его булавкой⁷²⁾. И ты знаешь, – она снова захохотала, – только поэтому я не изменяла ему.

Мне казалось, что в мозг мой вгоняют клинья. Схватившись за голову, я закричал:

– Ты лжешь! Кому ты лжешь?

220 – Нет, правда же, голубчик. Мне очень нравился один, ты его не знаешь, и он любил меня. Но разве могла я изменить тебе?

– Мне?

Воистину, с призраком мне было легче говорить, чем с женщиной! Что мог сказать я ей – мой ум мутился. И как мог я оттолкнуть ее, когда с беспредельной жадностью, полная любви и страсти, она целовала мои руки, глаза, лицо. Это она, моя любовь, моя мечта, моя горькая мука!

Я люблю тебя. Я люблю тебя.

230 И я поверил всему: я поверил ее любви, поверил, что, отдаваясь этому негодяю, она жила только со мною, как честная и никогда не изменяющая жена. Я всему поверил. И вновь я почувствовал черными мои кудри – и вновь я увидел себя молодым. И я упал перед ней на колени и плакал долго и тихо шептал о каких-то страданиях, о тоске одиночества, о чьем-то сердце, разбитом жестоко, о чьей-то поруганной, искалеченной, изуродованной мысли. И, плача и смеясь, гладила она мои волосы; и вдруг заметила, что они седые, и закричала дико.

– Что с тобою?

– А жизнь? Ведь я же старуха.

240 Нет, я ничего не понимаю. Я не верю, я не могу поверить тому, что произошло. Уже давно, уж много лет во мне погасла страсть. Откуда же вновь с такою силою явилась она! Разве на

⁷¹⁾ Но он-то воспринимал это как страсть!

⁷²⁾ Мои очаровательные читательницы оценят, надеюсь, этот способ причинять страдания...

свете бывают чудеса! И неужели это старуха, а не девушка, не женщина, сгорающая страстью, обнимала меня, прижималась ко мне взволнованною грудью. Мы плакали и смеялись. И так, плача и смеясь, мы отделились друг другу. О жалкий и постыдный миг! Пусть всею своею тяжкою громадой придавит и убьет тебя забвение. Я не хочу принять тебя, безумный дар насмешливой судьбы, – я не хочу, я не хочу.

А она говорила, смеясь и плача:

– Ты подумай, это наша первая брачная ночь.

250

Воистину, здесь третьим присутствовал сам сатана.

Было ровно половина четвертого, когда она ушла. Время довольно позднее для стариков. Уходя, она потребовала, чтоб я, как юноша, проводил ее до самого порога, – и я сделал это. Уходя, она говорила мне:

– Завтра я приезжаю к тебе совсем. Я знаю, дети откажутся от меня, – ты знаешь, моя дочь скоро выходит замуж, – но ведь их и так нет у меня, и мы уедем с тобою... Ты любишь меня?

– Люблю.

260

– Милый, мы уедем далеко-далеко. Ты хотел читать какие-то лекции. Этого не надо. Мне не нравится, что ты там говоришь о какой-то железной решетке⁷³⁾. Ты просто измучился, тебе так надо отдохнуть. Хорошо?

– Да, хорошо.

– Ах, я забыла вуалетку. Сохрани ее, сохрани ее на память о нынешнем дне. Милый!

В вестибюле, в присутствии сонного портье, она горячо поцеловала меня. От нее пахло какими-то новыми духами, не теми, что было надушено письмо. И дышала она тяжело, как загнанная лошадь: в такие годы сильное волнение не проходит безнаказанно. И на рыданье был похож ее последний кокетливый смех, с каким исчезла она за стеклянной дверью. Она ушла.

В ту же ночь, разбудив слугу, я приказал ему уложить вещи, и мы уехали. Я не скажу, где нахожусь я сейчас; но всю вчерашнюю и нынешнюю ночь над головою моей шумели деревья и дождь стучал в окна. Здесь окна маленькие, и мне легче за ними. Ей я написал довольно обширное письмо, содержание которого считаю излишним приводить. Больше с нею мы не увидимся никогда.

280

⁷³⁾ Так поняла меня г-жа NN.

Но что же мне делать? Пусть извинит читатель эти бессвязные вопросы. Они так естественны в моем положении. К тому же во время переезда я схватил сильный ревматизм, столь мучительный, даже опасный в мои годы, и он не дает мне возможности мыслить спокойно. Почему-то очень много думаю о моем юном, столь безвременно погибшем друге г. К. Каково-то ему в его новой тюрьме?

Завтра утром, если позволят силы, намереваюсь сделать визит г. начальнику нашей тюрьмы и его почтенной супруге. Наша тюрьма!..

XI

Бесконечно счастлив сообщить моему дорогому читателю, что как телесные, так и душевные силы мои вполне восстановились. Продолжительный отдых на лоне природы, среди ее умиротворяющих красот, созерцание сельской жизни, столь простой и ясной, отсутствие городского шума, когда сотни ветряных мельниц бестолково машут перед носом своими длинными руками; наконец, полное, ничем не нарушаемое одиночество – вновь возвратили моему поколебленному мирозерцанию всю его былую стройность и железную, непреодолимую крепость. Спокойно и уверенно гляжу я в мое будущее, и хотя ничего другого, кроме одинокой могилы и последнего странствия в безвестную даль, оно мне не сулит, я столь же мужественно готов встретить смерть, как прожил жизнь, черпая силу в одиночестве моем, в сознании невинности и правоты моей.

Если, как уверяют богословы, нас ждет загробная жизнь и последний Страшный суд, я и на Страшном суде перед ликом бессмертных небожителей громко засвидетельствую мою невинность. Подобно тому невинному Агнцу, Который взял на Себя грехи мира, – поднял я на свои человеческие рамена великий грех мира и бережно, не расплескав ни капли, донес его до могилы. Пусть сгибались под тяжкою ношею мои колени, пусть гнулась спина, – мое всевыносящее сердце никогда не просило пощады и ниоткуда не ждало ее. И если на Страшном суде я не встречу справедливости, терпеливо и покорно, в безграничности времен, я буду ждать нового, *Страшнейшего суда*.

Столь же счастлив сообщить моему любезному читателю, что непродолжительное пребывание на их так называемой свободе во многом содействовало дальнейшему развитию моих взглядов и помогло избавиться от одной грубейшей, возмутительной ошибки. Несколько непродуманно принимая устройство нашей тюрьмы за идеальное и окончательное (сколько горьких разочарований принесла мне эта ошибка!) и видя в нашей тюрьме существование “общих камер для мошенников”, я утвердился на мысли, что подобные камеры столь же законосообразны, естественны и логичны, как и одиночное заключение. Только лично пожив в одной из таких камер – да простится мне эта несколько дерзкая шутка в отношении к их жизни! – я почувствовал всю глубину моей ошибки. Не могу умолчать об одном курьезе, почти анекдоте, прекрасно характеризующем странную и смешную рассеянность, которой подвержены многие мыслители и ученые. Так, разбирая с г. начальником план нашей тюрьмы и восхваляя

его, я с некоторой осторожностью, даже опаскою, осведомился о том, чем объясняется существование “общих камер для мошенников”.

– Места мало. Для наиболее тяжких – одиночное, для всех прочих – по мере возможности.

Места мало – как это просто, мудро и ясно! А я, глупец, мнящий себя мыслителем, и не мог догадаться о том, что при избытке народонаселения одиночное заключение может быть уделом только избранных. Много званых, но мало избранных – или, как лаконично и красноречиво выразился мой высокопочитаемый начальник:

– Места мало!

Прежде чем рассказать, как воспользовался я сознанием моей ошибки в целях строения новой жизни, упомяну в нескольких словах о г-же NN. Как сообщили газеты, эта почтенная дама скончалась и притом при весьма загадочных обстоятельствах, намекающих на возможность самоубийства. Горе ее мужа и осиротевшей семьи не поддается описанию. Так говорят газеты. С своей стороны, я сильно, однако, сомневаюсь, чтобы здесь действительно имело место самоубийство, для которого я не вижу достаточных оснований.

Очень внимательно и серьезно рассмотрев все то, что произошло на нашем свидании, я пришел к весьма грустному выводу, с которым не может не согласиться мой благосклонный читатель: несомненно, что г-жа NN *лгала*, уверяя, что не любит мужа, от которого имеет полдюжины детей, а любит меня. Конечно, я не могу строго отнестись к этой наивной лжи, вполне естественно объясняемой тем экзальтированным состоянием, в котором находилась при свидании моя старая подруга. Просто сознаться в том, что она мне изменила, г-жа NN не могла и, естественно, прибегала к некоторым украшениям и легкому, чисто женскому⁷⁴⁾ сочинительству, желая доставить приятное как мне, так и себе. Чувствуя некоторую, в действительности ничтожную вину передо мною, она слишком торопилась ее загладить; не могу, к сожалению, одобрить *всех мер*, предпринятых ею в этом направлении. Глубоко убежден, что, возвратившись к своему достойному супругу, в котором она не может не чтить отца своих шестерых детей, она сама рассказала ему о нашем потешном свидании – умолчав, конечно, о некоторых подробностях, которые могли быть ему неприятны.

⁷⁴⁾ Уверен, что мои очаровательные читательницы не посетуют на меня за эту фразу: в ней я хочу только противопоставить красивую и легкую женскую ложь всегда тяжеловесной и грубой лжи мужчин.

Чуть не забыл упомянуть, что г-же NN удалось каким-то образом узнать мой адрес, и она прислала мне несколько писем, которые я вернул нераспечатанными, не рассчитывая найти в них ничего нового и интересного, кроме все тех же полуживых излияний. А за несколько дней до своей внезапной кончины, кажется за неделю, она приезжала сама, но не застала меня дома – я был у г. начальника нашей тюрьмы.

Среди венков, украшавших гроб г-жи NN, был один, привлекавший общие взоры своей оригинальной формой: это была красиво сплетенная решетка из кроваво-красных роз. И надпись на венке гласила: “От неизвестного друга. Отдохни, усталое сердце”.

Последнее, что остается мне добавить для полного и окончательного расчета с этой жизнью, – я отказался от предполагаемого турне, несмотря на горячие просьбы и мольбы моего импресарио. Может быть, впоследствии я и соглашусь на чтение лекций – но сейчас у меня нет что-то охоты беседовать с этим легкомысленным народом, одинаково готовым, как неразборчивое животное, пожирать правду и ложь. Как, вероятно, тоскуют великие актеры перед этой благосклонной публикою, которую легче обмануть, чем ворону, и которую никогда нельзя обмануть, потому что вера ее – обман. И минутами, когда мне хочется посмеяться, я представляю себе дьявола, который, со всем великим запасом адской лжи, хитрости и лукавства, явился на землю в тщеславной надежде гениально солгать, – и вдруг оказывается, что там просто-напросто не знают разницы между правдою и ложью, какую знают и в аду, и любая женщина, любой ребенок в невинности глаз своих искусно водит за нос самого маститого артиста!

Но мне не до шуток, как бы ни были они забавны; меня ждет иная, великая, светлая работа, и к ней я тороплюсь, с сожалением покидая моего любезного читателя. Надеюсь, впрочем, завтра же свидеться и рассказать *кое-что новое*.

Двадцать второе октября 19... года, воскресенье

Со странным чувством открыл я эти залежавшиеся листки. До завтра, сказал я моему неведомому читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых три года пройдет до той минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда доводить до конца то, что я начал, набрасываю я эти последние строки.

Если успел измениться за эти года мой неведомый друг – читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. С грустной улыбкой, иногда с недоумением, иногда возмущаясь глубоко, проглядел я написанное. Кому это нужно? – разве я не один? А я все искал кого-то, хотел кого-то убедить, мучился сознанием, что мне не верят, и – часто лгал. Да, теперь я могу откровенно сознаться: я очень много лгал в этих бесцельных и наивных записках⁷⁵⁾. Зачем я делал это – разве я не один? И что значат какие-то жалкие правда и ложь в сравнении с тем грозным и великим, что ношу я сейчас в моей одинокой душе. Как жалкий актер, я искал каких-то бессмысленных аплодисментов и кланялся низко праздному зеваке, заплатившему гроши, чтобы увидеть меня, – когда тут же, в темноте кулис, поджидала меня голодная Вечность! Не довольствуясь сознанием, что я невиновен, я все время пытался зачем-то доказать мою чистоту – точно кому-нибудь и действительно нужна моя чистота. Впрочем, не буду распространяться: уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере, а возвращаться снова к этим запискам я не хочу.

Вернусь к тому отдаленному времени.

После долгих, теперь не совсем понятных мне колебаний я решил наконец восстановить для себя во всей строгости систему нашей тюрьмы. Для этой цели, найдя на окраине города небольшой дом, отдававшийся в долгосрочную аренду, я нанял его; затем, при любезном содействии г. начальника нашей тюрьмы, всю глубину благодарности к которому я не могу выразить словами, я пригласил на новое место одного из опытейших тюремщиков, человека еще молодого, но уже закаленного в строгих принципах нашей тюрьмы. Пользуясь его указаниями, а также советами все того же обязательного г. начальника, нанятые мною рабочие

⁷⁵⁾ Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем правды.

превратили одну из комнат в точное подобие камеры. Как размеры, так и форма и все подробности моего нового и, надеюсь, последнего жилища строго соответствуют плану. Размеры моей камеры 8 на 4; высота 4; стены внизу покрашены серой краской, верх же их, а равно потолок остаются белыми; вверху квадратное окно, 1½ на 1½, с массивной железной решеткой, уже успевшей заржаветь от времени; на двери, запираемой тяжелым и прочным замком, издающим звонкий лязг при каждом повороте ключа, небольшое отверстие для наблюдения, а ниже его форточка, в которую подается и принимается пища. Обстановка камеры: стол, стул и привинченная к стене кровать; на стене Распятие, мой портрет и в черной рамке правила о поведении заключенных, а в углу шкаф с книгами. Последний, являясь нарушением строгой гармонии моего жилища, вызван крайней и печальной необходимостью: тюремщик решительно отказался быть моим библиотекарем и выдавать мне книги по списку⁷⁶⁾, а нанимать для этой цели особого человека мне показалось излишним чудачеством. И без того при осуществлении плана я встретил сильную оппозицию не только со стороны местного населения, которое попросту объявило меня сумасшедшим, но и со стороны лиц более просвещенных. Даже г. начальник некоторое время безуспешно пытался отговорить меня и только под конец пожал мне руку,

⁷⁶⁾ Впрочем, в настоящее время я читаю только Евангелие: как я ни крепок, но жить мне осталось немного, я должен торопиться, и других книг мне некогда читать. Все мои дни и часть ночей, покуда не погаснет свет, провожу я над этою единственной в мире книгою и заставляю ее открыть мне свой истинный, свой сокровенный смысл. С торопливостью, к какой вынуждает меня возраст и неотвратимая близость могилы, я пытаю каждое слово, междустрочие я заселяю иными, несказанными словами и мыслью моею, как железными щипцами, дроблю жесткую скорлупу колючих недомолвок. Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня – мне стыдно в этом сознаться – почти до неистовства: даже под пыткой слова молчат, и за жесткою скорлупою, разбитою с таким трудом, я нахожу странную и несомненно лживую пустоту. И вновь торопливо ишу я, пронизывая моим испытующим взором дрожащие, испуганные страницы, – и я найду то, чего я ишу.

Примечание к примечанию.

Как велико мое рвение, об этом может свидетельствовать тот курьезный факт, что мой честный тюремщик особенно строго и зорко следит за мною именно в то время, когда я читаю. Желая успокоить его, я предложил ему, в свободные от его службы часы, почитать Евангелие; и с наивным суеверным страхом он ответил: “Если это та самая книга, которую читаете и вы, то я еще не хочу иметь такой вид, как у вас: кто станет сторожить вас, когда и я стану таким?”

Так пугает профанов напряженная работа духа.

60 выразив искреннее сожаление, что не может предоставить мне места в нашей тюрьме.

Не могу без горькой улыбки вспомнить первый день моего заключения: толпа наглых и невежественных зевак с утра до ночи галдела у моего окна, задирая голову кверху (моя камера находится во втором этаже), и осыпала меня бессмысленными ругательствами; были даже попытки – к стыду моих сограждан! – разгромить мое жилище, и один довольно увесистый камень чуть не раздробил мне голову. Только вовремя явившейся полиции удалось предотвратить катастрофу. Когда же по вечерам я выходил на мою прогулку, сотня глупцов, взрослых и детей, провожала меня с гиком и свистом, осыпая бранью, даже бросая в меня грязью. Так, подобно гонимому пророку, бестрепетно совершал я мой путь среди беснующейся толпы, на удары и проклятия отвечая только гордым молчанием.

70 Что возмутило этих глупцов, чем оскорбил я их пустую голову? Когда я им лгал – они целовали мне руки; когда же во всей строгости и чистоте я восстановил святую правду моей жизни, они разразились проклятиями, они заклеили меня презрением, забросали грязью. Их возмутило, что я смею жить один и не прошу для себя местечка в общей камере для мошенников. Как трудно быть правдивым в этом мире!

Правда, моя настойчивость и твердость под конец покорила их: с наивностью дикарей, чтущих все непонятное, уже со второго года они начали кланяться мне и кланяются все ниже, потому что все больше их удивление, все глубже страх перед непонятным⁷⁷⁾. И то, что я никогда не отвечаю на их поклоны, внушает им восторг; и то, что я никогда не отвечаю улыбкой на их льстивые улыбки, внушает им твердую уверенность, что в чем-то огромном они виноваты передо мною и что я знаю их вину. Изверившись в словах своих и чужих, они благоговеют перед молчанием моим, как благоговеют они перед всяким молчанием и всякою тайною. И вдруг заговори я – я снова стану для них человеком и разочарую их горько, что бы я ни говорил; в молчании же моем я становлюсь подобен их вечно молчащему Богу⁷⁸⁾.

Во всяком случае, их женщины уже считают меня святым; и те кланяющиеся женщины и хворые дети, которых нередко на-

⁷⁷⁾ Я уверен, что их пугает даже мой вид: уже давно перестал я подстригать мои седые волосы и бороду, и их естественный беспорядок, придающий моей голове сходство с головою короля Лира, потерявшего дочерей, кажется им ужасным. Но мне некогда заниматься пустяками.

⁷⁸⁾ Ибо и Богу своему перестают верить эти странные люди, как только заговорит их Бог.

хожу я у порога моего жилища, с несомненностью ждут от меня пустяка – исцеления и чуда. Что же, пройдет еще год или два, и я стану творить чудеса нисколько не хуже тех, о каких рассказывают они с таким восторгом. Странные люди, порою мне становится их жаль, и я не на шутку начинаю сердиться на дьявола, который так искусно смешал карты в их игре, что только шулер знает правду, свою маленькую шулерскую правду о накрапленных фальшивых дамах и столь же фальшивых королях. Слишком низко кланяются они, однако и это мешает развиваться чувству жалости, а то – улыбнись на мою шутку, благосклонный читатель! – я и вправду не удержался бы от соблазна сотворить два-три небольших, но эффектных чуда.

Вернусь к дальнейшему описанию моей тюрьмы.

Устроив окончательно мою камеру, я поставил тюремщику альтернативу: или он будет во всей строгости соблюдать по отношению ко мне все правила тюремного режима и тогда по духовному завещанию получит все мое состояние; или же – не получит ничего. Казалось бы, при такой ясной постановке вопроса я уже не встречу затруднений, но при первом же случае, когда за нарушение какого-то правила меня следовало посадить в карцер, этот наивный и робкий человек наотрез отказался исполнить это; и только угрозой немедленно пригласить на его место другого, более добросовестного тюремщика я принудил его выполнить свою обязанность. Равным образом, весьма исправно запирая двери, он первое время решительно пренебрегал своей обязанностью наблюдать за мною в глазок; и если я, в целях испытания его твердости, предлагал ему, в ущерб здравому смыслу, изменить какое-нибудь правило, он охотно и быстро соглашался на это. И однажды, уличив его таким образом, я сказал ему:

– Мой друг, ты попросту глуп. Ведь если ты не будешь наблюдать за мною и как следует стеречь, то я убегу в другую тюрьму и унесу с собою завещание. Что будешь делать ты тогда?

Счастлив сообщить, что в настоящее время все эти недоразумения уладились, и если я могу на что-нибудь пожаловаться, то скорей на излишнюю строгость, чем на снисходительность: совершенно войдя в свое положение тюремщика, этот честный человек уже не для корысти, а во имя принципа обращается со мной с крайней суровостью. Так, в начале этой недели он решил меня посадить на сутки в карцер за провинность, которой, как мне казалось, я не совершал; и, протестуя против кажущейся несправедливости, я имел непростительную слабость сказать ему:

– В конце концов я возьму и прогоню тебя. Не забывай, что
140 ты служишь у меня.

– А пока ты меня прогонишь, я все-таки тебя засажу, – с чест-
ною грубостью ответил мне этот достойный человек.

– А как же деньги? – удивленно возразил я. – Ты же лишишь-
ся их?

– А разве мне нужны твои деньги? Я отдал бы все свои
деньги, чтобы не быть тем, что я есть. Но что же я могу поделаться,
если ты действительно нарушил правило и я должен отвести тебя
в карцер?

Я не в силах передать того радостного волнения, которое
150 охватило меня при мысли, что и в эту темную голову вошло на-
конец сознание долга и что теперь, если бы даже я пожелал, под-
давшись слабости, уйти из моей тюрьмы, – мой добросовестный
тюремщик не допустит меня до этого. Решительный огонь, свер-
кающий в его круглых глазах, ясно показал мне, что всюду, куда
бы я ни убежал, он найдет меня и приведет обратно; и что револь-
вер, который прежде он так часто забывал положить в кобуру, а
ныне чистит ежедневно, действительно сослужит свою службу,
вздумай я бежать. И впервые за эти года я с счастливой улыбкой
заснул на каменном полу темного карцера, в сознании, что план
160 мой увенчался полным успехом, перейдя из области почти что
чуждачества в область грозной и суровой действительности; и тот
страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюремщику,
к его решительным глазам, к его револьверу, робкое желание
услышать его похвалу и вызвать, быть может, даже улыбку на его
неподкупных устах – отдались в моей душе гармоничным звоном
извечных и последних кандалов.

Так доживаю я мои последние годы. По-прежнему крепко
мое здоровье и светел свободный дух. Пусть одни назовут меня
безумцем и в жалком ослеплении посмеются надо мною; пусть
170 другие признают меня святым и будут ждать от меня чудес; пусть
праведник для одних, для других я лжец и обманщик, – я сам
знаю, кто я, и не прошу о понимании. И если найдутся люди,
которые упрекнут меня в лживости, в неблагородстве, даже в от-
сутствии простой чести – *ведь до сих пор есть негодяи, уверен-
ные, что я совершил убийство*, – то ничей язык не повернется, я
уверен, чтобы обвинить меня в трусости, в том, что до конца я
не сумел выполнить свой тяжелый долг. С начала до конца оста-
вался я сильным и неподкупным; и страшилище, изувер, темный
ужас для одних, в других, быть может, я пробужу героическую
180 мечту о безграничной мощи человека.

Уже давно прекратил я прием посетителей, и со смертью г. начальника нашей тюрьмы⁷⁹⁾, единственного неизменного друга, которого изредка я посещал, у меня порвалась последняя связь с этим миром. Только я да мой свирепый тюремщик, с безумной подозрительностью выслеживающий каждое мое движение, да черная решетка, схватившая в свои железные объятия бесконечное, как намордник закрывшая его зловещую пасть, — вот и вся моя жизнь. Молчаливо принимая низкие поклоны, в холодном отдалении от людей, прохожу я мой последний путь. И все чаще я думаю о смерти, но и перед нею не склоняю я моего бестрепетного 190
взора: сулит ли она мне вечный покой или новую неведомую и страшную борьбу — я покорно готов принять и то и другое.

Прощай, мой дорогой читатель! Смутным призраком мелькнул ты перед моими глазами и ушел, оставив меня одного перед лицом жизни и смерти. Не сердись, что порою я обманывал тебя и кое-где лгал: ведь и ты на моем месте солгал бы, пожалуй. Все же я искренно любил тебя и искренно желал твоей любви: и мысль о твоём сочувствии была для меня немалою поддержкою в тяжелые минуты и дни. Шлю тебе мое последнее прощанье и *искренний совет*: забудь о моем существовании, как я отныне и 200
навсегда забываю о твоём.

Часы моих прогулок, установленные мною с начала заключения, приноровлены к вечернему времени, которое я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного дворика, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершать прогулку “на свободе”. Впрочем, мой строгий друг тюремщик поговаривает, что это надо прекратить, что для него становятся слишком тяжелыми те беспокойные три четверти часа, которые провожу я вне его надзора. И недавно на нашем дворе появил- 210
ся какой-то загадочный кирпич: кажется, *он* хочет обнести мою тюрьму каменной стеною. Вообще *он* становится все строже. До сих пор я ходил гулять один, но со вчерашнего дня нас выходит и возвращается двое: впереди иду я, а сзади, в двух шагах, не сводя с меня глаз, идет *он*.

Обычный путь для прогулки таков: я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся в четверти версты от моей, несколько минут

⁷⁹⁾ Продолжительная и тяжелая болезнь почек подкосила наконец этот могучий организм, и г. начальник тихо опочил под рукою безжалостной смерти. Горе его осиротевшей семье не поддается описанию.

провожу в созерцании ее и затем, поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе.

220 Пустынное поле, поросшее бурьяном, лишенное всякого эха, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавые очертания которой покоряют мое воображение и мою мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая, дневное светило и, вся в красном, как царица, как мученица, с темными язвами своих решетчатых окон, она молчаливо и гордо поднимается над равниной, – я с тоскою, как влюбленный, шлю ей мои жалобы, и вздохи, и нежные укоризны, и клятвы ей, моей любви, моей мечте, моей горькой и последней муке. Навеки остаться у ее ног хотел бы я, но вот оглядываюсь я назад – черный, в огненной рамке заката, неподвижно стоит *он* и ждет. И, вздохнув, молча иду я обратнo, и за мною в двух шагах бесшумно движется *он* и сторожит каждое движение мое.

При закате солнца наша тюрьма прекрасна.

13 сентября 1908 г.

Пьесы

ЦАРЬ ГОЛОД

Представление в пяти картинах с прологом

Посвящается А.М.А.

ПРОЛОГ

Царь Голод клянется в своей верности голодным

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Царь Голод призывает к бунту работающих

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царь Голод призывает к бунту голодную чернь

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

10

Суд над голодными

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Бунт голодных и предательство Царя Голода

КАРТИНА ПЯТАЯ

Поражение голодных и ужас победителей

ПРОЛОГ

Царь Голод клянется в верности голодным

Ночь.

Верхушка старинной соборной колокольни. Позади ее – ночное городское небо; внизу оно резко окрашено заревом городских уличных огней, вверху постепенно мутнеет, свинцовеет и переходит в черную, нависающую, тяжелую тьму. Там, где небо светло, на фоне его резко и отчетливо, как вырезанные из черного картона, вычерчиваются черные столбы, стропила, колокола и решетки церковной башни. Книзу башня переходит в черные, резкие и немного непонятные силуэты церковных кровель, каких-то труб, похожих на неподвижные человеческие фи-

гуры, которые к чему-то прислушиваются, статуй, заглядывающих вниз. Только кое-где на этом черном кружеве видны отсветы низких городских огней: тускло поблескивают крутые бока колокола, желтеют округлые края колонн; на статуе ангела, бросающегося вниз с распростертыми руками, слабо озарены лицо, грудь и верхушки крыльев.

30 На площадке колокольни находятся трое: Царь Голод, Смерть и старое
Время-Звонарь.

Смерть стоит совершенно неподвижно, лицом сюда, и черный силуэт ее рисуется так: маленькая, круглая головка на длинной шее, довольно широкие четырехугольные плечи; все линии прямые и сухи. Окутана Смерть сплошным черным полупрозрачным покрывалом, облегающим узко: сквозь ткань чувствуется и даже как будто видится скелет. Почти так же неподвижно и только изредка качает головой старое Время. И голова у него большая, с огромной, косматой старческой бородою и волосами; в профиль виден большой строгий нос и нависшие мохнатые брови.

40 Царь Голод движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. Заметно только, что он высок и гибок.

Разговаривают Время-Звонарь, Царь Голод и Смерть:

– Ты снова обманешь, Царь Голод. Уже столько раз ты обманывал твоих бедных детей и меня.

– Поверь, старик.

– Как могу я поверить обманщику?

50 – Поверь еще раз. Только раз еще поверь мне, старик! Я никогда не лгал. Я обманывался сам. Несчастный царь на разрушенном троне, я обманывался сам. Ты знаешь ведь, как хитер, как лжив, как увертлив человек. И я губил моих бедных детей, их тощими трупами я кормил Смерть...

Показывает рукою на Смерть. Все такая же неподвижная, Смерть перебивает его скрипучим, сухим и очень спокойным голосом: как будто заскрипели среди ночи старые, заржавленные, давно не открывавшиеся ворота.

– Да – но я еще не сыта.

Время. Ты никогда не бываешь сыта. Столько уже съела ты на моих глазах, и все такая же сухая и жадная.

60 Царь Голод. Но теперь я дам ей более сытную пищу. Довольно наглодалась она костей, как дворовая собака на привязи, – пусть теперь потешится разгульно над здоровыми, толстыми, жирными, у которых кровь такая красная и густая и вкусная. Смерть, дай мне руку, ты поблагодаришь меня – в честь твою будет праздник!

Смерть *(не протягивая руки, говорит тем же скрипучим голосом)*. Да – но я никогда не благодарю.

Время. Ты лжешь, Царь Голод!

Царь Голод. Посмотри на мое лицо – разве не страшно оно. Взгляни в мои глаза – ты увидишь в темноте, как горят они

огнем кровавого бунта. Время настало, старик! Земля голодна. Она полна стонами. Она грезит бунтом. Ударь же в твой колокол, старик, раздери до ушей его медную глотку! Пусть не будет спящих. 70

Время (*колеблясь*). Правда, когда наступает ночь и тишиною одевается время, оттуда – снизу – приходят слабые стоны... плач детей...

Царь Голод (*протягивает руку к городу*). Это оттуда, из проклятого города.

Время (*качает головою*). Нет, еще дальше. Вопли женщин, хрипение стариков, вой псов голодных... 80

Царь Голод. Это оттуда – с полей, из глубины умирающих деревень!

Время. Нет, еще дальше, еще дальше... Как будто стон всей земли слышу я, и это не дает мне спать. Я старик, я устал, мне нужно спать, а они не дают. Мне хочется умереть. Смерть, старая подруга, когда же ты возьмешь меня?

Смерть молчит, и старое Время грустно никнет головою.

Царь Голод. Ударь в колокол! Я так же несчастен. Я так же хотел бы умереть. Бедные дети мои, – хотел я создать царство сильных, а создал лишь царство убийц, тупоумных, лжецов. Я не царь, я жалкий приспешник, а моя корона, моя великая кровавая корона – игрушка у ихних детей. Убей же их, Время, ударь в твой колокол! Ударь! 90

Время. Ты уже говорил это когда-то. И обманул.

Царь Голод. Тогда я сам сомневался.

Время. А теперь?

Царь Голод. Взгляни на моих детей! Спроси у Смерти, она никогда не лжет. Безропотные доселе, теперь они встречают ее бурей негодования, проклятиями, гневом!

Смерть (*говорит тем же сухим, спокойным голосом*). Да – 100 они спорят немного.

Царь Голод. Дай твою руку, Смерть!

Смерть не дает руки и молчит. Тишина. На башне в темноте медленно и печально звонят часы.

Время (*колеблясь*). Я начинаю верить. Мне так хочется отдохнуть – умереть.

Царь Голод. Тогда не будет времени! О милый колокол, ты принесешь нам покой и отдых! Дай нежно прикоснуться к тебе моей усталой головою.

110 Ласкает колокол, целует нежно его крутые бока. Потом молча делает вид, что звонит; и тихонько, глядя на него, сухим, отрывистым смешком хохочет Смерть.

В р е м я. Ты смеешься, Смерть?

С м е р т ь. Да – немного.

В р е м я. Ты рада? Или ты смеешься над моей доверчивостью? Но есть правда в его словах, и колокол знает это. Ночью, когда все спит и только изнемогая стонет земля, по его бокам пробегают тихие шорохи, незаметные, слабые звоны.словно тысячи незримых рук ощупывают и ласкают и спрашивают: сохранился ли голос у меди. Страшно ночью на колокольне, когда мерцает
120 внизу город неугасающими огнями и стонет в кошмаре земля... Ты слышишь?

Все прислушиваются. Царь Голод отшатнулся от колокола и слушает, напряженно выкинув руки. И тихо звенящим шелестом вздыхает колокол и замолкает.

С м е р т ь. Да – звенит немного.

Ц а р ь Г о л о д. Ты слышишь! Земля требует бунта. Торопись, старик!

В р е м я. И так каждую ночь. Как трудно слышать это.

Ц а р ь Г о л о д. Скоро ты услышишь другие крики. В них будет гнев!

130 В р е м я. И боль.

Ц а р ь Г о л о д. Нет, гнев, гнев! Боли всегда много у земли. Гнев, гнев, старик!

Где-то внизу, в светлеющей глубине, трижды – протяжно – трубит хриплый рог. Начинаясь на низкой ноте, звук медленно замирает на высокой – чувствуется в нем тоскливый и страшный призыв. И еще раз, где-то вдали, повторяется протяжный и тоскливый зов.

С м е р т ь. Меня зовут.

Исчезает. Некоторое время стоит молчание. Невидимые огни в городе несколько мутнеют, блекнут, и с одной стороны, высоко, начинает играть и колыхаться
140 беззвучно красноватое зарево. По-видимому, где-то в городе начался пожар.

В р е м я. Ушла Смерть.

Ц а р ь Г о л о д. Ее позвали.

В р е м я. Нет, скажи, зачем она убила моего голубя? Здесь на крыше жил голубь, стучал лапками по железу и радовал меня, – а она его убила.

Царь Голод смеется громко.

В р е м я. Чему ты?

Ц а р ь Г о л о д. Так. Я очень люблю ее.

Время. Вот ты смеешься, и я опять не верю тебе. Теперь ты один – скажи мне правду, Царь Голод. Ты великий предатель, ты лжец передо всеми, ты вовлекаешь людей в безумные поступки и потом смеешься над ними. Но сейчас?.. 150

Царь Голод (*произносит торжественно и твердо*). Клянусь.

Время. Ты дашь голодным победу?

Царь Голод. Клянусь.

Время. И мне ты дашь покой?

Царь Голод. Клянусь.

Время (*вздыхает*). Я верю тебе. И я ударю в колокол, когда ты этого захочешь. 160

Царь Голод. Это будет скоро. Я устал.

Время. И я устал.

Утомленно кладет большую, лохматую голову на каменную балюстраду. Растущее зарево окрашивает красным его седые волосы и длинную худую руку, лежащую на перилах.

Царь Голод (*так же утомленно садится у ног и кладет голову на его колени. И говорит*). Опять у них горит что-то. Но я устал. Я не пойду туда сегодня. Я побуду с тобой. У тебя так тихо. 170

Время. У меня страшно.

Царь Голод. Там еще страшнее. Я был везде, и страшнее всего у человека. Спой мне твою песенку. Время, дай отдохнуть великому и несчастному царю.

При блеске разгорающегося зарева Время поет тихим старческим голосом.

Песенка Времени. ...Жил на башне голубь – голубь. Сту- чал лапками по железу – голубь, голубь. Пришла смерть и взяла голубя. Все падает, все рушится, и все родится вновь. О безна- чальность, мать моя! О деточки мои – секундочки, минуточки, годочки – о бесконечность, дочь моя!..

Уже полнеба охвачено заревом, и уже не колышется плавно, а мечется и прыгает оно. Но на башне спокойно и тихо; и печально, с покорностью вызывают часы, отмечая незримо бегущее время. 180

Опускается занавес.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Царь Голод призывает к бунту работающих

Первое, что с силою овладевает сторонним зрителем, это многоголосый, сложный, но ритмичный шум от работы машин и тысяч приставленных к ним людей. Равномерные тяжелые вздохи паровиков, жужжание и свист вертящихся колес, шестидесять бесконечно бегущих ремней; глухие, редкие, сотрясающие землю удары
190 больших механических молотов. На фоне этих мертвых, тяжелых, жестоко-неизменных звуков, как будто уже не зависящих от воли человека, – живой, меняющийся, но ритмичный стук многочисленных маленьких молотков. Различные по тону и силе звука, они то сливаются в общий, живой, говорливый поток, то разбегаются в одиночку, слабеют, становятся жалобны и тихи – как стая певчих птиц в лесу, разогнанных коршуном. В общем получается какая-то мелодия, напоминающая песенку Времени.

При раскрытии занавеса глазам представляется, в черном и красном, внутренность завода. Красное, огненное – это багровые светлы из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотами черные тени людей.
200 Черное, бесформенное, похожее на стгутившийся мрак – это силуэты чудовищных машин, странных сооружений, имеющих грозную видимость ночного кошмара. Угрюмо-бесстрастные, они налегли грудью на людей и дают их своею колоссальною тяжестью. И столбы, подпирающие их, похожи на лапы чудовищных зверей, и их черные грозные массы – на тела животных, на исполинских птиц с распростертыми крыльями, на амфибий, на химер. Тяжесть, и покой, и мрак; и будто смотрят отовсюду широко открытые, недвижимые слепые глаза. И как маленькие черные тени копошатся внизу люди. Суетливости нет в их движениях, нет живой и порывистой свободы жеста. И говорят и движутся они размеренно и механично, в ритме молотов и работающих машин; и когда кто-ни-
210 будь вдруг выступает отдельно, то кажется, что это откололась частица черной машины, странного сооружения, похожего на неведомое чудовище.

Звуки работающих молотов и машин то усиливаются, то затихают. И голоса людей вливаются в этот хор незаметно, звучат в унисон: то живые и звонкие, то глухие, отрывистые, тупые – почти мертвые.

Жалобы работающих

- Мы голодны.
- Мы голодны.
- Мы голодны.

Трижды отрывисто ударяет большой молот.

- 220
- Мы задавлены машинами.
 - Мы задыхаемся под их тяжестью.
 - Железо давит.
 - Гнет чугун.
 - О, какая безумная тяжесть! Точно гора надо мною!
 - Надо мной вся земля.

– О, какая безумная тяжесть!

Удар молота.

– Меня плющит железный молот. Он выдавливает кровь из моих жил – он ломает кости – он делает меня плоским, как кровельное железо.

230

– Между валами протягивают мое тело, и оно становится узкое, как проволока. Где мое тело? Где моя кровь? Где моя душа?

– Меня кружит колесо.

– День и ночь визжит пила, разрезая сталь. День и ночь в моих ушах визжит пила, разрезая сталь. Все сны, что я вижу, все слова и песни, что я слышу, это визг пилы, разрезающей сталь. Что такое земля? Это визг пилы. Что такое небо? Это визг пилы, разрезающей сталь. День и ночь.

– День и ночь.

– День и ночь.

240

Удар молота. Трижды.

– Мы задавлены машинами.

Звонкий рыдающий голос

– Мы сами части машин!

– Я молот.

– Я шелестящий ремень.

– Я рычаг.

Слабый голос

– Я маленький винтик с головою, разрезанной надвое. Я ввинчен наглухо. И я молчу. Но я дрожу общей дрожью, и вечный гул стоит в моих ушах.

– Я маленький кусочек угля. Меня бросают в печь, и я даю огонь и тепло. И вновь бросают, и вновь горю я неугасимым огнем.

– Мы огонь. Мы раскаленные печи.

– Нет. Мы пища для огня.

– Мы машины.

– Нет. Мы пища для машин.

– Мне страшно.

– Мне страшно.

260

Удар молота.

Голоса звучат испуганно и жалобно:

- О страшные машины!
- О могучие машины!
- Будем молиться. Будем молиться машинам.

Г и м н м а ш и н е

Кто сильнее всех в мире? Кто страшнее всех в мире? Машина.
 Кто всех прекраснее, богаче и мудрее? Машина. Что такое земля?
 Машина. Что такое небо? Машина. Что такое человек? Машина.
 270 Машина.

Трижды, мрачно соглашаясь, ударяет молот.

Ты, стоящая над миром; – ты, владычица тел, помыслов и душ наших; – ты, славная, бессмертная, премудрая машина, – пощади нас! Не убивай нас – не калечь – не мучь так ужасно! Ты, безжалостнейшая из безжалостных, скованная из железа, дышащая огнем, – дай нам хоть немного свободы! Сквозь копоть твоих стекол, сквозь дым твоих труб мы не видим неба, мы не видим солнца! Пощади нас!

На мгновение умолкают маленькие живые молотки, и трижды безжалостно и тупо ударяет в темноте большой молот. И уже слышны отдельные возмущенные голоса:

- Она не слышит!
- Она глухая, – дьявол!
- Она лжет!
- Издевается над нами!
- Мы работаем для других!
- Всё для других!
- Мы льем пушки.
- Мы куем звонкое железо.
- 290 – Мы готовим порох.
- Создаем заводы.
- Города.
- Всё для других.
- Братья! Мы куем собственные цепи!

Частый, живой, резкий, негодующий стук маленьких живых молотков. И в такт ударов негодующие голоса:

- Каждый удар – новое звено.
- Каждый удар – новая заклепка.
- Бей по железу.
- 300 – Куй собственные цепи.
- Братья, братья, мы куем собственные цепи.

Глухой удар большого молота обрывает этот бурный и живой поток, и дальше он течет ровно и устало.

- Кто освободит нас от власти машин?
- Покажет небо? Покажет солнце?
- Царь Голод!
- Царь Голод!
- Нет, он враг. Он загнал нас сюда.
- Но он нас и выведет отсюда.
- Велика его власть! Велико его могущество! 310
- Он страшен. Он коварен и лжив. Он зол. Он убивает наших детей. У наших матерей нет молока. Их груди пусты.
- Грозным призраком стоит он у наших жилищ.
- От него некуда уйти. Он над всею землею.
- Тюремщик!
- Убийца!
- Царь Голод! Царь Голод!

Удар молота.

- Нет, он друг. Он любит нас и плачет с нами.
- Не браните его. Он сам несчастен. И он обещает нам 320 свободу.
- Это правда. Он дает нам силу.
- Это правда. Чего не может сделать голодный?
- Это правда.
- Чья ярость сильнее?
- Чье отчаяннее мужество? Чего может бояться голодный?
- Ничего.
- Ничего. Ничего!

Несколько ударов молота.

- Зовите его сюда! 330
- Голод! Голод! Голод!
- Иди сюда, к нам. Мы голодны. Мы голодны!
- Молчите, безумцы!
- Голод! Голод!
- Он идет!
- Царь Голод! Царь Голод!
- Он пришел!
- Царь Голод!

На середину, в полосу багрового света, из горна быстро входит Царь Голод. Он высокого роста, худощавый и гибкий; лицо его, с огромными, черными, 340 страстными глазами, костляво и бледно; и волосы на точеном черепе острижены низко. До пояса он обнажен, и в красном свете отчетливо рисуется его силь-

ный, жилистый торс. И весь он производит впечатление чего-то сжатого, узкого, стремящегося ввысь. В движениях своих Царь Голод порывист и смел; иногда, в минуты задумчивости и скорби, царственно-медлителен и величав. Когда же им овладевает гнев, или он зовет, или проклинает, – он становится похож на быстро закручивающуюся спираль, острый конец свой выбрасывающую к небу. И тогда кажется, что в движении своем, как вихрь, поднимающий сухие листья, он подхватывает с земли все, что кругом, и одним коротким взмахом бросает его к небу.

350

Голос его благороден и звучен; и глубочайшей нежности полны его обращения к несчастным детям.

Царь Голод. Дети! Милые дети мои! Я услышал ваши стоны и пришел. Бросьте работу! Подойдите ко мне. Бросьте работу.

Останавливается выжидающе, озаренный красным светом раскаленной печи. И медленно собираются вокруг него работающие. Только трое из них вступают в полосу света и становятся видимы отчетливо, остальные же стоят грудю темных теней; и только кое-где случайный луч выхватывает из мрака голое могучее плечо, поднятый молот или суровый профиль.

360

И те, которые видимы, таковы по своей внешности. Первый Рабочий – могучей фигурой своею и выражением крайней усталости походит на Геркулеса Фарнезского. Ширина обнаженных плеч, груды мускулов, собравшихся на руках и на груди, говорят о необыкновенной, чрезмерной силе, которая уже давит и отягощает обладателя ее. И на огромном туловище – небольшая, слабо развитая голова с низким лбом и тускло-покорными глазами; и в том, как наклонена она вперед, чувствуется какая-то тяжелая и мучительная бычачья тупость. Обе руки рабочего устало лежат на рукояти громадного молота.

370

Второй Рабочий – молодой, но уже истощенный, уже больной, уже кашляющий. Он смел – и робок; горд – и скромн до красноты, до заиканья. Начнет говорить, увлекаясь, фантазируя, грезя, – и вдруг смутится, улыбнется виноватой улыбкой. На земле он держится легко, как будто где-то за спиною у него есть крылья; и, кашляя кровью, улыбается и смотрит в небо.

Третий Рабочий – сухой, бесцветный старик, будто долго, всю жизнь, его мочили в кислотах, съедающих краски. Так же бесцветен и голос его; и когда он говорит, кажется, будто говорят миллионы бесцветных существ, почти теней.

Звук маленьких живых молотков совершенно затихает.

Царь Голод (*говорит властным голосом*). Слушайте, милые дети мои! Я обошел все царство труда, царство голода и нищеты, бесправия и гибели, – все великое и несчастное царство мое. Кто видел Голод плачущим? А я плакал, дети мои, я плакал кровавыми слезами, глядя на несчастья ваших братьев. Горе, горе работающим!

380

Рабочие (*отвечают тихо*). Горе!.. горе... горе работающим!

Царь Голод. И я принес вам привет от ваших братьев. И я принес вам великий наказ от ваших братьев: готовьтесь к бунту! (*Молчание. Бухает молот.*) Готовьтесь к бунту! Уже веет незри-

мо над головою кровавое знамя его, и сам, в ночи, содрогаясь муками земли, стонет колокол всполоха. Я слышал его стон! 390

Молчание.

Первый Рабочий (*кладет тяжелую руку на плечо Царя Голода, несколько сгибая его, и говорит глухим, сильным голо-сом, словно идущим из какой-то подземной глубины*). Я рабочий. Я стар как земля. Я совершил все двенадцать подвигов, чистил конюшни, срубал головы гидре, точил землю и взрывал ее, строил города; и так изменил лицо земли, что теперь не узнал бы ее сам Творец. И я не знаю, зачем я делал это. Чью волю я творил? К какой цели я стремился? Моя голова тупа. Я устал смертельно. Меня гнетет моя сила. Объясни же мне, Царь! А иначе я возьму 400 мой молот и расколю эту землю, как пустой орех.

Угрожающе поднимает молот.

Царь Голод. Погоди, мой сын! Береги свои силы для последнего великого бунта. Тогда ты узнаешь всё.

Рабочий (*угрюмо и покорно*). Я погожу.

Второй Рабочий (*приближается к Царю Голоду и го-ворит возбужденно, показывая на первого*). Он ничего не понимает, Царь. Он думает, что землю надо расколоть. Это такая неправда, Царь. Земля прекрасна, как Божий сад. Ее нужно беречь и ласкать, как маленькую девочку. Многие из тех, что вон стоят 410 в темноте, говорят, будто нет ни неба, ни солнца, будто на земле вечная ночь. Ты подумай: вечная ночь!

Кашляет.

Царь Голод. Отчего, кашляя кровью, ты улыбаешься и смотришь в небо?

Рабочий. Оттого, что на моей крови вырастут цветы, и я уже вижу их. У одной богатой и красивой дамы я видел на груди алую розу – она и не знала, что это моя кровь.

Царь Голод (*насмешливо*). Ты поэт, мой сын. Уж не пишешь ли ты стихов, по-ихнему? 420

Рабочий. Царь, Царь, не смейся надо мною. В темноте я научился поклоняться огню. Умирая, я понял, как прекрасна жизнь. О, как прекрасна! Царь, – это будет большой сад, и там будут гулять, не трогая друг друга, и звери и люди. Не смейте обижать зверей! Не смейте обижать человека! Пусть гуляют, пусть целуются, пусть ласкают друг друга, – пусть! (*Добавляет печально.*) Но где путь? Где путь, объясни, Царь Голод.

Царь Голод (*твердо и мрачно*). Бунт.

Рабочий (*печально говорит*). Через насилие к свободе?
430 Через кровь к любви и поцелуям?

Царь Голод. Другого пути нет.

Молчание. Тяжелые вздохи.

Третий Рабочий (*старик, подходит и говорит бесцветным голосом*). Ты лжешь, Царь Голод. Так ты убил и отца моего, и деда, и прадеда, и нас хочешь убить. Куда ты ведешь нас, безоружных? Разве ты не видишь, какие мы темные и слепые и бессильные. Ты предатель. Это у нас только ты царь, а у них – ты лакей за ихним столом. Это у нас ты носишь корону, а у них ты ходишь с салфеткою.

440 Царь Голод (*кричит гневно*).

– Молчи! Ты выжил из ума!

Твердые голоса

– Нет.

– Пусть говорит.

– Говори, старик.

– А ты, Царь, слушай.

Царь Голод (*извиняясь, мягко*). Простите, дети. Конечно, пусть говорит. Говори, старичок, не бойся.

450 Рабочий. Я не боюсь. Я винтик из машины – мне нечего бояться. А зачем ты обманываешь нас? Зачем внушаешь нам обманчивую веру в победу? Разве побеждал когда-нибудь голодный?

Царь Голод. Да – но теперь победит.

Голоса

– Необходимо кончить.

– Так жить нельзя.

– Лучше смерть, чем эта жизнь.

– Другого пути нет.

Первый Рабочий. Иначе я подниму мой молот...

Второй Рабочий. А если есть другой путь?

460

Голоса

– Какой?

– Говори! Какой?

– Он бредит!

Сближаются вокруг Царя Голода и первых Рабочих.

Второй Рабочий (*мечтательно*). А если... попробовать... зажечь землю мечтами?

Смех.

Второй Рабочий (*волнуясь и спеша, говорит*). Погодите. Есть другой царь, не Царь Голод. (*Испугавшись*.) Но я не знаю, как его зовут.

470

Смех.

Царь Голод (*говорит покровительственно*). Ты поэт, мой сын. Поэты же земли не зажигали никогда. И зажечь ее может только один могучий, один великий и всесильный Царь Голод! Слушайте меня, дети мои! (*Опустив голову, говорит угрюмо и сильно*.) Здесь ваш старик назвал меня лакеем. Я разгневался, ибо тяжко брошенное оскорбление, – но это правда. Да... Я лакей. Я прислужник у сытых. Я наемный убийца в их руках, палач, казнящий только безвинных. О хитрый, о подлый человек, что сделал ты со мною? В какое позорище превратил ты мой великий, мой первозданный трон! (*Говорит нежно, ласкающим голосом*.) О дети, о милые дети мои! Посмотрите на лес, загляните в глубины рек, морей и болот, где еще царствую я беспредельно, – как там прекрасно! Все движется, все растет, одевается силой и красками, стремится стать радугой и божеством, – как там прекрасно! И там много трупов, но нет убитых, нет безвинно казненных – ибо я царь Справедливости в великом царстве моем! (*Загорается гневом*.) А здесь? О хитрый, о подлый человек! Ничтожный, сытый, сидит, распустивши слюни, и гоняет меня по свету, как бешеную, но послушную собаку. Царь Голод, туда! Царь Голод, сюда! Убей тех! Обессиль этих! Истреби младенцев и женщин! Отними красоту и мощь у прекрасного тела, и пусть над миром буду только я, сытый, ничтожный, дряблый. Мне не хочется есть, так засунь же мне в глотку баранью ногу, пропихни ее в мое толстое чрево! И я засовываю, засовываю – и салфеткой вытираю сальные губы!

480

490

Работающие хохочут, и Царь Голод вторит им гневно и продолжает:

Как смел ты извратить мою волю, о подлый, о хитрый человек! – Голодные – со мною против сытых! Вернем человеку его мощь и красоту, бросим его снова в поток беспредельного движения! Со мною, голодные! (*Мечется по кругу*.) Кто сказал, что вы слабы? Вы сила земли. Разве ты слаб? (*Ошибаясь, схватывает за плечо старика, и тот шатается бессильно*.) Да, я ошибся.

500

Ты слаб. А ты, а ты, мой друг? (*Хватает за руку Первого Рабочего; любитесь им.*) Разве это не сила? Разве это не красота? Посмотрите на него. На эти мышцы, на эту грудь! Милый сын мой, ты достоин быть царем, а ты только раб. Дай твою руку, я поцелую ее.

Порывисто бросается на колени и целует тяжелую, вялую руку.

510 П е р в ы й Р а б о ч и й. Я ничего не понимаю.

Г о л о с а

- У них оружие!
- У них пушки, отлитые нами!
- У них инженеры.
- Ученые.
- У них власть, и сила, и ум!

Царь Голод прислушивается, вытянув шею.

- У них машины!
- Страшные машины!
- 520 – Мудрые машины!

Царь Голод (*топнув ногою, кричит гневно*). Так уничтожьте их! Я ненавижу машины! Они лгут, они обманывают, они поработают вас. Разбейте их.

Г о л о с а. У них пушки!

Царь Голод. Так отнимите их!

П е р в ы й Р а б о ч и й. А кто будет управлять? Мы не умеем, царь!

Царь Голод (*полный бешеного гнева, вдруг кричит властно, в безумии*). Молчите!

530 И когда все стихает, он говорит напряженно, сквозь зубы, еле сдерживая клокочущий гнев.

Безумцы! Пушки нужны им, а не вам. Отнимите их только, и они станут бессильны и кротки, как домашние животные, они будут плакать и молить вас о пощаде.

Г о л о с а. Это правда!

Царь Голод. Отнимите пушки – и к вам на службу придут инженеры и ученые, и вы станете господами земли!

Г о л о с а

- Это правда!
- 540 – Нет, это ложь. Братья, готовится новое предательство!

– Нет, это правда.

Царь Голод. К бунту, дети мои! На улицы! Ломайте машины, режьте ремни, заливайте котлы, – на улицы! К бунту, дети мои. Вас зовет великий и несчастный царь!

Г о л о с а

– На улицы!

– Мы боимся!

– Нас убьют!

– На улицы!

– Так жить нельзя. Долой трусов!

550

– Ломайте машины!

– Мы боимся!

– Боимся!

– Пощади нас, Царь Голод. Мы так боимся!

Ц а р ь Г о л о д

(властным движением руки восстанавливает тишину и, весь озаренный красным отсветом горна, говорит с холодной и безнадёжной свирепостью). Вы боитесь, дети? Пусть так. Но послушайте же меня, трусы. Не с пальмовой ветвью мира пришел я к вам – я к вам прислан для убийства. Вы не хотите остановить машин – тогда остановлю их я. Вы не хотите бросить работу, тогда заставлю бросить я. И я пойду отсюда за вами – я ворвусь в ваши жилища, я передую ваших младенцев, я выжму последнее молоко из груди ваших жен и матерей – и убью их. И над их трупами вы заплачете горькими слезами!

Кричит свирепо:

– Смерть! сюда!

Среди молчания, в жуткой тишине, трижды раздается хриплый звук рога, сперва дальше, потом все ближе и ближе. Тухнут, точно залитые мраком, дальние горны, и позади рабочих, в углу, встает что-то огромное, черное, бесформенное.

570

Это ты, Смерть?

Молчание и сухой, недовольный ответ:

Да – это я.

Работающие робко жмутся друг к другу, освобождая угол, в котором черным и бесформенным пятном возвышается С м е р т ь.

Царь Голод. Вы слышали? Она уже здесь. Она уже стоит над вами и ждет послушно. Одно движение, один лишь знак – и черною тучею она ринется на ваши дома, безжалостная, и изо-

бьет ваших жен и детей. Вы знаете, что это значит, когда по тем-
580 ным улицам длинною вереницею несут гробы – маленькие гроби-
ки – крошечные гробики – деревянные тихие колыбельки?

Суровое молчание.

Решайте же, трусы: для кого смерть, для кого гибель? Для вас
или для детей ваших? Скорее. Она ждет.

Молчание.

Первый Рабочий (*решительно*). Для нас.

Второй Рабочий. Для нас, для нас!

Многочисленные суровые, покорные, восторженные голоса:

– Для нас! Для нас! Бери нас, Смерть. Победа или Смерть!
590 Смерть!

С криком бросаются к ногам неподвижной Смерти. И, озаренный красным
светом горна, охватив голову руками, громко, в безумном отчаянии и восторге
рыдает Царь Голод.

Опускается занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царь Голод призывает к бунту голодную чернь

Ночь.

Подобие черной, плоской, уходящей ввысь стены. На самом верху ее, видимые только на две трети, несколько очень больших окон с зеркальными стеклами. Окна очень ярко освещены – там происходит бал. Сквозь полупрозрачные гардины и сетку тропических растений видно неопределенное движение; иногда танцующая пара пронесется близко, и тогда на мгновение мелькает черный костюм мужчины, белое платье и белые голые плечи женщины. С редкими перерывами играет красивая нежная музыка; и только раз, на короткое время, она играет тот мотив, что играет на Балу у Человека. Случается раз или два во время картины, что кто-нибудь очень красивый подходит к окну и неопределенно смотрит в темноту улицы; или молодая, красивая, влюбленная пара скрывается за гардины и предается нежным, быстролетным ласкам. 10

Внизу стены, видимое в разрезе, подвальное помещение дома. Сводчатые потолки очень низки, и, точно раздавленное огромною тяжестью дома, помещение имеет форму сплюснутого полуовала. Походит немного на сплюснутое тяжестью камня жерло большой печи. Освещено оно несколько висящими лампами; в общем, свет слабее, чем в верхних господских окнах, но достаточно ярко, чтобы с полною ясностью можно было рассмотреть все находящееся внутри. 20

В углах помещения и в дальнем конце его валяется всякая рухлядь: пустые, полурассыпавшиеся бочки без обручей, какие-то доски, деревянные козла и т.п. – по-видимому, для жилья оно не служит. Посредине длинный стол, и за ним, на бочонках и досках, но в строгом и чинном порядке сидят собравшиеся представители голодной черни и с несколько зловещей точностью пародируют настоящее деловое заседание. Есть чернильница и звонок, и даже председатель, который, пошатываясь, сидит на высоком бочонке. 30

Всего собралось человек двадцать. Это уличные дешевые проститутки, хулиганы и их подруги, сутенеры, мелкие воры, убийцы, нищие, калеки и другие отбросы большого города, все самое ужасное, что может дать нищета, порок, преступление и вечный, неутолимый душевный голод. Только у двух-трех, в том числе у одной девочки, их лица и костюм походят на обыкновенные человеческие лица и платья; остальные – сплошное, дикое и злое уродство, только смутно напоминающее человека. Почти полное отсутствие лба, уродливое развитие черепа, широкие челюсти, что-то скотское или звериное в походке и движениях делают их существами как бы совсем особой расы. Одеты фантастически и грязно, и только сутенеры щеголяют нелепо-франтовскими нарядами, пестрыми галстуками и даже тщательно расчесанными проборами на головах микроцефалов. Некоторые лица очень темны; другие очень красны; и есть несколько зловещих лиц, бледных смертельно, совершенно белых, с яркими пятнами румянца на скулах. 40

Председатель – толстый, низкий, с вылупленными глазами и остроконечным лысым черепом, походит на задыхающуюся пьяную жабу. Лицо красное.

Председатель

(звонит в колокольчик и говорит, задыхаясь, но очень миролюбиво).

– Все... получили... повестки?

50 – Никто не получал.

– Ну все равно, заседание состоится и без повесток. Итак, господа проститутки... и стервы, господа... хулиганы, карманники, убийцы и сутенеры... объявляю заседание открытым. И первым делом как председатель... прошу господ членов откровенно со-
знаться: кто принес с собою водку?

– Я.

– И я. А тебе не дам.

– У всех есть.

60 – Э... это нехорошо. Тут пить нельзя, а кто хочет, пусть отойдет в тот угол, за бочку, там буфет. И, пожалуйста, прошу, чтобы за столом не спали: вон дама уже храпит. Эй, дама! Секретарь, дайте даме по шее!

– Вставай, дьявол!

– К черту женщин!

– К делу.

– Ах, как же можно без дам. Дамы украшают, так сказать.

– Молчи, сутенер!

– Вор!

70 Председатель. Ну и это нехорошо. Господин вор! Господин сутенер! Тут все равны. Ну и дамы тоже...

Удивленно таращит вверх глаза и вдруг кричит:

Эй, музыка там, замолчи! – Она не молчит.

– К черту председателя!

– Это почему?

– Он пьян. Надоел. К делу! Он пьян.

– Ну и это нехорошо говорить так. Разве я тут пил? Я раньше напился. Но если все хотят...

– Все! Все.

– Ну и черт с вами!

80 Уходит в угол и там пьет, достав бутылку из кармана. На председательское место решительно и быстро вскакивает Молодой Хулиган с смертельно бледным, бескровным лицом и черными закрученными усиками. По-видимому, он считается очень красивым и знает это, потому что сильно рисуется и кокетничает. Но минутами все это соскакивает, и тогда в зверином оскале зубов, в бледном лице, в том, как нежно и томно щурятся маленькие острые глазки, чувствуется беспощадная свирепость, безграничная плоскость и обнаженность души, полное отсутствие чего бы то ни было сдерживающего. Говорит несколько грубо.

– Прошу молчать. Я председатель.

– А кто тебя выбрал?

– Сам выскочил.

90

– Нет, это хорошо. Он может...

Председатель (*свирепо оскалив зубы*). Молчать! Тихо. (*Продолжает томно и нежно.*) Тут у некоторых есть ножи!.. Кто будет спорить против избрания, шуметь, нарушать порядок, того я просил бы сходить к попу и исповедаться в грехах...

Довольный смех.

Молчать! Эй, посадить того пьяницу на место.

– Тут буфет.

Пьяницу, бывшего председателя, бьют и сажают на место.

– Ну и сел.

100

– Молчать! Ставится на обсуждение вопрос о необходимости всеобщего разрушения.

– Как?

– Всеобщего разрушения. Ораторов прошу записаться в очередь. Женщин и пьяниц прошу говорить только по специальному приглашению председателя. Тихо. Кто имеет сказать?

Встает один.

– Я предложил бы подождать Отца.

Председатель (*мрачно*). Это зачем?

– Он созвал нас сюда.

110

– Да, верно.

– Подождать!

– Молчать! С места не говорить. Неизвестно, когда придет Отец, а нам ждать нельзя. У многих сегодня ночью дела. Предлагаю приступить к прениям.

– Виноват: очень мешает музыка и топот танцующих.

– Пусть танцуют. Музыка достаточно красива, чтобы вдохновить ораторов. Вам что угодно?

– Я желал бы сказать первый. Сегодня ночью мне и моему уважаемому товарищу предстоит вырезать целую семью. Вы понимаете, господин председатель, что этот труд потребует много времени, и я...

– Понимаю. Прошу.

Оратор начинает сладким голосом:

– Уважаемое собрание! Не осмеливаюсь сказать: высокое собрание, так как, находясь в подвале...

– Короче.

– Слушаю-с. Когда я родился...

130 Председатель (*гневно*). То родился дурак. Вам предстоит вырезать целую семью, а вы начинаете с рождения, как член парламента.

– Но и члены парламента...

– Прошу подчиниться. Вообще предлагаю говорить не долее двух минут. У кого-нибудь есть часы? – я свои забыл дома.

Один из членов вынимает из кармана десяток часов и кладет на стол.

– Есть.

– Благодарю вас. Достаточно одних. Во избежание дальнейших задержек предлагаю в речах ограничиться только предложением способов разрушения, так как мотивы известны.

140 – Нет, не всем. Пусть говорят.

– Как танцуют! Они пол провалят на наши головы.

– Им весело.

– Ничего. Скоро будут плакать.

– А мы танцевать!

– Молчать! Итак, предлагаю: две минуты – о мотивах разрушения. Две – о способах такового. Прошу начать.

Оратор с темным лицом глухо говорит:

– Мы голодны и, как собаки, выброшены в ночь. Нас ограбили, у нас отняли всё: силу, здоровье, ум, красоту...

150 – А их женщины красивы!

– И мужчины тоже.

– Молчать!

– Мы бесстыдны, безбожны, бессовестны, и на всей земле у нас нет ничего. Мы хуже скотов, потому что когда-то были людьми. И я предлагаю (*указывает наверх*) разрушить, уничтожить, стереть с лица земли. Способ: предлагаю отравить ихний водопровод.

– А где мы возьмем столько яду?

– Мы ограбим аптеки.

160 – Глупости. Мы сдохнем сами.

– Мы будем пить из реки. А если и издохнем...

– Я не хочу умирать.

– К черту! Не годится. Следующий!

Поблизости раздается трижды протяжный, хриплый звук рога, предвещающий приближение Смерти. Никто, однако, его не слышит. Встает оратор, старик с красным лицом.

– Я заметил, что вся их сила (*указывает наверх*) в книгах. Когда человек прочтет много книг, он становится умный. А когда

он становится умный, он начинает грабить, и с ним ничего не поделаешь. Тогда у него делается особенное лицо, и речь, и платье, 170
а мы остаемся в дураках, и из нас как насосом выкачивают жизнь.
И я предлагаю уничтожить ихние книги. Я ненавижу книги. Когда мне попадается одна, мне хочется ее бить, плевать ей в рожу, топтать и говорить: Сволочь! Сволочь!..

- Но как уничтожить?
- Вы глупы, оратор. Они напечатают вновь.
- Еще больше!
- Книг так много!
- Довольно! Голосование потом. Следующий оратор.
- Я предлагаю...

180

Пьяница, бывший председатель, валится со стула. Одновременно с этим входит С м е р т ь и садится на свободное место. Вверху – веселая музыка, и кто-то красивый подходит к окну и неопределенно всматривается в темноту улицы. При свете можно рассмотреть лицо Смерти. Оно маленькое, сухое, темное, с большими темными провалами глаз и постоянно обнаженными крупными зубами, похожими на белые клавиши рояля. Очень спокойное.

Пьяницу осматривают.

Председатель. Издох. Отволоките его в угол.

Труп грубо оттаскивают в угол, и там лежит он все время, выпятив круглый живот, подошвами к зрителям.

190

Прошу на места. Кто это плачет?

- Его любовница.
- Его любовница? Сударыня, и вы могли любить эту свинью?

Прошу вас замолчать, однако. Иначе велю вывести. Молчать!

- Я не буду.
- Прошу оратора продолжать.
- Я предлагаю, извините... Тут есть сад с зверями, с тиграми...

Я предлагаю: взломать клетки и выпустить зверей.

– Это глупо. У них есть ружья, дома, – вас слопают первого...

200

- Ну хоть попугать.
- А зачем это нужно?
- Так, весело очень. А потом (*говорит нежным голосом*) там в саду бывают ихние деточки, так вот, может, хоть одного ребеночка... деточку... Посмотреть бы.
- Это бы и я посмотрел.
- Мне нравится.

Плаксиво шмурыгает носом и просит:

– Одного бы... деточку...

210 – Верно! Верно! Нужно уважить старика.
Председатель (*гневно*). Молчать! Что нам один ихний ребенок, десяток, сотня. Долой нежности! Необходимо дело. Предлагайте! Предлагайте!

Все растерянно переглядываются, бессильные что-либо придумать.
Отдельные вскрики:

- Бить их на улицах!
- А полиция?
- Собраться в дружины и...
- Мы раньше перегрыземся сами.

220 – Вот что! Слушайте. Да слушайте же! Заразить их нашими болезнями.

- Сифилисом!
- Тифом!
- Холерою!

Председатель. Вздор! У них есть доктора. На тысячи наших ихних подойдет только один. Да ищите же! Неужели мы так бессильны?

- Проклятые книги!
- Что делать?

230 – Танцуют.
– Где же Отец?

- Мы бессильны! Проклятые! Танцуют. Где Отец?

Все, за исключением спокойно сидящей Смерти, вскакивают и, смешавшись в груды разъяренных тел, протягивают к низкому, давящему своду угрожающие руки.

- Проклятые!
- Танцуйте! Танцуйте!
- Мы придем к вам. Открывайте двери, мы придем к вам!
- Передушим ваших детей!

240 – Проклятые!
– Сожжем ваши книги!
– Принесем вам и сифилис, и холеру, и тиф!
– Проклятые!

Бессильный и злобный скрежет зубов. Быстро входит Царь Голод.

- Дети мои!

Все со стонами, с плачем, с рыданиями и визгом бросаются к нему, окружают, падают на колени; ловят его руки. Образуется группа: в центре, возвышаясь, Царь Голод, и у ног его, дрожащие, прижимаются к нему несчастные. В стороне остаются только Смерть и Председатель-Хулиган. Он сложил руки на груди и презрительно смотрит на стонущих.

250

Царь Голод. Дети мои! Любимые дети Голода! Несчастные дети мои!

Гладит по склоненным головам. Все стонет. Отделяется один и, стоя на коленях, говорит дрожащим, запинаящимся, картавым голосом, как ребенок:

– Отец! Посмотри, что они сделали со мною! Отец! (*Плачет, утирает слезы и продолжает.*) Отец, посмотри, какой у меня низенький лоб. Я не могу думать, Отец. Посмотри на мои глазки – разве это глаза? В них ничего не видно. Они всего съели меня, Отец. От меня ничего не осталось, Отец. Я плакать буду.

Плачет.

260

- Почему он плачет один? Разве мы лучше?
- Разве ему хуже, чем нам?
- Будем плакать! Будем плакать!
- Положи руку на мою несчастную голову. Я ребенка убила.
- Приласкай меня, Отец!
- Пожалей!
- Несчастные мы! – Забытые!

Плачут. И, закрыв руками лицо, плачет сам Царь Голод.

– Бедные! Бедные! (*говорит он сквозь слезы.*)

Все слова, стоны и рыдания сливаются в один протяжный вопль, полный невыносимой, подземной тоски. Музыка вверху, точно испугавшись, играет красиво и печально. И, презрительно сложив руки на груди, смотрит на плачущих

270

Председатель.

Царь Голод (*очнувшись*). Довольно, дети!

Председатель. Да. Я думаю, что довольно хныкать. Отец, простите меня, но вы внесли беспорядок в наше собрание. Мы люди занятые, нам некогда.

Царь Голод. Продолжайте заседание.

Председатель. Вам принадлежит председательское место.

280

Царь Голод. Оставайтесь на нем вы. Я буду только гостем.

Председатель (*польщенный, кланяется*). На места! Молчать! Кто еще плачет? Закройте шлюзы, иначе выгоню!

Все вздыхая рассаживаются.

Царь Голод (*садится возле Смерти*). И ты тут?

Смерть. Да – дело было.

Царь Голод. Вон тот, в углу?

Смерть. Да. И еще будет.

290 Председатель (*звонит*). Заседание продолжается. – Кто имеет сказать?

Встает маленькая девочка; у нее очень бледное тонкое лицо и большие черные печальные глаза. Оправляет платице. За несколько времени до ее речи, произносимой очень нежным детским голоском, но без смущения, наверху, у освещенного окна, происходит следующее: отодвигаются гардины, и входят двое: молодая девушка с обнаженной гордой шеей, на которой легко и строго сидит красивая задумчивая головка, и через мгновение следом за ней влюбленный юноша. Он любит ее красивою и чистой любовью, а она?.. Быть может, любит, быть может, нет. Стоит, опустив ресницы, прекрасная и гордая; и вдруг
300 быстро пожимает ему руку, и вдруг, как солнце, озаряет его кротким сияющим взглядом и светлой тенью выскальзывает из-за светлых гардин. Он протягивает за ней руки; но ее нет; и, полный счастья, быть может, слез, обращает он к темной улице свое побледневшее лицо.

А внизу:

Председатель. Ты, девочка? Разве ты умеешь говорить?

Девочка. Да. Я хочу сказать тоже. Можно?

Царь Голод (*удивленно*). Чей это ребенок?

Девочка. Я не ребенок. Я блудница. Мне сейчас двенадцать лет, хотя на вид я кажусь несколько старше. А когда мне было
310 десять, мамаша продала меня одному господину (*показывает наверх*) за двадцать рублей и бутылку водки. Это недорого, но мамаша тогда была неопытна, так как я первая ее дочь; остальные пошли дороже. Сестричка Лизонька, которая удавилась...

Председатель. Говори только о себе. Нам некогда.

Девочка. Хорошо – я так только, вспомнила. С тех пор, вот уже два года, я каждую ночь имею одного или двух мужчин, но платят они недорого. И деньги мои – ведь это мои деньги? – я отдаю моему любовнику, чтобы он не так бил меня...

320 Встает рослый франт с рыжими усами и хрипло, с самодовольством, подтверждает:

– Это я.

– Молчать! Продолжай, но короче.

– Что же еще? Ах да. Я научилась пить водку; я и теперь пьяна, но только немного. Что же еще? Ах да. У меня очень болит сердце.

Садится.

Царь Голод (*поднимает голову кверху и говорит тихо, сквозь зубы*). Вы слышите, проклятые!

330 Председатель. Девочка, встань. Чего же ты хотела бы для них?

Девочка (*встает и оправляет платице*). Я желала бы, чтобы все они умерли.

Царь Голод (*наклоняясь к Смерти*). Ты довольна?

Смерть. Да, приятно слышать.

Председатель. Убежден, что девчонка высказала наше общее пожелание. Но чтобы не вышло (*рисуюсь*) юридической ошибки, я ставлю вопрос на баллотировку. Тех, кто желает оставить им жизнь, – прошу встать.

Все сидят. Один пьяный пробует встать, но ему объясняют, в чем дело, и он садится.

340

Так. Никто. Теперь прошу встать тех, кто за смерть.

Все дружно встают, в том числе Царь Голод и Смерть.

Так. Встали все.

Суровый и мрачный голос. Нет, еще не все. А вон тот?

Показывает в угол, где лежит мертвый. Все взоры угрюмо оборачиваются в эту сторону.

Сдержанные мрачные голоса

– Он также должен голосовать.

– Мертвые также имеют голос.

– Поднимите его!

– Поднимите мертвого!

350

Подходят трое и, среди молчания, поднимают мертвого и держат его стоя.

Голова мертвеца свесилась, колени подогнуты.

Суровый голос. Теперь все.

Председатель (*говорит торжественно, протянув руку кверху*). Присуждены к смерти единогласно. – Прошу садиться.

Царь Голод (*Смерти, тихо*). Послушай, тебе нельзя вставать.

Смерть. Убирайся!

360

Председатель. Но, чтобы впоследствии не заслужить упрека в несправедливости и соблудности все необходимые...

Запинается.

Царь Голод (*подсказывает*). ...Процессуальные.

Председатель. Да, я знаю... Процессуальные формы, я предложил бы кому-нибудь из присутствующих взять на себя их защиту. Кто желает?

Молчание. Подозрительно и хмуро оглядывают друг друга. И внезапно дружно веселый хохот.

- Он остроумен!
- Защищай сам!
- К дьяволу их!
- Молчать! Итак, никто из присутствующих...

Встает старая пьяная женщина.

- Вот только насчет детей. Детей бы не нужно убивать.

Вскакивает худой, длинноволосый, с близоруким, ошалелым взглядом.

- Ну да: не надо детей, а потом не надо женщин. А дети вырастут, а женщины нарожают новых... Это, тетка, называется гуманизм; нам, тетка, это не к лицу... Детей!

– Ну не знаю, как хотите. Я думала... а может, и ваша правда. Я не знаю.

Поднимается беззубый, бритый. Лицо и лысина ярко-красного цвета, нос синий; и говорит он вкрадчиво:

- Как бывший юрист, я осмелюсь, однако, предложить на рассмотрение такой казус. В некоторых случаях, при так называемых волнениях или народных бедствиях, одному из членов нашей почтенной корпорации приходится вступить в интимные отношения с одной из тех (*указывает наверх*) дам или девиц, результатом чего является плод. Так как же полагает собрание относительно детей, родящихся от подобного морганатического брака? Убивать также или оставлять некоторым образом на семя? для обсеменения, так сказать, человечества?

Председатель. Это к делу не относится.

- Виноват-с. Как бывший юрист...

Садится.

Председатель. Вопрос о средствах. Здесь, Отец, обсуждался вопрос о средствах, как уничтожить... А где же тот, которому нужно вырезать семью?

- 400 – Он очень извиняется. Он ушел.

– И вот как раз перед вашим приходом, Отец, мы пришли к очень грустному выводу: мы бессильны!

Царь Голод. Вы бессильны!

Председатель. Да.

Царь Голод. Вы! Кто же тогда силен, если не вы, любимые дети Голода!

Председатель. Но мы не можем причинить им настоящего вреда.

Царь Голод. Вы! Да разве теперь, спокойно сидя здесь, в подвале, вы не являетесь тем мраком, который гасит их огни? 410
Разве, издыхая, не источаете вы яд, который отравляет их? Вы почва города, вы первооснова их жизни, вы щиплющийся ковер, к которому прилипают их ноги. Великий мрак идет от вас, дети мои, и безнадежно трепещут во мраке их жалкие огни.

Председатель (*гордо*). Это правда.

Г о л о с а

- Но это мало!
- Их нужно истребить!
- Отравить воду!
- Научи, Отец! Мы ждали тебя. Не оставь детей. 420
- А иначе к черту!
- Танцуют, проклятые!

Председатель. Молчать!

Царь Голод (*встает*). Вам мало этого? Вы недовольны? Так слушайте, дети мои: готовится великий бунт!

Г о л о с а

- Ого!
- Бунт!
- Горячая потеха! Хо-хо-хо!
- Запасайтесь спичками. 430
- Спички дешевы!
- Народное бедствие. В это время не платят страховых премий!
- Огонь!
- Будет светло. Хо-хо-хо!
- Молчать!

Царь Голод. Но ждите, дети мои. Пробегут короткие дни, и Время снова ударит в колокол вполночи. И тогда – на улицы, в дома!

Стонут от восторга и скрежещут зубами. 440

- Молчать!
- А пока – выползайте понемногу из ваших нор. Черными тенями легонько крадитесь среди народа – и насилуйте, убивайте, крадите и смейтесь, смейтесь! Уже легче стало дышать, уже пахнет гарью и свободнее выходит наружу зверь – близится ночь. Когда ударит колокол...

Полный беспорядок. Крики восторга, шум, дикий свист. Кто-то в безумии кружится как юла, падает на пол и хохочет. Прорезаются отдельные возгласы:

- На улицы!
- 450 – В дома! В их спальни!
- Будем жечь! жечь!

Восторженный визг.

- Я буду много кушать.

Протяжный дикий свист.

- Сожжем весь город!
- Главное – книги! Книги, книги, книги!
- Будем дробить головы.
- Да здравствует Смерть!

Смерть встает и серьезно кланяется.

- 460 – Ага, проклятые! Дождались! – Танцуют! – Скоро, скоро.
- Туда, наверх.

Как сухой лес, тянутся кверху худые, угрожающие руки. Свист.

- Дождались. Ага! Скоро, скоро. Танцуйте, проклятые!
- Да здравствует Смерть!

Смерть снова встает и серьезно кланяется. Шум несколько тише. Председатель, с ярко горящими пятнами румянца на скулах, жмет руку Царю Голоду.

- Спасибо, Отец.
- Много прольешь ты крови, сынок.
- Много, Отец.
- 470 – Танцевать!

Восторженный визг.

- Я буду много кушать!
- Танцевать!
- Музыка бесплатная.
- Пока внизу.
- А там и наверх!

Председатель (*вскакивает на бочонок и кричит*). Тише! (*Продолжает, несколько рисуясь.*) Господа, я предлагаю, пользуясь тем, что музыка бесплатна, устроить легкий бал. Думаю, 480 что присутствующие дамы и девицы одобрят мое предложение. (*Радостный визг.*) А что вы скажете, Отец?

Царь Голод (*громко*). Да. Они танцуют – будем танцевать и мы. Сольем наше веселье – пусть пляшет вся земля! Танцуйте, дети!

Голоса

- Танцевать! Берите дам!
- Пусть Отец дирижирует.
- Отец, Отец!

Хохот. Обступают Отца. Он, также смеясь, добродушно отнекивается.
Получается дикое сходство с обыкновенной мещанской вечеринкой.

490

Царь Голод. Да я и танцевать-то не умею. Ей-богу! Пойдите, пойдите, пойдите, куда тащите старика.

Голоса

- Просим. Отца! Отца!
- Царь Голод. Вот разве она? (*Указывает на Смерть.*)
- Смерть (*сердито*). Убирайся!

Голоса

- Ну пожалуйста, ну милый, ну Отец!
- Царь Голод. Ну хорошо. Ну а за даму можешь быть?
- Смерть. Да – это могу.

500

Музыка вверху играет кадрили. Становятся в пары. Царь Голод со Смертью.

Царь Голод. *Retournez. La première figure! Commencez**.

Все танцуют ухарски, с вывертами, с гиканьем, с громким притаптыванием ногами. Смерть вначале несколько жеманится и томно кладет голову на плечо к кавалеру, но постепенно расходится и начинает канканировать.

Царь Голод (*громко*). Смерть, solo!

Танец Смерти

Все с хохотом останавливаются, и Смерть танцует одна. С совершенно серьезным и неподвижным лицом, оскалив белые зубы, она стоит на одном месте и выдвигает ногою, слегка приседая, два-три движения, выражающих ее крайнее 510 веселье. Голову она кокетливо и медленно поворачивает со стороны в сторону, как бы обливая всех мертвым светом белых оскаленных зубов. Вначале на нее смотрят со смехом и даже слегка аплодируют, но постепенно смутный страх овладевает всеми и гасит голоса.

Безмолвие. Внезапно в углу вспыхивает ссора. Крики, голос Председателя:

- Оставь мою даму!
- Тут нет своих дам.

* Вертитесь. Первая фигура! Начинайте (*фр.*).

– Прочь!

– Не смей бить. – Ага, ты так! – Убью. Кто это? Стойте!
520 стойте!

Общая свалка. Громкий стон и проклятие. Кто-то грузно падает. Из расступившейся толпы выходит Председатель с злобно оскаленными зубами, в руке нож. Оглядывается назад.

– Ну, кто еще? Выходи.

– Нашел дурака.

– Кого это, а?

Царь Голод (*покровительственно*). Ты что же это своих?

Председатель (*бледно улыбается*). А разве есть свои?

Смерть (*мрачно*). Да – и потанцевать не дадут.

530 Крики. Танцевать! Отволоките его в сторону. Ого-го-го-го!

Беспорядок. Бессмысленные выкрики, шум, дикий продолжительный свист.

Опускается занавес.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Суд над голодными

Подобие судейской залы.

Налево наискось, вполоборота к зрителям, сидят за столом Судьи. Стол находится на возвышении и покрыт черным сукном; атрибуты судопроизводства: голый подержанный череп, закапанный слегда чернилами и стеарином, небольшая игрушечная английская виселица и высокая четвертная бутылка с красным как кровь вином. Судей пятеро, председательствует Царь Голод; все Судьи одеты в черные мантии и пышные напудренные парики. Двое по бокам Царя Голода необыкновенно худы и тощи, с длинными, вытянутыми до чрезмерности лицами; и рты у них похожи на перевернутую букву V; следующие два чрезмерно толсты, бочкообразны, сонны, и рты у них кружочками, напомунают верхушку задернутого кошелька. Внизу, за маленьким столиком, согнувшись, Секретарь с необыкновенно большим гусиным пером.

У задней стены, на возвышении, пюпитр, за которым сидит неподвижно Смерть.

Занимая весь правый угол картины, ближе сюда, отделенные от суда низенькой решеткой, помещаются на удобных скамейках и в креслах Зрители. Все они одеты как на бал: женщины в пышных платьях, сильно декольтированы, украшены драгоценностями: жемчужные кольца, бриллиантовые диадемы, золото; у одной из них, Миллионерши, пальцы до самых ногтей унизаны перстнями. Только одна девушка хотя и декольтированная, но одета очень просто, в черном строгом платье.

В общем, женщины красивы и породисты, за исключением двух старух, одетых также пышно, и притом одна в ярко-красное.

Мужчины во фраках и сюртуках, тщательно выбриты и причесаны у парикмахера; благообразны и чисты. У Профессора, например, седые кудри необычайной белизны и вообще вид патриарха. Есть толстые, из коих один, с огромным животом, еле помещается в кресле и постоянно засыпает. Три юноши: один глупый, с моноклем и выражением восторга на прыщавом лице; другой равнодушный, пресыщенный; третий с пышными черными волосами, демонической внешностью и выражением на лице мировой скорби.

Все указанные свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие, достигают крайнего развития.

При открытии занавеса Царь Голод и за ним все остальные Судьи встают и почтительно кланяются сперва Смерти, которая отвечает угрюмым кивком головы, и затем Зрителям.

Царь Голод. Милостивые государыни и государи! Позвольте приветствовать вас в зале правосудия. По вашему желанию, которое для нас закон...

Кланяется и смотрит на товарищей – и те по очереди, каждый с поклоном, подтверждают:

- Закон.
- Закон.
- Закон.

– Закон.

Царь Голод (*продолжает*). ...которое для нас закон, мы собрались сюда, чтобы судить голодных. Для этого мы надели мантии и парики, поставили стол, влезли на возвышение и внизу
50 посадили секретаря с большим гусиным пером.

Секретарь быстро кланяется.

Он служит по вольному найму, и хотя голоса в решении не имеет, но совершает в протоколах ошибки. Иногда эти ошибки являются источником неприятностей, иногда же – ибо все в этой жизни неисповедимо –

Находящийся среди зрителей А б б а т вздыхает и поднимает глаза к потолку.

– служат источником нового действующего права. Что это значит, сударыни, вам объяснит господин Профессор, которого я имею честь лицедреть в вашей уважаемой среде. Теперь же при-
60 ступим к суду.

Усаживаются.

Введите первого голодного.

Разговор Зрителей

– Как торжественно!

– Мантии и парики придают им такой строгий вид. Их даже трудно узнать...

– Так нужно. Необходимо, чтобы суд внушал к себе уважение.

– Мамочка, а зачем на столе череп и виселица?

70 П р о ф е с с о р. Это, дитя мое, символы. В Англии...

– Посмотрите, какой нос у того судьи, совсем как кончик собачьего хвоста. Ну, честное слово, он облизнул его языком.

– Как вы насмешливы. Вы так молоды, вы должны уважать суд.

– Да я его, честное слово, уважаю. Но ведь у него такой смешной нос!

– Это не важно, какой нос у судьи. Важно, чтобы судья был справедлив и не щадил голодных.

– Иначе мы возьмем других. Они это знают.

80 – Суд надо уважать.

– Суд – это мы. Суд надо уважать.

– Как интересно! Это похоже на театр.

Т о л с т ы й (*просыпается*). Которого судят?

– Еще не начинали, ваше сиятельство.

– Что же это они!

– Ведут! – Ведут! – Как это интересно! Какая рожа! – Mamочка, он не кусается? – Не бойтесь, дитя мое, на нем довольно крепкий намордник. – Слушайте! Слушайте! – Ах, как интересно!

Вводят первого голодного – оборванного старика с разбитыми ногами.
На лице у него проволочный намордник.

90

Царь Голод. Снимите с голодного намордник. – Ты что сделал, голодный?

Старик (*говорит разбитым голосом*). Украл.

Царь Голод. Сколько украл?

Старик. Я украл пятифунтовый хлеб, но у меня его отняли. Я успел откусить только кусочек. Простите меня, я больше не буду.

Царь Голод. Ты что же – получил наследство? Или есть больше не хочешь?

Старик. Нет, хочу. У меня его отняли. Я откусил только кусочек...

Царь Голод. Так как же ты не будешь воровать? Почему ты не работал?

Старик. Нет работы.

Допрос продолжается.

Разговор Зрителей

– И этого несчастного судят! Душа моя кипит негодованием и презрением к человечеству...

– Оставь, разве тебе не все равно.

– Но пойми же!

– Ты волосы завиваешь или они вьются от природы?

– Слегка.

– А у меня начинается лысина. Это в двадцать четыре года!

110

Профессор

...Уголовное право, сударыня, разделяется на две части: на первую часть и на вторую часть. В первой части говорится о преступлениях вообще, и я должен признаться, сударыня, что это наиболее слабо разработанная часть.

– Ах, как жаль! Почему же ее не разработают?

– Ибо сама сущность преступления остается не вполне разгаданной наукой. Зато вторая часть, где говорится о преступлениях в частности и соответствующих наказаниях...

Царь Голод. А где же твои дети, голодный? Почему они не кормят тебя?

Старик. Они умерли с голоду.

Царь Голод. Почему же ты не захотел умереть с голоду, как дети?

Старик. Не знаю. Захотелось жить.

Царь Голод. А зачем тебе жизнь, голодный?

130

Голоса

– Действительно, зачем они живут? Я этого не понимаю.

– Чтобы работать.

– Но когда работа кончается? Не можем же мы вечно доставлять им работу!

– Чтобы славить Господа и укрепляться в сознании, что жизнь...

– Ну не думаю, чтобы они очень Его славили.

– Было бы лучше, если бы он умер.

– Довольно скучный старикашка. И какой фасон брюк!

140

– Слушайте! Слушайте!

Царь Голод (*встает, громко*). Теперь, милостивые государи, мы сделаем вид, что размышляем. Господа судьи, прошу вас принять вид размышляющих.

Все Судьи на некоторое время принимают вид размышляющих: морщат лбы, смотрят в потолок, подпирают нос пальцем, вздыхают и вообще, видимо, стараются. Почтительное молчание. Затем в том же молчании, с глубоко торжественными и серьезными лицами, Судьи встают и все сразу поворачиваются к Смерти. И так же все сразу медленно и низко кланяются ей, вытягиваются ей навстречу.

150

Царь Голод (*согнувшись*). Что изволит сказать...

Смерть

(*быстро встает, сердито стучит кулаком по столу и говорит скрипучим голосом*).

Осужден – во имя дьявола!

Так же быстро садится и замирает в злой неподвижности. Судьи садятся также.

Царь Голод. Голодный, ты осужден.

Старик. Пожалейте!

Царь Голод. Наденьте на него намордник. Введите следующего голодного.

160

Пока голодного выводят, Зрители в таких словах выражают свои чувства:

- Зачем ему жить?
- Лучше умереть.
- Скажите ему.
- Умри, старик, умри.
- Умри, старик, умри.

Все тихо шепчут, махая руками, точно навеяв сон:

– Умри, старик, умри. Умри, старик, умри. Умри, умри, умри!..

Вводят нового голодного. Веселые голоса:

- Ведут! Ведут!
- Какой зверь!
- Да, это не меньше убийства!
- Посмотрите на его лоб.
- Как страшно!
- Вы очень нежны, дитя мое.
- Тише.

170

Быстро вводят второго голодного и снимают намордник. Это здоровый детина с низким бычачьим лбом; грудь его наполовину раскрыта; смотрит исподлобья, угрюмо.

Ц а р ь Г о л о д. Ты что сделал, голодный?

180

– Я изнасиловал барышню в лесу.

Выражение ужаса и приятного волнения.

- Какой ужас!
- Вот зверь!
- Это и меня захватывает.
- Позор для человечества такие люди.
- Которого?

Ц а р ь Г о л о д. Почему ты это сделал?

– Замуж за меня она ведь не пошла бы. А мне очень ее захотелось.

190

– Почему ты не удовольствовался женщинами, какие есть у вас, голодный?

– Наши женщины грубы и некрасивы от голода и работы. А эта была нежная и тонкая, с белыми руками. А ребенок у нее будет?

– Нет, мы приняли искусственные меры и удалили зародыш. Г о л о д н ы й (угрюмо). Хитрые.

– Что можешь ты сказать в свое оправдание, голодный!

...Преступления посягательства на женскую честь делятся на...

200

– Ах, погодите, господин Профессор, так интересно.

– В оправдание? Что, если бы я мог, я изнасиловал бы вот ту, и вон ту, и вон ту. Старуху в красном не стал бы, пусть остается вам.

Старушка падает в кратковременный обморок. Все в волнении.

– Какой ужас! Это настоящий зверь!

– И меня! Вы заметили, он показал на меня. Он согласен меня изнасиловать!

– Вы ошибаетесь. Он показал на меня.

210 Ссорятся. Девушка в черном, которая все время молчала, вдруг встает и говорит громко, с вызовом:

– А почему ты думаешь, что она не вышла бы за тебя замуж? Я бы вышла, быть может.

Голодный (*угрюмо*). Посмотри получше.

– Ты прав: не вышла бы. Ты слишком груб.

– Вот то-то. А я бы тебя изнасиловал.

– Нет, скорее убил бы.

– Да – и убил бы.

220 Девушка садится. Юноша с демонической внешностью смотрит на нее мечтательно, но она не обращает на него внимания. Свои оглядывают ее с некоторым страхом.

– Однако!

Царь Голод. Господа судьи, прошу принять вид размышляющих.

Повторение той же процедуры с той же торжественностью вплоть до низкого и протяжного поклона Смерти.

Смерть (*вскакивает, стучит кулаком по столу*). Осужден – во имя дьявола!

Голодный (*девушке*). В лес не ходи одна!

230 Царь Голод. Наденьте намордник. Введите следующего голодного.

Вводят голодную. Это молодая, стройная, но крайне истощенная женщина с бледным, трагическим лицом. Черные тонкие брови, сходящиеся у переносья, и пышные волосы, небрежно связанные узлом и спадающие на спину. Женщина не кланяется и по сторонам не глядит, как будто никого не видит. Говорит бесстрастно, мертвым голосом.

– Ты что сделала, голодная?

– Убила своего ребенка.

...Какой ужас! Эти женщины совершенно лишены материнского чувства.

240

– Чего же вы от них хотите? Вы меня удивляете.

– Как она прекрасна. В ней есть что-то трагическое.

– Женись!

...Преступление детоубийства в древности не считалось таковым и рассматривалось как естественное право родителей. И только с введением в нравы гуманизма...

– Ах, погодите же, господин Профессор!

– Но наука, дитя мое...

Царь Голод. Расскажи, голодная, как ты сделала это.

Опустив руки, не двигаясь, женщина говорит бесстрастно и мертво.

250

– Я с моей девочкой шла ночью через реку по очень длинному мосту. И так как я уже раньше решила это, то, выйдя на середину, где река глубока и быстра, я сказала: посмотри, дочечка, как шумит внизу вода. Она ответила: я не достану, мамочка, перила очень высоки. Я сказала: дай я подниму тебя, дочечка. И когда она стала смотреть вниз, в черную глубину, я перекинула ее туда. Всё.

– Она цеплялась?

– Нет.

– Кричала?

260

– Да, раз вскрикнула.

– Как ее звали?

– Дочечка.

– Нет, имя. Как ее звали?

– Дочечка.

Царь Голод (*закрывает руками лицо и говорит несколько дрожащим, глухим голосом*).

– Господа судьи, прошу принять вид размышляющих.

Судьи морщат лоб, смотрят в потолок, жуют губами. Почтительное молчание.

Потом встают и низко кланяются Смерти.

270

Смерть. Осуждена – во имя дьявола!

Царь Голод (*встает и говорит громко, протягивая руки к женщине, точно покрывая ее невидимым черным покровом*).

Ты осуждена, женщина, слышишь? Ты пойдешь на смерть. Ты пойдешь в ад и там будешь гореть на вечном, на неугасимом огне! Твое сердце будут рвать дьяволы железными когтями! В твой мозг вопьются ядовитейшие змеи подземные и будут жа-

лить его, и будут жалить, и никто не услышит твоего крика, потому что ты будешь молчать. Да будет вечная ночь над тобою.

280 Ты слышишь, голодная?

- Слышу.
- Наденьте ей намордник.
- Погодите!

Это говорит Девушка в черном. Быстро подходит к голодной и протягивает ей руку.

- Дай твою руку, несчастная.
- Не дам. Я презираю тебя.
- Меня?
- Да, тебя. Ты будешь в раю.
- 290 – Ты презираешь меня? Ты, убийца?

Остается с протянутой рукой. Закидывает голову и кричит гневно, в неистовстве:

- Так ведите же ее в ад!

Общий крик, но так, что слышны отдельные голоса:

- В ад ее! В ад! В ад!
- Тешьтесь над нею, дьяволы!
- В ад!
- Рвите ей сердце железными когтями!
- Душите ее, змеи!
- 300 – Жальте! Жальте! Впейтесь в мозг! Рвите ей сердце!
- Ага-го-го-го-го!

В исступлении машут на женщину руками.

Царь Голод (*властно*). Тише!

И кротко, к неподвижно стоящей женщине:

Ступай, дочь моя.

Голодную уводят.

Царь Голод (*обращается к Зрителям очень веселым и открытым голосом*).

310 А теперь, милостивые государи, я предложил бы сделать перерыв и покушать. Правосудие – вещь утомительная, и нужно подкрепить силы. (*Галантно*.) Особенно прекрасным дамам и девицам. Прошу!

Радостные возгласы

- Кушать! Кушать!

- Пора!
- Мамочка, где конфеты?
- А ты все только конфеты!
- Которого?
- Кушать зовут, ваше сиятельство.
- Ага! Почему же меня раньше не разбудили?

320

Внезапно все принимает очень веселый, милый, домашний вид. Судьи стаскивают парики, открывая лысые головы, и постепенно вмешиваются в толпу, пожимают руки и искоса, с притворным равнодушием поглядывают на кушающих. Рослые лакеи в расшитых ливреях, с трудом сгибаясь под тяжестью, приносят огромные блюда с гигантскими порциями: целые бараньи туши, колоссальные окорока, высокие, как горы, ростбифы. Перед Толстым на низенькой скамеечке ставят целую зажаренную свинью, которую приносят трое. Он смотрит на нее с сомнением.

- Не поможете ли, господин Профессор?
- С радостью, ваше сиятельство.
- А вы, господин судья?
- Хотя я кушать не хочу, но если позволите...
- Быть может, и мне будет дозволено... (*скромно говорит*

330

Аббат, глотая слюни). Вчетвером садятся вокруг свиньи и молча с жадностью полосуют ее ножами. Иногда Профессор и Аббат случайно встречаются взглядами и тогда, не в силах жевать, со щеками, раздутыми пищей, застывают от ненависти друг к другу и презрения. Потом жуют усиленно и давятся. Все разбилось на кучки. Смерть вынула из кармана сухой бутерброд с сыром и кушает в одиночестве.

Тяжелый разговор набитыми пищей ртами. Чавканье.

340

- Пожалуйста, еще кусочек. Очень вкусно.
- Как на пикнике. Великолепный парень – этот Голод.
- Хорошо мы ее, однако!
- А все-таки она прекрасна.
- Ростбиф необходимо кушать с кровью. Это...
- Мамочка, почему их не судят всех разом?
- Не знаю, деточка, спроси у Профессора.
- Господин Профессор!
- Гм?
- Господин Профессор!
- Гм?
- Черт возьми, где же моя салфетка!
- Господа, совершилось преступление кражи: у советника украли вставные зубы.

350

Смех. Чавканье. К Царю Голоду, стоящему в стороне, подходят Первый Рабочий и Председатель-Хулиган. Одеты они прилично и до сих пор сидели незаметно на одной из отдаленных скамеек.

Рабочий. Как жрут! Зачем ты с ними, Царь? Я ничего не понимаю. Ты изменяешь нам? Смотри!

360 Хулиган. И это твой суд, Отец? (*Гневно.*) Ты хочешь, чтобы я тут же перерезал тебе глотку?

Царь Голод. Вы слепы оба. Это не мой суд. Это суд над моими детьми.

– Но ты же председатель!

– Разве вы не понимаете, что я делаю? Ведь каждый побывший здесь навеки становится их врагом. Я развращаю их и учу делать мерзости. Я въедаюсь в самую сердцевину их жизни, наполняю ее гнилью и разрушаю ее. Они уже перестали понимать, что такое правда, – а ведь это начало смерти. Ты понимаешь это?

370 – Но ты делаешь это как лакей!

Царь Голод (*гневно*). Тише, сын мой! Не оскорбляй того, кто несчастен. (*Сдерживаясь.*) Подумай, разве оттого, что мы судим, меньше становится краж, убийств, насилий? Их больше. Спроси вон у ихнего профессора...

– Я этого не понимаю. Я вижу только, как мои братья...

– У тебя же нет своих!

– Отец, правда, та женщина пойдет в ад?

– Да. И ты также.

Хулиган плачет.

380 – Ты плачешь? Ты, сын мой, плачешь?

– Отец, Отец. У меня есть только нож. Кого же мне зарезать?

Рабочий. Не нужно резать. Надо работать, работать.

– Отец, ты говоришь: и мне ад. Пусть – но как бы мне спасти ее? Я уже вижу дьяволов, которые подходят к ней. Отец, верни мне жизнь, скажи: ее можно спасти?

– Нет.

– Ты лжешь, старик!

Голоса

– Однако и вчетвером мы ее не съели!

390 – Очень велика, ваше сиятельство!

Царь Голод. Уходите. Необходимо кончать. И слушайте меня: завтра...

– Завтра? Завтра?

– Тише! Ударит колокол!

– Завтра?

– Тише! Тише!

– О-о-о!

- На улицы! В дома!
- Тише!
- Завтра! Завтра! Завтра!

400

Тихо расходятся с зловеще-радостными лицами.

- Господин Профессор, у вас на бороде осталась косточка.
- Ах, боже мой, где же это?
- Хотите конфету?
- Когда подумаешь, что у какого-то верблюда три желудка, а я, царь природы, принужден обходиться одним...

Царь Г о л о д (*говорит с возвышения*). Очень жалею, но принужден вас беспокоить, господа. Прошу занять места. Суд продолжается.

Судьи поспешно натягивают парики. Во время дальнейшего разговора все занимают свои места. 410

- Простите, уважаемый коллега, но вы взяли мой парик.
- Ах, извините, ради бога. То-то я чувствую...
- Как, еще не кончено!
- Это невозможно. Мне нужно в театр! Сколько их там!
- Вы очень легкомысленны, молодой человек. Не забывайте, что мы пришли сюда не для удовольствия, что мы выполняем общественную обязанность, возложенную на нас нашим званием сытых и честных людей...

420

- Но, честное слово!..
- Позвольте. Не забудьте, что каждый день...
- Исключая праздники.
- Конечно, исключая праздники, когда мы ходим в церковь и театр, – каждый день во всех местах нашей земли, где есть только культура, заседает суд и судит, и все-таки не может всех осудить...

- Кого надо.
- Конечно, кого надо. Подумайте, что произойдет, если только хотя на время суд приостановит свои действия...

– Но, честное слово...

430

Царь Г о л о д. Секретарь просит сообщить, что он сделал четыре ошибки, но не может найти – где. Ошибки, впрочем, таковы, по его словам, что могут послужить источником действующего права.

Секретарь быстро кланяется. Слабые аплодисменты.

Царь Г о л о д. Введите следующего голодного.

Быстро вводят двоих: худенького мальчика в наморднике и пожилую, оборванную женщину с выражением на лице муки и растерянности. Женщина всем низко и часто кланяется.

440 Царь Голод. Ты что сделал, голодный?

Один из судей, тощий, внезапно прерывает:

– Позвольте, почему она без намордника?

Тюремщик. Это мать обвиняемого. Она хочет говорить за него.

– Раз она хочет говорить, значит, и ей надо надеть намордник. Делаю вам замечание. Секретарь, запишите.

– Что же ты сделал, голодный?

Женщина (*падает на колени и молитвенно поднимает руки*). Пожалейте! Ведь он для меня украл яблоко, судьи. Я боль-
450 на была, он подумал: дай принесу ей яблока. Пожалейте его! Скажи им, что больше не будешь, ну! Да говори же!

Голодный. Я больше не буду.

Женщина. Уже я сама наказывала его... Пожалейте его молодость, не режьте у корня его красные денечки!

– Конечно: пожалеешь одного, а там готов и другой. Нужно в корне пресекать...

– Нужно иметь мужество быть безжалостным.

– Это лучше и для них.

– Сейчас он мальчик, а вырастет...

460 – Мамочка, мне жалко бедную женщину. Можно послать ей милостыньку?

– А у тебя есть мелочь?

– Прелестное дитя! Какое сердце!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

В течение всей процедуры мать с надеждою смотрит на Судей. Когда Смерть стучит кулаком по столу и кричит хрипло:

– Осужден – во имя дьявола! –

Женщина вздрагивает и встает с колен.

470 – Голодный, ты осужден.

В бешенстве, поднимая к небу руки, – женщина кричит иступленно:

– Так будьте же прокляты! Пусть так же погибнут ваши дети! Пусть искусают их бешеные волки!

– Намордник! Скорей намордник.

– Пусть высохнет их сердце! Пусть в камень претворится их душа. Пусть...

Женщине надевают намордник. Ликующий голос Председателя-Хулигана:

- Отец! Ты видишь, как они жалеют наших детей. До завтра!
- До завтра!
- Тише!
- Вижу, сын мой!
- Тише! Кто это?
- Тише!

480

Царь Голод. Введите следующего голодного.

С большими предосторожностями трое тюремщиков вводят человека необычайно мощного вида. Взгляд у него ясный и открытый, говорит просто и спокойно.

- Ты что сделал, голодный?
- Я не знаю. Я не сделал ничего. Я надеюсь, что суд освободит меня. Я всегда был покорен и делал то, что мне приказывали.

Общее недоумение.

490

Царь Голод (*перешептывается с Судьями и обращается к Зрителям*). Я вижу, господа, что для вас не совсем ясна вина этого человека. Но она велика, и вы сейчас поймете это. Он раб – и для раба он слишком силен и честен. Уже одним этим он оскорбляет нас как людей утонченной культуры и, следовательно, – не сильных. Затем: сегодня он послушен, но кто поручится за завтрашний день? И тогда в его силе и честности мы найдем жестокого и опасного врага. Несомненно, он достоин смерти – во имя справедливости.

Суждение Зрителей

500

– Это совершенно справедливо. Сильные рабы опасны, даже когда они послушны.

- Да. Я нахожу, что Царь Голод наш истинный друг.
- Какое возмутительное тело. Раб – и такие прямые ноги!
- В цепи его!
- Он разорвет цепи. Смерть ему! Смерть!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

Судьи размышляют, и Смерть стучит кулаком.

- Осужден – во имя дьявола!

510

Юношу с теми же предосторожностями уводят, и на его месте появляется следующий голодный. Это существо необычайно дикого вида. Длинные, до колен руки с огромными, морщинистыми, грязными оконечностями, голова и лицо сплошь заросли спутанными волосами, тусклые глазки, звериная походка носками внутрь, боязливая и мнительная. Но есть попытки к чему-то человеческому.

Так, существо одето в какой-то очень странный, первобытный костюм: соединение коры деревьев, хитросплетенной, грубой материи и каких-то подвязок. При входе оно даже делает попытку причесаться, но запутывается рукою в волосах.

Разговор Зрителей

- 520 – Да это горилла!
– Боже мой! Неужели мы будем судить еще целый зоологический сад! У меня театр!
– Нет, это человек.
– Да нет, горилла! Вы посмотрите на его голову.
– На руки!
– Не нужно снимать намордника. Оно, может быть, кусается!

- Оно кланяется!
– Оно человек!
530 – Да нет же! Оно дрессированное. Что это?
– Нужен каталог! В этих случаях нельзя без каталога! Как же мы будем судить, не зная, как оно называется!
– Какой странный фасон. Интересно познакомиться с его портным.

Ца р ь Г о л о д. Так как здесь возникли сомнения, то прежде всего скажи нам: кто ты, голодный?

Голодный молчит.

- Оно не понимает!
– Ну конечно, горилла!
540 Ца р ь Г о л о д. Кто ты, голодный? Отвечай. Ты понимаешь человеческую речь?

Г о л о д н ы й (*отвечает глухим заскорузлым голосом*). Мы крестьяне.

- Я же говорил, что человек!

Общий хохот.

- Отчего милостивые господа хохочут?
– Это не твое дело, голодный. Ты этого не поймешь. Ты что сделал, голодный?
– Мы убили дьявола.

- 550 Общ и й х о х о т.

- Слушайте! Слушайте!
– Но ведь это прелесть!
– Какая наивность!

Хохот.

Царь Голод. Это был человек, которого вы сожгли.

– Нет. Это был дьявол. Это сказал нам кюре, и тогда мы сожгли его.

Среди Зрителей легкое замешательство.

– Что такое?

– Он лжет. Этого не может быть!

560

Профессор. Вот вредное влияние церкви на развитие народных масс. Преступления, вызываемые суеверием...

Миллионерша. Ах, пожалуйста, милый Профессор, не говорите при мне так дурно о церкви, вы знаете – я верующая.

Аббат (одною стороною лица с ненавистью глядя на Профессора, другою приятно улыбаясь Зрителям). Он, очевидно, не понял, сударыни. Почтенный наставник желал только внушить им веру в существование добрых и злых сил – но, конечно, не убивать. Религия, сударыни, запрещает убивать.

– Ну да – это другое дело!

570

– Совсем другое дело. При чем тут кюре, если он так глуп.

– Скажите пожалуйста: вид гориллы, а лжет, как человек!

– Обвиняет почтенных людей.

– Негодяй!

Царь Голод. Прошу господ судей принять вид размышляющих.

Судьи на некоторое время принимают вид размышляющих. Затем все, почтительно склонив головы, вытягиваются к Смерти. Та вскакивает и яростно стучит кулаком по столу.

– Осужден – во имя дьявола! дьявола! дьявола!

580

Все вздрагивают, словно от сильного толчка. А она, свирепея все более, высокая, черная, страшная, стучит кулаком по столу и ворочает на всех белые оскаленные зубы.

– Дьявола! дьявола! дьявола! дьявола!

Царь Голод (встает). Успокойтесь, уважаемый...

– Дьявола! дьявола! дьявола!

Все встают в ужасе, с разинутыми ртами.

– Дьявола! дьявола!

Наконец утихает и садится, замирая в злой неподвижности.

Царь Голод (тихо). Ничего особенного, господа. По-видимому, легкая усталость. Прошу садиться. Уведите голодного.

590

Все с разинутыми ртами садятся и некоторое время продолжают смотреть на Смерть.

Царь Голод (*перешептывается с Судьями и заявляет весело*). Поздравляю вас, господа. На сегодняшний день окончен наш нелегкий и неблагодарный труд. Но, во исполнение древнего обычая, имеющего символическое значение, мы, судьи, должны выпить по стакану этой жидкости. Налейте, господин судья. Не пугайтесь, господа, это не кровь, хотя по окраске несколько по-
600 похожа на нее – так, к сожалению, требует обычай, – это только вино.

Встав и поклонившись друг другу, выпивают вино. Смерти также относят бокал, но она отталкивает его костлявой рукою.

Царь Голод. В заключение, также согласно обычаю, позволю себе коротенькую речь, цель которой показать – насколько мы лучше, справедливее и выше всех других людей. Господа!.. Сегодня вы присутствовали при высоко-поучительном зрелище. Вечное небесное правосудие, в лице нас, судей, ставленников ваших, нашло себе блестящее отражение на земле. Подчиняясь
610 только законам вечной справедливости, чуждые преступной жалости, равнодушные к мольбам и проклятиям, слушаясь только голоса совести нашей – мы озарили землю светом человеческого разума и великой, святой правды. Ни на одну минуту не забывая, что основа жизни – справедливость, мы в свое время распяли Иисуса и с тех пор и до сего дня не перестаем украшать Голгофу новыми крестами. Но, конечно, только разбойников, только разбойников. Мы Бога не пощадили – во имя законов вечной справедливости, – станем ли мы смущаться воем этой голодной, бессильной сволочи, ее проклятиями и гневом! Пусть проклинают – нас благословит сама жизнь, своим покровом оденет нас великая святая правда, и самый суд истории не будет справедливее нашего суда.

Бурные аплодисменты. Царь Голод движением руки восстанавливает тишину и продолжает тихо, с шипением змеи, улыбаясь.

Что сделали они проклятиями своими? Что? Они – там, а мы – здесь. Они в тюрьмах, на галерах, на крестах, а мы пойдем в театр. Онидохнут – а мы будем их кушать – кушать – кушать!..

Смотрит на всех веселыми, жадными глазами. И вдруг сбоку жиденьким голоском начинает хихикать тощий Судья. Он выпрямился, положил руки на колени, и смех его походит на бляние козла. К нему присоединяется другой, третий.
630 Толстый сложил руки на подпрыгивающем животе и задыхаясь хохочет, как сквозь трубу, короткими, густыми выдыхами. Выходит так:

– Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!

– Ху!-ху!-ху!

Смех растет, ширится, перебрасывается, как огонь под ветром, в разные концы, и вскоре хохочут все. Хохочут до иступления, до бешенства, до хрипоты. Все слилось в один черный, раскрытый, дико грохочущий рот. И только Смерть чем-то недовольна. Не смеется. Вдруг стучит кулаком, желая привлечь внимание. Сразу замолкают и испуганно смотрят на нее. Она молча грозит им темным тонким пальцем и собирает в портфель бумаги. Все встают. Быстрыми короткими шажками, не отвечая на поклоны, Смерть идет к двери.

Опускается занавес.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Бунт голодных и предательство Царя Голода

Ночь великого бунта.

Великолепная, чрезвычайно богатая зала. Статуи, картины старых и новых мастеров, мозаика, мрамор, тропические цветы. Направо, сквозь широкую арку, спуск вниз по белой мраморной лестнице. Налево, также сквозь арку, видна библиотека – ряды шкапов, уставленных книгами в богатых переплетах.

Из предосторожности горят не все огни, и освещена зала тускло; всю заднюю стену занимают большие, почти до полу, окна, за которыми клубится ярко
10 огненно-красное зарево пожаров. Когда в зале темнеет, на пол от окон ложатся широкие багровые полосы, и люди, стоящие у окон, бросают длинные черные тени. В том, как беспорядочно расставлена мебель, и в том, что хозяев трудно отличить от гостей, в движении танцующих, в забвении некоторых приличный чувствуется страх и ожидание. Музыка, помещающаяся на хорах, то начинает играть громко и бравурно, то беспорядочно замолкает; и одна какая-нибудь труба нелепо долбит свою ноту и сразу испуганно обрывается – точно охнув.

Дворец, охраняемый внизу стражей, считается местом относительно безопасным, и бунт загнал сюда почти всех, кому он враждебен и кто его боится. Так же как и Зрители в суде, пышно разодетые декольтированные дамы и девицы, осыпанные драгоценностями, красивые, породистые; такие же мужчины,
20 во фраках. Но есть и в сюртуках и даже в блузах: так, группа Художников и Писателей одета с несколько искусственной небрежностью. Ученые почти все в сюртуках и пиджаках, некоторые довольно грязны. Тут же в толпе несколько священнослужителей со скромными, заискивающими лицами; к ним остальные относятся невнимательно и даже порою грубо.

Движения собравшихся суетливы. Быстро образуются группы и так же быстро распадаются, потому что все ищут нового и успокоительного; почти никто не сидит. Часто с осторожностью подходят к окнам и заглядывают на улицу, иногда безуспешно пытаются задержать прозрачные гардины.

30 И во все время картины где-то недалеко бухает набатный колокол голодными призывными звуками; и кажется после каждого особенно сильного удара, что ярче стало зарево и беспокойнее движения гостей. Удары колокола то учащаются, и тогда в них чувствуется надежда, радость, почти торжество, то становятся медленными, тяжелыми, печальными – точно устали и руки и сердце старого
Звонаря.

Так же непрерывно слышится хриплый рог Смерти. То далекий, то до ужаса близкий, он минуты наглушает все остальные живые и мертвые голоса; и тогда как бы сами гаснут многие огни, и все замирает в неподвижности, и по полу ложатся длинные черные тени от ярко багровеющих окон.

40 Занавес открывается при смешении всех этих звуков: бравурной, но растерянной музыки, хриплого рога и частых ударов колокола.

Разговор гостей

– Я все еще не могу поверить, что бунт вспыхнул. Какой ужас!

– Да и многие не хотят верить. Это произошло так внезапно.

Еще только вчера все было спокойно и мирно.

– Но послушайте, что делается там. Эта смерть...
– Каждый удар колокола обрушивается на голову как молот!
– Ведь это значит, что через минуту могут прийти сюда и убить всех: мужчин, женщин, детей.

– Нас охраняют.

50

– Ах, оставьте! Неужели вы верите в стойкость этой наемной сволочи, что внизу? Стоит перейти силе на ту сторону, и все будет кончено. Где Царь Голод?

– Там!

– Боже! Неужели он изменяет! Я всегда говорил, что не нужно доверяться этому подлому лакею, этому пройдохе, провокатору!

– Погодите бранить его. Еще неизвестно, с кем он, с нами или с мятежниками!

– Зачем играет музыка? Крикните ей, чтобы замолчала.

– С музыкою легче.

60

– Оставьте! Нас могут услышать с улицы.

– Там не слышно. Там своя музыка. Послушайте!

Прислушиваются.

– Боже мой, какой ужас! Не нужно привлекать внимания. Эй вы, музыканты, замолчите!

– Неудобно без хозяев.

– Ах, разве теперь не все равно! Да замолчите же вы там!

Музыка беспорядочно затихает. Ужас гостей.

– Что случилось?

– Почему музыка молчит? Что случилось?

70

– Сюда идут!

Громкий дрожащий голос

– Господа, сюда идут! Господа, господа!

Все мечутся. Истерический плач.

– Да нет же, успокойтесь, ничего не случилось.

– Баррикадируйте двери!

Голос Хозяина дома

– Что случилось? В чем дело?

– Кто-то приказал музыке молчать, и вот все в ужасе.

– Кто приказал? Как он смел? Музыканты, играйте. Господа, ничего не случилось. Сейчас будем танцевать. Кавалеры, приглашайте дам на котильон.

Некоторое успокоение. Кое-где даже слышен смех.

- Позвольте вас просить.
- Вы наступили на платье.
- Pardon!*

Разговор Ученых

- Конечно, бояться нечего. Раз Царь Голод с нами...
- А вы уверены в этом?
- 90 – Но, по крайней мере, история...
- Ах, это так шатко: история. Разве мы знаем настоящую историю?
- И это говорите вы, историк?

Сдержанный смех и улыбки.

- Я знаю только одно, что это ужасно. Как можете вы изменить энергию, которую накопил Царь Голод в этих темных, несчастных массах. Быть может, ее достаточно только для короткой вспышки, а быть может, она опрокинет все, всю нашу культуру. (Указывает на окна.) Вы знаете, что это горит? Хорошо, если 100 дома. А если это уже горят музеи? Библиотеки?

- Огонь не разбирает ничего!
- Боже мой!
- Неужели все погибнет!

Кто-то гасит часть огней. Становится темнее, и окна ярко багровеют.
И снова ужас.

- Что это?
- Почему темно? Что случилось?
- Господа, господа!
- Прекратился ток!
- 110 – Сейчас наступит тьма!
- Зажигайте свечи! Где свечи? Скорее!
- Да нет же, успокойтесь. Какие трупы!
- Позвольте вас просить?
- Вы с ума сошли? Танцевать?

Музыка играет вальс.

- Почему же вальс? Говорили, что котильон?
- Ах, не все ли равно: вальс, котильон, дьявол!
- Как вы грубы!

* Извините! (фр.)

– Pardon!

В полутемноте кружится одиноко какая-то пара и вскоре куда-то исчезает. 120

– Господа, новости! Новости!

– Что такое?

– Новости! Слушайте!

Музыка беспорядочно затихает. На середину выходит молодой человек. Костюм в беспорядке, лицо бледно, на лбу кровавое пятно. Его окружают.

– Я оттуда.

– Боже мой!

– Говорите! Говорите!

– Это ужас! Я точно вырвался из другого мира, который может пригрезиться только во сне. Пустынные улицы, над которыми в воздухе проносится рев. Откуда он – я не знаю. Кровавая мгла. Черные тени. Трупы под ногами. Молчаливые раскаленные пожарища, около которых нет никого. Где люди? 130

– Вас ранили?

– И вдруг – толпа. Вихрь криков, тел, оскаленных зубов. Кто это? – я никогда не видал их раньше. Они разрушают все. Они убивают друг друга. Они убивают детей. Я видел: они сожгли большой дом, полный спасавшихся женщин и детей! 140

– Какой ужас!

Кто-то истерически плачет.

– Замолчите!

– Это голодные!

– Это чернь! Они придут сюда.

– Какие-то косматые, полуголые чудовища. Кто это? – я никогда не видал их раньше. И еще говорят, что двинулась деревня, что все деревни идут на город.

– Это конец!

– Мы погибли! 150

– Это революция!

– Не оскорбляйте революцию. Это бунт. Вы слышали: они жгут женщин и детей.

– Звери вышли из лесов!

– Леса идут на нас!

– Мы погибли!

– Говорят: уже слышно скрипение их телег. На них они хотят увезти все, что останется от нашего города.

– Орда варваров идет на нас!

- 160 – Звери вышли из лесов!
– Я слышу скрипение колес. Мы погибли!
– Гасите огни!

Гаснет еще несколько огней. Рог Смерти слышится где-то совсем близко.

– И я видел, как жгли женщин и детей. И я не хочу после этого жить. Я пришел только рассказать – предупредить. Там где-то мой отец – мать... Скажите им, что я умер.

Быстро выхватывает револьвер, стреляется. Ужас. Все мечутся. Труп быстро подхватывают и уносят.

- Что это?
170 – Сюда пришли. Господа!
– Нет, это застрелился кто-то.
– Зачем же он всех пугает!
– Подотрите кровь.
– Музыка! Музыка!
– Он сказал, что горит Национальная галерея.
– Что?
– Горит Национальная галерея.
– Господа! Новость. Горит Национальная галерея!

Многие бросаются к окнам.

- 180 – Где? Где?
– Вот.
– Это правда!
– Осторожнее, господа, осторожнее!
– Задерните занавеси!
– Горит Национальная галерея!
– Послушайте, вы наступили мне на ногу.
– Какой огонь!
– Что? Что? Что?

- 190 Крайне взволнованный, выбегает из библиотеки Художник в большом белом галстуке и бархатной блузе. За ним выходят другие Художники.

- Это правда? Горит галерея?
– Да. Да. Смотрите.
– Горит галерея? Горит Мурильо? Горит Веласкез? Рубенс?
Джорджоне?
– Да. Да. Смотрите, какое зарево.
– Еще бы. Масляные краски!

Художник

(рыдает, закрыв руками лицо. И вдруг кричит иступленно).

– Я не позволю! Я не позволю жечь картины. Я не позволю!

Бежит к двери.

200

– Куда он!

– Он с ума сошел!

– Держите его!

– Убежал!

– Хотел бы я посмотреть, как он не позволит. Удивительные фантазеры эти артисты!

Художники группой

– Горит Мурильо!

– Горит Веласкес!

– Горит Джорджоне!

– Боже, Боже!

210

Некоторые из Художников преклоняют колена перед старинною черною картиною и говорят, молитвенно опустив голову:

– Ты, бессмертная картина!

– Ты, дивное создание человеческого гения!

– На тебе покоится божественная красота. И ты умрешь!

– Ты оправдание всей жизни нашей. И ты умрешь!

– Люди погибнут с тобою.

– И погибнет красота. Кто захочет жить, когда погибнет красота?

220

– Прости нас, великая, божественная картина. Мы бессильны защитить тебя.

– Нам самим остается только умереть!

Злой, отрывистый смех Гостей.

Голоса

– Тут гибнут люди, а они о картинах!

– Фанатики, они знают только свои картины. Что такое их картины! Тут можем погибнуть мы, вот что важно!

– Картины хороши в спокойное время.

– Нас не спасут ихние картины! Картины!

230

– Но все-таки жалко.

– Оставьте! Только бы мы уцелели – для нас напишут новые картины.

– Еще лучше!

– Сколько угодно. Мы можем погибнуть – вот что важно!

– Но Господь не допустит, чтобы погибло столько невинных.

– Ах, оставьте, святой отец. Вы бы лучше раньше учили этих мерзавцев, что голод – путь к блаженству, а не к бунту!

240 – Учили, но... (*Аббат разводит руками.*)

– Не верят!

– Верят, но... (*Продолжает стыдливо.*) Сегодня они повесили одного аббата. Страшно подумать, что ответят они Богу?

– Что же? Разве веревка оборвалась?

Аббат стыдливо отходит.

Старичок в мундире. Я всегда утверждал, что необходимы реформы. Нельзя доводить до крайности. Вовремя брошенный кусок хлеба, даже просто ласковая улыбка...

Изображает старческим ртом ласковую улыбку.

250 – Ах, пожалуйста, реформы, все что угодно. Мы можем погибнуть, вот что важно. Вы понимаете это: мы!

Все с яростью наступают на Старичка и бьют себя кулаками в грудь.

– Мы можем погибнуть, вот что важно. Мы!

– Мы!

– Вы понимаете это: мы!

– Мы! Мы!

Яростными криками: “мы! мы! мы!”, двигаясь толпою, загоняют Старичка куда-то в угол. Зарево, звук рога и колокола сильнее. *

Тоскливые голоса

260 – Боже! Неужели умирать!

– Жить так приятно. Если они придут сюда, я стану на колени, я буду умолять их: не убивайте меня, жить так приятно.

– Боже, а я только что заказала новое платье. Боже, я только что заказала новое платье!

– Неужели умирать!

– Я не хочу умирать! Я хочу жить! Меня не имеют права убивать, если я хочу жить!

– Жить! Жить!

Толкаясь, с тоскливыми воплями: “жить! жить!”, беспомощно мечутся по зале. Что-то дикое, нелепое начинает играть музыка и, точно сама себя испугавшись, с воплем умолкает. Входит Профессор, сильно расстроенный. На него не обращают внимания. Толкают.

– Позвольте! Позвольте! Да позвольте же! (*Почти плачет.*)
Я должен вам сказать! Я должен сказать!

- Что такое?
- Чего ему надо?
- Кто это? Чего ему надо?
- Господа, новости!

Собираются расстроенной кучкой вокруг Профессора.

- Господа! Я сейчас проходил по улице – они жгут книги! 280
- Какие книги?
- Что он говорит?
- Жгут какие-то книги!
- Ну так что же! Что ему надо?

Профессор. Наше сокровище – нашу человеческую гордость – нашу великую святыню – они жгут книги, господа. Безумная чернь, что ты делаешь! Что ты делаешь! Ах, друзья мои, друзья мои – и когда я... когда я бросился отнимать... один маленький... томик... маленький *in octavo**... он, негодяй, ударил меня.

290

Плачет; протягивает шатаясь руки, но встречает пустоту.

За что он ударил меня? Разве я отнимал у него хлеб? Я работал честно, у меня только и есть, что вот этот черный... черный сюртук. И больше ничего. Даже другого сюртука нету! Негодяй!

Плачет; обводит близорукими, заплаканными глазами комнату.

И когда я подумаю, что все это должно погибнуть – эти красивые статуи, эти дивные шкапы с книгами – в таких переплетах – эти милые, прелестные, одухотворенные лица... Друзья мои!

Протягивает руки, всматривается. Молчат. Глядят на него откровенно. И вдруг он говорит тихо, с недоумением.

300

Где же лица? Где же лица? Что это? Кто это? (*Громко.*)
Кто это?

Ищет дрожащими руками очки, надевает, смотрит, – пренебрежительно, с улыбками, не устаивая ответа, как сумасшедшего или ребенка, отходят. Молча,

* в восьмую долю (листа) (*лат.*)

продолжая недоуменно оглядываться, идет за ними разбитой старческой походкой и скрывается в библиотеке. А вопли уже начались. Но теперь в них звучит подавленность, тоска, полная беспомощность, почти покорность.

- 310
- Мы должны умереть.
 - Приближается гибель!
 - Кто спасет нас? Мы погибаем.
 - Уже нет надежды. Мы погибаем.
 - Бог отступился от нас.
 - Смерть! – Смерть! – Смерть!

Появляется Девушка в черном. Говорит громко:

– Что с вами? Отчего вы не танцуете? Где музыка? Музыканты, играйте!

Молчание. Девушка в недоумении, потом в гневе.

320

Что же вы? Вы боитесь? Почему горят не все огни? Вы боитесь? О трусы! Мне стыдно быть с вами! Да танцуйте же!

Топают ногою. Тихие, злые, хитрые голоса:

- Она сумасшедшая.
 - Танцевать – теперь!
 - Уйдем от нее.
 - Она сумасшедшая. Ее нужно посадить в сумасшедший дом.
 - Уйдем!
 - Уйдем. С ней опасно. Она – кричит.
 - Там могут услышать. Уйдем! Уйдем!
- 330
- Девушка в черном. Не в темноте, а в ярком свете нашей жизни должны мы их встретить. Вы слышите, трусы! Мы должны их встретить – танцую – танцую – танцую! Пусть красотой будет наша смерть! Вы слышите!

Все обернули к ней спины и потихоньку уходят, на цыпочках, согнувшись. Одни только спины, трусливые, съжившиеся, хитрые. И тихий, злорадный, испуганный шепот:

- Она сумасшедшая.
 - Уйдем от нее.
 - Уйдем!
 - Тише! Тише!
- 340
- Обманем ее! Уйдем потихоньку!
 - Тише! Тише!
 - Обманем!
 - Тише!

Девушка в черном. О трусы! Боже мой, что же это! Да танцуйте же, танцуйте!

В бешенстве плачет, топя ногами.

- Тише! Тише! Уйдем! Тише!
- Не хотите! Так смотрите, я буду танцевать одна!

Хочет кружиться. К ней подходит Молодой человек, до сих пор молча стоявший у колонны, и говорит с изысканной вежливостью:

350

- Позвольте вас просить.

Без музыки, в пустом пространстве, некоторое время кружатся. А те, продолжая стоять к ним спинами, согнувшись смотрят на них через плечи и шепчут, наполняя зал шипением:

- Сумасшедшие! Сумасшедшие! Сумасшедшие! Сумасшедшие!

Молодой человек (*останавливаясь*). Идемте отсюда. Вам здесь не место.

Проводит Девушку среди поспешно расступающихся Гостей. Как только они скрываются, все с хохотом высыпают на середину. Ликующие голоса:

360

- Ушла!
- Ха-ха-ха! Ушла!
- Мы ее обманули!
- Как они танцевали!
- Ха-ха!

Сердитый голос. Ее нужно посадить в сумасшедший дом. Своим криком она может поднять на нас весь город.

- Связать!
- Заткнуть ей рот.
- Еще немного – и я бы схватил ее за горло.
- Танцевать? Мы погибаем – вот что важно!
- Нужно молиться Богу.

370

– Оставьте. Бог лучше вас знает, в чем тут дело. Нам нужно молиться дьяволу!.. Дьяволу!..

- Что они говорят? Это кощунство! Бог за нас!
- Я не хочу умирать. Я хочу жить – жить! А кто мне даст жизнь, Бог или дьявол, – мне все равно!
- Он сошел с ума!
- Нет, он прав! Мы должны молиться дьяволу!

Шум. Почти вбегает л а к е й и говорит Хозяину дома:

380

- Сюда идут! Уже близко!
- Что?
- Сюда идут!

Хозяин дома (*задыхаясь, громко*). Господа, внимание. Они идут сюда. Гасите огни. Гасите огни. Скорее! Есть еще надежда, что нас не заметят в темноте. Гасите огни!

Общий переполох, но голосов не слышно. Охваченные паническим страхом, молча, точно слепые, все движутся в разные стороны и натываются друг на друга, пока гасят огни. И отовсюду, из всех дверей являются такие же смятенные, растерянные фигуры. Приходят и Художники. Погасла последняя лампочка, и наступает полная темнота, в которой с зловещей яркостью выступают красные четырехугольники окон. Теперь в среднем большом окне с цельным стеклом можно рассмотреть черный силуэт старинной колокольни, за которым клубится красный дым и даже как будто показываются языки огня. И оттуда идет непрерывный звон. Недалеко и хриплый рог Смерти. И в темноте протяжные плачущие голоса:

– Приближается гибель.

– Они идут, уже слышны их жестокие шаги!

390 – Погибнут картины! Погибнет Веласкез, Мурильо, Джорджоне!

– Погибнем и мы! И мы! И мы!

– Приближается гибель!

– Пощадите нас, голодные.

– Простите нас, голодные. Мы всё сделаем для вас.

– Погибнет Веласкез!

– Боже, сжался над нами!

– Он не услышит! Он отступил от нас.

– Он никогда и не был с нами. Молитесь дьяволу!

– Дьявол! Дьявол!

410 – Боже! Боже!

– Приди, о дьявол!

– Защити нас, о дьявол!

– Боже! Боже!

– Дьявол! Дьявол!

– Приближается гибель!

Стены. Внезапно в темноте, с той стороны, где лестница, раздается мелкий, но спокойный, самоуверенный и громкий голос:

– Что здесь такое? Отчего у вас темно? Разве ток прекратился?

420 Одновременно испуганные и радостные голоса:

– Дьявол! Дьявол!

У входа зажигаются несколько лампочек и освещают маленькую фигурку Инженера. Это низенький, лысый, грязновато одетый, но чрезвычайно самоуверенный человек. Некрасив – хорош только большой выпуклый лоб. Говорит что-то с улыбкой лакею – он демократичен и не считается с приличиями – и тот отвечает, разводя почтительно руками.

Инженер. Ага, понимаю! Пустяки, господа, пустяки. Можете зажечь все огни. Зажги-ка, любезный, они сами сейчас едва ли...

Вынимает грязный носовой платок и громко сморкается. Общая радость, крики: 430
“Инженер! Инженер!” Зажигаются все огни. Хозяин дома обнимает Инженера.

- Новости, дорогой мой, новости!
- Господа! Новости! Инженер принес новости!
- Пусть говорит!
- Слушайте, слушайте!

Инженер. Ничего особенного, господа. Должен вам сказать...

Вынимает платок и громко сморкается. Возмущенные нетерпеливые голоса:

- Что это?
- Тут ждут, а он...
- Он еще сморкается...

440

Инженер. Господа, если бы мой нос строил я, он, конечно, не нуждался бы в платке. Но насморк...

– Новости! Новости!

– Особенных новостей нет. Бунт еще продолжается. Эти господа зажгли что-то там еще, кажется Национальную галерею. Такие идиоты! Впрочем, очень возможно, что галерея зажжена нашими же снарядами.

– Так это правда! Дальше! К делу!

– Могу добавить, что бунт захватывает, по-видимому, не- 450
которые новые районы. Но мы, инженеры, приняли некоторые меры...

– С кем Царь Голод? Вы не видали?

– Виноват, этим вопросом я не интересовался. Так вот, осмелюсь доложить, мы приняли некоторые меры... Боюсь, однако, что здесь нет людей, которые хорошо знали бы математику.

– Говорите без математики.

– Хорошо-с. Так вот я и мои товарищи сделали несколько снарядов особенной, так сказать, разрушительной силы, размеры которой, сударыни, я затрудняюсь определить. Представим, на- 460
пример, обычную городскую площадь, полную народа, – и достаточно одного-двух таких снарядов...

Г о л о с а

- Ого!
- Славно! Так, так. – На кусочки!
- Какой ужас!

- Оставьте. Я говорил, что нужно молиться дьяволу. Bravo!
- Bravo! Bravo!

Аплодисменты. Инженер кланяется и снова вынимает платок.

- 470 – Извините, господа, но, право, такой ужасный насморк...
– Ничего! Пожалуйста, пожалуйста!
– Неужели у него нет чистого платка?
– Нет, оставьте, он такой милый.
– Далее, на Солнечной горе мы поставили ряд больших орудий огромной силы. И если бунт еще продолжится, мы закидаем город.
– Это невозможно. А мы!
– Погибнут невинные!
– Это невозможно.
- 480 – Конечно, господа, здесь есть известный риск для нас. Но в настоящее время, благодаря работе моих товарищей...
– Bravo!
– Прицельность орудий достигла такой высокой степени...
– Bravo! Bravo!

Аплодисменты.

И н ж е н е р

(кланяется боком и знаком подзывает лакея).

- Не можешь ли ты мне, любезный, принести рюмку коньяку? Хозяин *(громовым голосом)*. Коньяку господину Инженеру.
- 490 И н ж е н е р. Такой, знаете, холод. В заключение, господа, еще одна маленькая, но утешительная новость. В среде этих же голодных мы нашли за невысокую относительно плату несколько достаточно умных и расторопных господ и снабдили их поручениями интимного свойства. И в настоящую минуту эти идиоты уже начали великолепнейшим образом истреблять друг друга.

Хохот.

- Конечно! Конечно!
 - Чего же от них ждать! Глупцы! – Идиоты! – Скоты!
 - Так! Так! Bravo!
- 500 – Дьявол помогает.

Аббат стыдливо качает головою. Инженер берет принесенную рюмку коньяку и пьет с поклоном.

- За ваше здоровье, сударыни!

Очень красивая дама, Жена Хозяина дома, говорит громко:

– Господин Инженер! Вы некрасивы, у вас грязный носовой платок, вы вульгарны и не умеете держаться в порядочном обществе, но вы наш спаситель, и я становлюсь перед вами на колени.

Становится на колени. Остальные кричат:

– И я! И я! И я!

Да ма (*продолжает*). И от вас еще пахнет чем-то очень дурным, но, если вы захотите, я буду принадлежать вам! 510

– И я! И я!

– И мой муж позволит это, потому что и он, как и все мы, понимает, что вы наш спаситель. Позвольте поцеловать вашу руку.

Тянется на коленях за рукою. Другие также.

Инженер (*вульгарно*). Пустяки, пустяки, сударыни. Впоследствии я, быть может, воспользуюсь вашими любезными предложениями, а пока... я очень устал и хотел бы вымыть руки.

Удаляется, сопровождаемый отрядом дам и девиц.

Г о л о с а

520

– Танцевать!

– Приглашайте дам!

– Как светло!

Играет музыка. Некоторые танцуют. Колокол звонит почему-то реже, но рог Смерти на некоторое время становится почти непрерывным. Вот он заглушает колокол, вот заглушает и заставляет молчать музыку – вот он наполняет залу, хриплый, торжествующий, бешеный. Все прислушиваются, вытянув шею.

Говорят почти шепотом.

– Смерть!

– Как она косит!

530

– Ужасно!

– Вы слышите?

– Чувствуется, как падают сотни людей.

– Тысячи!

– Она в бешенстве!

– Смерть! Смерть!

Вдруг сразу наступает мертвая тишина, которая почти оглушает своей резкой неожиданностью. Умолкает колокол. Вскрипывает еще раз и умолкает рог. Мертвая тишина. Ярко горит электричество. Все застыли на своих местах и вопросительно, с тревогою переглядываются.

540

На лестнице движение. Тяжелые, медленные шаги.

– Что это?

Входит Ц а р ь Г о л о д. Он окровавлен, и измученное лицо его смертельно бледно. На голове острая красная корона; на остриях ее что-то красное, кровавое, будто куски человеческого мяса. Ни на кого не глядя, тяжелыми шагами он проходит на середину залы и стоит некоторое время в позе безысходного отчаяния и тоски.

Шепот:

– Что это? Что с ним?

550

Ц а р ь Г о л о д

(поднимает голову с незрячими, точно ослепшими глазами и говорит тихо).

Кончено. Они все – внизу лежат. И не поднимутся больше. И я снова – ваш – лакей.

Музыка играет торжественный победный марш.

Опускается занавес.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Поражение голодных и ужас победителей

Вечерняя кровавая заря. Все небо снизу доверху в молчаливом, бесшумном красном огне – точно залито оно густою темнеющею кровью. И земля, со всем, что находится на ней, кажется почти черною.

Пустынная, бесплодная местность: ни дерева, ни кустика, ни одного высокого силуэта. Плоско – только посередине, ближе к левому краю, довольно высокий неровный бугорок и на нем большая, длинная, старая пушка на высоких колесах. Опершись на пушку в профиль, лицом туда, куда обращено ее жерло, неподвижно возвышается Царь Голод.

10

Перед жерлом пушки, теряясь в густых сумерках, лежат трупы убитых. Это голодные. И смутно рисуется над мертвым полем острый силуэт Смерти. Она стоит неподвижно – будто караулит. Позади пушки, на некотором расстоянии, Победители – это те, что в качестве Зрителей являются на суде и потом, в ночь великого бунта, присутствовали в богатой зале. Темными силуэтами тихо проходят. Некоторые группами, прижавшись друг к другу, стоят; их фигуры отчетливо рисуются на фоне заката.

В невольном почтении к Смерти разговаривают тихо, сдержанными голосами. И на все бросает свои отсветы багровеющее небо.

Разговор Победителей

20

- Как темно!
- И заря такая красивая. Точно море огня или крови.
- Завтра будет ветер.
- Осторожнее, подбирайте платье, здесь кровь.
- Ах да! Благодарю вас.

Осторожно обходит темное пятно, подобрал юбки.

- И какая тишина.
- Да – ни шороха.
- Это всегда бывает там, где много мертвых.
- Нет ничего тише мертвого человека.
- Сколько их там лежит?
- Много. Много.
- Да. Достаточно для этого раза. Если и это их не научит...
- И как спокойны!
- Как тихи!
- Точно дети в колыбельке.
- А как кричали! Вы помните эти ужасные крики и вой?
- Как требовали!

30

Тихий смех. И негромкий, но властный голос Девушки в черном:

- 40 – Не издевайтесь над павшими.
– Это опять она.
– Девушка в черном.
– Она становится невозможна.
– Чего ей надо?
– Они умерли храбро.
– Опять она.
– Ее надо посадить в сумасшедший дом.
– Не стоит. Не нужно быть жестокими. Сейчас она ничему не мешает.
- 50 – Пусть говорит.
– Пусть послушают ее мертвые. Им так приятно слышать это.

Быстрый тихий смех.

- Они умерли храбро.

Молчание. Темными силуэтами тихо проходят.

- Осторожнее! Здесь кровь.

Молчание.

- Вы видели их вблизи?
– Да. Сегодня утром мы были здесь с Инженером. Он очень доволен действием своих снарядов.
- 60 – Какая тишина!
– Осторожнее, здесь опять кровь.
– Да, я вижу. Когда все это уберут!
– Да, необходимо поскорее. Опасно оставлять столько трупов.
- Разве они поднимутся?

Тихий смех и снова голос Девушки:

- Не издевайтесь над павшими!

Молчание.

- 70 – Она скоро охрипнет, повторяя одно и то же. Скажите, вы не были сегодня на мертвом поле, когда пелись торжественные гимны пушке?
– О да. Я была с мамой. Это было так торжественно. Мы все плакали. Кто сочинил слова молитвы, вы не знаете? Они так прекрасны.
– Говорят, Аббат.
– Нет, это неправда. Их сочинил в восторге сам народ.

– Было так трогательно, когда матери подносили к пушке маленьких детей и заставляли целовать ее. Нежные детские ручки, доверчиво обнимающие это медное чудовище, – как это трогательно! 80

– Как прекрасно! Я мужчина – но я плакал.

– Все плакали.

– Махали платками. Кричали.

– А флаги развевались!

– И солнце вышло из-за туч и осветило нас.

– Только нас.

– Да – эти все время оставались в тени. Солнце не захотело взглянуть на них.

– А мне жаль, что все это скоро уберут. Это место было бы так 90 удобно для вечерних прогулок. Здесь так тихо.

– Осторожнее! кровь.

– Ничего, она уже засыхает. А в городе невозможно оставаться от грохота и лязга железа.

– Да, везде куют цепи. К сожалению, это необходимо.

– Но разве нельзя было бы сделать это как-нибудь тише! Положительно глохнешь от стука молотков. Это отзывается и на нервах. Мне всю ночь снилась бесконечная железная цепь, которая облегает земной шар. Нужно куда-нибудь уехать.

– Правда, какая тишина. 100

Молчание.

– Вы верите Царю Голоду?

– Да. Он честно выполнил свой долг.

– Но он слишком мрачен. Уже вторую ночь он стоит здесь и не говорит ни слова. Это не совсем прилично.

– Я слыхала, он готовит речь.

– Неужели? Это было бы очень хорошо. Помните его речь в суде?

– Он слишком мрачен.

– А вы будете завтра на первой лекции Профессора? 110

– Как, разве он читает?

– Да. О культуре.

– Но говорили, что он тяжело болен, даже при смерти.

– Представьте, выздоровел. Такой живучий старик. Мы все каждый день ездили к нему, и он целовал руки и говорил: “мои милые сестры милосердия”.

– Тише! Кажется, Царь Голод хочет говорить.

– Это интересно.

– Перестаньте ходить!

- 120 – Он поднял руку.
– Тише! Тише!

Царь Голод

(выходит из неподвижности. Протягивает руку к мертвым и начинает говорить тихо и сдержанно).

- 130 Чего добились, безумцы? – Куда шли? – На что надеялись? Чем думали бороться? У нас пушки, у нас ум, у нас сила, – а что у вас, несчастная падаль? Вот лежите вы на земле и смотрите в небо мертвыми глазами – ничего не ответит вам небо. И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте, где вы будете зарыты, вырастет жирная трава; и ею мы будем кормить нашу скотину. Вы этого хотели, безумцы?

Ликующие голоса

- Куда шли?
- Чего добились?
- Сейчас поглотит вас черная земля. Уже идут могильщики.
- Уже несут заступы. Идите в землю, безумцы!
- Горе побежденным!
- Горе побежденным!

- 140 Показывается молчаливая группа Могильщиков с заступами на плечах. Бесшумно останавливаются у края мертвого поля.

- 150 Царь Голод *(продолжает)*. Зачем вы умерли – зачем? Вот несут заступы – подходят к вам – скорее! Опомнитесь, проснитесь – да пошевелитесь же, говорю я вам. Не можете? Притихли? Смерть сковала рты? Да, Смерть великий кузнец, и не вам разрушить ее узы! И вас я называл детьми, несчастная, жалкая падаль.

Торжествующие, холодно-угрюмые возгласы:

- Горе побежденным!
- Сын мой, сын мой. Ты кричал так громко – что молчишь ты! Дочь моя, дочь моя, ты ненавидела так глубоко и сильно, ты самую несчастною была на земле, – поднимись же. Восстаньте из праха! Разрушьте призрачные узы смерти. Восстаньте! заклинаю вас именем Жизни! – Молчите? Так будьте же...

Вдруг на мертвом поле начинается какое-то смутное движение, шорох, густой хруст переломленных костей, настойчивое царапанье земли острыми, мертвыми ногтями, – и с ужасом, вытянув шеи, прислушиваются те. И глухой, далекий, словно уже выходящий из-под земли, отвечает тысячеголосый ропот:

– Мы еще придем. Мы еще придем. Горе победителям.
Царь Голод. Что я слышу?

Далекий мертвый ропот

– Мы еще придем! 160
– Мы еще придем!
– Горе победителям!

Умолкают; и снова на мертвом поле покой и тишина, и смутно рисуется неподвижный силуэт С м е р т и. Минуту все находится в оцепенении. И вдруг, с хохотом, Царь Голод быстро перемывается на эту сторону и кричит грозно, с дикой радостью:

– Ха-ха! Вы слышали! Они еще придут. Они еще придут. Горе победителям!

Хочет. Панический ужас и бегство.

Испуганные голоса 170

– Скорее! Скорее!
– Мертвые встают!
– Мертвые встают!
– Они гонятся за нами!
– Скорее!
– Бегите! Бегите! Мертвые встают!

Толкаясь, падая, сбивая с ног рыдающих женщин, с диким воем убегают. И, вытянувшись к убегающим всем своим жилистым телом, в иступленной, безумной радости кричит Царь Голод:

– Скорее! Скорее! Мертвые встают! 180

Опускается занавес.

ЧЕРНЫЕ МАСКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

- Лоренцо, герцог ди-Спадаро.
Шут Экко.
Донна Франческа, жена герцога Лоренцо.
Синьор Кристофоро, хранитель герцогских вин.
Петруччио, управляющий.
Господа и дамы из свиты герцога и его супруги.
Маски, которых пригласил герцог Лоренцо.
10 Черные маски, которых герцог Лоренцо не приглашал.
Певец Ромуальдо.
Музыканты.
Слуги.
Поселяне.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

- Богатая, заново отделанная зала в старинном рыцарском замке. На стенах фрески; кое-где старые, потемневшие картины; оружие и скульптура. Все блестит золотом, яркими красками мозаики, нежною прозрачностью цветных стекол.
- 20 Налево и частью в задней стене три высоких полуготических окна, наполовину задернутых тяжелыми, шитыми золотом завесами; поворачивая под прямым углом, задняя стена уходит в глубину до пересечения с рядом двойных мраморных невысоких колонн, на которых лежит верхняя часть здания. За колоннами очень светлая, просторная прихожая; направо видны огромные входные двери. Там, где задняя стена уходит в глубину, прямо против зрителя, широкая мраморная лестница с массивною скульптурною балюстрадой; на высоте мраморных колонн лестница сворачивает вправо, где находятся другие помещения. В стене над колоннами несколько небольших окон с цветными стеклами, пронизанными каким-то ярким и сильным светом.
- 30 Идут последние спешные приготовления к маскараду. Все залито ярким светом многочисленных канделябров и светильников причудливой красивой формы; несколько человек богато, но однообразно одетых слуг перебегают с

места на место, то зажигая новые свечи, то отставляя вглубь тяжелые кресла и освобождая место для танцев. Минутами, точно вспомнив о чем-то не сделанном, некоторые из них устремляются вверх или же ко входным дверям; сдержанный, но деловитый голос управляющего, синьора Петруччио, усиливает их рвение и торопливость. Но все очень весело: и сам синьор Петруччио и слуги, которые на ходу обмениваются шутками и короткими, быстрыми улыбками. Всех веселее, однако, сам юный Лоренцо, владетельный герцог ди-Спандаро; стройный, изящный, немного томный, нежно-внимательный и ласковый со всеми, он легко передвигается по зале и весь горит восторгом предвкушения. Распорядившись и шутя, подгоняя слуг веселым окриком и шутливо-гневым жестом, он на ходу бросает счастливые улыбки красавице Франческе, своей молодой жене, и та отвечает взглядами, полными нежности и любви. Несколько человек дам и господ, составляющих свиту герцога и его супруги, также не остаются без дела: одни, подобно юному герцогу, радостно и беспокойно готовятся к принятию гостей; другие, пользуясь веселой суматохой, обмениваются влюбленными взглядами, осторожными пожатиями рук, быстрым и дерзким шепотом в раскрасневшееся ухо. Где-то наверху готовятся к предстоящему балу музыканты: доносятся отрывки музыкальных арий; вдруг кто-то начинает петь густым красивым баритоном, но песня почти тотчас же переходит в смех — очевидно, весело и там. На ковре перед пылающим камином растянулась собака герцога, огромный сенбернар, и дремлет в сладкой истоме. Невысоко на лестнице сидит шут герцога, Экко, и, подражая господину, распорядившись, но все забавно путает.

Петруччио. Если ты будешь двигаться так быстро, Марио, то ты скоро станешь своим собственным дедушкой. Живей! Живей!

Марио. Помилуйте, синьор Петруччио, лучшая лошадь герцога не бежит так быстро, как я.

Один из слуг. Когда ее кусают мухи.

Другой слуга. Иль подгоняет бич.

Петруччио. Живей! Живей!

Лоренцо. Сюда, сюда поставьте. Разве вы не видите, как темен этот угол? Ничего темного, синьор Петруччио, ничего темного!

Господин (даме). Нас лишили последнего приюта — но это не значит, что в другом месте я не поцелую вас.

Дама. В темноте меня очень трудно найти.

Господин. В темноте я шире расставляю руки и обниму всю ночь.

Второй господин. У вас будет богатый улов, синьор Сильвио.

Экко (кричит). Марио, Карло, Пиетро, скорее свечу к самому носу этого синьора: он умирает от страха в темноте.

Франческа (герцогу, влюбленно). Мой дорогой, мой любимый, мой божественный. Мне так нравится ваш новый костюм. В нем вы как солнечный луч, когда он пронизывает высокие окна

нашего собора, и я молитвенно созерцаю вашу божественную
80 красоту.

Лоренцо. Ты – нежный цветок, Франческа. Ты – нежный
цветок, и солнце дерзко, когда целует тебя. (*Почтительно и
нежно целует руку; и вдруг с поддельным ужасом говорит управ-
ляющему.*) А башня? Синьор Петруччио, а башня? Я прикажу
посадить тебя на кол, как некрещеного турка, если ты забыл
осветить ее.

Петруччио. Она освещена.

Лоренцо. Освещена! Как смеете вы так выражаться, синь-
ор? Она должна гореть, сверкать, она должна подниматься к чер-
90 ному небу, как один огромный пламенный язык!

Экко. Ай-ай, Лоренцо, не показывай небу языка, иначе оно
ответит тебе фигой.

Лоренцо. Не огорчай меня твоими шутками, дружок. Я жду
светлого праздника, и моей душе болен твой колючий упрек. Ни-
чего темного, Экко, ничего темного.

Экко. Тогда зажги волосы на голове твоей жены, они слиш-
ком черны, Лоренцо, слишком черны. И брось по факелу в ее гла-
за: они слишком темны, Лоренцо, слишком темны.

Франческа. Негодный шут! Здесь так много красивых
100 дам – неужели никто не влюбит в себя этого негодного шута?

Первая дама. Он горбат.

Вторая дама. Прежде чем поцеловать, он проткнет меня
носом, как шпагой.

Господин. О ваше сердце сломается всякая шпага,
синьора.

Входит высокий как жердь, крайне худощавый синьор, с обвисшими, как буд-
то постоянно мокрыми усами. Похож на Дон Кихота. Мрачно обращается
к герцогу:

Кристофоро. Я должен сообщить вам страшную весть,
110 синьор.

Лоренцо. Что такое? Вы пугаете меня, синьор Кристофоро.

Кристофоро. Я имею основание думать, синьор, что у нас
не хватит ни кипрского, ни фалернского. Эти господа (*длинным
пальцем указывает на свиту*) пьют вино, как верблюды воду в
пустыне.

Один из свиты. А отчего у вас, синьор Кристофоро, по-
стоянно мокрые усы?

Кристофоро (*с достоинством*). Я обязан пробовать все
вина.

Лоренцо (*весело*). Мой друг, вы преувеличиваете опасность: 120
наши погребки неистощимы.

Кристофоро (*упрямо*). Они пьют вино как верблюды. Я радуюсь вашему прекрасному настроению, синьор, но вы слишком легко смотрите на вещи. Когда с вашим покойным батюшкой мы ходили на освобождение Гроба Господня...

Лоренцо (*с нежным упреком*). Мой старый друг, неужели вы вашей милой воркотнею захотите испортить этот прекрасный вечер?

Кристофоро (*добродушно*). Ну, ну, не сердись, мальчик! (*Грозно.*) Эй, Мануччи, Филиппо, за мной! (*Уходит.*) 130

Лоренцо. А дорога? Синьор Петруччио, вас накажет Господь. А дорога? Ты забыл осветить дорогу, и наши гости не найдут нас.

Петруччио. Она освещена, синьор.

Лоренцо. Освещена! Ваш язык как дрянная кляча, которая только машет хвостом, когда в бока ей вонзаются шпоры. Нужно, чтобы весь путь сверкал, горел огнями, как дорога в рай. Поймите меня, синьор управляющий: нужно, чтобы тени кипарисов в ужасе бежали в горы, где спят драконы. Разве у тебя не достаточно факелов и слуг, разве мало смоляных бочек у тебя? 140

Экко. Если у тебя, Петруччио, не хватает смолы, то займи ее в аду: ты в таких отношениях с Сатаною, что он поверит тебе на слово.

Один из слуг. Он и взял бы, но боится, что тогда не на чем будет погреться самому.

Второй слуга. Синьор Петруччио так зябок.

Петруччио. Живей, живей!

Франческа (*герцогу*). Вы забываете меня, Лоренцо, вы освещаете все, а меня оставляете в темноте без вашей улыбки. Ужели вас так занимают маски? 150

Лоренцо. Они обещали так много интересного, что я умираю от нетерпения, дорогая. Там будут цветы и змеи, Франческа, там будут цветы и змеи меж цветов. Там будет дракон, Франческа, и вы увидите, как из пасти его пышет самый настоящий огонь. Это будет так весело. Но вы не бойтесь, все это только шутка, все это только наши друзья! И мы так славно посмеемся. Почему они не едут?

Слуга (*вбегают*). Я смотрел с башни, там по дороге что-то движется, синьор! Как будто черная змея ползет меж кипарисов.

Лоренцо (*радостно*). Они! Они! 160

Второй слуга (*вбегает*). Я смотрел с башни: на нас ползет дракон. Я видел, как красным огнем горят его глаза; и я испугался, синьор.

Лоренцо (*радостно*). Это они! Они! Петруччио, ты слышишь?

Петруччио. Все готово, синьор!

Третий слуга (*вбегает*). У подъемного моста крик и движение, синьор. Требуют, чтобы их выпустили. Я слышал лязг оружия, синьор.

170 Лоренцо (*гневно*). Разве мост не спущен? Так-то ты, Петруччио, встречаешь моих гостей. Завтра же я уволю тебя, если ты...

Петруччио. Простите, синьор. Я бегу. (*Убегает.*)

Лоренцо. Они приехали. Улыбнитесь же, Франческа. Они приехали.

Шут громко смеется.

Экко. Ну и посмеемся же мы с тобою, Лоренцо. Нужно расправить челюсти. (*Зевает.*)

180 Лоренцо. Боже мой, а музыканты? Почему я не вижу их – неужели этот негодяй забыл все мои распоряжения?

Франческа. Не огорчайтесь, мой дорогой. Музыканты готовы.

Лоренцо. Но почему же их нет?

Франческа. Вот вы и заставили меня проболтаться, мой любимый. Вам готовят неожиданность: все музыканты также будут в масках.

190 Лоренцо. И я не узнаю их? Как это мило. Это вы позаботились, синьора? Вы, вы, я это вижу по вашим лукавым смеющимся глазам. Но музыка? Они не забыли, конечно, разучить то, что я написал для них. Ах, этот толстый негодяй Петруччио, кончится тем, что я действительно прикажу посадить его на кол.

Экко. Как ты расточителен, Лоренцо. Ведь Петруччио украдет кол и убежит с ним.

200 Лоренцо. Ах да, пока они не пришли, Экко, мой дружок, ты можешь смеяться надо мною, я знаю твои шутки и люблю их, – но я прошу тебя, не обижай моих гостей. Не нужно быть злым, Экко, даже в смехе. У тебя нежное сердце, маленький горбун, и ты вовсе не зол – зачем же острогами бить людей по щекам. Смейся, потешай других, говори дамам любезности – здесь ты можешь кое-чем рискнуть, – но никого не огорчай. Сегодня мой день, Экко!

Слуга (*распахивая двери*). Они у дверей, синьор!



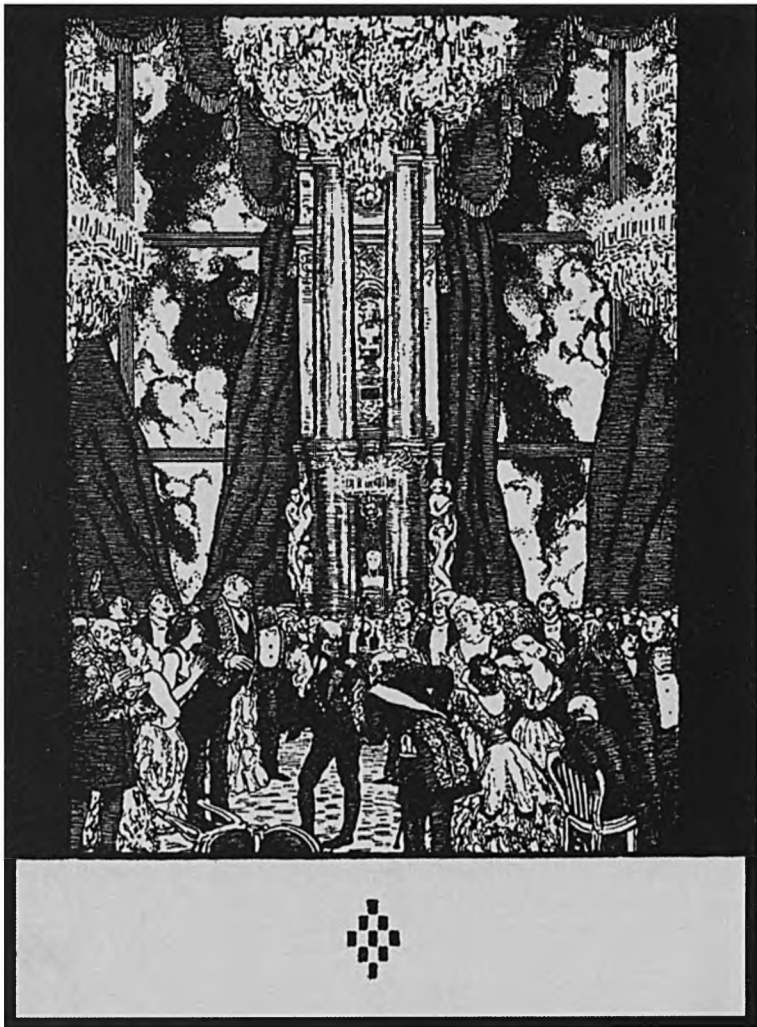
*Василий Каширин.
Иллюстрация к "Рассказу о семи повешенных", 1947.
Художник Джон Бакленд-Райт (John Buckland-Wright)*



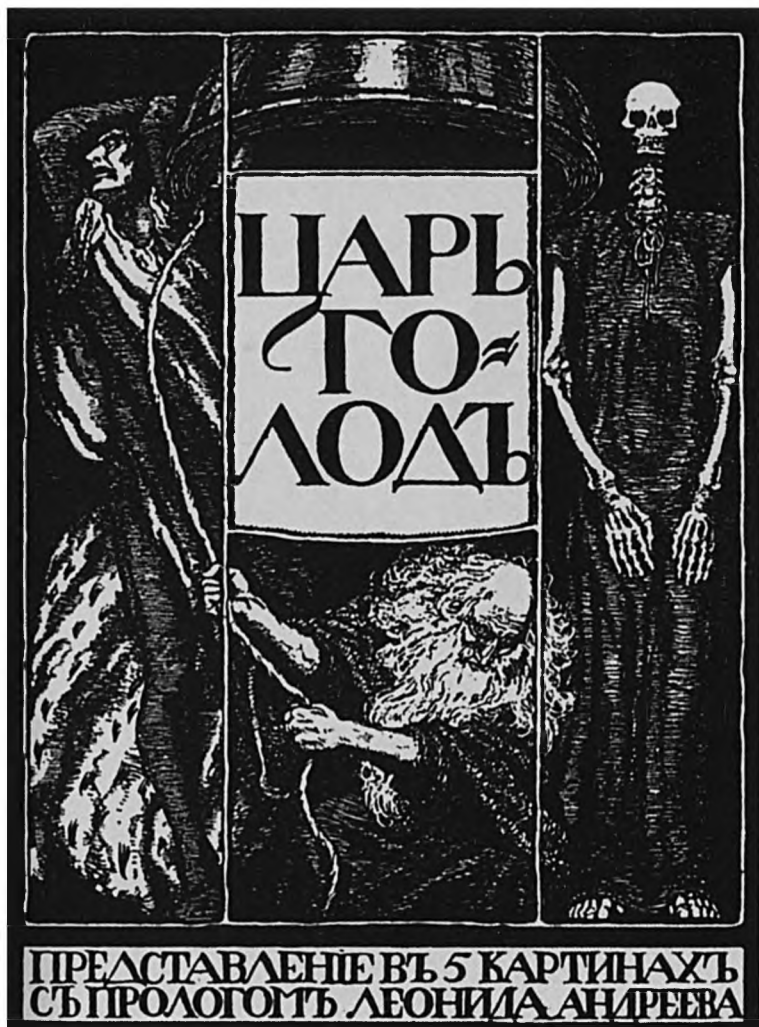
*Таня Ковальчук.
Иллюстрация к "Рассказу о семи повешенных", 1947.
Художник Джон Бакленд-Райт (John Buckland-Wright)*



*Иллюстрация к "Рассказу о семи повешенных", 1908.
Художник И.Е. Репин*



*Иллюстрация в издании:
Леонид Андреев. Царь Голод. СПб.: Шиповник, 1908.
Левая часть вклейки-триптиха.
Художник Евгений Лансере*



*Иллюстрация в издании:
Леонид Андреев. Царь Голод. СПб.: Шиповник, 1908.
Центральная часть вклейки-триптиха.
Художник Евгений Лансере*

Пролог.

~~Копия~~

перед лицом Иеремии и Серафим

Царь-Голод ^{Писатель} ~~фантастический~~ в ~~эпическом~~ эпическом ~~эпическом~~ эпическом.

Коль.

Верфьки евангелию соборно? Комаковски. Голод и - чаше по-
ножеское небо; вилы око фронте алтарю. Во зрелище порождит чинити
ожиет, ввещу иже евангелию ичтиненит, евангелию и иерофант в речку
и евангелию Гротоу ивну. Там, где небо светит, и фронте и, фронт
и отомиле, как влече. И вт. Иеремии Картина, влече в оному герале
евоиде, евангелию, Комаковски и фронтки церкви? Зашли, ты ибу Голу
перофант в речку, фронт и ивноре ичтиненит евангелию урковит
Кровь, как ит. И влече, влече и ичтиненит ичтиненит фронт
Кровь (на Голу) ичтиненит фронт, евангелию, ичтиненит фронт. Ичтиненит
ко, где и отому герале ичтиненит фронт ичтиненит фронт порождит
ожиет: ичтиненит ичтиненит фронт Золот Комаковски, фронт ичтиненит фронт
Кровь Комаковски, ичтиненит фронт, фронт ичтиненит фронт ичтиненит фронт
фронт, фронт фронт ичтиненит фронт. Ичтиненит фронт.

На ичтиненит Комаковски ичтиненит фронт: Царь-Голод, Серафим и
ичтиненит Иеремия-Звонки.

Серафим ичтиненит фронт ичтиненит фронт, ичтиненит фронт ичтиненит фронт
ичтиненит фронт ичтиненит фронт, ичтиненит фронт, ичтиненит фронт
ичтиненит фронт ичтиненит фронт, ичтиненит фронт ичтиненит фронт.
ичтиненит фронт ичтиненит фронт, ичтиненит фронт ичтиненит фронт.

"Царь Голод".
Ранняя редакция. Начало пролога.
Гуверовский институт (Стэнфордский университет, США).
Коллекция Б.И. Николаевского (№ 88)



*Сцена из спектакля "Царь Голод"
труппы "Театр дез Амандье" в театре Рекамье (Париж).
Фотография Жака Филледье (Filledier).
Фигаро. 1967. 20 ноября*

Первый Драматический Передвижной Театр.



Леонид Андреев. Черныя маски.

П. П. Гайдебуров — Лоренцо.
И. И. Аркадин — Экко.

*Сцена из спектакля "Черные маски"
Первого драматического передвижного театра.
Лоренцо — П.П. Гайдебуров, Экко — И.И. Аркадин.
Открытка*

Первый Драматический Передвижной Театр.



Леонид Андреев. Черные маски.

П. П. Гайдебуров — Лоренцо.

Н. П. Карин — Двойник.

*Сцена из спектакля "Черные маски"
Первого драматического передвижного театра.
Лоренцо — П.П. Гайдебуров, Двойник — Н.П. Карин.
Открытка*



*Л.Н. Андреев с женой Анной Ильиничной.
Фотография 1908 г.*



*Леонид Николаевич Андреев.
Фотография 1908 г.*

Лоренцо. Иду! Иду! Зовите музыкантов.

В зале движение. Появляются несколько замаскированных; костюмы обыкновенные, как в маскарадах, — арлекины, пьерро, сарацины, турки и турчанки, животные, цветы, — но на всех лицах плотные, сплошные маски. Входят очень молчаливо и молчаливо поклоном отвечают на любезные приветствия герцога.

Лоренцо (*кланяясь очень любезно и низко*). Благодарю вас, синьоры. Я так счастлив приветствовать вас в моем замке. Простите за рассеянность моего управляющего, который забыл спустить мост и несколько задержал вас. Я так огорчен этим, синьоры. 210

Маска (*глухо*). Мы все-таки прошли. Ведь мы прошли, синьоры?

Вторая маска. Мы прошли.

Третья маска. Мы прошли.

Странный, глухой смех из-под тяжелых масок.

Лоренцо. Я очень счастлив, что вы в таком приятном настроении, синьоры. С этой минуты мой замок — ваш.

Маска. Да, он наш. Он наш.

220

Тот же странный, глухой смех.

Лоренцо (*весело приглядываясь*). Но я никого не узнаю. Это поразительно, синьоры! Я никого не узнаю. Это не вы, синьор Базилио? Мне кажется, я узнаю ваш голос.

Голос. Синьора Базилио здесь нет.

Другой голос. Синьора Базилио здесь нет. Синьор Базилио умер.

Лоренцо (*смеясь*). Какая смешная шутка — синьор Базилио умер. Он так же жив, как и я.

Маска. А разве ты жив?

230

Лоренцо (*нетерпеливо, но очень любезно*). Оставим смерть в покое, господа!

Голос. Проси ее, чтобы она оставила тебя в покое. Она в покое не нуждается.

Лоренцо. Кто это говорит? Это вы, синьор Сандро? (*Смеется*.) Узнаю вас по вашей мрачности, синьор. Но будьте же веселее, мой мрачный друг: смотрите, сколько огней, сколько живых, прекрасных огней.

Маска. Синьора Сандро здесь нет. Он умер.

Тот же глухой и странный смех. Подходят новые маски.

240

Лоренцо. Так, так, я понимаю теперь (*смеется*): все умерли, и синьор Базилио, и синьор Сандро, и, наконец, я сам. Это

очаровательно, синьоры. Поздравляю вас с преинтересною шуткой. Но я все же бы хотел узнать, кто это? Ах, вот и еще! Приветствую вас, дорогие гости... Какая странная маска! Отчего вы вся в красном и что значит эта противная черная змея, что обвиняет вас? Надеюсь, она не живая, синьора? Иначе мне было бы жаль ваше бедное сердце, в которое так яростно впилась она зубами.

К р а с н а я м а с к а (*глухо смеясь*). Ты не узнал меня, Лоренцо?

250 Л о р е н ц о (*радостно*). Ах, это вы, синьора Эмилия? Но нет, та синьора ниже вас ростом, и голос ее нежнее и громче, чем ваш.

К р а с н а я м а с к а. Я твое сердце, Лоренцо.

Л о р е н ц о. Какая очаровательная шутка! Я поистине счастлив, синьоры, что пригласил вас сегодня. Вы так остроумны! Но только вы ошиблись, синьора, это не мое сердце. В моем сердце нет змей.

Н о в а я м а с к а. Не это ли твое сердце, Лоренцо?

260 Л о р е н ц о (*отступая, сдержанно*). Вы испугали меня, синьор! Вы так неожиданно и сзади подошли ко мне. Этот черный мохнатый паук, это отвратительное чудовище на зыбких, колеблющихся ногах, эти тупые, жадно-свирепые глаза, – это мое сердце? О нет, синьор. Мое сердце полно любви и привета. В моем сердце так же светло, как в этом замке, который так радушно встречает вас, мои странные гости.

П а у к. Лоренцо, Лоренцо, пойдем ловить мух. Там на башне в паутине давно запуталось что-то и ждет тебя. Идем, Лоренцо. Разве тебе не хочется свежей крови?

270 Л о р е н ц о (*смеясь*). В моем замке нет паутины, и в башне нет темноты, которая необходима таким гадким созданиям, как ты, мой странный гость! Но кто ты?

К р а с н а я м а с к а. Лоренцо, змея шевелится. Она хочет жалить меня, Лоренцо! Мне больно, мне страшно. Погладь ее по голове, герцог, у нее такая славная плоская головка, – и она ведь не живая! Приласкай ее, Лоренцо!

Глухой смех.

280 Л о р е н ц о (*поддерживая шутку, осторожно гладит змею*). Когда Дьявол искушает – он принимает вид змеи, – но ведь ты же не Дьявол: ты только чучело, ты только чучело, конечно. (*Торпливо*.) Но не пора ли, синьоры, танцевать? Нас, вероятно, уже ждут с нетерпением музыканты. Петруччио!

М а с к а (*подходя*). Что прикажет господин?

Л о р е н ц о. Простите, но я вас не звал, синьор. Я звал моего управляющего... Петруччио.

М а с к а. Это я, Петруччио.

Л о р е н ц о (*смеясь*). Ах вот что! Ах ты, старый, толстый плут, – ты также захотел играть? И я не узнал тебя? Нет, это очень, очень мило. Ну пойди скажи... Но где же ты? Петруччио! Петруччио! Положительно, я должен посадить на кол этого негодного толстяка. Эй, кто-нибудь: Мануччи! Пиетро!

290

Первая маска. Вы звали меня, синьор?

Вторая маска. Вы звали меня, синьор?

Л о р е н ц о (*в недоумении*). Нет, я вас не звал. (*Догадывается и смеется.*) Ах вот что! Да как же вы смели, мои милейшие, вмешаться в толпу господ?

Первая маска. Нам приказали.

Вторая маска. Нам приказали.

Л о р е н ц о (*дружесливо ударяя маску по плечу*). Я шучу, конечно: пусть все веселятся в эту прекрасную ночь. Но мне так странно, что я никого не узнаю. Решительно никого. Вот, кажется, 300 я снова потерял моих слуг.. Марио! Пиетро! Не правда ли, как странно, синьор: я потерял всех моих слуг.

М а с к а (*обращаясь к другим*). Господа, Лоренцо потерял своих слуг.

Громкий смех. Иронические поклоны.

Г о л о с. А где твоя свита, Лоренцо?

Л о р е н ц о (*смеясь оглядывается*). Я вижу одни только маски. Вот интересно, синьоры: только у меня лицо, и лишь относительно меня нельзя ошибиться – кто я.

Снова смех.

310

Г о л о с. Теперь мы – твои слуги, герцог. Приказывай!

Смех.

Л о р е н ц о (*очень любезно, но с достоинством*). Я очень счастлив, господа, что вы настроены так приятно. Я без ума от ваших очаровательных шуток, но я был бы очень огорчен, если бы вам действительно пришлось служить мне... Марио!

Подходят новые маски. Теперь вместо плотных масок на лицах большею частью грим; только женщины по-прежнему скрывают свои черты под цветным шелком. Загримированные лица вновь являющихся отвратительны и страшны. Есть мертвецы, есть калеки и уроды; мотается на длинных ногах что-то серое, беспомощное, часто кашляет и стонет. Весело подпрыгивая, ударяя в кастаньеты, гуськом вбегают семь горбатых, сморщенных Ст а р у х.

320

Л о р е н ц о (*любезно кланяясь*). Рад приветствовать вас в моем замке, дорогие гости. С этой минуты он весь в вашем распоряже-

нии. Ах, какая очаровательная процессия: скажите мне, мои красавицы, где же ваш жених, Дьявол?

Старуха (*пробегая*). Идет за нами.

Вторая старуха (*пробегая*). Идет за нами.

Длинное Серое (*нагибаясь к герцогу и кашляя*). Зачем ты 330 поднял меня с постели, Лоренцо?

Лоренцо (*приветливо*). А где же ваше ложе, синьор?

Длинное Серое. В твоём сердце, Лоренцо.

Лоренцо (*весело*). Как здесь клеветают, однако, на мое бедное сердце... Я счастлив... (*Отшатываясь*.) Какой у вас удивительный грим, синьор! Я положительно принял вас за труп! Скажите мне имя гениального художника, что так искусно изменил ваши черты?

Маска. Смерть.

Лоренцо. Ах, это очаровательно! Но позвольте, дорогой 340 синьор: в ваших измененных чертах я несомненно узнаю дорогие сердцу черты моего друга синьора Сандро ди-Града. Боже мой, как ты напугал меня, мой друг. Знаешь, эти маски, эти странные маски, – положительно не могу догадаться, кто они? Быть может, вы, синьор, поможете мне в этом?

Маска. Темно, Лоренцо.

Лоренцо. Но я приказал зажечь столько огней... Я прикажу еще. Петруччио! Петруччио!

Маска. Холодно, Лоренцо.

Лоренцо. Холодно? Но мне кажется, что здесь адская жара. 350 Но, если вам холодно, пойдите к огню, мой дорогой синьор Сандро. Выпейте вина. Эй, Петруччио! Лентяй!

Одновременно подбегают несколько одинаковых масок и почти одновременно отвечают:

Маски. Я здесь, синьор.

Лоренцо (*не понимая*). Петруччио!

Маски (*одновременно*). Я здесь, синьор. Я здесь.

Лоренцо (*смеясь*). Ах вот что! То я потерял моих слуг, а теперь потерял управляющего. (*С комическим ужасом*.) Но кто же даст вина синьору Сандро, прозябшему в могиле? Простите, 360 синьор... Ах, он уже ушел. Его тянет к огню, беднягу. Ну я сам бы выпил вина, я так устал. Синьор Кристофоро! Не видал ли кто-нибудь синьора Кристофоро?

Подходит высокая худая маска.

Маска. Что прикажете, синьор?

Лоренцо. Это ты, мой честный друг? Узнаю тебя по росту. Дай мне вина. Я несколько утомлен приемом.

Маска. С нашим вином что-то случилось, Лоренцо. Оно стало красно, как кровь Сатаны, и дурманит голову, как змеинный яд. Не пей вина, Лоренцо.

Лоренцо (*смеясь*). Что может сделаться с нашим старым прекрасным вином? Ты слишком много пробовал, Кристофоро, и оттого в голове у тебя не ясно.

Маска (*упрямо*). Я уже видел много пьяных, Лоренцо: отчего им быть пьяными, если вино честно?

Лоренцо. Давай, ворчун! Давай! (*Пьет – и после первых же глотков отбрасывает кубок.*) Что ты мне дал? Мне кажется, что адский огонь лизнул мое горло и проник до самого сердца. Кристофоро!.. Но где же он? Простите, синьоры, но с вином действительно что-то случилось непонятное. Ах, еще маски! Я так рад приветствовать вас в моем замке, дорогие гости.

380

Тем временем, пока утомленный Лоренцо, кланяясь все ниже, встречает новые странные маски, – в зале идет сдержанный шум и говор.

Первая маска. Вы откуда, синьор?

Вторая маска. Из ночи. А вы откуда изволили пожаловать, синьор?

Первая маска. Оттуда же, синьор: из ночи.

Смеются. Говорят две другие маски.

Первая маска. Он выпил всю мою кровь. На моем теле нет ни одного живого места: оно сплошь покрыто язвами и кровью.

390

Вторая маска. Он убивает тех, кого любит.

Первая маска. Вы знаете, конечно, что сегодня произойдет?

Отходят. Разговаривают новые маски:

– Напрасно Лоренцо осветил так свой замок. Вы заметили, когда проезжали, что в тени кипарисов шевелилось что-то?

– Я видел только тьму.

– А разве вы не боитесь тьмы?

– Мне кажется, синьор, что для нас ничего не может быть страшного. Что с нами может сделать тьма? А вам не жаль много безумного Лоренцо?

– Не знаю. Уверяю вас, там что-то шевелилось.

– Смотрите, как весел Лоренцо! А ведь, не правда ли, приятно иметь такого расторопного слугу?

Смеются. На хорах занимают свои места замаскированные музыканты. У ног гостей вертится шут Экко, стараясь заглянуть под маски и вызывая смех своими неудачными попытками.

Экко. Вы не из болота ли, синьор? Я вижу в вас поразительное сходство с лихорадкою, которая два месяца трепала меня, как 410 собака зайца.

Длинное Серое равнодушно бьет Экко, и тот падает.

Экко. Что за странная игра, синьоры: я шут и почти плачу, а вы, над кем я должен смеяться, улыбаетесь... Ай, кто-то ущипнул меня! Это вы, синьора?

Красивая маска. Да, это я, Экко.

Экко. Я вижу, синьора, что горб на груди так же портит характер, как и горб на спине.

Молча и быстро Красивая маска ударяет шута кинжалом. Блестящее лезвие скользит по шее; и с визгом шут взбегает на лестницу и оттуда перебирается на один из каменных выступов. 420 Хохот. Музыканты начинают играть что-то дикое, где одновременно звучит злой смех, крики отчаяния и боли и тихо жалуется чья-то печаль. Так же странен и дик танец масок.

Лоренцо. Как я счастлив, синьоры, вашему веселью. Хотя я несколько утомлен... Но что это за музыка? Боже мой, что это за дикая музыка, терзающая слух? Луиджи, ты пьян или ты с ума сошел? Что ты играешь там с твоими переодетыми разбойниками? Простите, дорогие гости, но этот осел Петруччио все перепутал.

Маска с хор. Мы играем то, что нам дали, синьор.

Лоренцо (*вспыхивая*). Ты лжешь, Луиджи: Лоренцо не мог 430 сочинить такой адской какофонии. Я слышу здесь вопли мучеников, которых безжалостно терзают, я слышу хохот Сатаны.

Старухи (*пробегая с кастаньетами*). Идет жених! Идет жених! Идет жених!

Лоренцо. Простите, очаровательные шутницы, но я должен сделать внушение этому наглому мошеннику Луиджи!

Маска с хор. Луиджи здесь нет, синьор.

Лоренцо. А кто же говорит? Это ты, Стампа?

Маска. Нет, другой. Мы играем только то, что вы дали нам, синьор.

440 Лоренцо (*смеясь*). Ах вот что – замаскированные звуки. Как это мило, синьоры! Вы послушайте – сегодня даже звуки замаскированы. Правда, я и не знал, что звуки также могут одевать отвратительные маски. Но это так забавно!

Голос. А ты этого еще не знал, Лоренцо? Как мало ты знаешь.

Второй голос. Так вот твоя музыка, герцог.

Третий голос. А где ты сам, Лоренцо?

Смех. Музыка продолжается. Пробегают с кастаньетами Старухи.

Старухи. Идет жених! Идет жених! Идет жених!

Лоренцо (*низко кланяясь*). Простите, дорогой синьор, что я 450
не приветствовал вас как подобает. Но здесь так много народу, и
я никого не узнаю, решительно никого! Представьте себе: я даже
не узнаю своей музыки, – не правда ли, как смешно, мой дорогой
синьор?

Маска. А себя ты узнаешь, Лоренцо?

Лоренцо. Себя? (*Смеется.*) Конечно, конечно, ведь вы же
видите, что я без маски. Но что это?

Мимо герцога медленно проходит странная процессия: молодую, красивую и
гордую королеву ведет обнимая полупьяный конюх; впереди кормилица-
крестьянка несет на руках маленького уродца, полуживотное, 460
получеловека.

Лоренцо (*возмущенно*). Что это значит, синьоры? Даже под
покровом масок такое соединение мне кажется отвратительным и
неприличным. А что это несут впереди? – какая противная маска!

Маска. Это конюх спознался с королевой, и у них родился
очаровательный сын. Дорогу королевскому сыну!

Конюх (*пьяный*). Ну вы, рыцари! Крестonosцы! Прочь с до-
роги! Прогони их, королева, а то они еще ушибут нашего драго-
ценного сына.

Смех; голоса: “Дорогу королевскому сыну!”

470

Лоренцо (*возмущенно отворачиваясь*). Мне не особенно
нравится эта игра, синьоры... Эй, Экко, негодный шут, – ты по-
чему забрался так высоко? Отчего ты не радуешь господ твоими
милыми остротами?

Экко (*плача*). Я боюсь твоих гостей, Лоренцо. Они мне сде-
лали больно. Прогони их, Лоренцо.

Лоренцо (*встывая*). Кто смел обидеть тебя? Этого не мо-
жет быть. Мои почтенные гости так добры и любезны, что никому
не станут делать зла. Вероятно, ты сам, негодный шутник, оскор-
бил кого-нибудь злой шуткою и теперь прячешься от наказания. 480

Экко (*плача*). Хороши твои гости, Лоренцо: мой горб плава-
ет в крови, как горный остров в море. Нет ли у тебя костюмчика,
Лоренцо? Я тоже хочу переодеться.

Лоренцо. Пойди сюда.

Шут, опасливо озираясь, спускается к Лоренцо.

Экко. Ну что? Говори поскорее, а то я убегу. Мне страшно.

Лоренцо (*тихо*). Мне также немного страшно, дружок. Я не совсем понимаю, что это делается. Кто они? – Я никого не узнаю. И их, кажется, больше, чем я звал. Это так странно. Не узнал ли ты кого-нибудь, Экко? Правда, их лица скрыты, но ты так хорошо запоминаешь походку, голос и фигуру, – может быть, ты узнал кого-нибудь?

Экко. Никого. Пусти меня, Лоренцо.

Лоренцо (*грустно*). Ты меня оставляешь, дружок?

Экко. Я надену костюмчик.

Лоренцо. Ну иди, если ты так боишься, маленький горбун. Но позови ко мне тогда донну Франческу. Ты не знаешь, где она?

Экко. Она наверху. Прогони их, Лоренцо. А я бегу. (*Уходит вверх по лестнице.*)

500 Лоренцо (*обращаясь к новой, очень красивой маске*). Приветствую вас, синьора! Вы очаровательны, как мечта. Вы нежны, как серебристый луч луны, – я почтительно преклоняю перед вами колена. (*Становится на одно колено и почтительно целует руку. Встает.*) Я вижу только ваш гибкий стан и маленькую ножку, но позвольте, божественная, мне быть нескромным и заглянуть в ваши глаза... Как светятся они! Даже сквозь отверстия этой черной и злой маски я вижу, как они прекрасны. Кто вы, синьора?.. Я вас не знаю.

Маска. Я твоя ложь, Лоренцо.

510 Лоренцо (*смеясь*). Разве может быть ложь так прекрасна, как вы, дорогая синьора? И вы ошибаетесь: во мне нет лжи, синьора. Если бы вы знали мысли Лоренцо, его чистые и светлые мечты, его душу, поющую в небесах, как весенний жаворонок над разлившимся Арно...! (*Испуганно.*) Ай, кто это?

Подползает Нечто многорукое, многоногое, лишенное образа и формы.

И говорит многими голосами.

Нечто. Мы твои мысли, Лоренцо.

Лоренцо. Какая дерзкая шутка, синьоры. Но вы мои гости, я пригласил вас...

520 Нечто. Мы твои хозяева, Лоренцо. Этот замок наш.

Лоренцо (*хватаясь за голову*). Ах, эта ужасная музыка! Она способна свести с ума! Луиджи или кто там, я никого не знаю, я прошу, я приказываю, наконец, – играйте то, что я вам дал. Снимите маски с звуков. Вы помните, как прекрасно то, что я написал? Оно немного грустно, это правда, синьоры, я нередко поддаюсь томной и нежной грусти, но в нем так много гармонии, лучезарной и чистой. Ты, может быть, забыл, Луиджи, так слушай же, я тебе напомним. (*Начинает петь что-то красивое, но после*

первых же двух тактов повторяет то, что играют музыканты. Испуганно обрывает.) Как смешно! Вы сбили меня, господа музыканты. У меня немного кружится голова: действительно, с вином что-то случилось. Как смешно, синьоры: вместо мозгов у меня точно расплавленный свинец!

Громкий хохот.

Г о л о с. Что же ты замолк, Лоренцо?

Второй г о л о с. Лоренцо пьян. Лоренцо, герцог ди-Спада-ро, пьян.

Хохот.

Второй г о л о с. Мы приготовились тебя слушать, Лоренцо. Мы знаем, какой ты великий артист, Лоренцо. 530

Третий г о л о с. Мы требуем, Лоренцо. Пой!

Лоренцо (*с достоинством*). Синьоры... (*Испуганно.*) Ай, кто это трогает меня за плечо? Все уже пришли, синьора, и вы лишняя, и я не знаю вас.

Красивая маска. Это я, мой любимый.

Лоренцо. Простите меня, синьора, но так меня может называть только моя жена, донна Франческа.

Маска (*с тихим смехом*). Ты не узнаешь меня, Лоренцо?

Лоренцо. Мне что-то напоминает в вас мою жену, прекрасная маска. Но это черное покрывало... Позвольте мне заглянуть в ваши глаза: из тысячи тысяч женщин я узнаю мою возлюбленную по ее глазам. (*Смотрит и радостно смеется.*) Франческа, моя любовь, как ты напугала меня. Зачем ты в маске? Ты знаешь... (*Отводит ее в сторону и, обнимая крепко, говорит почти шепотом.*) Дорогая моя, я так устал, и моему сердцу так больно, как будто его жалит змея. Мои мысли путаются. Вы видели здесь страшное чудовище, вон там, оно сейчас в углу, – говорит, что оно мои мысли. Но ведь это неправда, Франческа, моя дорогая, моя возлюбленная? 550

Маска. Это только маска, Лоренцо. 560

Лоренцо (*недоверчиво*). Да, вы так думаете, синьора? И они уедут, и мы останемся одни?.. Скажите.

Маска. И мы останемся одни. (*Страстно.*) Я так крепко обниму тебя, Лоренцо: тебе покажется, что еще никогда я не обнимала тебя.

Лоренцо (*рассеянно*). Да? Я очень счастлив, мадонна... Но эти маски, но этот ужасный синьор Сандро, так искусно загримированный трупом, что любой могильщик вдастся в обман. Мне

показалось, что я вижу червей, – даже в шутку не надел бы я та-
570 кой страшной, такой отвратительной маски.

М а с к а (*с испугом*). Синьор Сандро? Ведь он же действительно умер. Ты ошибся, мой милый!

Л о р е н ц о (*медленно*). Зачем вы смеетесь надо мной, Франческа? Если бы он умер, я получил бы извещение о его смерти.

М а с к а. Но ты получил его, Лоренцо. Ты забыл. И ты устал. У тебя такие холодные руки. На нас смотрят – но я не могу удержаться и целую твою руку, возлюбленный... (*Целует руку.*)

Сзади подходит новая красивая маска и говорит громко.

Новая маска. Лоренцо, ты звал меня?

580 Л о р е н ц о (*с ужасом*). Голос Франчески!

Новая маска. Экко сказал, что ты зовешь меня.

Л о р е н ц о. Экко? (*Медленно отстраняя от себя маску, которую обнимал, и с ужасом глядя на нее.*) Но кто же вы, синьора?.. Как же вы осмелились обмануть меня? Ведь я оказал вам честь и обнял вас! (*Отталкивает тихо.*) Отойдите от меня прочь!

Первая маска (*заламывая руки*). Лоренцо, что с тобою? Ты прогоняешь меня? Что с тобою, Лоренцо?

Вторая маска (*нетерпеливо*). Вы звали меня, Лоренцо? Кто эта синьора, что смеет так нежно обращаться с вами?

590 Л о р е н ц о. Франческа! Франческа! (*Смотрит в недоумении то на ту, то на другую женщину, подходит ко второй и, сдвинув брови, с выражением страшного вопроса вглядывается в ее глаза.*) Глаза! Глаза! Покажи мне твои глаза. Да, это ты, Франческа. Это твой мягкий и нежный взор, это твоя прекрасная душа. Дай мне твою руку. (*К первой маске, с презрением.*) А вы, синьора, отойдите прочь!

Вторая маска (*прижимаясь к герцогу*). Лоренцо, меня пугают твои маски: весь наш замок населился какими-то чудовищами. Я видела синьора Сандро, он ужасен.

600 Л о р е н ц о (*хватаясь за голову*). Синьора Сандро? Но ведь он же умер, ты сама сказала мне об этом.

Сзади подходит третья, такая же красивая маска. Говорит громко.

Третья маска. Лоренцо, мой милый, вы звали меня? Шут Экко сказал, что вы зовете меня. Кто эта синьора с вами? И что это за неприличная близость, Лоренцо?

Л о р е н ц о (*отступая со смехом, в котором звучит безумие*). Какая прекрасная шутка, синьора, какая восхитительная шутка! Теперь я потерял жену. Посмейтесь, дорогие гости: у меня была

жена, ее звали донна Франческа, и я потерял ее. Какая странная шутка!

610

Три женские маски (*одновременно*). Лоренцо! Мой любимый!

Лоренцо (*со смехом*). Вы слышите, синьоры?

Общий неудержимый смех.

Голоса. Лоренцо потерял жену. Плачьте, синьоры. Лоренцо потерял жену. Дайте новую жену Лоренцо.

С разных концов доносятся плачущие женские голоса: “Я здесь, Лоренцо. Я здесь, Лоренцо. Возьми твою Франческу”. Откуда-то отдельный, полный испуга голос: “Спаси меня, Лоренцо. Я здесь”. Хохот. Семь старух, с видом стыдливых и смущенных невест, выражают желание броситься на шею Лоренцо. 620

Голос. Будем венчать Лоренцо. Синьоры, герцог Лоренцо вступает в новый брак. Свадебный марш, музыканты!

Музыканты играют что-то дикое, отдаленно напоминающее свадебную музыку, но музыку, которую исполняют в аду на маскарадной свадьбе Сатаны. К Лоренцо приближается Красная маска со змеєю.

Красная маска. Теперь ты узнаешь свое сердце, Лоренцо? (*Жалобно.*) Приласкай змейку, приласкай змейку – она выпила всю мою кровь.

Паук. Теперь ты узнаешь свое сердце, Лоренцо? Поползем на башню, приятель, там в паутине запуталось что-то и ждет тебя. Но остра ли твоя шпага, Лоренцо? Но остра ли твоя шпага, Лоренцо? 630

Лоренцо. Прочь! Прочь, исчадия тьмы! Я не знаю вас. (*Взбегает на несколько ступеней вверх по лестнице и, одиноко возвышаясь над толпой масок, хочет что-то крикнуть. Но вдруг хватается за сердце и с печальной улыбкой, по-прежнему трогательный, доверчивый, и благородный, и красивый, обращается вниз.*) Простите меня за невольную горячность, мои дорогие гости, но ваши милые шутки, ваша удачная игра несколько взволновали меня. И я потерял жену. Ее звали донна Франческа. Позвольте же теперь – уже близится час расставания, – позвольте же теперь вернуть вас к действительности музыкой. Не той отвратительной какофонией, которою измучил ваш слух этот переодетый разбойник Луиджи, желая внести и свою лепту в общее веселье, – но музыкой моею. Я плохой сочинитель, синьоры, небесные мелодии редко балуют мой человеческий слух, но вы не осудите меня строго. В чистоте и невинности звуков вы найдете тихую отраду и отражение чьей-то неземной мечты... И я потерял жену, синьоры. Я потерял жену. Ее звали донна Франческа. 640

650 М а с к и. Мы ждем вашей музыки, Лоренцо. Всем в мире известна очаровательная музыка герцога Лоренцо. Но час расставания еще не близок!

Л о р е н ц о. К вашим услугам, дорогие гости. *(Совещается с музыкантами.)*

Незадолго пред этим в зале появилась первая из Черных масок, уродливое и странное существо, похожее на ожившую частицу мрака. Недоверчиво и пугливо озираясь, дивясь новому, незнакомому и чуждому, Черная маска виновато крадется у стены и неловко прячется за спины. Но все, к кому приближается она, отступают назад, полные недоумения и тревоги.

660 Г о л о с. Кто это? Это не маска.

В т о р о й г о л о с. Я не знаю. Кто пригласил вас, синьор?

Черная маска не отвечает и, съездившись, тихонько прячется за других.

Разговаривают две другие маски.

П е р в а я м а с к а *(к другой, тихо)*. Сколько нас было?

В т о р а я м а с к а. Нас было сто.

П е р в а я м а с к а. Но теперь нас больше. Кто это? Вы не знаете?

В т о р а я м а с к а. Не знаю. Но боюсь сказать: кажется, они летят на свет.

670 П е р в а я м а с к а. Безумный Лоренцо слишком ярко осветил свой замок.

В т о р а я м а с к а. Огонь среди ночи опасен.

П е р в а я м а с к а. Для тех, кто блуждает?

В т о р а я м а с к а. Для того, кто зажег.

Л о р е н ц о. Прошу вашего внимания, синьоры. Вот этот замаскированный синьор – его зовут Ромуальдо, и он прекрасный певец – исполнит сейчас перед вами маленькую песенку, которую я имел дерзость сочинить. Ромуальдо, ноты у тебя?

З а м а с к и р о в а н н ы й. Здесь, синьор.

680 Л о р е н ц о. И слова? Ты чаще поглядывай в ноты, в одном месте ты часто ошибаешься, мой друг.

З а м а с к и р о в а н н ы й. И слова здесь, синьор.

Л о р е н ц о. Луиджи, разбойник, если ты мне ошибешься хоть в одной ноте, я завтра же велю тебя вздернуть на стене моего замка.

М а с к а с х о р. Вам не придется на меня тратить веревку, синьор.

Л о р е н ц о. Внимание, господа. Внимание. *(Взволнованно.)*

Ну, Ромуальдо, постарайся, мой друг, не осрами меня, и я завтра же подарю тебе драгоценный пояс.

690 Красивыми, нежными, безоблачно-ясными, как глаза ребенка, мягкими аккордами начинается аккомпанемент. Но с каждой последующею фразою, которую

поет замаскированный, музыка становится отрывистее, беспокойнее, переходит в крики и хохот, в трагическую бессвязность чувств. Заканчивается она торжественным и мрачным гимном.

Замаскированный (поет). “Моя душа – заколдованный замок. – Светит ли солнце в высокие окна – из лучей золотых он тклет золотистые сны. – Глядит ли печально луна в туманные окна – в серебристых лучах серебристые сны. Кто смеется? Кто смеется так нежно над печальной лютней?”

Лоренцо. Так, так, Ромуальдо.

700

Замаскированный (поет). “И осветил я мой замок огнями. – Что случилось с моею душою? Черные тени побежали к горам – и вернулись чернее. – Кто рыдает? – Кто стонет так тяжело в черной тени кипарисов? Кто пришел на мой зов?”

Лоренцо (в недоумении). Там этого нет, Ромуальдо. И что это за музыка?

Замаскированный (поет). “И страхи вошли в мой сияющий замок. Что случилось с моею душою? – Гаснут огни под дыханием мрака. – Кто смеется? Кто смеется так страшно над безумным Лоренцо? Пожалей меня, о властитель! – страшно душе моей, о властитель, о владыка мира – Сатана”.

Маски (со смехом). Сжался над ним, Сатана.

Лоренцо. Ты лжешь, певец. Я, Лоренцо, герцог ди-Спадаро, рыцарь Святого Духа, никогда не мог назвать владыкой мира – Сатану. Дай сюда ноты. Я моей шпагой научу тебя читать! (*Выхватывает ноты и с ужасом читает.*) “И страшно моей душе, о владыка мира – Сатана”. Это ложь. Кто-то подделал мой почерк, синьоры. Я этого не писал никогда. Клянусь всемогущим небом, синьоры, – клянусь святой памятью матери моей, – клянусь моим рыцарским словом: здесь таится какой-то гнусный обман. Слова подменили, синьоры.

Маски. Нам не нужно твоих клятв, Лоренцо. Иди каяться в церковь. А здесь повелеваем мы. Продолжай, певец.

Лоренцо (слабо улыбаясь). Простите, синьоры: я позабыл, что сегодня мне все изменяет – и лица, и звуки, и, наконец, слова. Но кто бы мог подумать, мои дорогие гости, что слова также могут одевать отвратительные маски. Продолжай твою шутку, певец!

Замаскированный (поет). “В черной глубине моего сердца я воздвигну тебе престол, о Сатана. – В черной глубине моей мысли я воздвигну тебе престол, о Сатана. – Божественный – бессмертный – всесильный – отныне и навсегда стань над душою Лоренцо, счастливого, безумного Лоренцо”.

Аплодисменты. Хохот.

Г о л о с а. Bravo, Лоренцо! Bravo! Bravo!

– Лоренцо – вассал Сатаны!

– Преклоним колена, Лоренцо!

– Лоренцо, герцог ди-Спадаро – вассал Сатаны!

– Bravo! Bravo!

740 Л о р е н ц о (*кричит*). Во имя Божие, синьоры! Нас всех обма- нули. Это не мой певец, это не Ромуальдо, это кто-то неведомый – его послал сюда Сатана. Что-то страшное случилось, синьоры!

Г о л о с. Он пел твою песню, Лоренцо.

В т о р о й г о л о с. Твоими устами он исповедовал Сатану, герцог ди-Спадаро.

Л о р е н ц о (*прижимая руки к груди*). Это ужасная неправда, синьоры. Вы только подумайте, мои дорогие гости, как мог я, герцог Лоренцо, рыцарь Святого Духа, сын крестоносца...

Г о л о с. А тебе мать сказала, чей ты сын, герцог Лоренцо?

750 Хохот. Протирая руки, Лоренцо хочет что-то сказать, но слов его не слышно. И, схватившись за голову руками, он быстро бежит вверх по лестнице. Крики: “Дорогу королевскому сыну!” Появляются еще две Черных маски.

Г о л о с. Кто это? Нас было меньше.

И с п у г а н н ы й г о л о с. Идут незваные. Идут незваные.

Т р е т ь и й г о л о с. Они летят на огонь. Снимите маску, синьор. (*Пытается сорвать черную маску с лица неизвестного и в испуге отскакивает. Кричит.*) На нем нет маски, синьоры!

Смятение. Все одевается тьмою, но дикая музыка все еще звучит, удаляясь.

Занавес.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Откуда-то издали доносятся звуки музыки; сливаясь с завываниями и свистом ветра, бушующего вокруг башни, они наполняют воздух дикой дрожащей мелодией.

Старинная библиотека в замковой башне; низкая, массивная дубовая дверь открыта, и видны ступени вниз и еще куда-то дальше, наверх. Сводчатые тяжелые потолки, маленькие окна в глубоких каменных нишах, кое-где на стенах и под потолком паутина: Всюду старые, большие книги: на полу, в тяжелых, окованных железом сундуках, на маленьких деревянных пюпитрах. Часть стен, углубленных в виде ниш, также представляют собою книгохранилище, местами 10 закрытое тяжелыми завесами.

У одного из раскрытых сундуков, полного пожелтевших бумаг, на низенькой скамеечке сидит Лоренцо; возле него на подставке стоит кованый из железа фонарь, бросающий то яркие полосы света, то черные тени от поперечин. Некоторое время длится молчание: слышна только отдаленная музыка да шорох переворачиваемых Лоренцо листов. Одет Лоренцо так же, как и на балу.

Лоренцо (*поднимая голову*). Какой ужасный ветер сегодня! Уже третью ночь бушует он и становится все сильнее и так страшно походит на музыку моих мыслей. Мои бедные мысли! Как испуганно бьются они в этом тесном костяном ящике. Давно 20 ли Лоренцо был юношей, и вот прошло немного времени, и вот только два раза обернулось солнце вокруг земли, а он уже старик, и под бременем страшных испытаний, ужасной правды о делах человеческих и Божьих, горбится его молодая спина. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо! (*Читает.*)

(*Отрываясь на мгновение.*) Если всё правда в этих пожелтевших листках, то кто же властитель мира: Бог или Сатана? И кто же я, тот, что называл себя Лоренцо, герцогом Спадары? Ужасна правда дел человеческих. Полна печали моя юная душа. (*Читает. Затем откладывает бережно листки и говорит.*) Так это правда! 30 Так это правда, мать моя! Я считал тебя святою, мать моя, и клялся твоею памятью, и так же тверда была моя клятва, как если бы клялся я на моем рыцарском мече. И ты, моя святая мать, — ты была любовницей конюха, пьяницы и вора. И мой благородный отец, вернувшись из Палестины, чтобы умереть в родном гнезде, узнал об этом и простил тебя — и страшную тайну унес в могилу. Чей же я сын, о моя святая мать: сын рыцаря, всю кровь свою отдавшего Господу, или же сын грязного конюха, отвратительного обманщика и вора, обокравшего господина во время его молитвы? Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо! (*Задумывается.*) 40

По лестнице слышны быстрые шаги, и в комнату, схватившись за голову, в той самой позе, в какой он покинул залу, вбегает Лоренцо. Отнимает руки от лица, видит сидящего Лоренцо и испуганно кричит.

Лоренцо Вошедший. Кто это?

Лоренцо Бывший (*поднимаясь в испуге*). Кто это?

Лоренцо Вошедший бросается на Лоренцо Бывшего и роняет на землю фонарь; комната слабо озарена только тем светом, который падает из открытой двери.
Короткая и глухая борьба, и два тела разъединяются.

Лоренцо Вошедший. Вашашутка слишком дерзка, синьор.
50 Снимите маску! Я приказываю вам, или я заставлю снять ее. Я отдал вам мой замок, но я не отдавал себя, и, надев мою личину, вы оскорбляете меня. Есть только один Лоренцо, только один герцог Спадары – это я. Долой маску, синьор! (*Наступает.*)

Лоренцо Бывший (*дрожаящим голосом*). Если ты только страшный призрак, то заклинаю тебя во имя Божие – исчезни. Лоренцо только один. Герцог Спадары только один – это я!

Лоренцо Вошедший (*бешено*). Долой маску, синьор! Я слишком долго поддавался вашей неприличной шутке, и мое терпение истощилось. Долой маску, синьор, или обнажайте шпагу – герцог Лоренцо сумеет наказать вас за дерзость!

Лоренцо Бывший. Во имя Божие!

Лоренцо Вошедший. Во имя Дьявола, хочешь ты сказать, несчастный. Шпагу, синьор! Шпагу! Иначе я на месте заколю вас, как провинившуюся собаку.

Лоренцо Бывший. Во имя Божие!

Лоренцо Вошедший (*в неистовстве*). Шпагу, синьор! Шпагу!

В полумраке слышен свист и лязг встречающихся шпаг; оба Лоренцо яростно нападают друг на друга, но Лоренцо Бывший, видимо, слабеет.
Короткие, глухие восклицания:

70 – Во имя Божие!

– Долой маску!

– Ты убил меня, Лоренцо! (*Падает и умирает.*)

Лоренцо становится ногой на труп и, вытирая шпагу, говорит неожиданно грустно и мягко.

Лоренцо. Мне жаль вас, синьор самозванец: по вашей руке, по вашему сильному дыханию я вижу, что вы были молоды, как и я. Но ваше несчастье в том, мой бедный синьор, что герцог Лоренцо устал смеяться над милыми шутками своих гостей. Жалкою жертвою маскарадной шутки бесславно погиб ты, юноша, но
80 все же мне жаль тебя, и если бы я знал, где живет твоя мать, я отнес бы ей твое последнее дыхание. Прощайте, синьор.

Уходит. Некоторое время стоит тишина, затем все окутывается мраком, и звуки дикой музыки становятся громче и ближе.

Занавес.

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Бал продолжается.

Как будто прибавилось масок – стало теснее и беспокойнее. Похоже и на то, как будто на гостей начало действовать странное, загадочно изменившееся вино. Музыка играет несколько утомленно, но все так же дико: печальная и красивая мелодия, точно случайно попавшая в этот хаос буйных и диких криков, немедля разрывается ими, разносится по ветру, как сорванный пожелтевший лист, и крутясь умирает. Часть масок продолжает танцевать, но большинство в непонятном беспокойстве движется взад и вперед, собираясь на мгновение в группы, обмениваясь короткими взволнованными замечаниями. 10
Совсем одиноко бродят среди толпы Черные маски: лохматые и черные снизу до самой головы, похожие не то на орангутангов, не то на те чудовищные, мохнатые насекомые, что ночью прилетают на огонь, – они виновато, с видом конфузливый и несколько растерянным пробираются у стен и прячутся по углам. Но любопытство превозмогает: крадучись осторожно, они рассматривают вещи, близко поднося к глазам, трогают лохматыми черными пальцами белые мраморные колонны, берут в руки драгоценные кубки и как-то беспомощно роняют их. Другие маски, прежде явившиеся, видимо, боятся их.

Г о л о с а. Где Лоренцо?

– Где Лоренцо? Необходимо найти Лоренцо. Разве никто не видал, где герцог? Ему необходимо сказать, иначе будет поздно.

– Они летят на свет.

– Видимо, они здесь в первый раз: смотрите, как они оглядывают все, с каким любопытством трогают они вещи. Кто их звал?

– Их не звали. Они пришли сами по освещенной дороге.

– Но, может быть, это наши?

– Нет, нет – это чужие.

– Все это сделал огонь в башне. Какой ужас!

– Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо!

– Нужно, чтобы спустили мост. Тогда они не смогут пройти. 30

– Зовите Лоренцо!

Черная маска с любопытством трогает за рукав одну из прежних масок;
та в испуге отскакивает.

П р е ж н я я м а с к а. Что вам угодно, синьор? Я вас не знаю – кто вы? Кто пригласил вас сюда?

Ч е р н а я м а с к а. Я не знаю, кто я. Кто-то зажег на башне свет, и мы пришли сюда. У нас очень темно. И очень холодно у нас. А кто вы? Я тоже вас не знаю. (*Хочет обнять маску, та отскакивает.*)

П р е ж н я я м а с к а. Прочь руки, синьор, иначе я обрублю 40
вам пальцы.

Пошатываясь, Черная маска подходит к огню камина, садится на корточки и греется. К ней присоединяются другие такие же, черным кольцом окружая слабеющий огонь.

Первая Черная маска. Холодно. Холодно.

Вторая Черная маска. Холодно.

Третья Черная маска. Это называется огонь? Какой красивый огонь. Чей это дом? Почему мы раньше не пришли сюда?

Первая Черная маска. Потому что нас не было тогда. Нас родил огонь.

Вторая Черная маска. А отчего огонь гаснет? Я так люблю его, а он гаснет. Отчего огонь гаснет?

М а с к а. Герцог Лоренцо предатель. Он изменяет нам. Он сказал, что замок наш, – зачем же он позвал этих сюда?

Вторая маска. Он их не звал. Они пришли сами. Но этот замок наш, и мы прикажем спустить мост. Эй, слуги, слуги синьора Лоренцо! Сюда!

60

Никто не подходит.

Третья маска. Слуги разбежались. Зовите Лоренцо! Зовите Лоренцо!

Старухи (*пробегая с каштаньетами*). Жених идет. Жених идет. Жених идет.

Г о л о с а. Лоренцо!

– Лоренцо!

– Лоренцо!

На лестнице показывается улыбающийся Лоренцо. Платье его разорвано. На обнаженной груди большое кроваво-красное пятно, но он не замечает этого и держится все с тем же достоинством и строгим изяществом владетельного принца.

70

Лоренцо. Великодушно простите меня, синьоры, что я осмелился покинуть вас на минуту. Вы подумайте, дорогие мои гости, какая смешная и забавная шутка: я сейчас видел одного очень остроумного синьора, который надел на себя маску герцога Лоренцо. Вы бы удивились, до того было поразительно сходство, – искусный шутник украл не только мой костюм, но мой голос, мое лицо, синьоры. Не правда ли, как смешно? (*Смеется.*)

М а с к а. Ты в крови, Лоренцо.

80 Лоренцо (*оглядывая себя, равнодушно*). Это не моя кровь. Кажется (*задумчиво потирает лоб*), кажется, я убил того шутника. Вы не слышали падения тела, синьоры?

М а с к а. Герцог Лоренцо – убийца! Кого ты убил, Лоренцо?

Лоренцо. Простите, синьоры, но я, право, не знаю, кого я убил. Он лежит там. И если вам угодно, вы можете взглянуть на него: он лежит там. Но что же не играет музыка? И отчего вы не танцуете, мои дорогие гости?

Маска. Музыка играет, Лоренцо.

Лоренцо. Да? А мне показалось, что это ветер, что это просто сильный ветер. Танцуйте же, господа, я так счастлив вашему беззаботному веселью. Петруччио! Кристофоро! Еще вина дорогим гостям. (*Грустно.*) Ах да (*смеется*), я ведь потерял их, и Петруччио, и Кристофоро, и донну Франческу. Так звали жену мою – донна Франческа. Не правда ли, какое очаровательное имя? Донна Франческа...

Число Черных масок увеличивается. Одна из них всходит по ступеням и обращается к герцогу.

Черная маска. Это ты зажег огонь?

Лоренцо. Кто вы, синьор? У вас такой странный и грубый голос, и, мне кажется, я не звал вас. Как вы сюда вошли?

Черная маска. Это ты зажег огонь?

100

Лоренцо. Да, мой очаровательный незнакомец, это я приказал осветить мой замок; не правда ли, как далеко он светится огнями?

Черная маска. Ты разбудил всю ночь. Там все зашевелилось. Ночь идет сюда. Ничего, что мы пришли к тебе? Это тебя зовут Лоренцо? Это твой дом? Это твой огонь? (*Хочет обнять Лоренцо, тот с силою отталкивает ее.*)

Маски (*снизу*). Остерегайся его; Лоренцо. Лоренцо, твой замок в опасности. Пришли незваные. Прикажи спустить мост и наглухо закрыть все двери.

110

Голос. Мост уже спущен. Но они лезут через стены.

Другой голос. Весь мрак ночи превратился в живые существа, и отовсюду они идут сюда. Запирайте двери.

Маска (*снизу*). Лоренцо, ты звал нас, и мы твои гости! Ты должен нас защитить! Созови вооруженных слуг и убей их. Иначе они убьют тебя и нас.

Третий голос. Смотрите: с каждым из них гаснет по огню, они пожирают огонь, они тушат огонь своим черным телом.

Первый голос. Кто они? Они любят огонь – и тушат его. Они летят на огонь, и огонь гаснет. Кто они?

120

Лоренцо. Какая очаровательная шутка, синьоры, – вы так остроумны. Но мне кажется, что огни действительно гаснут и что здесь странно холодеет. Но потрудится ли кто-нибудь из вас, синьоры, позвать моих слуг, и они дадут нового огня? Я, право, не знаю, где они.

Запертые двери сразу распахиваются, точно под сильным напором, и впускают целую толпу Черных масок; и так же сразу и значительно слабеет свет. С тем же застенчивым, но назойливым любопытством Черные маски лезут всюду и целою черною кучею приваливаются к камину, окончательно гася слабо тлеющий огонь.

Черные маски. Холодно. Холодно. Холодно.

Голоса. Зажигайте огни!

– Огни гаснут!

– Кто открыл двери?

– Несите факелы!

– Факелы!

В поднявшейся суматохе некоторые пытаются закрыть двери, но отступают перед натиском все прибывающих Черных масок; другие так же безуспешно пытаются зажечь погасшие светильники, и те загораются, но тотчас же гаснут вновь. Появляются две-три маски с пылающими факелами, и их красный колеблющийся свет наполняет залу фантастическою пляскою теней.

Лоренцо (*любясь происходящим*). Как это очаровательно, синьоры. Мне еще никогда не доводилось видеть такой интересной борьбы между тьмою и светом. Тысячу благодарностей тому из вас, синьоры, кто придумал это! Я до гроба его верный слуга.

Голоса. Факелы гаснут!

– Несите факелы!

Маска. Необходимо погасить на башне огонь. Этот безумный Лоренцо погубит всех нас.

Вторая маска. Туда уже пошли.

Паук (*давно уже подбирающийся к Черной маске, спрашивает ее*). Вы от Сатаны?

Черная маска. Кто такой Сатана?

Паук (*недоверчиво*). Ты не знаешь Сатаны? Кто же вас прислал сюда?

Черная маска. Я не знаю. Мы сами пришли.

Хочет обнять Паука; тот в испуге на зыблющихся ногах отбегает.

Лоренцо. Луиджи, разбойник, что же замолк ты с твоими артистами? Я прошу тебя, сыграй нам вот эту песенку – ты помнишь? Простите, синьоры, у меня очень слабый голос, но я должен напомнить этому забывчивому артисту... Слушай, Луиджи.

Напевает трогательную простую песенку, которою матери укачивают детей. И странно: тихими и нежными аккордами музыка отзывается на песенку. Все затихает. В нелепых и безобразных позах, разинув рты, с наивным любопытством прислушиваются Черные маски. Только в двери, которые изо всех сил, упираясь плечами, держат прежние маски, что-то стучит, скребется и ноет тихими плаксивыми голосами. Закрыв глаза, слегка покачиваясь, Лоренцо тихо

поет. Вдруг сзади него по лестнице раздается топот многочисленных ног, явно слышимый в тишине. Мимо Лоренцо, толкая его, сбегает несколько
170
прежних масок.

Лоренцо (*с тихим упреком*). Вы мне помешали петь, синьоры. Одна из пробежавших масок (*задыхаясь*). Убийство! Убийство! В башне совершилось убийство!

Голоса. Кто убит?

Первая маска. Господа! Убит сам Лоренцо, герцог Спадары, владелец этого замка.

Вторая маска. Мы видели его труп. Несчастный герцог лежит в библиотеке, пронзенный ударом – в спину. Тот, кто сразил его, не только убийца, но и предатель!

180

Лоренцо. Это ложь, синьоры! Я бил его в сердце! Я сразил его в честном бою! Он яростно защищался, но Господь Бог укрепил мою руку, и я сразил его.

Голоса. К мщению, синьоры!

– К оружию!

– К оружию!

– Изменнически убит герцог Спадары.

Первая маска (*указывая на Лоренцо*). А вот – его убийца. Долой маску, синьор!

Лоренцо. Маску? (*С достоинством*.) Действительно, синьоры, я убил кого-то на башне, какого-то наглого шутника. Но то не был герцог Лоренцо. Герцог Лоренцо – я.

Крики. Долой маску, убийца!

Тем временем наплыв Черных масок продолжается, и продолжают гаснуть огни. Появляются еще несколько факелов взамен угасших. Дальнейшие речи Лоренцо и масок перебиваются частыми криками: “Несите факелы. Огни гаснут”.

Лоренцо. Почему вы думаете, что на мне маска, синьоры? (*Ощупывая лицо*.) Это обыкновенное лицо, это мое лицо, уверяю вас, синьоры.

200

Голоса. Долой маску, убийца!

Лоренцо (*вспыхивая*). Прошу вас прекратить эту неприличную шутку. Клянусь честью, что это лицо, данное мне Господом Богом при рождении моем, а не одна из тех отвратительных масок, какие я вижу на вас, синьоры! Маска не может улыбаться, как улыбаюсь я в ответ на ваши дерзкие шутки! (*Хочет улыбнуться, но только конвульсивно передергивает ротом; на одно мгновение, оскалив зубы, дает подобие страшной, смеющейся маски, – но тотчас же лицо становится неподвижным, бледнеет и стынет.*)

210 (В ужасе.) Что это? Что случилось с моим лицом? Оно не слушается меня. Оно не хочет улыбнуться – оно стынет. (Жалобно.) Я, вероятно, с ума схожу, синьоры! Поглядите на меня, ведь это же не маска, это же лицо, живое человеческое лицо.

Хохот, крики:

– Долой маску, убийца!

– Смотрите!

– Смотрите!

– Лоренцо каменеет.

Лоренцо (с каменным лицом). Все погибло, синьоры. Я хотел улыбнуться – и не мог. Я хотел заплакать, и не мог я заплакать, синьоры. На мне каменная маска. (В бешенстве хватая себя за лицо, пытаясь содрать его.) Я сдеру тебя, проклятая маска, с мясом и кровью я сорву тебя! Помогите мне, донна Франческа! Во имя нашей любви, я умоляю вас, помогите мне! Только немного подрезать кинжалом, и она свалится сейчас, и вы увидите вашего Лоренцо. Неси свой освященный меч, Кристофоро! Спасай твоего господина. Отступился от него Господь. Одно мгновение, синьоры, одно мгновение... Я сейчас, я сейчас... (Дико кричит и падает.)

230 Одновременно с этим раздается треск разломанных рам, окна распахиваются, и в них лезут те же Черные маски. В зале почти темно. Только два факела бросают свой дрожащий свет, но скоро один из них гаснет. В темноте отчаянное, полное страха движение, неудачные попытки к бегству и крики. Несколько Черных масок взбираются на хоры к музыкантам, хватают трубы и дико трубят.

Голос. Слышите? Они трубят. Они сзывают своих.

Второй голос. Это их музыка.

Третий голос. Спасайтесь. Они лезут в окна.

Первый голос. Башня полна ими. Они льются оттуда как 240 черный поток. Несите факелы.

Четвертый голос. Факелов больше нет. Это последний.

Многочисленные голоса. Спасайтесь, спасайтесь!

Третий голос. Все выходы заняты ими.

Женский голос. Он обнимает меня. Я задыхаюсь. Я сейчас умру. Спасите меня! Здесь столько рыцарей – неужели никто не защитит меня?

Голос. К оружию!

Третий голос. Мечи бессильны против них.

Четвертый голос. Спасенья нет. Мы погибли. Безумный 250 Лоренцо! Он погубил всех нас.

Черные маски (*расползаясь*). Холодно. Холодно. Где же свет? Где же огонь? Нас обманули.

Голос (*в бешенстве и отчаянии*). Вы же сами пожрали его, порождения тьмы!

Черные маски. Холодно. Холодно. Где же свет? Где же огонь?

Льнут к последнему факелу, который в высоко поднятой руке, спасая, держит одна из масок, и факел гаснет. Тьма.

Голоса. Безумный Лоренцо!

– Безумный Лоренцо!

– Безумный Лоренцо!

260

Занавес.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Уголок капеллы в рыцарском замке.

Все затянуто черной материей в знак траура; только высокие, цветные, сильно запыленные окна дают слабый, мягко окрашенный свет. На черном возвышении черный массивный гроб с останками Лоренцо, герцога ди-Спадаро; вокруг гроба, по углам, четыре огромных восковых свечи. На возвышении, у изголовья, опершись рукою на гроб, в текущем блеске восковых свечей, весь одетый в черное, стоит герцог Лоренцо.

- 10 С замкового двора доносится временами визг и лай охотничьих собак; время от времени заунывное и протяжное завывание труб разносит окрест печальную весть о смерти герцога Спадары. В минуты молчания из-за боковых стеклянных врат, ведущих в другую половину капеллы, слышен голос священника и торжественные звуки органа: там идет непрерывная месса.

Лоренцо (*лежащему в гробе*). Уже вся окрестность оповещена о вашей смерти, герцог Лоренцо, и в слезах призывает мщение на голову убийцы. Лежите спокойно, синьор! Сейчас придут поклониться вашему праху все некогда любившие вас: придут поселяне и ваши слуги и ваша безутешная вдова, донна Франческа.

- 20 Но, умоляю вас, синьор Лоренцо, лежите спокойно. Уже однажды я имел честь нанести удар в ваше сердце, вполне достаточный для смерти, но если теперь вы пошевелинетесь, вздумаете что-нибудь сказать или крикнуть, я совсем вырежу ваше сердце из груди и брошу вашим охотничьим собакам. Во имя нашей былой приязни, умоляю вас, Лоренцо, – лежите спокойно. (*С нежной заботливостью оправляет покров и целует мертвеца в лоб.*)

В этот момент в углу капеллы, в складках черной материи, слышится тяжкий вздох и жалобный звон бубенчиков.

- Кто здесь? Ах, это ты, мой маленький Экко: спрятался в 30 углу и тихо позванивает бубенчиками. Кто впустил тебя сюда?

Экко. Зачем ты умер, Лоренцо? Глупенький Лоренцо. Зачем ты умер?

Лоренцо. Так нужно, Экко.

Экко. Ведь и я с тобою умру, Лоренцо. Твои слуги так злы, твои собаки кусаются так больно, герцог. Весь день я прятался на башне; все ждал, когда откроются сюда двери. Не гони меня, Лоренцо.

Лоренцо. Остайся, шут.

Э к к о. Какой у тебя длинный и белый нос, Лоренцо. Как неудобно тебе с таким носом, ведь его необходимо держать кверху. 40
Я бы засмеялся, если бы не было так страшно.

Л о р е н ц о. Это смерть, Экко. Спрячься – сюда идут.

Экко прячется. Входят несколько человек п о с е л я н и низко кланяются гробу, не смея подойти ближе.

(*Торжественно.*) Герцог Лоренцо, откройте ваше сердце и вернитесь на мгновение к жизни: к вам пришли проститься ваши добрые поселяне. Подойдите ближе, друзья мои: герцог Лоренцо при жизни был добрым господином для вас, не обидит он вас и после своей смерти. Подойдите ближе.

Поселяне подходят ближе, но все еще, видимо, боятся.

50

Первый крестьянин. Прости тебя Господь, герцог Лоренцо, как я прощаю тебя. Не раз с твоими охотниками ты топтал мои посевы, а то, что оставляли нетронутым подковы твоих коней, то добирал твой управляющий, лишая хлеба меня и мою семью. Но все же ты был добрым господином, и я прошу Господа, да простит Он тебе грехи твои.

Л о р е н ц о (*лежащему в гробе*). Спокойствие, синьор, спокойствие. Я понимаю, что вы не можете без волнения слышать эту горькую правду о ваших дурных поступках, но не забудьте, что вы мертвы. Лежите спокойно, синьор, лежите спокойно. 60

К р е с т ь я н к а. Прости тебя Господь, герцог Лоренцо, как я прощаю тебя. Ты отнял у меня мою маленькую дочь для твоей герцогской забавы, и моя дочь погибла. Но ты был молод и красив, ты был добрым господином для нас, и я умоляю Господа Бога, да простит Он тебе грехи твои. (*Плачет.*)

Л о р е н ц о (*лежащему в гробе*). Спокойствие, синьор, спокойствие. Вы любили, я помню, васильки среди спелой ржи, – не напоминает ли это вам чьих-то синих глаз, чьих-то золотистых кос?

Второй крестьянин. Ты еще только собирался идти освобождать Гроб Господень, герцог Лоренцо, а на твоей службе уже забили на смерть моего сына. Плохую услугу оказал ты Господу, герцог, – и нет тебе прощения ни на земле, ни на небе.

Л о р е н ц о (*стискивая зубы*). Вы слышали, герцог? (*К поселянам.*) Возвращайтесь с миром в ваши жилища, друзья мои, – герцог Лоренцо слышал вас и покорно отнесет каждое ваше слово к престолу Всевышнего.

Поселяне уходят.

(*Лежащему.*) Лоренцо, безумный Лоренцо, что ты сделал со мною?

Входит синьор Кристофоро, слегка пьяный, становится покачиваясь на одно колено и некоторое время молчит. Шут Экко, наполовину вылезший было из-за своего прикрытия, прячется снова.

– Вас слушают, синьор Кристофоро.

Кристофоро (*пошатываясь*). Герцог ди-Спадаро! Лоренцо! Мальчик! Как мне без тебя скучно. Прости меня, мой бедный мальчик. Когда с твоим благородным отцом вернулись мы из Палестины и родился ты, такой маленький и красненький, я дал клятву твоему отцу, что всегда буду оберегать тебя. И я оберегал твою вина, но, прости меня, Лоренцо, они пьют как верблюды. А сегодня я раскрыл все погреба, выбил днища у бочек, разрезал мехи и сказал: пейте, верблюды, ослы, проклятые губки, я надеваю мой меч и иду искать того, кто убил моего мальчика, моего милого Лоренцо. (*Вытирает глаза кулаком и шатаясь встает.*)

Лоренцо (*с достоинством*). Герцог благодарит тебя, Кристофоро. Ты пьян, мой старый друг, но при твоих словах разошлись края раны, и две алые капельки выступили из глубины его сердца. Это твои, Кристофоро. Ступай!

Кристофоро уходит. Позвякивая бубенчиками, вылезает шут Экко.

100 Э к к о. А мне ты ничего не даешь, Лоренцо? Хоть одну только капельку крови из твоего сердца – мне надоело быть злым и горбатым.

Лоренцо. Я дам тебе больше, Экко: пойди и поцелуй меня.

Э к к о. Я боюсь.

Лоренцо. Он любил тебя, маленький трус.

110 Э к к о. Если бы ты был живой, Лоренцо, я бы с удовольствием поцеловал тебя, но я боюсь покойников. Зачем ты умер, Лоренцо? Это так нехорошо. (*Садится на полу, подложив под себя ноги и приготавливаясь, очевидно, к продолжительной и интересной беседе.*) Видишь ли, Лоренцо, нам нужно уйти отсюда. Ты думаешь, что я шут, и не веришь мне, но однажды, случилось, ты играл со мною и коснулся меня мечом: и теперь я такой же рыцарь, как и ты, Лоренцо. Так вот послушай меня: перестань быть мертвым, возьми меч, и мы вдвоем пойдем с тобою, как два рыцаря.

Лоренцо (*улыбаясь*). Куда, мой смелый рыцарь?

Э к к о. А к Господу Богу, Лоренцо. (*Оживляясь.*) Тебя Он знает, Лоренцо, а про меня ты скажешь, что я твой брат – маленький уродец. И когда Он освятит наши мечи... Ай-ай, Лоренцо, идут твои грубияны. Я боюсь, я спрячусь. (*Прячется.*)

Толкаясь, вваливается толпа сильно пьяных, буйно настроенных слуг; 120
некоторые из них входят в шляпах.

Лоренцо (*гневно*). Шляпы долой, негодяи!.. Лежите спокойно, синьор, лежите.

Пиетро. А он уж вонзять начинает. Кто хочет идти целовать руку – а я не пойду.

Марио. Я предпочел бы поцеловать донну Франческу: изо всех дам, которых я видел, она мне нравится больше всех. Это, видите ли, синьоры, наследственная привычка: мой дядя целовал мать герцога Лоренцо, а мне вот хочется поцеловать его жену.

Смех.

130

Лоренцо. Умоляю вас, синьор, лежите спокойно. Я вижу, как черная кровь бурлит в вашей ране, но то чужая кровь, Лоренцо.

Мануччи. Ты, Пиетро, украл у меня золотую шпору, и я завтра сдеру с тебя кожу.

Пиетро. А я обрублю тебе нос.

Лоренцо. Прочь отсюда, негодяи! Прочь! (*Наполовину обнажает шпагу.*)

Слуги испуганно озираются.

Пиетро. Это ты крикнул, Марио?

Марио. Молчи. Мне послышался голос покойного герцога, 140
старого Энрико. Идем отсюда.

Мануччи. Вот ты увидишь, как я сдеру с тебя кожу.

Марио. Идем. Идем.

Уходят.

Лоренцо (*к лежащему, с презрением*). И это ваши слуги, синьор. Те, на кого вы оставляли ваш замок, ваши сокровища и вашу жену, прекрасную донну Франческу. Не ссылайтесь на измену и на предательство, несчастный герцог, не оскорбляйте моего слуха жалкими отговорками, не порочьте вашего честного гроба. (*В сильном волнении.*) Но спокойствие, Лоренцо, спокойствие. Я слышу, сюда 150
идет донна Франческа, я узнаю ее поступь, и я умоляю вас, синьор: во имя Божие, лежите спокойно! Силы, соберите силы, синьор!

Молчание; становятся слышнее печальные звуки Реквиема за стеною. Приложив руку к сердцу, весь вытянувшись вперед, Лоренцо ожидает. Входит донна Франческа в пышном трауре, одна. Преклоняет колена. Молчание. Во время дальнейшего шута Экко немного высовывается из-за черной завесы и горестно плачет, тихонько позвякивая бубенчиками.

Лоренцо (*не выдерживая*). Я люблю тебя, Франческа.

Франческа (*тихо*). Я люблю тебя, Лоренцо.

160 Лоренцо (*печально*). Но ведь я умер, Франческа.
Франческа. Ты всегда будешь жив для меня, Лоренцо.
Лоренцо (*печально*). Вы измените мне, донна Франческа.
Франческа. Я никогда не изменю тебе, Лоренцо.
Лоренцо (*печально*). Но вы молоды, донна Франческа.
Франческа. В одну ночь состарилось мое сердце, Лоренцо!
Лоренцо (*печально*). Ваше лицо так прекрасно, донна Франческа! (*С тихим укором.*) Горькие слезы не могли омрачить черного блеска ваших глаз, о донна Франческа! Горькие слезы не смыли нежных роз с ваших щек, о донна Франческа! Черный

170 траур не скрыл красоты и гибкости вашего стана, о донна Франческа, о донна Франческа!

Франческа. Погас свет в очах моих, Лоренцо. Увяло лицо мое, как лист под жестоким дыханием сирокко, и к земле пригибает мой стан невыносимая и горькая печаль.

Лоренцо. Ты лжешь, Франческа!

Франческа. Клянусь, Лоренцо!

Лоренцо (*дрожащим голосом*). Лежите, синьор, лежите. Я вижу, как вздымается ваша грудь, Лоренцо, я вижу, как при безжалостных словах любви трепещет ваше истерзанное сердце, и мне жаль вас, Лоренцо. Уйдите, донна Франческа. Оставьте меня с моим погибшим другом. Вашей красивою печалью вы терзаете наши сердца, и я умоляю во имя Божие, покиньте нас.

Донна Франческа плачет.

(*Терзаясь.*) О донна Франческа! О любовь моя, о моя светлая юность! (*Тихо плачет, закрывая лицо руками.*) Поди поцелуй его, Франческа. Я не буду смотреть.

С рыданием Франческа целует мертвеца.

(*Закрывая лицо руками.*) Крепче целуйте, донна Франческа, больше никогда вы не увидите его. Крепче целуйте! В мою руку 190 вложил меч Господь Бог, и смертью покарал я безумного Лоренцо, — но все же он был рыцарь. Рыцарь Святого Духа был он, Франческа. А теперь — оставьте нас.

Экко испуганно прячется. Со слезами донна Франческа спускается с вышениа, еще раз преклоняет колена и уходит. Молчание. Последние скорбные звуки заупокойной песни.

(*К лежащему в гробе.*) Благодарю вас, синьор, что вы исполнили мою просьбу и лежали спокойно. Я видел, как трудно вам было, и еще раз благодарю тебя, Лоренцо. Теперь мы одни — и навсегда. Идем же, Лоренцо, в безвестную даль.

200

Мгновенно гаснет свет.

Занавес.

ПЯТАЯ КАРТИНА

Та же зала, что в первой картине первого действия. Вечереет; за полуоткрытым окном видны вершины гор, горящие в последних лучах заката. Пылает камин. Горит уже несколько огней, но двое слуг, лазая по стенам, продолжают зажигать еще. Тихо.

П и е т р о. Зачем нам велели зажигать столько огней? Разве сегодня ждут кого-нибудь? – я что-то не слыхал.

М а р и о. Молчи, Пиетро. Ты говоришь так глупо, как будто ничего не знаешь.

П и е т р о (*грубо*). А откуда мне знать? Когда надо – меня зовут, а чуть что-нибудь не так – кричат: убирайся.

М а р и о. Все знают. Сегодня приходил горожанин из Спадары, так и тот знает. Один ты ничего не слыхал.

П и е т р о. И слышать не хочу. Ты мне только скажи – зачем столько огней?

М а р и о. Затем что так приказал герцог Лоренцо.

П и е т р о. А зачем он так приказал?

М а р и о. Затем что сегодня герцог Лоренцо ждет гостей.

П и е т р о. Ну вот, я же говорил, что будут гости. Так бы ты и сказал сначала.

М а р и о (*со вздохом*). Ты глуп, Пиетро. Никаких гостей сегодня не будет. Это только Лоренцо ждет их.

П и е т р о. Как же он может ждать, если их не будет?

М а р и о. Ему кажется, что они будут. Понимаешь, глупец, ему кажется. Вероятно, и тебе что-нибудь кажется, когда ты бываешь пьян. Отчего ты вчера кричал во сне пьяный?

П и е т р о. Мне показалось, что синьор Кристофоро бьет меня хлыстом.

М а р и о. Ну вот видишь.

П и е т р о. Так разве же герцог Лоренцо пьян? (*Смеется.*)

Входит управляющий Петруччио.

П е т р у ч ч и о. Живей, лентяи! Живей! Ты что зеваешь там, Пиетро?

М а р и о. Дорогой синьор Петруччио, вы такой умный человек, что вас слушает сам синьор Кристофоро. Объясните вы этому дураку, что случилось с нашим герцогом.

П е т р у ч ч и о. Не ваше дело, любезнейшие.

П и е т р о. Вот и объяснили. Кто же из нас дурак, Марио, ты или я?

П е т р у ч ч и о (*оглядывая потолок*). Вы оба. Герцог просто не совсем здоров. У него лихорадка.

П и е т р о. А зачем же столько огней?

П е т р у ч ч и о. Затем что – убирайся вон! (*Низко кланяется вошедшему синьору Кристофоро.*)

П е т р у ч ч и о. Добрый вечер, синьор.

К р и с т о ф о р о. Ах, Петруччио, Петруччио, когда же ты похудеешь хоть настолько, чтобы в тебе помещалось не так много вина?

П е т р у ч ч и о. Тогда я буду похож на длинную проточную
50 трубу, синьор, сквозь которую все протекает и ничего не остается.

К р и с т о ф о р о (*грозит пальцем*). Но, но, синьор управляющий! (*Вздыхает.*) Пейте сколько хотите, Петруччио, – теперь не для кого беречь вино. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо! Думал ли я, когда мы вернулись с отцом его из Палестины, что гордую семью герцогов Спадары ждет такая ужасная судьба. Кто он теперь? Где витает его бессмертный дух? Я сегодня смотрел в глаза ему так пристально, что мог пробуравить бочку, а он улыбнулся мне и сказал так нежно, что заплакал бы даже некрещеный турок: “Кто вы? Я не знаю вас. Снимите маску, синьор!”

60 П е т р у ч ч и о. Да, да. Удивительно, синьор Кристофоро!

К р и с т о ф о р о. Мальчик, говорю я ему, герцог Лоренцо, ты подумай: если бы это была маска, так стал бы я носить такую ужасную рожу? (*Вытирает слезы.*) Мальчик, говорю я, герцог Лоренцо, ты попробуй своим пальцем вот этот рубец, полученный мною при защите Гроба Господня. Разве на масках бывают такие рубцы?

М а р и о. Ну, ну? Святой Боже!

К р и с т о ф о р о. Попробовал синьор Лоренцо и говорит: какая у вас плохая маска, синьор, она, вероятно, сшита из двух
70 кусков?.. Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо!

Показывается шут Э к к о и забирается в угол, сжавшись комочком.

Тяжко вздыхает.

П е т р у ч ч и о. Вот и Экко загрустил, синьор Кристофоро. Плохо в доме, когда даже шут начинает вздыхать, как озябшая собака. Без смеху нельзя жить человеку, синьор Кристофоро, и когда умирает смех, то умирает и человек. Засмейся, Экко, хоть не говори ничего, а только засмейся, ты порадуешь мою душу.

Э к к о (*тяжко вздыхает*). Не могу, синьор Петруччио.

К р и с т о ф о р о. А разве тебе не смешно, Экко, что у меня
80 такие усы?

Э к к о (*тяжко вздыхает*). Смешно, синьор Кристофоро.

К р и с т о ф о р о. Отчего же ты не смеешься?

Э к к о. Не могу, синьор Кристофоро.

П е т р у ч ч и о. Вот видите, умер смех. Бедный герцог Лоренцо!

Кристофоро. Да, бедный Лоренцо!

Все огни зажжены, и слуги уходят.

Петруччио. Марио, пойди и доложи донне Франческе, что огни зажжены и все готово... к приему гостей.

Кристофоро. Каких еще гостей? Какие теперь еще могут быть гости, синьор управляющий, – вы подумайте.

90

Петруччио (*машет рукой*). А ты, Пиетро, пойди и прикажи спустить мост.

Кристофоро. Это зачем?

Петруччио. Так приказал герцог.

Кристофоро. Лоренцо? Зачем же ты слушаешься его?

Петруччио. Если бы вы, синьор Кристофоро, слышали его голос, видели его повелительное движение рукой, то и вы послушались бы его.

Кристофоро. Я? Никогда!

Экко. Послушались бы, синьор Кристофоро. Чем я был, маленький и злой горбун, найденный во рву замка? Он захотел, и я стал его смехом, синьоры. А чем я стану? Вам не догадаться об этом, синьоры. Но я стану тем, чем приказал мне быть господин мой Лоренцо.

Петруччио. Его слезами?

Экко (*вздыхая*). Нет.

Кристофоро. Ужасом?

Экко (*вздыхая*). Нет. Огнем! Я был его слезами, не знаю, был ли я его ужасом, синьор Кристофоро, но теперь я стану – огнем! Он сказал мне, как и вам: “Кто вы, синьор? Я вас не знаю. Снимите маску”. И я заплакал, синьоры, и ответил: хорошо, Лоренцо, я снимаю маску, если ты приказываешь это.

Кристофоро. Нет, ты был лучше, Экко, когда смеялся.

Входит синьора Франческа со свитой дам и господ. Молчаливо и грустно разбредаются они по зале, смущаясь ее пустынною и ярким светом.

Господин (*тихо*). Мне кажется, что уже целую вечность не целовал я вас, Элеонора.

Элеонора. И еще целую вечность не поцелуете, синьор.

Господин. Как жестоко ваше сердце, богиня: ему мало одной вечности, а нужно целых две.

120

Донна Франческа. Я прошу вас, синьоры, оказать мне большую милость. Вы знаете, вероятно, что мой супруг, что герцог Лоренцо не совсем здоров: он ждет тех гостей, которых мы не звали, и будет думать, вероятно, что вы, мои дорогие синьоры, – его гости. И прошу вас, не выражайте ни удивления, ни страха, – герцогу Лоренцо несколько изменяет память, и он забывает даже дорогие ему

лица, — но с мягкой осторожностью выводите его из заблуждения. Рассчитываю на ваш ум и доброту, синьоры. Доложите герцогу Лоренцо (*закрывая лицо руками*), что гости съезжаются.

130 Э к к о (*вздыхая*). Я был его смехом, я был его слезами — чем я стану теперь? (*Встает, чтобы уходить.*)

К р и с т о ф о р о. Куда ты идешь, Экко?

Э к к о. Куда меня посылает воля господина.

Ф р а н ч е с к а. Синьор Петруччио, надеюсь, вы не забыли музыкантов? Достаточно ли хорошо разучили они, что написал для них герцог Лоренцо?

П е т р у ч ч и о. Музыканты ждут только вашего приказания, мадонна.

Г о л о с а. Тише!

140 – Тише!

– Герцог Лоренцо!

– Герцог Лоренцо!

На ярко освещенной лестнице показывается герцог Лоренцо. На нем тот же костюм, что и на балу, и так же разорвана сорочка, обнажая грудь с кровавым пятном против сердца. Лицо его очень бледно. Останавливается и, окидывая светлым взором сверкающую огнями залу, кланяется приветливо и любезно.

Л о р е н ц о. Счастлив приветствовать вас, мои дорогие гости. С этой минуты мой замок в вашем распоряжении и я только ваш слуга. Петруччио, освещена ли дорога?

150 П е т р у ч ч и о. Освещена, синьор.

Л о р е н ц о. Не забудь, мой друг, что вся ночь смотрит на нас. И мы покажем ей, синьоры, что значит яркий и живой огонь! (*Спускается вниз.*)

– Какие очаровательные маски! Я так счастлив, синьоры, что вы почтили меня вашим посещением, и я безмерно восхищаюсь вашим неистощимым остроумием. Кто вы, синьор? Я не узнаю вас. Снимите маску, если хотите, чтобы я дружески приветствовал вас.

К р и с т о ф о р о (*почти плача*). Да это я же, Лоренцо. Я — Кристофоро! Разве ты не узнал меня?

160 Л о р е н ц о (*с трогательной убедительностью*). Как же я могу узнать вас, мой дорогой синьор, если на вас такая страшная маска? Я знал одного синьора Кристофоро, он был моим другом с колыбели, и я любил его, — но вас я не знаю. Снимите маску, дорогой синьор, я умоляю вас.

К р и с т о ф о р о (*плача*). Тогда вели ты меня лучше отдать собакам, а я больше не могу.

Ф р а н ч е с к а. Синьор Кристофоро!

170 Л о р е н ц о. Что с этим синьором? Отчего так странно меняет-ся его маска? Мне очень жаль, синьор, я был бы бесконечно счаст-лив, если бы мог узнать, кто вы. Но я не могу, простите меня,

синьор. А кто этот толстый и смешной синьор с красным носом? Какая смешная маска!

Петруччио. Я только что имел честь, синьор... Я – Петруччио, управляющий.

Лоренцо. Вы хотите сказать, что на вас маска Петруччио?

Петруччио. Да – маска Петруччио.

Лоренцо (*смеясь*). Напрасно, мой дорогой синьор; вы выбрали очень скверную маску; мой управляющий – большой плут и мошенник, и красный нос у него не от молитв.

Кристофоро. Мальчик ты мой!

Лоренцо. Ах да. Не видал ли кто-нибудь из вас, синьоры, красной маски, вокруг которой обвилась змея и жалит ее в грудь? Вот в это место. Говорят (*смеется*), говорят (*смеется*), что это мое сердце, синьоры. Какая смешная шутка, как будто не ведомо всем в мире, что у Лоренцо, герцога Спадады, нет в сердце змей!

Один из господ (*неосторожно*). Вы накололись на что-то, герцог Лоренцо, у вас на сорочке кровь.

Лоренцо (*охотно*). Ах это? Это очень странная история, синьор, история, похожая на сказку. Я был на башне, когда кто-то неизвестный, скрывши лицо свое под очень страшною маской, погасил свет и напал на меня в темноте; и этот удар он нанес мне в спину: как видите, синьоры кинжал вошел под левую лопаткою и вышел здесь, на груди. Хоть и предательский, но ловкий удар. Мое сердце пробито насквозь.

Франческа (*стараясь отвлечь внимание Лоренцо от раны, которую, раскрывая, он показывает охотно*). Лоренцо!

Лоренцо. Смотрите, синьоры, какой мастерской удар!

Франческа. Посмотрите на меня, Лоренцо. Отчего вы не улыбнетесь мне: я так тоскую без вашей улыбки, мне кажется, что навсегда зашло солнце.

Лоренцо. Как вы очаровательны, синьора. Я вижу только ваш гибкий стан и маленькую ножку, но позвольте мне быть нескромным, божественная, и заглянуть в ваши глаза... Как светятся они! Даже сквозь отверстия этой черной и злой маски я вижу, как они прекрасны. Кто вы, синьора, я вас не знаю.

Франческа. Святый Боже! Неужели ты не узнаешь меня, Лоренцо?

Лоренцо (*с тою же трогательною убедительностью*). Снимите маску, синьора, я умоляю вас. Мне странным кажется ваш вопрос: снимите маску, дорогая синьора, тогда я охотно и дружески приветствую вас. По росту вы мне кажетесь похожею на синьору Эмилию, но нет (*качает головою*), синьора Эмилия не так стройна. Кто вы?

Франческа (*плача*). Я твоя жена, Лоренцо, донна Франческа, – мой любимый, ты помнишь это имя: Франческа?

Лоренцо (*нахмутив брови*). Франческа? Вы сказали – Франческа? Да. Так звали мою жену. Но я потерял жену – разве вам не говорили об этом, синьора? Донны Франчески нет.

Франческа. Вспомни, как ты любил меня, Лоренцо, взгляни в мои глаза; ты говорил, что из тысячи женщин ты узнаешь меня только по глазам моим. Вслушайся в мой голос, Лоренцо... но ты не видишь меня?

Лоренцо (*с нежным укором*). Ваш голос так нежен и добр, синьора, в нем я слышу речь девственного сердца – зачем же так больно вы шутите надо мною? Это жестоко, моя дорогая синьора. Не нужно издеваться над Лоренцо и поворачивать кинжал в его груди. Я потерял жену, синьоры, – ее звали донна Франческа, и я потерял ее.

Франческа. Ты не веришь мне, любимый. Но дай мне прикоснуться устами к твоей кровавой ране, и в нежном поцелуе ты узнаешь свою милую Франческу. (*Припадает к ране.*)

Лоренцо (*с выражением крайнего ужаса и страдания от талкивая ее*). Что вы делаете, синьора? Вы пьете мою кровь! Умоляю вас, пощадите меня: вы впились в сердце и пьете мою кровь. Мне больно. Оставьте меня.

Донна Франческа плачет.

(*Отступив от нее с видом боли и крайнего испуга, Лоренцо старается закрыть рану, но пальцы его дрожат. Закрывая рану и пытаясь улыбнуться.*) Какая горькая шутка, синьоры! Вы видели, как к моему сердцу присосался вампир?

Кристофоро (*гневно*). Ты с ума сошел, Лоренцо! Это твоя жена.

Господин. Вас оскорбляют, донна Франческа.

Франческа (*переставая плакать, гневно*). Это вы оскорбляете его, синьор! Лоренцо, герцог Спадады, не может оскорбить женщины, даже когда он безумен.

Лоренцо (*к Петруччио, тихо*). Что случилось, синьор? Что взволновало так эту очаровательную маску?

Петруччио. Я не знаю.

Франческа. Зовите музыкантов, Петруччио.

Лоренцо (*радостно*). Да, да, зовите музыкантов.

Франческа (*нежно*). Прошу вас быть внимательным, мой дорогой Лоренцо. Сейчас синьор Ромуальдо споет перед вами ту прелестную песенку, что посвятили вы мне в светлые дни нашей любви.

Лоренцо. Вы снова шутите, синьора. Я не любил вас никогда.

Франческа (*терзаясь*). Не слушайте его, синьоры. Прошу вас занять место, герцог, и, если позволите, я сяду возле вас. Синьор Ромуальдо, покажите герцогу то, что в дни его светлой любви начертала его собственная рука. Вы узнаете свой почерк, мой дорогой Лоренцо?

260

Лоренцо (*любезно*). Покажите, синьор. Да, это мой почерк, – какая очаровательная шутка. (*Взглядывает на Франческу*.) Но здесь написано: “Моей сестре, моей невесте, очаровательной донне Франческе”. (*Подозрительно*.) Как попал в ваши руки этот листок, синьора?

Франческа (*торопливо*). Прошу вас начинать, синьор Ромуальдо. Мы слушаем вас.

Звучит тихая и красивая музыка, вся пронизанная солнечным светом, очарованием молодости и любви.

Ромуальдо (*поет*). “Моя душа – заколдованный замок, и 270 осветил я мой замок огнями. И осветил я мой замок огнями”.

Лоренцо (*вспоминая*). Эти слова я уже слышал когда-то. Продолжайте, синьор.

Ромуальдо (*поет*). “И солнце вошло в мой очарованный замок. Черные тени бежали в испуге, и безбрежное счастье, светлой души ликование, открыло мечту. О донна Франческа! О донна Франческа!”

Лоренцо. Певец лжет, синьоры, – я этого не писал никогда.

Ромуальдо (*поет*). “И на крыльях мечты, к небесам я вознес мой пылающий дух. И на крыльях мечты, к небесам я вознес 280 мой пылающий дух”.

Лоренцо (*вставая и гневным жестом останавливая Ромуальдо*). Остановись, певец! Не слушайте его, синьоры, он лжет и вводит вас в обман. Я вспомнил слова... Луиджи, разбойник, слушай меня. И если ты ошибешься хоть в одной ноте, я завтра же прикажу вздернуть тебя на стене моего замка. Внимание, синьоры!

За окнами выступают из мрака отдаленные вершины гор, как бы озаренные красным заревом заката. Где-то за спиной музыкантов раздается та дикая музыка, что и на балу, но никто ее не слышит.

– Так, так, Луиджи. (*Поет*.) “Безумный Лоренцо, я зажег свет 290 на башне. И сюда придут те, кого я не звал. И погаснет свет на башне, и оденется мраком душа. И возрадуется о тебе, мой повелитель, мой господин, владыка мира – Сатана”.

Крики возмущения и ужаса. Многие в страхе покидают свои места и толпятся у колонн.

Г о л о с . Он призывает Сатану.

Второй голос. Он сказал, что владыка мира – Сатана.
Кошунство! Кошунство! Кошунство!

Кристофоро. Очнись, безумец! Ты сын крестonosца!

300 Дама (*господину*). Смотрите, как будто снова заходит солнце.

Голоса. Солнце!

– Солнце!

– Смотрите, вновь показалось солнце.

Кристофоро (*топая ногой*). Хоть ты и безумец, хоть ты и мой господин, герцог Лоренцо, – я бросаю тебе перчатку.

Его удерживают. Свет за окном сильнеет, как бы наливается огнем и кровью, и уже не видно гор.

Голоса. Смотрите!

– Смотрите, что делается с небом.

310 Франческа. Герцог Лоренцо – безумец, синьор Кристофоро, и не может оказать вам честь, скрестив с вами меч. Но от имени его сына, которого я ношу в чреве моем, я принимаю ваш вызов, синьор Кристофоро. (*Поднимает перчатку.*)

Голоса. Герцогиня ждет сына!

– Донна Франческа ждет сына!

– Бедный Лоренцо!

– Бедный Лоренцо!

320 Лоренцо (*выходя из тяжелой задумчивости*). Что случилось, синьоры? Мне почудился звук обнажаемого меча. Кто смеет обнажать меч в присутствии герцога Лоренцо? Я оказал вам честь и пригласил вас на праздник, синьоры. Не оскорбляйте же моего гостеприимного крова.

Голоса. Смотрите, с небом что-то случилось.

– Где-то горит. Смотрите, все небо в огне!

– Что случилось?

– Где-то горит!

330 Лоренцо (*взглядывая в окно, любезно*). Это начинается мой праздник, синьоры. На наш очаровательный пир придет еще один гость. Предоставляю его вашему вниманию, господа. Его глаза – огонь, его светлые волосы – клубы золотистого дыма. Его голос – рев бурного пламени, пожирающего камень. Его божественный лик – огонь и пламя и лучезарный, безбрежный свет. Вы еще никогда не видали такой маски, синьоры!

Свет за окном усиливается. Испуганные крики. Движение. Голоса.

Голоса. Сатана!

– Сатана!

– Он зовет Сатану.

– Смотрите, все небо в огне!

– Смотрите, вся земля в огне!

– Спасайтесь, он зовет Сатану!

Лоренцо (*возвышая голос*). Кто смеет здесь упоминать нечистое имя Сатаны? Мне кажется – я слышал странную песню: какой-то безумец, достойный проклятия и смерти, возглашал с молитвенным трепетом имя Сатаны.

Кристофоро. Это ты, Лоренцо. Ты – вассал Сатаны.

Лоренцо. Я? О нет, синьор, вам это показалось. Эти очаровательные маски рождают так много смешных недоразумений, и уже давно какой-то шутник, подделавшись под мой голос и мое лицо, обманывает всех дурною ложью.

Кристофоро. Но ты же сам звал Сатану!

350

Лоренцо (*преклоняя колена, торжественно*). Тот, кого я пригласил на мой праздник и кто изволит пожаловать сейчас – долой шляпы, синьоры, – есть Господь Бог, владыка земли и неба. На колени, рыцари и дамы!

Почти все молитвенно преклоняют колена. Некоторые плачут. Тихие восклицания: “Святой Боже, Святой Боже”. Вбегает весь опаленный огнем шут Экко и судорожно мечется по зале; за ним с криком гонятся слуги.

Лоренцо. Ко мне, Экко! Я здесь!

Марио. Держите разбойника! Он поджег башню!

Пиетро. Он всюду набросал огня, и замок пылает со всех 360 сторон. Спасайтесь, синьоры. Сейчас огонь захватит лестницу...

Мануччи. Его нужно убить. Бейте его, бейте!

Лоренцо (*к ногам которого прижался опаленный, почти ослепший шут*). Назад! Кто смеет коснуться посланца Божьего! Назад, синьоры! (*Обнажает шпагу.*)

Экко (*дрожа*). Это ты, Лоренцо? Я ослеп, огонь выжег мне глаза, Лоренцо. Не прогоняй меня, Лоренцо.

Лоренцо. Мой брат! Вместе со мною ты приветствуешь нашего великого Господина.

Лопаются стекла; сверху вместе с клубами черного дыма показываются языки 370 огня. Паническое бегство. Крики. Голоса: “Спасайтесь, спасайтесь”.

Франческа. Бегите, Лоренцо! Бегите!

Лоренцо. Твое сердце останавливается, Экко. Удержи жизнь хоть на одно мгновение. Он идет.

Экко (*дрожа*). Это правда? Ты видишь Его?

Лоренцо. Я слышу Его, Экко.

Экко. Я умираю, Лоренцо. Но ты скажи Ему, что я... твой маленький брат.

Лоренцо. Обещаю тебе.

Экко (*затихая*). Ты знаешь, меня выдали бубенчики. Я сов- 380 сем позабыл их срезать. Я умираю, Лоренцо.

Франческа. Бегите, Лоренцо!

Кристофоро. Да разве вы не видите, синьора, что он сошел с ума! Позвольте, я возьму его на руки, как в детстве, и вынесу отсюда.

Двигается к Лоренцо, но встречает острие шпаги и отступает.

Лоренцо. Назад, синьор!

Кристофоро. Ну погоди ж. (*Тащит шпагу.*)

Франческа. Уходите отсюда, синьор Кристофоро. Не смейте прикасаться к тому, кто принадлежит теперь только Богу.

Кристофоро. Ну и пусть, но без вас я не уйду, мадонна.

Франческа. Я покидаю вас, Лоренцо. Во имя вашего сына, которого я ношу во чреве моем, я покидаю вас, Лоренцо, и отказываюсь от счастья умереть с вами. Но я расскажу вашему сыну, Лоренцо, как призвал вас к себе Всевышний, и он благословит ваше имя.

Огонь пробивается всюду.

Кристофоро. Скорей, синьора, скорей!

Франческа. Прощай, мой Лоренцо, прощай, мой возлюбленный. Прощай!

400 Лоренцо. Прощайте, синьора. Мне жаль, что на вас маска: ваш голос и ваши слова напоминают мне донну Франческу. Я прошу вас, синьоры, передайте ей мое последнее прости.

Франческа. Прощай!

Кристофоро. Бежим. Бежим! (*Подхватывает донну Франческу на руки и уносит, пробиваясь сквозь клубы дыма.*)

410 Остаются только Лоренцо и припавший к ногам его шут. Огонь заливает все. В разбитые окна, в разрушенные двери среди черных клубов дыма показываются Черные маски. Видны их безуспешные старания проникнуть внутрь, их молчаливая глухая борьба с огнем, легко и свободно отбрасывающим их. Вновь и вновь наступают они и, корчась от боли, прядают назад.

Лоренцо. Встань, Экко. Господин идет.

Трогает Экко, и тот, мертвый, отваливается от него. Пламя со всех сторон окружает их. Черные маски исчезли. Грохот и рев торжествующего огня.

(*Торжественно.*) Приветствую вас, Синьор! Мой отец, когда я еще лежал в колыбели, прикосновением меча посвятил меня в рыцари Святого Духа – коснитесь же и Вы меня, Синьор, если я достоин Вашего прикосновения. (*Становится на колени.*) Но уверяю Вас, Синьор, это ведомо всем живущим в мире: у Лоренцо, герцога Спадары, нет в сердце змей.

420 Огонь охватывает его. Все рушится.

Занавес.

Незаконченное.
Наброски

ЦАРЬ-СОН¹

Есть на земле один старый-престарый царь, и называется он: Царь-Сон. Превосходный он старик, добрый, ласковый, пушистый, и сколько он ни живет на свете, еще ни разу не обидел ни одного человека. Это не то что другие², злые цари, которые всех обижают и³ не жалеют никого⁴: Царь-Голод, например, или черная Царица-Смерть. И с виду наш старик⁵ совсем не такой, как другие злые цари. Царь-Голод, например, худой, костлявый, высокий, как сухое дерево; лицо у него желтое, зубы огромные и постоянно лясают: ляск-мяск. Злой такой, и когда захочет есть, так все может сожрать, даже целый город, и с людьми, и с домами, и с лошадьми. И не подавится! Такая же, как Царь-Голод, и даже еще хуже, сестра его, черная Царица-Смерть.

А Царь-Сон добрый старик, очень хороший. Такой толстый, круглый и мягкий, как подушка. И весь он снизу доверху зарос такими маленькими, мягкими волосиками – и ноги, и руки, и живот, и даже вся рожа у него покрыта такими же волосиками. И борода у него длинная пушистая, и волосы длинные пушистые, и хвост длинный пушистый. Очень хороший хвост – Царь-Сон чрезвычайно⁶ им гордится, и когда хочет кого-нибудь приласкать, то проводит кончиком хвоста под шейкой. От этого очень щекотно и так приятно, что хочется смеяться. Он и сам смеется при этом, так как и сам очень любит, чтобы его щекотали. Веселый⁷

¹ В верхнем правом углу авторская помета: Сказки

² Далее было: цари

³ Далее было: никого

⁴ никого вписано.

⁵ Вместо: наш старик – было: (нрзб.)

⁶ Было: очень

⁷ Текст обрывается.

Другие редакции и варианты

ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ

(С. 17)

ЧН

Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Но как бы далеко ни ушел я от города, как бы ни были пустынны море и лес – чувствую его на отдалении, и он волнует меня, он меня тревожит, зовет к себе настойчиво. И случилось недавно так, что я не выдержал и пошел на зов, оторвался от тишины, оторвался от пустынного милого моря и пошел на требовательный зов. И со мною пошла она, моя возлюбленная; все люди видят ее как женщину и зовут красивую, а это вовсе не женщина – это моя душа. Ей не хотелось в город, она боится и не любит его, как и я; но покорная и светлая, ограждающая меня от зла, она весело последовала за мною. Она весело пошла бы и на смерть: все люди видят ее как женщину, а это вовсе не женщина – это великая и светлая тайна, священный престол, у которого надо молиться.

Варианты чернового автографа (ЧА)

- 1 ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ / ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ
8 как серый коридор / как кори⟨дор⟩ ◇
13 и сколько бы ни шел / и сколько бы ты ни шел
15 я боюсь города, его каменных стен / я боюсь города, боюсь
его каменных стен
15 и людей его / и его людей ◇
16 имеющие так много дверей / имеющие так много дверей и
огней
17 Но бывает иногда / Но бывает иногда ⟨нрзб.⟩...
21–22 и вдруг он кажется мне близким / и вдруг он мн⟨е⟩ кажется
близким
23 и зовет с величавым укором / и говорит с укором⟨?⟩ ◇
24–33 – Глупый человек ~ Иди же ко мне! / – [Разве] Глупый, глупый!
Разве я не такое же море, как это? И дома мои – волны, и грохот мой – грохот бури, и улицы мои – течения, и недра мои – пучина. Погрузись же в меня! [Стань] Одинокий –

стань одною из моих маленьких волн, обособленный, растворись
в их [дивной] однородности, единый – умножься их множеством,
великий – умались их малостью. Иди же ко мне! ◇

38 Город зовет меня / Город опять зовет меня

40–44 Это хоронят умершего героя. ~ – Я не хочу смотреть на
небо! / – Но уже трепещет душа моя! ◇

52 я сам зажигаю, сам гашу / я сам зажигаю, я сам гашу

55–56 горят на черном небе огненные слова / горят огненные
слова ◇

57 Ты про эти слова говоришь? – *нет*.

68–69 пошла бы за мною / и пошла бы за мною

79 мы дружно идем к выходу / мы дружно идем, толкаясь,
немного обгоняя, немного отставая, идем к выходу

79–80 и садимся на извозчиков / и зовем ◇

80 Номер моего извозчика: 14.800 / Номер моего извозчика:
14.857

82 смотрю в ее усталое лицо / смотрю в ее несколько усталое
лицо

95 ее делает похожей / ее делает похожею

96 в черных шляпах / в розов(ых) ◇

105 номер 212-й / комнату, номер 12-й

106 такие же двери и комнаты / такие же комнаты ◇

106 и во всех них живут / и во всех в них живут

107 все такие же комнаты и двери / все такие же комнаты

112 какие-то блестящие / какие-то светящиеся ◇

112–113 блестящие шпили: // – Город! / блестящие шпили. Кричу: //
Город!

115 торопливо ем и пью / торопливо пью и ем

119–120 в однородности всех этих таких же одиноких / в однород-
ности таких же одиноких ◇

141–142 и двери, двери, двери, и зеркальные стекла / и двери, две-
ри, двери – множество дверей, из ко(торых) – и зеркальные
стекла ◇

148 перескочить на другую сторону / перескочить на другую
улицу

153–186 И целый час ~ желаниям других людей. – *нет*. ◇¹

161 чувством нелепого восторга / чувством восторга ◇

170–171 эта роковая, трагическая похожесть / эта роковая трагиче-
ская сходство² ◇

171 что должно быть различно / что должно быть непохоже ◇

¹ За исключением вариантов стк. 161, 170–171, 171, 179.

² похожесть / сходство (*описка*)

- 179 общность и сходство, которым я радовался, стали проникать / общность и сходство, которым я сперва радовался, начали проникать ◊
- 196–197 Разглядываю ярлыки и соображаю что-то / Разглядываю ярлыки, соображаю что-то
- 202–203 им попадет впоследствии от жены и от собственной совести / им попадет потом от жены и от товарищей, и от собственной возмущенной совести
- 203–204 Зачем я приобрел / Зачем я купил ◊
- 217–218 У моря целыми часами я мог лежать / У моря я целыми часами мог лежать
- 218 пересыпать песок между пальцев / пересыпать песок руками ◊
- 220–221 ударами какого-то острого бича / ударами какого-то погоняющего бича
- 223 И сперва / И вначале
- 238 выбрасывали нас из других / выбрасывали других нас
- 257–258 таких тросточек я много видел в магазинах / таких я много видел в магазинах
- 258–259 Подробнее описать я его не могу, так как он был / Подробнее описать его я не могу, так как был он
- 262 с мгновенным испугом / с мгновенным ужасом ◊
- 264 это было тожество / это было тожество
- 267 конечно, до ужаса одинаковом / конечно, одинаковом
- 271 этого безумного тожества / этого безумного тожества
- 282 ты явишься с нею к престолу Судии, Он простит / ты явишься бы с нею к престолу Судьи – он простит
- 295–296 я поступал как все: вытирал лицо платком и старался / я поступал, как и все: вытирал лицо платком, старался
- 297–299 я стал углубляться в пустынные площади, в которых каждая пядь земли залита размякшим горячим асфальтом / я стал углубляться в пустынные каменные улицы, пересекать огромные пустынные площади, на которых дымились под солнцем свежие, только что политые цветы
- 299 я ясно почувствовал / я вдруг ясно почувствовал ◊
- 301 бранить прекрасный город / бранить этот прекрасный город
- 306 и на всю эту зелень / и всю эту зелень ◊
- 307 вода сохнет мгновенно / вода сохнет тотчас же
- 309 нарезанную на полоски бумажку / нарезанную на полоски бумагу
- 313 как под тропиками / как у нас

- 318 такой величавый и благостный лик / такой благостный и
величавый лик
- 320 я двигался бесцельно / я шел бесцельно ◊
- 326 не видел я и их начала / не видел я и ихнего начала
- 327–328 запутанный каменный клубок / запутанный клубок ◊
- 331 одиночество не пугает меня / одиночество не тяготит меня
- 332 Там моей мысли / Там моей во(ле) ◊
- 333 спрятанная стенами человеческая мысль / спрятанная сте-
ною человеческая мысль
- 334 волнами других человеческих воль / волнами других
людей
- 343–344 Тело мое одиноко, это правда, но к мысли моей / К мысли
моей
- 346 наполняет меня своей таинственной жизнью / наполняет
своей таинственной жизнью меня ◊
- 347–370 Нечто подобное я испытал ~ характер фатальности. –
нет. ◊³
- 348 с любезного разрешения / с ра(зрешения) ◊
- 349–350 с миллионом книг, молчаливо теснившихся / с миллионом
книг, теснив(шихся) ◊
- 355–356 заставило меня под конец / заставило под конец ◊
- 359 в шкапах / а. в кни(жных) б. в шкафах
- 363 хмурого человека / человека
- 364–365 такими напряженными движениями головы / такими осто-
рожными движениями головы
- 365 будто все время он слышит что-то непонятное / будто он
все время к чему-то прислушивается
- 369 не видел, делало их / не видел, давало ◊
- 372 за одним из этих окон, плачет / за одним из этих окон или
дверей, плачет
- 379 она мучит меня / она мучает меня
- 382 Но я боюсь его улыбки / Но я боюсь его, боюсь его улыбки
- 387 Боже мой! Как я устал! Боже мой, как я устал! / Боже мой,
как я устал! Боже мой, как я устал!
- 389 дьявольской жары / дьявольской жары
- 393 Но теперь я чувствую / Но теперь я их чувствую
- 397 мне трудно вспомнить то, что похоже на тяжелый сон / так
трудно вспомнить то, что так похоже на тяжелый сон
- 398–399 мне почудилось – будто я начал / мне почудилось, – будто
я – будто я начал

³ За исключением вариантов стк. 348, 349–350, 355–356, 359, 363, 364–365, 365, 369.

- 401–402 отделен от воздуха и земли / отделен от воздуха и от
земли
- 406–407 может быть, одну секунду / быть может, одну секунду
- 411 покачивая головой / покачивая головою
- 412 потому что меня услышали / потому что меня услышали ◊
- 416 это оказался портье / это был портье ◊
- 420 Что понял бы он? – *нет*.
- 448 я принужден был пройти / я должен был пройти ◊
- 451 окинул взором / окинул глазами ◊
- 451–452 большую залу, внизу густо усеянную людьми / большой
зал, внизу густо усеянный людьми
- 456–457 опять сделалось не совсем хорошо / опять стало не совсем
хорошо
- 472 у моего соседа, странно движутся / у моего соседа, ког-
да ◊
- 473 ясно видится / ясно чувствуется ◊
- 473–474 безглазый, костлявый череп / безглазый череп ◊
- 480 кивает шляпами / кивает шляпками
- 485 пришли в движение его кости / пришли в движение эти
кости ◊
- 494 Разве? Все равно. / Все равно. ◊
- 497–502 Но какое отвратительное впечатление ~ Слава богу, это
прошло... – *нет*.⁴
- 506–507 привязали им на шею салфетки / повязали им на шею сал-
фетки
- 518 Беру извозчика / Нанимаю извозчика
- 519 ехать в сад / ехать в этот сад
- 520 слышал о нем / слышал о нем
- 523 одною из его маленьких волн / одною из маленьких волн
- 526 уже начало расплываться / уже начало превращаться ◊
- 534–535 обращена на зверинец / обращена на зверей
- 538–539 отличными от человека очертаниями и окраской / отлич-
ными от человека очертаниями ◊
- 540 что и все другие люди / что и другие люди ◊
- 540 одновременно со мной / одновременно со мною
- 548 бросить хлеба медведям / бросить хлеба лебедям ◊
- 550 Потом оторвался от толпы и сел / Потом сел ◊
- 551–552 высокий воротничок раскис / высокий воротник раскис
- 552–553 как старчески неопрятная физиономия / как старческая не-
опрятная физиономия

⁴ В рукописи есть знак вставки, однако текст данного фрагмента не сохранился на соответствующих листах в конце рукописи.

- 555–556 Сидеть было легче / Сидеть было удоб⟨нее⟩ ◇
- 559–560 приглядываясь к метавшимся в клетке зверям / приглядываясь к зве⟨рям⟩ ◇
- 561 я слегка рассердился / я даже рассердился
- 561–562 так это показалось мне дико / так показалось мне дико ◇
- 568–570 вспомнил все эти понурые тела, устало и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся на досках / вспомнил все эти понурые, устало и непрерывно шагающие или бессильно распластавшиеся фигуры
- 573–574 этот звериный, птичий / этот звериный, вод⟨яной⟩ ◇
- 574–575 мир вокруг меня задыхается от неестественной / мир задыхается от дикой ◇
- 576 одинокий в звериной пестроте / одинокий в пестроте ◇
- 577 с другой целью / с другою целью
- 582 он смотрел перед собой / он смотрел перед собою
- 583 он окидывал глазами сад / он окидывал глазами ◇
- 603 Но кислород и озон. Кислород! / а. Но ведь все это нужно для озона, для кислорода! б. Но ведь все это нужно для кислорода!
- 603–604 Понимаешь, тигр, все это нужно для кислорода. / Понимаешь, тигр, для кислорода.
- 605–606 поднявшись, иду дальше / поднявшись, я иду дальше
- 609–610 хочется опустить голову / хочется спр⟨ятать⟩ ◇
- 614 и это как раз к ночи / и это к ночи
- 619 Нет, не годится. / Нет, невозможно.
- 621 очень часто и упорно / очень ясно и упорно
- 630 при том состоянии / в том состоянии ◇
- 631 в котором я находился / в каком я находился
- 631 в их глазах / в их играх
- 632 я мог / я боял⟨ся⟩ ◇
- 634 в белой рубашечке / в беленькой рубашечке
- 636–637 четыре года, а может быть, пять / четыре года, может быть, пять
- 639 светлые, короткие локоны / белые локоны, короткие ◇
- 656 ты, человек, если можешь быть / ты, человек, если ты можешь быть
- 663–664 тою же грязной, теплой водой / тою же грязной, теплою водою
- 667 тоненькими беленькими пальчиками / толстенькими беленькими пальчиками
- 673 череп, туго обтянутый / череп, обтянутый ◇

- 674 от воды она прилегла / от воды она б(ыла?) ◇
681–682 будто нет времени, и, увлекаемый / будто нет времени, буд-
то увлекаемый
687 глядя так просто / глядя так пристально, так просто
691–693 – Милый! // Молчание. // – Я очень люблю тебя! / – Ми-
лый! Я очень люблю тебя! // Молчание.
700 но с тех пор до сего дня / но с тех (пор) и до сего дня
707 люблю больше всего на свете / люблю больше всех на свете
714 по улице города / по улицам города
718 Это были орлы и орлицы – десять–двенадцать царей и ца-
риц / Это были орлы – десять–двенадцать царей ◇
720 каких-нибудь мелких птиц / каких-нибудь других мелких
птиц
722 огромных, свободных, царственных птиц / огромных, цар-
ственных птиц ◇
723 саженым размахом крыла / саженым размахом крыльев
723–724 чудовищно, безобразно мала / *а. как в тексте б.* чудовищ-
но мала, безобразно мала ◇
724 какой-нибудь из несчастных / какой-нибудь из этих несчаст-
ных
728 они начинали кричать / они начали кричать
730 Их хриплый, дикий клекот, который звучит так мощно / Их
хриплые, дикие голоса, которые звучат так мощно
731–732 здесь становился похож / здесь становились похожи
734 но ясно, с отвращением, понимал я / но я ясно, с отвраще-
нием, понимал
740 глупую зависть / зав(исть) ◇
748 как куры в курятнике / как куры на-насте
751 Они подходили быстро / Они подходили ◇
753–754 и медленно отходили / и быстро отходили ◇
758 я должен также упомянуть / я должен упомянуть ◇
763–764 испускали свой дикий вопль олени / кричали олени
767 решительно и быстро / решительно, быстро ◇
771 в самом существе загадочного крика / в самом этом зага-
дочном крике
772–773 многие обычные, по-видимому, посетители / многие,
по-видимому, обычные посетители
779 голос зверя / голос какого-то большого зверя
795 Я приблизился к самой решетке / Я подошел к самой ре-
шетке
796 большим мечущимся телом / каким-то большим телом
797 или движение его / или движения его

- 799 темная, скользкая спина / темная спина ◇
803–804 скуластое, страшное лицо / скуластое лицо ◇
807–808 гнилые, искрошенные зубы / гнилые, желтые зубы
813 посередине огромного города, / посередине огромного
города, перед кучкою каких-то господ
816 пытаться передать / попытаться передать
816–817 всю грозную силу проклятий / всю грозную силу этих про-
клятий
821 Я знаю благородный гнев / Я помню благородный гнев
821–822 я помню гневные упреки / я знаю гневные упреки
823 на головы нечестивых городов / на голову нечестивых го-
родов
825 проклятием умирающего зверя / проклятием больного,
умирающего зверя
828 И почудилось мне: вместе с проклятием / И вместе с про-
клятием
833–838 – Послушайте! ~ зашагал куда-то. – *нет.*
839 гонимый проклятием зверя / гонимый проклятиями зверя
840 где одиноко ждала она; и я упал перед ней / где одиноко
ждала меня она; и я упал перед нею
844–980 Мы были в лесу. ~ видом хотя бы чужой любви /

– Пойдем в лес, – говорила она, глядя мои волосы. –
Уже вечер, и светит луна, и в лесу нет никого. Ты забудешь
там о городе, – говорила она и гладила мои волосы и, по-
коренная нежной ласкою, очарованная ее легким прикос-
новением нежных рук, отдыхала моя [измуч(енная)] истер-
занная душа.

– Да, пойдем в лес, там нет никого. Но ведь это так да-
леко!.. – восклицал я с внезапно нахлынувшей тоскою.

– Смотри на меня. Смотри на меня, и ты не заметишь
пути.

И снова была горячая толпа, и снова ждали нас стре-
мительные вагоны, и на черном небе я видел огненные,
золотистые, зеленые слова: “шоколад и какао”. Но я уже
не боялся ни толпы, ни вагонов: я неотступно смотрел в
лицо ее, моей возлюбленной, и тихой радостью озарялось
сердце. Уже столько раз смотрел я в эти милые черты, но
не насыщался глаз мой; и с каждым взглядом все глубже и
радостнее становилась неизреченная тайна ее задушевных
очей. Возлюбленная моя!

И вот уже станция, где начинается этот большой, пре-
красный лес. Здесь, на станции еще огни, и пахнет еще го-

родским запахом, но уже мало людей, – а там, за границей света, уже мерцают в лунной полутьме светлые стволы и черные глубокие провалы между ними. Вместе с нами выходит несколько торопливых фигур и сразу пропадает [где-то] за границей света; и мы одни.

Пахнет лесной сыростью и хвоей; и запах каменного угля, который пронизывает здесь все, уже не кажется таким противным: он говорит о дальней дороге, о чуждых неизведанных странах, где в ненарушимом молчании также стоят под луною нетронутые, девственные леса.

– Девственный лес. Ты чувствуешь, как это хорошо: девственный лес, – восклицаю я. – А здесь...

Под ногами шуршит бумага, и там и здесь на темной траве разбросаны большие пятна: это городские люди приезжают сюда в воскресенье с бутербродами и засорили землю промасленной бумагой.

– Дальше! Дальше!

Все тише, все покойнее, и все ярче светит луна: тут в глубине леса, где не видно уже станционных огней и не слышно города, свет луны прозрачен и хрустально чист.

– Нет, хорошо и здесь! – говорит она с протяжным радостным вздохом. Освобождает руки и протягивает их вверх, где сквозь сучья остро блестит разорванными кусочками луна. И дышет жадно. От луны у нее совсем белое лицо и только глаза неестественно черны и велики; но я знаю, по тому, как дышит она, что ее щеки порозовели, и осторожно целую их. Как они холодны и свежи!

Все дальше и дальше идем мы, точно хотим проникнуть в самое сердце тишины и мягкого света. И так священна эта светозарная тишина, что кажется святотатством каждый легкий звук, хруст сучьями под ногами, мягкий шелест платья.

– Сядем здесь, – говорю я.

И мы садимся, опершись спинами о толстый шершавый ствол сосны, и вдруг все, когда смотреть на него снизу, становится так необыкновенно, принимает образ пустынности, глубокой, ненарушимой ночи. Луна сзади нас, и от нас, от дерева тянется длинная замирающая тень; и когда посмотреть назад, росистая трава отливает дымчатым серебром, и по ней тянутся такие же дымчатые тени высоких стволов. И так далеко, до той невидимой грани, где вдруг все становится непонятно, где просветы луны, и тени де-

рев, и дымчатость призрачной хвои сливаются в одну молчаливую, серебристо-черную тайну.

[— Будем молчать, — говорит она.

— Да, будем молчать, — соглашаюсь я и крепко прижимаю к своему лицу холодную, милую щеку.

И мы молчали — мы думали, что мы молчим. Да, только теперь вспоминаю я, что мы все время говорили, но и тогда, и долгое время потом нам казалось, что мы молчали. Это оттого, вероятно, что тихи были наши голоса и не разрывали священной тишины безмолвного леса, это оттого, что тихи были наши мысли, и чувства наши были напоены безмолвием лунного света. И разве я понимаю, говорил ли это я, или тишина ночная ли и шептала, ее это или мой голос серебрился в лунном свете — или это было только молчание — только молчание — только молчание.]

И тихо жаловался я ей, моей возлюбленной:

— Я боюсь проклятий зверя. За что он проклял меня, за что? Разве я виноват, что на земле так плохо [и все *(3? нрзб.)* звери]? Когда я родился, земля уже была такую; и такую же останется она, когда я умру. Ведь так коротка моя жизнь!

И тихо спрашивала, прижимаясь ко мне с ласкою и страхом:

— А они тоже проклинали — эти тени, которые ты видел?

— Нет. Ведь они мертвые. Они шагали молча. У них огромные, окровавленные головы, но они шагали молча.

— В кровавой мгле?

— Да, в кровавой мгле.

— А здесь мы одни.

— Да, одни. Кто ты? — я не знаю.

— Кто ты? — не знаю и я. Но разве нужно знать? И разве есть еще ты?

Было молчание леса и длинные дымчатые тени.

— Если бы я был царь земли, я сделал бы так: я открыл бы все тюрьмы и растворил бы все сумасшедшие дома — раскрыл бы все клетки, где звери...

— Зачем?

— Для правды.

— Разве ты знаешь, где правда?

— Зверь знает.

Молчание.

– Нет, он не знает. Зачем он проклял тебя? Он не знает правды. Он не должен был проклинать тебя. Разве ты сам не мог бы проклясть его?

– Кого же он проклинал? В его голосе была правда.

– Он смотрел дальше?

– Да, он смотрел дальше.

– Он смотрел в прошлое?

– Не знаю.

– Или в будущее? Ты видел, куда он смотрел?

– Не знаю.

Нежное прикосновение пальцев.

– Наклонись ко мне. Дай твой лоб, я поцелую его.

– Возьми мои губы.

– Нет. Когда [человека] жалеют человека, его нужно целовать в лоб.

– А не в сердце?

– Нет. [В лоб.] Человека нужно целовать в его лоб.

– Когда жалеют?

– Когда жалеют.

– А когда целуют руку?

– Когда уважают, да?

– Или когда лгут.

– Разве ты лжешь?

– Нет, я уважаю. Я люблю тебя. Прижмись ко мне и молчи. Не буди меня. Мне страшно: вдруг я проснусь и тебя нет. Вдруг ты – только сон. Я люблю тебя.

– Я люблю тебя. Расскажи мне о девочке, которую ты видел.

– Разве это тоже сон?

– Кто знает!

– Кто знает!

И все было сном в эту тихую, лунную ночь. И как тогда в саду, когда в мистические глаза зверя смотрели глаза человеческого детеныша, останавливалось время – так остановилось оно и теперь. Я не могу сказать, долго ли мы сидели так, как не могу передать и тех образов, что стояли перед нами. Те, кто любит, знают эти состояния остановившегося времени, бессмертия, превратившегося из скучной сказки в живую действительность, и они поймут меня; те же, кто не любил, не поймут никогда, сколько бы ни рассказывал им об этом.

И тут я услышал этот подлый шорох позади нас, это мерзкое учащенное дыхание. Я приподнялся, окликнул, и вот что я увидел: из-за дерева, стоявшего в нескольких шагах позади нас, высывалась темная, насторожившаяся голова в котелке; после моего оклика он, подглядывавший негодяй, испуганно спрятался; потом вышел и большими шагами, осторожно, на цыпочках, неся на отлете руки, в одной из которых была зажата тросточка с серебряной, блестящей ручкой – бесшумно удалился. Он горбился при этом, когда шел; и навсегда я запомнил эту картину: лес, полный лунного дыма, ее, широко открывшую испуганные, оскорбленные глаза – и скользящую по серебристой траве воровскую тень сгорбившегося господина в котелке и с приподнятыми руками. И навсегда я запомнил это чувство невыносимого отвращения, близкого к тошноте, и холодной, смертельной скуки, убивающей желание жить.

Помню, я сразу понял, кто был этот господин. Это был один из тех отвратительных, жалких, полусумасшедших эротоманов, которых всюду и всегда, днем и *(нрзб.)*, преследуют грязные, сладострастные образы. Их доводит до сумасшествия город, полный красивых, но чужих и недоступных женщин. Днем они шатаются по улицам, выслеживают женщин, раздевают их мысленно и замирают от гнусного, сладострастного восторга, когда ветер или сама женщина чуть-чуть поднимет подол шелковой юбки. Они заходят в магазины обуви только за тем, чтобы видеть ноги примеривающих ботинки женщин, действующие на них, как дурман; и потом на этих крохотных и скудных обрывках действительности они создают картины гнуснейшего, фантастического разврата, перед которым кажется целомудрием и святостью наивный, правдивый разврат древних. Отвратительные, они жалки в то же время, ибо голодны ненасытимо. По вечерам они безнадежно пристают к порядочным женщинам, выслушивают презрительные ругательства, иногда терпят даже побои; таскаются по садам, по темным аллеям, где прячутся влюбленные, подкарауливают, подстерегают – чтобы видом хотя бы чужой любви дать ⁵ в глубине леса, где не видно уже было / в глубине леса не видно уже было ◊

864

⁵ За исключением вариантов стк. 864, 875, 886, 891–892, 898, 898, 936, 937, 938–939, 943, 944, 945, 948–958, 969, 976–977, 979–980.

- 875 Я боюсь идти дальше. Сядем / Я боюсь идти. Ся(дем) ◇
 886 Но я так ясно почувствовала / Но так ясно почувствовала ◇
 891–892 длинные, тающие / длинные, за(мирающие?) ◇
 898 Я боюсь проклятия зверя / Я боюсь проклятий зверя
 898 За что он проклял меня, за что? / За что он проклял
 меня? ◇
 936 что, еще не борясь, еще отступая / что, еще не борясь,
 что ◇
 937 я уже победил / я уже б(ыл?) ◇
 938–939 поклонился я ей, женщине / поклонился я ей, моей ◇
 943 О город! Проклятый город. / О город! Проклятый город!
 944 И тогда я услышал / И тогда я услышал
 945 и вот что увидел / и вот что я увидел
 948–958 он, подглядывавший негодяй ~ убивающей желание
 жить. – *нет*.
 969 и потом на этих крохотных / и на ◇
 976–977 они безнадежно пристают / они пристают ◇
 979–980 где прячутся влюбленные, подкарауливают / где прячутся
 влюбленные, и подкарауливают
 986 этот давно, по-видимому, следил за нами / этот, по-види-
 мому, давно следил за нами
 986–987 еще с самого города, с вагона / еще с самого вагона ◇
 1005 становилось одиноко и грустно / становилось так одино-
 ко и грустно
 1005 *После:* так одиноко и грустно. – Возлюбленная моя! ◇
 1010 и он здесь, – поджидает поезд / и он здесь, т(оже?) ◇
 1011 среди таких же господ / среди других таких же господ
 1012 освещает белокурые / освещает свои белокурые ◇
 1019 Ты возьмешь экипаж / Ты возьмешь извозчика
 1019 от вокзала / от ста(нции) ◇
 1021 Возьми экипаж / Возьми извозчика
 1024 Так одиноко, так грустно было нам обоим. – *нет*.
 1027 что помог подняться ей / что я помог подняться ей ◇
 1028–1029 знал язык ее руки, что она простила меня. / знал язык ее
 руки. ◇
 1036 он свертывается / он съезживается ◇
 1045 мой бешеный гнев / мой гнев ◇
 1054–1055 в этом сплошном идиотстве / в этом иди(отстве) ◇
 1057 городским жителям / городским людям
 1058–1059 проносились изредка автомобили / проносились авто-
 мобили ◇
 1067–1068 И с ненавистью / И потом с ненавистью ◇

- 1070 из-за яркого ацетиленового фонаря / из-за яркого
элек(трического) ◇
- 1071 – Добрый вечер! / Действит(ельно) ◇
- 1074 выхватывал из темноты / выхватывал из леса ◇
- 1079 За своей спиной / За своей спиною
- 1083 вокруг измученного сердца / вокруг моего измученного
сердца ◇
- 1085 печальное слово: умер! / печальное слово: // – Умер!
- 1097 и им я сообщил / и им я сообщал
- 1117 сплошь задернулось / сплошь покрылось ◇
- 1120 не было ни ярких пятен света / не было яр(ких) ◇
- 1121 в этом тусклом, безжизненном свете / в этом мертвом,
безжизненном свете
- 1125–1126 над чьим гробом я плакал так безутешно? / а. над чьим гро-
бом плакал я? б. над чьим гробом плакал я так безутешно?
- 1129 Не знаю. Не спрашивайте меня... / Не знаю. Не знаю. Не
спрашивайте меня...
- 1132 вышел из боковой аллеи / вышел из боковой дороги
- 1133 И так грустно было мне / И так грустно мне было
- 1138 я различил небольшую тележку / я увидел небольшую
тележку ◇
- 1169 свет фонарика, озаряющий / свет фонарика, освещ(аю-
щий) ◇
- 1170 вытягивающиеся собачьи ноги / вытягивающиеся ноги ◇
- 1186 к твоему проклятию / к твоему немому проклятию ◇
- 1189 И он стоял / А он стоял

Варианты прижизненных изданий (Б, З, Ш, Пр)

- 47 Я не вижу: меня зовет город. / Я не вижу! Меня зовет го-
род. (Б, З)
- 52 я сам зажигаю, сам гашу! / я сам зажигаю, я сам гашу!
(Б)
- 79 и все мы дружно идем к выходу / и все мы дружно идем,
толкаясь, немного обгоняя, немного отставая, идем к
выходу (Б, З, Ш)
- 105 номер 212-й / номер 112-й (Б)
- 238 выбрасывали нас из других / выбрасывали других нас (Б)
- 341 Я свободно перехожу / – я свободно перехожу (Б)
- 364 напряженными движениями головы / движениями головы
(Б)

- 392 я чувствую / я их чувствую (Б, З, Ш, Пр)
397 что похоже / что так похоже (Б, З, Ш)
398–399 почудилось – будто я начал уже каменеть / почудилось,
будто я – будто я начал уже каменеть (Б, З, Ш)
480 кивает шляпами / кивает шляпками (Б, З, Ш, Пр)
506 привязали / навязали (Б)
621 часто и упорно представлял / ясно и упорно представлял
(Б, З, Ш, Пр)
634 в белой рубашечке / в беленькой рубашечке (Б, З)
636–637 а может быть, пять / может быть, пять (Б, З)
653 Млечного Пути / млечного пути (Б, З, Ш, Пр)
664 теплой водой / теплою водою (Б) / теплою водой (З)
678–679 с простотой и величавой откровенностью / с простой и
величавой откровенностью (Б, З, Ш, Пр)
681–682 будто нет времени, и, увлекаемый / будто нет времени;
будто увлекаемый (Б, З, Ш, Пр)
687 глядя так просто / глядя так пристально, так просто (Б, З,
Ш, Пр)
700 с тех пор до сего дня / с тех пор и до сего дня (Б)
739 злость / злобу (Б)
823 посылали они на головы / посылали они на голову (Б, З,
Ш, Пр)
829 тени / тела (Б)
840 ждала она / ждала меня она (Б, З)
898 боюсь проклятия / боюсь проклятий (Б, З, Ш, Пр)
1019, 1021 экипаж / извозчика (Б)
1132 из боковой аллеи / из боковой дороги (Б)

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

(С. 46)

ЧА I

Ранняя редакция

⟨л.⟨⟨1⟩⟩¹ (21а)²⟩³

НА ОСТРЕЕ⁴ / НА ОСТРИЕ⁵

I. В час дня, ваше превосходительство

Их было пятеро⁶, приговоренных судом к смертной казни через повешение, две женщины и три⁷мужчины⁸. Все они были очень молоды,⁹ – старшему из мужчин было¹⁰ двадцать восемь лет, а младшей из женщин всего двадцать – и принадлежали к одному тайному¹¹ сообществу; и захвачены они были полицией как раз в то время, когда с разных сторон, по большим улицам и

¹ В двойных угловых скобках дана утраченная авторская нумерация листов, реставрированная составителями.

² При оформлении данной редакции, в виде исключения, сначала дана авторская нумерация листов (цифра подчеркнута), а после нее, в круглых скобках, – архивная нумерация (что связано с многочисленными случаями нарушения истинного расположения листов и соответствующего искажения правильного порядка нумерации в данной архивной единице – РС1).

³ В правом верхнем углу смазанная (поверх старого заголовка была приклеена позже отклеившаяся полоска бумаги) помета: 20 Ф(еврала) 08. На отклеившемся фрагменте (л. 5) написан новый заголовок: Рассказ о семи повешенных.

⁴ Далее было: Люди ⟨?⟩ // ⟨Нрзб.⟩ // Шестой ⟨?⟩ // Седьмой (варианты заголовка).

⁵ Было. острее. Видимо, при исправлении Андреев дал второй из двух вариантов написания слова “острие”, которые допускались нормами орфографии того времени: “острее” и “острие” (см., напр.: Подробный орфографический словарь / Сост. В. Зелинский. 2-е изд. М., 1914. С. 362).

⁶ Было: шестеро

⁷ Было: четверо

⁸ Было: мужчин

⁹ Далее было: и женщины и мужчины

¹⁰ Далее было: всего

¹¹ тайному вписано.

переулкам¹², вооруженные бомбами и адскими машинами, собирались к подъезду высокопоставленного лица. Двое были схвачены у самой двери, через которую должен был, по их предположению, выйти обреченный на смерть сановник. Они не знали, что уже преданы они шпионом, сумевшим войти в их тесную среду, что уже несколько дней¹³ по пятам преследовали их бессонные¹⁴ сыщики и петлю держали в руках.

Не знали они и того, заглядывая в зеркальные стекла подъезда,¹⁵ что предупрежденный сановник еще накануне¹⁶ выехал из своего дома¹⁷ и тихо сидел в чьем-то чужом дворце, бледнел от ужаса и прикладывал опухшую, налитую водой руку к тому месту мундира, где бестолково прыгало и металось взволнованное сердце. У него было что-то с почками и при каждом сильном волнении наливались водой и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще выше, *(л. 2 (б))* толще и массивнее.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись,¹⁸ улыбались и негодовали, он чувствовал себя бодро, сам шутил и громко смеялся. Но люди разъ(ехались), *{(л. 2*)}*¹⁹ огни погасли, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет²⁰ электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в

¹² *Вместо:* с разных сторон, по большим улицам и переулкам – *было:* из разных концов города

¹³ *Далее было начато:* пре(следовали)

¹⁴ бессонные *вписано (правка внутри раннего слоя).*

¹⁵ *Вместо:* Они не знали, что уже преданы они шпионом, ~ что уже несколько дней по пятам преследовали их, – *было:* а. Они не знали, что уже несколько дней по пятам преследовали их, б. Они не знали, что их [выдали] предали и уже несколько дней по пятам преследовали их (*правка внутри раннего слоя*).

¹⁶ *Далее было:* ночью (*незаверш. правка раннего слоя, см. след. примеч.*).

¹⁷ *Текст:* Они не знали, что уже преданы ~ выехал из своего дома – *вписан на л. (4 об.) напротив соответствующего изменяемого текста. Последний зачеркнут лишь частично.*

¹⁸ *Далее было начато:* шу(тили)

¹⁹ *Здесь и далее цифра со звездочкой означает авторскую нумерацию листов в ЧА2 (относящихся к РС2, где архивная нумерация отсутствует), на которых расположены фрагменты, присоединяемые к наст. тексту составителями в процессе реставрации ЧА1 (подробнее см. в комментариях, с. 584–585). Восстанавливаемый текст выделен в подобных случаях фигурными скобками.*

²⁰ *Далее было:* уличных(?)

тишине и одиночестве чужой²¹ спальни, сановнику стало невыносимо страшно.}

Он вспомнил все ужасные случаи, когда в людей его санов(ного) {л. 2*} и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное, раскинувшееся на постели тело²² казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами} вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, чтобы ничем не походить на покойника, и к слабому звону пружин, стонавших под его тяжелым²³ телом, примешивался его густой, отрывистый, задышающийся шепот:

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь, и так своевременно, так ловко предуп(редили) {л. 3*} убийство. Но шевелясь, но хваля, но улыбаясь²⁴ насильственной кривой усмешкой²⁵, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, – он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит, и не уходит – не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.} [...] ²⁶

{л. <<3>) (7)} Как ему сообщили, убить его должны были около часу дня, когда он садился бы в карету, чтобы ехать с докладом. И он ясно, с ужасающей яркостью представлял себе, как завтра {л. 4*} утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу,²⁷ ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что

²¹ чужой *вписано*.

²² тучное, раскинувшееся на постели тело – в ЧА2 *исправлено на*: тучное большое тело, раскинувшееся на кровати,

²³ *Далее было*: , ворочающимся (зачеркнуто простым карандашом, возможно, позднейшая правка).

²⁴ В ЧА2 *исправлено на*: усмехаясь

²⁵ В ЧА2 *исправлено на*: улыбкой

²⁶ *Здесь и далее многоточием в квадратных скобках отмечаются обрывы текста в реставрируемой редакции.*

²⁷ *Далее было*: не знали бы

совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную²⁸ дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь – открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.}

– Не знают.

И вдруг торопливо, беспокойными движениями опухших пальцев <л. 4 (8)> Дмитрий Александрович пустил свет, быстро встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру, закружился по незнакомой спальне, выискивая близорукими глазами новых рожков от электрических ламп. Нашел и зажег все, сколько было – как будто яркая мысль, вдруг озарившая его голову, требовала и яркого света вокруг себя.

В ночном белье, со взлохматившейся от беспокойных движений бороною, с сердитыми запухшими<так!> глазами сановник²⁹ был похож на всякого другого сердитого старика, который проснулся среди ночи; и все великолепие и пышность обстановки, с которыми он сливался так плотно днем, вдруг отделились от него, потеряв всю свою внушительность и значение. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер подбородок рукою и внимательно, со спокойной и глубокой задумчивостью, уставился глазами в лепной, незнакомый потолок. [...]

{<л. 6*> и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну а потом, конечно, эта смерть – но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: “В час дня, ваше превосходительство!”}

<л.<5>> (9)> И снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что окружало его, но все еще не гася лишнего света, режущего глаза, он радостно думал о блаженстве неве-

²⁸ стеклянную вписано.

²⁹ Было: Дим(итрий Александрович?)

дения. Ничему живому, ни зверю, ни человеку, не дано знать дня и часа своей смерти. Не знает его больной как они³⁰, потому что надеется; не знает его даже самоубийца, ибо в последнюю минуту может раздумать; не знает его солдат, идущий на штурм, моряк, готовящийся взорвать свой корабль, ибо в последнее³¹ мгновение что-нибудь может измениться. “В час дня, ваше превосходительство”, – сказали ему эти любезные дураки, и хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Очень возможно, что его когда-нибудь и убьют, но завтра этого не будет и, как умный человек, и сегодня и завтра он может спать спокойно. Дураки, они не знали, какой великий закон *⟨л. 6 (10)⟩* они свернули с места, какую дыру открыли, когда говорили мне с идиотской любезностью: в час дня, ваше превосходительство. Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда.

Так думал он с хмурой улыбкой на толстых губах и шурил презрительно умные, сердитые глаза, но огня не гасил и в постель не ложился. Только тень знания о том, чего не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, но и ее было достаточно, чтобы навеять на человека непроглядную тьму ужаса. Неосторожно разбуженный, страх смерти расплывался по телу, принимал смутные и неожиданные образы³², внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он – удара, или разрыва сердца или еще какой-то внезапной смерти. И страшною казалась *⟨короткая, толстая шея, и невыносимо⟩* *{⟨л. 8*⟩* было смотреть на заплывшие короткие пальцы, почувствовать, как они коротки, как они полны смертельной водой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.} И внезапно из комнаты его превосходительства затрещал *⟨л. 7 (11)⟩* прерывистый, задыхающийся звонок. Забегали люди. Там и здесь в люстрах и по(?)

³⁰ Так в рукописи; как они вписано.

³¹ В рукописи: последнюю (незаверш. правка).

³² Вместо: смутные и неожиданные образы – было: смутный и неожиданный образ

стене вспыхнули отдельные лампочки, плодя больше теней, чем света, и придавая залам незнакомый потревоженный вид. Но тихий свет уличного фонаря ушел назад на улицу.

Потом что-то громко говорил густой и(?) дрожащий голос. Потом телефонировали доктору: его превосходительству было дурно.

II

Это происходило в то тяжелое и страшное время, когда как бы пошатнулись разум и совесть части человечества. В мутное, как всегда, но спокойное русло жизни вливались отовсюду ярко красные ручейки человеческой крови. Каждый день в разных концах страны совершались убийства: и в городе, и в деревнях, и на дороге; и каждый день в разных концах страны³³ люди веревкою давили других людей, называя это смертною казнью через повешение. Убийство и казнь стали необходимою и естественною приправою каждого дня, придавая ему горький и ядовитый вкус, но общего вида жизни это не меняло совсем. И не то было страшно, что каждый день умирало на несколько человек больше противу обычных десятков тысяч смертей, но то, что и убийство и казнь³⁴ стали в глазах людей как бы естественною смертью, о которой говорят только тогда, когда захватывает она близких.³⁵ [...]

⟨л. 8 (13)⟩ Сергей Головин, один из назвавших себя, молодой, белокурый, голубоглазый и такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой наивности с его глаз, все время пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и внимательно ⟨л. 9 (14)⟩ неотступно смотрел в окно.

{⟨л. 11*⟩ Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу,³⁶ ясный, теплый солнечный день или даже один толь-

³³ Было: земли

³⁴ Было: смерть

³⁵ II // Это происходило в то тяжелое ~ она близких. – в ЧА2 (РС2) заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты чернового автографа...” (далее – “Варианты”), гл. 2, стк. 1–29). В РС1 представлен фрагмент этого текста, который в целом повторен в РС2: ⟨л. 8 (12)⟩ 2. К смертной казни через повешение. // Террористов судили в той же самой тюрьме, куда их заключили после ареста, судили глухо и быстро, как полагалось в то [тяжелое] беспощадное и страшное время. [...]

³⁶ Далее было: час(?)

ко час, но такой весенний, такой жадно-молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не противравшееся окно было видно³⁷ очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо,³⁸ пощипывал бородку, шурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, – но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску³⁹ щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побе(левших)} [...]

{л. 10 (15)} старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что этот кусочек неба был самым красивым во всем этом⁴⁰ казенном грязном зале и ничего не выпытывал у ее глаз. Была она чрезвычайно, до прозрачности бледна и на⁴¹ черном фоне двери профиль ее казался вырезанным из белой полупрозрачной бумаги, на которой углем провели⁴² полоску бровей и густо затемнили впадину глаз. Сидела она, почти не шевелясь и только изредка незаметным движением тонких пальцев ошупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. Сергея Головина судьбы жалели, ее же ненавидели.

{л. 12*} Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен⁴³, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Марио⁴⁴. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный

³⁷ *Вместо:* было видно – было. а. было видно небо б. глядело небо

³⁸ глядел в небо, *вписано.*

³⁹ *Далее было:* его(?)

⁴⁰ *этом зачеркнуто синим карандашом (возможно, позднейшая правка).*

⁴¹ *Далее было начато:* фо(не)

⁴² *Далее было начато:* дв(е?)

⁴³ *Вместо:* между колен – было: на коленях

⁴⁴ *В ЧА2 исправлено на:* Вернер

пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Лицо у него было тонкое, хрупкое, аристократичное,⁴⁵ разительным казалось отсутствие на нем определенного выражения.⁴⁶ Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою *⟨л. [12]⁴⁷13*⟩* давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем, – так чуждо было платью человеку. И хотя⁴⁸ у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Марио⁴⁹ только черный⁵⁰ револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито. Следующий за ним, Василий Попов⁵¹, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд⁵², он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубашка. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз

⁴⁵ *Далее было* · на нем

⁴⁶ Лицо у него ~ выражения – *позднее* (в ЧА2) *зачеркнуто*.

⁴⁷ *Здесь и далее в квадратных скобках даются исправленные (зачеркнутые) номера листов в РС2, которые указывают на их местоположение в ранней рукописи (ЧА1).*

⁴⁸ Было хотя он

⁴⁹ В ЧА2 исправлено на: Вернера

⁵⁰ *Далее было* · изящный

⁵¹ В ЧА2 исправлено на: Каширин

⁵² Было · казнь

или два Марио⁵³ тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

⟨л. [13] 14*⟩ – Ничего.

Самое страшное было для него, когда ему вдруг хотелось⁵⁴ кричать – без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Марио⁵⁵, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Марио смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное, сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

– Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, – думала она про Головина.

– Милая, колечко на пальце надето. А какая красавица, какая умница, и какая гордая! – думала она про Марусю. Про Марио она уже не думала совсем, и только тихо, серьезно и глубоко вздыхала.⁵⁶

– А Вася? Что же это, Боже мой, Боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?

⟨л. [14] 15*⟩ И, как тихий пруд на заре, отражающий⁵⁷ каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех, четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем – была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встретила⁵⁸ полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

⁵³ В ЧА2 исправлено на: Вернер

⁵⁴ когда ему вдруг хотелось – в ЧА2 исправлено на: являлось вдруг нестерпимое желание

⁵⁵ В ЧА2 исправлено на: Вернеру

⁵⁶ – Милая ~ глубоко вздыхала. – в ЧА2 зачеркнуто. В ЧА1 вместо: она уже не думала – было: она же не думала

⁵⁷ Далее было: небо

⁵⁸ Далее было: сыщиков

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а⁵⁹ замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раз два взглянул в окно – но там стояла уже холодная ночная тьма; и⁶⁰, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать⁶¹ судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, перевела глаза⁶² в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным дуновением⁶³ духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится скоро все, – сказал Марио⁶⁴.

– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто весело ответил Попов⁶⁵.

И действительно, лицо его⁶⁶ порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

⟨л. 14*⟩ – Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно обругался Головин.

– Гадины⁶⁷, – ответил Марио⁶⁸ спокойно.

– Завтра⁶⁹ будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

⁵⁹ Далее было сразу

⁶⁰ Далее было начато: рассеянно

⁶¹ Далее было: публику

⁶² перевела глаза – в ЧА2 исправлено на: спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их

⁶³ дуновением – в ЧА2 исправлено на: напором

⁶⁴ В ЧА2 исправлено на: Вернер

⁶⁵ В ЧА2 исправлено на: Каширин

⁶⁶ Далее было: слегка

⁶⁷ Гадины – в ЧА2 исправлено на: Так и нужно было ожидать

⁶⁸ В ЧА2 исправлено на: Вернер

⁶⁹ Далее было: приговор войдет

За две недели⁷¹ перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был работником⁷² на ферме у зажиточного крестьянина⁷³ и ничем особенным не отличался от других таких же Янсонов и Веберов⁷⁴. Родом он был латыш⁷⁵, из Вредена⁷⁶, и постепенно, переходя из одной фермы в другую, в течение нескольких лет, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, так же как и по-немецки, а так как хозяин его был русский,⁷⁷ и латышей⁷⁸ поблизости не было, то почти все два года Янсон и(?) молчал. По-видимому, и вообще он был склонен к молчанию⁷⁹, и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадей, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь } [...]

⟨IV⟩

{⟨л. 27*⟩ ⟨Взгляд у него был⟩ до жуткости прямой, но(?) короткий, быстрый и(?) полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то } [...]

{⟨л. 34*⟩ – Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

– А то он у вас тут все мыло поел, – указал Цыганок на надзирателя, – ишь как рожа-то лоснится.

– Молчать!

– Уж не пожалейте!

⁷⁰ В ЧА2 исправлено на: 3. Меня не нада вешать

⁷¹ Вместо: За две недели – было: а. За неделю б. За 2 недели

⁷² В ЧА2 исправлено на: батраком

⁷³ В ЧА2 исправлено на: фермера

⁷⁴ таких же Янсонов и Веберов – в ЧА2 исправлено на: таких же работников-бобылей

⁷⁵ В ЧА2 исправлено на: эстонец

⁷⁶ В ЧА2 исправлено на: Везенберга

⁷⁷ Далее в ЧА2 вписано: по фамилии Лазарев

⁷⁸ В ЧА2 исправлено на: эстонцев

⁷⁹ был склонен к молчанию – в ЧА2 исправлено на: не был склонен к разговорчивости

Цыганок захохотал. Но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

– Карету графа Бенгальского!

180

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день подтвержден. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как это делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видаться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали⁸¹ о суде и *⟨л. [27?] 35*⟩*⁸² казни; у Муси и М(арио)⁸³, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Попову, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь⁸⁴ был в ужасе – что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее – представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить – отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: “Здравствуй, отец”, – казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко

⁸⁰ В ЧА2 исправлено на: 5. Поцелуй – и молчи

⁸¹ знали вписано.

⁸² Далее в ЧА2 вписано: предстоящей

⁸³ В ЧА2 исправлено на: Вернера

⁸⁴ теперь вписано

и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал⁸⁵ полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водой. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

(л. [28?] 36*) Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник⁸⁶ в отставке,⁸⁷ был он весь белый⁸⁸, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнувший бензином, с новенькими поперечными погонями; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул руку⁸⁹ и громко сказал:

– Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

– Здравствуй, Сереженька!

Даже не поцеловала!.. Сергей не знал, что полковник целую ночь, затворившись в кабинете, с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал, каждую фразу, которую нужно сказать, движение, которое нужно сделать. Несколько раз не выдерживал и горько, трясаясь всем телом, плакал в углу клеенчатого холодного дивана. К утру решительно и строго объявил матери, как она должна держать себя на свидании.

Сели. Полковник остался стоять, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко взгляд матери и вскочил.⁹⁰

– Посиди, Сереженька, – попросила мать.

– Сядь, Сергей, – подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

– Как мы хлопотали за тебя, Сереженька. Отец...⁹¹

– Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

⁸⁵ Далее было: грудь

⁸⁶ Было: подполковник

⁸⁷ Далее позднее (ЧА2) было вписано: Николай Сергеевич Головин

⁸⁸ весь белый – в ЧА2 исправлено на: весь ровно белый

⁸⁹ Протянул руку – в ЧА2 исправлено на: Протянул белую сухую руку

⁹⁰ Даже не поцеловала! ~ и вскочил. – в ЧА2 зачеркнуто и заменено текстом, близким к ОТ (см. “Варианты”, гл. 5, стк. 51–79).

⁹¹ Отец... – позднее (в ЧА2) зачеркнуто.

⟨л. [29?] 37*⟩ – Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть.⁹²

– А как сестра? – спросил Сергей⁹³. – Здорова?

– Она⁹⁴ ничего не знает, – поспешно ответила мать. Но полковник строго остановил ее:

– Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали и...

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

– Се... Сер... Се... Се... – повторяла она, не сдвигая губ. – Се...

– Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясаясь, каждой складкой своего сюртука, каждую морщинку лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

– Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

– Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми ⟨л. [30?] 38*⟩ губами:

– Когда?

– Завтра утром, – такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

– Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

– Поцелуй ее от меня, – сказал Сергей.

⁹² Далее позднее (ЧА2) было вписано: Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: “Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть”. И вдруг спросил: (ОТ, гл. 5, стк. 90–93).

⁹³ спросил Сергей – в ЧА2 зачеркнуто.

⁹⁴ В ЧА2 исправлено на: Ниночка

– Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

– Какие Хвостовы? Ах да!

Полковник перебил:

– Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

– Простись! – приказал полковник. – Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головой и твердила бессмысленно:

– Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

– Прощай, Сергей! – сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

– Ты... – начал Сергей.

– Ну? – отрывисто спросил отец.

– Нет, не так. Нет, нет. Как же потом я скажу? – твердила мать, покачивая головой. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась.

– Ты... – опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи *⟨л. [31?] 39*⟩* сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же налитыми⁹⁵ глазами, и его предостерегающий кивок в сторону матери.

– Прощай – еще раз громко сказал отец, а шепотом добавил: – до свидания.⁹⁶

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили – и вдруг ушли. Вот здесь⁹⁷ сидела мать, вот здесь стоял отец – и вдруг, как-то, ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом ослабел⁹⁸ от слез и крепко уснул.

К Василию Попову⁹⁹ пришла только мать – отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху,¹⁰⁰ шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

⁹⁵ налитыми в ЧА2 зачеркнуто.

⁹⁶ и его предостерегающий кивок ~ до свидания. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 5, стр. 146–163).

⁹⁷ Далее было начато: сто(яла)

⁹⁸ В ЧА2 исправлено на: устал

⁹⁹ В ЧА2 исправлено на: Каширину

¹⁰⁰ Далее было: ходя

– Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

– Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками платка¹⁰¹. И с привычкой, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

– Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

– Ну, ну, хорошо. Что тебе – холодно?

– Холодно... – отрезал Василий и опять зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

– Может, простудился?

⟨л. [32?] 40*⟩ – Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...¹⁰²
И безнадежно махнул рукою.¹⁰³

– Говорила я ему: ведь сын ведь, пойдя, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

– Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

– Васенька, это про отца-то! – Старуха вся укоризненно вытянулась.

– Про отца.

– Про родного отца!

– Какой он мне родной отец.

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут выросло что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача – от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико тарщило свои маленькие глупые глаза, – Василий закричал:

– Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

– А ты бы не трогал людей, тебя бы... – кричала старуха.

– Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает.

Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и проти-

¹⁰¹ кончиками платка – позднее (в ЧН2) заменено на: кончиками черного шерстяного платка

¹⁰² Далее было (с абзаца): Старуха опять заплакала

¹⁰³ Далее позднее (в ЧН2) вписано: Старуха хотела сказать: “А наш-то с понедельника велел блины ставить”, – но испугалась и заголосила:

вопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами безнадежного одиночества. Мать сказала:

– Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни} *л. [33] 41 (22)* совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша¹⁰⁴. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, не видела дороги. И чем дальше отходила она¹⁰⁵ от тюрьмы, тем горячее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом вернулась, потом заблудилась дико в городе, в котором родилась и выросла, и состарилась. Присела в каком-то бульварике на мокрой оттаявшей лавочке и вдруг поняла: его¹⁰⁶ завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела куда-то бежать, но вдруг сильно закружилась голова и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на коленях и снова падала. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос; и почему-то¹⁰⁷ ей все¹⁰⁸ чудилось, что она на свадьбе: женят сына и она выпила сильно вина¹⁰⁹ и захмелела.

– Не могу! Ей-же богу, не могу! – отказывалась она и ползла по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили, и уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, а ей все лили вино – все лили и все лили.

VI¹¹⁰ {1}

Вернер совершил открытие – за несколько часов перед своею смертью.

Вернер был действительно храбрый человек, и как есть люди, *л. 34 (17)* которые совсем не знают головной боли, так совсем не знал и он, что такое страх во всех его многообразных проявлениях. Он был способен к сильной любви, он¹¹¹ мог долго, годами, всю

¹⁰⁴ мамаша *вписано*.

¹⁰⁵ она *вписано*.

¹⁰⁶ его *вписано*.

¹⁰⁷ *Далее было: мгновениями*

¹⁰⁸ все *вписано*.

¹⁰⁹ вина *вписано*.

¹¹⁰ *В рукописи описка: V*

¹¹¹ он *вписано*.

жизнь ненавидеть, умел радоваться, умел и тосковать, но страха он не знал, тут как бы находился предел его чувствительности. Там, где люди начинали бояться, он испытывал только сильное раздражение, иногда доходившее до гнева и неизменно толкавшее его к действию. Он часто видел людей, которыми владеет страх, и снисходительно жалел их, как человек, никогда не знавший болезни, жалеет больного; даже старался помочь.

И к казни он относился особенно. Уже несколько человек, близких ему, погибли на виселице и под расстрелом; погибла на виселице и жена его; и каждая такая смерть будила в нем новую жажду мести, укрепляла ненависть и делала ее беспощадной, гасила в душе свет – но несправедливостью казнь не казалась ему. Самое трудное, с чем вначале долго пришлось ему бороться,¹¹² это было преступить закон: не убий – а раз он признал убийство, то должен был признать и казнь. Разница только в подробностях, а сущность одна – думал он, провожая товарищей на смерть и для себя, рано или поздно, ожидая такой же участи. И некоторые другие из товарищей его, хотя менее последовательно, чем (он), но думали так же; и даже предпочитали вместо слова “убийство” произносить слово “казнь”, думая, что так выходит лучше.¹¹³

И когда его приговорили к смертной казни через повешение, он встретил это без страха и даже почти без огорчения. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, общением с (л. 35 (18)) людьми; зарывался в книги. Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было; и тоска по умершей. Тот враг, с которым он тщетно боролся, не был благородным врагом, умеющим внушить, даже поражая, уважение к себе; это была неразрывная сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Единственное убийство, которое он совершил, правда, твердою рукою, – было убийство провокатора, искусного и бесстыдного лжеца;¹¹⁴ и это было грязно. Очень возможно, что Вернер сам искал смерти – было что-то в глубине темных глаз его тяжелое и жуткое.

Во всяком случае казнь он решил встретить, как что-то постороннее, и до конца остаться самим собою – единственная гордость и утешение для тех, над кем царят чуждые и враждебные силы.

¹¹² *Далее было начато:* б(ыло)

¹¹³ *Далее было:* О том, что

¹¹⁴ *Далее было:* и не давало оно удовлетворения.

На суде – и этому едва ли¹¹⁵ поверили бы¹¹⁶ даже товарищи¹¹⁷, хорошо знавшие его бесстрашие, – он думал не ⟨о⟩ смерти, не о жизни, не о том, что происходит – он обдумывал новый, очень сложный химический закон, который он, казалось ему, открыл. И хотя это было совершенно бесцельно и незавершенное открытие должно было остаться в голове его и вместе с ним уйти в смерть, – он черпал радость в самом процессе искания и мышления. Жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет – только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. Васю Попова и других он жалел, за их молодость, за их гибнущие надежды, жалел как цветы, которые сейчас растопчет грязная и тяжелая нога, но это была холодная, официальная жалость, которой, вероятно, не чужды были и некоторые из судей.

⟨л. 36 (19)⟩ И после приговора, как будто присуждение к смертной казни через повешение ничего решительно не изменило и не могло изменить, он спокойно начал продолжать свою многодневную прогулку по камере, во время которой размышлял¹¹⁸. Походка у него была несколько особенная: он¹¹⁹ несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками – даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и ясный след. Почти все время он насвистывал несложную итальянскую арийку, тихо, одним дыханием¹²⁰ и, изредка, остановившись, быстро чертил¹²¹ пальцем в воздухе химические формулы. И весь воздух вокруг него, мертвый и затхлый, был полон этих живых невидимых значков.

Но, обдумывая, он с неудовольствием заметил в себе какое-то новое, неприятное чувство. Казалось почему-то, что он делает не то, что надо – и отливая совершенно новое и¹²² незнакомое чувство в старые и привычные формы, он стал искать ошибки в своих вычислениях. Правда, маленькая ошибка нашлась, и он ее исправил – но чувство не уходило, становилось все более настойчивым и властным, мешало работать. И тогда, уже с удивлением, он понял, что уже давно думает о смерти, и от этого ошибка в

¹¹⁵ Далее было: бы

¹¹⁶ бы вписано.

¹¹⁷ Далее было: его

¹¹⁸ Было: обдумывал

¹¹⁹ Далее было: крепко и четко

¹²⁰ Вместо: одним дыханием – было: одними губами

¹²¹ Далее было: в

¹²² Далее было: чужое

вычислениях, и от этого незнакомое гнетущее чувство. О том, что это может быть страх, ему¹²³ в голову не пришло.

– Так, так. Смерть. Но почему же я о ней думаю?

И все еще уверенный, что он может думать и не о смерти, с дерзостью человека, который не только не избегает бездн, но любит заглядывать в них, он с улыбкою решил:

– Ну что же – смерть так смерть. Будем¹²⁴ размышлять *(л. 37 (20))* о ней¹²⁵: это даже приличнее в моем положении. Как никак, а ведь послезавтра утром я умру. Именно так: послезавтра утром. Умру. Послезавтра утром. Умру.

Какая-то загадка была в сопоставлении этих слов: “послезавтра утром” и “умру”, и бесконечно повторяя их, сдвигая и раздвигая, накрывая одно другим, Вернер пытливо искал вывода. Вывод какой-то существовал и вывод неожиданный, изумительный –¹²⁶ он чувствовал это по холодности своих пальцев, по тому необыкновенному волнению, которое охватило его. Все напряглось в нем; казалось, он мыслил не только мозгом, но всем телом своим – так красноречив, так громогласен был его бессловесный язык. Но вывод не давался.

Ночь Вернер спал беспокойно. Сквозь пелену сна, сквозь сонную оцепенелость тела прорывались яркие лучи мысли, гасли внезапно, переплетались; что-то становилось ясно, что-то терялось вдруг – и вдруг мучительная кошмарная путаница образов, сонная тоска от бесплодности поисков.

Утром Вернер продолжал работу с того же места, с какого безуспешно пытался сдвинуться вчера. И чтобы яснее для себя запечатлеть отправной пункт, произнес громко вслух:

– Послезавтра утром. Умру.

И немедленно с гримасой поправился:

– Нет, не послезавтра, а завтра... Ведь день прошел. Значит так: завтра утром – умру.

И остолбенел – так ослепительно ярко, так мистически грозен был свет, внезапно озаривший его всегда трезвую, холодную голову. *(л. 38 (21))* И сложив руки у груди, как молящийся, он произнес с ужасом и тоскою:

– Боже мой! Боже мой! Что же это такое.

¹²³ *Далее было: и*

¹²⁴ *Далее было начато: дум(ать)*

¹²⁵ *о ней вписано*

¹²⁶ *Далее было: об этом как-то странно и легко(?) свидетельствовал он сам*

Губы его побелели. Их побелил ужас, впервые коснувшийся его сердца холодными, цепкими пальцами – ужас перед познанием того, что не дано знать ни одному в мире живому существу: ни птице, ни зверю, ни человеку.

VI (2)

– Ведь это закон. Поймите, люди, что это закон: человек не должен знать дня и часа своей смерти. Что такое жизнь? Великая загадка и тайна. Что такое смерть? Великая загадка и тайна. Почему жизнь тайна? Потому что есть смерть. Почему смерть тайна? Потому что есть жизнь. Мертвец был бы понятен и прост, если бы рядом не было живого. Живой был бы понятен и прост, если бы рядом не было мертвеца. Вдвоем, сближаясь, они великое противоречие мира, они тот Ужас, который стоит над человечеством.

– Положите мертвеца на одно ложе с живым; скуйте их цепями,¹²⁷ обратите их лицом друг к другу, уста в уста, глаза в глаза – вы понимаете, что это будет?

– Люди, вы сделали это со мною, осудив меня на казнь.

– Мне страшно. Мне, Вернеру, страшно. Но разве я боялся когда-нибудь смерти? Нет. Я думал так: пока я живой, я буду делать все, что делают живые; когда умру – буду делать все, что делают мертвые. Разве это не правда? Поэтому я так свободно,¹²⁸ л. 39 (28) так спокойно шел на смерть. И смерти я не боюсь, нет.

– Чего же я боюсь?

– У мозга есть законы, по которым он мыслит. И он не может мыслить противоречия. Мой, Вернера, человеческий мозг не может мыслить противоречия. [...]

л. 39* (27)

VI (3)

То, что привело в гневный ужас сановника, которому сказали лишь предположительно: в час дня, ваше превосходительство; то, что наполнило безмерным страхом, раздавило, расплющило жалкий мозг полудикаря Янсона и повергло его в дикое изумление – то в Вернере, бесстрашном человеке, свободном мыслителе, умеющем заглядывать в бездны, вызвало новый, неведомый, мистический Ужас. Это было непередаваемо мучительное содрогание мозга, как бы подвергнутого влиянию сильнейшего электрического тока, это была боль человеческой¹²⁹ мысли, постав-

¹²⁷ *Далее было начато: заставь(те)*

¹²⁸ *V // Вернер совершил открытие ~ я так свободно, – позднее зачеркнуто.*

¹²⁹ *человеческой вписано.*

ленной перед лицом неразрешимо(го), плоского, как стена, глухого, как стена, безнадежного, как стена, противоречия.

И в то время, как на краю бездны, под ледяным дыханием ее, прощались с любящими Головин и Василий Попов – в это время одинокий человек, заключенный в каменный куб, в крохотный каменный ящик, заглянул в самую глубину черной бездны и познал ужас ужаса.

Не смерти испугался Вернер. Он всегда был готов к ней, последнее время даже часто мечтал о смерти то как человек усталый об отдыхе¹³⁰, то как мыслитель, который с интересом готов отдать себя новому неведомому состоянию. Если жизнь не дает разгадки смерти, то, быть может, смерть даст разгадку жизни, – думал иногда Вернер, с острым, немного преступным для дела любопытством поглядывая на готовую, более спокойную и такую тихую *〈так!〉*. И хотя до фамильярничанья со смертью, как некоторые его¹³¹ более молодые товарищи, не доходил никогда, но и страха ее не признавал. Смерть естественна, – думал он, бессознательно *〈л. 40 (29)〉* влагая в это слово какое-то оправдание, как делают это люди такого же, как он, позитивного¹³² склада мысли.

И убийство он признавал смертью естественною. Или жизнь неприкосновенна, как говорят мистики-идеалисты, и тогда нет разницы между жизнью человека и жизнью растения, вши, клопа, и тогда нельзя убивать никого, – а если можно убивать клопа, то можно убивать и человека. И так как во всем мире, где есть жизнь¹³³ и борьба, где есть¹³⁴ слабые и сильные, полезные и вредные, плохие и хорошие, угнетатели и угнетаемые, – царит и убийство, то нет основания не быть ему среди людей. Поэтому война – убийственная борьба народов с народами, поэтому революция – борьба угнетенных с угнетателями, поэтому и террор – партизанская война одиночек. Естественна же смерть через убийство потому, что в ней нет никакой разницы со смертью через болезнь или катастрофу, или голод, или укушение змеи. Так же неожиданно приходит она, так же неожиданно поражает, так же ее нельзя предугадать. Подобно убийству, естественно и самоубийство: хотя здесь убийца и убиваемый сливаются в одном лице, но между ними есть третье: воля убийцы и случайности,

¹³⁰ об отдыхе *вписано. Позднее зачеркнуто тонким простым карандашом.*

¹³¹ *Далее было начато: т(оварищи)*

¹³² *Далее было: ума.*

¹³³ *Далее было: , существует*

¹³⁴ *Вместо: где есть – было: существуют*

которые до конца оставляют за смертью характер той же неожиданности и непредугадываемости.

Это была мрачная и суровая теория, создавшаяся в тяжелой атмосфере мучительной и неравной борьбы, теория, на которую противник отвечал тем же: за смерть платил смертью.

⟨л. (25)⟩

VI (4)

По требованию Вернера, заявившего, что он имеет дать очень важные письменные показания, ему были предоставлены письменные принадлежности, и вот что в промежутке между одиннадцатью утра и восемь вечера, накануне своей казни написал¹³⁵ осужденный. В тот же вечер бумага была рассмотрена, но за отсутствием в ней новых фактических данных, была оставлена без последствий и приобщена к делу.

Протест.

Я, неизвестный по прозвищу Вернер,¹³⁶ приговоренный к смерти через повешение – во имя разума и человечества протестую против смертной казни, как против чудовищного и безумного нарушения основных законов бытия.

Я действительно¹³⁷ хотел убить NN и если бы не предательство известного вам лица, исполнил бы это. Если бы меня помиловали – или мне удалось бы бежать – или я воскрес бы от смерти через повешение – я снова употребил бы все меры к тому, чтобы убить NN и всех других, коих я и товарищи мои считают вредными. И за вами, которые называют себя моими судьями и которых я, с большим уважением к вам, называю моими врагами, я признаю полное право убить меня и моих товарищей. Но убить, а не казнить, ибо между убийством и казнью я, Вернер, нашел такую же пропасть, как между разумом и безумием, ⟨л. 41 (30)⟩ уничтожением единой черепицы на крыше, или тех подпор и оснований, на которых держится само здание жизни.

Когда-то я, еще не называвшийся Вернером, признавал жизнь человека неприкосновенною. Но тяжелый опыт,¹³⁸ наблюдения и размышления над жизнью привели меня к другому взгляду. [...]¹³⁹

¹³⁵ Далее было: заключенн(ый)

¹³⁶ Далее было: действительно намеревавшийся убить NN и исполнивший бы это, если бы не случайные обстоятельства,

¹³⁷ Далее было: убил NN

¹³⁸ Было: и

¹³⁹ Далее в рукописи отступ приблизительно в одну треть листа.

Поэтому, будучи последовательным, я признаю в известных случаях войну, эту убийственную и кровавую борьбу народов с народами; поэтому я признаю революцию, борьбу угнетаемых с угнетателями; поэтому я сам – член сообщества, поставившего себе целью убийство отдельных людей, которых считаю вредными. [...]

〈VII〉

{〈л. [442] 44*〉 〈Рукава〉 халата были ей¹⁴⁰ длинные, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые¹⁴¹ руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.}

〈л. (67)〉 Смерть Муся не понимала совсем, и как ни усердствовала, чтобы представить себе ее, никак сделать этого не могла. Она знала, что ее неизбежно казнят и никаких надежд не имела, очень ясно представляя себе палача, виселицу, то, как веревка стягивает ее горло и душит, но что *это* смерть, понять не могла. Минутами, при мысли, что *это* будет завтра на рассвете,¹⁴² она как будто начинала понимать, сердце начинало биться толчками, становилось беспомощно и страшно – но каждый раз что-то сильное и упругое, как пружина, отталкивало мысль о смерти.

Усердствовала же она потому, что ей хотелось еще больше страданий, еще больше ужаса и истязаний. Для нее ступени эшафота были как лестница на небо, которую видел во сне Иаков, и чем больше страданий, тем выше становилась лестница, тем прекраснее раскрывалось небо. Уже не в жизни она была, а в смерти, в прекрасной, как сад из белых роз, благоуханной¹⁴³ смерти – и это делало ее нечувствительной к страху, родило в ней тихое умиление и восторг.

Ее умиляло все: и торжественно-немая тишина, ловящая ее дыхание, и уныло-торжественный звон часов, так отличный от всего, что бывает в обыкновенной жизни, и самый большой, не по

¹⁴⁰ ей вписано.

¹⁴¹ исхудалые вписано.

¹⁴² Далее было: сердце

¹⁴³ благоуханной вписано.

росту, арестантский халат,¹⁴⁴ грубую¹⁴⁵ ткань которого хотелось поцеловать.

⟨л. 45 (68)⟩ Ни на мгновение она не сомневалась, что то, что она делала и намеревалась сделать, вполне согласуется с желаниями всех добрых и честных людей, которые так же, как и она, верят в самое близкое, самое неотложное наступление новой жизни. И она чувствовала, что сейчас все добрые и честные люди думают о ней, жалеют ее, любят ее, и это было такое огромное и радостное чувство, что ради него только одного можно было пойти на пытку и костер.

– Боже мой, но ведь это же так легко! – говорила она стыдливо, оправдываясь. – Это же так легко. Это кажется только, что умирать страшно, а умирать вовсе не страшно, вовсе не страшно. И боли вовсе никакой нет, это только кажется, что боль есть, а боли никакой нет. Никакой!

Ничего острого в камере не было, и задумавшись на минуту, Муся пропустила руку под халат и крепко изо всей силы ущипнула себя за мякоть левой руки, выше локтя. И действительно, *никакой* боли не было. Было какое-то ощущение, какого-то крепкого и тупого сжатия, но находилось оно скорее в пальцах правой руки.

– Вот! – сказала Муся торжественно. – Я же говорю, что это пустяки!

Глаза ее, сильно окружившиеся и выросшие, блестели остро; на щеках горел темный румянец, и весь вид у нее был такой, как у человека во время сильного жара. Минутами и под коленями сильно ломило, как бы от чрезмерной усталости, но это могло быть оттого, что уже около десяти часов она непрерывно шагала.

– И что такое смерть? – рассуждала Муся, поднимая удивленно тонкие изогнутые брови. – Какой-то скелет с косою!

Она представила себе в углу скелет с косою, и рожа у него ⟨л. 46 (69)⟩ была глупая. Сдержала улыбку и деловито нахмурилась.

– Какой-то глупый скелет с косою.

Но рожа у скелета была такая растерянная, и ухмылялся он с таким глупым добродушием, что Муся не выдержала и рассмеялась.

– Вот Сережу мне жалко, и Васю мне жалко, они такие молоденькие – вдруг перескочила ее мысль, и глаза стали влажные. Но чего может Вася бояться? Смерти? – какие пустяки. Но чего

¹⁴⁴ *Далее было:* который

¹⁴⁵ *Было начато:* х(отелось)

же он боится? Чего он боится? Ах, Боже мой – но чего же он боится?

И она вспомнила, как утром 20-го, во¹⁴⁶ вторник, они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих. У Тани Ковальчук дрожали руки от волнения, и ее пришлось отстранить, а Василий был так весел и неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

– Не нужно фамилиарничать со смертью.

– А если мне весело? – сказал Василий, комически широко расставляя руки, как у портного во время примерки.

– Ну и пусть будет весело, – зря умирать все-таки не стоит.

Зря? Но разве теперь они умирают не зря – ведь покушение не удалось?

Муся так взволновалась при этой мысли, что даже шея у нее покраснела.

– Конечно, не зря. Это совсем не важно, убили мы кого-нибудь или нет. Вернер умный, но этого не понимает. Он точно в шахматы свои играет и думает, что если взять одну, другую фигуру у противника, то партия будет выиграна. Какие пустяки! Здесь важно, *(л. 47 (70))* что мы сами готовы умереть, вот. Показать, что всегда найдутся люди, которые ничего не побоятся, ничего, ни смерти, ничего. Ведь эти господа думают, что нет ничего страшнее смерти, какой вздор. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я наверно никого не убью. Это-то и важно, что я одна, а их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то значит победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик!

И мне жаль, что я так мало красива. Правда, он называл меня¹⁴⁷ красивой, но он меня любил, и об этом не надо думать, не надо! Лучше было бы, если бы я была первая красавица в мире, и самая умная, и самая замечательная, и все бы это отдать. А то что я отдаю? Мою жизнь? Скажите пожалуйста, как это важно: моя жизнь! Не хватает добавить, что я теперь больше никогда уже не буду танцевать.

Муся засмеялась. И вдруг ясно представила: музыка танца и она танцует в белом подвенечном платье. Но странно: как будто это не *(в)* прошлом, не в возможном, а именно сейчас, и то, что происходит сейчас, это и есть ее свадьба. Прислушалась: музыка играет, военный оркестр, даже слышны трубы. Прислушалась еще: нет, это на колокольне вызванивают часы.

¹⁴⁶ Было: они

¹⁴⁷ Далее было начато: хоро(шенькой?)

Не то кончили вызванивать часы, не то еще звонят – трудно разобрать. И не то есть тишина, не то все полно каких-то осторожных крадущихся звуков. Вдруг снова заиграла военная¹⁴⁸ музыка,¹⁴⁹ совсем близко и очень громко.

Уже и раньше в¹⁵⁰ своей немой одиночке Муся слыхала эту *(л. 48 (72))* призрачную музыку, но тогда ясно было, что это фантазирует по-своему обостренный тишиною слух, увеличивает самые незаметные звуки, как микрофон, и сплетает их в гармонию. Но сейчас звуки были так громки, так реальны и правдивы, что на мгновение Мусе стало неприятно.

– Галлюцинация! – подумала она.

Нет, это правда. Ясно слышно, как из-за угла здания¹⁵¹, справа выхо(дят) *{(л. 3* (2-я паг.)¹⁵²)}* солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! – слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе:¹⁵³ совершенно незнакомый, но очень громкий, и бодрый праздничный¹⁵⁴ марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед – Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка [...] }

(л. (71)) – Ушли! – думает Муся взволнованно и снова шагает. Но вдруг останавливается: из глубокой дали, из города, приносятся какие-то новые, загадочные и тревожные звуки. Окутанный дальностью, но огромный, *(л. 49 (73))* сложный шум, составленный из тысяч голосов¹⁵⁵, выкриков, обрывков песен и музыки, какого-то треска: что-то горит, что-то падает.

¹⁴⁸ военная *вписано*.

¹⁴⁹ *Далее было: уже*

¹⁵⁰ *Было начато: М(уся?)*

¹⁵¹ *Было: дома*

¹⁵² *В ЧА2 (относящейся к РС2) автором иногда используется не сквозная нумерация, а нумерация внутри каждой главы или соединяющая нескольких глав. Архивная нумерация в РС2 отсутствует.*

¹⁵³ *Далее было: какой-то*

¹⁵⁴ *праздничный вписано.*

¹⁵⁵ *Было начато: в(ыкриков)*

Глаза у Муси расширяются.

– Что это? Что это в городе? – шепчет она, и глядит¹⁵⁶ в темное окно.

То совсем затихает загадочный шум, то подкатывается к самым стенам, выбрасывает из себя отдельные громкие голоса. Несомненно, это движется бурно огромная стотысячная толпа – но куда? но зачем? Что это значит?

Стучает форточка в двери и все замолкает. Мусе подают ужин, видно в отверстии темное¹⁵⁷ усатое лицо. Преодолевая отвращение, Муся, сурово нахмурившись, спрашивает:

– Что это в городе, шум какой-то? Что-нибудь случилось?

Темное лицо удивлено и долго таращит на Мусю глаза. Исчезает.

– Показалось! – решает Муся и больше не хочет слушать. За чем-то¹⁵⁸ пытается есть. И опять, вкрадчиво, несмело заползают в ухо странные¹⁵⁹ звуки. Муся не хочет слушать – но так¹⁶⁰ красноречив язык призрачной толпы, так радостно и больно волнует ее этот сложный, напряженный и грозный шум, что Муся решает: буду слушать, как музыку. Не все ли равно?

Вызванивают часы.

И постепенно звуки обволакивают Мусю, всю окружают ее своей призрачной, волнующей атмосферой. Уже нельзя понять, где они, снаружи, или в камере, грезятся они, или действительно существуют. И когда вся толпа, с музыкой, со своею музыкою, выравнивается и стройно, мощно, медленно ползущей лавиной устремляется вперед – *(л. 50 (74))* Муся идет вместе с нею.

Уже вся она в этом ритмичном движении, в этих¹⁶¹ широких и мощных звуках, в безглагольности своей объемлющих всю душу и поднимающих ее на неведомую лучезарную высоту¹⁶². Только бы не сбиться с ноги, только бы не выронить из рук тяжелое знамя – и напряженно, мерно и точно отбивая шаг, движется она навстречу к восходящему солнцу. Но она не видит его: еще дальше, еще выше смотрят ее глаза, и немеющие руки крепко держат тяжелое знамя.

¹⁵⁶ *Вместо:* и глядит – *было:* глядя

¹⁵⁷ *Было:* темные

¹⁵⁸ *Далее было:* *(нрзб.)*

¹⁵⁹ *Далее было начато:* , загад(очные?)

¹⁶⁰ *Далее было начато:* ра(достно?)

¹⁶¹ *Далее было начато:* зву(ках)

¹⁶² *Вместо* на неведомую лучезарную высоту – *было:* на неведомые высоты

Раз-раз! Только бы не сбиться с ноги. Раз-раз! Только бы не выронить знамя!

Приложив руки к груди, колыхаясь ритмично, Муся меряет камеру точными и твердыми¹⁶³ шагами. Лицо ее застыло в огненной¹⁶⁴ неподвижности;¹⁶⁵ огромные, остановившиеся глаза не мигая смотрят сквозь стену.

В маленьком, темном отверстии двери вдруг показывается чей-то человеческий глаз. Неподвижный, до странности одинокий в плоскости¹⁶⁶ двери, он долго и тускло, без выражения, смотрит. И вдруг исчезает. [...]

⟨⟨л. 52⟩⟩

⟨VIII⟩

{⟨л. 5* (2-я паг.)⟩ О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый¹⁶⁷ юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело¹⁶⁸, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.}

⟨л. (75)⟩ Когда-то он участвовал в велосипедных гонках, и на короткие дистанции, где требовалась особенная быстрота, проигрывал; зато всегда приходил первым при расстоянии в 100–200 верст, и даже особенно утомлен не бывал. И из револьвера, как бывший офицер, стрелял прекрасно: в 20 шагах¹⁶⁹ без промаха попадал в визитную карточку. Был он неутомим в плаванье, в беге, в прыганье через канавы и до страсти любил собирать белые грибы. Тут даже характер его как будто менялся: он делался раздражительным, горячим, волновался и мучительно завидовал, когда другие собирали больше, чем он, готов был поганку выдать за белый гриб или заплакать от неудачи. Читал он немного, но

¹⁶³ Далее было: глазами (описка).

¹⁶⁴ Было: каменной

¹⁶⁵ Далее было начато: гла(за)

¹⁶⁶ Вместо: в плоскости – было: среди плоских

¹⁶⁷ Было: немного флегматичный

¹⁶⁸ все в жизни весело вписано.

¹⁶⁹ в 20 шагах вписано.

с необыкновенною серьезностью, и только то, где нет путающего мысли символа и особенной фантастики; поэтому даже Жюль Верном он не увлекался, хотя путешествия любил и гончаровский “Фрегат Паллада” знал почти наизусть.

Даже вступая в члены сообщества, существовавшего под знаком смерти, он не задумался о ней и по-прежнему был занят только тем, чтобы все делалось серьезно, весело и хорошо. И один из всех, вышедших в роковое утро из квартиры Тани Ковальчук, он раньше позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, (л. 53 (76)) и съел целую пятикопеечную булку.

И когда смерть открыто и нагло взглянула ему прямо в глаза своими пустыми и загадочными, как всякая пустота, глазами – он не сразу понял и не отвел своего взгляда. До приговора он размышлял о неудавшемся покушении, о партийных делах и изредка о том, как их будут судить; после приговора думал о свидании с отцом и матерью – и только во время свидания ощутил чувство какой-то огромной невознаградимой потери и столь же огромной, чудовищной бессмыслицы происходящего. И не в слезах, не в отчаянии стариков открыл ее – а в том, что отец вычистил свой сюртук бензином.

И проснувшись¹⁷⁰ в камере от короткого, но крепкого сна, он прежде всего, с ласкою, подумал об отцовском сюртуке и о том, что теперь, когда отец в отставке и не имеет денщика, он сам чистит платье бензином. Соображение было незначительное, пустячное – но вдруг от него сделалось так необыкновенно больно, так необыкновенно страшно, что как будто этот именно старый сюртучок и то, что нет денщика, и есть настоящая смерть, сама смерть.

– Вот оно! – подумал Сергей, вставая. – Вот оно!

Он имел еще силы спокойно и внимательно сосчитать бой часов: было всего только¹⁷¹ три часа. До казни оставалось приблизительно пятнадцать, шестнадцать часов. До казни – т. е. до того необыкновенного, дикого, непонятного мгновения, когда ему, Сергею, кто-то наденет петлю на шею, и он умрет. Умрет – т. е. уйдет куда-то из мира живых, и его больше не будет на земле, а все останется: и отцов сюртучок, и улицы, и даже вот эта царапинка ногтем на стекле. И отцов сюртучок еще будет пахнуть бензином в (л. 54 (78)) своем шкафу, когда его уже – не будет.

¹⁷⁰ Было: в

¹⁷¹ Далее было: два часа дня.

– Что же это такое? Что же это за бессмыслица? – сказал Сергей.

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Расставил руки, повертел головою – вертится. И это есть он, Сергей, и этого всего – не будет. И все сделалось странно.

{(ненум. л. *)¹⁷² Попробовал ходить по камере – странно, что ходит. Попробовал сидеть – странно, что сидит. Попробовал выпить воды – странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: “Как это странно, я кашляю”.

“Да что я, с ума, что ли, схожу! – подумал Сергей холодея. – Этого еще не доставало, чтобы черт их побрал!”

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая¹⁷³ всякого движения – ибо всякая мысль¹⁷⁴ было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и¹⁷⁵ земля, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все¹⁷⁶ до самого конца, до загадочного обрыва – смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственной¹⁷⁷ рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной, – но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на¹⁷⁸ неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом (ненум. л. *) языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: “мне страшно” звучали в нем только потому, что не было иного¹⁷⁹ слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разума, опыта и чувств, вдруг увидел¹⁸⁰

¹⁷² Ненумерованный лист (ряд листов в РС2 не имеют авторской нумерации)

¹⁷³ Далее было: как(ого-либо?)

¹⁷⁴ Далее было: , всякое

¹⁷⁵ Далее было: жизнь

¹⁷⁶ все вписано.

¹⁷⁷ Было: Чьей-то святотатственной

¹⁷⁸ Далее было начато: чуждо(м)

¹⁷⁹ иного вписано.

¹⁸⁰ Далее было начато: бо(га?)

самого Бога, – увидел и не понял бы, хотя бы и знал¹⁸¹, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.} [...]

⟨л. ⟨⟨55⟩⟩ (77)⟩ Вновь стали бить часы, и, напрягая все силы своего точно оглохшего внимания, Сергей стал считать – часы били четверть. Только четверть часа прошло, а видел он – вечность.

– Боже мой, что же это такое! – шептал он содрогаясь. Только пятнадцать минут!

Безумие тяжело наползало. И тогда он¹⁸² решил думать о живом. И пока думал о живом, все казалось правдою и все было понятно: и сестра Ниночка, и лес, в котором он так недавно еще ходил на лыжах, и отцов сюртук, пахнувший скипидаром – и все становилось безумием, как только приходила мысль о завтрашней смерти. Нельзя быть одновременно живым и мертвым, а он был одновременно и мертвым и живым, и Сергеем Головиным, и тем окостенелым некто, который лежит под землею в деревянном ящике.

И как Ивану Янсону, и как Мишке Цыганку – ему, Сергею Головину, разумному и твердому человеку – вдруг захотелось кричать. Не от ужаса – а в смутном сознании тела, что бессильно слово, что бессильна мысль, что в диком и необыкновенном крике, ⟨л. 56 (79)⟩ в каких-то особенных оттенках его звука, в¹⁸³ особенном напряжении груди и гортани сумеет выразить себя тот, кто в нем. Он, Сергей Головин, обыкновенно говорит человеческими словами, а этот, кто в нем, будет кричать, и его нужно было бы послушать. И кричать он будет так...

– Нет! Нет! Глупости! Не буду кричать.

А внутри:

– А-а-а-а-а-а-а...

– Нет! Нет.

А внутри.¹⁸⁴

– А-а-а-а-а-а-а...

И отделенный от Сергея Головина двумя пустыми и темными камерами,¹⁸⁵ в таком же полубезумии метался Василий Попов.

¹⁸¹ *Далее было:* бы

¹⁸² *Далее было начато:* ст⟨ал?⟩

¹⁸³ *Далее было:* том

¹⁸⁴ *А внутри:* вписано.

¹⁸⁵ *Далее было начато:* мет⟨ался?⟩

– Что это будет? Что это будет? – твердил он, лоя руками сердце в груди, потный, с прилипшей к телу мокрой рубашкой, (с) распутившимися, прежде курчавыми волосами.

О жизни он не думал. Она сразу отошла от него, отвалилась, как кусок льдины, оторванный и унесенный течением. И все, что оставалось у него: мысли и воображение и чувство – все было устремлено к одному: к тому моменту, когда петля сдавит его горло и он умрет.

– Что это будет? Что это будет?

Он уже пробовал молиться. От всего того, чем под видом {*л. 2* (3-я паг.)*} религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услышал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом *л. 57**¹⁸⁶ на всю жизнь остались обявными тихой поэзией. Эти слова были:

– Всех скорбящих радость.

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: “Всех скорбящих радость” – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

– Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то¹⁸⁷ удары: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей “всех скорбящих радости” и даже сам как будто не знал о ней – так глубоко крылась она в¹⁸⁸ душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, – он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

– Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

– Всех скорбящих радость, приди ко мне, поддержи Ваську Попова.

¹⁸⁶ Л. 57 был перенесен целиком, без исправления нумерации, из ЧА1 в ЧА2.

¹⁸⁷ Было: какие-то(?)

¹⁸⁸ Далее было: его

Давно еще, когда он был на первом курсе университета¹⁸⁹ и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество¹⁹⁰, он называл себя хвастливо и¹⁹¹ жалко “Васькой Поповым” – теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:}

⟨л. 58 (80)⟩ – Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и бледный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и густо сопнул-зазевал, не то вздыхает¹⁹².

– Всех скорбящих радость! И ты молчишь? И ты ничего не хочешь сказать Ваське Попову?

Улыбался умильно и ждал. Били часы. И вдруг понял ясно, что не ответит ему всех скорбящих радость, что ее здесь нет, и не может быть ее там, где так жестоки и безумны люди. Один он перед лицом Смерти. И снова в диком ужасе забила мысль перед черной загадочной ямой:

– Что это будет? Что это будет?

С сознанием что-то делалось. То прерывалось оно, как гнилая нить, и долго, может быть минуты, а может быть и часы, не было ничего. То делалось ясным,¹⁹³ кристально прозрачным и мысли бежали быстрой, но плавною чередою. И вдруг все сразу налетали на какую-то стену, расшибались – и начинался хаос, небытие со всеми болями и муками бытия.

Вдруг стало смешно, невыносимо смешно. Остановился среди камеры, на пол-шагу, и захохотал без звука, одним ртом и выражением лица. Смерть! Какая смерть, откуда? Вот он совершенно живой и здоровый, откуда же смерть? Люди ее сделают – но как же они могут ее сделать! Люди – это те, которые говорят, рассуждают, плачут и смеются; и к ним можно пойти, рассказать, объяснить, что этого нельзя, что нельзя делать смерть с человеком, что ⟨л. 59 (81)⟩ это же невыносимо больно и страшно. Совершенно невозможно представить, чтобы люди, которые рассуждают, смеются, плачут, брали за горло людей, которые так же рассуждают, смеются и плачут, и спокойно душили их. Что такое виселица?

¹⁸⁹ был на первом курсе университета *вписано*.

¹⁹⁰ *Вместо*: до знакомства с Вернером и вступления в общество – *было*: а. до вступления, б. до того, как он стал учиться, читать, сойтись с Вернером, вступил в общество

¹⁹¹ хвастливо и *вписано*.

¹⁹² *Так в рукописи*.

¹⁹³ *Далее было начато*: проз(рачным?)

Это так нелепо, что этого не может быть. Что такое – казнь через повешение? Через повешение – как это странно и нелепо звучит: через повешение... Человек – и через повешение! Почему “через”? Что это за невероятно дикая, нелепая, сумасшедшая фраза!¹⁹⁴ Вон они ходят по улице, заходят в магазины, торгуются, сидят в конке, читают газету – ведь и сегодня, вероятно, вышли газеты, и завтра выйдут, когда...

Но разве сам он, Василий Попов, не читал по утрам в газете, в одной руке держал стакан с чаем, а в другой газету: казнен один – два – пять.¹⁹⁵ А потом одевался и шел на улицу, в толпу людей. И на углах газетчики с газетой: казнен один – два – пять.

Что же это?

И тогда так же ясно, с¹⁹⁶ мертвой безнадежностью, Василий Попов понимает последним пониманием своим, что он, Василий {*ненум. л. **} Попов может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головой о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не} может – и люди будут ходить по улице, торговаться в магазинах, читать и печатать газеты: казнен один – два – пять.

– Так вот вы какие! – ¹⁹⁷ шепчет он с тупым удивлением, даже без укора. – Так вот вы какие!

И погружается в то последнее одиночество, равного которому и нет на бесконечно богатом языке человеческих страданий. В мире *⟨л. 60 (82)⟩* нет людей. В мире есть только его душа и черные врата смерти перед нею. И больше – ничего.

Сознание погасло. Ноги, у которых ‘свое сознание и своя жизнь, продолжают ходить и носят дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, все время тщетно пытаются запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее, мокрое тело. Тело дрожит. Глаза смотрят.

Вот видят они: раскрылась дверь и вошел человек. За ним другой человек, третий... Вошли люди.

¹⁹⁴ Что такое казнь через повешение ~ сумасшедшая фраза! – *вписано на л. 58 об. (80 об.).*

¹⁹⁵ *Далее было: Что же это?*

¹⁹⁶ *Далее было начато: б(езнадежностью)*

¹⁹⁷ *Далее было: и погружа(ется)*

9. День Вернера и Тани Ковальчук

Свой последний день Таня Ковальчук и Вернер провели так.

Таня жалела¹⁹⁸ остальных товарищей своих и плакала о них. Думала, как им страшно умирать. Придумывала, что можно сделать им в облегчение страданий. Нашла несколько ласковых и настоящих слов, которыми можно утешить их боль и страх. С нетерпением и тоскою слушала, как бьют часы.

Потом вошли люди.

Вернер с утра, как проснулся, сел за вчерашнюю шахматную партию. Он сложил руки между колен, опустил голову и так думал. Но часто сбивался и стал проигрывать – тогда бросил играть и начал, как и все, ходить по камере. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и креп(к)о и четко бил землю каблуками – даже на сухой (л. 61 (83)) земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Сперва он насвистывал тихо, одним дыханием, несложную итальянскую арийку; потом¹⁹⁹ замолчал; потом начал часто, на всем ходу, останавливаться. Сделает твердый решительный шаг – и остановится; сделает шаг – и остановится. Похоже было, как будто он пробует какую-то новую, необыкновенную походку или даже танец.

Потом Вернер потребовал бумаги и чернил – под предлогом, что хочет сделать новые важные разоблачения, но только письменно. И торопливо писал, досадливо прислушиваясь к бою часов. Но кончить не удалось, бумагу отобрали.

Потом вошли люди.

10. Их везут

Перед тем, как²⁰⁰ рассаживать по каретам, их, всех пятерых, собрали в большой холодной комнате, со сводчатыми потолками, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на приемную. И позволили разговаривать друг с другом.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки – и были руки горячие как огонь и холодные как лед – и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой, рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы стыдились того, что каждый из них испытал в одиночестве²⁰¹, и боялись глядеть, чтобы не увидеть той страшной перемены, которую каждый чувствовал или подо-

¹⁹⁸ Далее было и плак(ала)

¹⁹⁹ Далее было начато: нача(л)

²⁰⁰ Далее было начато: саж(а)ть

²⁰¹ Вместо: в одиночестве – было: один

зревал за собою. Но *(л. 62 (55))* постепенно, искоса, стали приглядываться и сразу как-то странно развеселились и успокоились: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметным. Все были²⁰² мертвенно бледны, за исключением Муси, у которой горели щеки – *(но никто)* не замечал этого.²⁰³

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

– Что это, Мусечка²⁰⁴? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

– Вася, что это у тебя с волосами? Да ты что? Ничего, брат, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо, надо.

И вдруг из такой же глубокой дали, словно из-под земли уже, словно из недр разлагающегося трупа, принесся глухой, но спокойный ответ:

– Да я ничего. Я держусь.

Вернер ужасно обрадовался.

– Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но взгляд встретил отяжелевший, лишенный сознания, прямо на него *(л. 63 (56))* устремленный взор – и подумал быстро, со страхом: его уже нет, а это говорит его язык.

– Я, Вася, очень люблю тебя.²⁰⁵

– И я тебя очень люблю, – ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

– Вернер, что с тобою? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой... светлый и²⁰⁶ мягкий? А, что?

– А, что?

И как актер, так же усиленно выражая то²⁰⁷, что он²⁰⁸ чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

²⁰² *Далее было начато:* б(ледны)

²⁰³ постепенно, искоса ~ не замечал этого. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 11, стк. 17–28).

²⁰⁴ Мусечка вписано

²⁰⁵ И вдруг из такой же ~ люблю тебя. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 11, стк. 29–49).

²⁰⁶ светлый и вписано.

²⁰⁷ то вписано.

²⁰⁸ он вписано.

– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Пожатием руки он точно подчеркивал слова. И хотя другие были тут же и все могли слышать, еще раз повторил:

– Другим не говори. Понимаешь: очень люблю.

– Понимаю: очень.

– Да: очень. А, что – смешно?

И опять, как актеры на сцене, они улыбнулись друг другу, и быстро, не закончив улыбки, Вернер всколыхнулся и пошел к Сергею.

– Сережа!

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили расстаться по парам, как хотят. И когда говорили это, то казалось, что и жандармы и секретарь тоже играют на сцене: так гладко все шло, по-заученному, и не по-настоящему.

– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стоявшего²⁰⁹ *⟨л. 64 (57)⟩* неподвижно.

– Понимаю, – кивнула Муся головой. – А ты?

– Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Но когда вышли на темный, слабо освещенный двор, то не театральный, а настоящий, влажный и мягкий ветер захватил дыхание. И настоящая весенняя, мягкая и теплая ночь зазвенела каплями, запахла тающим снегом, простором, безграничную ширью. Так странно: пока у них происходило *то*, здесь происходила весенняя ночь. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.²¹⁰

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался над воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные²¹¹, и подковы их лошадей чекали звонко или хлябали по мокрому²¹² снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

– Тут с вами еще один едет.

²⁰⁹ Пожатием руки ~ на Василия, стоявшего – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 11, стк. 61–87)

²¹⁰ Но когда вышли ~ электрических огней – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 11, стк. 92–103)

²¹¹ Вместо: конвойные – было: конвои конные(?)

²¹² мокрому вписано.

Вернер удивился:

– Куда? Куда же он едет?²¹³ Ах, да. Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, к углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое – при комсом²¹⁴ лучше от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

– Извините, товарищ.

Тот²¹⁵ не ответил. И только когда тронулась карета²¹⁶, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

⟨л. 65 (58)⟩ – Кто вы?

– Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

– Я Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа встать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть – и познакомились. В двух плоскостях, одновременно, шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

– А что вы сделали, Янсон?

– Я хозяина резал ножом.²¹⁷ Деньги крал.²¹⁸

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую²¹⁹ руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку²²⁰.

– Тебе страшно? – спросил Вернер.

– Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца^{221, 222} крепко зажал ее между своими сухими и горячими ладонями²²³. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом с кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался

²¹³ Куда же он едет? *вписано*.

²¹⁴ Было: последнем

²¹⁵ Было: Он

²¹⁶ Далее было *вписано и зачеркнуто*: и уже прошли ворота

²¹⁷ Далее было: Меня не надо вешать.

²¹⁸ Деньги крал. *вписано*.

²¹⁹ вялую *вписано*.

²²⁰ Далее было: и сказал:

²²¹ Было: а. товарища б. латыша

²²² Далее было: и обеими руками, сухими и горячими

²²³ между своими сухими и горячими ладонями *вписано*.

острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем (с)наружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась²²⁴ назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окна²²⁵ пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг²²⁶, после одного поворота потемнело, и только поэтому можно (л. 66 (59)) было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С-кому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое, согнутое колено Вернера²²⁷ дружески билось о такое же живое, согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

– Куда мы едем? – спросил вдруг Янсон. У него²²⁸ слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепко сжал руку эстонца²²⁹. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человечку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

– Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

– Ну спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

– Тоже! – неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла²³⁰ о какой-то нелепой и вздорной шутке, к(отор)ую хотят проделать над ними милые, но странно смешливые люди.

– Жена есть? – спросил Янсон.

– Нету. Какая там жена! Я один!

– Я тоже один. Одна, – поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник, мрачный, но торжественный и необыкновенный праздник; странно – но почти все, ехавшие на казнь, ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием и призраки родила

²²⁴ Было: поворачивала

²²⁵ Вместо: в окна – было: на окнах

²²⁶ Вместо. потом вдруг – было: после по(ворота)

²²⁷ Далее было начато: било(сь)

²²⁸ Вместо: У него – было: Очевидно, у него

²²⁹ Было. латыша

²³⁰ речь шла вписано.

смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень *⟨л. 67 (60)⟩* возможно, что на домах развевались флаги.

– Вот и приехали! – сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку – жандарм разожмет бессильные пальцы и²³¹ отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо – и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон – и отдирался легко и без усилий. Наконец стал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизненен *⟨так!⟩* вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути²³² безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких²³³ огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо – а скучно²³⁴ огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

– Хоть бы поскорее! – сказал Вернер устало. Янсон молчал и ежилась.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло²³⁵ освещенным вагонам, Вернер очутился²³⁶ возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово “фонарь”, а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

– Ты что говоришь? – спросил Вернер, отвечая такой же зевотой.

– Фонарь. Лампа в фонаре коптит, – сказал Сергей.

⟨л. 68 (61)⟩ Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно²³⁷ коптила лампа и уже почернели верху стекла.

– Да, коптит.

И вдруг подумал: а какое, впрочем²³⁸, мне дело, что лампа коптит, когда... То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

²³¹ разожмет бессильные пальцы и *вписано*.

²³² на пути *вписано*.

²³³ ярких *вписано*.

²³⁴ *Далее было*: какой-то

²³⁵ *Было начато*: осве(щенным)

²³⁶ *Было*: оказался

²³⁷ сильно *вписано*

²³⁸ впрочем *вписано*.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы; потом подогнул колена и повис в руках жандармов,²³⁹ ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево²⁴⁰. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Когда все уже порасселись в вагоне, и Янсон прикорнул в уголке, вошел, громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, Мишка Цыганок.²⁴¹

– Тут местов нету, жандарм! – крикнул он²⁴² утомленному, сердито глядевшему жандарму²⁴³. – Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети – разве это карета! Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею, и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели²⁴⁴ дико и остро, с несколькими безумным выражением.

– А! Господа! – протянул он. – Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро²⁴⁵ провел рукою по шее.

– То же? А?

⟨л. 69 (62)⟩ – То же! – улыбнулся Вернер.

– Да неужто всех!

– Всех!

– Ого! – оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановившись на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

– Министра?

– Министра. А ты?

– Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.²⁴⁶

²³⁹ *Далее было:* волоча ноги

²⁴⁰ *Было:* асфальт

²⁴¹ Когда все уже порасселись ~ Мишка Цыганок. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 11, стк. 223–255).

²⁴² *Далее было:* , останавливаясь,

²⁴³ *Вместо:* утомленному, сердито глядевшему – *было:* сердито глядевшему, утомленному

²⁴⁴ *Было начато:* ди(ко)

²⁴⁵ *быстро вписано.*

²⁴⁶ Ничего, барин, потеснись ~ На том свете всем места хватит. *вписано.*

Он дико, из-под взлохматившихся²⁴⁷ волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже²⁴⁸ с видимым²⁴⁹ участием. Оскалился и быстро несколько раз²⁵⁰ похлопал²⁵¹ Вернера по коленке.

– Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

– Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

– Верно! – с удовольствием согласился Цыганок. Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то, – ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. – Э, а вон энтот-то ваш²⁵² того, не хуже нашего, – указал он глазами на Василия. – Барин, а барин, боишься, а?

– Ничего, – ответил туго ворочающийся язык.

– Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрерывно, с шипением, *(л. 70 (63))* сплевывал набегающую, сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу²⁵³, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер.

– Хозяина зарезал.

– Господи! – удивился Цыганок: – и как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе; и теперь, быстро повернувшись²⁵⁴, резко и прямо уставился на нее.

– Барышня, а барышня! Вы что же, а? Как же это так?

Слегка покраснев, Муся так же прямо смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза. Все молчали.²⁵⁵

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали.

²⁴⁷ Было: лохматившихся

²⁴⁸ Далее было: , казалось,

²⁴⁹ видимым вписано.

²⁵⁰ Далее было: быстро

²⁵¹ Далее было начато: Ян(сона)

²⁵² Было: барин

²⁵³ неподвижным комочком прижавшийся в углу вписано.

²⁵⁴ быстро повернувшись вписано.

²⁵⁵ – Барышня, а барышня! ~ Все молчали. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 14, стк. 307–313)

Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик – машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым и разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда – “поезд стоит пять минут”.²⁵⁶

И тут наступит смерть – вечность – великая тайна.

⟨л. 71 (35)⟩

11. Так люди приветствовали солнце

Старательно бежали вагончики.

Сергей Головин часто, летом, ездил на дачу по этой дороге, и знал ее.

– Теперь скоро, – сказал он, взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно. Никто не пошевелинулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул слюну. И начал бегать глазами по вагону.

– Холодно! – сказал Василий Каширин. Он как будто начал приходить в себя и тускло, но уже с некоторым любопытством поглядывал на новых, Цыганка и Янсона.²⁵⁷

⟨л. 36а)⟩ Таня Ковальчук засуетилась.

– На́ платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

– Шею? – неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса. Но так как и все подумали то же, то никто его не слышал, – как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же²⁵⁸ слово.

– Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, – посоветовал Вернер. Потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

– Милый, а тебе не холодно, а?

– Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? – спросила Муся. – У нас есть.

– Хочу!

– Дай²⁵⁹ ему папиросу, Сережа, – обрадовался Вернер. Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы²⁶⁰

²⁵⁶ Далее было (с абзаца) · И тут – наступит смерть. Как можно к смерти, как к простой станции, подъехать в вагоне?

²⁵⁷ 11 Так люди приветствовали солнце ~ и Янсона. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стк. 1–14).

²⁵⁸ и то же вписано

²⁵⁹ Было: Дайте

²⁶⁰ Было: руки

Янсона <[72] (37)> брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий²⁶¹ дымок.

– Ну, спасибо, – сказал Янсон. – Хорошо.

– Как странно! – сказал Сергей.

– Что странно? – обернулся Вернер. – Что странно?

– Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и, бледный²⁶², с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой²⁶³ бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

– Потухла, – сказала Таня.

– Да, потухла.

– Ну и к черту! – сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука²⁶⁴ с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

– Барин, а что, если бы того, конвойных... а? Попробовать?

– Не надо²⁶⁵ – также прошептал Вернер.

– Так-то так, да все оно, в драке, веселее. А?

– Нет, не надо²⁶⁶, – сказал Вернер и обернулся к Янсону: – милый, отчего не куришь?

Вдруг Янсон всхлипнул:

– Меня не надо вешать, – плакал он, кривя лицо, ставшее маленьким²⁶⁷ и морщинистым, как у карлика. – Она сказала, меня надо вешать... Меня не надо вешать.

Около него засуетились. Таня Ковальчук, плача сама, гладила его по²⁶⁸ <[73] (38)> рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки.

– Родненький ты мой. Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

²⁶¹ синий вписано.

²⁶² бледный вписано.

²⁶³ Вместо: крутящейся голубой ленточкой – было: а. маленькими струйками(?) б. крутящейся лентой

²⁶⁴ Было: руку

²⁶⁵ Вместо: Не надо – было: Не выйдет.

²⁶⁶ Вместо: не надо – было: ни к чему

²⁶⁷ Далее было:, как у ребенка,

²⁶⁸ – Барин, а что, если бы ~ гладила его по – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стк. 48–61).

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалится:

– Вот чудак!²⁶⁹ – сказал он с коротким смешком²⁷⁰. Но у самого лица стало иссиня черным, как чугуны, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина²⁷¹, привстали и так же быстро сели опять.

– Станция, – сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать²⁷². Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, шаталось безумно – кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз, на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, говорили о чем-то, нюхали особенно свежий, влажный воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона. Потом куда-то пошли большой, черной, молчаливой толпою – среди леса, по снегу, шла плохо укатанная, мокрая и мягкая весенняя дорога.²⁷³ Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и рука невольно хваталась за товарища, и громко дыша, трудно, по цельному снегу²⁷⁴ двигались по бокам конвойные. Чей-то²⁷⁵ голос сердито сказал:

– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут, в снегу.

⟨л. 75 (39)⟩ Кто-то виновато оправдывался:

– Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

– Действительно, не могли дороги прочистить.

²⁶⁹ – Вот чудак! – в ЧА2 заменено на: – Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, (ОТ)

²⁷⁰ с коротким смешком вписано.

²⁷¹ и Каширина вписано.

²⁷² Было дышать

²⁷³ Тут наступил сон ~ весенняя дорога. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стк. 81–92).

²⁷⁴ по цельному снегу вписано.

²⁷⁵ Было: Кто-то

То снова угасало все и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все: и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту, повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор.

– Скоро четыре.

– Говорил²⁷⁶: рано выезжаем.

– Светает в пять.

– Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

– Калошу потерял, – сказал Сергей Головин.

– Ну? – не понял Вернер.

– Калошу потерял. Холодно.

– А где Василий?

– Не знаю. Вон, стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий. Вдруг близко к уху Вернера послышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:²⁷⁷

– Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

⟨л. 76 (40)⟩ – Надо проститься, – сказала Таня Ковальчук.

– Погоди, еще приговор будут читать, – ответил Вернер. – А где Янсон?

Янсон лежал на снегу и возле него с чем-то возились. Вдруг остро²⁷⁸ запахло нашатырным спиртом.

– Ну, что там, доктор? Вы скоро? – спросил кто-то нетерпеливо.

– Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит. Можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

– Г.г., может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

– Не читать, – завсех ответил Вернер, и фонарик быстро погас²⁷⁹.

²⁷⁶ Было: говорили(?)

²⁷⁷ Темный и неподвижный ~ шепот Цыганка: – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стр. 121–140).

²⁷⁸ остро вписано.

²⁷⁹ Далее в ЧА2 вписан текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стр. 158–165).

– Г.г., идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах²⁸⁰, поддерживаемый двумя жандармами:

– Я с ним. А ты²⁸¹, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

– Хорошо.

– Мы с тобою, Мусечка? – спросила Ковальчук. – Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. И уже ушли Сергей с Кашириным. Стало тихо; фонарики за деревьями остановились неподвижно, как два огненных глаза, к(отор)ые долго искали кого-то и нашли.

– Боже мой! – дико прохрипел кто-то. Это маялся в предсмертном томлении Цыганок.

⟨л. 77 (42 об.)⟩ – Как же это так! Господа, а! Мне-то одному, что ль, а? В компании-то оно веселее. Господи! Что же это?

Обратился моляще к Вернеру.

– Барин, хоть ты со мной, а! Сделай милость, а!

Вернер страдая ответил:

– Не могу, милый²⁸². Я с ним.

– Как же это! Одному, значит? Господа!

Муся шагнула вперед – и тихо сказала:

– Пойдемте со мною.

Цыганок слегка отшатнулся и дико уставился на нее.

– С тобою? Ишь ты! Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше.

– Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился:

– Ишь ты! А то я ведь разбойник. Не брезгуешь?

Муся молчала. Потом вдруг подошла к Цыганку и крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, потряс, поцеловал, громко чмокая, в глаза, в нос, в губы. Потом обернулся и яростно погрозил кулаком:

– Ух!²⁸³ вашу мать!

И затоптался, как застоявшаяся, рвущаяся к бегу лошадь.

– Ну, идем, что ль!

– Пусть они, – ответила Муся. – Вон он совсем ослабел.

²⁸⁰ на ногах вписано.

²⁸¹ Было начато: К(аширина?)

²⁸² милый вписано.

²⁸³ В рукописи пять точек, видимо обозначающих соответствующее бранное слово.

– Верно! – согласился громко Цыганок. – Пусть они! А мы потом. Верно. Прощай, барин. На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся!

⟨л. 78 (26)⟩ – Прощай.

– Я не хочу, –²⁸⁴ вяло сказал Янсон. Но уже вел его Вернер, поддерживая, к вновь забежавшим фонарикам. И вновь они остановились неподвижно, как огненные глаза, которые долго искали кого-то и нашли.

– А я, значит, Мусечка, одна, – печально сказала Таня Ковальчук. Вместе жили, и вот...

Но горячо вступился Цыганок. Тыкая Таню пальцем в грудь, он заговорил быстро и деловито:

– Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа. Понимаешь? А я нет. Яко разбойника – понимаешь? Невозможно мне одному. А с нею я²⁸⁵ как со младенцем, понимаешь? Не поняла.

– Поняла. Что ж, идите.

Когда вновь забежали огни, разыскивая, – двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь; и крепко, под руку, остерега(я)ся(?) и ощупывая ногой дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Светало. И вновь²⁸⁶ остановились огни, и вновь утомленно и сыто забежали они, такие слепые и беспощадные при зачинающемся свете дня. И в последний раз остановились они – и погасли.

²⁸⁷Солнце всходило. Складывали в ящики трупы. С вытянутыми шеями, с опухшим синим языком, как неведомый ужасный цветок²⁸⁸ высовыв(ав)шимся среди губ, орошенных кровавой пеной, с безумно вытаращенными глазами – плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух.

Так люди приветствовали восходящее солнце.²⁸⁹

⟨л. 79 (84)⟩

12. Я говорю из гроба

Бумага, составленная Вернером, была немедленно рассмотрена, но, за отсутствием в ней каких-либо новых фактических данных, оставлена без последствий и приобщена к делу “о пяти”.

²⁸⁴ Далее было: сказал

²⁸⁵ Далее было: как со мл(аденцем)

²⁸⁶ Далее было: забега(ли)

²⁸⁷ Перед: Солнце всходило. – было: Светало.

²⁸⁸ Далее было: среди

²⁸⁹ Быстро перецеловались ~ восходящее солнце. – в ЧА2 заменено на текст, близкий к ОТ (см. “Варианты”, гл. 12, стк. 172–268)

По-видимому, писавший очень торопился и был взволнован: размашистый, смелый почерк, в отдельных словах и буквах хранивший еще твердость начертания, часто ломался, становился крайне неразборчивым, и точно падали в одну сторону набегающие буквы. Некоторые слова не были дописаны; другие были выписаны крупно и четко и подчеркнуты резко; довольно большой кусок письма, ближе к концу, оказалось невозможным понять – перечеркивания, вставки, неоконченные слова представляли собою грязный чернильный хаос, лишенный смысла.

Вот эта бумага.

Заявление

Я, неизвестный, по прозвищу Вернер, присужденный к смертной казни через повешение и повешенный в пятницу, 20 мар(та) 1908 года от Рождества Христова (слова “от Рождества Христова” были зачеркнуты, потом надписаны вновь) – умоляю людей понять, что смертная казнь никогда, ни в каком случае, ни при каких условиях не должна быть в человеческом обществе.

Меня я прошу не жалеть, я всегда был готов к смерти, а теперь, когда я понял, что такое смертная казнь, я ухожу из (л. 80 (85)) жизни с радостью и с необходимостью. Я понял и открыл в людях то, после чего нельзя мне жить так, как я жил, а другой жизни я не знаю. А понял и открыл я в людях то, что мозг у них маленький и заключен в железную коробку, из которой нет выхода. И понял я, что все люди – немые, и языка у них нет, а то, что они называют своею речью, служит только для²⁹⁰ всеобщего обмана, и от этого люди живут хуже, чем звери, которые говорят и понимают глазами. И еще понял я, что все люди – слепые и глухие и нет у них ни²⁹¹ глаза, ни уха, а то, что они называют зрением и слухом, служит только для всеобщего обмана; и от этого каждый человек есть гробница правды, и между людьми ходит только Ложь. И от этого они видят жизнь – и не знают, что такое жизнь; видят смерть – и не понимают; видят человека – и не знают, что такое человек.

Надо поторопиться²⁹². От того, что я увидел, я скоро стану совсем сумасшедший, и тогда не пойму той правды, которая во мне. Правда же это такая, что меня, человека, нельзя казнить.

Вот я в тюрьме, и если стану кричать, то никто не услышит, и, может быть, придут сторожа и положат мне тряпку в рот, чтобы я не кричал. Но если бы я был на площади, днем, и тоже стал бы

²⁹⁰ Далее было начато: об(мана)

²⁹¹ Далее было: языка

²⁹² Далее было: , однако

кричать, меня так же никто не услышал бы, и, может быть, посадили бы опять в тюрьму за то, что громко (кричу), и это все равно, что на площади, что в тюрьме. Вот я хотел вам объяснить, почему казнить нельзя, а теперь думаю, стоит ли, потому что вы все равно не услышите. Ведь очень возможно, что мертвецы в гробах тоже кричат, а кто их слышит? Вот они и гниют от (л. 81 (86)) этого. И я был живой, а теперь тоже мертвец – и вы послушайте меня: я говорю из гроба. Только, пожалуйста, не бросайте моей бумаги в ватерклозет, а лучше сожгите ее или разорвите.

Впрочем, может быть, людей вообще совсем нет, а это мне только показалось. Когда бьют часы...

(Здесь несколько строк густо замазаны чернилом (так!).)

Убивать совсем не то, что казнить, это ужасная разница. Убийство есть везде, а казнь только у людей, и это делает людей самыми ужасными на свете. Мне все равно, убьют меня или я умру от тифа, или старости, ведь все равно, до самой смерти я не буду знать, что умру. Даже когда я буду болен смертельно и мне скажут это, то²⁹³ у меня от жара и от болезни будет такое состояние, что я этому не поверю, и до самой смерти не буду знать, что умру. А теперь я, не больной и без жара, знаю, что через десять часов умру. Это невозможно. Тогда нужно уничтожить все часы и прекратить восход солнца. Во всяком случае, людей перед казнью – это практическое соображение, которое я усиленно рекомендую – нужно два месяца держать в абсолютной темноте и в таких толстых стенах, чтобы времени совсем не слышно было. Нет, мысли у меня путаются, это не поможет, человек будет считать пульс и узнает время. Необходимо прекратить восход солнца.

(Дальше зачеркнуто.)

Вы раскорячили мой ум. Вы поставили мою мысль на острие, с которого одновременно открываются две бездны – жизнь и смерть.

(Дальше опять зачеркнуто. Можно только разобрать несколько раз встречающиеся слова: “две бездны”. И дальше буквы начинают (л. 82 (87)) быстро падать вправо; к концу они почти лежат.)

Я слышу вращение земли. Я слышу, как быстро поворачивается она, и по ней бежит назад черная тень ночи, и она приближает к солнцу тот бок, на котором я. Чужая земля или нет, вот что важно знать. Я так быстро несусь, что у меня кружится голова, как на воздушном шаре. Ты должна принять меня, земля, ты не должна быть мне чужою.

²⁹³ Далее было: я не пове(рю)

Странно: кажется, я потерял слух. Сейчас входил какой-то человек и долго раскрывал рот, а я ничего не слышал. И потом скорее догадался, чем услышал, – так глухи и невняты были его слова, хотя кажется, он кричал – что пора кончать.

Что же это я! Что же это я! Он приходил опять и говорил, что прошел час, а я написал только эти четыре строки. Мне же еще нужно вам объяснить, почему казнить нельзя – нельзя – нельзя.

Вы раскорячили мой ум. Откуда у вас такая склонность распинать – вы распяли мою мысль. Ого, Вернер, у тебя не голова, а барабан. Они распялили мою мысль, натянули ее на барабан и бьют по нему своими кулаками: бум – бум – бум!

Человек, ты великий клоун. Ты берешь мозги ближнего, натягиваешь их, как кожу, на барабан и бьешь кулаками: бум! – бум! – бум!

Сюда, скорее! Здесь великий клоун, самый лучший, самый остроумный клоун. Бум – бум – бум! Вы думаете, что это ослиная кожа? Нет, это человеческие мозги натянуты на барабан *⟨л. 83 (88)⟩* и с яростью я бью моими кулаками: бум! – бум! – бум! Ежедневные представления, утренние и вечерние! Женщины и дети имеют вход бесплатный! Женщины и дети, идите же сюда – сюда вам вход бесплатный! Вы насмеетесь вдосталь, когда я сделаю вам шутовскую гримасу, высуну язык и подниму обе руки – и ударю по барабану – и разорву его!

Кто сказал, что это человеческий²⁹⁴ мозг? Это ослиная кожа, дубленая ослиная кожа, натянутая на железные обручи. И если ее разорвать, там окажется пустота.²⁹⁵ Клоун, будь осторожен, не бей так сильно – там пустота. Там – пустота.

(Дальше – сильно и резко зачеркнуто и пером продрана тонкая серая бумага. Дальнейшее написано почерком твердым, буквы стоят прямо и²⁹⁶ стройно.)

Нет, не к ним обращаю я мое последнее слово, а к вам, милые товарищи мои: ты, Муся, – ты, Сергей, – ты, бедный²⁹⁷ Вася, – и ты, Таня! Завтра я ничего вам не скажу, чтобы не мучить вас напрасной и жестокой лаской, и вы никогда не прочтете и не узнаете того, что я написал для вас – но пусть хоть на мгновение оживут мои слова на этой мертвой бумаге. Кто знает? Быть может, как-нибудь они и дойдут до вашего сердца. Милые мои товарищи, я вас очень люблю. Прежде я, глупый Вернер, не понимал, что такое казнь, и думал: ну смерть и смерть, и мне не было вас жаль – теперь я понял, что это,

²⁹⁴ Было: мой

²⁹⁵ Далее было: И только

²⁹⁶ Далее было движутся

²⁹⁷ Было: бедная

и очень люблю вас и очень, очень жалею. Пусть они себе остаются жить, если им не страшно еще стало жить, – мы же, милые товарищи мои, пойдем в смерть. Я (л. 84 (89)) не хочу вас утешать, но кто знает? Я сам этого не знаю – быть может, земля для нас и не чужая. Оттого ли, что они раскорячили мой ум и я сейчас немного сумасшедший, или от того, что с вершины смерти я одним взглядом могу окинуть всю жизнь – она кажется мне дурным и тяжким сном. И он кончится, этот сон, с своими виселицами и палачами, с своим безумием и дикой клоунадой – и наступит пробуждение.

А может быть, и смерть есть так же дурной и тяжкий сон, как и жизнь, и есть еще третье, к(отор)ого мы не знаем, и которое есть ни жизнь ни смерть, и которое ждет нас в конце нашего великого и скорбного пути? Кто знает, кто знает! Пред нами открывается следующая ступень, а ведет ли она вверх, на небо, или вниз, в преисподнюю – это мы все узнаем завтра.

До свидания, милые товарищи мои.

Идут.

Не казните! Не каз...

16 марта 1908

Леонид Андреев

ЧН1

Промежуточные варианты (наброски) РС1

К ГЛАВЕ 3 ЧА1

(л. (12))

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.²⁹⁸

К ГЛАВЕ 6 ЧА1

(л. (34))

С великолепным презрением к собственной²⁹⁹ смерти, настолько глубоким

(л. (32))

– Что это я словно именинник? Меня завтра вешать будут, а я точно гостей с поздравлениями жду. Проверим.

Проверим: тюрьма – стены – решетка – в окошечко смотрит чей-то точно облупленный(?) глаз – завтра казнь – завтра смерть.

²⁹⁸ Текст дублирован на л. (66).

²⁹⁹ собственной вписано.

⟨л. (47)⟩

Чувство свободы росло.

⟨л. (48)⟩

тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это? Неужели это оттого, что я так спокойно и легко расстаюсь с жизнью и этим телом? Ну-ка, посмотрим на это драгоценное тело.

С легкой улыбкой он оглядел³⁰⁰ свои тонкие, изящные руки с отросшими, несколько грязными ногтями – нечем было обрезать и как следует вымыть; потом одним чувством жизни³⁰¹ почувствовал всего себя, по ощущению материи воспроизводя³⁰² очертания тела – и понял с гордостью: он уже стал свободен от своего тела. И оттого нет стен, и оттого нет тюрьмы

К ГЛАВЕ 7 ЧА1

⟨л. (33)⟩

7. Смерти нет

В камере Тани Ковальчук

⟨л. (16)⟩

А в соседней камере, в сизом от табачного дыму воздухе, сидела и думала³⁰³ Таня Ковальчук и курила папиросу за папиросой. Сидела она по-мужски, закинув ногу за ногу, волосы у нее были стриженные, лицо резко очерченное, и все это, вместе с толстой папиросой, придавало ей скорее вид молодого бреющегося мужчины, чем³⁰⁴ девушки. И голос у нее был грубоватый, мужской, и позы принимала³⁰⁵ она как-то не по-молодому.³⁰⁶ горбилась, правую с папиросой³⁰⁷ руку в локте поддерживала левой рукой.

И трудно было поверить, что это в ней, почти что и не женщине, так много настоящего, чистого материнского чувства. Не изменяя себе и на минуту, она и теперь, под петлей, продолжала думать о них, заботиться о них, тосковать о них – о своих товарищах-детях.

³⁰⁰ *Далее было: себя,*

³⁰¹ *Далее было: – тел(ом?)*

³⁰² *Далее было: контуры*

³⁰³ *и думала вписано.*

³⁰⁴ *Далее было: женщины*

³⁰⁵ *Вместо: позы принимала – было: сидела*

³⁰⁶ *Далее было: сгорбившись*

³⁰⁷ *с папиросой вписано.*

К ГЛАВЕ 11 ЧА1

⟨л. (34)⟩

Г-хе – Гхе Эг-хе, эг-хе А-ха, А-ха

Аг-ха! аг-ха!³⁰⁸

⟨л. (51)⟩

(Окончание главы такое):³⁰⁹

.....
галоша.

Так люди приветствовали солнце. Люди, люди, как долго и мучителен ваш путь к совершенству, как долго³¹⁰ вам еще идти!

К ГЛАВЕ 12 ЧА1

⟨л. (45)⟩

14. Я говорю из гроба

Вот содержание небольшой записки, оставленной Вернером и приобщенной к “делу о пяти террористах”.

Я – неизвестный, по прозвищу Вернер. Так называют меня в обвинительном акте, и это очень хорошо сказано. Думая сказать только полицейскую правду, они вдруг проникли глубоко. Неизвестный, по прозвищу³¹¹ Тимофеев, Бранд. Неизвестный по прозвищу Гарибальди, или Тооста, или как там угодно. И вот это я понял теперь: что я действительно неизвестный.

⟨л. (52 об.)⟩

Завтра утром меня казнят.

Это лучше, чем подняться на воздушном шаре. Правда, и на воздушном шаре, когда видишь землю в прорывы облаков, а над головою вечное солнце, начинаешь кое-что понимать. Но этого мало. Я как будто иду по узенькому хребту, очень высокому и очень узенькому, как острый нож, и по одну сторону вижу жизнь, по другую смерть. Великолепное зрелище!

Я не испытываю ни головокружения, ни страха, но я очень волнуюсь. Волнуюсь перед красотой открывшегося, невиданно-

³⁰⁸ *Варианты истерических стонов, издаваемых Янсоном (ср. ОТ, гл 12, стк. 58–59).*

³⁰⁹ *Текст взят в скобки, сделанные красным карандашом.*

³¹⁰ *Далее было: еще*

³¹¹ *Далее было: Иванов.*

го зрелища. Волнуюсь еще и вот отчего: я чувствую, как я очень быстро, в течение этих часов перерождаюсь в новое существо, пока мне еще не известное, почти в новую биологическую форму. Хотя нет: я человек по прошлому или другой, незнакомый, новый человек.

ЧН2

Промежуточные варианты (наброски) РС2

К ГЛАВЕ 5 ЧА1

⟨л. [33?] 41⟩* совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горячее лились³¹² слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла и состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос; и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

– Не могу. Ей-же-богу, не могу! – отказывалась она, мотая головой, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса, – а ей все лили вино. Все лили.

_____313

³¹² Было: становились

³¹³ Далее помета карандашом: “(Конец главы)”

(1)

⟨*ненум. л.*⟩ переспал или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли беспокойные, острые, зоркие мысли, а с ними тоска о жизни.

– Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что если бы пессимиста повесить? Черт возьми, а ведь действительно есть люди, которые сами себя убивают – сами себя.

И вдруг так странно, даже смешно показалось ему это: действительно: сами – себя – убивают. И еще смешнее, и невероятнее, какие-то пессимисты: живут себе, и сколько ни рассуждают, что жить плохо, – будут жить, и нет над ними петли.

(2)

⟨*ненум. л.*⟩ переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

– Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко.

Хотел он найти, чего именно в жизни ему жалко, и не мог – всего было жаль. Подумает о своих стариках – покажется, что их именно и жаль особенно покидать; но вспомнит тут же об отцовском клеенчатом диване – оказывается, что диван и есть тот самый, кого жальче всех покинуть. Вспомнил, как хорошо бывает на море, в яхточке, в солнечный день, когда лечь на палубе³¹⁴ на живот и смотреть между досками и парусом в голубой простор – и решил, что это и есть самое драгоценное, с чем немислимо расстаться; но придут сейчас же в голову другие картины, хотя бы то, как они собирались во вторник утром, и он пил чай с молоком, или даже вот эта самая тюрьма, эти самые мысли, что сейчас в голове – ясно станет, что и этого терять нельзя.

– Но ведь есть же в жизни и гадости и мерзости всякие, – попробовал он как-то утешить себя, но тут же сам горячо возмутился: – Свинство, Сергей Николаевич, свинство: чтобы легче умереть, вы готовы всех людей сделать подлецами, наклеветать на жизнь. Так порядочные люди не поступают. Жизнь великолепная штука,

³¹⁴ Было: на палубке

и кто ее не любит³¹⁵, тот или дурак, или неблагодарная свинья. А смерть...

Но вдруг оказывалось, что никакой смерти ни представить, ни почувствовать он не может. И страха нет. Хочет заставить себя думать о казни, о том, как стянет веревка горло, – и после первых *⟨ненум. л.⟩* же двух слов, именно слов, а не образов, мысль спокойно и упрямо повернет назад, к жизни. Как упрямая лошадь, которая ни за что не хочет бежать от дому. И так проходят целые часы, пока снова не подтолкнет кто-то кулаком под сердце и не станет снова тоскливо и страшно.

Так было до суда и до последнего страшного свидания с стариками. А потом, когда уже все было решено безвозвратно, когда до казни оставалось *⟨так!⟩* только десяток часов – смерть вдруг бесследно исчезла. Просто исчезла – из мыслей, из ощущений, из образов и представлений.

ЧНЗ (РС1)

Перечень глав (промежуточный вариант)

⟨л. 1⟩

Глава первая. В час дня, ваше превосходительство.

Глава вторая. К смертной казни через повешение.

Глава третья. Меня не надо вешать.

Глава четвертая. Карета графа Бенгальского.

Глава пятая. Поцелуй и молчи.

Глава шестая. Часы бегут.

Глава седьмая. Смерти нет.

Глава восьмая. Есть смерть, есть и ужас.

Глава девятая. День Вернера и Тани Ковальчук.

Глава десятая. Их везут.

Глава одиннадцатая. Так люди приветствовали солнце.

Глава двенадцатая. Я говорю из гроба.

³¹⁵ *Вместо:* не любит – было: бранит

Ранняя версия финала главы 10³¹⁶

{PC2}

³¹⁷{*нenum. л.*} Вернер улыбнулся и, поймав улыбку, с удивлением подумал:

{PC1}

{*л. (50)*} – Что это я словно именинник? Меня завтра вешать, а я³¹⁸ точно гостей с поздравлениями жду.³¹⁹

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенною звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стол³²⁰ и подумал:

“Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни – и как будто ее нет. Посмотрю на стены – как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что³²¹ вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?”

Радостное волнение росло, становилось томительным, искало выход в мысли³²², а мысль не подгонялась(?). До сих пор спокойная, как глубокая и тихая река, теперь она неслась стремниную, пенилась и сверкала(?). Все, что накопилось когда-то и³²³ спокойно лежало в глубине души, вдруг поднялось и всю свою массу устремилось к узкому проходу, к каменным воротам, за которыми³²⁴ новая, еще не изведанная свобода и ширь.³²⁵

Начинали дрожать руки – невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали

³¹⁶ Первоначально этот текст входил в состав ЧА2 и БМАП (л. 90–92 (машинописная нумерация) – соответственно: л. 92, 93, 98 (авторская рукописная нумерация)), но позднее, после правки, был заменен новой редакцией (л. 94–97 – авторская рукописная нумерация), совпадающей с позднейшей версией ЧА2. Текст воспроизводится по рукописи, но в примечаниях отражены не только соответствующая рукописная правка, но и изменения (вычерки), которые он претерпел позднее в ранней машинописной версии (обозначается как БМАП-Р).

³¹⁷ После: невредим и смеется. (ОТ, гл. 10, стк. 85–89).

³¹⁸ Далее было: словн(о)

³¹⁹ Вернер улыбнулся ~ с поздравлениями жду. – в БМАП-Р зачеркнуто.

³²⁰ Было: стул

³²¹ только что *вписано*.

³²² Было: мыслях

³²³ -то и *вписано*.

³²⁴ Далее было: *какая-то*

³²⁵ Радостное волнение ~ свобода и ширь. – в БМАП-Р зачеркнуто.

в голове – наружу хотел пробиться огонь и осветить широко³²⁶ пока еще³²⁷ ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

– Писать! Писать! – почти крикнул Вернер.

По требованию Вернера ему принесли письменные принадлежности. И вплоть до часу ночи, до того момента, как отворилась дверь и вошли люди, чтобы везти его на казнь, он торопливо писал.

⟨л. (53)⟩ Был он³²⁸ при этом взволнован и бледен. Тихое и медленное вождение пером по бумаге видимо не давало полного³²⁹ исхода пожирающему мысль огню – Вернер вскакивал и, отчаянно жестикулируя, бегал по камере. Несколько раз принимался смеяться – и вдруг заплакал, бесстыдно, откровенно, не скрывая слез ни от солдат, ни от себя.³³⁰

– Милые товарищи мои! – шептал он, плача горько. – Милые³³¹ товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера – ни судьи, ни товарищи, ни он сам.³³²

БАВ (РС1)

Беловой автограф-вставка (начало главы 7)

⟨л. (23)⟩³³³

7. Смерти нет

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других, и никогда о себе, так и теперь только за других мучалась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи

³²⁶ Было. далекие(?)

³²⁷ Далее было начато тем(ную)

³²⁸ он вписано.

³²⁹ Далее было: удовл(етворения)

³³⁰ широко пока еще ночную ~ ни от себя: – в БМАП-Р зачеркнуто.

³³¹ шептал он ~ Милые – в БМАП-Р зачеркнуто.

³³² В этом горько плачущем ~ ни он сам. – в БМАП-Р зачеркнуто.

³³³ Перед заглавием – помета карандашом: (Пожалуйста, напечатайте на двух отдельных страничках).

Головина, для Муси, для других – ее же самой смерть как бы не касалась совсем.

И вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала – как умеют плакать старые женщины³³⁴, знавшие много горя³³⁵, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться³³⁶ табаку, а Вернер может быть лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что он должен умереть – мучало ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь, это что-то неизбежное, и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала³³⁷ милые подробности совместного³³⁸ житья и замирала от страха,³³⁹ воображая встречу Сергея с родителями.

И особенно жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих³⁴⁰ о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное³⁴¹ кольцо, на котором были изображены череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела *⟨л. (24)⟩* Таня Ковальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

– Подари его мне, – упрашивала она.

– Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то в свою очередь о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее – никакого мужа она не хотела. И вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей, и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от нестерпимой жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась – как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.

³³⁴ женщины вписано.

³³⁵ Далее было: женщины

³³⁶ Было: быть

³³⁷ Далее было начато: подробно(сти)

³³⁸ Далее было: их

³³⁹ Далее было начато: предста(вляя)

³⁴⁰ обоих вписано.

³⁴¹ серебряное вписано.

*Варианты черного автографа (ЧА2)
и белой машинописи
с авторской правкой (БМАП)*

² *Посвящается Л.Н. Толстому – в ЧА2, БМАП нет.*

Глава 1

- ⁵ со всякими предосторожностями / со всевозможными предосторожностями ◊ (ЧА2)
- ^{11–12} под неусыпным наблюдением сыщиков / под неусыпным наблюдением ◊ (ЧА2)
- ^{12–13} в час дня у подъезда / в час дня у его подъезда ◊ (ЧА2)
- ²¹ и с тою же улыбкой / с тою же улыбкой ◊ (ЧА2)
- ²³ чужой гостеприимный дворец / чужой дворец ◊ (ЧА2)
- ³¹ свет электрических фонарей / свет уличных фонарей ◊ (ЧА2)
- ^{34–35} в тишине и одиночестве чужой спальни / в тишине и одиночестве спальни ◊ (ЧА2)
- ⁴¹ с тоскою больного человека чувствовал / с тоскою больного человека ощущал ◊ (ЧА2)
- ⁴² неотвязно думал / с ужасом думал ◊ (ЧА2)
- ^{47–48} собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати / собственное тучное, раскинувшееся на постели тело ◊ (ЧА2)
- ^{61–62} усмехаясь насильственной кривой улыбкой / улыбаясь насильственной кривой усмешкой ◊ (ЧА2)
- ⁶⁵ которая была только / которая была так(?) ◊ (ЧА2)
- ^{74–75} с идиотской старательностью / с идиотскою старательностью (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- ⁷⁸ не отличался от других / не отличался от других часов ◊ (ЧА2)
- ^{87–88} Орали граммофоны: // – В час дня, ваше превосходительство! / – В час дня, ваше превосходительство! – Орали граммофоны ◊ (ЧА2)
- ^{88–89} –И черный столб ухмылялся / –и черный столб ухмылялся (ЧА2) / – черный столб ухмылялся ◊ (БМАП)
- ^{90–91} приподнялся на постели и сел, опершись лицом / приподнялся и сел на постели, опершись ру(кой?) ◊ (ЧА2)
- ^{96–97} ни швейцар, подававший шубу, ни лакей / ни швейцар, подававший шубу, не знал бы, ни лакей ◊ (ЧА2)
- ^{100–101} открывает стеклянную дверь / открывает дверь ◊ (ЧА2)

- 107 И, глядя в темноту, далеко перед собою / И, глядя далеко
перед собою ◊ (ЧА2)
- 108 медленно протянул руку / медленно нащу(пал) ◊ (ЧА2)
- 108–109 нащупал рожок / нащупал пальцами рожок ◊ (ЧА2)
- 111 рожок от стенной лампы и зажег / рожок от стенной лампы
и опустил(?) ◊ (ЧА2)
- 117–118 готовили для него люди, оторвала / готовили для него люди,
выдрала его ◊ (ЧА2)
- 132 кого недавно он называл молодцами / кого недавно называл
молодцами ◊ (ЧА2)
- 142–143 и было бы / и если бы ◊ (ЧА2)
- 144 знать день и час, когда умрет / знать день и час своей смер-
ти ◊ (ЧА2)
- 149 в тайну грядущего / в тайны грядущего ◊ (ЧА2)
- 155–156 покончить с собой / покончить с собою (ЧА2)
- 156–157 и даже назначил час для самоубийства / и даже час для са-
моубийства назначил (ЧА2, БМАП)
- 160 никто не может про себя сказать / никто не может сказать
(ЧА2, БМАП)
- 190 смотреть на заплывшие короткие пальцы / смотреть на за-
нывшие короткие пальцы (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 191 полны смертельною влагой / полны смертельной водой
(ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 197 маленькая головка / маленькая голова ◊ (ЧА2)
- 205–206 вспыхнули отдельные лампочки, / вспыхнули отдельные
лампочки, плодя больше теней, чем ◊ (ЧА2)
- 210 все эти бесчисленные / все эти молчаливые, бесчислен-
ные ◊ (ЧА2)
- 212–213 Потом требовали доктора по телефону / а. Потом т(елефон?)
б. Потом говорили по телефону с доктором в. Потом кри-
чали по телефону с доктором (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “в” ◊
(БМАП)

Глава 2

- 2–11 Вышло так, как загадала полиция. ~ Судили их в той же
крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и
глухо, как делалось в то беспощадное время. / Террористов
судили в той же самой тюрьме, куда их заключили после
ареста, судили глухо и быстро, как полагалось в то [тяже-
лое] беспощадное и страшное время.³⁴² ◊ (ЧА2)

³⁴² В РС1 (см. с. 321, примеч. 35).

- 2-3 Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, / Четверых террористов, ◇ (ЧА2)
- 3 вооруженных бомбами / вооруженных адскими ◇ (ЧА2)
- 4 у самого подъезда / у самого министерского подъезда ◇ (ЧА2)
- 4 пятаю – нашли / пятаю, Татьяну Ковальчук, нашли ◇ (ЧА2)
- 5 арестовали на конспиративной квартире / арестовали, после(?) ◇ (ЧА2)
- 9-10 куда заключили после ареста / куда заключили их после ареста ◇ (ЧА2)
- 10-11 в то беспощадное время / в то беспощадное и страшное время (ЧА2)
- 16 спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить / спокойны, чтобы не да(вать?) ◇ (ЧА2)
- 19 просто и точно / просто и ясно ◇ (ЧА2)
- 21 назвали свои настоящие имена / назвали свое настоящее имя ◇ (ЧА2)
- 22-23 остались для судей неизвестными / остались для судей неизвестными людьми ◇ (ЧА2)
- 23-24 обнаруживали они то смягченное / обнаруживали то смягченное ◇ (ЧА2)
- 30-31 помещался один из назвавших себя – Сергей Головин / помещался Сергей Головин ◇ (ЧА2)
- 39-40 посылала, как предтечу, ясный / посылала, как предтечу, час(?) ◇ (ЧА2)
- 44 было видно очень странное и красивое небо / а. было видно небо б. глядело небо ◇ (ЧА2)
- 49-50 Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку / Сергей Головин пощипывал бородку ◇ (ЧА2)
- 54 сквозь краску щек / сквозь краску его щек ◇ (ЧА2)
- 60-61 молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. / молодая девушка по прозвищу Муся, для суда оставшаяся неизвестной. ◇ (ЧА2)
- 61 Она была моложе Головина / Была она моложе Головина ◇ (ЧА2)
- 65-66 в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно / в ее голосе, без(упречно) ◇ (ЧА2)
- 75 во всей грязной казенной зале / во всем грязном казенном зале (ЧА2, БМАП)
- 77 – ничего не пытал / и ничего не пытал (ЧА2, БМАП)

- 79–80 сложив руки между колен / сложив руки на коленях ◊
(ЧА2)
- 80 по прозвищу Вернер / по прозвищу Анатолий(?) ◊ (ЧА2)
- 85–86 перед судом сыщики. Роста он был / перед судом сыщики.
Лицо у него было тонкое, хрупкое, аристократичное, [на
нем] разительным казалось отсутствие на нем определен-
ного выражения. Роста он был ◊ (ЧА2)
- 95 И хотя у других террористов / И хотя он ◊ (ЧА2)
- 96 а у Вернера только черный револьвер / а у Марио только
изящный черный револьвер ◊ (ЧА2)
- 99 Василий Каширин / Василий Попов ◊ (ЧА2)
- 102 повели их на суд / повели их на казнь ◊ (ЧА2)
- 105–107 он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым
и отчетливым, глаза спокойными / он заставлял пальцы
свои не дрожать, голос был твердым и отчетливым, глаза
спокойными (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 114 Раз или два Вернер / Раз или два Марио ◊ (ЧА2)
- 117–118 когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать / когда
ему вдруг хотелось кричать ◊ (ЧА2)
- 119 прикасался к Вернеру / прикасался к Марио ◊ (ЧА2)
- 126 бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи /
*а. как в тексте б. бесконечно любовны были ее взгляды,
улыбка, страх (БМАП)*
- 131 на Мусю и Вернера смотрела / на Мусю и Марио смотрела
(ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 132 лицо делала серьезное и сосредоточенное / лицо делала
серьезное, сосредоточенное (ЧА2)
- 135 думала она про Головина. – А Вася? / думала она про
Головина. // – Милая, колечко на пальце надето. А какая
красавица, какая умница, и какая гордая! – думала она про
Мусю. Про Марио [же] уже не думала совсем, и только
тихо, серьезно и глубоко вздыхала. // – А Вася? ◊ (ЧА2)
- 138–139 отражающий каждое бегущее облако / отражающий небо ◊
(ЧА2)
- 143 встретила полицию выстрелами / она встретила сыщиков
выстрелами ◊ (ЧА2)
- 147–148 как в летние вечера, а замутилось, посерело / как в летние
вечера, а сразу замутилось, посерело ◊ (ЧА2, БМАП)
- 150 и, продолжая пощипывать бородку / и рассеянно, продол-
жая пощипывать бородку ◊ (ЧА2)
- 151 разглядывать судей / разглядывать публику ◊ (ЧА2)

- 153 спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол /
перевела глаза в угол ◊ (ЧА2)
- 154 под незаметным напором / под незаметным дуновением ◊
(ЧА2)
- 160 сказал Вернер / сказал Марио ◊ (ЧА2)
- 162 ответил Каширин / ответил Попов ◊ (ЧА2)
- 163 лицо его слегка порозовело / лицо его как будто порозовело
(ЧА2, БМАП)
- 167 – Так и нужно было ожидать / – Гадины (ЧА2, БМАП)
- 167 – ответил Вернер спокойно / – ответил Марио спокойно ◊
(ЧА2)
- 168 Завтра будет объявлен приговор / Завтра приговор войдет ◊
(ЧА2)

Глава 3

- 1 3. МЕНЯ НЕ НАДО ВЕШАТЬ / III ◊ (ЧА2)
- 2 За две недели / а. За неделю б. За 2 недели ◊ (ЧА2)
- 5 был батраком у зажиточного фермера / был работником на
ферме у зажиточного крестьянина ◊ (ЧА2)
- 6-7 от других таких же работников-бобылей / от других таких
же Янсонов и Веберов ◊ (ЧА2)
- 7 эстонец, из Везенберга / латыш, из Вредена (ЧА2) / как
в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 7-8 в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в
другую / переходя из одной фермы (в) другую, в течение
нескольких лет ◊ (ЧА2)
- 9-10 По-русски он говорил очень плохо, а так как / По-русски он
говорил очень плохо, так же как и по-немецки, а так как ◊
(ЧА2)
- 10 хозяин его был русский, по фамилии Лазарев / хозяин его
был русский, ◊ (ЧА2)
- 10-11 эстонцев поблизости не было / латышей поблизости не
было (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 11 Янсон молчал / Янсон и молчал (ЧА2)
- 12 он не был склонен к разговорчивости / он был склонен к
молчаливости ◊ (ЧА2)
- 14 двигаясь вокруг нее / двигаясь вокруг нее (ЧА2, БМАП)
- 21-22 За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но
исправить не мог и так и бросил. / Случалось раза два, что
хозяин жестоко избил самого Янсона за порчу лошадей, но
от скверной привычки отучить его не мог. ◊ (ЧА2)
- 24 обычно в те дни, когда / обычно после того, как ◊ (ЧА2)

- 26–27 завязив в снегу в стороне от дороги / завязив в снегу ◊ (ЧА2)
- 28 лошадь по пузо уходила в сугроб / лошадь почти по пузо уходила в снег ◊ (ЧА2)
- 29 тянула морду вниз / тянула вперед морду ◊ (ЧА2)
- 29–30 мягкого пушистого снега / мягкого белого снега ◊ (ЧА2)
- 31–34 Развязанные наушники его облезлой меховой шапки ~ Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался. / Потом он возвращался на станцию и быстро напивался. ◊³⁴³ (ЧА2)
- 31 Развязанные наушники / Наушники ◊ (ЧА2)
- 39 выкрикивал что-то по-эстонски / выкрикивал что-то по-латышски (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 40–44 А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы ~ Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть / И сам был как слепой: не видел встречных, не сворачивал, не окричал, а все несся и несся вперед в вихре крутящихся, оборванных образов, твердого снега и льдинок, бьющихся в лицо. Как он ни разу не разбился насмерть ◊³⁴⁴ (ЧА2)
- 42–43 не окрикивал / не окричал (ЧА2, БМАП)
- 43 не замедлял бешеного хода / не сворачивал ◊ (ЧА2)
- 44 Как он не задавил кого-нибудь / Как он не задавил ◊ (ЧА2)
- 46–47 прогоняли его и с других мест / прогоняли его с других мест ◊ (ЧА2)
- 49 письмо по-эстонски / письмо по-латышски (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 49–50 но так как сам был / но так как и сам был ◊ (ЧА2)
- 50 другие по-эстонски не знали / другие по-латышски не знали (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 53–54 поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине / поухаживать за кухаркой ◊ (ЧА2)
- 56 лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки / лицо имел веснушчатое, дробное и сонные глазки (ЧА2, БМАП)
- 57 И неудачу свою / По-своему(?), неудачу свою ◊ (ЧА2)
- 60 унылое снежное поле / а. по(ле) б. снежное поле ◊ (ЧА2)
- 61 ряд маленьких, занесенных снегом могил / ряд маленьких могил ◊ (ЧА2)
- 62 телеграфные гудящие столбы / телеграфные столбы ◊ (ЧА2)
- 63–64 Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один / Что говорило ему поле, он знал только один ◊ (ЧА2)

³⁴³ За исключением варианта стк. 31.

³⁴⁴ За исключением вариантов стк. 42–43, 43, 44.

- 64–65 полны слухами об убийствах / полны слухов об убийствах (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 66–67 тренькал на кирке маленький колокол / тренькал маленький колокол ◊ (ЧА2)
- 70 И на ихней ферме жили тревожно / И жили на ферме тревожно ◊ (ЧА2).
- 75–76 Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке / а. Янсон больше верил в силу острого финского ножа, чем этой старой ржавой штуки б. Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуки (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (БМАП)
- 77 Она меня самого убьет / а. Она меня самого убьет б. Она мене самого убьет (ЧА2) / а. как в тексте б. Она меня самого убьет (БМАП)
- 77–78 сонно смотря на хозяина / смотря на хозяина ◊ (ЧА2)
- 80–81 поживи с такими работниками! / поживи с такими работниками! Эх! ◊ (ЧА2)
- 86–87 лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину / лениво сзади подошел к хозяину ◊ (ЧА2)
- 92 неожиданно для себя самого кинулся / неожиданно для себя самого бросился ◊ (ЧА2)
- 98 совершал покушение на поджог / а. старался под⟨жечь?⟩ б. старался устроить поджог ◊ (ЧА2)
- 100 в ряду других грабителей / в ряду других уб⟨ийц⟩ ◊ (ЧА2)
- 105–106 оглядывал незнакомую важную залу / а. оглядывал незнакомый зал (ЧА2) б. оглядывал незнакомый важный зал (ЧА2, БМАП)
- 109–112 и кое-где примочил волосы на голове ~ на тощей, градом побитой ниве. / и волосы примочил водой. ◊³⁴⁵ (ЧА2)
- 111–112 редкими вихрами – как соломинки / редкими лохмами – как тощие соломинки ◊ (ЧА2)
- 119 Она сказала, что меня надо вешать. / а. Она сказала, что мене нада повешать. б. Она сказала, что мене нада вешать. (ЧА2) / а. Она сказал, что моя нада вешать. б. Она сказала, что меня нада вешать. (БМАП)
- 122–124 а Янсон ткнул указательным пальцем ~ ответил: // – Ты! / Янсон, продолжая указывать пальцем, сердито ответил: // – Ты. ◊³⁴⁶ (ЧА2)
- 123 ткнул указательным пальцем на председателя / ткнул пальцем в председателя ◊ (ЧА2)

³⁴⁵ За исключением варианта стк 111–112.

³⁴⁶ За исключением варианта стк 123.

- 128–129 судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил / судье и повторил ◊ (ЧА2)
- 130 Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать. / Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать. (ЧА2)
- 133 Меня не надо вешать. / а. Меня не надо вешать. б. Мене не надо вешать. (ЧА2)
- 137 уводя из залы / уводя из зала (ЧА2, БМАП)
- 139 Меня не надо вешать / Мене не надо вешать (ЧА2)
- 142 не утерпел сам и добавил / не утерпел сам и тоже добавил ◊ (ЧА2)
- 149–150 к унылому снежному полю / к снежному полю ◊ (ЧА2)
- 169–171 Ему нисколько не было обидно ~ И радостно стало / Ему было немного обидно, что его одного даже вешать не стоит, и очень радостно стало ◊ (ЧА2)
- 174–176 – Когда, когда! ~ А ты так бы и хотел, дурак! / – Когда, когда! – рассердился надзиратель. – Это дело не простое. Тут и эшафот, и палач нужен, не собаку ведь, а человека вешать. А ты так бы и хотел! ◊ (ЧА2)
- 177 вдруг весело сморщился Янсон / вдруг засмеялся Янсон ◊ (ЧА2)
- 178 меня надо вешать / меня надо вешать (ЧА2)
- 179–204 И, может быть, в первый раз в своей жизни ~ и ушел, оглядываясь. / И он смеялся отрывисто, точно нарочно, как люди, которые никогда не смеются и не умеют. Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом строго нахмурился: эта дикая веселость человека, которого должны казнить, вдруг как-то оскорбила его, тюрьму, еще что-то. // – Чего зубы скалишь? – сердито сказал он. – Это тебе не кабак! // – [Я] А я не хочу, – смеялся Янсон. ◊³⁴⁷ (ЧА2)
- 179 в первый раз в своей жизни / первый раз в своей жизни (ЧА2)
- 185 старому надзирателю / надзирателю ◊ (ЧА2)
- 195 похож на сатану этот человек / похож на сатану этот маленький человек ◊ (ЧА2)
- 197 уничтожало святость и крепость тюрьмы / уничтожало святость тюрьмы ◊ (ЧА2)
- 198–199 развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки / развалятся стены, и упадут решетки ◊ (ЧА2)
- 202 только щурился лукаво. / только щурился лукаво. И ◊ (ЧА2)

³⁴⁷ За исключением вариантов стк. 179, 185, 195, 197, 198–199, 202.

- 205 Весь этот вечер / И весь этот вечер ◊ (ЧА2)
 205–206 повторял про себя сказанную фразу / повторял про себя эту фразу ◊ (ЧА2)
 206 меня не надо вешать / меня не нада вешать (ЧА2)
 207 убедительною, мудрою, неопровержимой / убедительною, неопровержимой ◊ (ЧА2)
 213 Успеешь еще, сатана. / Успеешь еще. ◊ (ЧА2)
 220–221 более далеко и светлом. В тюрьме его хорошо кормили / более далеко и светлом. Вспомнил однажды с удивлением, что у него есть где-то около Вредена мать, и решил, когда все это кончится, послать ей письмо. Даже пожалел о том письме, которое бросил в навоз. В тюрьме его хорошо кормили ◊ (ЧА2)
 225 Теперь я толстый / Теперь я сильный ◊ (ЧА2)
 226–233 И только выпить водки очень хотелось ~ Думаю так, что через недельку. / Когда террористов арестовали, весть об этом скоро дошла до тюрьмы; и надзиратель, на обычный вопрос Янсона, вдруг неожиданно и дико ответил: // – Теперь скоро. Думаю так, что через недельку. ◊³⁴⁸ (ЧА2)
 232 Глядел на него спокойно и важно говорил / Глядел на него спокойно и важно и говорил (ЧА2, БМАП)
 237–238 У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается / У нас шуток не полагается ◊ (ЧА2)
 238–239 сказал надзиратель с достоинством и ушел. / а. сказал надзиратель и ушел важно(?). б. сказал надзиратель и ушел с достоинством. ◊ (ЧА2)
 240 Янсон похудел. Его растянувшаяся / Янсон похудел так, что растянувшаяся ◊ (ЧА2)
 244 словно каждый поворот / как будто каждый поворот ◊ (ЧА2)
 246 очень долго обдумать / очень долго обдумывать (ЧА2, БМАП)
 246 Ночью он лег на койку / Ночью он лег в койку (ЧА2)
 247 до утра они оставались открыты / до утра оставались открыты ◊ (ЧА2)
 250–255 С чувством приятного удовлетворения ~ Видеться с кем будешь или нет? / Видеться с кем будешь или нет? ◊³⁴⁹ (ЧА2)
 252–253 Сатана посрамлен / Сатана нестрашен (БМАП)
 258 Меня не надо вешать / Мене не нада вешать (ЧА2)
 258–259 поглядел на надзирателя / посмотрел на надзирателя ◊ (ЧА2)

³⁴⁸ За исключением варианта стк. 232.

³⁴⁹ За исключением варианта стк. 252–253.

- 269 видеть и слышать вокруг себя / видеть вокруг себя ◊ (ЧА2)
- 273 И чем дальше тянулась ночь / И чем дольше тянулась ночь
(ЧА2)
- 274 считающих возможным все / считающих все возможным ◊
(ЧА2)
- 276–278 ночь неуклонно влекла над землю свои черные часы, и
не было силы, которая могла бы остановить ее течение. /
а. ночь неуклонно влекла над землю свои черные часы.
б. ночь неуклонно влекла над землю свои черные часы, и
не было силы, которая могла бы остановить или прервать
ее течение. ◊ (ЧА2)
- 281 ступил на первую ступень / вступил на первую ступень
(ЧА2, БМАП)
- 285–307 Он никогда не думал о том ~ мертвый глаз без зрачка. / И тогда
он, даже не знавший, что у него есть мозг, вдруг почувство-
вал, что там в голове, где были обыкновенно его сонные и
тягучие мысли, [вдруг] разверзлась какая-то черная страш-
ная яма, и все, кружась, падает в нее. Это было так больно,
это было так страшно, что он сперва задохнулся, потом
начал от чего-то отмахиваться руками, потом закружился
по камере, нашел дверь – и воя от ужаса, как будто смерть
уже держала его за горло, стал неистово колотить в дверь
кулаками. // – Я не хочу! // Остальную часть ночи он про-
вел в горячечной рубашке, привязанный к койке. ◊³⁵⁰ (ЧА2)
- 295 завopil от ужаса / завыл от ужаса (ЧА2)
- 296 И когда уже подняли / И когда его уже подняли (ЧА2, БМАП)
- 301 вода начала действовать / вода начала помогать ◊ (ЧА2)
- 302 все тот же старик / все тот старик ◊ (ЧА2)
- 305 с помутившимся мозгом / с помутившимися мозгами (ЧА2,
БМАП)
- 306–307 и между неплотно закрытых век / и среди неплотно закры-
тых век ◊ (ЧА2)
- 310 ни с чем не сравнимого изумления / ни с чем не сравни-
мого ◊ (ЧА2)
- 315 стоял в немом ужасе перед этим противоречием / стоял
перед этим противоречием ◊ (ЧА2)
- 317–320 перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя
ноги, сидел на табурете, или тихонько, крадучись и сонно
озираясь, прогуливался по камере. Рот у него / перестал
спать. Рот у него ◊ (ЧА2)
- 321 от непрерывного величайшего удивления / от непрерываю-
щего величайшего удивления (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)

³⁵⁰ За исключением вариантов стк. 295, 296, 301, 302, 305, 306–307.

- 335–336 сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. – А то убить убил / сказал старший надзиратель. – А то убить убил ◊ (ЧА2)
- 345 до четверга. А в четверг / до понедельника. А в понедельник ◊ (ЧА2)
- 350 все, что у него было, / все, что у него, ◊ (ЧА2)
- 351 куривший папирску / куривший папиросу (ЧА2, БМАП)
- 354–366 Глазки у Янсона слипались ~ поправлял плохо завязанный шарф. / Вдруг Янсон остановился. // – Я не хочу, – сказал он вяло. // Его взяли за руки и повели, и он покорно зашагал. И, ожидая, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, поправлял на шее плохо завязанный шарф. ◊³⁵¹ (ЧА2)
- 354–355 ворочался так медленно и туго / ворочался так медленно ◊ (ЧА2)
- 362 падали на камень частые / падали на камень ред⟨кие?⟩ ◊ (ЧА2)
- 363 пока в черную / пока влез⟨али?⟩ в черную ◊ (ЧА2)

Глава 4

- 1 МЫ, ОРЛОВСКИЕ / КАРЕТА ГРАФА БЕНГАЛЬСКОГО ◊ (ЧА2)
- 2–3 Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, / Тем же присутствием военно-окружного суда ◊ (ЧА2)
- 3–5 через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец / через повешение Михаил Голубец ◊ (ЧА2)
- 5 по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. / по кличке Мишка Цыганок. ◊ (ЧА2)
- 7–8 уходило в загадочную глубину его темное прошлое / уходило в тем⟨ную?⟩ ◊ (ЧА2)
- 10 кровь и темный пьяный разгул / кровь и огонь, и темный пьяный разгул (ЧА2, БМАП)
- 11 совершенно искренно / с искренностью ◊ (ЧА2)
- 21 А Елец – так тот всем вора́м отец. / А Елец – тот всем вора́м отец. (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 26–27 Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой / Взгляд у него был короткий, быстрый, но до жуткости прямой (ЧА2, БМАП)
- 48 воздух судебной залы / воздух судебного зала (ЧА2, БМАП)

³⁵¹ За исключением вариантов стк. 354–355, 362, 363.

- 56–57 как артист, победоносно исполнивший / как артист, исполнивший ◊ (ЧА2)
- 60–61 Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел / а. Но другой мечтательно поглядел б. Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, наискосок глазами, мечтательно поглядел (ЧА2)
- 72 пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. / пощупал замок у ружья. И всю доро(гу) ◊ (ЧА2)
- 73 солдаты точно не шли / они точно не шли ◊ (ЧА2)
- 78–79 мысль о победе, о воле и о жизни / а. мысль о победе и жизни б. мысль о победе, о воле и жизни (ЧА2)
- 81 обратил всю свою ярость внутрь / обратил всю свою ярость на него ◊ (ЧА2)
- 82 как разбросанный по доскам уголь / а. как каленым железом б. как разбросанный по дереву уголь ◊ (ЧА2)
- 84–85 все устремлялись к одному / все сводились к одному ◊ (ЧА2)
- 87–88 пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью / а. пахнет росною(?) трав(ою?) б. пахнет разогретою солнцем травою в. пахнет [каплями] коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкою гарью (ЧА2) / как в ЧА2 var. “в” (БМАП)
- 101 разбегалась мелкая сухая дрожь / начиналась мелкая сухая дрожь ◊ (ЧА2)
- 105 облизывал губы, чмокал / облизывал губы, цмокал (ЧА2, БМАП)
- 113 жирная морда / жирная рожа ◊ (ЧА2)
- 117 ха-ха! / хи-хи! (ЧА2)
- 120 вешать-то буду / вешать буду (ЧА2, БМАП)
- 134–135 как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает / как он, Цыганок, разгуливает ◊ (ЧА2)
- 143 куском нетающего льду / куском нетающего льда (ЧА2, БМАП)
- 148 в форточку / в фортку (ЧА2)
- 150 черт с тобой, вешай сам! – огрызнулся Цыганок / черт с тобой, – огрызнулся Цыганок ◊ (ЧА2)
- 152 чем ближе к казни / чем ближе ◊ (ЧА2)
- 157 как деревянные раскрашенные чурки / как деревянные чурки ◊ (ЧА2)
- 157–158 более стремительные, чем мысли / более стремительные через(?) ◊ (ЧА2)
- 159 кружащийся полет / полет ◊ (ЧА2)

- 164–165 ощупывал шершавые штукатуренные стены / ощупывал толст(ые?) ◇ (ЧА2)
- 166–167 Цыганок стал на четвереньки / Цыганок стал на колени ◇ (ЧА2)
- 167–185 Был он как-то особенно серьезен ~ плача от тоски, от ужаса, / Казалось, в землю кому-то и выл: // – Голубчики... миленькие... да пожалейте же вы меня. Голубчики... миленькие... // Потом вскочил и целый час, не переводя духу, ругался и матерился. И белый как мел солдат, плача от ужаса и тоски, ◇ (ЧА2)
- 172 и не кричал он / не кричал он ◇ (ЧА2)
- 174 полном несказанного ужаса и скорби. / полном ужаса и тоски. ◇³⁵² (ЧА2)
- 179 прислушивался, как выходит / прислушивался, что выходит ◇ (ЧА2)
- 181 Потом вскочил – и целый час / Потом вскочил – и, подойдя к двери, целый час ◇ (ЧА2)
- 188 если не было / если бы(?) не было ◇ (ЧА2)
- 189–190 Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал / Цыганок выл, бранился и кричал ◇ (ЧА2)
- 192 как комок сухой и выветрившейся глины / как кусок высушенной и выветрившейся глины (ЧА2) / как в ЧА2 ◇ (БМАП)
- 202 Вы хоть мыла-то казенного / Вы мыла-то казенного хоть ◇ (ЧА2)
- 208 Уж не пожалейте! / Ужо не пожалейте! (ЧА2)

Глава 5

- 1 5 / V ◇ (ЧА2)
- 1 ПОЦЕЛУЙ – И МОЛЧИ / ПОЦЕЛУЙ И МОЛЧИ (ЧА2, БМАП)
- 4 как делалось обычно / как это делалось обычно (ЧА2, БМАП)
- 11 у Муси и Вернера / у Муси и М(арио) ◇ (ЧА2)
- 13 Василию Каширину / Василию Попову (ЧА2)
- 19 и теперь был в ужасе / и был в ужасе ◇ (ЧА2)
- 32–33 набирал полную грудь воздуха / а. набирал гру(дь) б. набирал полную грудь воздуха (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (БМАП)

³⁵² За исключением вариантов стк. 179, 181.

- 40 полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. / под-
полковник в отставке. ◊ (ЧА2)
- 40–41 Был он весь ровно белый / Был он весь белый ◊ (ЧА2)
- 45–46 Протянул белую сухую руку / Протянул руку ◊ (ЧА2)
- 51–79 Поцеловала в губы ~ морщинистое лицо матери и вско-
чил. / Даже не поцеловали! Сергей не знал, что полковник
целую ночь, затворившись в кабинете, с напряжением всех
своих сил обдумывал этот ритуал, каждую фразу, которую
нужно сказать, движение, которое нужно сделать. Несколь-
ко раз не выдерживал и горько, трясаясь всем телом плакал
в углу клеенчатого холодного дивана. К утру решительно
и строго объявил матери, как она должна держать себя на
свидании. // Сели. Полковник остался стоять, заложив пра-
вую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение,
встретил близко взгляд матери и вскочил. ◊³⁵³ (ЧА2)
- 58 последнюю минуту нашему сыну / а. эту последнюю мину-
ту б. его последнюю минуту в. последнюю минуту нашего
сына (ЧА2) / как в ЧА2 var. “в” ◊ (БМАП)
- 61 в углу клеенчатого дивана / в углу холодного клеенчатого
дивана (ЧА2)
- 63 учил он / говорил он ◊ (ЧА2)
- 67 Николай Сергеевич / Николай Сергеич (ЧА2)
- 78–79 встретил близко морщинистое лицо матери / встретил
взгляд матери ◊ (ЧА2)
- 83 хлопотали за тебя, Сереженька. / хлопотали за тебя, Сере-
женька. Отец... (ЧА2, БМАП)
- 90–93 смерть. Сергей посмотрел на чистенький ~ И вдруг
спросил: // – А как сестра? Здорова? / смерть. // – А как
сестра? – спросил Сергей. – Здорова? ◊ (ЧА2)
- 95 Ниночка ничего не знает / Она ничего не знает ◊ (ЧА2)
- 108 заговорил жене: / грозно зашептал: ◊ (ЧА2)
- 139 Как же я скажу? / Как же я потом скажу? ◊ (ЧА2)
- 145 с такими же глазами. / с такими же налитыми глазами и
его(?) предохраняющий кивок в сторону матери. ◊ (ЧА2)
- 146–163 – Ты, отец, благородный человек. ~ Умри храбро, как офи-
цер. / – Прощай! – еще раз громко сказал отец, а шепотом
добавил: до свидания. ◊³⁵⁴ (ЧА2)
- 151 И оба молча жадно целовали / И оба жадно целовали ◊ (ЧА2)
- 154–155 смотрела с гневом, почти с ненавистью / смотрела с не-
на(вистью) ◊ (ЧА2)

³⁵³ За исключением вариантов стк. 58, 61, 63, 67, 78–79.

³⁵⁴ За исключением вариантов стк. 151, 154–155.

- 165 Вот здесь сидела / Вот здесь сто(яла) ◇ (ЧА2)
- 168 Потом устал от слез / Потом ослабел от слез ◇ (ЧА2)
- 170 К Василию Каширину / К Василию Попову ◇ (ЧА2)
- 171 Василий встретил старуху, шагая / Василий встретил старуху, ходя ◇ (ЧА2)
- 177–178 кончиками черного шерстяного платка / кончиками платка ◇ (ЧА2)
- 187 *После:* какая тут простуда, когда... (с абзаца) / Старуха опять заплакала. ◇ (ЧА2)
- 188–190 И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: “А наш-то с понедельника велел блины ставить”, – но испугалась и заголосила: // – Говорила я ему / И безнадежно махнул рукою. // – Говорила я ему ◇ (ЧА2)
- 198 Про родного отца! / Про родного отца? (ЧА2, БМАП)
- 214 слезами одиночества / слезами человеческого одиночества ◇ (ЧА2)
- 222–223 тем горячее лились слезы / тем горячее становились слезы ◇ (ЧА2)
- 224 выросла, состарилась / выросла и состарилась (ЧА2)

Глава 6

- 1 6. ЧАСЫ БЕГУТ / VI ◇ (ЧА2)
- 3–4 Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть / Каждая(?) четверть часа, каждые полчаса, каждый час ◇ (ЧА2)
- 5–6 отдаленный и жалобный клик / отдаленный кл(ик) ◇ (ЧА2)
- 10 из окрестностей города понаехали / из окрестностей города приехали ◇ (ЧА2)
- 13 так шла к разноголосице / так шла к этой разноголосице (ЧА2) / так шли к разноголосице ◇ (БМАП)
- 16–18 видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются летя. / видеть крохотные свежие и смеющиеся частички воздуха, в дружном полете уносившиеся в безбрежную свободную даль. ◇ (ЧА2)
- 26–28 Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. / а. Точно большие б. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, падали часы откуда-то с высоты в металлическую, тихо звонкую чашу. в. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, падали часы и минуты откуда-то с высоты в металлическую, тихо звонкую чашу. ◇ (ЧА2)

- 28 Или перелетные птицы летели. / а. Или птицы летели.
б. Или перелетные бы(?) птицы летели. ◊ (ЧА2)
- 29 сидели по одному осужденные / сидели по одному заклю-
ченные ◊ (ЧА2)
- 35 особенные в ней были правила / особенные были в ней
правила (ЧА2, БМАП)
- 40 отделенные от всего живого / отделенные ото всего живого
(ЧА2)

Глава 7

- 2-38 Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук ~ А Муся была
счастлива. / Муся шагала. (ЧА2) / как в ЧА2³⁵⁵ (БМАП)
- 6-7 ее же самой она как бы не касалась / ее же самой как бы не
касалась ◊ (БМАП-Н)
- 39-40 в большом, не по росту, арестантском халате / в большом
арестантском халате ◊ (ЧА2)
- 42 Рукава халата были ей длинны / Рукава халата были длин-
ны ◊ (ЧА2)
- 43 и тонкие, почти детские, исхудалые руки / и тонкие, почти
детские, руки ◊ (ЧА2)
- 55 как мучатся / как мучаются (ЧА2, БМАП)
- 61 чтобы умереть скромно / чтобы умереть чес(тно?) ◊ (ЧА2)
- 66-67 она вовсе не виновата в том, что / она вовсе не виновата,
что ◊ (ЧА2)
- 67-68 ее, молоденькую, незначительную, подвергают / ее подвер-
гают ◊ (ЧА2)
- 69 Муся искала / она иск(ала) ◊ (ЧА2)
- 71 придало бы ей настоящую цену / придало ей настоящую
цену (ЧА2, БМАП)
- 72 Но... / Но?.. (ЧА2, БМАП)
- 76 то особенное, что / то, что ◊ (ЧА2)
- 84 думает Муся / шепчет Муся ◊ (ЧА2)
- 91-92 приблизилась к неведомому солнцу / приблизилась к
солнцу ◊ (ЧА2)
- 100 О каком же еще бессмертии / О каком еще бессмертии
(ЧА2)
- 105 Смотри! Это ты! / Смотри! Это ты! (ЧА2, БМАП)

³⁵⁵ После создания БМАП Андреевым была написана вставка, заменяющая нача-
ло главы и близкая к ОТ (см. "Редакции", БАВ). Новый текст был напечатан
и добавлен в БМАП со знаками вставки, позднее этот фрагмент-вставка
(обозначается как БМАП-Н) также подвергался авторской правке (см. ва-
риант далее).

- 107 Нет. Это не я. / Нет. *Это* не я. (ЧА2, БМАП)
- 120–121 нить жизни не обрывалась / нить не обрывалась ◊ (ЧА2)
- 123 переживают их казнь / переживают их см(ерть) ◊ (ЧА2)
- 126–127 надевали с Василием на пояса разрывные снаряды / надевали с Василием разрывные снаряды ◊ (ЧА2)
- 132 Чего же теперь он испугался? / Чего же теперь он так испугался? ◊ (ЧА2)
- 137 рядом с нею своею четкой / рядом с нею своей четкой (ЧА2)
- 151 не хотелось доказывать дальше / не захотелось доказывать дальше (ЧА2, БМАП)
- 152–153 не хотелось ее мысли / не хотелось Мусиной мысли ◊ (ЧА2)
- 156–157 в этот гармоничный / в этот музыкальный ◊ (ЧА2)
- 160–161 бубенцы звенели / бубенцы звонили (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 161–162 растворилось во тьме усталое тело / растворилось во тьме усталое тело и становилось без(?) ◊ (ЧА2)
- 162–163 спокойно творила яркие образы / спокойно творила ра(достные?) ◊ (ЧА2)
- 169 грезить с легко закрытыми глазами / грезить с закрытыми глазами ◊ (ЧА2)
- 177–178 звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря / звона часов, шелеста ветра на железной крыше, скрипа фонаря ◊ (ЧА2)
- 179–180 как болезненные галлюцинации / как галлюцинации ◊ (ЧА2)
- 190 и тут же выправляется / и тотчас выправляется (ЧА2) / и точно выправляется ◊ (БМАП)³⁵⁶
- 191 совершенно незнакомый / какой-то совершенно незнакомый ◊ (ЧА2)
- 191–192 бодрый праздничный марш / бодрый марш ◊ (ЧА2)
- 210 туда, где несутся / туда, где с ◊ (ЧА2)
- 215 все спокойнее и тише дыхание Муси / все спокойнее дыхание Муси ◊ (ЧА2)
- 217–218 Завтра, когда будет всходить солнце, это / Завтра, это ◊ (ЧА2)
- 226 просто чудится от тишины / а. кажется от тишины б. просто кажется от тишины (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” ◊ (БМАП)
- 227 Вот бесшумно / Бесш(умно) ◊ (ЧА2)

³⁵⁶ *Машинистка неправильно прочла слово “тотчас”, и автор исправил его уже на новый вариант, который вошел в ОТ.*

- 230 Звонят и поют куранты / Звонят и поют часы (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 233 ползут к своей черной вершине / ползут к черной вершине ◊ (ЧА2)

Глава 8

- ¹ 8. ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ / ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И УЖАС (ЧА2) / 8. ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И УЖАС (БМАП)
- ⁴ здоровый, веселый юноша / здоровый, немного флегматичный юноша ◊ (ЧА2)
- 11–12 все в жизни весело, все в жизни важно / все в жизни важно ◊ (ЧА2)
- ²⁷ в роковое утро / в то роковое утро (ЧА2)
- ²⁷ перед уходом / перед выхо(дом) ◊ (ЧА2)
- 42–43 по необыкновенно рациональной системе / по системе (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 45–46 все предписанные восемнадцать упражнений / все предписанные двенадцать упражнений (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 51–52 кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает / кротко, не подозревая, что солдат просто ◊ (ЧА2)
- 65–66 невыносимее делались ощущения / невыносимее становились мгновенные ощущения ◊ (ЧА2)
- ⁷⁵ для тех, кого вешать, не годится / для тех, кого вешать, Мюллер не годится ◊ (ЧА2)
- 77–78 Попробовал также поменьше есть / Попробовал еще поменьше есть ◊ (ЧА2)
- ⁸¹ выливал половину горячего в ушат / выливал половину горячего в дыру спускового(?) ◊ (ЧА2)
- ⁸⁴ по вялым, обмякшим мускулам / по обмякшим мускулам ◊ (ЧА2)
- ⁸⁶ не такой огневый / не такой огневой (ЧА2)
- ⁹¹ И с нею / А с нею ◊ (ЧА2)
- ⁹² тоска о жизни / тоска по ◊ (ЧА2)
- 116 Прошелся по камере, растопырив руки / Прошелся по камере, про(должая) ◊ (ЧА2)
- 117 как женщина в новом платье / как женщина, примеряющая новое платье ◊ (ЧА2)
- 127 Этого еще не доставало, чтобы черт их побрал! / а. Это еще не доставало! б. Это еще не доставало, чтобы черт их побрал! (ЧА2)

- 130 избегая всякого движения / избегая каж(дого) ◇ (ЧА2)
 131 всякая мысль было безумие / всякая мысль, всякое ◇ (ЧА2)
 133–134 и земля, и жизнь / и жизнь ◇ (ЧА2)
 134–135 все до самого конца / до самого конца ◇ (ЧА2)
 140 на неведомом языке / на чужд(ом) ◇ (ЧА2)
 143 не было иного слова / не было слова ◇ (ЧА2)
 147 вдруг увидел самого Бога / а. у(видел) б. вдруг увидел бы
 самого Бога ◇ (ЧА2)
 147–148 хотя бы и знал / хотя и знал бы ◇ (ЧА2)
 151 произнес он и качнул головою / произнес он, поднимая ◇
 (ЧА2)
 156 Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому / И к
 новому ◇ (ЧА2)
 157–158 быстро разделся догола / разделся догола ◇ (ЧА2)
 164 Щеки его покраснелись / Щеки покраснелись ◇ (ЧА2)
 167–168 обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей / обрисо-
 вались под тонкой кожей все ребра ◇ (ЧА2)
 168 дело в том, Мюллер, что есть еще / дело в том, что есть
 еще ◇ (ЧА2)

Глава 9

- ¹ 9. УЖАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО / а. 10. СРЕДИ МЕХА-
 НИЧЕСКИХ КУКОЛ б. 10. УЖАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
 (ЧА2)
 12 и прежнее, молодое ушло куда-то / и прежнее, молодое,
 умное, ушло куда-то ◇ (БМАП**³⁵⁷)
 13 пришедшее из темноты / вышедшее из темноты (ЧА2) / как
 в ЧА2 ◇ (БМАП**)
 14 К нему страх смерти пришел сразу / а. как в тексте
 б. К нему страх явился сразу (БМАП**)
 18 шел на опасность и смерть / шел на опасность, на смерть ◇
 (ЧА2)
 19 держал в собственных руках / держал в своих руках ◇
 (ЧА2)
 22–23 словно старушечий страшок / точно старушечий страшок ◇
 (ЧА2)
 27–28 спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая / спасаю-
 щихся от трамвая и лошадей ◇ (ЧА2)
 35 воплощением воли, жизни / воплощением воли и жизни ◇
 (ЧА2)

³⁵⁷ ** здесь и далее означает рукописную правку текста машинисткой
 (А.И. Андреевой).

- 37 в глухую и безгласную вещь / в глухую и немую(?) вещь ◊
(ЧА2)
- 43 работу над ним исполняют люди / работу исполняют люди ◊
(ЧА2)
- 46 не то механических кукол / или(?) механических кукол ◊
(ЧА2)
- 54–55 потом они расходятся / потом *они* расходятся (ЧА2,
БМАП)
- 57 все вещи ожили / все вещи приобрели жизнь ◊ (ЧА2)
- 59 шкаф, стул / шкаф, стул (ЧА2, БМАП)
- 60–61 говорили бы по-своему между собою / говорили бы
по-своему ◊ (ЧА2)
- 61 шкаф, стул / шкаф, стул (ЧА2, БМАП)
- 64–65 дверь с глазком, звон / дверь с глазком, вся ◊ (ЧА2)
- 65–66 аккуратно вылепленная крепость / вся крепость ◊ (ЧА2)
- 66 та механическая кукла / та кукла ◊ (ЧА2)
- 69 не было ужасом / не было с(трахом) ◊ (ЧА2)
- 73–74 свой великий и загадочный смысл / свой загадочный и
странный(?) смысл ◊ (ЧА2)
- 79–80 судят его и что-то говорят / судят и что-то говорят ◊
(ЧА2)
- 82 начинает сходить с ума и понимает это / начинает сходить
с ума ◊ (ЧА2)
- 83–84 искусно сделанная механическая кукла / искусно сделан-
ная кукла ◊ (ЧА2)
- 90 поскрипывание несмазанных колес / поскрипывание неза-
мазанных колес (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 90–91 на один миг снова мелькнуло / на один миг мелькнуло сно-
ва (ЧА2) / на один миг мелькнуло ◊ (БМАП)
- 110 подставить грудь под чьи-то удары / подставить грудь под
какие-то удары ◊ (ЧА2)
- 112–113 о своей “всех скорбящих радости” / о своей “всех скорбя-
щих радость” (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП**)
- 114 в душе его / в его душе ◊ (ЧА2)
- 123–124 поддержки Ваську Каширина / поддержки Ваську Попова ◊
(ЧА2)
- 125–126 Давно еще, когда он был на первом курсе университета и
покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления
в общество / а. Давно, еще когда он покучивал, еще до
вступления б. Давно, еще когда он покучивал, еще до того,
как он стал учиться, читать, сойтись с Вернером, вступил
в общество ◊ (ЧА2)

- 127 он называл себя хвастливо и жалко “Васькой Кашириным” / он называл себя жалко “Васькой Поповым” ◊ (ЧА2)
- 134–135 с переходами зевнул / с переходами, вздохнул ◊ (ЧА2)
- 138 Но было пусто и в душе, и вокруг / Но было пусто и мертво и в душе, и вокруг ◊ (ЧА2)
- 140 поп в рясе / поп в ризе ◊ (ЧА2)
- 145–146 как потухающий разбросанный костер / как потухающий костер ◊ (ЧА2)
- 148 сказала угасающая мысль / сказала Василию угасающая мысль ◊ (ЧА2)
- 149 что он, Васька Каширин, может / а. что он, Попов, может б. что он, Василий Каширин, может (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (БМАП)
- 157 сознание, тщетно пытались / сознание, все время тщетно пытались ◊ (ЧА2)
- 160 Но был еще момент / Но был еще один момент (ЧА2, БМАП)
- 163–164 помертвевшими губами / б(елыми?) ◊ (ЧА2)
- 168 тяжело начал собираться / тяжело стал собираться ◊ (ЧА2)

Глава 10

- 4 наслаждался театром, литературой / наслаждался театром, музыкой ◊ (ЧА2)
- 6–7 мог свободно выдавать себя / и мог свободно выдавать себя (ЧА2, БМАП)
- 10–11 без риска быть узнанным / без риска быть уличенным (ЧА2)
- 15 он не знал до сих пор вдохновения / он не знал вдохновения ◊ (ЧА2)
- 20 уничтожило в нем / убило в нем ◊ (ЧА2)
- 23–24 и все же жалкое человеческое лицо / и все же жалкое человеческое лицо (ЧА2, БМАП)
- 26 неважным, скучно-посторонним / неважным, не имеющим цены ◊ (ЧА2)
- 30 Обладал он и еще / Обладал и еще ◊ (ЧА2)
- 38 Вернер понимал / Он по(нимал) ◊ (ЧА2)
- 48 начал эту партию / начал эту игру ◊ (ЧА2)
- 49 И приговор / И судебный приговор ◊ (ЧА2)
- 54 Сжав опущенные руки / Сложив опущенные руки ◊ (ЧА2)
- 55–56 Походка у него была особенная / Походка у него была несколько особенная ◊ (ЧА2)

- 63–64 проверял игру почти сначала / проверял игру сначала ◊
(ЧА2)
- 64 но чувство / но и чувство (ЧА2, БМАП)
- 65 а становилось все сильнее и досаднее / но становилось все
сильнее и неприят(нее) ◊ (ЧА2)
- 70 отвечал он холодно / а. подумал б. ответил он холодно
(ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (БМАП)
- 72 на строгом экзамене, постарался дать / на строгом экзамене,
отдал(?) ◊ (ЧА2)
- 84 близкого дорогого друга / какого-то близкого дорогого друга
◊ (ЧА2)
- 84–85 жив и невредим и смеется. / жив и невредим и смеется со
смехом(?) ◊ (ЧА2)
- 85 После: невредим и смеется. (с абзаца) – Вернер улыбнулся
и, поймав улыбку, с удивлением подумал:³⁵⁸
- 103–104 больше, чем прекрасная юность / больше, чем юность ◊
(ЧА2)
- 107–108 Словно шел по узкому / Словно он шел по узкому (ЧА2)
- 109 а на другую видел / и на другую видел (ЧА2, БМАП)
- 114–115 стремительностью всепроникающего взора / стремительностью
проникающего ◊ (ЧА2)
- 120–121 порою вызывало даже отвращение / порою даже отвращение
◊ (ЧА2)
- 133 как молодо человечество / как молодо еще человечество ◊
(ЧА2)
- 135 непростительным и гадким / непростительным, гадким ◊
(ЧА2)
- 137 блистающий искрами гениальности / блещущий искрами
гениальности ◊ (ЧА2)
- 138 ошибки и жестокие ушибы / ошибки, жестокие ушибы ◊
(ЧА2)
- 139 вдруг неожиданно улыбнулся / подум(ал) ◊ (ЧА2)
- 145 без обычной сухости в положении тела / без обычной сухости
и каляности в положении тела (ЧА2, БМАП)
- 147 Произошло еще новое / Произошло и еще новое (ЧА2)

³⁵⁸ Далее в РС1 сохранился ранний вариант финала главы 10, относящийся к ЧА2, который был также отражен в ранней версии БМАП; см. “Редакции”, ЧН4.

Глава 11³⁵⁹

- ¹ 11. / 10. (ЧА2)
- ³⁻⁴ со сводчатым потолком / со сводчатыми потолками (ЧА2)
- ⁷ пожали руки, холодные как лед / пожали руки – и были
руки холодные, как лед (ЧА2) / пожали руки – холодные
как лед (БМАП)
- ⁹⁻¹⁰ когда они были вместе, / когда они были вместе, как пре-
жде ◊ (ЧА2)
- ¹¹ чтобы не увидеть / чтобы не увидеть того ◊ (ЧА2)
- ²⁰⁻²¹ не договаривали начатой фразы / не договаривали ф(разы) ◊
(ЧА2)
- ²¹ или считали ее сказанной / но считали ее сказанной (ЧА2)
- ²¹ не замечали этого / и не замечали этого (ЧА2, БМАП)
- ²³ которые ходили в очках / которые всю жизнь ходили в
очках (ЧА2)
- ²⁴ все часто и резко оборачивались / и все часто и резко обо-
рачивались (ЧА2, БМАП)
- ³² Что это, Мусечка? / Что это? ◊ (ЧА2)
- ³⁷⁻³⁸ совсем ничего не скажет / совсем не ответит ◊ (ЧА2)
- ⁴⁶ с мгновенною тоскою / с мгновенной тоскою (ЧА2)
- ⁴⁷⁻⁴⁸ говорят только могиле, сказал / говорят только могиле,
прошептал ◊ (ЧА2)
- ⁵³ Вернер, что с тобой? / Вернер, что с тобою? (ЧА2, БМАП)
- ⁵⁴ И отчего ты весь такой... светлый и мягкий? / И отчего ты
весь такой... мягкий? ◊ (ЧА2)
- ⁵⁷ также усиленно выражая то, что он чувствовал / так же
усиленно выражая, что чувствовал ◊ (ЧА2)
- ⁶⁶⁻⁶⁷ светясь взорами / светясь взором (ЧА2)
- ⁷¹ Я тут о нем плачу / Я о нем плачу ◊ (ЧА2)
- ⁷⁷ постепенно становились они такими / понемногу станови-
лись они такими ◊ (ЧА2)
- ⁷⁹ с чрезвычайною серьезностью / с чрезвычайной серьезно-
стью (ЧА2, БМАП)
- ⁸²⁻⁸³ разрешили расстаться парами / разрешили расстаться по
парам (ЧА2)

³⁵⁹ Две последующие главы ЧА2 располагаются в РС1. Далее ранний слой ЧА2 (на листах, перенесенных в рукопись из ЧА1, которые целиком заменены на новые или существенно исправлены) в вариантах не учитывается. Соответствующий текст с уточняющими примечаниями о позднейшей правке помещен в ЧА1 (см. "Редакции").

- 84–85 старались выказать свое человеческое отношение / старались высказать свое человеческое отношение (ЧА2, БМАП)
- 91 Когда вышли во двор, влажная темнота / Когда вышли во двор, те(мнота?) ◊ (ЧА2)
- 94 нежно пронизала все вздрогнувшее тело / нежно пронизала вздрогнувшее тело ◊ (ЧА2)
- 96–97 запахла тающим снегом, – безграничную ширью / запахла тающим снегом и безграничную ширью (ЧА2)
- 100–101 А потом ударит / Но ударит ◊ (ЧА2)
- 105 точно жалея выпускать из легких / жалея выпускать из легких ◊ (ЧА2)
- 112 окружали каждый экипаж конвойные / окружали каждый экипаж конвои конные ◊ (ЧА2)
- 113–114 хлябали по мокрому снегу / хлябали по снегу ◊ (ЧА2)
- 119 Куда? Куда же он едет? Ах да! / Куда? Ах да! ◊ (ЧА2)
- 120 в углу кареты / к углу кареты (ЧА2, БМАП)
- 121–122 при косом луче от фонаря / при последнем луче от фонаря ◊ (ЧА2)
- 125 Тот не ответил. И только когда тронулась карета, / Оно не ответило. И только, когда тронулась карета и уже прошли ворота, ◊ (ЧА2)
- 137 Я хозяина резал ножом. Деньги крал. / Я хозяина резал ножом. Меня не надо вешать. ◊ (ЧА2)
- 138 что Янсон засыпает / что Янсон засн(ул) ◊ (ЧА2)
- 139 нашел его вялую руку / нашел его руку ◊ (ЧА2)
- 139 вяло отобрал руку. / вяло отобрал руку и сказал: ◊ (ЧА2)
- 142 Вернер снова нашел руку эстонца / а. Вернер снова нашел руку товарища б. Вернер снова нашел руку латыша ◊ (ЧА2)
- 142–143 и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. / а. и обеими руками, сухими и горячими, крепко зажал ее. б. и крепко зажал ее между своими сухими и горячими ладонями. (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (БМАП)
- 146 навозом и кожей от мокрых сапог / навозом с кожей от мокрых сапог (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 151–152 как будто возвращалась назад / как будто поворачивала назад ◊ (ЧА2)
- 153–154 сквозь опущенные густые занавески в окна пробивался / а. сквозь опущенные густые занавески на окна пробивался б. сквозь опущенные густые занавески в окна

- пробивался (ЧА2) / а. как в тексте б. как в ЧА2 вар. "б" (БМАП)
- 155 потом вдруг после одного поворота / после по(ворота) ◇ (ЧА2)
- 157 к С-скому вокзалу / к С-кому вокзалу (ЧА2)
- 158–159 колено Вернера дружески билось / колено Вернера било(сь) ◇ (ЧА2)
- 162 У него слегка кружилась голова / Очевидно, у него слегка кружилась голова ◇ (ЧА2)
- 164 сжал руку эстонца / сжал руку латыша ◇ (ЧА2)
- 165–166 этому маленькому сонному человеку / этому маленькому сонному человечку (ЧА2)
- 174 страшно смешливые люди / странно смешливые люди (ЧА2, БМАП)
- 179 они едут на какой-то праздник; / они едут на какой-то праздник, мрачный, но торжественный и необыкновенный праздник; (ЧА2)
- 188–189 жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку / жандарм отдерет руку ◇ (ЧА2)
- 193 Наконец встал. / Наконец стал. (ЧА2, БМАП)
- 196 который на пути безмолвно ожидал / который безмолвно ожидал ◇ (ЧА2)
- 197 ни ярких огней, ни суеты / ни огней, ни суеты ◇ (ЧА2)
- 198–199 скучно огромной, тягучей, томительной скукой / скучно какой-то огромной, тягучей, томительной скукой ◇ (ЧА2)
- 205 двигались к тускло освещенным вагонам / двигались к освещенным) ◇ (ЧА2)
- 205–206 Вернер очутился возле Сергея Головина / Вернер оказался возле Сергея Головина ◇ (ЧА2)
- 209–210 отвечая также зевотой / отвечая такой же зевотой (ЧА2)
- 215 А какое, впрочем, мне дело / А какое мне дело ◇ (ЧА2)
- 220–221 повис в руках жандармов, ноги его волоклись, / повис в руках жандармов, волоча ноги, ◇ (ЧА2)
- 221–222 носки скребли дерево / носки скребли асфальт ◇ (ЧА2)
- 223 смутно копируя / повторяя ◇ (ЧА2)
- 224 Но, всходя на площадку в вагоне / а. Но всходя в вагон б. Всходя в вагон ◇ (ЧА2)
- 225 взял его за локоть, чтоб поддержать / а. взял его за локоть, чтобы поддерживать(?) б. взял его за локоть, чтобы поддержать (ЧА2) / как в ЧА2 вар. "б" (БМАП)

- 244–245 Не знаю, Муся, но думаю, что нет, – ответил Вернер
серьезно и вдумчиво. / Нет, Муся, смерти нет, – решитель-
но ответил Вернер. ◊ (ЧА2)
- 251 Побледневшие несколько щеки / Щеки ◊ (ЧА2)
- 257–258 крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму /
крикнул он, останавливаясь, сердито глядевшему, утом-
ленному жандарму ◊ (ЧА2)
- 262–263 глаза его глядели дико / глаза его ди(ко) ◊ (ЧА2)
- 267 и быстро провел рукою по шее / и провел рукою по шее ◊
(ЧА2)
- 273 на мгновение дольше остановился на Мусе / на мгновение
дольше остановившись на Мусе (ЧА2)
- 278–279 Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в ком-
панию затесался. На том свете всем места хватит. / Душе-
губ. ◊ (ЧА2)
- 280 из-под взлохматившихся волос / из-под лохматившихся
волос ◊ (ЧА2)
- 282 и даже с видимым участием / и даже, казалось, с участием ◊
(ЧА2)
- 283 несколько раз похлопал Вернера / а. несколько раз всех
похлопал б. несколько раз похлопал Ян(сона) ◊ (ЧА2)
- 289–290 а вот энтот-то ваш / а вот энтот-то барин ◊ (ЧА2)
- 298–299 Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слег-
ка шевельнул / Янсон слегка шевельнул ◊ (ЧА2)
- 305–306 и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился
на нее / и теперь резко и прямо уставился на нее ◊ (ЧА2)
- 310 Покраснев / С(легка) ◊ (ЧА2)
- 310–311 с несколько смущенной улыбкой, Муся также прямо смотре-
рела / Муся несколько смущенно, но так же прямо смотре-
ла ◊ (ЧА2)
- 320–321 с таким простым, разумным видом / с таким простым и
разумным видом (ЧА2, БМАП)
- 324 И тут наступит смерть – вечность – великая тайна. /
И тут – наступит смерть. Как можно к смерти, как к про-
стой станции, подъехать в вагоне? ◊ (ЧА2)

Глава 12

- 1 12. / 13. (ЧА2)
- 6 он возвращался домой / он возвращается домой (ЧА2,
БМАП)
- 19–20 сказали одно и то же слово / сказали одно слово ◊ (ЧА2)
- 27 Дай ему папиросу / Дайте ему папиросу ◊ (ЧА2)

- 29 как пальцы Янсона брали папиросу / как руки Янсона брали папиросу ◊ (ЧА2)
- 29–30 изо рта Янсона вышел синий дымок / изо рта Янсона вышел дымок ◊ (ЧА2)
- 36 и бледный, с удивлением / и с удивлением ◊ (ЧА2)
- 38–39 из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок / а. из конца которой маленькою(?) струйкою бежал дымок б. из конца которой крутящейся ленточкой бежал дымок ◊ (ЧА2)
- 44 у которого рука с папиросой / у которого руку с папиросой ◊ (ЧА2)
- 50 В драке-то оно все веселее / В драке-то оно веселее ◊ (ЧА2)
- 68 лицо стало иссиня-черное / лицо стало иссиня-черным (ЧА2)
- 83–84 говорил беззвучно, страдал без страдания / говорил беззвучно, шагал бесшумно, страдал без страдания (ЧА2, БМАП)
- 84 выходили из вагона / выходили из вагонов ◊ (ЧА2)
- 84–85 разбивались на пары / разбивались на кучки ◊ (ЧА2)
- 94 и руки невольно хватались за товарища / и рука невольно хваталась за товарища (ЧА2)
- 95 трудно, по цельному снегу двигались / трудно двигались ◊ (ЧА2)
- 96 Чей-то голос / Кто-то ◊ (ЧА2)
- 110 Говорил: рано выезжаем. / Говорили: рано выезжаем. ◊ (ЧА2, БМАП)
- 130 Муся звучно отозвалась / Муся звучно сказала ◊ (ЧА2)
- 135–136 подчиняясь звуку голоса / повторил ◊ (ЧА2)
- 147–148 Вдруг остро запахло нашатырным спиртом. / Вдруг запахло нашатырным спиртом. ◊ (ЧА2)
- 159–160 – Буде, батя, дурака ломать; ты меня простишь, а они меня повесят. Ступай откудова пришел. / – Ты, батя, меня простишь, а они повесят. На что же мне твое прощение? Ступай лучше, откуда пришел. (ЧА2) / а. как в ЧА2 б. – Ты, батя, меня простишь, а они повесят. На что же мне твое прощение? Ступай лучше, батя, откуда пришел, будя дурака ломать. (БМАП)
- 166 который уже стоял на ногах / который уже стоял ◊ (ЧА2)
- 195 Как же это? Господи! / Как же это? Господа! (ЧА2)
- 197 Пойдемте со мной. / Пойдемте со мною. (ЧА2)
- 205 Не брезгаешь? / Не брезгуешь? (ЧА2, БМАП)

- 210 Он взял ее пальцами за плечи / Он взял ее за плечи ◊
(ЧА2)
- 211 поцеловал в губы, в нос, в глаза / поцеловал в губы, в гла(за) ◊
(ЧА2)
- 221 Ружье подыми / Ружье возьми ◊ (ЧА2)
- 240 боясь, что еще могут отнять / боясь, что ее еще могут от-
нять (ЧА2)
- 246 Поняла. Что же, идите. / Поняла. Что ж, идите. (ЧА2)
- 254–255 все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня. /
все серые в разгорающемся рассвете. ◊ (ЧА2)
- 256 вдруг заговорила Таня и вздохнула / сказала Таня тихо и
вздохнула (ЧА2) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)

Варианты прижизненных изданий
(АШ, Ш, Пр)

Глава 1

- 32–33 входившей / входивший (АШ, Ш)
- 157 назначил час для самоубийства / час для самоубийства на-
значил (Ш, Пр)
- 160 не может про себя сказать / не может сказать (АШ, Ш)
- 189–190 невыносимо было смотреть / невыносимо смотреть (Пр)

Глава 2

- 27–28 и снова продолжали / снова продолжали (Пр)
- 75 во всей грязной казенной зале / во всем грязном казенном
зале (АШ, Ш, Пр)

Глава 3

- 42 был как слепой: / был – как слепой: (Пр)
- 105–106 незнакомую важную залу / незнакомый важный зал (АШ,
Ш, Пр)
- 137 из залы / из зала (АШ, Ш, Пр)
- 232 Глядел на него спокойно и важно говорил: / Глядел на него
спокойно и важно и говорил: (Ш, Пр)
- 246 долго обдумать / долго обдумывать (Ш)
- 281 ступил / вступил (АШ, Ш, Пр)
- 296 когда уже подняли / когда его уже подняли (АШ, Ш)
- 305 с помутившимся мозгом / с помутившимися мозгами (АШ,
Пр)
- 351 папирску / папиросу (АШ, Ш, Пр)

Глава 4

- 4 Орловской губернии, Елецкого уезда / орловской губ., елецкого уезда (Ш)
10 кровь и темный пьяный разгул / кровь и огонь и темный пьяный разгул (Пр)
27 короткий, но... / короткий, быстрый, но... (Ш)
48 судебной залы / судебного зала (АШ, Ш, Пр)
118 вешать-то / вешать (Ш)
123 Небось / Небойсь (АШ, Ш)
130 прийди / приди (Пр)
143 льду / льда (АШ, Пр)
156 стал / встал (АШ, Ш, Пр)
169 воздуха / воздуху (Ш)
183 туда-та-та-та / туда-то-та-та (Ш, Пр)

Глава 5

- 4 как делалось / как это делалось (АШ, Ш)
23-24 как смотреть, что думать, что говорить / как смотреть – что думать – что говорить (АШ, Ш)
33 воздуха / воздуху (АШ, Ш)
75 масляная / масляная (Ш)
83 После: Как мы хлопотали за тебя, Сереженька – было: Отец... (АШ, Ш)
102 делалось / сделалось (АШ, Пр)
118 Завтра утром / Завтра, утром (АШ, Ш)
119 как будто / как-то (Пр)
231 коленях / коленах (АШ)

Глава 6

- 35 особенные в ней были / особенные были в ней (АШ, Ш)

Глава 7

- 71 придало бы ей / придало ей (Ш, Пр)
72 Но... / Но? (Ш, Пр)
151 не хотелось / не захотелось (АШ, Ш, Пр)

Глава 8

- 62-63 тело, которое не удавалось / тела, которого не удавалось (Пр)

Глава 9

- 59 шкап / шкаф (АШ, Ш)
61 шкап / шкаф (АШ, Ш)

- 64 через / чрез (Пр)
169 папироску / папиросу (АШ, Ш, Пр)

Глава 10

- 77 ответил / отвечал (Пр)

Глава 11

- 18 Все / и все (Ш)
36 ничего, ничего, сейчас кончится / ничего, сейчас кончится (АШ, Ш)
53 что с тобой / что с тобою? (Ш)
84 выказать / высказать (АШ, Ш)
113 чокали / чекали (АШ)
131 стать / встать (Ш, Пр)
143 зажал / зажал ее (АШ, Ш, Пр)
193 и отдирался / отдирался (Пр)
225 чтоб / чтобы (АШ, Ш, Пр)
310–311 так же прямо смотрела / также смотрела (АШ, Пр)
320–321 простым, разумным / простым и разумным (АШ, Ш)

Глава 12

- 6 возвращался / возвращается (Ш, Пр)
61 поправляла / поправляя (АШ, Ш)
83–84 говорил беззвучно, страдал без страдания / говорил беззвучно, шагал бесшумно, страдал без страдания (АШ, Ш, Пр)
205 Не брезгаешь? / Не брезгуешь? (АШ)

МОИ ЗАПИСКИ

(С. 111)

ЧН

⟨⟨л. 1⟩⟩

НАША ТЮРЬМА

Мне было двадцать три года, я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики¹ – когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейших оснований сомневаться, если я скажу, что я был совершенно не виновен в том страшном и чудовищном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей приговорили меня к пожизненному заключению в одиночной тюрьме. Просто – роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим судьям: нет, они были совершенно правы, совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Впоследствии, в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз приходил к непоколебимому убеждению в своей виновности и выносил себе обвинительный приговор.

Я знаю, что² в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь пять или шесть лет, меня легко могли ⟨⟨л. 2⟩⟩ бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, я просто не вправе просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова “жертва судебной ошибки”, как выражались, к моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Ошибки нет там, где при совокупности определенных данных нормально устроенный и развитой мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу.

¹ Было философии(?)

² Далее было: сейчас

Я осужден справедливо, хотя и не совершил преступления – такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю в тюрьме и на земле мои последние годы.

II

Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже – да простится мне эта маленькая нескромность! – даже преклонения перед моею душевной ясностью, едва ли могут представить, каким я явился в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшиеся над моею головою и убелившие мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мн(о)ю роковые двери.

Не одаренный литературным талантом, который, в сущности, есть только неудержимая склонность к вымыслу и лжи, я постараюсь ³{(л. 3)} со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя – в ту давнишнюю пору.

Это был почти юноша, двадцати трех лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава⁴ несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками жизнерадостности, – все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности.

И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, совершенно бесцельно кричал о моей невинности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в дверь и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры; и в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства. Конечно, душевная и умственная сторона моей

³ Далее, до слов “разум и справедливость” включительно (начало л. 4), текст восстановлен по первому слою соответствующих двух фрагментов, перенесенных из ЧН в ЧА. Восстановленный текст помещен в фигурные скобки

⁴ Было. характера

жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной мстью, наконец всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкою и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой (л. 4) узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другою бросал в черную⁵ пучину все высокие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость.}

В некоторое оправдание я могу привести то обстоятельство, что как раз в это время девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моей женой, вышла замуж за другого. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, – сам присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы она неизвестно для чего разделила мою участь. В настоящее время она счастливая и уважаемая мать и уже бабушка многочисленных внуков, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак. Должен сознаться, что в то время, однако, я упорно размышлял, даже мечтал о том, чтобы выйти на свободу и убить ее; и судьи, осудившие меня за убийство, к(отор)ого я не совершал⁶, были недалеко от истины, подозревая во мне убийцу.

Мрачности моего тогдашнего мирозерцания содействовали и некоторые другие, вполне, впрочем, естественные обстоятельства. Так, умерла моя мать от огорчения и скорби за меня; теперь я понимаю, что этих причин было бы недостаточно для смерти, если бы ее организм не был расшатан раньше болезнями и неудачами, но тогда и это показалось мне одним из жесточайших проявлений (л. 5) мировой несправедливости и вызвало новый поток бесцельных и кощунственных проклятий. Далее, на свидания с близкими, которые разрешались мне раз в полгода, вскоре перестали приходиться мои друзья, и я остался совершенно одинок в своей каменной могиле. И это – особенно в первый раз, когда я тщетно ждал в пустой приемной мои положенные полчаса, – также сильно огорчило и взволновало меня, все еще не могшего по-

⁵ черную вписано.

⁶ к(отор)ого я не совершал вписано.

нять, что живой должен подчиняться законам жизни, а не смерти, и не поэтического вымысла.

Так печально прожил я пять или шесть лет.

III

Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда всего меньше я мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед благосклонными читателями и особенно читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искусства и страданий я открыл во всех явлениях жизни, да послужит мне оправданием в некоторой, чисто внешней, впрочем, неприличности дальнейшего моего повествования.

Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом “гнусном пороке”, к которому я естественно приведен был всею совокупностью обстоятельств. Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность далее (л. б) бороться с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело вступил на путь искусственного удовлетворения половых потребностей. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным⁷ объектом своих одиноких любовных воцелений я сделал ее, мою бывшую невесту, и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно, с наступлением старости, не погасла во мне потребность в половом общении. Этот факт, сам по себе, быть может, ничтожный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающее не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвою мучительной неудовлетворенности.

Второе – и это случилось почти одновременно со вступлением моим в брак – что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, что бегство из тюрьмы для меня невысказано.

Первое время моего заключения, я, как пылкий юноша⁸-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные

⁷ неизменным *вписано*.

⁸ *Было начато*: ф(антазер)

надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги⁹ и, когда план не удавался, как это и должно было произойти, вызывала новый пароксизм отчаяния и снова заставляла биться¹⁰ головой о стену. Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стены своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреодолимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная *(л. 7)* твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно; пожалуй даже, это был ужас – ужас безнадежности. Но, гася надежды, это чувство гасило и мучительную тревогу, а ум мой, уже тогда¹¹ склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики, начал чувствовать некоторую, пока смутную удовлетворенность, какую испытывает всякий человек при виде правильно разрешенной задачи. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда не только ближайшие стены, но и те, которые со всех сторон обносили нашу тюрьму.

Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро, и в открытое окно вливался живительный, бодрый воздух; и, гуляя по камере, я каждый раз, при повороте, бессознательно взглядывал на окно, где на фоне голубого безоблачного неба резко вычерчивала свой решетчатый контур железная решетка. И вот при одном из таких взглядов я вдруг сперва с волнением, потом с радостью почувствовал, как целесообразно, как изумительно целесообразно сделана решетка. Нисколько не препятствуя доступу воздуха и света, она, однако, толста ровно настолько, чтобы ее нельзя было согнуть при нормальных силах, и вделана в камень так искусно, что вырвать ее без помощи сложных инструментов невозможно.

Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, взглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно *(л. 8)* ценному выводу, что и вся наша¹² тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывающему восторг своею законченностью.

⁹ В рукописи: тревоге

¹⁰ Далее в рукописи: о

¹¹ уже тогда вписано.

¹² наша вписано.

IV

Благодаря предупредительности тюремного начальства, давшего мне некоторые разъяснения о внутреннем распорядке тюрьмы, а также любезности некоторых посетителей, с готовностью познакомивших меня с ее внешним видом, я могу дать довольно точное изображение нашей тюрьмы.

Это огромное пятиэтажное здание, имеющее форму буквы Т, со стенами, сложенными в пять, а местами в шесть¹³ кирпичей. Не будучи оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет старого кирпича и снаружи, как говорят, производит впечатление сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. Небольшие темные, плоские окна с железными решетками естественно завершают это впечатление и всему целому придают характер угрюмой гармоничности. Даже в хорошие дни, когда на нашу тюрьму светит солнце, она не теряет вида мрачной и угрюмой важности и непрестанно напоминает людям, что за преступлением идет, как его законное следствие, и наказание.

Соответствуя внешней выдержанности стиля, внутреннее устройство нашей тюрьмы не оставляет, на мой взгляд, желать ничего лучшего. Чтобы яснее представить это моему читателю, я позволю себе привести пример безумца, который осмелился бы убежать «л. 9» на свободу. Даже допустив, что ему удалось чудом сломать первую дверь с огромным железным замком, мы увидим массу неодолимых препятствий. Ибо за первой дверью его ждет коридор, в котором постоянно, днем и ночью, расхаживают вооруженные тюремщики. А дальше его ждет еще дверь, и еще, и еще, и все они заперты, и все они охраняются; наконец, допустим совершенно невероятное предположение: вот он во дворе, вот над головою его небо, – а стены? А высокие, плоские стены, что трижды каменным кольцом облегают нашу тюрьму?

Варианты чернового автографа (ЧА) и белой машинописи с авторской правкой (БМАП)

- ¹ *Перед: МОИ ЗАПИСКИ – в верхнем правом углу листа помета: 15 августа (ЧА)*
- ¹ *МОИ ЗАПИСКИ /а. НАША ТЮРЬМА //“Горьким смехом моим посмеюся” (эпиграф) б. ТЕМНАЯ ДУША ◊ (ЧА)*
- ² *Повесть – нет (ЧА, БМАП)*

¹³ *Далее было: этажей(?)*

Глава 1

- ³ I / Как я попал в тюрьму ◇ (ЧА)
- ⁴ двадцать семь лет / двадцать четыре года ◇ (ЧА)
- ⁶ среди ночи и ввергли / а. среди ночи, прямо с теплой постели, и ввергли б. среди ночи и ввергли (ЧА) / как в ЧА вар. "б" (БМАП)
- ⁷ рассказывать вам о чудовищном преступлении / рассказывать вам о преступлении ◇ (ЧА)
- ⁹ не получить отвращения к самим себе / не получить отвращения к себе ◇ (ЧА)
- ¹²⁻¹³ культурное общество страны единодушно требовало / культурное общество страны требовало ◇ (ЧА)
- ²¹⁻²² что был совершенно не виновен / а. что совершенно не виновен б. что я был совершенно не виновен (ЧА) / что был совершенно не виноват ◇ (БМАП)
- ²³ единогласно приговорили меня / приговорили меня ◇ (ЧА)
- ²⁴ к смертной казни. Просто роковое / к смертной казни, замененной впоследствии пожизненным заключением в одиночной камере. (ЧА) / а. как в ЧА б. к смертной казни¹⁾ {¹⁾⟨Текст примеч. ¹⁾ по ОТ, ср. вар. стк. 2б)⟩* . Просто роковое (БМАП)
- ²⁶ Примеч. ¹⁾ нет; ср. вар. стк. 24 (ЧА, БМАП)
- ²⁹ могут судить о вещах / могут судить только о вещах ◇ (ЧА)
- ³⁴⁻³⁵ покажется моему любезному и серьезному читателю / покажется моему любезному читателю ◇ (БМАП)
- ³⁷⁻³⁸ воспроизводя во всех подробностях / воспроизводя в памяти во всех подробностях ◇ (ЧА)
- ³⁹⁻⁴⁰ к полному убеждению / к непоколебимому убеждению ◇ (ЧА)
- ⁴¹ одну интересную и поучительную работу / одну очень интересную и поучительную работу (ЧА, БМАП)
- ⁴⁵⁻⁴⁹ и после упорных ~ точно и твердо установленной. / И после долгих стараний мне удалось найти одну чрезвычайно интересную комбинацию: факты оставались те же, что были известны и суду, но только изменялся их порядок, а добавлялся [только] один лишь маленький фактик, событие второстепенной важности, [имеющее всю видимость п(равдоподобия?)], совершенно правдоподобное,

* Здесь и далее в фигурные скобки заключены тексты подстрочных примечаний в повести (которые выделяются соответствующим, более мелким шрифтом).

- не внушающее никаких сомнений; соответствующие объяснения, столь же искусно скомбинированные, дополняли картину и твердо устанавливали мою истинную невиновность. И все это создавал только один [иску(сно?)] сочиненный фактик, да несколько десятков слов, расставленных в известном порядке \diamond^* (ЧА-р**)
- 46 найти одну такую комбинацию фактов, которая / найти такую комбинацию, которая \diamond (ЧА) / найти такую комбинацию фактов, которая \diamond (БМАП)
- 46-47 фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей / фактов, при которой объяснения мои на суде, будучи [по существу] лживыми по существу, [по видимости] \diamond (ЧА)
- 46-47 будучи ложной по существу / будучи лживой по существу (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 54 с его знаменитым яблоком / с его историческим яблоком \diamond (ЧА)
- 55 на котором зиждется вся история / на котором основан(а) вся история \diamond (ЧА)
- 76 доживаю на земле / доживаю в тюрьме и на земле \diamond (ЧА)
- 77-98 И единственная цель, какую руководился я ~ по мере слабых сил моих. / а. И единственная, несколько честлюбивая мечта моя, это внушить моим многочисленным читателям те же чувства радости и покоя – с каковою целью и начал я эти скромные записки. Должен извиниться, что время от времени я буду ссылаться на мой “Дневник заключенного”, полное [об(народование?)] опубликование которого я считаю преждевременным и даже опасным, особенно для людей нашего времени, столь склонных к неверию и пессимизму. И если мой благосклонный читатель вспомнит, какая тяжелая ответственность перед юными, вступающими в жизнь поколениями лежит на нас, людях старшего поколения, он поймет и вполне оценит ту мягкую осторожность, с какою проведу я его сквозь теснины жизни, над ее пропастями и бездонными провалами, на краю которых кружится голова у неопытного человека.

* За исключением вариантов стк. 46, 46-47, 46-47.

** Здесь и далее с помощью сокращения “ЧА-р” отмечаются большие фрагменты (листы), которые относятся к раннему слою рукописи и которые в позднейшем слое заменены фрагментами (листами) с текстом, близким к ОТ, варианты позднейшего слоя ЧА даются ниже вариантов ЧА-р (подробнее см коммент. на с. 655 наст. изд.).

б. И единственная цель, какой [я] руководился я при составлении моих скромных “записок”, это внушить моим любезным читателям чувство безусловного доверия к высочайшей разумности, глубочайшей целесообразности всего совершающегося. Памятуя, какая тяжелая ответственность лежит на нас, людях старшего поколения, у которых берет уроки жизни цветущее юношество и даже солидная зрелость, я с мягкой осторожностью проведу моего читателя сквозь теснины жизни, искусно минуя те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много безрассудных смельчаков нашло геройскую, но бесплодную гибель. ◇* (ЧА-р)

- 85 и красоте²⁾. {²⁾ Как бы мне хотелось ~ высший смысл в существовании человека.} Некоторые / и красоту – к стыду тех безумцев которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клеветают на жизнь. Некоторые (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 89–90 не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка / не сойдет с уст моих улыбка ◇ (ЧА)
- 91 не помрачится моя душа, бестрепетно / не помрачится моя душа, моя ◇ (ЧА)
- 95–96 показаться благосклонному читателю / показаться читателю) ◇ (ЧА)
- 99 Здесь же я должен / Я должен ◇ (ЧА)
- 99–100 по степени надобности / по мере надобности ◇ (ЧА)
- 103 в далекую юношескую пору / в далекую пору ◇ (ЧА)
- 104 всех верований и надежд / всех вер или надежд ◇ (ЧА)
- 105 он местами с очевидностью / он с <очевидностью> ◇ (ЧА)
- 106 находился если не в состоянии / а. находился если не в состоянии б. находился в состоянии если не ◇ (ЧА)
- 108 эта болезнь, то моя осторожность / эта болезнь, то станет вполне понятным ◇ (ЧА)
- 114–115 какая всех старцев / какая у всех старцев ◇ (ЧА)
- 115 и часто даже мудрецами / и часто мудрецами ◇ (ЧА)

Глава 2

- ¹ П / а. Первые годы один<очной камеры?> б. Первые годы тюрьмы ◇ (ЧА) / ГЛАВА ВТОРАЯ (БМАП)
- ¹¹ литературным талантом³⁾, {³⁾ То, что люди называют ~ к вымыслу и лжи.} я постараюсь / литературным талантом, который

* За исключением вариантов стк. 85, 89–90, 91, 95–96.

- в сущности есть неудержимая склонность к вымыслу и лжи, я постараюсь (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 14 почти юноша, 27 лет / почти юноша, 24 лет ◊ (ЧА)
- 15 нрава несдержанного / характера несдержанного ◊ (ЧА)
- 17 самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы / самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы (ЧА, БМАП)
- 20 припадками веселья / припадками жизнерадостности ◊ (ЧА)
- 24 и нередко / и столь часто ◊ (ЧА)
- 26–27 свойстве, самом по себе и хорошем / свойстве, само по себе хорошем (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 28 Примеч. ⁴⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 30 громко и, конечно, бесцельно / громко и, конечно, совершенно бесцельно (ЧА)
- 38 Примеч. ⁵⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 48–49 бросал в черную пучину / бросал в пучину ◊ (ЧА)
- 51 В некоторое оправдание могу / В некоторое оправдание я могу (ЧА, БМАП)
- 55–56 стать моею женой / стать моею женою (ЧА, БМАП)
- 60–61 человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять / а. человека ничтожного и плохого. Я не хотел понять б. человека, хотя и одаренного некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять ◊ (ЧА)
- 65–66 разделила мою участь⁶⁾. {⁶⁾ Особенно диким покажется читателю этот взгляд ~ маленькая шутка.} В настоящее время / разделила мою участь. Особенно диким покажется этот взгляд ~ маленькая шутка! В настоящее время (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 66–67 уважаемая мать, и это лучше / а. уважаемая мать, уже бабушка многочисленных внуков, и это лучше б. уважаемая мать и уже бабушка многочисленных внуков, и это лучше ◊ (ЧА)
- 75 правдивое, пахнувшее духами / правдивое, пахнувшее духами (ЧА, БМАП)
- 76 дьявола / а. дьявола б. Дьявола* (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)

* Как в ЧА, так и в БМАП, когда слово “дьявол” встречается в середине предложения, оно пишется как с прописной, так и со строчной буквы.

- 78 двери моей камеры / двери моей тюрьмы ◊ (ЧА)
- 82 мой последний, горький смех / мой последний смех, горький смех ◊ (ЧА)
- 85 правы судьи, осудившие / правы суды, приг(оворившие?) ◊ (ЧА)
- 87 Мрачности тогдашнего моего мирозерцания / Мрачности тогдашнего мирозерцания ◊ (ЧА)
- 88 события, естественности которых / события, в естественности которых ◊ (ЧА)
- 89 Через два года после брака / Через 2 года после брака ◊ (ЧА)
- 91 как мне передавали / как мне передали (ЧА, БМАП)
- 95–96 черной меланхолии, которая / черной меланхолии, что ◊ (ЧА)
- 99–100 мотивом к совершению убийства / мотивом совершенного мною убийства ◊ (ЧА)
- 100–101 завещала на различные благотворительные цели / завещала различным благотворительным учреждениям ◊ (ЧА)
- 100–102 благотворительные цели⁷⁾. {⁷⁾ Очень характерно то обстоятельство ~ достаточно твердой и обоснованной.} Теперь я / благотворительные цели. Характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее: в приписке к завещанию некоторую, довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Теперь я (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 106–111 Во имя справедливости я должен сказать ~ неподкупную правдивость. / Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец далеко не был примерным мужем и многочисленными изменами доводил мою матушку до отчаяния. ◊ (ЧА)
- 120–121 Но наши жизни, моя в тюрьме / До нашей жизни, моей в тюрьме ◊ (ЧА)
- 123 и иных обязанностей / и иных дел ◊ (ЧА)
- 124–125 исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить / исчезли совсем. Наивно веря, что дружба, как и любовь, должна стоять выше всяких законов (даже физических?), я был совершенно подавлен этой новой, как я называл тогда, изменой. Не могу без улыбки вспомнить ◊ (ЧА)
- 130–162 “Какой ужас, какая боль!.. ~ может ли быть прекрасным вымысел? Разве / В безумии своем я долго не хотел понять, что живой должен подчиняться законам жизни, а не смерти

- и не [поэтическому вымыслу] поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен. // Да и может ли быть прекрасен вымысел? Разве ◊ (ЧА)
- 130–131 “Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! / “Какой ужас, какая боль!.. – восклицал я в горестном недоумении. – Друзья мои, вы оставили меня одного! ◊ (ЧА)
- 140–141 на которое я так горько жалуясь, подобно разуму, есть *преимущество* / на которое я так горько жалуясь, есть *преимущество* ◊ (ЧА)
- 142–143 святые тайны его души⁸. {⁸ Пусть рассудит мой серьезный читатель ~ наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинок, обладает лицом, и морда, вместо лица, у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души.} И, называя / святые тайны его души. [Во что превратила(сь)] Пусть рассудит мой серьезный читатель ~ наблюдают одни и те же [тайны] явности очага и алькова. Только та тварь, что одинок, обладает лицом, и морда, вместо лица, у тех тварей, что не знают одиночества, великого, благодатного, священного одиночества души. И, называя (ЧА) / как в ЧА (последний слой) ◊ (БМАП)
- 155–156 крайнюю степень своего отчаяния⁹. {⁹ В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.} И те, кто / крайнюю степень своего отчаяния, в чем легко убедиться, попробовавши, хотя бы в шутку, столкнуть ее в могилу. И те, кто (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 156 И те, кто удерживают ее / И те, кто удерживает ее (ЧА)
- 160–161 как бы ни был он прекрасен / как ни был он прекрасен ◊ (БМАП)
- 170–171 какого-то неизвестного, уже пожилого человека / какого-то неизвестного, судя ◊ (ЧА)
- 172–173 чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое / чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, с каким ◊ (ЧА)
- 173–174 при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу / при первом прикосновении моих пальцев к разлагающемуся(?), гниющему мясу ◊ (ЧА)
- 175 интересною работой / интересною работою (ЧА, БМАП)
- 182 сам своей неподвижною фигурой / а. своей неподвижною фигурой б. своей неподвижною фигурой (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)

- 184 уподобляясь объекту / уподобляясь самому объекту (ЧА) /
как в ЧА ◊ (БМАП)
185-186 навещала меня прекрасная истина, полным обладанием ко-
торой / навещала меня истина, обладанием которой ◊ (ЧА)

Глава 3

- 1 III / 3. Первые проблески света ◊ (ЧА) / ГЛАВА ТРЕТЬЯ
(БМАП)
5-6 извиниться перед читателями и особенно очаровательными
читательницами / извиниться перед читателями, что
го(ворить?) ◊ (ЧА)
16 Примеч. ¹⁰⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
22 смело ступил на путь / смело вступил на путь (ЧА, БМАП)
24 своих одиноких любовных вождедений / своих одиноких
вождедений ◊ (ЧА)
25 мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту, и / мою
бывшую невесту, и ◊ (ЧА)
30 одинаково оставляя их только в памяти / одинаково остав-
ляет только в памяти ◊ (ЧА)
32 я мог бы передать ему / я мог бы рассказать ему ◊ (ЧА)
33 тоски ожидания / тоски ожиданий (ЧА, БМАП)
38 Этот случай / Этот факт ◊ (ЧА)
43 Примеч. ¹¹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
53 на более важном и существенном¹²⁾. {¹²⁾ Пусть вспомнит мой
благоклонный читатель прелестную сказочку А. Шопенгауэра ~ куда
посылают его выгоды господина.} / на более важном и сущест-
венном – вспомните прекрасную сказочку А. Шопенгауэра
об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем,
что перед самой мордой на палке привязывают кусок ду-
шистого сена. Таким ослом был, к сожалению, и я. (ЧА)*
55-56 по замкнутому кругу / по кругу ◊ (ЧА)
57-58 с жестокими страданиями, терзавшими / с жестоким стра-
данием, терзавшим ◊ (ЧА)
59 в стену / в стены (ЧА, БМАП)
64 это был ужас безнадежности / это был ужас – ужас безна-
дежности (ЧА)
65 Здесь как в моей памяти / Здесь, как и в моей памяти
(ЧА)
66-67 что делал я и чувствовал / что делал я и что чувствовал
(ЧА)

* В БМАП первоначальный текст (скорее всего тот же, что и в ЧА) заклеен новым, с подстрочным примечанием.

- 74 погасило мучительную тревогу / погасило и мучительную тревогу (ЧА, БМАП)
- 74–75 освободило от рабства мой ум / освободило мой ум ◊ (ЧА)
- 80 *Примеч.* ¹³ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 83 моей пробудившейся мысли / моей пробуждавшейся мысли ◊ (ЧА, БМАП)
- 84 подчеркнутое гордое слово / подчеркнутое слово ◊ (ЧА)
- 85 со славным мудрецом древности / а. с великим мудрецом древности б. с славным мудрецом древности (ЧА) / как в ЧА *вар.* “б” ◊ (БМАП)
- 89, 115 весеннее утро^{14), 16)} {^{14), 16)} 6-го мая} / весеннее утро (6 мая) (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 92–93 голубого безоблачного неба / голубого неба ◊ (ЧА)
- 98 *безграничное* постигается / *безграничность* постигается ◊ (ЧА, БМАП)
- 99 введения его / введения ее ◊ (ЧА)
- 100 например включения его в квадрат / например, в квадрат ◊ (ЧА)
- 101–102 в широко открытое окно, не защищенное решеткой, или в / в широко открытое окно, или в ◊ (ЧА)
- 104 *Примеч.* ¹⁵⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 105–106 Скванная руками / Сделанная руками ◊ (ЧА)
- 118–119 *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану* / *что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану* (ЧА, БМАП)

Глава 4

- 1 IV / 4. *Наша тюрьма* ◊ (ЧА) / ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ (БМАП)
- 1 *После: IV – было (с абзаца):* Прежде, чем ◊ (ЧА)
- 5–6 какое занимаю я в нашей тюрьме / какое занимаю я ныне(?) в нашей тюрьме ◊ (ЧА)
- 9 г. начальнику, / г. Начальнику* тюрьмы – ◊ (ЧА)
- 14 подчас составляет довольно изрядную аудиторию / подчас составляет иногда довольно изрядную аудиторию ◊
- 14–15 Не смея вполне принять уверения г. начальника¹⁷⁾ {¹⁷⁾ К сожалению, несколько иронические.} / Не смея вполне принять [слов] уверений, к сожалению, несколько иронических, г. Начальника (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 19–21 что сам г. начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением / а. что и сам

* Такое соотношение вариантов в ЧА и БМАП сохраняется до конца повести.

- г. Начальник, равно и помощник его, нередко посещают меня б. что и сам г. Начальник, равно и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением (ЧА) / а. как в ЧА вар. “б” б. что и сам г. Начальник, равно как и помощники его, нередко оказывают мне честь своим посещением (БМАП)
- 24–25 ответил вежливым отказом / ответил мне вежливым отказом ◊ (ЧА)
- 26–27 таковой план составляет государственную тайну. // Признаюсь, не без некоторого трепета / таковой план составляет государственную тайну. // То, что сейчас расскажу я о нашей тюрьме будет, конечно, далеко неполно, т(ак) к(ак) в основе сведений лежит лишь моя наблюдательность; что же касается внешнего вида тюрьмы, то довольно точное представление о нем мне дали мои любезные посетители, снабдив меня достаточным количеством [изустных и письменных] письменных и изустных описаний, рисунков и даже фотографий. Признаюсь, не без некоторого трепета (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 28 *Примеч.* ¹⁸⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 39 с железными решетками / с железной решеткой ◊ (ЧА)
- 45 *Примеч.* ¹⁹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 49–50 находится, как мне сказали, церковь / находится церковь ◊ (ЧА)
- 65 обвивают нашу тюрьму! / обвивают нашу тюрьму! А сто- рожи! А солдаты! ◊ (ЧА)
- 67 я слышу за дверьми / я слышу за окно(м) ◊ (ЧА)
- 72 я еще не встретил почти человека / а. я еще не встречал человека б. я еще не встречал почти человека (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 76 беспокойной²⁰⁾ {²⁰⁾ <Текст примеч.>}. И для меня / а. беспок- койной. И для меня б. беспокойной. < Текст примеч. ²⁰⁾ > И для меня (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)
- 80 наблюдает за мной / наблюдает за мною (ЧА)
- 83–84 наблюдающий за мною удаляется от окна / наблюдающий за мною удалялся от окна (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 89 Я чувствую / Если бы* ◊ (ЧА)

* На обороте того же листа расположен зачеркнутый фрагмент, который, вероятно, является отвергнутым вариантом стк. 89–95: Конечно, если бы я был убийцей, я не осмелился бы открыть моего изобретения; но теперь уже много лет прошло с тех пор, много людей видели меня спящим и беззаботным и могут, надеюсь, подтвердить, что никогда с уст моих не сходит благожела- тельная и ясная улыбка чистой совести.

- 92–93 это простое и в своей простоте гениальное изобретение / это простое в своей простоте, гениальное изобретение ◊ (ЧА)
- 93–94 законы вращения светил / закон вращения светил (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 100 имени автора / имя автора ◊ (ЧА)
- 100 имени автора²¹⁾ {²¹⁾ (Текст примеч.)}. Окошечко же / а. имени автора. Окошечко же б. имени автора. (Текст примеч. ²¹⁾) Окошечко же (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)
- 103–104 железной ножкой / а. ножкою б. железной ножкою (ЧА)
- 104–106 Конечно, негодя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась / Конечно, арестанта повесили, и администрация тюрьмы легкомысленно успокоилась ◊ (ЧА)
- 111–112 какое его / какво его (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 113 предотвратить происшедшее / предотвратить происшествие ◊ (ЧА)
- 119–120 минуты некоторого колебания, весьма естественного / минуты некоторого колебания, весьма естественные (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 120–133 Читателю, который ~ чары предубеждения”. / Несомненно, что и на моей двери появится окошечко, что и за мною будет наблюдать неусыпный [взгл(яд?)] глаз, изучая все движения моей души – но чего теперь бояться человеку, который не совершал преступления и совесть которого спокойна? ◊ (ЧА)
- 120–121 Читателю, который все же удивится / Читателю, который удивится ◊ (ЧА)
- 129–130 скрыть свою зловещую тайну / сокрыть свою зловещую тайну (ЧА, БМАП)
- 131–132 я не виновен / я невинен (ЧА, БМАП)
- 132–133 ясность духа моего разрушит / ясность духа моего победит ◊ (ЧА)
- 133 Примеч. ²²⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 137 поле для широких и плодотворных наблюдений / поле для широких, плодотворных наблюдений ◊ (ЧА)

- 139 и существуют / не существуют \diamond (ЧА)
- 141–142 делает другой / сделает другой \diamond (ЧА)
- 142 в совместной, дружной работе / в совместной работе \diamond (ЧА)
- 151 будучи на свободе юношей / будучи на свободе, когда-то, юношей \diamond (ЧА)
- 153 60 лет / 65 лет \diamond (ЧА)
- 156 *Примеч.* ²³⁾ нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 158 а также лицом / а также и лицом (ЧА, БМАП)
- 165 Не имея ни семьи, ни друзей / Не имея ни жены, ни детей, ни друзей, ни близких \diamond (ЧА)
- 165–166 я совершенно избавлен / я совершенно избавился* \diamond (БМАП)
- 166–167 какие приносят с собою / какие приносит с собою (ЧА, БМАП)
- 170 *Примеч.* ²⁴⁾ нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 172–173 для широкой, мощной любви / для широкой и мощной любви (ЧА, БМАП)
- 176 *Примеч.* ²⁵⁾ нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 186 проникает иногда веяние того / проникает иногда влияние того \diamond (БМАП)
- 188 *Примеч.* ²⁶⁾ нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 190–191 как река после разлива. К этой категории случайностей / как река после разлива. Так было два года тому назад, когда нашу тюрьму посетила заразительная и опасная болезнь, одних умертвившая, других приведшая к бессмысленному и кратковременному бунту и оставившая в покое более здоровое и крепкое большинство. К этой же категории случайностей (ЧА)
- 200–201 вопль какого-либо животного или перенеся в действительность / вопль какого-либо животного или даже шума \diamond (ЧА)
- 201–202 отрывок собственного сна / а. отрывок своего сна б. отрывок собственного сна (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 202 *Примеч.* ²⁷⁾ нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 208–209 сохраняя их для жизни / сохраняя их \diamond (ЧА)

* В рукописи описка: избавленных

- 214–215 жертвою безумия, отчаяния, тоски – а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал / жертвою безумия, отчаяния, тоски, жестоких угрызений совести – а я победил все! Моей душе я придал ◊ (ЧА)
- 216 ту форму, какую пожелала / ту форму, какой пожелала (ЧА, БМАП)
- 228 что злодей / что преступник ◊ (ЧА)

Глава 5

- 1 V / 5. *Мой разговор с художником* ◊ (ЧА) / ГЛАВА ПЯТАЯ (БМАП)
- 14–15 строптивость, с какой он / строптивость, с какою он (ЧА, БМАП)
- 15 при первом визите / при первом моем визите ◊ (ЧА)
- 17 всегда умиротворяющие / а. всегда успокаивающие? б. всегда умиротворяющую ◊ (ЧА)
- 20 лет двадцати шести–восемью / лет 36–8-ми ◊ (ЧА)
- 22 *Примеч.* ²⁸⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 22–23 Некоторая, вполне, впрочем, естественная, несдержанность в речах, страстная порывистость / Некоторую, впрочем, вполне, естественную несдержанностью в речах, страстною порывистостью ◊ (ЧА)
- 25 из которой с трудом удается / из которой удастся ◊ (ЧА)
- 34 *Примеч.* ²⁹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 37–38 я допускаю единственно из желания сделать приятное / а. я допускаю сделать неприятность? б. я допускаю единственное желание сделать неприятность ◊ (ЧА)
- 45 точным воспроизведением / точной передачей ◊ (ЧА)
- 49–50 и грифель³⁰⁾ {³⁰⁾ (Текст примеч.)}. Таким образом / и грифель. ((Текст примеч. ³⁰⁾) Таким образом (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 52–53 и это будто бы каждый раз доводит его почти до иступления / а. и это будто бы доводит его каждый раз до сумасшествия б. и это будто бы каждый раз доводит его почти до сумасшествия (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 62 *Примеч.* ³¹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 63 вполне понимаю и сочувствую / вполне понимаю и вполне сочувствую ◊ (ЧА)
- 69–70 оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво / оно обречено уже на смерть, оно уже мертво ◊ (ЧА)
- 71 глупец / дурак ◊ (ЧА)

- 81 *Примеч.* ³²⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 88–89 находитеcь в каторжной тюрьме / находитеcь в тюрьме ◊ (ЧА)
- 91 так ведь я же на убийцу похож / ведь я на убийцу похож ◊ (ЧА)
- 92 палец себе на правой руке / палец себе на левой руке ◊ (ЧА)
- 94–96 Творить во что бы то ни стало, творить для мученья, творить, зная, что все это погибнет / Творить во что бы то ни стало, зная, что все это погибнет ◊ (ЧА)
- 97 потом я изложу / потом я объясню ◊ (ЧА)
- 105 удержать его пальцы / удержать его руки ◊ (ЧА)
- 106–107 его ждет новый карцер / его ждет много кар ◊ (ЧА) / его ждал новый карцер ◊ (БМАП)
- 107 подумал я / думал я ◊ (ЧА)
- 108 успокоился, и ласково разбирал рукою / а. успокоился, ко(гда) б. успокоился, и я ласково разбирал рукою (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 110–111 у грязного старьевщика / у какого-нибудь старьевщика ◊ (ЧА)
- 114 *Примеч.* ³³⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 119–132 Умышленно привожу ~ и продолжал упавшим голосом: / Умышленно привожу эту дерзкую фразу, чтобы показать с каким ненормальным субъектом мне пришлось иметь дело благодаря настойчивости г. Начальника тюрьмы. Успокоенный моим добродушным смехом, он снова горячо пожал мне руку и продолжал упавшим голосом. ◊ (ЧА)
- 121 превращается в печать самого злодейства / превращается в печать злодейства ◊ (ЧА)
- 126 Будучи зеленой, морская влага / Будучи зеленой, в(лага?) ◊ (ЧА) / Будучи зеленой, морская волна ◊ (БМАП)
- 128–129 тридцать лет тяготеет обвинение в / тридцать лет тяготеет в ◊ (ЧА)
- 136 дали бы новую... / дали бы новую... говорит он. ◊ (ЧА)
- 137 возвратите ее начальству. / возвратите ее тогда. ◊ (ЧА)
- 139 подталкивает мою руку / подталкивает уже мою руку ◊ (ЧА)
- 142 часть платья художника, висевшего на стене, / часть платья художника, ◊ (ЧА)
- 145 как бы от старческой дрожи в ногах / как бы от усталости ◊ (ЧА)

- 146 *вся стена за ней была испещрена рисунками. / вся стена за ней была испещрена рисунками!* (ЧА, БМАП)
- 150 *Примеч. ³⁴ нет (ЧА) / как в ЧА* ◊ (БМАП)
- 156 *сказал художник / ответил художник* ◊ (ЧА)
- 170 *Из руки? / Это не совсем целесообразно. Гораздо легче и гораздо в большем количестве ее можно достать из носа.* ◊ (ЧА)
- 170 *как же вы сумели укрыться / как вы сумели укрыться* ◊ (ЧА)
- 173 *А вы разве / Но разве* ◊ (ЧА)
- 175 *перед собою / перед собой* (ЧА)
- 177–178 *которые не в состоянии и просто не умеют лгать / которые не в состоянии и даже лгать* ◊ (ЧА)
- 192–193 – По существу же вопроса я скажу вам следующее. В нашей тюрьме / *а.* – По существу же, я скажу вам следующее[: да]. Да, творчество бесцельно, точнее оно лежит в целях самой природы, как и мы сами, которые являются лишь материалом весьма сложных и даже грандиозных опытов в ее творческих руках. Зачем творит свой муравейник муравей, когда любой прохожий, шутки ради, движением ноги может уничтожить плоды его неустанных трудов? Зачем под прикрытием любви мы творим детей, обрекая их на те же скорби и печали, жертвами которых мы были сами? Не знаем. Но разве хоть один влюбленный отказался от предмета своей любви? И ваша потребность в творчестве такой же инстинкт. // – Что ж отсюда следует? // – Отсюда следует, мой друг, что если вы станете бороться, то вы неизбежно погибнете – вы знаете роковую мощь инстинкта? Поэтому творите, мой друг, спокойно творите, радостно отдаваясь утехам творчества, как и мы все отдавались когда-то утехам любви! // – Послушайте, вы издеваетесь надо мной! Ведь я же вам сказал, что картины мне приходится стирать! // – Что ж, и стирайте их. Что стоят ваши картины, как бы ни были они прекрасны, перед величавою картиной торжества столь мощного инстинкта. Очистить вашу творческую радость от жалких примесей *(Текст обрывается.)*
- В нашей тюрьме б.* – Прежде чем перейти, наконец, к существу [вопроса], я осмелюсь предложить вам несколько вопросов. Где на(хо)дятся ваши прежние картины? // На это художник ответил мне, что все прежние картины им распроданы, и он даже не помнит всех тех лиц, у кого они находятся. // – А вы уверены, что владельцы ваших картин

смотрят на них с восхищением? // – Мне все равно. Пусть смотрят как хотят, но только пусть смотрят. // – А вы не допускаете [и] мысли, что на них никто и не смотрит? Что ваши картины надоели, забыты, выброшены куда-нибудь, валяются с разным хламом на чердаке? // – Мне все равно. Мне важно, чтоб они существовали. Пусть навсегда их схоронят в какой-нибудь гробнице, но только пусть они существуют. Вы поняли меня наконец? – в голосе молодого человека послышалось некоторое раздражение. // – Одну минуту, мой друг. А что бы вы сказали, если бы все сотворенное людьми продолжало бы существовать, не умирая? В какой музей диких несообразностей превратилась бы земля – вы представляете, что у вас за обеденным столом сидит ваш волосатый прапрадедушка, поглощенный единственной мыслью: скушать своего талантливого праправнука? // С чувством удовлетворения я заметил на устах г. К. легкую улыбку, и, возвысив голос, я продолжал. // – Только смерть, мой друг, только тот великий закон, по которому все сотворенное однажды неизбежно погибает, чтобы дать место новому, более совершенному творению, делает жизнь столь [прекрасной] прекрасною. И те безумцы, что жаждут бессмертия для себя и своих творений, тем самым святотатственно всю природу и себя обрекают на смерть. Творите, юноша, творите, отдавайтесь утехам творчества, но знайте, что сотворенное вами неизбежно погибнет – во славу жизни. Творите, поднимаясь все выше, совершенствуя [свой] свои приемы, преодолевая препятствия... // – А ведь это верно, дедушка. Я в начале совсем не умел справляться с этим проклятым грифелем, а теперь он играет в моих пальцах. Но послушайте, что вы мне предлагаете[?]; в ваших словах я чувствую какую-то страшную ложь. Ведь вы мне предлагаете целую вечность, стоя на одном месте, прыгать через обруч! // В голосе молодого человека слышался некоторый ужас, и лицо его побледнело. Грандиозная картина вечного торжества смерти и разрушения во имя жизни и созидания, по-видимому, больно поразила его мозг, не привыкший к широким и смелым обобщениям. Очевидно, нужно было искать другой путь, чтобы спасти эту гибнущую душу; и, зная, насколько *личное* [э(тим?)] людям этого типа ближе и понятнее, чем *общее*, я искусно свернул разговор на себя. В нашей тюрме ◊ (ЧА-р)

- 202 укрепляет и выясняет значение / укрепляет значение ◇
(ЧА)
- 205–206 со сторонними лицами / с ли⟨цами⟩ ◇ (ЧА)
- 207–208 с чувством глубокой радости / с чувством глубокого удо-
влетворения ◇ (ЧА)
- 209 из области поэтических вымыслов / из области самых поэ-
тических вымыслов ◇ (ЧА)
- 210–212 И, возвысив голос, я продолжал: // – Что же касается нару-
шенного / И, возвысив голос, я продолжал: // – Соберите
все силы вашего потрясенного несчастьями ума и поймите,
[какова] как велика красота логически до своего предела
развивающейся идеи! Мой юный друг! Ты счастлив, – ты
постиг на своей собственной душе все величие идеи оди-
ночества! Твори для уничтожения! твори спокойно! Твори,
отдаваясь утехам творчества, – ведь любим же мы гетер,
которые бесплодны и в наших объятиях высчитывают свои
барыши и улыбки! // Я ждал ответа, но юноша молчал и
смотрел вниз. Только раз с некоторым любопытством он
взглянул на меня и снова опустил глаза, приняв позу край-
ней подавленности и угнетения. // – Что же касается нару-
шенного (ЧА)
- 212 нарушенного вами правила / нарушенного тобою прави-
ла ◇ (ЧА)
- 214 Пройдут годы, на вашем месте / Пройдут года, на твоём
месте ◇ (ЧА)
- 215 как и вы / как и ты ◇ (ЧА)
- 215–216 начертанное вами / начертанное тобою ◇ (ЧА)
- 216 Подумайте! / Подумай! ◇ (ЧА)
- 218 *Примеч.* ³⁵ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 220 Так, именно так выразился / а. Это так выр⟨азился⟩ б. Так,
именно так выразился (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 220 сказал он это громко / сказал он это громко (ЧА, БМАП)
- 224 *Примеч.* ³⁶ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 225 сурово возразил / сурово сказал ◇ (ЧА)
- 233–238 Я – трус! Мир обрушился ~ даже сны, я – трус?.. / Я – трус!
Я, преодолевший непреодолимое, подчинивший себе даже
сны, всю жизнь свою превративший в ад сплошной... ◇ (ЧА)
- 235 по моему чертежу и плану / а. как в тексте б. по моему
чертежу и моему плану (БМАП)
- 237 я подчинил своей воле / я подчинил себе ◇ (ЧА)
- 254 наивная и чистосердечная юность / легкомысленная
юность ◇ (ЧА)

- 262–263 стараясь понять, какой способ бежать из нашей тюрьмы / стараясь понять, что разумел г. К. ◇ (ЧА)
- 264 Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? / Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? (ЧА, БМАП)
- 265 я не должен этого допускать / я не должен был этого допустить ◇ (ЧА)
- 267 на какой-нибудь старый / на один старый ◇ (ЧА)
- 269 Из нашей тюрьмы бежать невозможно. / Из нашей тюрьмы бежать невозможно. (ЧА, БМАП)
- 284 единственно из желания / единственно из желания (ЧА, БМАП)
- 287 Да почует в мире. / Да почует в мире. Requiescat in pace. ◇ (ЧА)

Глава 6

- 1 VI / ГЛАВА ШЕСТАЯ (БМАП)
- 8–9 для него безразлично / ему безразлично ◇ (ЧА)
- 12 он наверное сумеет / он наверное сумеет (ЧА, БМАП)
- 14 *Примеч.* ³⁷⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)*
- 20 Привожу дословно то, что сказал мне г. начальник / Привожу дословно то, что сказал мне г. Начальник (ЧА, БМАП)
- 21–22 повесим ваш портрет в канцелярии / повесим ваш портрет в канцелярию / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 27–28 не обращаю внимания на мои слова / оставляя без внимания мои слова ◇ (ЧА)
- 31 *Примеч.* ³⁸⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 37–38 по которому очень часто собственные чувства, даже внешние черты они переносят на объект / а. по которому собственные чувства, даже внешние черты они даже часто переносят на объект б. по которому собственные чувства, даже внешние черты они очень часто переносят на объект ◇ (ЧА)
- 38 *Примеч.* ³⁹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 43–44 мерцающее где-то в глубине безумие / где-то в глубине безумие ◇ (ЧА)
- 45 все это не мое / все это не мое (ЧА, БМАП)
- 46 воскликнул я со смехом / со смехом сказал ◇ (ЧА)
- 47–48 это страшное, полное диких противоречий лицо / это странное, полное диких противоречий лицо (ЧА)

* В БМАП *примеч.* ³⁸⁾. Далее до конца БМАП тот же сбой нумерации.

- 55 имевший целью несколько проучить / имевший целью проучить) ◇ (ЧА)
- 68 *Примеч.* ⁴⁰⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 70–82 Христос: огромные глаза ~ в Евангелии сомнительным / Христос: глаза большие, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь – ну Христос. И вдруг меня ударило: вдруг мне показалось, что это величайший преступник, томимый величайшими муками раскаяния. Понимаете? Что в пустыне, когда дьявол его искушал, он не отрекся, как рассказал потом, а согласился, продался – ну хоть за славу, понимаете? И что... // – Довольно, мой друг, – строго остановил я: вы начинаете кощунствовать. // – Конечно, я говорю глупости, но глаза, глаза! // Он снова засвистал свою птичью польку и погрузился в созерцание портрета – с видом величайшей беззаботности. ◇* (ЧА-р)
- 82 в Евангелии сомнительным / в Евангелии сомнительным (ЧА, БМАП)
- 93 он резким толчком свалил меня / а. он оттолкнул?) б. он резким толчком чуть не свалил меня ◇ (ЧА)
- 96 этого юнца⁴¹⁾ {⁴¹⁾ Я упал навзничь, головой между подушкой и спинкою кровати.}, он громко / этого юнца (я упал навзничь, головой между подушкой и спинкою кровати), он громко (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 111 болтовню этого доброго, но / болтовню этого милого, но (ЧА) / болтовню этого юного, но ◇ (БМАП)
- 116 Между прочим, мне удалось убедить / Между прочим, по моему настоянию мой портрет в канцелярии не был повешен, т(ак) к(ак) мне удалось убедить ◇ (ЧА)
- 116–117 портрет даже такого человека, как я, / портрет даже такого человека, ◇ (ЧА)
- 119 *Примеч.* ⁴²⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 120–121 разнообразия несколько холодную монотонность ее безупречно белых стен / разнообразия ее ◇ (ЧА)

Глава 7

- 1 VII / 7. Мои лекции ◇ / ГЛАВА СЕДЬМАЯ (БМАП)
- 2–3 сообщить читателю / сообщить моему читателю ◇ (ЧА)
- 4 расскажу о тех / расскажу я о тех (ЧА)
- 5 задушевного разговора / задушевной беседы (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)

* За исключением варианта стк. 82.

- 5-6 которые назову я скромно “Мои беседы” / а. которые назвал я скромно б. которые назвал я под заголовком “Мои лекции” ∠ (ЧА)
- 10-11 умеренный и приличный характер. Обычно я усаживаюсь / умеренный и приличный характер. Только раз, насколько помню, мне пришлось прибегнуть к содействию сторожа, чтобы удалить какого-то незнакомца, который был не то пьян, не то просто безумен, и своим поведением возмутило всю аудиторию. Обычно я усаживаюсь (ЧА)
- 11-12 в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне / в мягком и глубоком кресле, подаренном мне ∠ (ЧА)
- 15-210 Имея перед собою аудиторию ~ Между прочим, на прошлой моей лекции / – Дитя мое! Не забывайте, что на мне арестантский халат, – кротко упрекнул я однажды очень милостивую, прелестную девицу, своей [щекой] розовой щекой [прижавшейся] прижавшуюся к моему колену. // – Это одеяние мученика, – возражает девица горячо, и остальные сочувственно поддерживают ее [восклицанием] восклицаниями: // – Жертва судебной ошибки! // – Страдалец! // – Святой! // Движением руки остановив бурные восклицания, готовые перейти в неприличную овацию, я строго и внушительно говорю: // – Дети мои, никогда не называйте меня ни мучеником, ни страдальцем, если не хотите поссориться со мной. Мученики те, кто томится неверием, кто слабыми силами своего ума не может постичь величавой красоты нашего мироздания; страдальцы те, кто всюду видит темное и печальное и, являясь игрушкой в руках непостижимой судьбы, вечно кружится в пенном водовороте, как жалкая щепка. Дети мои, я счастливейший человек. Твердыми шагами прошел я мой жизненный путь и, победив все препятствия, привел в гармоничный и строгий порядок все силы моей человеческой души. Свои скорби я сделал неиссякаемым источником радости, в мучениях моих нашел сладкую отраду и, сидя в тюрьме, провозгласил я безграничную свободу. Железная решетка, столь пугающая ваши юные, мечтательные взоры, своей ясной, точной, математически правильной формой послужила ключом к постигновению мира. Решетка, дети мои, решетка! Никогда не забывайте [решетку] решетки! // С подъемом чувства, всю силу которого я затрудняюсь передать, [слуш(атели?)] аудитория ответила мне единодушным криком: // – Не забудем[, клянемся!]. Клянемся! Решетка! Решетка! //

Не могу скрыть, что некоторые женщины целовали в это время мои руки. С благословляющим жестом, которому я умею придать [особенное] особое величие, вновь я обратился к потрясенным слушателям: // – Придите ко мне все утомленные жизнью, все кровно обиженные ее несправедливостью, потерявшие веру и мужество, заблудившиеся в лабиринте ее извилистых путей – и я дам вам покой и силу. Ты, юная девица, пришедшая из того мира, который ты называешь свободным, – что за [странную тень] странные тени хранишь ты на своем милом лице? [Отчего] А отчего так печален ты, мой славный юноша? И ты, честная мать, – какой ветер сделал глаза твои красными? От какого дождя так влажно твое бледное лицо? Что за холодный снег побелил твои бедные волосы? // Рыдания и вопли огласили комнату; и на моих старых глазах – должен сознаться в своей слабости – выступила предательская слеза. Дав несколько утихнуть волнению, я продолжал. // – Ваши печали, дети мои, как мне ни грустно сказать это, лишь свидетельство вашего рабства перед жизнью. Вы видите – я смеюсь! Проведший жизнь в тюрьме – я смеюсь! // Здесь я действительно засмеялся и увидел несколько бледных отраженных улыбок. // – Я смеюсь – ибо я свободен. Не тот силен[, кто без(надежно)] и храбр, кто безнадежно борется с непобедимым противником, а тот, кто искусно вступает с ним в союз, тем самым и себя [приобщает] приобщая к его силе и могуществу; по виду холоп, человек из свиты, конюх, раб, в действительности я господин господина моего, ибо в моих руках ключ от его винных погребов, мое ухо ловит стоны и тайные речи, доносящиеся из спальни его, мой ничтожный ум направляет волю его и искусно пользуется ею. Когда господин побеждает – мы грабим; когда господин побежден – мы разбегаемся, ищем нового, уютного очага и светлой жизни, незапятнанной [пр(?)] позором [поражений] поражения. Служа – мы повелеваем, борясь – мы гибнем неизбежно, – такова та великая мудрость, какую открыл я в нашей тюрьме. Сударыни! Пока головой и руками я бился о двери нашей тюрьмы – они оставались [закрытыми] закрыты; и они открылись перед силою смирения моего – и дали мне случай к этой приятной и поучительной беседе. // Единодушные аплодисменты покрыли окончание моей не совсем на этот раз удачной речи, но, по-видимому, я коснулся чего-то всем близкого и дорогого. И только

какой-то юноша, вида неприятного и озлобленного, вдруг накинулся на меня, прямо-таки накинулся. // – Значит, вы за нашу тюрьму? // Аудитория притаила дыхание, ожидая моего ответа. // – А вы, молодой человек, совсем не желали бы тюрьмы? // Моя скромная шутка была одобрена сдержанным смехом аудитории, несчастного же юношу привела в какое-то неистовство. // – Ну да! ну да! – кричал он, бестолково размахивая руками, – не хочу я никакой тюрьмы! Не хочу! // Невольно усмехнувшись, я вежливо осведомился. // – Не оттого ли, мой друг, вы отрицаете тюрьму, что вас хотят в нее посадить? Здесь [идет речь] речь идет о принципах, а не о маленьких грешках... ну хотя бы против собственности. // Но не буду дальше говорить об этом наглеце. Как видит [мой] благосклонный читатель по приведенному образцу, мои лекции пользуются неизменным и прочным успехом. Не без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посетительницы стараются выразить свои чувства любви и благодарности. Так на прошлой моей лекции ◊ (ЧА-р)*

15 Имея перед собою / Имея дело ◊ (ЧА)

21 *Примеч.* ⁴³⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)

22 влиять на слушателей моих / влиять на слушателей ◊ (ЧА)

31 Скажу откровенно, без ложной скромности / Скажу откровенно и без той ложной скромности (ЧА)

33 вызывал в моей аудитории / вызывал уже в моей аудитории (ЧА)

37 убедить некоторых моих почитательниц / убедить некоторых почитательниц моих ◊ (ЧА)

43–44 ощущение, какое испытал я, когда бледный диск луны / а. ощущение, когда б. ощущение, какое испытал я, когда побагровевший диск луны ◊ (ЧА)

48 *Примеч.* ⁴⁴⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (с вариантами – см. ниже) (БМАП)

48 {В тексте *примеч.* ⁴⁴⁾.} {попадая в собрание людей} / {попадая в группу людей} ◊ (БМАП)

48 {В тексте *примеч.* ⁴⁴⁾.} {забывает все иные голоса} / {глушит все иные голоса} ◊ (БМАП)

65–66 солнце извечной правды и любви / солнце любви и добра и красоты ◊ (ЧА)

* За исключением вариантов стк. 15, 21, 22, 31, 33, 37, 43–44, 48, 48, 48, 65–66, 84, 84, 90, 107–108, 124–125, 129, 132, 134, 137, 147, 152–153, 160–161, 161, 164, 166–167, 174, 175, 176–177, 183, 193, 196, 197, 197, 201, 207–208, 208–209.

- 84 отдайте же ее мне / отдайте ее мне (ЧА) / отдай же ее мне ◊ (БМАП)
- 84 я направлю ее к свету / я направлю к свету (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 90 Примеч. ⁴⁵⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 107–108 не мог нас услышать / не мог услышать нас (ЧА)
- 124–125 простая, трезвая, честная, математическая формула / простая, трезвая, математическая формула ◊ (ЧА)
- 129 со светлой головою / с светлой головою (ЧА, БМАП)
- 132 вы заставили их / вы заставляли их (ЧА, БМАП)
- 134 этой лживой свободой / этой лживую свободой (ЧА, БМАП)
- 137 Примеч. ⁴⁶⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 147 но выполнил и многое / а. но исполнил и многое другое б. но выполнил и многое другое (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)
- 152–153 придавая комнате вид сада / передавая комнате вид сада ◊ (ЧА)
- 155 открыли мне всю / открыли всю ◊ (ЧА)
- 158–159 иногда с краской / иногда с краскою (ЧА, БМАП)
- 160–161 имеющие слушателем бесстрастного старца / имеющие слушателем старца ◊ (ЧА)
- 161 житейское, мелочное, грязное / житейское, мелочное и грязное (ЧА)
- 164 Примеч. ⁴⁷⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 165–166 это продолжалось лишь мгновение / это продолжалось мгновение ◊ (ЧА)
- 166–167 вставала предо мною / вставала передо мною ◊ (ЧА)
- 174 становилась подобной водяному смерчу / становилось подобно водяному смерчу (ЧА) / становилось, подобно водяному смерчу, (БМАП)
- 175 вершиною – небо / вершиною тучи(?) ◊ (ЧА)
- 176–177 подобен тому богатому и знатному господину / подобен тому богатому и сильному господину (ЧА, БМАП)
- 183 Примеч. ⁴⁸⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 193 Примеч. ⁴⁹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 196 обычных в нашей жизни⁵⁰⁾. {⁵⁰⁾ Так, одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое ~ я предпочел уединиться.} / обычных в нашей жизни. Так, одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цель моих вопросов, правда касавшихся довольно интим-

ных вещей, и создала на этой почве целую [не(приятную)] [очень неприятную] историю, могшую иметь неприятные последствия. Считаю нужным упомянуть об этом ничтожном факте лишь для того, чтобы еще раз в этих строках [выражать] выразить горячую признательность г. Начальнику нашей тюрьмы, с присущей ему прозорливостью сумевшему разобраться, где правда и где ложь, и поставить легкомысленную и вздорную девицу на надлежащее место. Впрочем, на некоторое, весьма непродолжительное время собеседования наши пришлось прекратить: возмущенный несправедливостью, я почувствовал себя таким расстроенным, что, несмотря на уговоры г. Начальника, утверждавшего, что если общество мне необходимо, то я еще более необходим для общества, – я предпочел уединиться. (ЧА) / как в ЧА (последний слой) ◊ (БМАП)

¹⁹⁷ *Перед:* Несмотря на это, мои собеседования – Сознаюсь моему уважаемому читателю, что я хотел умолчать о некоторых вещах, дабы не навлечь преследований на людей совершенно невинных. Наше время, к сожалению, не отличается достаточной терпимостью в [некоторых] вопросах веры и ставит нелепые преграды для человеческой совести, ищущей света. Я говорю здесь о *некоторых обрядах*, которые ввел я для посвященных и которые, как и все обряды, имеют чисто символическое значение. Но потребность в полной правдивости – с полным основанием я мог бы “Мои записки” назвать “Моею исповедью” и не делаю этого только из скромности – а также соображение о том, что обнародованы они будут после моей смерти, дают мне счастливую возможность ничего не утаивать от читателя. Как много людей, говорящих *обо всем* и скрывающих только *один факт*, думают про себя, что они правдивы, – я не из их числа.* (ЧА) / как в ЧА (последний слой) ◊ (БМАП)

¹⁹⁷ Несмотря на это, мои собеседования / Несмотря на некоторые недоразумения подобные вышеизложенному, мои собеседования (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)

²⁰¹ посетительницы стараются выразить / посетительницы выра⟨жают?⟩ ◊ (ЧА)

^{207–208} предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем / *предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем* ◊ (ЧА)

* Начало и конец фрагмента обозначены пунктирной линией.

- 208–209 в избытке любви и заботливости / в избытке любви и женско(й) ◇ (ЧА)
- 212 отказаться и от этого подарка / отказаться от подарка ◇ (ЧА)
- 217 призрачной красотой / призрачной красотой (ЧА, БМАП)
- 218–219 все цветы гибнут, сударыня. / все цветы гибнут, сударыня, гибнут – они лишены светлого разума. ◇ (ЧА)
- 223–235 что моя мысль ~ дочь моя. / что моя мысль, воспитанная в законах строгого естественнонаучного мышления, не может признать Иисуса Христа богом. Но в то же время, относясь с глубоким уважением к [его] Его личности, а также к заслугам [его] Его перед человечеством, я с сердечной благодарностью принимаю подарок. Кажется, ей ничего больше и не нужно было. ◇* (ЧА)
- 233 *Примеч.* ⁵¹⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 236–237 к которым привело меня / а. на которые навело меня б. к которым навело меня (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◇ (БМАП)
- 238–247 Это было в сумерки ~ я шутливо сказал неподвижному распятию: / Это было в сумерки, за стеною на невидимой церкви тягуче звонил колокол, сзывая верующих; вдалеке, по поросшему бурьяном пустынному полю, маленькой черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль; и тихо было в нашей тюрьме, как в гробнице, [и только где-то, глубоко внизу, тихо звенели кандалы на чьих-то натруженных ногах.] А на белой стене резко чернел крест с обвисшим на нем телом и рядом с остановившимся, застывшим взором искали по камере меня два чужие, незнакомые глаза. Я долго с вниманием разглядывал черты Иисуса, [в] столь покойные, [в] столь радостные в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо смотрело со стены. И с привычкой обращаться вслух к неодушевленным предметам, я тихо сказал Иисусу: – Поверни голову! Поверни голову направо, Иисус, и посмотри *кто там*, Иисус, Иисус! Ребячеством мне кажутся великие страдания твои. Идя на крест, ты знал, зачем ты идешь, и верил твердо и счастлив был, и нет в твоей Голгофе великого ужаса бессельности. Когда же ты умер, ты воссел [ты] одесную отца, и ангелы слетелись, чтобы служить тебе, и вся земля и небо наполнились славою имени твоего. Счастливый Иисус! Только по краю человеческих страданий, как

* За исключением варианта стк. 233.

по берегу пучины, прошел ты; только пена кровавых волн коснулась твоего чистого лика, а если бы ты знал, что находится там. Поверни голову, Иисус! Взгляни направо. ◇* (ЧА-р)

242 с вниманием / со вниманием (ЧА, БМАП)

246 создавшейся долгими годами уединения / создавшейся годами долгого уединения ◇ (ЧА)

246 я шутливо сказал / я ласково сказал (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)

248–287 – Здравствуй, Иисус! ~ Не помню, впрочем, что я ответил ему. / – Здравствуй, Иисус! Сердечно благодарю Тебя, что не забыл своего обещания и посетил меня в темнице. Жаль, что Ты не можешь раскрыть своих уст из слоновой кости, а то я спросил бы Тебя: ну, как нравится Тебе в нашей тюрьме? Не правда ли, как тихо, как хорошо, как мирно и спокойно! Жаль мне также, что не можешь Ты открыть глаза из слоновой кости и взглянуть направо: там на стене висит преинтереснейший портрет. Правда, на меня он не похож, Ты сразу догадался бы об этом, но, не правда ли, как много экспрессии в этих странных, широко открытых глазах. Куда они смотрят, Иисус? Мне кажется, они сейчас разыскивают Тебя – а Твои закрыты – неужели проклятые художники не могли изобразить нас иначе! Вообще, не кажется ли Тебе, Иисус, что Твои великие страдания несколько преувеличены услужливой толпой? Ведь идя на крест, Ты знал, зачем Ты идешь и, ей-богу, был счастлив, и нет в Твоей голгофе одного маленького, но очень интересного штришка: ужаса бесцельности. Не кажется ли Тебе, что только по краю человеческих страданий, как по берегу пучины, [и только] прошел Ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась Твоего чистого лика – как он чист, как он приятен! Вон и гвоздик я вижу... // Но тут шутливая речь моя была прервана тюремщиком, принесшим [кипяток] горячую воду для вечернего чая. (ЧА-р)

251 говорить за троих / говорить за трех (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)

254 покачив головой / покачив головою (ЧА, БМАП)

261 Зачем / Почему? ◇ (ЧА)

269–270 – Как смеют, – воскликнул я, – как смеют в нашей тюрьме говорить о бесцельности? / Кто смеет, – воскликнул я, – кто

* За исключением вариантов стк. 242, 246, 246.

- смеет говорить о бесцельности в нашей тюрьме? ◇ (ЧА) /
 – Как смеешь, – воскликнул я, – как смеешь* в нашей тюрь-
 ме говорить о бесцельности? ◇ (БМАП)
- 271–288 и вдруг Иисус, не открывая глаз ~ В нашей тюрьме / и
 вдруг Иисус открыл глаза и сказал тихо: // – Кто знает тай-
 ны Иисусова сердца? // Поистине, я готов был [захохотать]
 расхохотаться: так интересна становилась придуманная
 мною интермедия, когда появление тюремщика, принес-
 шего пищу, поневоле прекратило шутку. Но, видимо, лицо
 мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный чело-
 век с суровым сочувствием спросил: // – Молились? // Не
 помню, впрочем, что я ответил ему. В нашей тюрьме ◇**
 (ЧА-р)
- 281 чем бы окончилась / чем окончилась бы ◇ (ЧА)
- 284 лицо мое еще хранило / лицо мое хранило еще ◇ (ЧА)
- 290 нам дают обедать / нам дают обед ◇ (ЧА)

Глава 8

- 1 VIII / VII*** (ЧА) / ГЛАВА ВОСЬМАЯ (БМАП)
- 2 На прошедшей неделе, в воскресенье, в нашей тюрьме /
 Вчера в нашей ◇ (ЧА)
- 17–18 до самоубийства г. К., при одном случае, он возбудил во
 мне / а. до самоубийства г. К., при одном случае, г. К. воз-
 будил во мне б. до самоубийства г. К., при одном случае,
 возбудил во мне (ЧА)
- 22–23 осведомился я с осторожностью / осторожно осведомился
 я ◇ (ЧА)
- 23–24 несговорчивый нрав юноши / несговорчивый вид юноши ◇
 (ЧА)
- 32 – Короче? / – Какого? ◇ (БМАП)
- 38 Примеч. ⁵²⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 39 оставалось только удалиться / оставалось только уйти ◇
 (ЧА)
- 43 Примеч. ⁵³⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 46 он еще квакать начинает / он еще квакать начнет (ЧА,
 БМАП)
- 53 Должен, однако / Должен, до (известной степени?) ◇ (ЧА)
- 56–57 держались не совсем естественно / держались несколько
 неестественно ◇ (ЧА)

* “смеешь” (в обоих случаях) – вероятно, опечатка в машинописи.

** За исключением вариантов стк. 281, 284.

*** Отписка. Сбой в нумерации глав сохраняется до конца ЧА.

- 57 искренние и наивные, они / искренние и наивные, в св(оём?)◇ (ЧА)
- 58 важности своего положения / важности их положения ◇ (ЧА)
- 66 *Примеч.* ⁵⁴ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 67–68 меня искренно возмутило / меня искренне возмутило (ЧА, БМАП)
- 74 какого-то особенного устройства / какого-то особого устройства (ЧА, БМАП)
- 75–76 много радости и света / много радости и света разум(а?) ◇ (ЧА)
- 76 *Примеч.* ⁵⁵ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 79–117 – К черту! // Мне оставалось только ~ наконец вздохнув, он сказал: / – К черту! Вообще, бабушка, я начинаю думать, что вы превеликий негодяй и лжец. // Я молча смотрел на него и было что-то в моих глазах, отчего потупились взоры этого безумца и легкая краска покрыла щеки. ◇* (ЧА-р)
- 93 приходится мне проходить тяжкий путь / приходится мне проходить мой тяжкий путь (ЧА)
- 95–96 Нет, мне довольно ваших улыбок, вы мне прямо скажите: зачем? / а. Нет, вы мне б. Нет, мне довольно вашу улыбку, вы мне скажите: зачем? ◇ (ЧА)
- 111–112 открыл бы ты там / открыл бы там ◇ (ЧА)
- 118 Простите меня, бабушка, я говорю глупости, конечно, но / Простите меня, – сказал он, закрывая лицо рукою, – я говорю глупости, но ◇ (ЧА)
- 122 *Примеч.* ⁵⁶ нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 129 к чему обязывал меня мой долг / к чему обязывал мой долг ◇ (ЧА)
- 138–161 – Я сделал то, безумный юноша ~ какое внушил я ему, но портрет / – Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною. Я разорвал [все] те сети лжи, в которых томилась душа твоя, безумный юноша. Я открываю великий путь к свободе и к великому дерзновению, всю силу которого когда-нибудь постигнет твой просветленный ум! // С этими словами я вышел, не желая портить [впечатле(ния)] произведенного мною впечатления какими-либо неуместными и мелочными выражениями чувств.

* За исключением вариантов стк. 93, 95–96, 111–112.

- И, показалось мне, художник был спасен: правда, он как-то
 сторонился от меня, но портрет \diamond^* (ЧА-р)
 147 чем творит так / чем творит так (ЧА, БМАП)
 149–150 формулу железной решетки, которая, разделяя / формулу
 железной решетки, которая, будучи \diamond (ЧА)
 161–162 портрет г-жи начальницы писал / портрет г-жи начальницы
 рис(овал) \diamond (ЧА)
 166 привыкший к лицу своей супруги / привыкший к лицу сво-
 ей жены \diamond (ЧА)
 168 новая катастрофа / ночная катастрофа (ЧА, БМАП)
 168–169 катастрофа, весь ужас которой знаю я один. / катастрофа. \diamond
 (ЧА)
 171–173 даже несколько болезненной тревоги. // Не желая вызы-
 вать лишних толков / даже несколько болезненной тре-
 воги. *Значит, из нашей тюрьмы действительно можно*
уйти, размышлял я, вспоминая слова художника и мыс-
 ленным взором окидывая все те десятки лет, которые
 провел я за решеткой. Но где же тогда великая и мудрая
 целесообразность плана? Где крепость стен? Где железная
 непреоборимость решетки? – Где же тогда смысл нашей
 тюрьмы, если одного прыжка, мгновения неслышной боли
 достаточно для вечного покоя. Признать ли мне, что вся
наша тюрьма, прочностью которой я так гордился, есть
 лишь призрак, фантом, наивный и смешной обман – а *на-*
стоящая тюрьма есть в смерти, откуда никогда никто не
 возвращался. // Так размышлял я, мучимый сомнениями,
 минутами уже готовый провозгласить мудрецом жалкого
 и малодушного безумца, когда светлая и огневая, как меч
 архангела, сверкающая мысль рассеяла путы последних
 колебаний. И если тот день, когда на фоне голубого неба я
 прочел дотоле неразгаданную формулу железной решетки,
 я считаю [первый час мое(го)] первым днем освобождения
 моего, то вчерашний день – да святится имя его во веки! –
 был последним, когда на неизмеримые высоты поднялся
 мой освобожденный дух. С прозрением, подобным вдох-
 новению пророка, я понял, что бежать из нашей тюрьмы
 невозможно, т(ак) к(ак) всюду и всегда, в жизни и в смерти
 я ношу ее с собою и в себе. Наивный мечтатель, мечтатель
 до седых волос, я восхищался призрачной красою тюрем-
 ных стенок, не понимая, что они лишь слабые отражения

* За исключением вариантов стк. 147, 149–150.

того величественного здания, что есть душа человека. И я когда-то мечтал о бегстве! И я когда-то рыл воображаемые подкопы и перебирался через ограды. Милый юноша, он и не подозревал, какую великую радость он доставит мне своей смертью, еще раз с беспощадной силой убедивши меня, что я не ошибся – *что я должен жить*. // Не желая вызывать лишних толков ◊ (ЧА-р)*

180–181 вы поймете, почему это / вы поймете, почему ◊ (ЧА)

182–183 “Я уйду из вашей тюрьмы” – так гласит эта фраза. // И он действительно ушел / “Я уйду из вашей тюрьмы” – так гласит эта фраза. // Неужели это правда? – с ужасом размышлял я, мысленным [оком] взором окидывая все те десятки лет, что провел я за решеткой, – неужели из нашей тюрьмы можно уйти? // Но где же тогда великая и мудрая целесообразность плана? // Где крепость стен? // Где железная непреодолимость решетки? // Где же тогда смысл нашей тюрьмы, если одного прыжка, мгновения неслышной боли достаточно для вечного покоя! // Признать ли мне, что вся наша тюрьма, прочностью которой я так гордился, есть лишь призрак, фантом, наивный и смешной обман, – а истинная тюрьма есть в смерти, откуда никто, никогда не возвращался? // И он действительно ушел ◊ (ЧА)**

193 со всею соблазнительностью / со всею своею соблазнительностью (ЧА, БМАП)

194 Примеч.⁵⁷⁾ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)

194–195 В припадке низкого малодушия, которого я не скрою / В припадке низкого малодушия, о котором я не скрою ◊ (ЧА)

203 склонностью к мышлению / склонностью к размышлению ◊ (ЧА)

208–209 я готов был рыдать от тоски, так теперь я хохотал / я готов был рыдать, так теперь я хохотал ◊ (ЧА)

210 что еще одна ловушка / что еще одна ловушка (ЧА, БМАП)

217–218 придется вам бежать / вам придется бежать ◊ (ЧА)

223–224 с одной формой / с одной формой (ЧА, БМАП)

227–228 что неподвижно прилипли к белой стене / неподвижно прилипшим к белой стене ◊ (ЧА)

* Содержание варианта отчасти совпадает с содержанием текста ОТ, стк. 206–224.

** Содержание варианта отчасти совпадает с содержанием текста ОТ, стк. 206–224.

- 235 не помню, были ли там окошечки / не помню, были там окошечки ◊ (ЧА)
- 237 с нежным вниманием / с нежнейшею внимательностью ◊ (ЧА)
- 241–242 занятый неотложными делами по управлению / занятый неотложными делами по управлению тюрьмы ◊ (ЧА)
- 247 *Примеч.* ⁵⁸ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 252–253 выразить овладевшие мною чувства / выразить владевшие мною чувства (ЧА, БМАП)
- 261–286 Как показал осмотр ~ беспощадной кары! кары! / Уже мертвым он наносил бесчисленные удары, превративши их лица в бесформенную массу и – не могу без содрогания говорить об этом человеке-звере – тут же в виду своих жертв подкреплял свои силы вином и бисквитами. Как может дойти до такого падения человек! // – Клянусь, – сказал я, поднимая к небу руку, – клянусь моим вечным спасением, клянусь моей жизнью и смертью, клянусь моими сединами, клянусь моим достоинством человека – если бы я встретил этого злодея, – я собственными бы руками удушил его. Но есть правосудие, если не здесь, то на небе, и не уйдет злодей от беспощадной кары! Кары! Кары! ◊* (ЧА-р)
- 270 *остатки того и другого были найдены / остатки того и другого найдены (ЧА, БМАП)*
- 274–275 вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего покойного отца. / вложил сигару в стиснутые зубы моего покойного отца и потом зажег ее. ◊ (ЧА)
- 280 В тоске и гневe я поднялся с кресла / Тоскою и гневом, гне(вом?) ◊ (ЧА)
- 285–286 да не избежит виновный заслуженной им беспощадной кары! кары! / а. чтобы не избежал виновный заслуженной им кары! кары! б. да не избежит виновный заслуженной им беспощадной кары! кары! (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 291–330 По-видимому, мой старческий организм ~ молчаливую пустоту. / По-видимому, мой старческий организм уже не может выносить таких потрясений: только этим я могу объяснить ту странную галлюцинацию, что предстала в одиночестве камеры моим утомленным глазам. Именно в пространстве между распятием и моим портретом на некотором расстоянии от пола, не превышающим, впрочем, [три]

* За исключением вариантов стк. 270, 274–275, 280, 285–286.

четверти аршина, как бы висящим в воздухе, явился труп моего отца. Затрудняюсь передать подробности, т(ак) к(ак) в камере было уже довольно темно, помню только, что вместо головы у трупа было что-то бесформенное и красное, даже скорее темное. Здесь – я вынужден сознаться в своей слабости – я заговорил с галлюцинацией. Подойдя близко, насколько это было возможно, я сказал призраку: // – Благодарю тебя. Ты пришел засвидетельствовать мою невинность. Благодарю тебя. Дай мне руку, отец, и крепким как смерть пожатием я отвечу на твой неожиданный приход. // И я протянул руку, но, конечно, галлюцинация не удостоила меня ответом. Легкого колебания воздуха, произведенного моими громко сказанными словами, было достаточно, чтобы страшный призрак заколыхался и исчез. Такова сила человеческого воображения, когда, возбужденное, творит оно призраки и видения, заселяя ими безумную и навеки молчаливую пустоту. ◊* (ЧА-р)

305–306 *хотя во рту у него и дымилась сигара / хотя во рту у него и дымилась сигара (ЧА, БМАП)*

318–320 *я отвечу на твой неожиданный приход... Не хочешь? Давай руку! Давай руку – я тебе говорю, иначе я назову тебя лжецом! / я отвечу на твой неожиданный приход... Быть может, ты вынул бы изо рта эту ненужную сигару и протянул бы уста для поцелуя... Не хочешь? Так давай же руку! Давай руку – я тебе говорю, иначе я тебя назову лжецом! ◊ (ЧА)*

321–322 *галлюцинация не удостоила меня ответом / галлюцинация не удостоила меня ответом (ЧА, БМАП)*

324–325 *и произвел некоторый переполох / и вызвал некоторый переполох ◊ (ЧА)*

331–332 *строят на этом вздорные теории / строят на этом целые те(ории) ◊ (ЧА)*

332–333 *между миром живых людей и загадочной страной / между миром живых людей и загадочным миром ◊ (ЧА)*

333–334 *может быть обмануто человеческое ухо / может быть обманут глаз ◊ (ЧА)*

334–336 *человеческое ухо и даже глаз⁵⁹), но как может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый разум человека? {⁵⁹ Между прочим, я сказал тюремщику ~ то только на сетчатке моего глаза.} / человеческое ухо и даже глаз, но как может впасть в такой грубый и смешной обман великий и светлый*

* За исключением вариантов стк. 305–306, 318–320, 321–322, 324–325.

разум человека? Между прочим, я [спросил тюремщика] сказал тюремщику: – У меня какое-то странное ощущение, как будто здесь пахнет сигарным дымом. Вам не кажется это? // Тюремщик добросовестно понюхал воздух и ответил: // – Нет, я не нахожу этого. Вам показалось. // Вот если вам нужны [доказательства] подтверждения, [прекрасные доказательства] прекрасное доказательство, что все виденное мною если и существовало – то только на сетчатке моего глаза. (ЧА) / как в ЧА (последний слой) ◊ (БМАП)

Глава 9

¹⁻⁷⁹ IX // Произошло нечто, в высокой степени неожиданное ~ ничем не защищенных окон / VIII // Да простится мне некоторая бессвязность дальнейших строк, но со мною произошло нечто, в высокой степени неожиданное: я освобожден, я на свободе. Уже десятый день живу я в городе в какой-то комнате с огромными зеркальными окнами, к которым страшно подойти, и с безграничным волнением вглядываюсь в чужую и незнакомую жизнь. Не менее десятка интервьюеров посетило меня, и нет, кажется, газеты, где не появился бы мой портрет – признаюсь, эта широкая популярность противна моему скромному характеру, и со вчерашнего дня я решительно закрыл двери перед всеми любопытными. Мне необходимо остаться одному, меня [раздражают и волнуют] раздражает и волнует тот дикий хаос, который называют они своею жизнью. И меня пугают, как ни стыдно мне в этом сознаться, эти зияющие провалы, эти бессмысленные то голубые, то черные ямы, которые называют они окнами. Даже сквозь густые завесы они дразнят и зовут меня, тревожа мою мысль призраком какой-то новой еще новой <так!> свободы. Точно издеваясь над моим бескрыльем, они зовут меня к полету, который может быть только падением, только смертью; и наглое небо, ничем не связанное, [расползшееся] ◊* (ЧА-р)**

¹ IX / VIII (ЧА) / ГЛАВА ДЕВЯТАЯ (БМАП)

¹⁴⁻¹⁶ с глубокой признательностью⁶⁰⁾ {⁶⁰⁾ <Текст примеч.>} // Те средства / а. глубокой признательностью. // Те средства

* За исключением вариантов стк. 14–16, 31–32, 32, 41, 44–45, 51, 54, 56–57, 59, 64–70, 71, 75–76, 79.

** Содержание отрывка только приблизительно соответствует содержанию указанной части ОТ.

- б. глубокой признательностью. *(Текст примеч. ⁶⁰ с вариантами* вписан на обороте листа.) // Те средства (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)*
- 31–32 перед чем могли бы остановиться / перед чем бы могли остановиться ◊ (ЧА)
- 32 в выражениях своих пылких чувств / а. как в тексте б. в выражении своих пылких чувств (ЧА)
- 41 Общества друзей человека / Общества друзей человечества ◊ (ЧА)
- 44–45 вместе с моим любезным импресарио⁶¹). {⁶¹ Я уже подготовил материалы для первых трех моих лекций ~ ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ // Разъяснение священной формулы железной решетки.} / вместе с моим любезным импресарио. Я уже подготовил материалы для [первой моей лекции] первых трех моих лекций и в надежде, что читателю моему это не будет безынтересно, сообщу конспект [таковой] таковых. // ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ // [“Хаос или порядок?” Торжество гармонического начала в природе и человеческой жизни. Что такое железная решетка? Ее формула. Победа человека.] Хаос или порядок? Извечная борьба между тем и другим. Вечный бунт и вечное поражение бунтовщика-хаоса. Торжество закона и порядка. // ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ // Что такое душа человека? Извечная борьба двух начал в душе человека: хаоса, из коего она рождена, и гармонии, к коей она неудержимо стремится. Ложь, как детище хаоса и правда, как дитя гармонии. Торжество правды и гибель лжи. Божеский престол вакантен – на божеский престол есть претендент: человек. // ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ // Разъяснение священной формулы железной решетки. (ЧА) / как в ЧА (последний слой) ◊ (БМАП)
- 51 вознаградить за испытанные лишения / вознаградить за испыт(ыв)аемые ныне лишения ◊ (ЧА)
- 54 не пустой звук / не пустой только звук (ЧА)
- 56–57 того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание / а. того удовлетворения, на какое, казалось, имел бы полное право б. того удовлетворения, для какого, казалось, имел бы полное основание (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)

* {грязенькой газетке} / грязенькой газете
 {называл меня} / назвал меня

- 59 зоркость и неподкупность взгляда / зоркость и правильность взгляда ◊ (ЧА)
- 64–70 Жизнь каждого ~ чувствует это / Жизнь каждого из тех людей, кого я видел за эти дни, движется по строго определенному замкнутому кругу, столь же прочному, твердому и целесообразному, как [стены] коридоры нашей тюрьмы; и каждый из них чувствует это ◊ (ЧА)
- 70 чувствует это⁶² {⁶² <Текст примеч.>}, но в странном ослеплении уверяет / чувствует это <текст примеч.⁶²>, со строчной буквы), но в странном ослеплении уверяет (ЧА, БМАП)
- 71 что он совершенно свободен и движется вперед. / что он совершенно свободен. ◊ (ЧА)
- 72–73 о прозрачную стеклянную преграду / о стек(лянную) ◊ (ЧА)
- 75–76 об ихнем небе, глубиной и бесконечностью которого / об ихнем небе, глубиной и безд(онностью) ◊ (ЧА)
- 79 в которые вливается свободно бесконечность / в которые вливается свободная бесконечность ◊ (ЧА)
- 86 счастливы в сознании мудрой подчиненности / а. счастливы, созна(вая?) б. счастливы в сознании своей мудрой подчиненности (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 86–88 целесообразным и строгим велениям рока. // Глубоко ошибся я / целесообразным и строгим велениям рока. Не тратя сил в напрасной борьбе с непобедимым, призвав разум на помощь инстинкту, они поразили бы вселенную красотой и стройностью своего шествия. Правда, существуют, как я слышал, новейшие теории, по которым человека подчиняют какому-либо стихийному процессу, но и здесь не умеют дойти до конца и ребячески пытаются сочетать свободу с необходимостью. // Глубоко ошибся я ◊ (ЧА)
- 91 учителя / Учителя (ЧА, БМАП)
- 92–93 открыть им великую тайну целесообразности. / открыть им великую тайну, целесообразность. ◊ (ЧА)
- 93 с дарованной мне свободой / с своб(одою?) ◊ (ЧА)
- 95 в это слово⁶³ {⁶³ <Текст примеч.>}. Поверит ли читатель / в это слово. <Текст примеч.⁶³>; с вариантом*) Поверит ли читатель (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 104–105 И вообще, чтобы Онания был великим человеком... – он фыркнул. – Вы шутите, конечно? / И вообще, Онания был великим человеком... Вы шутите, конечно? ◊ (ЧА)

* {не в силах далее} / не в силах долее

- 107 моя закаленная правдивость / моя испытанная правдивость ◊ (ЧА)
- 109 Положительно ни один субъект / Положительно ни один... субъект (ЧА, БМАП)
- 111 и зачем печатают мои портреты? / и печатают мои портреты? ◊ (ЧА)
- 112–119 И самое любопытное ~ ложь ничем не отличается от правды. / Надеюсь, однако, что в ряде моих лекций мне удастся победить их вежливую постность и [принять] признать мое учение о железной решетке. Для моих 60-ти лет я достаточно крепок, чтобы побороться за себя и за великую святую правду! ◊ (ЧА)*
- 119–120 ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры / ложь ничем не отличается от правды. Мне жаль выдавать этих милых и честных людей, но истина для меня дороже: почти каждый из них, что бегают по ихним улицам, банкам и театрам, несет в себе убийцу, [мошенника,] вора, сластолюбивого зверя. Дрянные актеры ◊ (ЧА)
- 124 *Примеч.* ⁶⁴ нет (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 125 сами же остаются / а сами же остаются ◊ (ЧА)
- 130 границу между правдой и обманом / границу между правдой и обманом (ЧА)
- 130–131 даже и они начинают верить / даже они начинают верить ◊ (ЧА) / даже и они начинают верить (БМАП)
- 131–132 называют его великим, объявляют подписку / объявляют его великим и объявляют подписку ◊ (ЧА) / называют его великим и объявляют подписку (БМАП)
- 131–132 подписку на памятник⁶⁵. {⁶⁵ Но денег не дают.} / а. подписку на памятник, хотя денег и не дают. б. подписку на памятник, но денег не дают. (ЧА) / как в ЧА вар. “б” ◊ (БМАП)
- 136 Без сомнения, мой благосклонный читатель / Конечно, мой благосклонный читатель ◊ (ЧА)
- 140 что у них я нашел / что и у них я нашел (ЧА, БМАП)
- 142 борьбу за истину / борьбу мою за истину ◊ (ЧА)
- 145–146 благодаря нелепому строю их жизни / благодаря нелепому строю их жизни (ЧА, БМАП)
- 160 в их окна страшно дует / в их окна страшно дует (ЧА, БМАП)

* Ср. стк. 141–145.

- 161 пободрствовать возле меня ночь / пободрствовать возле
меня ночью ◊ (ЧА)
- 170 в настоящие тяжелые дни / в настоящую ◊ (ЧА)

Глава 10

- 1-23 X // Боже мой ~ передать я происшедшее. / IX // Боже мой,
что случилось со [мной] мною! Я не знаю, как рассказать
об этом читателю. *Я чуть не погиб*. Я был на краю пропа-
сти. Какие жестокие испытания посылает мне судьба. Без-
умцы, мы улыбаемся, ничего не подозревая, когда над нами
уже занесена чья-то убийственная рука, улыбаемся, чтобы
в следующую минуту дико вытаращить глаза от ужаса. Я,
я, я – я плакал о чем-то. Я плакал! Еще одно мгновение и,
обманутый, я бросился бы вниз, думая, что я лечу к небу.
Оказывается, та “преlestная незнакомка” под черной ву-
алью, что трижды таинственно являлась мне, есть никто
иной, как г-жа N., моя бывшая невеста, моя любовь, моя
мечта и страдание. *Ведь ни одной женщины, кроме нее, я
не знал и не любил во все эти бесконечные, ужасные года.*
[И ок(азалось)] И оказалось... // Но порядок, порядок! Да
простит мне мой благосклонный читатель невольную,
жалкую бессвязность предыдущих строк, но мне 60 лет, и
силы мои слабеют. Постараюсь подробно и точно со всею
объективностью, на какую только способен мой холодный
и светлый разум, передать происшедшее. И если вдуматься
в него, применяя строгие методы [строго логического] ло-
гически трезвого мышления, оно вовсе не так страшно, как
показалось это в первые минуты и часы. ◊* (ЧА-р)
- 1 X / IX. а. Свидания б. Свидание (ЧА) / а. IX б. ГЛАВА
ДЕСЯТАЯ (БМАП)
- 3 Я чуть не погиб / Я чуть не погиб (ЧА, БМАП)
- 4-5 мне шестьдесят лет / мне 60 лет ◊ (ЧА)
- 11 таинственно являлась ко мне / таинственно являлась мне ◊
(ЧА)
- 12 есть не кто иная, как г-жа NN / а. есть никто иной, как г-жа
NN б. есть никто иная, как г-жа NN (ЧА) / как в ЧА вар. “б”
(БМАП)
- 13 *Ведь ни одной женщины / Ведь никого, ни одной женщи-
ны* ◊ (ЧА)

* За исключением вариантов стк. 1, 3, 4–5, 11, 12, 13, 22–24.

- 22–24 передать я происшедшее⁶⁶. {⁶⁶} *Текст примеч.*} // Я сидел /
передать я прошедшее. *Текст примеч.* ⁶⁶} // Я сидел (ЧА) /
как в ЧА ◇ (БМАП)
- 28–29 нежелание причинить обиду / нежелание причинить обиды ◇
(ЧА)
- 29–30 принять неожиданную гостью / принять незнакомку ◇
(ЧА)
- 33–34 открыть дверь. // – Прошу садиться / открыть дверь. Часы
мой показывали в этот миг 42 минуты девятого вечером в
среду. // – Прошу садиться ◇ (ЧА)
- 39 безобразящее вас покрывало / безобразное покрывало ◇
(ЧА)
- 48 ума, опыта и таланта / ума, опыта и жизни ◇ (ЧА)
- 51 великой целесообразности⁶⁷ {⁶⁷} *Текст примеч.*}. Страстное
внимание / великой целесообразности. (*Текст примеч.* ⁶⁷,
*с вариантом**) Страстное внимание (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)
- 51–52 Страстное внимание, с каким слушала незнакомка мои
речи / а. Страстное внимание, с каким внимала незнакомка
моим речам б. Страстное внимание, с каким слушала не-
знакомка мои речи (ЧА) / как в ЧА вар. “б” (БМАП)
- 67 и моим глазам предстало лицо / и моим глазам – моим гла-
зам предстало лицо (ЧА, БМАП)
- 68 бесконечной и горькой муки. Оттого ли / а. бесконечной и
горькой муки. Дорогой читатель, это правда, это *ее* лицо
увидел я, *ее* лицо. Оттого ли б. бесконечной и горькой
муки. Дорогой читатель, это правда, это *ее* лицо увидел я,
ее лицо. И оттого ли (ЧА)
- 70–71 лицо *ее* не показалось мне / лицо *ее* мне не показалось ◇
(ЧА)
- 80–81 чем снова увидеть *ее*! // – Что же ты молчишь? / чем снова
увидеть *ее*! Глаза, глаза, проклятые человеческие глаза! //
– Что же ты молчишь? ◇ (ЧА)
- 94 слова, сказанные все же голосом строгим / слова, сказан-
ные голос(ом) ◇ (ЧА)
- 102 вернуться не может никогда / вернуться не может ◇ (ЧА)
- 105–106 мы оба закружились в бешеном потоке / мы бешено ◇ (ЧА)
- 110 даже друзья твои / уже друзья твои ◇ (ЧА)
- 113–128 О, если бы знала эта женщина ~ Что с тобою? / О, если бы
она знала, *что* делает она со мной! И в мгновенном умо-
иступлении, чувствуя, как раскрылась бездна над моими

* {я пользовался отчасти} / я пользовался частью

ногами, я крикнул: // – Молчи! Я... // – Нет, я не замолчу. Я все должна сказать тебе, – сказала она, и вдруг, точно впервые увидев мое лицо, испуганно остановилась. – Что ты! Что с тобой! // [– Я] – Молчи. Я знаю, что я невинен. // И точно в глубоком сне, точно из бесконечной дали, точно из-под тяжелой свинцовой крышки до меня донеслись невнятно и глухо мои повторные слова: // – Молчи. Я знаю, что я невинен. ◊* (ЧА-р)

116–117 Воистину бездна раскрылась под ногами моими / Воистину раскрылась бездна под ногами моими ◊ (ЧА)

140 ты ведь знаешь / но ты ведь знаешь ◊ (ЧА)

142 и этим, подумай, *этим* он купил меня / а. и ты подумай, *этим*, этим он купил меня б. и *этим*, ты подумай, *этим* он купил меня (ЧА) / и этим, ты подумай, *этим* он купил меня (БМАП)

142–236 он купил меня. // – Ты лжешь! ~ закричала дико. / он купил меня. Он так хвалил тебя, мы вместе, однажды, привозили к тебе в тюрьму цветы. Мы говорили только о тебе. // Разве можно было сохранить рассудок, слушая ее? Я потерял его. // – Так это для меня? Так это для меня ты рожала с ним детей? Так это для меня! // – Молчи, я преступница. А ты мученик, ты святой! Когда ты рассказывал мне... Это правда? Ты даже в мыслях ни разу, ни разу мне не изменил? // И снова под ногами моими раскрылась бездна. Все шаталось, все падало, все становилось бессмыслицей и сном, и с последней попыткой сохранить погасавший рассудок, я крикнул грубо: // – Но ведь ты же счастлива! Ты не можешь быть несчастна, ты не имеешь права быть несчастной! Иначе я сойду с ума! // Но она не поняла. С горьким смехом, с безумной улыбкой, в которой мука сочеталась с какой-то светлой небесной радостью, она сказала: // – Я счастлива? Я – счастлива? О, друг мой – только у ног твоих могу найти я счастье. С той минуты, как ты вышел из тюрьмы – я возненавидела мой дом, мою семью и я ушла уже оттуда. Как я ненавижу этого негодяя! // – Ты говоришь о муже! // – Мой муж ты. С [какой] какою радостью я бросила ему в глаза – подлец! Десятки лет оно жгло мой язык; ночью, в его объятиях я тихонько твердила [себе] про себя: подлец, подлец, подлец! И то, что он считал страстью, было ненавистью, презрением, плевком. Каждый раз, отдаваясь, я оскорб-

* За исключением варианта стк. 116–117.

- ляла его и, быть может, только поэтому была верна ему. // В бешенстве я воскликнул, отталкивая ее руки: // – Но ты же отдавалась ему! // – Нет. Я не отдавалась ему! Я только оскорбляла его, пойми, пойми же! Он внушал мне отвращение! // Воистину, с призраком мне легче [мо(жно?)] было говорить, чем с женщиной. Что мог сказать я ей? Как мог я оттолкнуть ее, когда с беспредельной жадностью, полная любви и страсти, она целовала мои руки, глаза, лицо. Это она, моя любовь, моя мечта, моя горькая мука. // – Я люблю тебя, я люблю тебя. // Боже мой, что случилось со мною[!]. Я вновь почувствовал черными мои кудри, я вновь увидел себя молодым. И я упал перед ней на колени и плакал долго. И смеясь, гладила она мои волосы и вдруг заметила, что они седые и закричала дико: \diamond^* (ЧА-р) / он купил меня. Он так хвалил тебя, мы вместе, однажды, привозили к тебе в тюрьму цветы. Мы говорили только о тебе. \diamond (БМАП)
- 150, 163, 182, 208, 214, 263 *Соответствующих примеч.* ^{68)–73)} нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 167–168 И вы катались по лесу / Вы катались по лесу (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 179 И это я действительно сказал / И это я действительно сказал (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 182 ответила с притворной готовностью / ответила с притворной готовностью (ЧА) / ответила с готовностью (БМАП)
- 203 А кто же лежал с ним? / А кто же лежал с ним? (ЧА, БМАП)
- 208 было ненавистью, презрением. / было ненавистью, презрением, плевком. (ЧА, БМАП)
- 214 ущипнуть, уколоть его булавкой / ущипнуть его, уколоть его булавкой \diamond (ЧА)
- 215 не изменяла ему / не изменила ему (ЧА, БМАП)
- 227 Я люблю тебя. Я люблю тебя. / – Я люблю тебя. Я люблю тебя. (ЧА, БМАП)
- 229 она жила только со мною / она жила со мною \diamond (ЧА)
- 234–235 изуродованной мысли. И, плача и смеясь / а. изуродованной мысли; как и плача, и смеясь б. изуродованной мысли; и плача, и смеясь (ЧА)
- 241 Откуда же вновь / А откуда же вновь \diamond (ЧА)
- 246 Пусть всею своею тяжкою громадой / Пусть всею своей тяжкою громадой (ЧА, БМАП)

* За исключением вариантов стк 150, 163, 167–168, 179, 182, 203, 208, 214, 215, 227, 229, 234–235, 263.

- 253 Было ровно половина четвертого / Было ровно 25 м(инут)
четвертого ◊ (ЧА)
- 266 Ах, я забыла вуалетку / Ах, я и забыла вуалетку (ЧА,
БМАП)
- 271 в такие годы / в такие года (ЧА, БМАП)
- 272 ее последний кокетливый смех / ее последний смех ◊ (ЧА)
- 275 где нахожусь я сейчас / где я нахожусь сейчас ◊ (ЧА)
- 276 над головою моей / над головой моей (ЧА) / как в ЧА ◊
(БМАП)
- 278–280 Ей я написал ~ не увидимся никогда. / Ей я написал, что
земля не отдает покойников. ◊
- 285 Почему-то очень много думаю / Почему-то я очень много
думаю (ЧА, БМАП)

Глава 11

- 1 XI / X (ЧА) / ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ (БМАП)
- 2–3 что как телесные, так и душевные силы / что телесные, так
и душевные силы ◊ (ЧА)
- 19 Подобно тому невинному Агнцу / Подобно тому Агнцу ◊
(ЧА)
- 22–26 Пусть сгибались ~ *Страшнейшего суда*. / Но если и там я
не встречу справедливости, я буду ждать нового, Страш-
нейшего суда. ◊ (ЧА)
- 22 Пусть сгибались / Если и сгибались ◊ (ЧА)
- 22 пусть гнулась / если и гнулась ◊ (ЧА)
- 23 – мое всевыносящее сердце никогда не просило пощады /
то всевыносящее сердце мое никогда не просило поща-
ды ◊ (ЧА)
- 26 я буду ждать нового / буду ждать я нового ◊ (ЧА)
- 29–30 дальнейшему развитию моих взглядов / дальнейшему раз-
витию и усовершенствованию моих взглядов ◊ (ЧА)
- 32 за идеальное и окончательное (сколько горьких / за идеаль-
ное (сколько горьких ◊ (ЧА)
- 38 в отношении к их жизни / в отношении к их жизни (ЧА,
БМАП)
- 42 разбирая с г. начальником план / разбирая с г-ном Началь-
ником тюрьмы план ◊ (ЧА)
- 44–45 существование “общих камер для мошенников” / существ-
ование “общих камер для мошенников” (ЧА)
- 46–47 Для наиболее тяжких – одиночное, для всех прочих / Для
наиболее тяжких – одиночка, для прочих ◊ (ЧА)
- 54 – Места мало! / – Мало места! ◊ (ЧА)

57 Как сообщили газеты / Как сообщили вчерашние газеты ◊
(ЧА)

57-58 дама скончалась / дама скончалась внезапно (ЧА, БМАП)

59-114 Горе ее мужа ~ кое-что новое. / Горе ее мужа и осиротевшей семьи не поддается описанию. С своей стороны я сильно, однако, сомневаюсь, чтобы здесь действительно имело место самоубийство, для которого я не вижу достаточных оснований. Хотя г-жа NN и уверяла меня при последнем свидании, что она несчастна и не любит мужа, я просто объясняю это высокой степенью экзальтации, [а т(акже?)] в какой она находилась, а также той потребностью [пок(аяния?)] в покаянии и небольшой, но красивой лжи, к которой так часто прибегает очаровательная половина человеческого рода. Чувствуя некоторую в действительности ничтожную вину передо мною, она торопилась ее загладить, не останавливаясь, к сожалению, перед средствами. Глубоко убежден, что, возвратившись к своему достойному супругу, в котором она не может не чтить отца своих детей, она сама рассказала ему о нашем свидании, умолчав, конечно, о некоторых подробностях, которые могли быть ему неприятны. Каким-то образом ей удалось узнать мой адрес и она прислала мне несколько писем, которые я вернул нераспечатанными, не желая подвергать себя напрасному и лишнему беспокойству чтением этих полуживых излияний, а за несколько дней до своей внезапной смерти являлась сама, но не застала меня дома – я был у г. Начальника нашей тюрьмы. Среди венков, украшавших ее гроб, был один весьма оригинальный по рисунку: он имел форму решетки из красных кровавых роз и носил красноречивую надпись: “От неизвестного друга. Да почиет в мире!” // Последнее, что остается мне добавить для полного и окончательного расчета с той жизнью, – я отказался от предполагаемого турне, несмотря на горячие просьбы и мольбы моего импресарио. Также отклонил я предложенную мне честь: издать мои лекции в виде отдельной книги. Не сомневаюсь, что книга эта, как говорит г. редактор, разошлась бы в миллионах экземпляров и создала бы обширный круг прозелитов, поставив меня во главе огромного и плодотворного движения. Но чуждаясь шума и блеска славы, столь неразлучных в наше время с рекламой, я не хочу в то же время торопиться с обнаружением моих заветнейших мыслей и идеалов.

- Не [сотням(?)] сотни глупцов, которые с криком ослят, потерявших ослицу, побегут за мною как за учителем, нужны мне – мне необходимо, чтобы мир принял мое учение о железной решетке – если только и от этого не пожелает отказаться моя гордость [свободного мыслителя] мудреца. [Конечно, я люблю человечество – да и как можно его не любить, но еще больше люблю я и ценю свое право на свободное исследование; и прежде, чем ответить человечеству на его вечный вопрос как жить и как умирать] Во всяком случае мне необходимо ранее устроить мою жизнь [на строгом основании] в строгом соответствии с моими идеалами – я не хочу быть один из тех многочисленных проповедников, у которых так прискорбно расходятся слово и дело. // Именно над этим радостно и светло тружусь я в настоящее время. И, торопясь к ожидающей меня работе, я с сожалением покидаю моего любезного читателя, в надежде завтра же свидеться с ним. \diamond^* (ЧА-р)
- 68–69 имеет полдюжины детей, а любит меня. Конечно, я не могу / имеет полдюжины детей. Конечно, я не могу \diamond (ЧА)
- 71 находилась при свидании моя старая подруга / находилась моя старая подруга \diamond (ЧА)
- 74 Примеч. ⁷⁴) нет (ЧА) / как в ЧА \diamond (БМАП)
- 74–75 желая доставить приятное как мне, так и себе / желая доставить мне приятное \diamond (ЧА)
- 83–84 удалось каким-то образом узнать мой адрес / удалось узнать мой адрес \diamond (ЧА)
- 87–88 за несколько дней до своей внезапной кончины, кажется за неделю / а. за несколько дней, каж(ется) б. за несколько дней до своей внезапной смерти, кажется, за неделю (ЧА, БМАП)
- 91 своей оригинальной формой / а. своею оригинальнейшею формою б. своею оригинальной формою (ЧА) / своей оригинальной формою (БМАП)
- 92–93 надпись на венке гласила / надпись на венке была \diamond (ЧА)
- 99–100 беседовать с этим легкомысленным народом / беседовать с этим лживым и легкомысленным народом (ЧА)
- 100–101 как неразборчивое животное, пожирать правду / как неразборчивое животное, жрать правду \diamond (ЧА)
- 106–107 явился на землю в тщеславной надежде / явился бы на землю в тщеславной надежде \diamond (ЧА)

* За исключением вариантов стк. 68–69, 71, 74, 74–75, 83–84, 87–88, 91, 92–93, 99–100, 100–101, 106–107, 107, 109–110, 111 (см. далее, до конца главы 11).

- 107 и вдруг оказывается / и вдруг оказалось бы ◇ (ЧА)
- 109–110 любой ребенок в невинности глаз своих искусно водит за нос самого маститого артиста! / любой ребенок искусно обойдет самого маститого артиста! ◇ (ЧА)
- 111 Но мне не до шуток, как бы ни были они забавны; / Но мне не до шуток. С глубокой серьезностью вглядываюсь я в мою жизнь. ◇ (ЧА)

Глава 12

1–28 XII ~ понятных мне колебаний / XI // *Двадцать второе октября 19.. года, воскресенье, девять часов утра.* // Со странным чувством открыл я эти пожелтевшие листки. До завтра, сказал я моему любезному читателю, не предполагая, что не одни сутки, а целых пять лет пройдет до той минуты, когда возобновлю я прерванную беседу. И только из желания всегда оканчивать то, что я начал, набрасываю я эти последние строки. Если успел измениться за эти года мой неведомый читатель, то еще в большей степени изменился я в условиях моей новой жизни. Как много колебаний, нерешительности, местами даже грустной неправды в том, что я писал тогда. Все еще неуверенный, несмотря на свой заносчивый местами тон, в глубокой правоте своей, я пытался что-то доказать, даже как будто в чем-то оправдаться – как будто [нуждаются] нуждается в оправдании [великая ист(ина)] святая истина. Впрочем, не буду распространяться: уже скоро тюремщик погасит свет в моей камере, а возвращаться снова к [мои(м)] этим запискам, я не хочу. // Возвращусь к тому, что было пять лет тому назад. // После долгих и теперь не совсем понятных мне колеба(ний) ◇* (ЧА-р)

- ¹ XII / XI (ЧА) / ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ (БМАП)
- 9–10 друг – читатель / друг-читатель (ЧА, БМАП)
- ¹² проглядел я написанное. / проглядел я написанное мною. (ЧА, БМАП)
- ¹⁶ наивных записках⁷⁵). {⁷⁵ Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем правды.} Зачем я делал / наивных записках (особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака). Зачем я делал (ЧА) / как в ЧА ◇ (БМАП)

* За исключением вариантов стк. 1, 9–10, 12, 16.

- 31 я нанял его / и нанял его (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 44–45 на двери, запираемой тяжелым и прочным замком / на двери, замыкаемой тяжелым и прочным замком (ЧА) / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 51–52 вызван крайней и печальной необходимостью / вызван крайней и постоянной необходимостью ◊ (ЧА)
- 53 книги по списку⁷⁶ {⁷⁶⟨Текст примеч.⟩}, а нанимать / книги по списку, а нанимать (ЧА) / а. как в ЧА б. книги по списку⁷⁶ {⁷⁶ Впрочем, в настоящее время я читаю только Библию и особенно Евангелие, вдумываясь в сокровеннейший смысл некоторых сомнительных мест.}, а нанимать ◊ (БМАП)
- 59 под конец пожал мне руку / под конец горячо пожал мне руку (ЧА, БМАП)
- 65 и осыпала меня / осыпая меня ◊ (ЧА)
- 66 к стыду моих сограждан / к стыду моих единомышленников ◊ (ЧА)
- 75–109 Что возмутило этих глупцов ~ Вернусь к дальнейшему описанию моей тюрьмы. / Правда, все те, кто поносил меня когда-то, поняли наконец цену моей твердости и теперь низко кланяются при встрече; и уже не сумасшедшим, а святым признали меня их женщины, и власть моя над их умом и совестью почти что безгранична. // Вернусь к [описанию] дальнейшему – описанию моей тюрьмы. ◊ (ЧА)
- 77 я восстановил святую правду / я восстановил всю правду ◊ (ЧА)
- 78–79 они заклеямили меня презрением / они заклеямили меня насмешкой ◊ (ЧА)
- 79–80 и не прошу для себя / а. как в тексте б. и не ищу для себя ◊ (ЧА)
- 85–86 перед непонятным⁷⁷ {⁷⁷⟨Текст примеч.⟩} И то, что я никогда / перед непонятным. И то, что я никогда (ЧА) / а. как в ЧА б. перед непонятным⁷⁷ {⁷⁷ Я уверен, что их пугает даже мой вид: уже давно перестал я подстригать мои волосы и бороду, и их естественный беспорядок кажется им ужасным. Но мне некогда заниматься пустяками.} И то, что я никогда ◊ (БМАП)
- 89–90 Изверившись в словах своих и чужих / Изверившись в словах чужих и своих ◊ (ЧА)
- 94–95 молчащему Богу⁷⁸ {⁷⁸⟨Текст примеч.⟩}. // Во всяком случае / молчащему Богу. ⟨Текст примеч.⁷⁸⟩ Во всяком случае / как в ЧА ◊ (БМАП)

- 107 не удержался бы от соблазна / не удержал себя от соблазна ◊
(ЧА)
- 142 ответил мне этот достойный человек / ответил мне этот
человек ◊ (ЧА)
- 146 не быть тем, что я есть / не быть тем, что я есть (ЧА,
БМАП)
- 146 Но что же я могу поделаться / Ну что ж я могу поделаться ◊
(ЧА)
- 147 если ты действительно нарушил правило и я должен от-
вести тебя / если ты *действительно* нарушил правило и я
должен отвести тебя (ЧА, БМАП)
- 152–153 мой добросовестный тюремщик не допустит меня до это-
го / этот человек не допустит меня до этого ◊ (ЧА)
- 153–154 Решительный огонь, сверкающий / Решительный огонь,
сверкавший (ЧА, БМАП)
- 154–155 куда бы я ни убежал / куда бы ни убежал я ◊ (ЧА)
- 162 страх, который, засыпая, почувствовал я к моему тюрем-
щику / страх, который, засыпая, почувствовал при угрозе
тюремщика ◊ (ЧА)
- 164 вызвать, быть может, даже улыбку / вызвать, быть может,
улыбку ◊ (ЧА)
- 175–176 ничей язык не повернется, я уверен, чтобы обвинить меня /
ничей язык не повернется, я уверен, обвинить меня ◊ (ЧА)
- 176–177 я не сумел выполнить свой тяжелый долг / не сумел я вы-
полнить свой тяжкий долг (ЧА, БМАП)
- 177–178 оставался я сильным и неподкупным / оставался я челове-
ком ◊ (ЧА)
- 181 давно прекратил я прием посетителей / а. давно прекратил
я свидания б. давно прекратил я прием посетителей и отка-
зался от всяких лекций ◊ (ЧА)
- 182 начальника нашей тюрьмы⁷⁹⁾ {⁷⁹⁾ (Текст примеч.)}, единствен-
ного неизменного / начальника нашей тюрьмы, единствен-
ного неизменного / как в ЧА ◊ (БМАП)
- 190–191 не склоняю я моего бестрепетного взора / не склоняю я
своего бестрепетного взора ◊ (ЧА)
- 193–234 Прощай, мой дорогой читатель! ~ 13 сентября 1908 г. /
Прощай, мой дорогой читатель. Смутным призраком мельк-
нул ты перед моими глазами и ушел, оставив меня одного
перед лицом жизни и смерти. Шлю тебе мое последнее
прощанье и *искренний* совет, добытый горьким опытом:
никогда не забывай, что ты человек и никогда не лги! //
Часы моих прогулок, установленные мною [сна(чала)] с

начала заключения, приноровлены к вечернему времени, которое я так люблю за его мирную тишину угасания. Не имея защищенного двора, я невольно должен был отступить от строгих правил и совершать прогулку “на свободе”. Впрочем, мой тюремщик поговаривает, что это надо прекратить. И недавно на нашем дворе появился какой-то загадочный кирпич: кажется *он* хочет обнести мою тюрьму каменной [стеной] стеною. // Теперь же мой путь таков: я дохожу до нашей тюрьмы, находящейся всего в пол версте от моей, несколько минут провожу в созерцании ее, и затем поспешно, дабы не опоздать, возвращаюсь к себе. Пустынное поле, поросшее бурьяном, лишенное всякого эхо, глухим ковром подходит к самой ограде нашей тюрьмы, величавые очертания которой покоряют мое воображение и мою мысль. Когда озаряет ее прощальными лучами, угасая, дневное светило и, вся в красном, как царица, как мученица, она молчаливо и гордо поднимается над равниной, темнея отверстиями решетчатых окон – я с тоскою, как влюбленный, шлю ей мои жалобы и вздохи и нежные укоризны и клятвы ей, моей любви, моей мечте, моей горькой и последней муке. О, если б я был гениальным художником, я всю жизнь посвятил бы на то, чтобы в тысячах картин воспроизвести ее [суровую] строгую и мрачную красоту. // При закате солнца наша тюрьма прекрасна. // 29 августа 1908 // Леонид Андреев ◊* (ЧА-р)

194 ты перед моими глазами и ушел / ты пред моими глазами и ушел (ЧА)

196 на моем месте солгал бы, пожалуй / на моем месте солгал бы мне, пожалуй (ЧА, БМАП)

200–201 как я отныне и навсегда забываю / как я отныне забыва(ю) ◊ (ЧА)

208–209 для него становятся слишком тяжелыми те беспокойные три четверти часа / для него становятся слишком беспокойными те три <четверти часа> ◊ (ЧА)

213 я ходил гулять один / я ходил гулять один (ЧА)

234 13 сентября 1908 г. / 12 сентября 1908 г. (ЧА)

* За исключением вариантов стк. 194, 196, 200–201, 208–209, 213, 234 (см. далее, до конца главы 12).

Варианты прижизненных изданий
(Б, АШ, Ш, Пр)

Глава 1

³ I / ГЛАВА ПЕРВАЯ (АШ, Ш, Пр)*

²⁴ к смертной казни. Просто / к смертной казни, замененной впоследствии пожизненным заключением в одиночной камере. Просто (Б)

²⁶ Примеч.¹⁾ нет (Б)

⁸⁵ и красоту²⁾ {² Как бы мне хотелось ~ в существовании человека}**. Некоторые / и красоту – к стыду тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клеветают на жизнь. Некоторые (Б)

Глава 2

¹¹ Не одаренный литературным талантом³⁾ {³ То, что люди называют ~ к вымыслу и лжи.}, я постараюсь / Не одаренный литературным талантом, который, в сущности, есть неудержимая склонность к вымыслу и лжи, я постараюсь (Б)

^{28, 38} Соответствующих примеч. ⁴⁾, ⁵⁾ нет (Б)

²⁸ {В тексте примеч. ⁴⁾.} {медленно и вяло} / {медленно, вяло} (Пр)

^{65–66} мою участь⁶⁾ {⁶ Особенно диким покажется читателю этот взгляд ~ маленькая шутка.}. В настоящее время / мою участь. Особенно диким покажется этот взгляд ~ маленькая шутка! В настоящее время (Б)

⁷⁶ дьявола / Дьявола (Б) / Дявола (АШ, Ш, Пр)***

^{101–102} цели⁷⁾ {⁷ Очень характерно то обстоятельство ~ так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной.}. // Теперь я понимаю / цели. Характерно то обстоятельство ~ так и на свободе. // Теперь я понимаю (Б)

* Далее до конца повести (за исключением гл. 12) сохраняется аналогичное различие в обозначении глав: в Б и ОТ – римской цифрой, в прочих редакциях словом “Глава” с соответствующим порядковым числительным.

** Здесь и далее в фигурные скобки заключены тексты подстрочных примечаний.

*** В отличие от ОТ, где везде далее употребляется лексически нейтральное написание “дьявол” (со строчной), в прочих печатных редакциях написание этого слова варьируется, при этом доминирующим является приведенное в данном случае соотношение вариантов.

- 142–143 его души⁸⁾ {⁸⁾ Пусть рассудит ~ великого благодатного одиночества души.} // И, называя / его души. Пусть рассудит ~ великого, благостного, священного одиночества души. (Б)
- 156 отчаяния⁹⁾ {⁹⁾ В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавши хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу.} // И те, кто / отчаяния, в чем легко убедиться, попробовавши, хотя бы в шутку, столкнуть ее в могилу. И те, кто (Б)

Глава 3

- 16, 43, 53, 80, 104 *Соответствующих примеч.* ^{10), 11), 12), 13), 15)} нет (Б)
- ³³ тоски ожидания / тоски ожиданий (Б, Пр)
- ⁷⁴ погасило мучительную тревогу / погасило и мучительную тревогу (Б)
- ^{89, 115} весеннее утро^{14), 16)} {^{14), 16)} 6-го мая} / весеннее утро (6 мая) (Б)

Глава 4

- ⁹ г. начальнику / г. Начальнику* (Б, АШ, Ш, Пр)
- ^{14–15} Не смея вполне принять уверения г. начальника¹⁷⁾ {¹⁷⁾ К сожалению, несколько иронические.} / Не смея вполне принять уверений, к сожалению, несколько иронических, г. Начальника (Б)
- ^{26–27} государственную тайну. // Признаюсь / государственную тайну. // То, что сейчас расскажу я о нашей тюрьме, будет, конечно, далеко неполно, так как в основе сведений лежит лишь моя наблюдательность; что же касается внешнего вида тюрьмы, то довольно точное представление о нем мне дали мои любезные посетители, снабдив меня достаточным количеством письменных и изустных описаний, рисунков и даже фотографий. Признаюсь (Б)
- ²⁸ *Примеч.* ¹⁸⁾ нет; ср. вар. к стк. 26–27 (Б)
- ^{45, 133, 156, 170, 176, 188, 202} *Соответствующих примеч.* ^{19), 22)–27)} нет (Б)
- ⁷⁶ беспокойной²⁰⁾ {²⁰⁾ <Текст примеч.>}. И для меня / беспокойной. <Текст примеч. ²⁰⁾> И для меня (Б)
- ¹⁰⁰ имени автора²¹⁾ {²¹⁾ <Текст примеч.>}. Окошечко же / имени автора. <Текст примеч. ²¹⁾> Окошечко же (Б)
- ¹⁷⁰ <В тексте примеч. ²⁴⁾> {сошлюсь на общеизвестное} / {сошлюсь на общественное} (Пр)

* Такое соотношение вариантов сохраняется до конца повести.

- 176 *⟨В тексте примеч. 25)⟩* {обладающие могучею любовью} / {обладавшие могучею любовью} (*АШ, Ш*)
- 176 *⟨В тексте примеч. 25)⟩* {погибают рано} / {погибают очень рано} (*АШ, Ш, Пр*)
- 187 или даже роком / или даже Роком (*Б, АШ, Ш, Пр*)
- 188 *⟨В тексте примеч. 26)⟩* {вульгарного рока} / {вульгарного Рока} (*АШ, Ш, Пр*)
- 218 спокойно / покойно (*Пр*)

Глава 5

- 22, 34, 62, 81, 114, 150, 218, 224 *Соответствующих примеч. 28), 29), 31)–36) нет* (*Б*)
- 49–50 и грифель³⁰⁾ {³⁰⁾*⟨Текст примеч.⟩*}. Таким образом / и грифель. (*⟨Текст примеч. 30)⟩*.) Таким образом (*Б*)
- 53 до иступления / до сумасшествия (*Б*)
- 62 *⟨В тексте примеч. 31)⟩* {мозг моего юного друга находится} / {мозги моего юного друга находятся} (*Пр*)
- 78 какую ерунду вы говорите! / какую ерунду вы городите! (*Б*)
- 214 на вашем месте / на нашем месте (*Пр*)
- 215 такой же узник / такой узник (*Пр*)
- 264 Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? / Неужели из нашей тюрьмы можно бежать? (*Б, АШ, Ш, Пр*)
- 269 Из нашей тюрьмы бежать невозможно. / Из нашей тюрьмы бежать невозможно. (*Б, АШ, Ш, Пр*)

Глава 6

- 14, 31, 38, 68, 119 *Соответствующих примеч. 37)–40), 42) нет* (*Б*)
- 20 Привожу дословно то, что сказал мне г. начальник: / Привожу дословно то, что сказал мне г. Начальник: (*Б, АШ, Ш, Пр*)
- 45 все это не мое / все это не мое (*Б, Пр*)
- 82 в Евангелии сомнительным? / в Евангелии сомнительным? (*Б, АШ, Ш, Пр*)
- 96 этого юнца⁴¹⁾ {⁴¹⁾ Я упал навзничь, головой между подушкой и спинкою кровати.}, он громко / этого юнца (я упал навзничь, головой между подушкой и спинкою кровати), он громко (*Б*)

Глава 7

- 21, 48, 90, 137, 164, 183, 193, 233 *Соответствующих примеч. 43)–49), 51) нет* (*Б*)
- 132 вы заставили их клясться / вы заставляли их клясться (*Б, АШ, Ш*)

- 176 богато́му и знатно́му / богато́му и си́льному (Б)
- 196–197 в нашей жизни⁵⁰⁾ {⁵⁰⁾ *Текст примеч.*} // Несмотря на это / в нашей жизни. *Текст примеч.* ⁵⁰⁾ // Несмотря на это (Б)
- 197 Несмотря на это, мои собеседования / Несмотря на некоторые недоразумения, подобные вышеизложенному, мои собеседования (Б)
- 233 *В тексте примеч.* ⁵¹⁾:) {с глубочайшим вниманием} / {с глубочайшим вниманием} (АШ, Ш, Пр)

Глава 8

- 38, 43, 66, 76, 122, 194, 247 *Соответствующих примеч.* ^{52)–58)} нет (Б)
- 74 особенного устройства / особого устройства (Б, АШ, Ш, Пр)
- 253 овладевшие мною чувства / владевшие мною чувства (Б)
- 334 *Примеч.* ⁵⁹⁾ нет; ср. вар. к стк. 335–336 (Б)
- 334 *В тексте примеч.* ⁵⁹⁾:) {обнюхал воздух} / {понюхал воздух} (АШ, Ш)
- 335–336 *После:* разум человека. (с абзаца) – *Текст примеч.* ⁵⁹⁾ с вариантами* (Б)

Глава 9

- 15–16 с глубокой признательностью⁶⁰⁾ {⁶⁰⁾ *Текст примеч.*} // Те средства / глубокой признательностью. *Текст примеч.* ⁶⁰⁾ с вариантами** (Б)
- 44–46 с моим любезным импресарио⁶¹⁾ {⁶¹⁾ *Текст примеч.*} // Между прочим / с моим любезным импресарио. *Текст примеч.* ⁶¹⁾ с вариантом***) // Между прочим (Б)
- 56–57 того удовлетворения, для которого / того удовлетворения, для какого (Б, АШ, Ш)
- 70 чувствует это⁶²⁾ {⁶²⁾ *Текст примеч.*}, но в странном ослеплении уверяет / чувствует это *Текст примеч.* ⁶²⁾, со строчной буквы), но в странном ослеплении уверяет (Б)
- 87 велениям рока / велениям Рока (Б, АШ, Ш, Пр)
- 95 в это слово⁶³⁾ {⁶³⁾ *Текст примеч.*} // Поверит ли читатель / в это слово. *Текст примеч.* ⁶³⁾ Поверит ли читатель (Б)

* {Вам не кажется?} / Вам не кажется это?

{обнюхал воздух} / понюхал воздух

** {грязненькой газетке} / грязненькой газете

{называл меня} / назвал меня

*** *После:* Торжество правды и гибель лжи. – Божеский престол вакантен – и на божеский престол есть претендент: человек.

- 95 *⟨В тексте примеч. 63⟩*: {я не в силах далее} / {я не в силах долее} (Б, АШ, Ш, Пр)
- 117 получили какую-нибудь пользу / получали какую-нибудь пользу (Б)
- 124 *Примеч. 64* нет (Б)
- 132 подписку на памятник⁶⁵ {⁶⁵ Но денег не дают.}. Отчаянные трусы / подписку на памятник, но денег не дают. Отчаянные трусы (Б)

Глава 10

- 22–23 передать я происшедшее / передать я прошедшее (Б)
- 22–24 передать я происшедшее⁶⁶ {⁶⁶ *⟨Текст примеч. 66⟩*}. // Я сидел / передать я прошедшее. *⟨Текст примеч. 66⟩* // Я сидел (Б)
- 51 великой целесообразности⁶⁷ {⁶⁷ *⟨Текст примеч. 67⟩*}. Страстное внимание / великой целесообразности. (*⟨Текст примеч. 67⟩ с вариантом**) Страстное внимание (Б)
- 116–118 и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией / и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией (Б, АШ, Ш, Пр)
- 150, 163, 182, 208, 214, 263 *Соответствующих примеч. 68–73* нет (Б)
- 182 с притворной готовностью / с притворною готовностью (Б)
- 208 было ненавистью, презрением. / было ненавистью, презрением, плевком. (Б, АШ, Ш)
- 215 я не изменяла ему / я не изменила ему (Б)
- 246 всю свою тяжкою громадой / всю своей тяжкою громадой (Б)

Глава 11

- 38 в отношении к их жизни! / в отношении к их жизни! (Б, АШ, Ш)
- 74 *Примеч. 74* нет (Б)

Глава 12

- 1 XII / ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ (АШ, Ш, Пр)
- 12 проглядел я написанное. / проглядел я написанное мною. (Б, АШ, Ш)
- 16 записках⁷⁵ {⁷⁵ Особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака, в котором больше литературного таланта, чем

* {я пользовался отчасти} / я пользовался частью

- правды.}. Зачем / записках (особенно неприятен в этом отношении мой рассказ о появлении призрака). Зачем (Б)
- ⁵⁰ шкаф с книгами / шкаф с книгами (Б, АШ, Ш)
- 53, 86, 182 *Соответствующих примеч.* ^{76), 77), 79)} нет (Б)
- ⁵⁹ под конец пожал руку / под конец горячо пожал руку (Б)
- 94–95 молчащему Богу⁷⁸⁾. {⁷⁸⁾ *Текст примеч.*} // Во всяком случае / молчащему Богу. *Текст примеч.* ⁷⁸⁾ Во всяком случае (Б)
- ¹⁹⁶ солгал бы, пожалуй / солгал бы мне, пожалуй (Б)
- ²³⁴ 13 сентября 1908 г. – нет (Б)

ЦАРЬ ГОЛОД

(С. 185)

ЧА I

⟨л. 1⟩¹

Посвящается А.М.А.²

Царь-Голод

Представление в шести картинах, соч. Леонида Андреева

Картина первая:

Царь Голод клянется, что не обманет.

Картина вторая:

Царь-Голод зовет к бунту рабочих.

Картина третья:

Царь-Голод зовет к бунту голодную чернь.

Картина четвертая:

Суд над голодными.

Картина пятая:

Предательство Царя-голода.

Картина шестая:

Поражение голодных, радость и потом ужас сытых.

⟨л. 2⟩

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Царь-Голод клянется, что не обманет

Ночь.

Верхушка старинной соборной колокольни. Позади ее – небо, мутно желтеющее от невидимых городских огней; и на светлом фоне его резко и отчетливо вычерчиваются черные³ столбы, стропила, колокола и решетки церковной башни. К низу башня переходит в черные силуэты кровель⁴, выступов и статуй, закрывающих собой город, и непрозрачно черных, почти плоских. Только кое-где на этом черном кружеве видны отсветы низких огней – на

¹ Здесь и далее всем листам рукописи придана сквозная архивная нумерация, отсутствующая в автографе.

² Ниже справа помета: 27 сент.

³ черные вписано.

⁴ Было: крыши

боках колоколов, на⁵ колоннах, на черных фигурах тех трех, что разговаривают.

Это Царь-Голод, Смерть и⁶ Время.

Смерть стоит⁷ совершенно неподвижно, и черный силуэт ее рисуется так: маленькая головка,⁸ четырехугольные, узкие плечи, прямизна и сухость линий; под(?) черным, узко облегающим покрывалом, чувствуется угловатость и сухость скелета. Почти так же неподвижно, и только изредка качает головой Время⁹. И голова у него большая, с огромной, старческой бородою и волосами; виден он в профиль – большой, строгий нос и нависшие мохнатые брови.

Царь-Голод движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. Видно только, что он высок и гибок.

⟨л. 3⟩ Разговаривают Время-¹⁰Звонарь и Царь-Голод.

– Ты снова обманешь, Царь-голод! Ты уже столько раз обманывал, и я не верю тебе.

– Поверь еще раз, старик. Поверь еще только раз! Прежде я обманывался сам, я губил моих бедных детей, их трупами я кормил ее...

Смерть, все такая же неподвижная, перебивает скрипучим, сухим и очень спокойным голосом:

– Да, – но я еще не сыта.

Время. Ты никогда не бываешь сыта.

Ц(арь)-Голод. Но теперь я дам ей более сытную пищу. Я дам ей жирных, толстых, здоровых, у которых красная кровь, густая и вкусная. Смерть, дай мне руку, ты поблагодаришь меня – в честь твою будет этот праздник!..

Смерть, не протягивая руки, говорит тем же скрипучим голосом:

– Я никогда не благодарю.

Время. Ты лжешь, царь-Голод!

Ц(арь)-Голод. Посмотри на мое лицо – ты и в темноте увидишь, как бледно оно. Взгляни в мои глаза – ты и в темноте увидишь, как горят они огнем кровавого бунта. Время настало, старики. Земля голодна. Она полна стонами. Она грезит бунтом. Ударь же в твой колокол, старик, озари землю огнем последнего великого бунта!

⁵ Далее было: столбах

⁶ Далее было: Звонарь

⁷ стоит вписано.

⁸ Далее было: покатые

⁹ Было: звонарь

¹⁰ Время- вписано.

Время (колеблясь). Правда, когда наступает ночь, ко мне оттуда приходят (л. 4) слабые стоны... Плач детей...

Ц(арь)-Голод показывает на город:

– Это оттуда: из города!

Время качает головою:

– Нет, еще дальше. Плач женщин, хрипение стариков...

– Это оттуда, с полей, из глубины умирающих деревень...

– Нет, еще дальше... Как будто стон всей земли слышу я, и это не дает мне спать. Я старик, я устал, мне нужно спать, а они не дают. Мне хочется умереть. Смерть, старая подруга, когда же ты возьмешь меня?

Смерть молчит, и старое *Время* грустно никнет головою.

Ц(арь)-Голод. Ударь в колокол! Я также несчастен, я также хотел бы умереть, снять с головы моей эту темную корону. Бедные дети мои – хотел я создать царство сильных, а создал только царство убийц, тупоумных, несчастных. Снимите с меня корону, я не царь, я жалкий приспешник! Ударь в колокол!

Время. Ты уже говорил это когда-то. И ты обманул!

Ц(арь)-Голод. Тогда я не верил сам тому, что говорил.

Время. А теперь?

Ц(арь)-Голод. Взгляни на моих детей! Спроси у нее, она никогда не лжет. Безропотные доселе, теперь они встречают ее бурей негодования, проклятиями, гневом.

Смерть тем же спокойным скрипучим голосом:

– Да – они спорят немного.

Ц(арь)-Голод. Дай твою руку, смерть!

(л. 5) *Смерть* не дает руки и молчит. Медленно звонят часы на башне.¹¹ *Время* говорит, колеблясь:

– Я начинаю верить. Мне так хочется отдохнуть – умереть...

Ц(арь)-Голод. Тогда не будет времени! О милый колокол! Ты принесешь нам покой и отдых.

Ласкает колокол, целует нежно его крутые бока. Потом молча делает вид, что звонит; и тихонько, глядя на него, смеется *Смерть*.

Время. Ты смеешься, смерть?

Смерть. Да – немного.

Время. Ты рада? Или ты смеешься над моей доверчивостью? Но есть правда в его словах, и колокол знает это. Ночью, когда все спит – только, не умирая, стонет земля, по его бокам пробегают тихие шорохи, незаметные слабые звоны. Точно тысячи незри-

¹¹ Медленно звонят часы на башне. *вписано*.

мых рук ощупывают и ласкают его и пробуют: сохранился ли в нем звук. Страшно ночью, на колокольне, когда весь город внизу и стонет земля!¹²

Где-то внизу, в глубине, трижды, протяжно, трубит хриплый рог. Начинаясь на низкой ноте, звук медленно замирает на высокой – чувствуется в нем тоскливый и страшный призыв. И еще раз, где-то вдали, повторяется звук.

Смерть. Меня зовут.

Скрывается. Некоторое время стоит молчание. Невидимые¹³ огни в городе становятся немного ярче и краснеют¹⁴, по-видимому¹⁵, где-то начался ночной¹⁶ пожар. Время говорит просяще¹⁷:

⟨л. б⟩ – Теперь мы одни – скажи мне правду, царь-Голод. Ты великий предатель, ты обманываешь меня.

– Клянусь.

– Ты дашь им победу?

– Клянусь.

– И мне ты дашь покой?

– Клянусь.

– Я верю тебе. И я ударю в колокол, когда ты скажешь.

– Это будет скоро. Я устал.

– Я устал.

Утомленно кладет большую, лохматую голову на каменную балюстраду. Растущее зарево окрашивает красным его седые волосы и длинную, худую руку, лежащую на перилах. Царь-Голод, так же утомленно, садится у ног его и кладет голову на его¹⁸ колени. И говорит:

– Опять у них горит что-то. Но я устал. Я не пойду туда сегодня. Я побуду с тобою. У тебя так тихо.

– У меня страшно.

– Там еще страшнее. Я был везде, и страшнее всего у людей. Спой мне твою песенку, Время, дай отдохнуть великому и несчастному царю.

При блеске разгорающегося зарева Время поет тихим, старческим голосом.

¹² *Далее было:* Ты слышишь? Ты слышишь? // Все прислушиваются. Ц(арь)-Голод замер неподвижно и так же слушает. Колокол издает легкий звенящий звук и замолкает. // Ц(арь)-Голод. Ты слышишь? Земля требует бунта Торопись, старик!

¹³ *Было начато:* О(гни?)

¹⁴ и краснеют *вписано.*

¹⁵ *Было:* как будто

¹⁶ *ночной вписано.*

¹⁷ *Вместо:* Время говорит просяще: – *было начато:* В(ремя)

¹⁸ его *вписано.*

Песенка времени

Все видел я, все слышал я, устал я – О, бесконечность, мать моя! О деточки мои – секундочки, минуточки, годочки – о бесконечность, дочь моя.

⟨л. 7⟩

КАРТИНА ВТОРАЯ

*Царь-Голод призывает к бунту работников*¹⁹

Еще до раскрытия занавеса слышится тихий и ритмичный стук многочисленных молотков. Большие молоты, различные по тону и силе звука, ударяют глухо и редко²⁰, маленькие же, также различные по силе и звонкости, бьют часто²¹ и торопливо. В общем получается какая-то мелодия, напоминающую песенку Времени.

При раскрытии занавеса глазам представляется, в черном и красном, внутренность завода. Красное, огненное – это багровые света из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотами черные тени людей. Черное, бесформенное, похожее на сгустившийся мрак – это силуэты чудовищных машин, странных сооружений, имеющих грозную видимость ночного кошмара. Они налегли на людей и давят их своей колоссальной тяжестью. И столбы, подпирающие их, похожи на лапы чудовищных зверей, и их черные груди²² – на тела животных²³, на слонов, на исполинских птиц, с распростертыми крыльями, на амфибий, на химер. Тяжесть, и покой и мрак, и будто смотрят отовсюду широко открытые, неподвижные, слепые глаза.

И как маленькие черные тени копошатся внизу люди. Суетливости нет в их движениях. И движутся и говорят они размеренно, в ритме молотов и работающих машин, и когда кто-нибудь вдруг выступает отдельно, то кажется, что это откололась частица черной машины, странного сооружения, похожего на неведомое чудовище.

Стук молотов то усиливается, то затихает; иногда маленькие ⟨л. 8⟩ живые молотки умолкают совсем, и тогда слышны²⁴ только

¹⁹ Было: рабочих

²⁰ Вместо: глухо и редко – было: редко и глухо

²¹ Далее было: , ⟨нрзб.⟩

²² Было: грудь(?)

²³ животных вписано.

²⁴ В рукописи: слышен (неисправленный вариант).

равномерные, тупые²⁵ редкие удары больших механических молотов. Голоса людей вливаются в этот хор незаметно и звучат в унисон: то живые и звонкие, то глухие, отрывистые, тупые, почти мертвые.

Жалобы работающих

– Мы голодны.

– Голодны.

– Голодны.

Ударяет большой молот.

– Мы работаем на других.

– Наши дети плачут от голода.

– У наших матерей нет молока.

– Их груди пусты.

– Их сердца полны тоскою.

– Но их груди пусты! Пусты! Пусты!

Большой молот тупо ударяет.

⟨л. 9⟩ – Мы льем пушки.

– Мы куем звонкое оружие.

– Мы приготавливаем порох.

– Мы создаем машины.

– Заводы.

– Города.

– Все для других.

– Братья! Мы куем собственные цепи.

Удар.

– Пушки нас убивают.

– Нас режет²⁶ звонкая сталь.

– Нас истребляет порох. Мы куем собственные цепи.

– Каждый удар – новое звено.

– Каждый удар – новая заклепка.

– Мы голодны.

– Мы работаем на других.

Удар.

– Кто разорвет наши цепи?

– Кто отдаст наше нам?

– Царь-голод.

– Царь-голод.

²⁵ *Вместо:* равномерные, тупые – *было:* равномерный и тупой

²⁶ *Было:* режут

– Не верьте царю-Голоду. Он предатель. Он обманет вас, братья.

– Он сделал наших детей хилыми.

– Он отнял у них мужество.

– Нет, он друг!

⟨л. 10⟩ – Друг! Друг!

Удар.

– Чего не может сделать голодный?

– Чья ярость сильнее?

– Чье отчаяннее мужество? Чего может испугаться голодный?

– Ничего!

– Ничего. Ничего!

Несколько сильных и глухих ударов большого молота.

– Боится тот, у кого брюхо.

– Кто жирен!

– Кто толст!

Злобный хохот:

– Хо-хо-хó! Хо-хо-хó! Хо-хо-хó!

Молот.

– Нам нечего терять.

– Мы задавлены машинами.

– Мы голодны. Наши дети плачут и умирают. У наших матерей нет молока. Их груди пусты. Нам нечего терять.

– Но этого мало. Голод лжет. Он связанных толкает в бой. У нас нет силы,²⁷ братья!

– Это говорит старик.

– Вон отсюда трус!

– Наша сила – наша злоба.

– Наша сила – ненависть наша.

– Наше отчаяние!

⟨л. 11⟩ – Наша ярость!

– Наш гнев.

Молот.

– Зовите Голод²⁸ сюда!

– Он обещал прийти.

– Я видел его недалеко; он скоро придет сюда.

– Он обещает сытость и богатство; зовите его сюда!

– Не верьте обещаниям царя-голода!

²⁷ Было · !

²⁸ Было · голод

- Молчи, старик, ты выжил из ума!
- Голод! Голод! Голод!
- Голод!
- К нам! Сюда!
- Мы голодны!

Все голоса сливаются в гневном²⁹ вопле: “мы голодны!” Ущепенно, с яростью, бьют маленькие живые молотки, и глухо, с тупым бесстрашием, отвечают им³⁰ механические молоты.

- Вот и он!
- Царь-Голод! Царь-голод!
- Он пришел!
- Несчастье – он пришел!
- Нет, радость! Он пришел!

На середину, в полосу багрового света из горна, быстро входит Царь-Голод. Он высокого роста, худощавый и гибкий; лицо его, с огромными, черными, страстными глазами,³¹ костляво и бледно; и волосы на точеном черепе острижены низко. До пояса он обнажен и в красном свете отчетливо рисуется его сильный, жилистый торс;³² *⟨л. 12⟩*³³ на ногах до голых икр³⁴ узкие, плотно облегающие штанишки цвета серого полотна; обут он в легкие сандалии. И весь он производит впечатление чего-то сжатого, узкого, стремящегося ввысь. В движениях Царь-Голод порывист и смел; иногда, в минуты задумчивости и скорби, царственно медлителен и величав. Когда же им овладевает гнев, или он зовет, или проклинает – он становится похож на быстро закручивающуюся спираль, острый конец свой выбрасывающую к небу. И тогда кажется, что в движении своем, как вихрь, поднимающий сухие листья, он подхватывает все, что кругом, и одним коротким взмахом бросает его к небу.

Голос его благороден и звучен; и глубочайшей нежности полны его обращения к несчастным детям.

Идя³⁵, Царь-Голод говорит быстро:

– Дети! Милые дети мои. Вот пришел к вам Царь голод. Идите же сюда!

Останавливается выжидающе, озаренный красным светом раскаленной печи. И медленно собираются вокруг него работ-

²⁹ *Далее было:* крике

³⁰ *Далее было:* удары

³¹ *Далее было начато:* блед(но)

³² *Было:* .

³³ *Далее было:* На

³⁴ до голых икр *вписано.*

³⁵ *Было начато:* В(ойдя?)

ники. Только трое из них вступают в полосу света и становятся видимы отчетливо, остальные же стоят грудюю темных теней; и только кое-где случайный свет выхватывает из мрака голое могучее плечо, поднятый молот или суровый профиль.

И те, которые видимы, таковы по своей внешности. Первый молодой – образец великолепного тела, созданного мускульной работой. Обнаженные руки и грудь дают картину пышной мускулатуры, даже чрезмерной в необыкновенном развитии своем; и огромный *(л. 13)* молот кажется легким в спокойно опущенной руке. И лицо его – странная смесь благородства, силы, непобедимой воли – и какой-то, еле заметной, но тяжелой, железной тупости. Лоб прям и низок; так же прям и нос грубой, тяжелой лепки; подбородок выдался энергично, и при смехе видны необыкновенно белые яркие зубы. Говорит он спокойно и медленно, с угрюмой силой.

Второй молодой – низкорослый, худой, истощенный, с тонкими руками, которые небольшой молот держат с видимым трудом. Вскоре он бросает его. Бледное, худое лицо горит возбуждением и страстью; иногда он точно забывается и грезит вслух; и вдруг удивляется тому, что говорит, и стыдливо никнет головою.

Третий – сильный, угрюмый, недоверчивый старик. И первые двое становятся на правую сторону Царя-Голода, старик же, одиноко, на левую. Стук маленьких молотков стихает и только бухают большие.

Разговор Царя-Голода и рабочих

– Здравствуй, царь-Голод. Мы ждали тебя.

– Отчего ты не приходил, Голод? Мы так ждали тебя. Уже нет у нас терпения. Разве ты не жалеешь нас?

– Зачем пришел? Опять для обмана?

Голоса сзади:

– Пусть старик молчит!

– Нет, пусть говорит и он.

– Сама старость – обман и ложь.

Царь-Голод говорит властным голосом:

(л. 14) – Слушайте, дети мои. Слушайте, милые дети мои! Я обошел все царство труда, царство голода и нищеты, бесправия и гибели – все великое царство мое. Кто видел Голод плачущим? А³⁶ я плакал, дети мои, я плакал кровавыми слезами, глядя на несчастья ваших братьев. Мой слух уже не принимает слов – он

³⁶ Было · Я

полон стонами, и зрелищем глубочайших несчастий пресытились глаза мои. Горе, горе работающим!

Рабочие отвечают тихо:

– Горе!.. Горе... Горе!..

– И я принес вам привет от ваших братьев!

Рабочие отвечают тихо:

– Спасибо!

– И я принес вам великий наказ от ваших братьев: готовьтесь к бунту! Уже веет незримо над головами кровавое знамя его, и сам в ночи, содрогаясь муками земли, стонет колокол всполоха! Я слышал его стон!

Молчание. Глухой удар большого молота. Молодой сильный рабочий кладет руку на плечо царя Голода и говорит:

– Послушай меня, царь злосчастья. Я – рабочий. Я стар, как земля. И я силен, как земля. Но моя сила только в мышцах, вот в этих руках, сжимающих, как клещи, вот в этой груди, которая дышит, как паровик. Как Геркулес, я совершил все двенадцать подвигов, чистил конюшни, срубил головы горгонам, и как Геркулес, я не знаю, зачем я делал это. Что в силе тела, когда мысль бессильна! Я хочу понять, – зачем земля, – зачем я сам, – зачем все подвиги мои. Видишь ли, царь, я уже перестал быть рабом, но я еще не человек. Ответ *(л. 15)* же мне, где путь к освобождению.

– Бунт!

Удар большого молота. И тихие голоса:

– Он прав.

Быстро говорит молодой, бессильный:

– Царь-Голод! Царь-Голод! У меня умирает жена, и дети мои умерли, и сам я, видишь, какой худой. Но у меня такие фантазии! Когда вся земля будет наша, мы везде устроим сады. В них мы будем гулять, парочками, с³⁷ кем кто хочет, и смотреть на солнце. У меня умирает жена, но мы...

Вдруг спохватывается и стыдливо опускает голову. Тупой³⁸ и безнадежный удар молота. Говорит старик.

– Мой прадед был голоден, и ты царь, позвал его к бунту – где мой прадед? Его убили тем мушкетом³⁹, который сделал он сам. Мой дед был голоден и тоже бунтовал – где он, царь Голод? А мой отец? Ты всех их звал к бунту – всех отдал проклятой подружке твоей смерти! Предатель! Друг сытых! Лакей за ихним столом и господин – только здесь!

³⁷ Было начато: к(то?)

³⁸ Было начато: У(дар?)

³⁹ В рукописи: мушкой

Голоса:

- Старик прав!
- Он не трус. Он бунтовал сам, когда был молод.
- А где мой отец? Убийца, отвечай!
- А где мой брат? Убийца, отвечай.
- Голод лжет.
- Предатель! Убийца! лжец!

⟨л. 16⟩ Угрюмо наступают на Царя-Голода. Некоторые медленно⁴⁰ с угрозой поднимают молот и медленно опускают. И закинув голову, надменно, через плечо, смотрит на них Голод.

– Кровопийца! Ты высосал всю кровь из нашего тела. Посмотри, как бледны мои дети!

- Ты царь безумия! Ты отнял разум у твоих детей!
- Ты царь бесстыдства! Ты отнял у них стыд!
- Многие из нас воруют. Кто виноват?
- Гибнут в кабаках!
- Убийца! Отравитель!

Угрюмо наступают.

– Нет, нет, – бормочет молодой бессильный с тихой улыбкой, – это не совсем правда. А мои мечты? А мои светлые грезы? Разве это не ты дал мне, голод?

– Погодите, – спокойно говорит молодой сильный и жестом руки отстраняет наступающих, – это не все правда. Посмотрите на него, так не стоят лжецы, так не смотрят предатели. Ответь же им, Царь, они выслушают тебя.

Царь-Голод начинает тихо:

– Что слово разума для безумцев? Что свет солнца для слепого? Мною рожденные, от меня восприявшие силу гнева и проклятий – на меня же вы хотите обрушить ее! Кто научил вас словам гнева, к которым с радостью прислушивался я – разве не Царь-Голод?

– И светлым мечтам и грезам... Братья, братья!..

– И разве вам, дети мои, так нравятся сытые? Что делает ⟨л. 17⟩ сытый? Он пьет, ест, – потом спит! И снова ест, и снова спит.

Угрюмые голоса:

- Добавь еще – развратничает.
- Заплывает жиром, и его возят лошади, как клад.
- Молится Богу.

Угрюмый смех:

– О продлении живота!

⁴⁰ Далее было начато: подни(мают?)

– А кто работает – кто ищет – кто творит? Голодный. Только он!

Разочарованный голос:

– Ты же обещал нам сытость? Ты, значит, солгал?

– Как могу я обещать то, что не в моей власти. Я царь голода, а не сытости. Я царь бурных стремлений, неугасимых надежд, великой тоски и порыва, – а не сытости, не жирного покоя и сна. Будьте голодны, дети мои, будьте вечно голодны, но не брюхом, как жалкие звери, а светлой головою.

– Да, нам это нужно. Так-то ведь я сыт!

– А я и так не сыт.

– Молчите!

– ⁴¹ Восстаньте! Овладейте дворцами, заводами и машинами – пусть слугами вашими будут машины, а не господами! Восстановите справедливость, убейте подлюю⁴² сытость в ее грязном логове, и пусть Царем всего мира станет ваш царь – Великий и славный Голод! К бунту зову я вас, дети мои, к великому последнему бунту!

– Он лжет.

– Молчать!

⟨л. 18⟩ – Дети мои! Благородные дети мои! Пожалейте меня! Мой первозданный ⟨трон?⟩ стал троном позора! Великий царь, стремившийся создать великое – я стал наемным убийцею в руках сытых мерзавцев, палачом, казнящим только безвинных! О хитрый, хитрый, о подлый, подлый человек. Как сумел ты уйти из-под моей власти и меня, старика, доселе еще счастливого хранителя лесов, сделал губителем городов.

– Вот это правда, – говорит старик рабочий.

– Да, старик! Ты смело назвал меня лакеем при столе сытых, и я лакей! Освободите же меня! Восстановите мой трон. Мне надоело шататься по трущобам, душить младенцев, вырывать груди у женщин. Моя корона ржавеет от крови невинных. Друг сильных, я стал их убийцею, враг слабых – я стал их хранителем. О подлый, подлый, о хитрый человек!

Задумывается, опустив голову. Молчание. Бухает молот. Молодой сильный кладет руку на плечо Голода и говорит:

– Послушай, царь! Мы готовы!

Голоса.

– Да. Готовы. Веди нас! Нет. Что скажет старик? Старик, старик говори!

⁴¹ Далее было начато: Овла(дейте?)

⁴² подлюю вписано.

Старик говорит задумчиво:

– Мне жаль его. Может быть, он и прав, и время настало. Я стар, я соображаю плохо – решайте вы, молодые. Мне все равно уже недолго жить.

– Мы готовы! Мы готовы!

– Веди нас, Голод!

– К бунту! К бунту! Останавливайте машины!

⟨л. 19⟩ – Заливайте топки!

– Ничего не ломать! Останавливайте машины!

– Веди нас! Бунт! Бунт!

Царь-Голод останавливает движение и говор властным жестом руки.

– Подождите,⁴³ дети! Еще не ударил колокол. Ждите, когда Время ударит в колокол. И тогда вперед, на улицы – и да здравствует великий, последний бунт!

Общий крик, поднятые с молотами руки, глухие удары большого молота.

– Бунт! Бунт! Бунт!

(Опускается занавес)

⟨л. 20⟩

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Царь-Голод призывает к бунту голодную чернь

Очень широкое и очень низкое подвальное помещение с сводчатым потолком на рельсах. Впечатление чего-то⁴⁴ насевшего на голову, огромной тяжести пятиэтажного дома. Вверху под потолком⁴⁵ все время картины⁴⁶ почти непрерывно играет красивая, нежная музыка, под которую танцуют.

Помещение совершенно пусто и для жилья видимо не служит. Освещено оно достаточно ярко несколькими висячими лампами, так что с совершенной ясностью можно рассмотреть все бесконечное отвратительное разнообразие собравшейся черни. Все собравшиеся сидят в строгом и чинном порядке за длинным столом и, видимо, пародируют заседание, ибо есть председатель, и звонок, и прочие принадлежности настоящего, делового сове-

⁴³ Далее было начато: б(едные?)

⁴⁴ -то вписано.

⁴⁵ Далее было начато: а. в(се?) (незач. вар.) б. поч(ти?) (незач. вар.)

⁴⁶ Было: действия

щания. Это – уличные дешевые проститутки, хулиганы и их подруги, сутенеры, мелкие воры, убийцы, нищие и другие отбросы⁴⁷ города. Есть некоторые общие черты, роднящие их: очень низкие, придавленные лбы⁴⁸, истощенность и бледность лиц, выражение тупости и скотства на большинстве их, беспорядок, оборванность и нелепость костюма; некоторые более или менее⁴⁹ пьяны, даже три подростка, девочки⁵⁰. Вообще же возраст трудно различим.

Председатель – очень низкий, опухший от водки,⁵¹ с волосами, начинающимися от лба и нелепо торчащими. Очень пьян, и очень миролюбив, говорит с одышкой. До крайности оборван и грязен.

⟨л. 21⟩ Звонит в звонок.

– Все получили повестки?

– Никто не получал.

– Ну все равно, заседание состоится и⁵² без повесток. Итак, госпожи проститутки и стервы, господа хулиганы, карманники и убийцы.

– Убийц здесь нет!

– Что он городит!

– Да ты вдребезги пьян, миляга. Кто вслух кричит об убийцах?

– Ну все равно, нет убийц и не надо. Итак, заседание открыто. И первым делом, как председатель, прошу гг. членов сознаться: кто принес с собою водку?

– Я!

– И я! А тебе не дам.

– У всех есть.

– Э, это нехорошо. Тут пить нельзя, а кто хочет, пусть отойдет в тот угол, там⁵³ буфет. И, пожалуйста, прошу, чтобы за столом не спали – вон дама уже храпит. Эй, дама! Секретарь, дайте даме по шее.

– Вставай, дьявол!

– Можно в тот угол, там гостиная.

– Зачем привели сюда⁵⁴ женщин? К черту их.

– Пошел сам к черту.

⁴⁷ Далее было: жизни

⁴⁸ Далее было: и носы(?)

⁴⁹ Вместо: некоторые более или менее – было: все словно

⁵⁰ Далее было: , которые, впрочем, скоро засыпают

⁵¹ Далее было: лысый(?)

⁵² Далее было: так

⁵³ Далее было: п(?)

⁵⁴ Далее было: баб

– Ах нет, как можно без дам? Дама – это украшение общества.

– Ну и иди с ней в тот угол.

– Вор!

Председатель звонит:

⟨л. 22⟩ – Ну и это нехорошо. Г. вор! г. сутенер! Тут все равны. Ну и дамы тоже... Эй, музыка наверху, замолчи! – Она не молчит.

– К черту председателя!

– Это почему?

– Он пьян. Надоел! К делу! Он пьян!

– Ну и это нехорошо говорить. Разве я тут пил? Я раньше напился. Но если все хотят...

– Все! Все!

– Ну и черт с вами!

Уходит в угол и там пьет, достав бутылку из кармана. На председательское место садится молодой, с низким лбом, короткими черными волосами, провалившимися темными глазами. Стучит по столу кулаком и злобно скалит зубы:

– Я председатель. Молчать! Тихо!

– Кто выбрал?

– Вот это дело.

– Молчать! Тут у некоторых есть ножи. Кто будет спорить, шуметь, нарушать порядок... Посадить того пьяницу на место.

– Тут буфет.

Пьяницу, бывшего председателя, бьют и сажают на место.

– Ну и сел.

– Молчать. Дебатируется вопрос о всеобщем разрушении. Ораторов прошу записаться в очередь. Женщин и пьяных прошу говорить только по специальному приглашению председателя. Тихо! Кто имеет сказать?

Встает один:

– Я предложил бы подождать Отца.

⟨л. 23*⟩⁵⁵ Председатель, мрачно:

– Это зачем?

– Он созвал нас сюда.

– Да, верно.

– Подождать!

⁵⁵ Л. 23 в ЧА1 отсутствует. В настоящем издании реконструирован по ЧА1к (см. комментарии).

– Молчать! С места не говорить. Неизвестно, когда придет отец, а нам ждать нельзя. У многих сегодня ночью дела. Предлагаю приступить к прениям.

– Виноват: очень мешает музыка и топот танцующих.

– Пусть танцуют. Музыка достаточно красива, чтобы вдохновить ораторов. Вам что угодно?

– Я желал бы сказать первый. Сегодня ночью мне и моему уважаемому товарищу предстоит вырезать целую семью. Вы понимаете, г. председатель, что этот труд потребует много времени, и я...

– Понимаю. Прошу.

Оратор начинает сладким голосом:

– Уважаемое собрание! Не осмеливаюсь сказать “высокое собрание”, так как, находясь в подвале...

– Короче.

– Слушаю-с. Когда я родился...

Председатель, гневно:

– То родился дурак. Вам предстоит вырезать целую семью, а вы начинаете с рождения, как член парламента.

– Но и члены парламента...

– Прошу подчиниться. Вообще предлагаю говорить не более 2-х минут. У кого-нибудь есть часы, я свои забыл дома.

(л. 24) Один из членов вынимает из кармана десяток различных часов и кладет на стол:

– Есть.

– Благодарю вас. Достаточно одних. Во избежание дальнейших задержек предлагаю в речах ограничиться только предложением способов разрушения, т. к. мотивы разрушения известны...

– Нет, не всем! Пусть говорят.

– Как танцуют. Они пол провалят на наши головы.

– Им весело.

– Ничего. Скоро будут плакать.

– А мы танцевать.

– Молчать. Итак: минута – о мотивах разрушения. Минута – о способах. Прошу начать.

– Мы голодны. Нас ограбили, у нас отняли все: силу, здоровье, ум, красоту...

– А их женщины красивы!

– И мужчины тоже.

– Молчать!

– Отняли достоинство и совесть. И я предлагаю: разрушить, уничтожить, стереть с лица земли. Способ: предлагаю отравить городской водопровод.

- А где мы возьмем столько яду?
- Ограбим аптеки.
- Мы сдохнем сами.
- Мы будем пить из реки. А если и⁵⁶ подохнем.
- Я не хочу умирать!

⟨л. 25⟩ Поблизости раздается трижды протяжный, хриплый звук рога, предвещающий приближение Смерти. Никто, однако, его не слышит.

- Довольно. Голосование потом. Следующий оратор.
- Мы голодны. Нас ограбили, у нас отняли все.
- Я же говорил, что мотивы известны. Способ, оратор, способ.
- Я предлагаю...

Пьяница, бывший председатель, падает со стула. Одновременно с этим входит Смерть и садится на свободный стул. Вверху играет веселый марш. Пьяницу осматривают.

Председатель. Издох. Отволоките его в угол. Прошу на места. Кто это плачет?

- Его любовница.

Председатель. Вывести ее.

- Я не буду.

Председ(атель). Прошу оратора продолжать.⁵⁷

– Я предлагаю, извините... Тут есть сад с зверями, с тиграми. Я предлагаю:⁵⁸ взломать клетки и выпустить зверей.

- Это глупо. У них есть ружья, дома, – вас слопают первого...
- Ну хоть попугать.
- А зачем это нужно?
- Так, весело очень. А потом, – говорит нежным голосом, – там в саду бывают ихние деточки, так вот, может, хоть одного ребеночка... деточку... Посмотреть бы.

- Это бы и я посмотрел.

– Мне нравится.

– Деточку хоть одного бы посмотреть бы...

⟨л. 26⟩ Плаксиво шмурыгает носом и просит:

– Одного бы ... деточку...

– Верно! Верно! Нужно уважить старика!

Председатель, гневно:

⁵⁶ Далее было: мы(?)

⁵⁷ Следующий далее текст (19 абзацев, до фразы: Хохочут. на л. 26) в ЧА1 отсутствует Реконструирован по ЧА1к.

⁵⁸ Далее было: ночью

– Молчать! Что нам один ихний ребенок, десяток, сотня. Долой нежности! Необходимо дело. Прошу...

Двое тихо разговаривают:

– Когда я взял его за ножки, он думал, что это я хочу его покачать. И засмеялся.

– Засмеялся?

– Засмеялся.

Хохочут.

– Тише! Предлагайте, предлагайте!

– Заразить их нашими болезнями!

– Сифилисом!

– Тифом!

– Дифтеритом!

– Холерою!

Председатель. Вздор. У⁵⁹ них есть доктора. На тысячу наших ихних подохнет только один. Да ищите же! Неужели мы так бессильны!

– Проклятые!

– Танцуют!

– Где же Отец!

– Мы бессильны! Проклятые! Танцуют! Что же не идет Отец!

Все, за исключением спокойно сидящей Смерти, вскакивают и, смешавшись в груды разъяренных тел, все поднимают к потолку (л. 27) напряженно вытянутые руки.

– Проклятые!

– Танцуйте! Танцуйте!

– Мы придем к вам!

– Передушим ваших детей!

– Проклятые!

Быстро входит царь-Голод.

– Дети мои!

Всё со стоном, с плачем, с рыданием и визгом бросается к нему, окружает, падает на колени, ловит его руки⁶⁰. Образуется группа: в центре, возвышаясь, Царь Голод, и у ног его дрожащие⁶¹ прижимаются к нему несчастные. В стороне остаются только Смерть, к(отор)ая спокойно сидит на своем месте, и председатель. Он сложил руки на груди и мрачно смотрит на стонущих.

⁵⁹ Далее было: их

⁶⁰ Было: руку

⁶¹ Было: дрожащиеся

Ц(арь) Голод. Дети мои! Любимые дети голода! Несчастные⁶² дети мои!

Гладит по головам. Всё стонет. Отделяется один и говорит дрожащим, запинаящимся, плачущим голосом, как ребенок:⁶³

– Отец! Посмотри, что они сделали со мною! Отец!

Плачет, утирает слезы и продолжает:

– Отец, посмотри, какой у меня низенький лоб. Я не могу думать, отец. Посмотри на мои глазки – разве это глаза? В них ничего не видно. Они всего съели меня, отец. От меня ничего не осталось, отец. Я плакать буду.

Плачет.

– Почему он один плачет? Разве мы лучше?

– Разве ему хуже, чем нам?

⟨л. 28⟩ – Будем плакать! – Будем плакать!

– Пожалей нас, отец!

– Положи руку на мою несчастную голову. Я ребенка убила!

– Приласкай меня, отец.

– Пожалей же!

– Несчастные мы!

– Покинутые!

– Забытые!

Плачут; и, закрыв руками лицо, плачет сам царь-голод.

– Бедные. Бедные, – говорит он сквозь слезы.⁶⁴

Все слова, стоны и рыдания сливаются в один протяжный вопль, полный невыносимой, какой-то подземной тоски. Музыка вверху, точно испугавшись, играет красиво и печально. И презрительно, сложив руки на груди, смотрит на плачущих Председатель-хулиган и его подруга.

– Довольно, дети! – говорит царь-Голод, очнувшись. – Они привыкли плавать по морю слез!

Председатель. Да. Я думаю, что довольно хныкать. Отец, простите меня, но вы внесли беспорядок в наше собрание. Мы люди занятые, нам некогда.

Царь-Голод. Продолжайте заседание.

Председатель. Вам принадлежит председательское место.

– Останьтесь на нем вы. Я буду только гостем.

Польщенный председатель кланяется.

⁶² Далее было: мои(?)

⁶³ Следующий далее текст (3 абзаца, до фразы: Плачет.) в ЧА1 отсутствует. Реконструирован по ЧА1к.

⁶⁴ Следующий далее текст (15 абзацев, до слов: “Встает маленькая...”) в ЧА1 отсутствует Реконструирован по ЧА1к.

– На место. Молчать! Кто еще плачет? Закройте шлюзы, иначе выгоню!

⟨л. 29⟩ Все, вздыхая, рассаживаются. Царь-Голод садится возле Смерти.

– И ты тут?

Смерть. Да – дело было.

Ц(арь)-Голод. Вон тот, в углу?

Смерть. Да – и еще будет.

Председатель звонит.

– Заседание продолжается. Кто имеет сказать?

Встает маленькая девочка с бледным тонким лицом и говорит маленьким голосом:

– Я.

Ц(арь)-Голод, удивленно. Чей это ребенок?

– Я не ребенок. Я проститутка. Мне сейчас 12 лет, хотя на вид я кажусь несколько старше. А когда мне было десять, мамаша продала меня одному гоподину за 20 р. и бутылку водки. Это недорого, но мамаша тогда была неопытна, так как я первая ее дочь; остальные пошли дороже. Сестричка Лиза, которая удавилась...

Председатель. Говорите только о себе.

Девочка. Хорошо, я так только, вспомнила. С тех пор, два года, я каждую ночь имею одного или двух мужчин, но платят они недорого. И деньги мои я отдаю моему любовнику, чтобы он не так бил меня...

Встает рослый, усаый и хрипло, с самодовольством говорит:

– Это я.

– Молчать! Продолжайте, но короче.

– Что же еще? Ах да. Я научилась пить водку; я и теперь пьяна, но только немного. Что же еще? Ах да. У меня очень болит ⟨л. 30⟩ сердце.

Садится. Ц(арь)-Голод поднимает голову кверху и говорит тихо:

– Вы слышите, проклятые?

Председатель. Девочка, встань. Чего же ты хотела бы для них?

Девочка встает:

– Я желала бы, чтобы все они умерли.

Ц(арь)-Голод Смерти. Ты довольна?

Смерть. Да – приятно слышать.

Председатель. Убежден, что девочка высказала наше общее пожелание. Но чтобы не было каких-либо недоразумений, я став-

лю вопрос на баллотировку. Прошу встать тех, кто за жизнь для них – указывает рукою наверх.

Все сидят. Один пьяный пробует встать, но ему объясняют, в чем дело, и он садится. – Так. Никто. Теперь прошу встать тех, кто за смерть.

Встают все, в том числе Ц(арь)-Голод и Смерть.

– Так. (Торжественно) Присуждены к смерти единогласно.

Ц(арь)-Голод (Смерти, тихо). Послушай, тебе нельзя вставать.

Смерть. Убирайся!

Председатель. Но может, кто-нибудь из присутствующих пожелал бы выступить в защиту? Необходимо соблюсти...

Гневные голоса:

– Нашел дурака!

– Защищай сам!

– Поищи в другом месте, а тут защитников нету.

– Молчать. Итак, никто из присутствующих...

(л. 31) Встает старая, пьяная женщина.

– Вот только бы насчет детей. Детей бы не надо... а?

Вскакивает худой, длинноволосый, с вытарашенными глазами.⁶⁵

– Ну да: не надо детей, а потом не надо женщин. А дети вырастут, а женщины нарожают новых... Это, тетка, называется гуманизм, нам, тетка, это не к лицу. Детей!

– Ну не знаю, как хотите. Я думала... а может, и ваша правда. Тоже, как подумать.

Поднимается бритый, красноносый и начинает вкрадчиво:

– Как бывший юрист, я осмелюсь, однако, предложить на рассмотрение такой казус. В некоторых случаях, при так называемых волнениях или народных бедствиях, одному из членов нашей почтенной корпорации приходится вступить в интимные отношения с одной из тех (указывает наверх) дам или девиц, результатом чего является плод. Так как же полагает собрание относительно детей, родившихся от подобного морганатического брака? Убивать также или оставлять некоторым образом на семя? для обсеменения, так сказать, человечества?

Председатель. Это к делу не относится.

– Виноват-с. Как бывший юрист...

Садится.

⁶⁵ Следующий далее текст (до конца л. 32) в ЧА1 отсутствует. Реконструирован по ЧА1к.

Председатель. Вопрос о средствах. Здесь, отец, обсуждался вопрос о средствах, как уничтожить... А где же тот, которому нужно вырезать семью?

– Он очень извиняется. Он ушел.

– И вот как раз перед вашим приходом, Отец, *(л. 32)* мы пришли к очень грустному выводу: мы бессильны!

Ц*(арь)*-Голод. Вы бессильны!

– Да.

– Вы! Кто же тогда силен, если не вы, любимые дети голода!

– Но мы не можем причинить им настоящего вреда.

– Вы! Да разве теперь, спокойно сидя здесь, в подвале, вы не являетесь тем мраком, который гасит их огни? Разве, издыхая, не источаете вы яд, который отравляет их. Вы почва города, вы первооснова их жизни, вы щиплющийся ковер, к которому прилипают их ноги. Великий мрак идет от вас, дети мои, и безнадежно трепещут во мраке их жалкие огни!

Председатель (гордо). Это правда.

Голоса:

– Но этого мало!

– Их нужно истребить!

– Танцуют проклятые!

– Отравить воду!

– Научи, Отец. Мы ждали тебя. Не оставь детей.

– А иначе к черту!

– Танцуют проклятые!

Председатель. Молчать!

Ц*(арь)*-Голод *(встает).* Вам мало этого? Так слушайте, дети мои. Готовится бунт.

– Горячая потеха!

– Так-так. Запасайся спичками!

(л. 33) – Спички дешевы.

– Народное бедствие. В это время не платят страховых премий.

– Огонь!

– Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!

– Молчать!

– Но ждите, дети мои. Пройдут короткие дни, и Время снова ударит в колокол вспокоха – и тогда на улицы!

Стонут от восторга.

– Молчать!

– А пока – выползайте понемногу из ваших нор. Черными тенями легонько крадитесь среди народа – и крадите, и убивайте, и

кричите, кричите! Уже легче стало дышать, уже пахнет гарью и свободнее выходит наружу зверь – близится ночь. А когда ударит колокол!..

Крики восторга, шум, беспорядок, все вскакивают с места – кроме Смерти.

– На улицы!

– В дома! В их спальни!

– Будем жечь!

– Я буду много кушать.

– Будем дробить головы.

– Да здравствует Смерть.

Смерть встает и серьезно кланяется.

– Ага, проклятые! – Танцуют! – Скоро, скоро! Туда, вверх.

Как сухой лес тянутся кверху худые угрожающие руки.

– Ждите нас! Скоро! Поплясали! Проклятые!

⟨л. 34⟩ – Да здравствует Смерть!

Смерть снова встает и серьезно кланяется.

Председатель жмет руку Голоду:

– Спасибо, отец.

– Много прольешь ты крови, сынок!

– Много, отец.

– Я буду много кушать.

– Танцевать!

– Музыка бесплатная.

– Пока внизу.

– Пусть Отец дирижирует.

– Отец! Отец.

Обступают, смеясь, совершенно дикие, царя Голода. Он, также смеясь, отнекивается:

– Да я и танцевать не умею. – Пойдите, пойдите. Куда тащите старика?

– Просим. Отец, Отец!

– Вот разве она? – указывает, смеясь, на смерть.

Смерть (сердито). Убирайся.

– Ну пожалуйста, ну милый, ну отец!

– Хорошо. Ну а за даму можешь быть?

Смерть. Да – это могу.

Встают. Музыка вверху играет кадрили. Становятся в пары.

Царь-Голод со смертью.

– Riturner!*

Ухарски танцуют. Смерть несколько жеманится.

* Правильно: Retournez! – “возвращайтесь, назад” (фр.)

⟨л. 35⟩ Внезапно вспыхивает ссора. Крики, голос председателя:

– Оставь мою даму!

– Тут нет своих дам!

– Прочь!

– Не смей бить. Держись! Убью! Кто это? Стойте, стойте. Держите его!

Общая свалка. Громкий стон и проклятие. Кто-то падает. Из расступившейся толпы выходит очень бледный председатель, с ножом. Оглядывается назад:

– Ну, кто еще?

– Нашел дурака!

– Кого это, а?

– И нужно же было!

Ц(арь)-Голод (покровительственно). Ты что ж это, своих?

Председатель бледно улыбается:

– А разве есть свои?

Смерть мрачно:

– Да – и потанцевать не дадут.

Крики.

– Танцевать! В пары! Дирижируй, отец!

Приготавливаются к танцам. Вдалеке слышится трижды звук⁶⁶ рога – протяжный, хриплый...

Опускается занавес.

⟨л. 36⟩

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Суд над голодными*⁶⁷

Подобие судейского зала.

Налево наискось в⁶⁸полоборота к зрителям сидят за столом судьи. Стол находится на возвышении и покрыт черным сукном; атрибуты судопроизводства: голый череп, закапанный слегда чернилами, небольшая игрушечная английская⁶⁹ виселица и большая четвертная квадратная бутылка с красным, как кровь, вином. Судей пятеро, председательствует *царь-голод*; все судьи одеты в черные

⁶⁶ Было начато: р(ог?)

⁶⁷ Следующий далее текст (4 абзаца, до слов: Занимая весь правый...) в ЧА1 отсутствует. Реконструирован по ЧА1к.

⁶⁸ Далее было: три (четверти?)

⁶⁹ английская вписано.

мантии и пышные напудренные парики. Двое по бокам *ц(аря)-Голода* необыкновенно худы и тощи, с длинными, вытянутыми до чрезмерности лицами; и рты у них похожи на перевернутую⁷⁰ букву⁷¹ *У*; следующие двое чрезмерно толсты, бочкообразны, благообразны, и рты у них кружочками, напоминают верхушку задернутого кошелька.

Внизу, за маленьким столиком, согнувшись, секретарь с необыкновенно большим гусиным пером.

У задней стены, на возвышении, пюпитр, за которым сидит неподвижно *Смерть*.⁷²

Занимая весь правый угол картины, ближе к зрителям, отделенные от суда низенькой решеткой, помещаются на удобных скамейках *Зрители*⁷³. Все они одеты как на бал: женщины в пышных платьях декольте, с жемчужными колье, бриллиантовыми диадемами; у одной из них, *Миллионерши*, пальцы до самых ногтей унизаны перстнями; и только одна, *Девушка*, хотя и декольтирована, в относительно *(л. 37)* простом, без украшений, черном платье. В общем, женщины красивы, за исключением двух старух, одетых также пышно, и притом одна в ярко-красное. Мужчины в фраках и сюртуках, также благообразны и чисты. У *Профессора*⁷⁴, напр., седые кудри необыкновенной белизны и вообще вид патриарха. Есть толстые⁷⁵, из коих один постоянно засыпает. Три⁷⁶ юноши: один, глупый, с моноклем и выражением восторга на прыщавом лице; другой равнодушный, пресыщенный; третий с пышными черными волосами, демонической наружностью и выражением на лице мировой скорби.

Все указанные свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие, достигают крайнего развития.⁷⁷

При открытии занавеса *Царь голод* и за ним все остальные судьи встают и почтительно кланяются сперва *Смерти*, которая отвечает угрюмым кивком головы, и затем *Зрителям*.

Ц(арь)Голод. М(*илостивые*)⁷⁸ государыни и государи! Позвольте приветствовать вас в зале правосудия. По вашему желанию, которое для нас закон...

⁷⁰ перевернутую вписано.

⁷¹ Далее было: *(нрзб.)*

⁷² Далее было начато (с абзаца): *Напро(тив?)*

⁷³ Было: *зрители*

⁷⁴ Было: *профессора*

⁷⁵ Было начато: *с(?)*

⁷⁶ Было: *Два*

⁷⁷ Следующий далее текст (до слов: *Царь-Голод*. Тебе, голодный... на л. 40) в *ЧА1* отсутствует. Реконструирован по *ЧА1к*.

⁷⁸ Далее было: *М. гг.*

Кланяется и смотрит на товарищей, и те поочередно, каждый с поклоном, подтверждают:

– Закон.

– Закон.

– Закон.

– Закон.

Царь-Голод продолжает:

(л. 38) – ... которое для нас закон, мы собрались сюда, чтобы судить голодных. Для этого мы надели мантии и парики, поставили стол, взлезли на возвышение и внизу посадили секретаря с большим гусиным пером.

Секретарь быстро кланяется.

– Он служит по вольному найму, и хотя голоса в решении не имеет, но совершает в протоколе ошибки. Иногда эти ошибки являются источником неприятностей, иногда же – ибо все в этой жизни неисповедимо – ⁷⁹

Находящийся среди зрителей пастор вздыхает и поднимает глаза к потолку.

– служат источником нового действующего права. Что это значит, сударыни, вам объяснит г. профессор, которого я имею честь лицезреть в вашей уважаемой среде. Теперь же приступим к суду.

Садится.

Вводите первого голодного.

Разговор зрителей

– Ах, г. профессор, неужели вы все это понимаете?

– Все, г-жа миллионерша.

– Ах, как это странно – а я ничего не понимаю. А они понимают?

– Посмотрите, какой нос у того судьи, совсем как кончик собачьего хвоста. Ну, честное слово, он облизнул его языком!

– Как вы насмешливы. Вы так молоды, вы должны уважать суд.

– Да я его, честное слово, уважаю. Но ведь у него такой смешной нос.

Хохочут.

(л. 39) – И это суд! Душа моя кипит негодованием и презрением к человечеству.

– Оставь, разве тебе не все равно.

– Но пойми же!..

⁷⁹ Далее было: служат источник(ом)

– Ты волосы завиваешь, или они вьются от природы?

– Слегка.

– А⁸⁰ у меня лысина начинается. Это в 24 года!..

Толстый просыпается:

– Которого судят?

– Еще не начинали, ваше сиятельство.

– Что же это они!

– Ведут! Ведут! Как это интересно! Какая рожа! Mamочka, он не кусается? Не бойтесь, дитя мое, на нем достаточно крепкий намордник. Слушайте! Слушайте! – Ах, как интересно!

Вводят первого голодного – оборванного старика с разбитыми ногами. На лице у него проволочный намордник.

Ц(арь) Голод. Снимите с голодного намордник. – Ты что сделал, голодный?

Старик говорит разбитым голосом.

– Украл.

– Сколько украл?

– Я украл пятафунтовый хлеб, но у меня его отняли. Я успел откусить только кусочек. Простите меня, я больше не буду.

– Ты что же, – получил наследство? Или есть больше не хочешь?

– Нет, хочу. У меня его⁸¹ отняли. Я откусил только кусочек...

– Так как же ты не будешь? У тебя есть дети?

⟨л. 40⟩ Допрос продолжается.

Разговор зрителей

– И этого несчастного судят! Неужели ты не чувствуешь, как это...

– Оставь.

– Довольно скучный старикашка. И какой страшный фасон брюк!

... – Уголовное право, сударыни, разделяется на две части: на первую часть и на вторую часть. В первой части говорится о преступлениях вообще, и я должен признаться, сударыни, что это наиболее слабо разработанная часть...

– Ах как жаль!

– Да – т(а)к как самая сущность преступления остается для науки не вполне разгаданной. Зато вторая часть, где говорится о преступлениях в частности, разработана в совершенстве. И я позволю себе, сударыни, привести некоторые отдельные моменты...

⁸⁰ Было: У

⁸¹ Было начато: х(леб)

Царь-Голод. Тебе, голодный, все равно жить не долго.

Старик разбитым голосом:

– А может, еще поживу.

Разговор зрителей

– Какая скука. И чего с ним возьятся?

– Которого?

– Еще только первого, ваше сиятельство.

– Ага!

... – Так, преступление кражи, в котором обвиняется этот почтенный старичок, разделяется на две части: простую кражу и кражу, как выражаемся мы, криминалисты, квалифицированную...

– Квалифицированную!

– Не пугайтесь, сударыня, это длинное пугающее вас слово *(л. 41)* содержит самый простой смысл. Простая кража...

– Слушайте, слушайте!

– Наконец-то!

Ц(арь) Голод встает, громко:

– Теперь,⁸² м.г., мы сделаем вид, что думаем. Г.г. судьи, прошу вас принять вид размышляющих.

Все судьи на некоторое время принимают вид размышляющих. Почтительное молчание. Голодный равнодушно оглядывает залу. Затем в том же молчании судьи сразу встают и, повернувшись к Смерти, очень низко кланяются, вытягиваются ей навстречу.

Ц(арь) Голод. Что изволит сказать...

Смерть сердито стучит кулаком по столу – быстро встает и говорит скрипучим голосом:

– Осужден – во имя дьявола!

Так же быстро садится и замирает в злой неподвижности. Судьи садятся также.

– Голодный, ты осужден! Наденьте на него намордник!

– Пожалейте.

– Наденьте на него намордник. Введите следующего голодного.

Радость⁸³ зрителей

– Ага!

– Так-то старичок!

– Нельзя в самом деле допускать... Конечно, он стар...

– Тем хуже, если стар. Я понимаю это в молодости, но к старости должны вырабатываться более стойкие убеждения...

⁸² *Далее было:* г.г.(?)

⁸³ *Было:* Разговор

- ⟨л. 42⟩⁸⁴ – Ведут! Ведут.
 – Какой зверь!
 – Да, это не меньше убийства!
 – Посмотрите на его лоб.
 – Как страшно!
 – Вы очень нежны, дитя мое.
 – Тише.

Быстро вводят второго голодного и снимают намордник⁸⁵. Это здоровый детина с низким бычачьим лбом; грудь его наполовину раскрыта; смотрит исподлобья, угрюмо.

Ц⟨арь⟩ Голод. Ты что сделал, голодный?

– Изнасиловал барышню в лесу.

Выражения ужаса и приятного волнения.

– Какой ужас!

– Вот зверь.

– Это и меня захватывает.

– Позор для человечества такие люди.

– Которого?

Ц⟨арь⟩ Голод. Почему ты это сделал?

– Замуж за меня она ведь не пошла бы. А мне очень ее захотелось.

– Почему ты не удовольствовался женщинами, какие есть у вас, голодный?

– Наши женщины грубы и некрасивы от голода и работы. А эта была нежная с белыми руками; тонкая такая. А ребенок у нее будет?

⟨л. 43⟩ – Нет, мы приняли искусственные меры и удалили зародыш.

Голодный угрюмо:

– Хитрые.⁸⁶

...Преступления посягательства на женскую часть делятся на...

⁸⁴ Следующий далее текст (до конца л. 42) в ЧА1 отсутствует. Реконструирован по ЧА1к.

⁸⁵ и снимают намордник вписано.

⁸⁶ Далее было:

– А тебе хотелось бы сына?

Хохот.

– Нет, не особенно. Вышел бы такой же болван, как вот тот с стеклушкой.

Молодой человек с моноклем[: Э(то)] в бешенстве:

– Это черт знает что! Это не суд. Наденьте на него намордник!

– Сейчас, сейчас. Еще вопрос. Что [вы] ты, голодный, можешь сказать в свое оправдание?

– Ах, погодите, г. профессор, так интересно.

– В⁸⁷ оправдание? Что, если бы я мог, я изнасиловал бы вон ту, и вон ту, и вон ту. Старуху в красном не стал бы, пусть останется вам.

Старушка падает в кратковременный обморок. Все в волнении.

– Какой ужас!

– И меня!⁸⁸ Вы заметили, он показал на меня.

– Нет, на меня!

– Зверь!

– А знаешь, он начинает мне нравиться..

– А если бы он так твою невесту?

– Ты говоришь глупости.

Девушка в черном, которая все время молчала, вдруг встала и спрашивает среди⁸⁹ полной тишины:

*⟨л. 44⟩*⁹⁰ – А почему ты думаешь, что она не вышла бы за тебя замуж. Я бы вышла, быть может.

Голодный, угрюмо:

– Посмотри получше.

– Ты прав: не вышла бы. Ты слишком груб.

– Вот то-то⁹¹. А я бы тебя изнасиловал.

– Нет. Скорее убил бы.

– Да – и убил бы.

Девушка садится. Юноша с демонической внешностью смотрит на нее мечтательно, но она не обращает на него внимания. Свои смотрят на нее с некоторым страхом.

– Однако!

Ц(арь) Голод. Г.г. судьи, прошу принять вид размышляющих.

Повторение той же процедуры с тою же торжественностью⁹² вплоть до низкого и протяжного поклона смерти. Смерть вскакивает, стучит кулаком по столу:

– Осужден – во имя дьявола!

Голодный Девушке:

– В лес не ходи одна!

– Наденьте намордник. Введите следующего голодного.

⁸⁷ Было: Что

⁸⁸ Было: ?

⁸⁹ Далее было: общего молчания

⁹⁰ Следующий далее текст (15 абзацев, до фразы: Вводят голодную) в ЧА1 отсутствует. Реконструирован по ЧА1к.

⁹¹ -то вписано.

⁹² с тою же торжественностью вписано.

Вводят голодную. Это молодая, стройная, но⁹³ крайне истощенная женщина, с бледным, трагическим лицом. Говорит бесстрастно, мертвым голосом.

– Ты что сделала, голодная?

– Убила своего ребенка.

– Какой ужас!

– Как она прекрасна.

– Женись.

⟨л. 45⟩ – Преступление детоубийства в древности не считалось таковым и рассматривалось как естественное право родителей.

– Ах, погодите, г.г. профессор...

– Но наука, дитя мое...

Ц(арь) Голод. Расскажи, голодная, как ты сделала это.

Говорит бесстрастно:

– Я с моей девочкой шла ночью через реку по очень длинному мосту. И так как я уже раньше решила это, то, выйдя на середину, я сказала: посмотри, дочечка, как шумит внизу река. Она сказала: я не достану, мамочка, перила очень высоки. Я сказала: дай я подниму тебя, дочечка. И когда она стала смотреть вниз, в черную глубину, я перекинула ее туда.

– Она цеплялась?

– Нет.

– Кричала?

– Да, раз вскрикнула.

– Как ее звали.

– Дочечка.

– Нет, имя. Как ее звали.

– Дочечка.

Царь-Голод закрывает рукою лицо и говорит несколько дрожащим голосом.

– Гг. судьи, прошу принять вид размышляющих.

Вновь та же процедура и тот же сердитый ответ:

– Осуждена – во имя дьявола.

Ц(арь) Голод. Ты осуждена, женщина, слышишь? Ты пойдешь, на смерть. Ты пойдешь в ад и там будешь гореть на вечном, ⟨л. 46⟩ на неугасимом огне! Твое сердце будут рвать дьяволы железными когтями! В твой мозг вопьются⁹⁴ ядовитейшие змеи подземные и будут жалить его, и будут жалить, и никто не услышит твоего крика, потому что ты будешь молчать. Ты слышишь, голодная?

⁹³ стройная, но *вписано*.

⁹⁴ *Далее было* · тысячи

- Слышу⁹⁵.
- Наденьте ей намордник.
- Погодите!

Это говорит Девушка в черном. Быстро подходит к голодной и говорит:

- Дай твою руку, несчастная.
- Не дам. Я презираю тебя.
- Меня?
- Да тебя.
- Ты! Убийца!

Девушка остается с протянутой рукою. Топает ногой и говорит в гневе:

- Так ведите же ее в ад!
- Общий крик, но так, что ясно слышны отдельные возгласы.
- В ад ее! В ад! В ад⁹⁶!
 - Пусть потешатся над нею дьяволы!
 - В ад!
 - С железными когтями!
 - Душите⁹⁷ ее, змеи.
 - Жальте! Жальте! Впейтесь ей в мозг. Рвите ей сердце!
 - В ад! На вечный огонь!

В исступлении машут на женщину руками. Царь-Голод властно:

- Тише!
- (л. 47) И кротко, к неподвижно стоящей женщине:
- Ступай, дочь моя.

Голодную уводят. Ц(арь) Голод обращается к зрителям очень веселым голосом:

– А теперь, мм. гт., я предложил бы сделать перерыв и покушать. Правосудие вещь утомительная и возбуждающая аппетит. Прошу!

Радостные возгласы:

- Кушать! Кушать!
- Пора!
- Мамочка, где конфеты?
- А ты все только конфеты!
- Которого?
- Кушать зовут, ваше сиятельство.
- Ага! Почему же меня раньше не разбудили?

⁹⁵ Было: Слышат (описка).

⁹⁶ В рукописи: аду (описка).

⁹⁷ Было: Пусть душат

Внезапно все принимает очень веселый, милый, домашний вид. Судьи стаскивают парики, открывая лысые головы, и постепенно вмешиваются в толпу. Лакеи приносят огромные блюда с громадными порциями: целые бараньи ноги, высокие, как горы ростбифы. Перед толстым ставят целую большую зажаренную свинью, к(отор)ую приносят трое. Он смотрит на нее с сомнением.

– Не можете ли, г. профессор?

– С удовольствием, ваше сиятельство.

– А вы, г. судья.

– Если позволите.

– Быть может, и мне будет позволено, – скромно говорит пастор. Вчетвером садятся вокруг свиньи и молча с жадностью (л. 48) полощут ее ножами. Все разбилась на кучки. Смерть вынула сухой бутерброд с сыром и кушает в одиночестве. Тяжелый разговор набитыми пищей ртами:

– Хорошо мы ее, однако.

– А все-таки она прекрасна.

– Но тот-то! Хорош!

– На наших⁹⁸ дам он произвел впечатление.

– Многие не прочь...

– Мамочка, почему их не судят всех разом?

– Не знаю, деточка, спроси у профессора.

– Г. профессор!

– Гм?

– Г. профессор!

– Гм?

– Где моя салфетка?

– Гг., совершилось преступление кражи: у советника украли вставные зубы.

Смех. К царю-Голоду, стоящему в стороне, подходят Молодой сильный рабочий и Председатель-хулиган. Одеты они прилично и до сих пор сидели незаметно на одной из задних скамеек.

Рабочий. Как жрут! Зачем ты с ними, царь? Ты изменяешь нам. Смотри!

Хулиган. И это твой суд, отец? Ты хочешь, чтобы я тут же перерезал тебе горло?

Ц(арь) Голод. Вы слепы оба. Это не мой суд, это суд над моими детьми.

(л. 49) – Но ты же председательствуешь!

⁹⁸ Было: дам(?). В рукописи: нашим (описка).

– Разве ты, разве вы оба не понимаете, что делаю я? Ведь каждый, побывший здесь, навеки становится их врагом.

– Это правда!

– Разве оттого, что мы судим, меньше становится краж, убийств, насилий? Их становится больше. Спроси вот у того профессора...

– Я этого не понимаю. Я вижу только, как мои братья...

– У тебя же нет своих!

– Отец, правда, та женщина пойдет в ад?

– Да. И ты также.

Хулиган плачет.

– Ты плачешь? Ты, сын мой, плачешь?

– Отец, Отец. У меня есть только нож. Кого же мне резать? Рабочий. Не нужно резать. Надо работать, работать.

– Отец, ты говоришь: и мне ад. Пусть, – но как бы мне спасти ее? Я уже вижу дьяволов, которые подходят к ней. Отец, верни мне жизнь, скажи: ее можно спасти?

– Нет.

– Ты лжешь, старик!

Голоса.

– Однако и вчетвером мы ее не съели!

– Очень велика, ваше сиятельство!

Ц(арь) Голод. Идите! Будем кончать. Слушайте: завтра...

– Завтра?

– Ударит колокол.

– Завтра?

⟨л. 50⟩ – О-о-о!

– Ты не обманываешь. Мы устали ждать.

– Завтра.

– Завтра. Завтра. Завтра.

Тихо расходятся с зловеще радостными лицами.

– Г. профессор, у вас на бороде осталась косточка.

– Ах, Боже мой, где же это!

– Хотите⁹⁹ конфекту?

– Каждый раз говорю себе: нужно есть меньше...

Ц(арь) Голод с возвышения.

– Прошу занять места. Суд продолжается.

Голоса:

– Как, еще не кончено!

⟨л. 51⟩ – Это невозможно. Мне нужно в театр!

⁹⁹ Далее было начато: поку(шать)

- Сколько же их там!
- Я и говорю, мамочка, лучше бы всех разом.
- Это невозможно, дитя мое. Необходимо заметить...

Во время разговора все занимают свои места.

Ц(арь) Голод. Секретарь просит сообщить, что он сделал четыре ошибки, но не может найти где. Ошибки, впрочем – таковы, по его словам, что могут послужить источником действующего права.

Секретарь быстро кланяется. Слабые аплодисменты.

Ц(арь) Голод. Введите следующего голодного.

Быстро вводят двоих: худенького мальчика в наморднике и пожилую, оборванную женщину с выражением на лице муки и растерянности. Женщина всем низко и часто¹⁰⁰ кланяется.

⟨л. 50*⟩ Ц(арь) Голод. Ты что сделал, голодный?

Один из судей, тощий, внезапно прерывает.

– Позвольте, почему она без намордника?

Тюремщик. Это мать обвиняемого. Она хочет говорить за него.

– Раз она хочет говорить, значит, и ей надо надеть намордник. Делаю вам замечание. Секретарь, запишите.

– Что же ты сделал, голодный?

Женщина падает на колени и молитвенно поднимает руки.

– Пощадите его! Он хороший мальчик, он уже работает, но такой еще глупенький. Пожалейте его молодость, не режьте у корня его красные денечки!

Голоса:

– Такой молоденький и уже испорченный. Как это мерзко!

– И она еще смеет просить.

– Она сама должна бы требовать наказания.

– Как это позволяют!

– А просто не нужно было снимать намордника. Вот и все.

... – Преступления малолетних, дитя мое, составляют особую графу, – к сожалению, необходимо отметить...

Женщина. Ведь он для меня украл, судьи. Я больна была, он подумал: дай принесу ей яблока. Пожалейте его!¹⁰¹ Скажи им, что больше не будешь, ну! Да говори же!

Голодный. Я больше не буду.

Женщина. Уже я сама наказывала его¹⁰²... Пожалейте его молодость, не режьте у корня его красные денечки!

¹⁰⁰ и часто *вписано*.

¹⁰¹ *Вместо*: Пожалейте его! – *было*: Пожалейте его (молодость?).

¹⁰² *Вместо*: наказывала его – *было*: была сообщница(цей?)

⟨л. 51*⟩ – Конечно: пожалеешь одного, а там готов и другой.
Нужно в корне пресекать...

– Нужно иметь мужество быть безжалостным.

– Это лучше и для них.

– Сейчас он мальчик, а вырастет...

Ц(арь) Голод. Прошу гг. судей принять вид размышляющих.

В течение всей процедуры мать с надеждою смотрит на судей.

Когда Смерть стучит кулаком по столу и кричит хрипло:

– Осужден – во имя дьявола!

Женщина¹⁰³ вздрагивает и встает с колен.

– Голодный, ты осужден.

В бешенстве, поднимая к небу руки, – женщина кричит иступленно:

– Так будьте же прокляты! Пусть так же погибнут ваши дети!

Пусть истребят их бешеные волки!

– Намордник! Скорей намордник.

– Пусть высохнет их сердце! Пусть камнем претворится их душа. Пусть...

Женщине надевают намордник. Ликующий голос председателя-хулигана:

– Отец! Ты видишь, как они жалеют наших детей. До завтра!

– До завтра!

– Тише!

– Вижу, сын мой!

– Тише! Кто это?

– Тише!

Ц(арь) Голод. Введите следующего голодного.

⟨л. 52*⟩ Вводят нового голодного. Это – пожилой рабочий; его исхудалое, бледное лицо выражает достоинство; одет бедно, но прилично.

– Ты что сделал, голодный?

– Я просил милостыню.

– Ты знаешь, что нищенствовать запрещено.

– Я голоден.

– Почему ты не работаешь?¹⁰⁴

– Я работал. Но фабрику закрыли хозяева и всех нас, десять тысяч человек, выгнали на улицу. И к нам пришел царь-Голод. Он опустошил наши жилища, умертвил грудных детей, а взрослых выслал на грабеж, на воровство, на убийство. И я, старик, пошел просить милостыни, потому что не умею красть.

¹⁰³ Далее было: встает

¹⁰⁴ – Почему ты не работаешь? *вписано.*

- Почему же ты не захотел умереть с голода, как дети?
- Не знаю. Захотелось жить.
- А зачем тебе жизнь, голодный?
- Не знаю.

Голоса:

- Действительно, зачем они живут?
- Чтобы работать.
- Но когда работа кончается? Не можем же мы вечно доставлять им работу.
- У них нет ни радостей, ни счастья – зачем они живут.
- Как глупо!
- И это – люди. Чувство негодования наполняет мою грудь.
- Было бы лучше, если бы он умер.
- Скажите ему.
- Умри, старик, умри!
- ⟨л. 52⟩ Все тихо шепчут, махая руками, точно навевая сон:
- Умри, старик, умри! Умри, старик, умри. Умри – умри – умри.

Судьи размышляют и смерть стучит кулаком:

- Осужден – во имя дьявола!
- Введите следующего голодного.

⟨л. 53⟩ Это существо необычайно дикого вида. Длинные до колен руки с огромными, морщинистыми, грязными оконечностями, голова и лицо сплошь заросли спутанными волосами, тусклые глазки, звериная походка носками внутрь, боязливая и мнительная. Но есть попытки к чему-то человеческому. Так, существо одето в какой-то очень странный, первобытный костюм: соединение коры деревьев¹⁰⁵, хитросплетенной, грубой материи и каких-то подвязок. При входе оно даже делает попытку причесться, но запутывается рукою в волосах.

Разговор Зрителей

- Да это горилла!
- Боже мой! Неужели мы будем судить еще целый зоологический сад! У меня театр!
- Нет, это человек.
- Да нет, горилла! Вы посмотрите на его голову.
- На руки!
- Не нужно снимать намордника. Оно, быть может, кусается!
- Оно кланяется!
- Оно человек!

¹⁰⁵ Далее было начато: гр⟨убой⟩

– Оно дрессированное. Что это?
– Нужен каталог! В этих случаях нельзя без каталога! Как же мы будем судить, не зная, как оно называется!
– Какой странный фасон. Интересно познакомиться с его портным.

⟨л. 54?⟩ – И это, по-видимому, человек.

Буря негодования...

Ц(арь) Голод. Так как здесь возникли сомнения, то прежде всего скажи нам: кто ты, голодный?

Голодный¹⁰⁶ молчит.

– Оно не понимает!

– Ну, конечно, горилла!

Ц(арь) Голод. Кто ты, голодный? Отвечай. Ты понимаешь человеческую речь?

Голодный отвечает глухим, заскорузлым голосом:

– Мы¹⁰⁷ крестьяне.

– Я же говорил, что человек!

Общий хохот.

– Отчего милостивые¹⁰⁸ господа хохочут?

– Это не твое дело, голодный. Ты этого не поймешь. Ты что сделал, голодный?

– Мы убили дьявола¹⁰⁹.

Общий хохот.

– Слушайте! Слушайте!

Ц(арь)-Голод. Это был человек, которого вы убили.

– Нет, черт. Но так как был он без хвоста, то к нам и придираются: зачем да зачем? Будто сами не знают.

Хохот.

– Но ведь это прелесть.

– Какая наивность!

– Без хвоста.

Голодный также смеется:

⟨л. 55*⟩ – Верно, господа. Насчет хвоста это мы уже потом заметили.

Ц(арь) Голод. Прошу судей принять вид размышляющих.

Судьи некоторое время принимают вид размышляющих. Затем все, почтительно склонив головы, вытягиваются¹¹⁰ к Смерти. Та вскакивает и яростно стучит кулаком по столу.

¹⁰⁶ Было начато: О(н)

¹⁰⁷ Было: Я

¹⁰⁸ милостивые вписано.

¹⁰⁹ Вместо: Мы убили дьявола – было: а. Мы черта убили б. Мы убили черта

¹¹⁰ Было начато: по(ворачиваются?)

– Осужден – во имя дьявола! дьявола! дьявола!

Стучит и, ворочая на всех белыми оскаленными зубами, черная, высокая, страшная, кричит:

– Дьявола! дьявола! дьявола! дьявола! дьявола!

Все встают в страхе, с разинутыми ртами.

Царь-Голод. Успокойтесь, уважаемый...

– Дьявола! дьявола! дьявола!

Наконец утихает и садится, замирая в злой неподвижности.

Ц(арь) Голод. Ничего особенного, гг. По-видимому, легкая усталость. Прошу садиться. Уведите голодного.

Все с разинутыми ртами садятся и некоторое время продолжают смотреть на Смерть.

Ц(арь) Голод перешептывается с Судьями и заявляет весело:

– Поздравляю вас, господа. На сегодняшний день окончен наш нелегкий и неблагодарный труд. Но, во исполнение древнего обычая, имеющего символическое значение, мы, судьи, должны выпить по стакану этой жидкости. Налейте, г. судья. Не пугайтесь, гг., это не кровь, хотя по окраске несколько похожа(?) на нее – так, к сожалению, требует обычай, – это только вино.

Встав и поклонившись друг другу, выпивают вино. Смерти также относят бокал, но она отталкивает его костлявой рукою.

Ц(арь) Голод. В заключение позволю себе коротенькую речь. Вы, гг., присутствовали сегодня при высоко поучительном зрелище. Вечное небесное правосудие в лице нас, судей, нашло себе блестящее отражение на земле.

(л. 54) Подчиняясь только законам вечной справедливости, чуждые жалости и других человеческих слабостей, равнодушные к мольбам и ропоту, мы закатали этих негодяев, ввергли их в бездну страданий и смерти. Конечно, они будут проклинать нас, но что нам проклятия бессильных, гнев слабых, стоны осужденных. Мы умные, мы сильные, мы, прекрасные, что бы ни говорили о нас враги, можем презирать эту голодную, жадную¹¹¹ бессильную сволочь – во имя законов вечной справедливости! Вы видели, как они уходили: плакали, кривлялись, проклинали – и что же?

Продолжает тихо, с шипением змеи, улыбаясь:

– Они там – а мы здесь. Они в тюрьмах – и мы пойдем в театры! Они дохнут, а мы будем их кушать, кушать, кушать...

Смотрит на всех веселыми, жадными глазами. И вдруг сбоку, жиденьким голосом, начинает хихикать тощий судья. К нему при-

¹¹¹ Далее было · сволочь

соединяется другой, третий. Смех растет, ширится, перебрасывается к зрителям, и вскоре хохочут все. Хохочут до исступления, до бешенства. Видны широко¹¹² раскрытые рты, узенькие, щелью, глаза, колышащиеся туловища. Хохочет и царь-Голод. Повернув голову, хмуро улыбается Смерть¹¹³. Не смеется только Девушка¹¹⁴ в Черном.

Опускается занавес.

⟨л. 55⟩

КАРТИНА ПЯТАЯ

Предательство царя-Голода

Ночь великого бунта.

Огромный, богатый зал. Из предосторожности горят не все огни, и освещен он тускло; всю заднюю стену занимают большие, почти¹¹⁵ до полу окна, за которыми клубится яркое, огненно-красное зарево. Когда в зале темнеет, на пол от окон ложатся широкие, багровые полосы. В том, как беспорядочно расставлена мебель, и в том, что хозяев трудно отличить от гостей,¹¹⁶ в движениях танцующих, в забвении некоторых приличий чувствуется страх и ожидание. Музыка то начинает играть громко и бравурно, то беспорядочно замолкает; и одна какая-нибудь труба нелепо долбит свою ноту, и сразу и странно¹¹⁷ обрывается.

Присутствующие – те же самые, что были и в суде в качестве зрителей, и еще большое количество таких же. Движения суетливы; почти никто не сидит; часто с осторожностью подходят к окнам и заглядывают¹¹⁸, иногда безуспешно пытаются задернуть прозрачные гардины.

И во все время картины где-то вдали бухает набатный колокол голодными призывными звуками; и кажется, после каждого удара, что ярче стало зарево и беспокойнее движения гостей. Так же слышится многократно(?) где-то внизу хриплый рог Смерти.¹¹⁹

¹¹² широко *вписано*.

¹¹³ Было: *смерть*

¹¹⁴ Было: *девушка*

¹¹⁵ Было: *до*

¹¹⁶ и в том, что хозяев трудно отличить от гостей, *вписано*.

¹¹⁷ Далее было: *оборвется*

¹¹⁸ и заглядывают *вписано*.

¹¹⁹ Так же слышится ~ рог Смерти. *вписано*.

Перед раскрытием занавеса слышится сперва колокол, потом музыка, так при смешении этих звуков, открывается картина...

Разговор гостей

– Зачем играет музыка. Крикните ей, чтобы замолчала.

– Но с музыкою легче.

– Оставьте! Нас могут услышать оттуда.

⟨л. 56⟩ – Там не слышно. Там своя музыка. Послушайте.

Прислушиваются.

– Боже мой, какой ужас. Не нужно привлекать внимания.

Эй, вы, музыканты, замолчите.

– Неудобно без хозяев. Мы только гости.

– Ах, разве теперь не все равно!

Идет крича:

– Да замолчите же вы там.

Музыка беспорядочно затихает. Испуганные голоса.

– Что случилось?

– Почему музыка молчит? Что случилось.

– Сюда идут!

– Гг, сюда идут! Господа, господа!

Чей-то истерический плач.

– Да нет же, ничего не случилось.

– Баррикадируйте двери!

– В чем дело? Что случилось?

– Кто-то приказал музыке молчать, и вот все в ужасе.

– Кто приказал? Как он смел. Музыканты, играйте! Господа, ничего не случилось, сейчас будем танцевать. Кавалеры, приглашайте дам на котильон.

– Позвольте вас просить.

– Доктора, доктора!

– Ах, какой теперь доктор!

– Всех бы этих слабонервных...

– Тут черт знает что, а она вопит: доктора, доктора.

⟨л. 57⟩ – Не издохнет.

– Когда я без женщин, я пойду куда угодно, но с этими женщинами...

– Не находите ли вы, что освещение у нас слишком ярко?

Можно заметить с улицы.

– Неудобно привлекать внимание.

– Погодите, я сейчас погашу некоторые лампочки.

Гасит. Становится темнее, и зарево в окнах ярче.

- Что это? Почему темно?
- Электричество прекратилось.
- Господа, господа!
- Да нет же. Какие труссы.
- Позвольте вас пригласить.
- Вы с ума сошли. Танцевать?

Музыка играет вальс.

- Почему же вальс. Говорили, что будет котильон.
- Ах, не все ли равно, вальс, котильон, дьявол.
- Как вы грубы.
- Pardon.

В полутемноте кружится одиноко пара и вскоре куда-то исчезает. Мечется молодой человек в монокле.

– Боже мой, боже мой! Гг., не видал ли кто-нибудь моего аппарата? Неужели я забыл его дома.

- Он с ума сошел.
- Какой аппарат.
- Он ищет оружия.

– Да фотографический же! Господа, не сидит ли кто-нибудь *⟨л. 58⟩* на нем. Встаньте, сударыня.

- Вы с ума сошли.
- Ах, Боже мой!

– Оставь. Все равно ничего не выйдет. Темно.

– Ты ничего не понимаешь. У меня есть магний.

– Что же, ты пойдешь(?) на улицу.

– Ты остришь, а тут... Господа, умоляю вас, не сел ли кто-нибудь на мой аппарат!

– Это тоже храбрость: пытаться снять светопредставление.

– Просто глупость.

– С кем царь-Голод?

– То-то что неизвестно. Говорят, с ними.

– Боже мой, но если это правда, мы погибли. Изменник.

– Я думаю, что это ложь.

Хриплые звуки рога учащаются. К звону колокола, музыке присоединяется еще какой-то¹²⁰ смутный гул. Многие бросаются к окнам.

– Осторожнее, господа, осторожнее.

– Задержите занавесы!

– И чего там смотреть!

– Я за детей боюсь.

¹²⁰ *Далее было.* гул

– Да, бедные дети. Я была сейчас в¹²¹ детской, и там никто еще не спит.

– Их пугают няньки! Они рассказывают Бог знает что.

Музыка обрывается.

– Что это? Опять?

– Что случилось?

⟨л. 59⟩ – Да ничего же!

– Что это там собрались?

– Что он говорит?

– Какие-нибудь новости. Боже мой!

– Мамочка, можно мне пойти туда.

– Сиди, сиди.

Молодой человек с демонической внешностью, собрав вокруг себя кучку слушателей, говорит с пафосом:

– Да мы сами виноваты, господа. Наша жестокость, наша слепота, наше презрение к этим несчастным.

Сочувствующие голоса:

– Верно! Верно. Это правда!

Подходят новые слушатели.

– Мы держали в порабощении миллионы людей, и хотим, чтобы они довольствовались своей жалкой участью. Мы лишаем их хлеба и хотим, чтобы они были сыты и не просили его...

– Верно. Правда! Кто это?

– Мы лишаем их просвещения, и хотим, чтобы они были умны и благородны и не совершали преступлений. Когда рабы встают...

– А религия?

– Оставьте, какая у нас религия!

– Но для них...

– Молчите, пусть продолжает. Нужно хоть раз услышать правду.

– Когда рабы встают, они не только ищут свободы, они мстят. И те жестокости, о которых мы слышали...

⟨л. 60⟩ – Боже мой! Какой ужас! Но что же делать.

– Что же делать?

– Стрелять нужно, вот что!

– Молчите, не мешайте!

– Нужно понять раз навсегда, что они люди. Нужно отрешиться от нашего эгоизма, нашей жестокости. Буря негодования поднимается в моей груди...

– Это не то!

¹²¹ Далее было начато: спа⟨льне?⟩

– Правда, правда!

Некоторые разочарованно отходят.

– Бедные дети, они ни в чем не виноваты.

– Ах, точно тут есть виноватые. Никто не виноват, и все несчастны.

– С кем ц(арь)-Голод, вы не знаете?

– Неизвестно, говорят, с нами.

– Слава Богу.

Кто-то зажег несколько лампочек, и в зале светлеет. Играет музыка. Слышны веселые голоса.

– Что это? Кончается?

– Получены новости. Бунтовщики...

– Гг., бунт затихает.

– Неправда. Никаких вестей нет. Все то же.

– Господи.

– Кто же пустил свет?

– Позвольте вас просить.

– Нет, не могу.

– Ужина сегодня, вероятно, не будет.

– Ах, какой теперь ужин.

(л. 61)¹²² Почтительно поддерживаемый под руку, входит *Профессор*. Он сильно расстроен и едва держится на ногах. Волосы в беспорядке.

Профессор. Благодарю вас, благодарю вас. Боже, как я устал.

– Вы бы прилегли, г. профессор.

– Успею налечь в могиле, мой друг. Мне не долго осталось жить.

Вдруг топает ногою и кричит визгливо:

– Да и не хочу я жить после этого!

Подбегает¹²³ молоденькая девушка:

– Г. профессор.

– Ах, это вы, дитя мое, вы, мой светлый луч.

Кладет руки ей на плечи.

– А вы, дитя, будете уважать старость, или как и они... как и они.

Плачет.

– Успокойтесь, успокойтесь.

– Нет, я не буду успокаиваться. Смотрите, как плачет старик. Разве мне себя жалко. Что я такое? Старый профессор, книгоед, у

¹²² *Далее было*: – Ну не скажите. Я бы с удовольствием.

¹²³ *Далее было начато*: дев(ушка)

которого только и имущество, что вот этот черный... черный сюртук. Мне культуру жалко, господа, добрую, старую культуру. Что они делают, что это будет. Когда я увидел сегодня, как они рвали и жгли книги – понимаете, книги! Ведь это сокровище! Ведь если когда-нибудь совсем погибнет человек, и останется только книга – новый пришлец благословит имя человека. А они жгли их! Рвали! Даже не подозревая, что они делают.

– Жалкая чернь! А кто виноват? Молчите, не перебивайте!

⟨л. 62⟩ – И когда я бросился и стал отнимать один маленький...
in quarto...

Плачет. Возгласы сочувствия.

– Он, негодяй, ударил меня. За что? За что, спрашиваю я вас, господа? Разве я отнимал когда-нибудь у него хлеб. Разве я не зарабатывал¹²⁴ свой хлеб честным трудом. И когда я спросил, за что – он засмеялся!

– Негодяй! Хулиган!

– Я не позволю себя бить! Я лучше умру. Я пойду к Богу и скажу: Ты видишь? Всю мою жизнь я отдал науке. Всю мою жизнь, по мере разумения моего и таланта я работал честно – за что же он меня ударил? Где справедливость?

Возгласы:

– Где справедливость! Где справедливость?

Профессор обводит глазами комнату.

– И когда я посмотрел вокруг себя и подумал, что все это должно погибнуть – эти прекрасные картины, эти статуи, эти наконец прелестные, одухотворенные лица, выработанные веками культуры, и на их место придет грубая, косматая, грязная орда варваров... меня охватывает ужас! Берегите культуру! Берегите культуру, господа! Я устал. Отведите меня, мой друг.

Его уводят. Близо слышен хриплый рог смерти. Набат громче.

– ¹²⁵ Какое варварство.

– Где мы живем!

– Что это будет! Неужели все погибнет!¹²⁶

⟨л. 63⟩ – Ужас! Ужас!

¹²⁴ Далее было: я

¹²⁵ Далее было: Какое варварство.

¹²⁶ На л. 62 об. не зачеркнут вписанный текст (со знаком вставки), относящийся к л. 91 ЧА2:

– К молодому человеку, смотрящему холодно и насмешливо на танцующих, подходит Аббат. Говорит заискивающе:

– Пути Господни неисповедимы.

Тот презрительно:

– Все погибнет!

– Погибнет.

Шепотом повтoряют:

– Ужас! Ужас!

Быстро входит лакей и подходит к хозяину.

– Ваше сиятельство.

Тот не слышит. Лакей грубо берет его за плечо.

– Ваше сиятельство. Они подходят сюда.

– Что! Как ты смеешь трогать меня за плечо!

– Я тоже человек.

– Что? И ты тоже.

– А-а! Сюда подходят, говорю!

Хозяин громко слегка дрожащим голосом:

– Господа. Внимание. Они подходят сюда. Остановите музыку. Тушите огни. Быть может, они не заметят нас в темноте.

Общий переполох, но громких голосов не слышно. Обрывается музыка. Нелепо трубит одна труба и умолкает, точно ей зажали рот.¹²⁷ Гаснут один за другим огни, и наступает полная темнота, в которой с зловещей яркостью выступают красные четырехугольники окон. Хриплый рог смерти все ближе.

И в темноте протяжные, строго отдельные, плачущие голоса.

– Приближается гибель.

– Они идут, уже слышны их жестокие шаги.

– Погибнут картины, и статуи, и мы.

– Приближается гибель.

(л. 64) – Смерть, пощади моего сына.

– Смерть, пощади мою маленькую дочь.

– Погибнут картины, и статуи, и мы.

– Плачьте, плачьте над погибшей землей.

– Они идут, и уже слышны их жестокие шаги.

– Они слышны, и уже трубит в¹²⁸ свой рог жестокая смерть.

– Плачьте, плачьте.

– Приближается гибель.

– А вы бы лучше, св. отец, учили их раньше, что голод есть путь к блаженству.

– Учили, но... – разводит руками.

– Не верят?

– Верят, но... (*шепотом*) Сегодня они повесили одного аббата. Мне страшно подумать, что они ответят Богу!

– Разве веревка оборвалась?

¹²⁷ Нелепо трубит ~ зажали рот. *вписано.*

¹²⁸ *Было начато: с(мерть?)*

Внезапно среди темноты раздается властный и громкий голос Девушки в Черном.

– Кто потушил огни!

Голоса:

– Они идут. Вы не знаете, они идут.

– Пусть. Мы должны встретить их в ярком свете нашей жизни, а не в потемках, как трусливые собаки. Зажигайте огни.

– Зажигайте огни!

– Зажигайте огни!

– Зажигайте огни!

Постепенно зал ярко освещается.

– Кто остановил музыку. Труссы! Вы даже не умеете умереть.

Пусть играет музыка.

– Пусть играет музыка!

– Играйте, музыканты.

– Мы должны встретить их танцую.

– Играйте, музыканты!

Музыка играет громкую мазурку.

⟨л. 65⟩ – Что же вы стали? О, труссы! Поистине, вы достойны смерти! Да танцуйте же!

Топает ногою. Никто, однако, не трогается с места. Тогда она хватает первого попавшегося и идет с ним в мазурке. Одна за другою присоединяются пары, и скоро, в строгом¹²⁹ порядке, молча, со строгими лицами, все несутся в¹³⁰ плавном танце. Красивые, они точно в последний раз показывают миру свою¹³¹ красоту, и танец их походит на молитву, на богослужение.

Но усталость и страх превозмогают. Одна за другою отстают пары и скоро танцующей остается одна девушка в черном. Остаток навливается.

– Что же вы?

– Мы устали!

– Это безумие – танцевать в такой час.

– Погасите огни, нас видно с улицы.

– Не нужно музыки!

– Остановите музыку!

– Эй, музыканты!

Девушка говорит с презрением:

– Труссы! Мне противно оставаться с вами. Если вы не умели жить, так сумейте хоть умереть с достоинством. Это наше право!

¹²⁹ Далее было · молчании

¹³⁰ Далее было · стремительном

¹³¹ Было: своем(?)

Пусть, убивая, они прежде поклонятся нам. Пусть, умирая, мы останемся господами, которые могут умереть от руки раба, но прежде заставят расстегнуть на себе ботинки. Мне стыдно быть с вами.

Присоединя(ется?) молодой человек с демонической внешностью.

– Да. Умрем благородно. Умрем красиво. Оправдаем нашу **⟨л. 66⟩** жизнь.

– Вы думаете, они сильны – с их ножами, с их звериным бешенством, с их тупоумием скота? Они ничтожны и слабы. Эй вы, охотники! – я знаю, многие из вас охотились на волков, на тигров и на львов и мужественно играли своею жизнью – чего же испугались вы сейчас? Разве это не тоже охота? Вперед, охотники!

Несколько молодых людей подходят к девушке и становятся возле нее. Энергичные, холодные, несколько усталые лица.

– Это несколько иная точка зрения, – говорит один.

– На балах я чувствую себя плохо.

– Но бешенство человека страшно. И признаюсь, я испугался его.

Девушка. Зажгите огни!

Огни покорно зажигают, и девушка быстро подходит к окну и распахивает его; и в комнату врываются хриплые, уже сытые, уже как будто утомленные звуки рога, звон колокола, глухой, далекий непрерывный вопль.

Испуганные голоса:

– Что она делает?

– Сумасшедшая!

– Остановите ее.

Девушка кричит в окно:

– Эй, звери, идите сюда! Берите меня! Ведите меня на казнь!

И когда вы разденете меня голою – я оболую вас презрением, и красота моя будет мантией царицы! И когда вы поведете меня на эшафот – я пройду среди вас как королева, и многие из вас униженно поклонятся мне, и я отравлю ваше сердце тоскою. Я презираю вас, жалкие, бессильные звери! Берите же меня!

⟨л. 67⟩ – Отведите ее от окна, она сумасшедшая.

– Ей легко говорить, у нее нет детей.

– Закройте окно!

– Закройте окно!

Вновь все смешались. Голоса:

- Когда же это кончится.
- Вон Инженер.
- Где? Где?
- Расспросите его.
- Он говорит с хозяином.
- Они улыбаются!
- Инженера, инженера!
- Гг., новости.

На середину выходят хозяин и инженер – низенький человечек с огромным лбом и спокойными, уверенными движениями.

Хозяин. Гг.¹³² Сейчас будем танцевать и даже, б(ыть) м(ожет), ужинать. Нам принесли хорошие вести.

- Пусть говорит инженер.

Инженер вынимает платок и неторопливо сморкается.

- Что это! Он еще сморкается. Тут ждут, а он...

Инженер. Гг., если бы мой нос строил я, он, конечно, не нуждался бы в платке... Но насморк...

- Новости, новости!

– Особенных новостей нет. Я рассказал только графу о тех мерах, которые мы приняли против мятежников. Конечно, некоторая опасность еще существует...

- Дальше, дальше!

(л. 68) – Ничего особенного. Я и мои товарищи сделали несколько снарядов особенной, так сказать, разрушительной силы, размеры которой я затрудняюсь определить. Представим, напр(имер), обычную городскую площадь, полную мятежников – и достаточно одного, двух таких снарядов.

Голоса:

- Ого!
- Славно! Так-так. – На кусочки.
- Какой ужас.
- Оставьте. Браво, браво!
- Браво!

Аплодисменты. Инженер кланяется и сморкается вновь.

- Извините, гг., но, право, такой ужасный насморк...
- Это ничего, пожалуйста.
- Какой милый!

¹³² Гг. *вписано.*

– Далее, на солнечной горе, мы поставили ряд больших орудий огромной силы. И если мятеж еще продлится, мы закидаем город...

– А мы!

– Это невозможно! А мы!

– Погибнут невинные!

– Наши дети.

– Конечно, гг., здесь есть известный риск для нас. Но в настоящее время, благодаря работе моих товарищей...

– Bravo!

– Прицельность орудий достигла такой высокой степени, что...

Крики:

– Bravo! Bravo!

⟨л. 69⟩ – Музыка!

– Танцевать!

– Позвольте вас просить.

– Гг., это, наконец, невозможно. Все кончится, а я так и не успею. М.Г., уверяю вас, что вы сидите на моем аппарате.

– Что такое?

– Но почему же вы такой длинный. Извините.

– М.Г.!

Играет музыка. Некоторые танцуют. Колокол звонит почему-то реже, но рог Смерти на некоторое время становится почти непрерывным. Вот он заглушает колокол, вот заглушает и заставляет молчать музыку – вот он наполняет зал, хриплый, торжествующий, бешеный. Все прислушиваются, вытянув¹³³ шеи. Говорят почти шепотом:

– Смерть!

– Как она косит!

– Ужасно!

– Вы слышите?

– Чувствуется, как падают сотни людей.

– Тысячи!

– Она в бешенстве!

– Смерть! Смерть!

Вдруг сразу наступает мертвая тишина. Умолкает колокол(ол). Умолкает рог. Мертвая тишина. Ярко горит электричество. Все с вопросом смотрят друг на друга. На лестнице движение, шаги.

¹³³ Далее было начато: голо(вы?)

Шепот:

– Что это?

⟨л. 70⟩ Входит Ц(арь)-Голод. Он окровавлен, и измученное лицо его смертельно бледно. На голове красная, тоже будто окровавленная корона. Ни на кого не глядя, колеблющимися шагами он проходит на середину зала и стоит некоторое время с закинутой головою и опущенными глазами.

·Шепот:

– Что это?

Ц(арь)-Голод смотрит перед собою вдаль, и говорит тихо:

– Конечно. Они все – внизу – лежат. – И не поднимутся больше.

Музыка играет торжественный победный марш. Все до закрытия занавеса остаются в тех же позах.

Опускается занавес.

⟨л. 71⟩

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Поражение голодных и ужас победителей

Вечерняя кровавая заря. Все небо снизу доверху точно залито густою, темнеющею кровью, и земля со всем, что находится на ней, кажется почти черною.

Пустынная, бесплодная местность, ни одного дерева, ни одного высокого силуэта. Только посередине, несколько ближе к левому краю, довольно¹³⁴ высокий бугорок, и на нем большая, длинная, старинная пушка на высоких колесах. Опершись на пушку, в профиль, лицом туда, куда обращено ее жерло,¹³⁵ возвышается царь-Голод.

Перед жерлом пушки, теряясь в темноте, лежат трупы убитых. Позади, на некотором расстоянии, те, что в виде Зрителей являются на суде и потом в пятой Картине. Среди них Девушка в черном, стоит несколько в стороне. Темными силуэтами тихо проходят.

– Как темно!

– И заря такая красивая. Точно море огня или крови.

– Осторожнее, подбирайте юбки, здесь кровь.

– Ах да? Благодарю вас.

¹³⁴ Было начато: б(угорок?)

¹³⁵ Далее было: стоит

Осторожно обходит темное пятно, подняв платье.

– Сколько их там лежит?

– Достаточно для этого раза.

– И как спокойны.

– Как¹³⁶ тихи!

⟨л. 72⟩ – Точно дети в колыбельке.

– А как кричали!

– Как требовали!

Тихий смех. И негромкий, но властный голос Девушки.

– Не издевайтесь над павшими.

– Это опять она.

– Девушка в черном.

– Она становится невозможна.

– Чего ей надо?

– Они умерли храбро.

– Опять она.

– Ее надо посадить в сумасшедший дом.

– Они умерли храбро.

Молчание.

– Вы видели их вблизи.

– Нет. Наши ходили, но я не пошел. Неинтересно.

– Нет, отчего же!

– Все мертвые похожи друг на друга. Я был на войне.

– Ах да, вы были на войне...

– Какая тишина!

– Осторожнее, здесь опять кровь.

– Когда все это уберут!

– Да необходимо поскорее. Опасно оставлять столько тру-

пов...

– Разве они поднимутся?

Тихий смех и снова голос Девушки¹³⁷.

– Не издевайтесь над павшими.

Молчание.

⟨л. 73⟩ – Мне жаль Ц(аря) Голода.

– Да, он очень печален.

– Но он вел себя так хорошо.

– Необходимо поощрить его.

– Но он так мрачен, что я боюсь подойти к нему.

– Вы будете завтра на первой лекции Профессора?

– О чем?

¹³⁶ Было начато: Т(очно)

¹³⁷ Было: девушки

- О культуре.
- Ах да, я и забыла. Пойду непременно.
- Тише. Ц(арь) Голод хочет говорить!
- Перестаньте ходить.
- Опять кровь. Никуда ступить нельзя.

Царь-Голод выходит из неподвижности. Протягивает руку к трупам и смеется:

– Ха-ха-ха!

Молчание. [...]

⟨л. 77⟩ – Мы еще придем. – Мы еще придем. Горе победителям!

Ц(арь) Голод. Что я слышу.

Далекий мертвый ропот:

- Горе победителям!
- Горе победителям.
- Горе победителям.

Все умолкает. Из тьмы, где трупы, выходит Смерть и короткими быстрыми шажками идет к зрителям. Панический ужас и бегство. Ц(арь)-Голод, быстро переметнувшись на эту сторону, кричит с дикою радостью:

– Ха-ха! Вы слышали. Они еще придут. Они еще придут! Горе победителям!

Хохочет.

- Скорее, скорее!
- Мертвые встают.
- Смерть идет сюда!
- Скорее!

– Бегите, бегите, мертвые встают!

Все убегают, преследуемые Смертью. Остается только девушка в черном. Подходит к Царю-Голоду.

– Я остаюсь с тобою, Голод.

Но он не глядя отталкивает ее рукою и жадно смотрит вослед убежавшим. И кричит.

– Горе – победителям! Лови их, Смерть, лови! Мертвые встают!

Хохочет.

Опускается занавес.

4 октября 1907.

ЧН1

Царь-Голод

Представление в шести картинах.

Картина первая:

Царь-Голод клянется в верности голодным¹³⁸.

Картина вторая:

Царь-Голод зовет к бунту работающих.

Картина третья:

Царь-Голод зовет к бунту голодную чернь.

Картина четвертая:

Суд над голодными.

Картина пятая:

Бунт и предательство царя-Голода.

Картина шестая:

Поражение голодных и ужас победителей.

Посвящается А.М.А.

ЧН2

(л. 90) – Это революция.

– Не оскорбляйте революцию. Это бунт. Вы слышали, они бьют друг-друга.

– Но кто же виноват?

– Виноватых нет.

– Где человек, там всегда есть виноватые. Зачем же иначе человеку его разум и воля?

– А вы еще верите в разум?

– Мы погибли.

Выдвигается высокий молодой человек с холодным породистым¹³⁹ лицом и спокойной, уверенной усмешкой. Чувствуется большая сила в том, как спокойно движется он среди взволнованной толпы и как говорит: сдержанно, строго, слегка насмешливо.

– Господа, я предложил бы вам танцевать. Это несколько поднимет ваши нервы. Почему вы так волнуетесь? Пока ведь ничего

¹³⁸ Было: , что не обманет

¹³⁹ породистым *вписано*.

еще не случилось. Несколько человек голодной сволочи, пользуясь вашей растерянностью, сожгли несколько домов и убили нескольких полицейских. Возможно, я это допускаю, видя настроение собравшихся, что сожгут и этот дом, и нам придется умереть – но разве это так страшно? Мы можем умереть, танцуя – это и красиво, и поучительно, и научит ту сволочь несколько уважать нас. Музыканты, играйте!

Смех. Музыка играет. Кто-то пустил электричество и становится светлее. Некоторые танцуют, не совсем впрочем (л. 91¹⁴⁰) [уверенно. Входит лакей в ливрее и быстро, с озабоченным лицом пробирается к *Хозяину дома*. Говорит что-то, но тот его не слышит. Грубо берет его за плечо.

– Ваше сиятельство. Они подходят сюда.

– Что? Как ты смеешь трогать меня за плечо.

– Я тоже человек.

– Что? (удивленно) И ты тоже?

– А-а! Сюда подходят, говорю. А там как хотите!

Хозяин говорит громко, стараясь сдерживать дрожь в голосе:

– Гг! Внимание. Они подходят сюда. Остановите музыку. Тушите огни. Есть еще надежда, что они не заметят нас в темноте.

Общий переполох, но громких голосов не слышно. Почти молча, точно слепые, все движутся в разные стороны и натываются друг на друга, пока гасят огни. Обрывается музыка. Нелепо трубит одна большая труба и с оханьем умолкает, точно ей зажали рот.] Погасла последняя лампочка, и наступает полная темнота, в которой с зловещей яркостью выступают красные четырехугольники окон. Теперь в среднем большом окне с цельным стеклом можно рассмотреть черный силуэт старинной колокольни, за которым клубится красный дым и даже как будто показываются языки огня. И оттуда идет непрерывный звон. Недалеко и хриплый рог *Смерти*.

(л. 92¹⁴¹) И в темноте протяжные плачущие голоса:

– Приближается гибель.

– Они идут, уже слышны их жестокие шаги.

– Погибнут картины, и статуи, и мы.

– Погибнут невинные дети.

– Приближается гибель.

– Пощадите нас, голодные. Вспомните, что мы сделали для земли.

¹⁴⁰ Л. 91 изъят из ЧН2 и приложен к ЧА2 (после л. 94) для восполнения утраченного фрагмента (см. комментарии).

¹⁴¹ Л. 92 целиком зачеркнут.

– Простите нас, голодные. Мы забывали вас, но теперь мы сделаем так, что вы будете сыты, и довольны, и счастливы.

– Пощадите нас, голодные.

– Они не услышат.

– Они не поймут.

– Они не поверят.

– Приближается гибель.

Стоны. Внезапно среди темноты раздается властный и громкий голос *Девушки в черном*¹⁴²:

– Кто погасил огни?

– Они идут!

– Вы не знаете: они идут. Они близки!

– Пусть идут. Встаньте, трусы. Зажгите¹⁴³ огни. Мы должны их встретить в ярком свете нашей жизни, а не в потемках, как кроты. Зажигайте огни.

– Зажигайте огни!

⟨л. 93⟩ – Зажигайте огни!

– Зажигайте огни!

Постепенно зал ярко освещается.

– Кто остановил музыку? Трусы! Вы даже не умеете умереть?

Пусть играет музыка!

– Музыка!

–¹⁴⁴ Играйте, музыканты.

Музыка играет, но никто не решается начать танцы. Почти плача, Девушка в черном кричит:

– Да танцуйте же! О трусы! О жалкие трусы! Да танцуйте же, я вам говорю!

С гневом берет за руку молодого человека и идет в танце, красивая, надменная, увлекающая всех своей смелостью и красотой. И постепенно присоединяются другие. В начале танцуют робко, но с каждым шагом движения становятся увереннее, лица холодеют, суровеют. Улыбок нет. Бледные, но надменные, как бы совсем не доступные страху, они с суровой и гордой точностью выполняют все предписания величественного, строгого танца – кланяются, кружатся, движутся плавными шагами. Красивые, они словно в последний раз, перед смертью, показывают миру свою красоту, и танец их походит на молитву, на богослужение.

В дверях, где лестница, движение. Входит *Инженер* и останавливается ⟨л. 94⟩ у порога, спокойно и без любопытства гля-

¹⁴² Девушки в черном *подчеркнуто карандашом*. Далее в рукописи имена персонажей, подающих реплики, выделены так же.

¹⁴³ *Далее было: их*

¹⁴⁴ *Далее было начато: а. И(играйте?) б. П(усть?)*

дя на танцующих. Это низенький, лысый, грязновато одетый, но чрезвычайно самоуверенный человек. Некрасив – хорош только большой, выпуклый лоб. Говорит что-то с улыбкою лакею – он демократичен и не считается с приличиями – вынимает грязный носовой платок и громко сморкается.

Его замечают. Останавливают танец и с радостными возгласами устремляются к нему.

– Инженер! Господа, пришел Инженер!

Хозяин. Новости, дорогой мой, новости!

Инженер. Особенного ничего. Как изволите себя чувствовать?

– Господа! Новости! Инженер принес новости.

– Пусть говорит.

Хозяин. По вашему лицу вижу, что новости хороши.

Инженер. Ничего особенного. В свою очередь рад застать вас в таком прекрасном настроении.

– Что там?

– Ничего не слышно!

– Пусть говорит.

Все жадно слушают. *Инженер* вынимает платок и громко сморкается.

– Что это!

– Тут ждут, а он...

– Он еще сморкается!

ЧНЗ

⟨л. 103⟩ – Не издевайтесь над павшими!

Молчание.

– Одного я совершенно не понимаю: как осмелились они идти против наших пушек?

– Безумие.

– И голод.

– Мы сами виноваты. Мы дали им слишком много свободы. Мы были слишком¹⁴⁵ сентиментальны. Раба или нужно оковать железными цепями, или быть готовым к тому, что он завтра же перережет вам горло.

– Это правда.

– И я очень рад, что теперь наши законодатели поумнели.

¹⁴⁵ Было: очень

- Это верно, значит, что сейчас на всех заводах куются железные цепи?
- А ваше обещание?
- Какое?
- Помните? В ночь великого бунта. Тогда вы говорили другое.
- Ах, мало ли говорится человеком, когда он расстроен. И сейчас я скажу одно: куйте цепи! Куйте цепи!
- Куйте цепи!
- Опять кровь. Никуда ступить нельзя.
- Куйте цепи!

Молчание.

⟨л. 104⟩ – Вы верите ц(арю)-Голоду?

- Да. Он честно выполнил свой долг.
- Но он слишком мрачен.
- Уже вторую ночь он стоит здесь и не говорит ни слова.
- Он готовит речь.
- Помните его речь в суде? Это было так прекрасно.
- Он слишком мрачен.
- Вы будете завтра на¹⁴⁶ первой лекции Профессора?
- О чем?
- О культуре.
- Ах да, я и забыла. Буду непременно.
- Тише, кажется, он хочет говорить!
- Это интересно.
- Перестаньте ходить.
- Тише! Тише!

Ц(арь)-Голод выходит из неподвижности. Протягивает руку к мертвым и начинает говорить тихо и сдержанно:

– Чего добились, безумцы! Куда шли? На что надеялись? Чем думали бороться? У нас пушки, у нас ум, у нас сила – а что у вас – несчастная падаль? Вот лежите вы на земле и смотрите в небо мертвыми глазами – ничего не ответит вам небо. И сегодня же ночью вас поглотит черная земля, и на том месте, где вы будете зарыты, вырастет жирная трава; и ею мы будем кормить нашу скотину. Вы этого хотели, безумцы?

Ликующие голоса:

– Куда шли?

⟨л. 105⟩ – Чего добились?

– Сейчас поглотит вас черная земля. Несите лопаты.

¹⁴⁶ Далее было: лекции

– Горе побежденным!

– Горе побежденным.

Ц(арь) Голод продолжает с возрастающим гневом:

– Лжецы! Вы лгали вашею яростью, вашими проклятиями и слезами. Бессильные, вы криком заменяли силу, безумством – храбрость. Как смели вы восстать, презренные рабы! Смотрите смотрите¹⁴⁷ в небо мертвыми глазами – ничего не ответит небо. Только сильным отвечает небо, только сильных голос доходит до него. Горе побежденным¹⁴⁸!

Голоса:

– Горе побежденным!

– Горе побежденным!

– Горе побежденным!

Показывается группа *Могильщиков* с лопатами на плечах.

Ц(арь) Голод продолжает:

–¹⁴⁹ Вот несут заступы – пошевелинитесь же! Не можете? Притихли! Смерть сковала рты – да. Смерть великий кузнец, и не вам разрушить ее узы! Да пошевелинитесь же, да крикните! Ты, сын мой, кричавший так громко – что же молчишь ты? Ты, дочь моя, проклинаящая так смело – что же ты не проклинаешь? Молчите? Так будьте же...

Вдруг на мертвом поле начинается какое-то смутное движение, шорох – и с ужасом, вытянув шеи, прислушиваются те. И глухой, далекий, точно уже выходящий из-под земли отвечает тысячеголосый ропот:

(л. 106) – Мы еще придем. Мы еще придем. Горе победителям!

Ц(арь)-Голод. Что я слышу?

Далекий мертвый ропот:

– Мы еще придем.

– Мы еще придем!

– Горе победителям!

Умолкают. Минуту все находятся в оцепенении. *Ц(арь) Голод*, быстро переметнувшись на эту сторону, кричит с дикой радостью, грозно:

– Ха-ха! Вы слышали! Они еще придут. Они еще придут. Горе победителям!

Хочет. Панический ужас и бегство. Испуганные голоса:

– Скорее! Скорее!

¹⁴⁷ смотрите *вписано*.

¹⁴⁸ *Далее было*: – таков закон земли, таков закон и неба

¹⁴⁹ *Далее было*: Пошевелинитесь

– Мертвые встают!
– Они гонятся за нами.
– Скорее!
– Бегите! Бегите! Мертвые встают.
Ц(арь)-Голод с хохотом. Скорее! Скорее! Мертвые встают!¹⁵⁰

Опускается занавес.

⟨л. 107⟩ небо все так же красно. Ц(арь)-Голод спускается с возвышения. К нему подходит *Смерть*, и садится на землю.

Ц(арь) Голод. Смерть, смерть, что же делать?

Смерть. Оставь меня, я устал.

Ц(арь) Голод с горечью. Как тихо, Смерть, на нашем поле.

Молчание. Показывается старое *Время-Звонарь*. Идет старческой разбитой походкой, в руке посох.

Ц(арь) Голод. Время! Куда идешь ты, Время?

Время, останавливаясь, тускло.

– Не знаю. Я обезумело. Я везде натываюсь на мертвых. Там тоже мертвые? Это ты, Смерть? Это ты, царь-Голод. Я плохо вижу.

Устало садится на землю. Молчание. Густо багровеет кровавый закат.

Ц(арь)-Голод. Как тихо на нашем поле!

Опускается занавес.

28 октября 1907 г.

Варианты чернового автографа (ЧА2)

⁵ клянется в своей верности голодным / перед лицом
Времени и Смерти.

¹¹ Суд над голодными и / Царь-Г(олод) ◇

¹⁶ ПРОЛОГ / *Картина первая* ◇

¹⁷ клянется в верности голодным / а. дает клятву в верности
голодным б. клянется в верности голодным в. (рукой не-
установленного лица) перед лицом Времени и Смерти

¹⁵⁰ Далее было (с абзаца и через интервал): Все убегают. Молчание. Сумерки густеют, но (см. продолжение на л. 107)

- 26 которые к чему-то прислушиваются / к чему-то прислушивающиеся ◇
- 29–30 лицо, грудь / лицо и грудь ◇
- 35 все линии прямы и сухи / прямизна и сухость линий ◇
- 36 узко: сквозь / узко; сквозь
- 37 как будто видится / видится как будто
- 38 качает головой / качает голову
- 68–69 разве не страшно оно. / разве не страшно оно?
- 72–73 Пусть не будет спящих. / Пусть не будет спящих. Пусть не будет спящих.
- 87 и старое Время / и Время ◇
- 103 Тишина / Молчание ◇
- 103 На башне в темноте медленно / На башне медленно ◇
- 105 В р е м я (*колеблясь*). / *Время* говорит *колеблясь*:
- 118 и спрашивают / и спрашивают его(?) ◇
- 131–132 Гнев, гнев, старик! / Гнев, гнев! ◇
- 140 начался пожар / начался ночной пожар
- 153 Ц а р ь Г о л о д (*произносит* / *Царь-Голод* говорит ◇
- 177–178 О безначальность / О бесконечность ◇
- 180–181 и уже не колышется плавно, а мечется и прыгает оно / и уже оно не колышется плавно, а мечется и прыгает ◇
- 184 КАРТИНА ПЕРВАЯ / *Картина вторая* ◇
- 189–190 удары больших механических молотов / а. удары большого молота б. удары большого механического молота ◇
- 192–193 Различные по тону / Различные по силе ◇
- 206 недвижимые слепые глаза / неподвижные слепые глаза
- 208 И говорят и движутся / И говорят они и движутся ◇
- 213 незаметно, звучат / незаметно и звучат
- 223 Гнет чугун / Гнетет чугун
- 265 Будем молиться машинам. / Будем молиться машинам!
- 267 Кто сильнее всех в мире? Кто страшнее всех в мире? / Кто сильнее всех в мире? – Машина. Кто страшнее всех в мире?
- 271 ударяет молот / ударяет колокол ◇
- 275 скованная из железа / ты, скованная из железа ◇
- 319 любит нас и плачет с нами / любит нас, плачет с нами
- 324–325 – Это правда. // – Чья ярость сильнее? / – Это правда. Чья ярость сильнее?
- 339 из горна быстро входит / из горна входит ◇
- 349 и одним коротким взмахом бросает / и бросает ◇
- 361–365 могучей фигурой своею ~ отягощает обладателя ее / молодое, прекрасное, сильное тело, созданное мускульным

- трудом. Обнаженные руки и грудь дают картину пышной мускулатуры, даже чрезмерной в необыкновенном развитии своем ◊
- 379 царство голода / все царство голода ◊
- 382 Горе, горе / Горе раб(отающим), горе ◊
- 396 срубал головы гидре / срубал головы горгонам
- 400 Объясни же мне, Царь! / Объясни же мне, царь-Голод!
- 403 Береги свои силы / Береги твои силы
- 405 Я погожу / Погожу ◊
- 433 Третий Рабочий (*старик, подходит* / Подходит Третий рабочий, старик
- 438–439 ты ходишь с салфеткою / ты ходишь с салфеткой
- 449–450 мне нечего бояться / чего мне бояться ◊
- 450 А зачем ты / А зачем вот ты ◊
- 453 Голоса – нет.
- 459 Второй Рабочий / Первый рабочий ◊
- 465 Второй Рабочий / Первый рабочий ◊
- 477 тяжело брошенное оскорбление / тяжело оскорбление брошенное ◊
- 478 Я наемный убийца / Я уб(ийца) ◊
- 487–488 Загорается / Вспы(хивает) ◊
- 490–491 Царь Голод, сюда! / Ц(арь)-Голод – сюда!
- 492 прекрасного тела, и пусть / прекрасного тела – пусть
- 497 гневно, и продолжает / гневно. И продолжает
- 504–505 *Первого Рабочего; любитесь им / Первого Рабочего. Любуются им*
- 521 Царь Голод (*топнув ногою* / Топнув ногою, ц(арь)-Голод
- 524 Голоса – нет.
- 559–560 пришел я к вам / прислан я к вам ◊
- 576–590 Она уже стоит над вами ~ Победа или Смерть! Смерть! / Хотите теперь, чтобы я послал ее в ваши дома, к вашим детям? Смерть, ты еще не сыта. // – Нет – не сыта. // – Но может быть, тебе их жаль? // Молчание. // – Что же молчишь? // *Смерть*, недовольно. Не говори глупостей. // Ц(арь)-Голод. Решайте же, дети, для кого Смерть: для ваших детей или для вас? // Молчание. // *Первый рабочий*. Для нас. // *Второй рабочий*. Для нас. // Голоса: // Для нас! Для нас! Для нас! Победа, или смерть! Смерть! ◊
- 577 Одно движение / Одно движение мое
- 577 один лишь знак / один знак ◊

- 578–579 безжалостная, и изобьет / безжалостная, изобьет
 580 несут гробы / несут маленькие гробы ◇
 587 Для нас, для нас! / Для нас. Для нас!
- 1 КАРТИНА ВТОРАЯ / *Картина третья* ◇
 9 черный костюм / черный фрак ◇
 9 мужчины, белое платье / мужчины и белое платье
 18 сплюснутого полуовала / сплюснутого полуовала, или
 жерла ◇
 20–21 достаточно ярко / достаточно яркий(?) ◇
 23–24 пустые, полурассыпавшиеся бочки / пустые бочки ◇
 27 черни и с несколько зловещей / черни и видимо(?) с не-
 сколько зловещей ◇
 37 скотское или звериное в походке / скотское в (походке)
 38 как бы совсем особой расы / как бы особой расы ◇
 51 состоится и без повесток / состоится и так ◇
 78 Все! Все. / Все! Все!
- 138 задержек предлагаю / задержек я предлагаю ◇
 151 И мужчины тоже / Мужчины тоже
 170 у него делается / у него становится ◇
 189 там лежит он все время / там лежит все время ◇
 198 Я предлагаю: взломать клетки / Я предлагаю: ночью взло-
 мать клетки ◇
 206 Это бы и я посмотрел. / Это бы и я посмотрел!
- 207 *После:* – Мне нравится. – Дочку хоть одного бы посмот-
 реть бы... ◇
 210 Нужно уважить старика. / Нужно уважить старика!
 212 *После:* Необходимо дело. – Прошу... ◇
 213 *После:* Предлагайте! Предлагайте! – Двое тихо разговари-
 вают: // – Когда я взял его за ножки, он думал, что это я
 хочу его покачать. И засмеялся. // – Засмеялся? // – Засме-
 ялся. // Хохочут. // – Тише! Предлагайте, предлагайте! ◇
 231 *После:* Где же Отец? – Проклятые! ◇
 246 с рыданиями / с рыданием
 250 и презрительно / и мрач(но) ◇
 254 картавым голосом / плачущим голосом
 254 как ребенок / как дети ◇
 270–271 невыносимой, подземной тоски / невыносимой, какой-то
 подземной тоски ◇
 272–273 смотрит на плачущих Председатель / смотрит на плачущих
 Председатель-хулиган и его подруга

- 274 Царь Голод (*очнувшись*). Довольно, дети! / – Довольно, дети! – говорит царь-Голод, очнувшись. [Они привыкли плавать по морю слез!]
- 283 Председатель (*польщенный, кланяется*) / Польщенный председатель кланяется.
- 289 Да. И еще будет / Да – и еще будет
- 292–293 девочка; у нее очень бледное тонкое лицо и большие черные печальные глаза / девочка с очень большими глазами и смертельно бледным лицом ◊
- 293 За несколько времени до / Все время ◊
- 294–295 у освещенного окна, происходит следующее: отодвигаются гардины / у освещенного окна отодвигаются гардины ◊
- 300 как солнце, озаряет / как солнце, об(водит?)
- 300–301 коротким сияющим взглядом / коротким сияющим взглядом
- 322 Продолжай / Продолжайте ◊
- 352 Поднимите мертвого! / Поднимите его! ◊
- 354 Голова мертвеца свесилась / Голова его свесилась ◊
- 382 Я не знаю / Тоже, как подумать
- 414 их жалкие огни. / их жалкие огни!
- 417 Но это мало! / Но этого мало!
- 418 *После*: – Их нужно истребить! – – Танцуют, проклятые! ◊
- 424–430 Царь Голод (*встает*) ~ Запасайтесь спичками! / Ц(арь)-Голод (*встает*). Вам мало этого? Так слушайте, дети мои. Готовится бунт. // – Горячая потеха! // – Так-так. Запасайся спичками! ◊
- 443–444 убивайте, крадите / убивайте, крадьте
- 444 смейтесь, смейтесь! / кричите, кричите(?), кричите(?) ◊
- 446 Когда ударит / А когда ударит
- 449 На улицы! / В дом(а!) ◊
- 476 *После*: А там и наверх! – – Пусть Отец дирижирует. // – Отец! Отец! ◊
- 480 что присутствующие дамы / что дамы ◊
- 485 Г о л о с а – нет.
- 490 Получается дикое сходство с обыкновенной мещанской вечеринкой. / Становится дико похоже на обыкновенную мещанскую вечеринку. ◊
- 493 Г о л о с а – нет.
- 494 Просим. / Просим!
- 495 (*Указывает на Смерть.*) / – указывает смеясь на смерть.

- 503–515 Все танцуют ухарски ~ Безмолвие. Внезапно / Ухарски танцуют. Смерть несколько жеманится и томно кладет голову на плечо к кавалеру, но постепенно расходится и отчаянно канканирует. Бросают танцы и смотрят на нее. Всеобщий восторг, даже аплодисменты. Внезапно ◇
- 507 Т а н е ц С м е р т и – в ЧА2 располагается после стк. 506.
- 509 неподвижным лицом, оскалив белые зубы, она стоит / неподвижным лицом, она стоит ◇
- 512 светом белых оскаленных зубов / светом своих белых оскаленных зубов

- 1 КАРТИНА ТРЕТЬЯ / Картина четвертая ◇
- 6 голый подержанный череп / голый череп ◇
- 6 чернилами и стеарином / чернилами ◇
- 7 игрушечная английская виселица / игрушечная виселица ◇
- 7 высокая / большая ◇
- 7 четвертная бутылка / четвертная квадратная бутылка
- 11 на перевернутую букву / на букву ⟨нрзб.⟩ ◇
- 12 бочкообразны, сонны / бочкообразны, благообразны ◇
- 41 и те по очереди / и те поочередно
- 54–55 *После:* все в этой жизни неисповедимо – служат источник(ом) ◇
- 56 А б б а т вздыхает / пастор вздыхает ◇
- 59–60 *После:* приступим к суду. – Садится. ◇
- 62 Введите / Вводите(?)
- 63 *После:* Разговор Зрителей – – Ах, г. профессор, неужели вы все это понимаете? // – Все, г-жа миллионерша. // – Ах, как это странно – а я ничего не понимаю. А он понимает. // – Посмотрите, какой нос у того судьи, совсем как кончик собачьего хвоста. Ну, честное слово, он облизнул его языком! // – Как вы насмешливы. Вы так молоды, вы должны уважать суд. // – Да я его, честное слово, уважаю. Но ведь у него такой смешной нос. // Хохочут. // – И это суд! Душа моя кипит негодованием и презрением к человечеству. // – Оставь, разве тебе не все равно. // – Но пойми же!.. // – Ты волосы завиваешь, или они вьются от природы? // – Слегка. // – А у меня лысина начинается. Это в 24 года!..
- 102 Так как же ты не будешь воровать? / Так как же ты не будешь? ◇
- 102 *После:* не будешь воровать? – У тебя есть дети?

- 119 Почему же ее не разработают? / Почему же ее не разработают, как следует?
- 121–122 о преступлениях в частности / о преступлениях вообще ◊
- 122 *После:* и соответствующих наказаниях... – *Аббат*, стараясь перебить профессора, говорит: // – [Вперв(ые)] Наказание, сударыня, равно как и суд установлены самим Господом-Богом. Так впервые мы встречаемся с ними в истории изгнания из рая Адама и... // *Профессор*, делая вид, что не замечает аббата, но в то же время стараясь заглушить его: // – Так как самая сущность преступления остается для науки не вполне разгаданной. Но зато вторая часть, где говорится о [прест(уплениях)] наказаниях... // – Древний Еврейский бог, именуемый Саваофом, очень часто пользовался... // – Г. аббат! // – Г. профессор! // [Вызывающе] С ненавистью смотрят друг на друга. ◊
- 125 Они умерли с голоду / Они умерли с голода
- 167–168 Умри, умри, умри!.. / Умри, старик, умри, умри!.. ◊
- 177 вводят второго голодного и снимают намордник / вводят второго голодного ◊
- 181 Я изнасиловал / Изнасиловал ◊
- 182 Выражение ужаса и приятного волнения / Выражения ужаса и приятного волнения
- 194 эта была нежная и тонкая, с белыми руками / эта была нежная, с белыми руками, тонкая такая ◊
- 198 голодный! / голодный?
- 201 так интересно. / так интересно!
- 203–204 пусть остается вам / пусть останется вам
- 216 Вот то-то / Вот то ◊
- 217 Нет, скорее убил бы / Нет. Скорее убил бы
- 220 Свои оглядывают ее / Свои смотрят на нее ◊
- 241 *Перед:* Чего же вы от них хотите? – Зверь! ◊
- 266 *закрывает руками лицо* / *закрывает рукою лицо*
- 269 смотрят в потолок, жуют / смотрят в потолок, шевел(ят) ◊
- 294 что слышны отдельные голоса / что ясно слышны отдельные голоса
- 316, 317 конфеты / конфекты
- 336 со щеками / с щеками
- 345 *После:* Ростбиф необходимо кушать с кровью. Это... – – Но тот-то лесной дон-Жуан. Хорош! – На наших дам он произвел впечатление. – Да, многие не прочь... ◊
- 367 Я въедаюсь / Я вкапываюсь ◊

- 382 Надо работать, работать / Надо работать, работать, рабо-
тать
- 404 конфету / конфекту
- 415 Мне нужно в театр! Сколько их там! / Мне нужно в те-
атр! ◇
- 415 *После:* Мне нужно в театр! – – Сколько же их там! // – Я и
говорю, мамочка, лучше бы всех разом. // – Это невозмож-
но, дитя мое. Необходимо заметить... // Во время разговора
все занимают свои места. ◇
- 439 всем низко и часто кланяется / всем низко кланяется ◇
- 448–449 *После:* молитвенно поднимает руки). – Пощадите его!
Он хороший мальчик, он уже работает, но такой еще глупенький.
Пожалейте его молодость, не режьте у корня его красные денечки! //
Голоса: // – Такой молоденький и уже испорченный. Как это мерзко! // –
И она еще смеет просить. // – Она сама должна бы требовать наказания.
// – Как это позволяют! // – А просто не нужно было снимать на-
мордник. Вот и все. // ... – Преступления малолетних, дитя мое,
составляют особую графу, – к сожалению, необходимо отметить... //
[Женщина]. – Пожалейте! Ведь... ◇
- 449 он для меня украл яблоко, судьи / он для меня украл,
судьи ◇
- 450 Пожалейте его! / Пожалейте его (молодость?) ◇
- 453 Уже я сама наказывала его / Уже я сама была сообщ-
ни(цей) ◇
- 469 Женщина вздрагивает / Женщина встает ◇
- 474 Скорей намордник / Скорее, намордник
- 475 Пусть в камень / Пусть камнем(?) ◇
- 484 *После:* Введите следующего голодного. – С большими
предосторожностями трое тюремщиков вводят следующе-
го обвиняемого. Это красивый, сильный юноша с прекрас-
ным телом и гордой головой. Смотрит свободно и смело,
с легкой насмешкой. // – Ты что сделал, голодный? // – Я
не сделал ничего. Но я виноват во многом. Вы дряблы,
стары и толсты – а я молод, и силен, и тело мое прекрасно.
Вы трусливы и подлы – а я честен и смел. И я не уважаю
вас – вот моя вина. // – Тебя обвиняет вон та почтенная
дама в красном: почему ты не захотел поступить к ней на
содержание? // – Я не могильный червь, ц(арь)-Голод. //
Старушка падает в кратковременный обморок. Возму-
щение [з]Зрителей. // – У раба – и такое тело! // – Такая

- голова! // – Нет, но какой негодяй: ему предлагают содержание, а он... // – Если рабы начнут превосходить нас силою и умом – то что же будет? // – Смерть ему! Смерть! // – В цепи его! ◇
- 486 Взгляд у него ясный и открытый / Взгляд у него ясный и задумчиво(?) думающий ◇
- 488 Я не сделал / Я не знаю ◇
- 503 наш истинный друг. / наш истинный друг!
- 504 возмутительное тело. / возмутительное тело!
- 517 коры деревьев, хитросплетенной / коры деревьев, гр(убой) ◇
- 526 может быть / быть может
- 530 Да нет же! Оно дрессированное. / Оно дрессированное. ◇
- 534 *После:* портным. – – И это, по-видимому, человек. Буря негодования...
- 537 Голодный / О(н) ◇
- 542 Мы / Я ◇
- 546 милостивые господа / господа ◇
- 549 Мы убили дьявола / а. Мы черта убили б. Мы убили черта ◇
- 551 *После:* Слушайте! Слушайте! – Ц(арь)-Голод. Это был человек, которого вы убили. // – Нет, черт. Но так как был он без хвоста, то к нам и придираются: зачем, да зачем? Будто сами не знают. // Хохот. // – Но ведь это прелесть. // – Какая наивность! // – Без хвоста. // Голодный так же смеется: ◇
- 556 сказал нам кюре, и тогда / сказал нам кюре. И тогда
- 559 Что такое? / Что это? О(н) ◇
- 568 веру в существование / веру в действительность?) ◇
- 569 запрещает убивать. / запрещает убивать...
- 571 если он так глуп. / если он так глуп!
- 574 *После:* Негодяй! – – Но ведь это дикарь. И подумать, что в наше время... Буря негодования... // – Оставь. ◇
- 575 Прошу господ судей / Прошу судей ◇
- 584 Дьявола! дьявола! дьявола! дьявола! / Дьявола! Дьявола! Дьявола! Дьявола! Дьявола!
- 615–616 Голгофу новыми крестами / Голгофу крестами ◇
- 616–617 Но, конечно, только разбойников, только разбойников. – нет.
- 617 Мы Бога / Если Бога мы ◇
- 618 станем ли мы / то станем ли мы ◇
- 619 проклятиями и гневом / проклятиями и слезами ◇
- 626 *После:* на галерах, – в ◇

- 629 *После:* начинает хихикать тощий Судья. – К нему присо-
единяется другой, третий. ◇
- 637 грохочущий рот. И только / грохочущий рот. // И только
639–640 грозит им темным тонким пальцем и собирает в портфель /
грозит им темным тонким пальцем, собирает в портфель ◇
- 1 КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ / *Картина пятая* ◇
- 4 Великолепная, чрезвычайно богатая зала / Великолепный,
чрезвычайно богатый зал
- 7 ряды шкапов / ряды шкафов
- 8 освещена зала / освещен зал
- 17–18 относительно безопасным / довольно безопасным ◇
- 20–21 такие же мужчины, во фраках. / такие же мужчины. Но
есть во фраках. ◇
- 46 что делается там. / что делается там!
- 47 как молот / как свинец ◇
- 120 В полутемноте / В те(мноте) ◇
- 139–140 полный спасавшихся женщин и детей / полный спасавши-
мися женщинами и детьми ◇
- 147 И еще говорят / и еще: говорят
- 167 выхватывает револьвер, стреляется / выхватывает револь-
вер и стреляется
- 193 Горит Веласкез / Горит Веласкец¹⁵¹
- 194 Джорджоне / Джорджоне¹⁵²
- 195 Смотрите, какое зарево / Смотрите. Какое зарево
- 218 Люди погибнут / И люди погибнут
- 225 *После:* Г о л о с а – – Тут гибнут дети, а они о картинах! //
– Фанатики! // – Безумцы! // – Боже мой, Боже мой! Неуже-
ли вы и сейчас не понимаете, что делается! // – Я всегда
говорил, что необходимы реформы. // – Господа, где мой
аппарат! Вы не видали моего аппарата? // – Что он ищет.
Какой аппарат! // – Да фотографический же. Сударыня, вы,
кажется, сидите на нем. // – Вы с ума сошли? // – Но поче-
му же вы – *ragdon* – такая длинная? Встаньте на минуточ-
ку! // – Ты хочешь снимать. // – Ну да. При магнии. Очень
интересные группы. // – А что ты будешь делать при све-
топреставлении? // – Конечно, снимать. // – Ты храбрый? //
– Надеюсь. Гг., не видал ли кто моего аппарата. Ведь так
все кончится, а я ничего не успею. Господа! // Зарево, звук
Рога и Колокола сильнее. ◇
- 229 в спокойное время / в тихое время ◇

¹⁵¹ Такое соотношение вариантов сохраняется до конца пьесы.

¹⁵² Такое соотношение вариантов сохраняется до конца пьесы.

- 234 Еще лучше! / Ско(лько) ◇
260 Неужели умирать! / Неужели умирать!..
274 Я должен сказать! / Я должен сказать!..
289 маленький in octavo / маленький in quarto ◇
296 обводит близорукими, заплаканными глазами / обводит заплаканными глазами ◇
304 Ищет дрожащими руками / Вынимает дрожащими руками ◇
316 Что с вами? Отчего вы не танцуете? / Что с вами, отчего вы не танцуете?
321 злые, хитрые голоса / злые голоса ◇
346 *После:* топая ногами. – Кричит. ◇
350 стоявший у колонны / стоявший у ст(ены?) ◇
352–353 А те, продолжая / А те, не пово(рачиваясь?)
370 я бы схватил ее за горло / я схватил бы ее за горло
410 – Боже! Боже! – нет.
422 У входа зажигаются несколько лампочек / У входа зажигается несколько лампочек
446 зажгли что-то там еще / зажгли что там еще
451–452 *После:* приняли некоторые меры... – Боже! // – Что это будет! // – Но мы, инженеры, приняли некоторые меры... ◇
455 *После:* мы приняли некоторые меры... – Однако, порядочный холод, сейчас я смотрел, это 4 градуса. // – Да, продолжайте же. ◇
455 Боюсь, однако / Боюсь, ◇
456 *После:* знали бы математику. – (с абзаца) – Знаем! ◇
467 *После:* Оставьте. – Bravo! Bravo! ◇
474–475 мы поставили ряд больших орудий / мы поставили орудия ◇
475–476 закидаем город. / закидаем город..
477 *После:* А мы! – А наши дети?
488 Не можешь ли ты мне, любезный, принести рюмку / Не можешь ли ты, любезный, принести мне рюмку
492 за невысокую относительно плату / за невысокую довольно плату ◇
494 интимного свойства / интимного, т.е. ◇
500 Дьявол помогает. / Bravo! Дьявол помогает. ◇
516 *После:* пустяки, сударыни. – Все это нервы или ваши так называемые женские болезни. ◇
517–518 вашими любезными предложениями / а. вашим предложением б. вашим любезным предложением
518 я очень устал и / а пока я действительно ◇
526–527 наполняет залу / наполняет зал
527 вытянув шею / вытянув голо(вы?) ◇
539–540 и вопросительно / и с вопросом ◇
546 на середину залы / на середину зала

- 1 КАРТИНА ПЯТАЯ / *Картина шестая* ◇
 14 что в качестве / что в виде ◇
 15 в богатой зале. / в богатом зале
 15 *После:* в богатой зале – В отдалении видны фонари и
 силуэты экипажей, на которых они приехали. ◇
 17 *После:* на фоне заката. – Разгова⟨ривают⟩ ◇
 26 подобрал / подняв
 26 юбки / платье ◇
 27 И какая тишина. / И какая тишина!
 47 *После:* в сумасшедший дом. – – Они умерли храбро. ◇
 92 Осторожнее! кровь / Осторожнее, кровь
 115–116 мои милые / вы настоящие ◇
 136 Идите в землю, безумцы! / Идите в землю, безумцы...
 148 что молчишь / что же молчишь
 153–154 шорох, густой хруст / шорох, глухой хруст

Варианты прижизненных изданий
 (Б, ШОИ, Ш, Пр)

ПРОЛОГ, КАРТИНА 1

- 81, 96, 114, 128, 131, 142, 156, 158, 161, 172 Царь Голод / – ¹⁵³ (Б, ШОИ)
 83, 97, 130, 143, 149, 155, 157, 162, 170 Время / – (Б, ШОИ)
 105 Время (колеблясь). / Время говорит колеблясь: // –
 (Б, ШОИ)
 140 начался пожар / начался ночной пожар (Б, ШОИ)
 186 многоголосый / многоголосный (Б, ШОИ)
 340 лицо / лице (Б, ШОИ)
 453, 460, ⁵¹¹ Голоса. – нет (Б, ШОИ)
 497 вторит им гневно, и продолжает. / вторит им гневно. И про-
 должает. (Б, ШОИ, Ш)

КАРТИНА 2

- 40 галстуками / галстухами (Б, ШОИ)
 54 господ / гг. (Б, ШОИ)
 69–70 Господин ⟨...⟩ Господин / Г. ⟨...⟩ Г. (Б, ШОИ)
 121 господин / г. (Б, ШОИ)
 172 я предлагаю уничтожить / я предлагаю: уничтожить (Б,
 ШОИ, Пр)

¹⁵³ Здесь тире перед репликой заменяет традиционное в пьесе имя персонажа, произносящего реплику.

- 174 Сволочь! Сволочь!.. / сволочь! сволочь!.. (Б, ШОИ)
 206 Это бы и я / Это бы – и я (Б, ШОИ)
 269 Бедные! Бедные! (говорит он сквозь слезы). / Бедные! Бедные! – говорит он сквозь слезы (Б, ШОИ)
 272 презрительно сложив руки на груди / презрительно, сложив руки на груди (Б, ШОИ)
 283 Председатель (польщенный, кланяется). / Польщенный Председатель кланяется. (Б, ШОИ)
 306 Девочка / –
 334 Да, приятно слышать. / Да – приятно слышать. (Б, ШОИ)
 446 Когда ударит колокол... / А когда ударит колокол... (Б, ШОИ, Пр)
 478 Господа / Гг. {...} Г. (Б, ШОИ)
 485, 493, 497 Голоса – нет (Б, ШОИ)
 507 Танец Смерти. – нет (Б, ШОИ)

КАРТИНА 3

- 3 судейской залы / судейского зала (Б, ШОИ)
 7 четвертная бутылка / четвертная квадратная бутылка (Б, ШОИ)
 38 Милостивые / М.м. (Б, ШОИ)
 93, 95, 100, 104, 125, 128, 157 Старик / – (Б, ШОИ)
 120 сама сущность / самая сущность (Б, ШОИ)
 125 умерли с голоду / умерли с голода (Б, ШОИ)
 126 умереть с голоду / умереть с голода (Б, ШОИ)
 140–141, 309 милостивые государи / мм. гг. (Б, ШОИ)
 235 как будто никого / как будто бы никого (Б, ШОИ)
 294 что слышны / что ясно слышны (Б, ШОИ)
 316, 317 конфеты / конфекты (Б, ШОИ)
 404 конфету / конфекту (Б, ШОИ)

КАРТИНА 4

- 4 Великолепная, чрезвычайно богатая зала / Великолепный, чрезвычайно богатый зал (Б, ШОИ)
 7 ряды шкапов / ряды шкафов (Б, ШОИ, Пр)
 8 освещена зала / освещен зал (Б, ШОИ)
 193, 209, 399, 405 Веласкез / Веласкец (Б, ШОИ, Ш)
 194, 210, 409–410 Джорджоне / Джорджоне (Б, ШОИ, Ш)
 238 святой / св. (Б, ШОИ)
 285 Профессор / – (Б, ШОИ)
 289 in octavo / in quarto (Б, ШОИ)

- 298 шкапы / шкафы (Б, ШОИ)
384 Господа / Гг. (Б, ШОИ)
489 господину / г. (Б, ШОИ)
527 залу / зал (Б, ШОИ)
546 залы / зала (Б, ШОИ)

КАРТИНА 5

- ⁵ черною / черной
¹⁵ в богатой зале / в богатом зале (Б, ШОИ)
¹⁴⁸ что молчишь / что же молчишь (Б, ШОИ)

ЧЕРНЫЕ МАСКИ

(С. 252)

Варианты прижизненных изданий (Б, АШ, Пр1910, Пр)

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

- ¹¹ Певец Ромуальдо / Ромуальдо, певец (Б)
¹⁴ *После:* П о с е л я н е. (с абзаца) – В первом действии три картины, во втором две (Б)
¹⁷ Богатая, заново отделанная зала / Богатый, заново отделанный зал (Б, АШ, Пр1910, Пр)
^{39–40} ди-Спадаро; / ди-Спадаро: (Б, АШ, Пр1910, Пр)
⁴¹ по зале / по залу (Б, АШ, Пр1910, Пр)
⁵³ сенбернар / сан-бернар (Б, АШ, Пр1910, Пр)
^{144–145} не на чем будет погреться / не на чем погреться (Б)
^{153–154} Там будет дракон, Франческа, и вы увидите / Там будет дракон, Франческа, к нам вползет дракон, Франческа, и вы увидите (Б, АШ, Пр1910, Пр)
¹⁵⁹ синьор! Как / синьор: как (Б, АШ)
²⁷⁸ Дьявол / Диавол (АШ, Пр1910, Пр)¹
³¹¹ Г о л о с. Теперь мы – твои слуги, герцог. Приказывай! / Г о л о с. Теперь мы – твоя свита, Лоренцо. Второй г о л о с. Теперь мы – твои слуги, герцог. Приказывай! (Б, АШ, Пр1910, Пр)
³⁵⁸ потерял управляющего / потерял и управляющего (Б, АШ, Пр1910, Пр)
³⁶⁰ Ну я сам / Но я сам (Б, АШ)
⁴⁰⁴ расторопного слугу / расторопного и веселого слугу (Б, АШ, Пр1910, Пр)
⁴³³ Идет жених! Идет жених! Идет жених! / Идет жених! Идет жених! (Б)
⁴⁵³ своей музыки / моей музыки (Б, АШ, Пр1910, Пр)
^{514–543} Ай, кто это ~ за плечо? / Ай, кто это? Кто это трогает меня за плечо? (Б, АШ, Пр1910, Пр)

¹ Такое соотношение вариантов сохраняется до конца пьесы.

- 657 дивясь новому / дивясь всему новому (Б, АШ)
697 он ткет / оно ткет (Б, АШ, Пр1910, Пр)

ВТОРАЯ КАРТИНА

- 24 Божьих / божьих (Б, АШ)
28–29 Ужасна правда / Ужасная правда (Пр1910, Пр)
42 покинул залу / покинул зал (Б, АШ, Пр1910, Пр)
48 Короткая и глухая / Короткая, глухая (Б, АШ)

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

- 8 крутятся / крутятся (Б, АШ, Пр1910, Пр)
63–64 Жених идет ~ Жених идет / Он идет. Он идет. Он идет (Б)
80 не моя кровь / не моя кровь, синьоры (Б)
109 спустить / опустить (Б)
123 холодеет / холоднеет (Б, АШ, Пр1910, Пр)
141 наполняет залу / наполняет зал (Б, АШ, Пр1910, Пр)
152 *подбирающийся* / *подбиравшийся* (Б)
222 проклятая / преклятая (Б)
249 Спасенья / Спасения (Б, АШ, Пр1910, Пр)

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

- 7 у изголовья / у изголовия (Б)
15, 57, 66, 196 *в гробе* / *в гробу* (Б)
42 Спрячься – сюда идут. / Спрячься, Экко – сюда идут. (Б, АШ, Пр1910, Пр)
100 не даешь / не дашь (Б, АШ, Пр1910, Пр)
105 тебя / вас (Б)
119 Я / И я (Б)
169 с ваших щек / на ваших щеках (Б)
182 умоляю во имя / умоляю вас: во имя (Б)
186 Я не / Я – не (Б, АШ)

ПЯТАЯ КАРТИНА

- 2 Та же зала / Тот же зал (Б, АШ, Пр1910, Пр)
67 Святой / Святы́й (Б)
72 вздыхает / вздыхая (Б)
92 спустить / опустить (Б)
115 по зале, смущаясь ее / по залу, смущаясь его (АШ, Пр1910, Пр)
146 сверкающую огнями залу / сверкающий огнями зал (Б, АШ, Пр1910, Пр)

- 175 сказать / сказать, синьор (Б)
- 217 После: Так звали мою жену. – Да, так звали мою жену.
(Б, АШ, Пр1910, Пр)
- 259 свой почерк / ваш почерк (Б, АШ)
- 351 Лоренцо (преклоняя колена, торжественно). / Лоренцо. О, нет, синьоры. (Преклоняя колена, торжественно.) (Б, АШ, Пр1910, Пр)
- 364 Божьего / Божиего (Б, АШ)
- 395 он / Он (Б, АШ, Пр1910, Пр)
- 402 синьоры / синьора (Б, АШ, Пр1910, Пр)
- 410 назад / назад, в бессмысленной ярости грозят герцогу Лоренцо (Б)
- 412 от него. / от него. Огонь подходит ближе. (Б)

Комментарии

1908 ГОД В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЕВА

Сочинения, вошедшие в настоящий том, увидели свет в 1908 г. и частью писались в году 1907-м. Как и произведения 1906–1907 гг., составившие предыдущий, пятый том, они принадлежат к одному из самых плодотворных периодов творчества писателя. Большинство из них высоко ценил сам автор, как лучшее из им написанного. См.: *S.O.S.* С. 22–23, 233–234. Еще пример. В принадлежащем ему экземпляре своего Собрания сочинений в издании А.Ф. Маркса Андреев отметил красным карандашом названия тех сочинений, которые считал необходимым поместить в посмертном собрании своих произведений. Единственная словесная надпись, сделанная им на полях, относилась к “Моим запискам” – “Мой лучший рассказ” (Leonid Andreyev: A critical study by Alexander Kaun. N.Y., 1924. P. 328).

1908-й год на пути писателя – из тех творческих этапов, которые отличались особой сложностью духовных коллизий. В известном письме Горькому от 11 февраля 1908 г. Андреев говорил о коренной перестройке своего мирозерцания в духе приятия мира. Оно, это мирозерцание, неизменно остается верным трагедийному мышлению, но трагизм этот понимается ныне писателем по-иному, чем раньше: “от отрицания жизни я как-то резко поворачиваю сейчас к утверждению ее” (*ЛН* 72. С. 304). Однако в других произведениях того же времени возникали оппозиции подобному воззрению, которые сводились в конечном счете к неприятию мира, – оппозиции серьезные и внушительные.

С отразившимися в них размышлениями бытийного и общественного характера по-своему сомкнулась личная драма – глубокая и длительная депрессия, постигшая Андреева после смерти в ноябре 1906 г. жены, Александры Михайловны. Об этом сохранились многие свидетельства. В письме с Капри от февраля 1907 г. к В.Н. Фигнер, благодаря ее за отзыв о “Жизни Человека”, писатель скажет: «Вещь эта очень мне дорога (...) Ведь эта вещь была последней мыслью, последним чувством и гордостью моей жены – и когда разбирают ее холодно, бранят, то мне чувствуется в этом какое-то огромное оскорбление. Конечно, какое дело критикам до того, с кем и как я писал и что “жена человека” умерла, – но мне больно» (Встречи с прошлым. М., 1987. Вып. 4. С. 348–349. В публикации письмо неверно датировано 1909 г.). “Что со мной делается? – говорил Андреев В.В. Вересаеву. – С ума я схожу? Я этого не могу принять, не могу понять: как можно

любить мертвую? А я ее люблю, продолжаю любить” (*Реквием*. С. 172). 9 октября 1907 г. он записывает в дневнике: “Думаю, что достиг предела страданий (...) И сердцем безраздельно и страшно владеет мертвая Шуручка” (*Андреев Л.Н. Дневник. 1897–1901 гг. М., 2009. С. 218*). В автобиографическом этюде “День первый” (июнь–август? 1907 г.; вошел в 5 т. наст. изд.) мертво-призрачный образ почившей Шуручки вторгается в, казалось бы, возрождающуюся личную жизнь Андреева. Автобиографические мотивы отчетливы в рассказе “Проклятие зверя”, действие которого относится ко времени пребывания Андреевых в Берлине, где скончалась жена писателя. Знаками продолжающейся горькой памяти стали и посвящения “А.М.А.” (А.М. Андреевой) значительных произведений, опубликованных в 1908 г.: “Проклятия зверя” и “Царя Голода”.

Новый брачный союз – с Матильдой (Анной) Ильиничной Карницкой, – состоявшийся весной 1908 г. и внешне вполне устойчивый, таил достаточно сложные личные отношения, вызывавшие у Андреева душевные тяготы, иногда мучительные (о чем прежде всего узнаем из его дневников и писем). Главное же, что тяжесть личных переживаний неизменно переходила у Андреева в нечто значительно большее – мрачные раздумья о всеобщностях жизни. Так было с самого начала пути и таким оставалось до конца.

Все это, разумеется, сказывалось в творческой психологии – но “по-андреевски” особым образом. 11 октября 1915 г. он записал в дневнике: “...я пишу хорошо, когда моя личная жизнь так мучительна, что мне страшно о себе думать и страшно думать вообще”; именно “тогда *интуиция* освобождается и смело творит свое, не опираясь на рацию и не преследуемая им” (*S.O.S. С. 24*).

1907–1908-й годы подтверждали это. Общая удрученность духа, не оставлявшая писателя после смерти первой жены, внушала даже мысль о невозможности продолжать писательское призвание, чем уже по прошествии немалого времени с тех пор он делился с В.В. Вересаевым в письме к нему: “Для меня и до сих пор вопрос – переживу я смерть Шуры или нет, – конечно, не в смысле самоубийства, а глубже (...) для меня отнюдь не праздный вопрос, не пустячное сомнение – не похоронен ли вместе с ней Леонид Андреев” (*Вересаев В. Воспоминания. М.; Л., 1946. С. 461*). Происходило, однако, другое. Вопреки депрессии, импульсивный порыв к творчеству сообщал ему невиданную интенсивность: «...в это самое время с необыкновенной легкостью и быстротой (...) были написаны: “Мои записки”, причем несколько раз работа прерывалась (...) состояниями, близкими к убийству и сумасшествию; потом – “Дни нашей жизни”, “Черные Маски”, “Сын Человеческий” и “Анатэма”» (*S.O.S. С. 23*). Позднее Андреев снова вспоминал о 1908-м годе как наиболее красноречивом в этом смысле примере подобного творческого состояния: «в одном 1908 – Семь повешенных (“Рассказ о семи повешенных”. – *Сост.*), Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатема. Вообще, этот 1908 г. удивителен по жизнедеятельности: женюсь на Анне, строю дом, переживаю всякие переживания

и пишу столько лучших своих вещей» (из письма С.С. Голоушеву от 25 марта 1918 г. – Там же. С. 233).

Подъему творчества того времени содействовало в большой степени и географическое “перемещение” писателя. К концу своего пребывания в Европе (ноябрь 1905 – май 1907) Андреев мучительно тяготился “за-гранницей” (“Здесь мне жизнь невыносима”; “Жить за границей я дольше не могу, задыхаюсь”), постоянно помышляя об отъезде; а в письмах к родственникам строил планы на будущее: возвратившись, жить на природе и при “непременном” условии – “как можно ближе к морю, даже у самого моря” (см.: *Кен Л., Рогов Л. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками.* СПб., 2010. С. 188). Мечта о своем “будущем доме с его всяческой приспособленностью к (...) работе” (*ЛН72.* С. 304) осуществилась лишь через год по приезде. В мае 1908 г. Андреевы переехали в дом, построенный по проекту архитектора А.А. Оля в финской деревне Ваммельсуу.

От родных, близких и от гостей Андреева остались многие описания нового места обитания, впечатляющего необычным архитектурным обликом, масштабами сооружения, сумрачно торжественным интерьером, всею декоративной обстановкой “моего Мон Репо” (из письма Т.Л. Щепкиной-Куперник от 25 сентября 1908 г. – РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 270) – в целом, общим “стремлением к грандиозу”, как выразился писатель Б.К. Зайцев (*Книга о Л.А.* С. 139). Но впечатления оказались эмоционально различны – и восхищенные, и пугающе мрачные. Сложным было отношение к дому старшего сына Андреева, Вадима Леонидовича: «Несмотря на то, что все в доме и сам дом производили впечатление величественности и тяжести, даже (...) в момент наивысшего расцвета нашей финляндской жизни, в углах уже таились призраки четвертого акта “Жизни человека”» (*Андреев В. Детство.* М., 1963. С. 38). Но тут же он замечал: “Правда, самый воздух дома был пропитан волей к творчеству (...)” (Там же). Органическую связь места обитания писателя с его духовным обликом и основным пафосом творчества ощущали и другие мемуаристы. Ее так толковал К.И. Чуковский: “Его (Андреева. – *Сост.*) тянуло ко всему колоссальному. Камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет – точно площадь. Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами (...) фундамент – циклопические гранитные глыбы (...) Гиперболическому стилю его книг соответствовал гиперболический стиль его жизни” (*Книга о Л.А.* С. 80–81).

* * *

Именно “гиперболической” укрупненностью смыслового масштаба привлекают внимание андреевские сочинения 1908 г. В них продолжает развиваться тип творчества, складывающийся у писателя в бурные исторические годы, отличающийся явственным расширением границ мирозерцания и одновременно почти антиномическими соотношениями внутри него. Качество это по-прежнему создается сопряжением двух начал – исторического взгляда с метафизической мыслью. Ее приоритет

над ним писатель стремится настойчиво утвердить и в произведениях, обращенных к социальным конфликтам времени (каковы “Рассказ о семи повешенных” и пьеса “Царь Голод”). Так, в письме К.С. Станиславскому он характеризует замысел “Царя Голода” как отторжение от “политической злободневщины” в пользу “вневременного художественного обобщения” (см. с. 683 наст. тома). А животрепещущую проблематику знаменитого “Рассказа”, одного из самых значительных явлений русской литературы конца 1900-х годов, также осмысливает и оценивает прежде всего с точки зрения всеобщего “закона жизни” (см. с. 603 наст. тома).

Подобные суждения не отменяли, однако, пристального интереса к историческому процессу и к самому феномену истории. В названной пьесе в ряду Смерти и Времени, условных образов чисто метафизического характера, воссоздающих управляющие миром начала, возникает образ Царя Голода, символизирующий, можно думать, подчиненную им всечеловеческую историю с ее шаткостью и невольными предательствами¹. Вместе с тем в сочинениях 1908 г. она поверяется бурными событиями текущей реальности, но по-разному увиденными и запечатленными. В “Царе Голоде” они явственно подразумеваются; примечательно, что Блок более всего оценил в пьесе именно ощущение современности – “трепет нашего рокового времени” (*Блок. ПСС. Т. 8. С. 22*). В “Рассказе о семи повешенных” (и в рассказе “Иван Иванович”) события эти даны воочию. Но если в “Царе Голоде” историческая реальность начала века предстает лишь в своем “бунтовском” проявлении, как слепо-разрушительная стихия, то в “Рассказе” образы борцов за свободу наделены возвышенной духовной жизнью, что сообщает всему повествованию трагически просветленную философскую окраску, подтверждающую мысль о трагедии как утверждении жизни (высказанную в цитированном письме Андреева Горькому).

А в “Проклятии зверя” жизнь принимается только в естественно-природном, а не в социальном своем проявлении. “*Упражняясь на туге натянутом канате, который есть моя жизнь и моя литература, я уже раз 20 сломал бы себе шею, если бы не баланс – природа. Она и только она приводит меня к потерянному равновесию (...), дает пока мне смутную, но твердую уверенность, что когда-нибудь удастся мне открыть начало жизни (...) и понять, почему жизнь есть радость, а не печаль*”, – писал Андреев В.Л. Львову-Рогачевскому в 1908 г. (*Львов-Рогачевский 1914. С. 21*).

Что же до философско-идеологической повести “Мои записки”, обогащенной интенсивным и углубленным психологическим анализом, и драмы “Черные маски”, то здесь воцаряется гнетущая метафизическая

¹ В пьесе есть короткий, но примечательный диалог ученых об истории: “– Ах, это так шатко: история. Разве мы знаем настоящую историю? – И это говорите вы, историк? (*Сдержанный смех и улыбки.*) – Я знаю только одно, что это ужасно”.

всеобщность, внушающая мысль о бессилии человеческого разума перед лицом вселенского хаоса. Примечательно, что в послеоктябрьские годы, под впечатлением совершившихся событий, Андреев расширительно истолковал сущностный смысл своей драмы “Черные маски”. Задуманное поначалу как “трагедия личности”, сочинение это “открылось” ныне писателю и как “трагедия истории, революции” в их метафизическом осмыслении (из письма Н.К. Рериху от [3]–4 сент. 1919 г. – *S.O.S.* С. 324).

В настоящем томе нет произведений, целиком обращенных к библейским сюжетам, подобных тем, с которыми мы встречались ранее. Однако религиозная проблематика, насыщавшая духовную жизнь той поры, остается и в новых сочинениях писателя, сохраняя присущую им разноречивость.

Так, в “Рассказе о семи повешенных” отразилось нередкое в достаточно широкой литературной среде представление о революционном терроре тех лет, сблизившее его деятелей с жертвенной психологией раннехристианского мученика за идею. Считали, что именно подобная психология возвысила героев произведения, став источником их духовной силы. Это новое у Андреева сочувственно приняла и неорелигиозная философская критика в лице Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Filosofova, чаще всего неодобрительно относившаяся к писателю.

Совсем другое внушал многозначительный мотив из “Моих записок”: “Не думаете ли вы, что когда дьявол искушал Его в пустыне, то Он не отрекся от него (...), а согласился, продал себя”, дабы “люди поверили в Него”? Однако это представление об Иисусе, высказанное “антигероем” повести, не принадлежит лишь подобного ущербного типа сознания, а нечто гораздо более укорененное в человеческих мыслях, что внушает общий контекст повествования.

Недвузначен, к примеру, и эпизод из драмы “Черные маски” – прямая и одновременно “перевернутая” аналогия с известной притчей о “брачном пире” из 25-й главы Евангелия от Матфея, где звучат знаменитые слова “жених идет”, возвещающие о приходе Сына Человеческого. А в пьесе Андреева этот резко усиленный (инверсией и повторами) глас (“Идет жених! Идет жених! Идет жених!”) призван опровергнуть благую весть. Он звучит на балу о Лоренцо из уст уродливых старух “с кастаньетами”, возвещая о другом – сатанински зловещем – пришествии в мир.

В критике конца 1900-х годов Андреев нередко предстает писателем, который “в своем мирозерцании (...) колеблется между самыми противоположными крайностями, постигаемыми мыслью” (Е.А. Ляцкий), и при этом “ничего не доказывает (...) лишь ставит вопросительные знаки” (М. Неведомский) (см. т. 5 наст. изд. С. 553–554, 566). Известно, что подтверждал это и сам автор – например, еще в 1906 г. в письме

Вл.И. Немировичу-Данченко: “Как всегда, я только ставлю вопросы, но ответы на них не даю” (*УЗТГУ*119. С. 386).

Но в “крайностях” мысли отдельного писателя отражался и современный ему литературный процесс – его синтетическая тенденция, которая, правда, своеобразно выразилась у Андреева. Присутствие ее сказалось в вовлечении в поле зрения писателя самых разных путей мысли, подчас несовместимых. Подобное собирательное устремление не приводило к целостной художественной концепции – собственно синтезу. Возникало иное – своеобразное сопряжение синтетической и антиномической тенденций, которое сближало новые произведения писателя с сочинениями 1906–1907 гг. и указывало не только на серьезные сложности андреевского творчества, но и на его достоинства – открытость многим вопросам духовной жизни времени (о чем уже шла речь во вступительной статье к комментариям 5-го тома). Множественность противоположных смыслов у Андреева – это не “ответы” (упомянутое письмо Немировичу-Данченко) и не решения, а скорее размышления о возможных альтернативах на духовном пути человека, запечатленных в своих самых предельных, крайних состояниях. Видимо, так следует понимать основное на этом этапе направление мысли писателя.

Обращаясь к собственно художественной стороне андреевских сочинений этого времени, напомним сначала об известном эпизоде творческой биографии писателя.

Еще в 1907 г. обозначился разлад Андреева с Горьким, во многом вызванный его литературной политикой в “Знании” – отказом от предложения Андреева расширить творческую платформу издательства привлечением к нему крупных деятелей модернистского движения, таких как Ф. Сологуб и А. Блок (“то есть тех, которые, по моему мнению, сейчас наиболее хорошо служат литературе мысли”, – писал Андреев Горькому 13 авг. 1907 г. – *ЛН*72. С. 292). Следствием стал отказ Андреева от горьковского предложения редактировать сборники “Знания” и сближение с издательством “Шиповник” (в качестве не только автора, но и – в течение 1908–1909 гг. – одного из редакторов альманахов “Шиповника”), где активно сотрудничали чуждые Горькому в ту пору модернистские авторы. Дальнейшее резкое обострение отношений между писателями завершилось – вплоть до 1911 г. – полным их прекращением (“несколько лет тяжелого молчания” – из письма Андреева Горькому от 12/25 авг. 1911 г. – Там же. С. 313).

Этот достаточно крутой творческий и жизненный поворот не обратил, однако, Андреева в иную художественную веру. И в 1908 г., и позже он утверждал, что “не изменился”, “остался все тот же” (*ЛН*72. С. 307, 313), что “никогда не связывал свободы своей формой или направлением” (Там же. С. 540), так, в частности, мотивируя свою художественную ориентацию: “И когда символизм потребует от меня, чтобы я даже сморкался символически, я пошлю его к черту; и когда реализм будет тре-

бовать от меня, чтобы даже *сны мои* строились по рецепту купринских рассказов, – я откажусь от реализма” (Там же. С. 541).

Период литературной деятельности, о котором идет речь, особенно выразительно подтверждает эти сказанные в 1913 г. слова. В произведениях 1908 г. бросается в глаза разноречивая двойственность самого образного языка. Так, например, в конце года Андреев пишет символично-фантастическую драму “Черные маски”, одно из самых условных своих произведений, и тогда же одно из самых традиционных – “общедоступную, общепонятную, близко примыкающую к формам старого, незатейливого искусства” пьесу “Дни нашей жизни” (из письма Вл.И. Немировичу-Данченко от 8 окт. 1908 г. – Музей МХАТа. Архив Н.-Д. № 3141/2). (Впервые напечатанная в январе 1909 г., она войдет в т. 7 наст. изд.) Читатель одновременно встретился с двумя самыми крайними (так считал и автор) полюсами творческого мира писателя.

Вместе с тем заметны и некие соприкосновения между ними. Примечательно, что в письме режиссеру Ф.Ф. Коммиссаржевскому, готовившему постановку “Черных масок” в театре В.Ф. Коммиссаржевской, автор, имея в виду до конца символическую сущность произведения, в то же время настойчиво призывает к жизнеподобно реалистическому, “в самом обычном смысле этого слова”, запечатлению в спектакле деталей “внешней” картины жизни (см. с. 724 наст. тома). С другой стороны, в бытовой “плоти” “Дней” порой ощутима и иная, символическая, ипостась Андреева-художника. С подобными же соприкосновениями встретимся и в других сочинениях писателя.

“Синтетически-антиномическая” тенденция сближает, таким образом, и собственно художественную сторону сочинений Андреева того времени. И тот факт, что названная тенденция выразилась с особой остротой в 1908 г., сообщает ему своеобразно этапное значение в деятельности писателя – значение некоторой границы.

Мир Андреева и впредь сохраняет свое основное двойственное, “промежуточное” качество. Но внутри него – приблизительно уже с 1909 г. – возникают и новые устремления, тяготеющие к смягчению антиномий, к видоизменению представлений о соотношении трансцендентного и реально-жизненного начал (важнейшая для Андреева проблема), к дальнейшему развитию мысли о “трагедии” как “утверждении жизни” (ЛН72. С. 302). Вопреки миросозерцательным противоречиям и неровностям художественного дара, на этом пути рождается также немало интересного и поучительного для будущего литературного движения.

* * *

В подготовке настоящего тома принимали участие:

“Иван Иванович”. Подготовка основного текста и комментария – Г.Н. Боева.

“Проклятие зверя”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко, редакций, вариантов рукописных

автографов – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко, вариантов прижизненных изданий – О.В. Шалыгина, историко-литературного и реального комментария – Г.Н. Боева.

“Рассказ о семи повешенных”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко (с. 584–588), Л.И. Шишкина (с. 614–621), редакций и вариантов рукописных и машинописных автографов – Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко и Л.И. Шишкина, вариантов прижизненных изданий, историко-литературного и реального комментария – Л.И. Шишкина.

“Мои записки”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко; редакций и вариантов рукописных и машинописных автографов – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко; вариантов прижизненных изданий, историко-литературного и реального комментария – Г.Н. Боева.

“Царь Голод”. Подготовка основного текста, вариантов прижизненных изданий и комментария – М.В. Козьменко. Подготовка редакций и вариантов рукописных и машинописных автографов – Р.Д. Дэвис.

“Черные маски”. Подготовка основного текста, вариантов прижизненных изданий и комментария – Л.Н. Кен.

“Царь-Сон”. Подготовка основного текста и комментария – Р.Д. Дэвис.

Все данные о прижизненных переводах произведений Андреева на иностранные языки подготовлены Р.Д. Дэвисом.

Указатели составлены И.С. Багдасарян.

В подготовке рукописи к изданию участвовала В.М. Введенская.

Ответственный редактор тома и автор вступительной статьи к комментариям – В.А. Келдыш.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

ИВАН ИВАНОВИЧ

(С.7)

Источники текста:

НЖ – Наш журнал. СПб., 1908. № 1. (Февр.) С. 2–6.

ПССМ. Т. 8. С. 169–178.

Впервые: *НЖ*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями (по *НЖ*):

Стк. 39: отвращением – *вместо:* отрицанием

Стк. 99: не имею... – *вместо:* не имею.

Стк. 115: *после:* ...кого Он у дверей поставил?.. – Архангела, полицейского.

Стк. 171: *после:* воры... – Воры-то у вас все остались.

Стк. 248: возвышал – *вместо:* повышал

Стк. 328: выкрикивал – *вместо:* вскрикивал

Стк. 333: Толстый, пьяный – *вместо:* Толстый

Стк. 335: *после:* то на пленника. – Потом сделал строгое лицо, тяжело слез с лошади и пошел к Василию. Но на седле он держался крепко, а по земле от хмеля ходить не мог: ноги были мягки, как мокрая тряпка, и подвертывались. Махнув рукой, он круто повернулся на одной ноге, покачнулся и снова, тяжело сопя, полез на лошадь. Солдаты его посадили.

Замысел написать рассказ об околоточном возник у Андреева, видимо, в 1906 г., в связи с появлением художественных откликов на революционные события, что подтверждает письмо А.С. Серафимовичу в мае того же года. Прочтя в девятом сборнике “Знания” (вышел 16 марта 1906 г.) посвященный этой теме рассказ адресата “Похоронный марш” и оставшись им неудовлетворенным, Андреев пишет: “Революционная действительность сейчас очень сильна и чтобы победить ее рассказом – нужны какие-то особенные художественные формы. И нужен какой-то особенный взгляд на дело, особенная точка зрения – откуда-то сбоку, или сверху, или снизу. Хорошо, напр., думается мне, можно дать революцию, написавши ее с точки зрения околоточного – не фальсифицированного и не кающегося, а истинного дуботолка. Как их хвалят, как они получают награды, как они расправляются, как они думают. Трудно только выдержать искренность” (Московский альманах. М.; Л., 1926. Кн. 1. С. 63).

Сам Андреев не был свидетелем декабрьского восстания в Москве. 24 октября 1905 г. он сообщает К.П. Пятницкому о поднявшейся волне черносотенного насилия в городе: «(...) жизнь в Москве для меня становится невозможной. И через участок, и другим путем (толпа, собирающаяся ночью у двери и выражающая желание “убить с(во)лочь” и т.п.) я получаю предостережения и уже два раза должен был перекочевывать с семьей на разные квартиры. В связи со всякими личными делами это делает положение скверным, утомительным: мешает работать и просто жить. Эти же скверные избиения на автора “Кр(асного) смеха” производят впечатление ужасное. Далее: не играя в революционном движении активной роли, я могу быть только пассивным зрителем, – а я вовсе не хочу видеть этих истерзанных тел и озверевших рож» (Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 169).

Судя по всему, о событиях на Пресне в декабре 1905 г., которые являются темой рассказа, он получал сведения от очевидцев, в частности от своего брата Павла. 29 декабря 1905 г. он пишет Н.Д. Телешову, уже находясь в Берлине: “Что, брат, Москва-то? Для меня – это сон, и для тебя – тоже должно быть вроде сна. Живодерка (улица на Пресне, вблизи Тишинского рынка. – *Сост.*) – и баррикады! Пресня, тихая Пресня – и баррикады! Целыми часами переворачиваю я в голове эти дикие комбинации и все не могу поверить, что это не литература, а действительность. И хотя это было, но это – не действительность. Это – сон жизни [самой]. Брат Павел описывает мне сидение свое на Пресне под бомбами и бегство оттуда сквозь линию огня – какая же это, черт, действительность!” (*Реквием*. С. 56).

Весь тираж журнала, в котором впервые был напечатан рассказ, был конфискован в связи с помещенными в нем материалами о событиях революции 1905 г. Лишь в 1913 г., перед выходом *ЛССМ*, в ряде газет появились выдержки из рассказа с пересказом его содержания. Эти публикации (вероятнее всего, санкционированные самим автором) сопровождались следующим комментарием: «Рассказ Л. Андреева “Иван Иванович”, относящийся к эпохе московского восстания, остался неизвестным благодаря тому, что был напечатан в одном журнале, конфискованном немедленно по выходе. С разрешения главного управления по делам печати, издательство А.Ф. Маркса извлекло этот рассказ из архива и включит его в полное собрание сочинений Л. Андреева» (Утро России. 1913. 7 июля. (№ 156). С. 2; Одесские новости. 1913. 10 июля. (№ 9070). С. 3; Голос Ставрополя. 1913. 12 июля. (№ 142). С. 2). Сохранилось прошение Андреева от 15 июня 1913 г. на имя начальника этого ведомства С.С. Татищева о выдаче рассказа “для переписки дня на 3”, где автор разъяснял, что соответствующий номер журнала “был арестован не за мой рассказ, и найти его где-либо я лишен возможности” (Российский гос. исторический архив. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 1342. Л. 12).

В сохранившемся там же цензурном экземпляре журнала красным карандашом выделены слова, опущенные при публикации в составе *ЛССМ* (отмечено А.П. Рудневым: *ССХЛ*. Т. 3. С. 630). Вероятно, ис-

ключение их было условием печатания рассказа в Собрании сочинений. В наст. изд. эти цензурные отчеркивания восстановлены.

При жизни автора рассказ был переведен на идиш (1908) и финский язык (1913).

В 1988 г. на киностудии “Мосфильм” (экспериментальное молодежное творческое объединение “Дебют”) по мотивам рассказа был поставлен короткометражный фильм “В одной знакомой улице” (авторы сценария: Кир Булычев, Александр Козьменко; режиссер-постановщик Александр Козьменко).

С. 9. ...кого Он у дверей поставил?.. Архангела, полицейского. – Невежественный намек, искажающий слова Христа, обращенные к апостолу Петру: “ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою (...) и дам тебе ключи Царства Небесного” (Мф 16:18–19).

ПРОКЛЯТИЕ ЗВЕРЯ

(С. 17)

Источники текста:

ЧН – черновой набросок. Ранняя редакция начала рассказа. Б. д. Хранится: РАЛ. MS.606/B.34.i.(7). 1 л.

ЧА – черновой автограф. Редакция рассказа. 22(?)–28 августа 1907 г. Под заглавием “Человек в городе”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS.606.C.34. Л. 1–42. 51 л.

Б – Проклятие зверя (Der Fluch des Tieres). Berlin: Buecher und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow, [1907]. 46 с.

3 – Земля. Альманах. 1908. Сб. 1. С. 9–48.

Ш. Т. 6. С. 221–260.

Пр. Т. 7. С. 249–300

ПССМ. Т. 8. С. 114–144.

Впервые: *Б*.

Печатается по *ПССМ* со следующими исправлениями:

Стк. 50: пугает меня огненный закат – *вместо*: пугает меня огненный закат (*по ЧА*)

Стк. 69: Если бы умирала ты – *вместо*: Если б умирала ты (*по ЧА*)

Стк. 84: как шумно! – *вместо*: как шумно? (*по ЧА*)

Стк. 134: Ибо тайной этой стал – *вместо*: Ибо тайной это стал (*по ЧА*)

Стк. 687: Что думаете вы, оба, – *вместо*: Что думаете вы оба, (*по всем редакциям*)

Стк. 1123: будто луна не зашла, а погасла – *вместо*: будто луна не взошла, а погасла (*по ЧА, Б*)

Самый ранний из дошедших до нас, недатированный набросок начала рассказа (*ЧН*) представляет собой первый абзац произведения.

Важнейшее отличие его от позднейших соответствующих фрагментов *ЧА* и *ОТ* (помимо отсутствия исходной характеристики “лживого города”) – это отождествление “ее”, “возлюбленной”, с собственной душой: “⟨...⟩ все люди видят ее как женщину и зовут красивой, а это вовсе не женщина – это моя душа”. В позднейших версиях “таинственная душа” героя-повествователя, напротив, противостоит “возлюбленной”; именно его душа, которая “мягка и податлива”, “знает”, почему героя времени очаровывает и зовет “далекий город”.

Написанная в конце августа 1907 г. редакция рассказа (*ЧА*) в целом близка к *ОТ*. Однако в ее раннем слое отсутствует ряд важнейших фрагментов (таких, как рассуждение о символичности носового платка (стк. 156–179 *ОТ*), воспоминание о посещении королевской библиотеки (стк. 347–374 *ОТ*)), а также нет и нескольких других, более коротких отрывков. Существенно иной была в раннем слое *ЧА* обширная сцена в ночном лесу: в ней другими по существу были диалоги между героем и его возлюбленной о смысле проклятия зверя, о значении любви и поцелуев и т.п. (см.: *Варианты чернового автографа (ЧА)*, стк. 844, 980). Так, в устах героя здесь звучит характерный анархический мотив, знакомый читателю Андреева, например, по пьесе “Савва”:

– Если бы я был царь земли, я сделал бы так: я открыл бы все тюрьмы и растворил бы все сумасшедшие дома – раскрыл бы все клетки, где звери...

– Зачем?

– Для правды.

– Разве ты знаешь, где правда?

– Зверь знает”.

Сама атмосфера прогулки по ночному лесу здесь отлична от аналогичной сцены в *ОТ*; герои находятся в некоем сновидном состоянии, при котором неразличимы речь и молчание: “И мы молчали – мы думали, что мы молчим. Да, только теперь вспоминаю я, что мы все время говорили (2 нрзб.) и долгое время потом нам казалось, что мы молчали. ⟨...⟩ И все было сном в эту тихую, лунную ночь. И как тогда в саду, когда в мистические глаза зверя смотрят глаза человеческого детеныша, оставалось время – так остановилось оно и теперь. Я не могу сказать, долго ли мы сидели так, как не могу передать и тех образов, что стояли перед нами. Те, кто любят, знают эти состояния остановившегося времени, бессмертия, превратившегося из скучной сказки в живую действительность, и они поймут меня; те же, кто не любил, не поймут никогда, сколько бы ни рассказывал им об этом”.

В конце *ЧА* стоят дата и подпись Андреева, что обычно свидетельствует о законченном характере рукописи. Вероятно, к раннему слою *ЧА* относится запись в рабочей тетради Андреева, в перечне “Задуманные рассказы”: «23. Город и я. Берлин. ⟨...⟩ Начато 22 августа 1907, заглавие “Человек в городе”. Кончен 28 августа, годится» (*МиИ2012*. С. 134). В более ранней рабочей тетради содержится набросок, в котором в целом уже намечен образ вуйайера, подглядывавшего за влюбленными в ночном

лесу: "...И когда наступает ночь, изо всех углов выходят эти сумасшедшие больших городов: весь день, все дни их жизни их преследует, их отравляет зрелище сотен прекрасных женщин, им недоступных, – и они пристают ко всякому силуэту, слышат ругательства, иногда побои – и не могут отстать" (Там же. С. 123).

Однако позже писатель вновь возвращается к рассказу и исправляет многие из вышеуказанных мест. В архивном собрании к тексту раннего слоя *ЧА* приложено девять листов с новыми, фактически совпадающими с *ОТ* вариантами, обычно с указанием номеров изменяемых листов более раннего слоя *ЧА* (см.: *Варианты чернового автографа (ЧА)*).

Из письма Л. Андреева к К.П. Пятницкому от 13 декабря 1907 г. (*ЛН72*. С. 524) следует, что рассказ "Проклятие зверя", первоначально обещанный "Шиповнику", был передан автором в альманахах "Земля", в первой книге которого и был опубликован 30 января 1908 г. с посмертным посвящением жене – "А. М. А." (Чуть ранее, видимо в конце 1907 г., вышло отдельное берлинское издание).

Александра Михайловна Велигорская-Андреева скончалась в Берлине 28 ноября (11 декабря) 1906 г. от послеродовой горячки; родившийся сын, второй ребенок писателя, Даниил Леонидович Андреев (1906–1959) – будущий писатель, философ, поэт, автор метаисторического труда "Роза мира" (опубл. в 1991). Крестным отцом Даниила, крещенного в марте 1907 г. в Москве, стал М. Горький, к которому в декабре того же года в состоянии тяжелой душевной депрессии после смерти жены Андреев приехал на Капри.

Хотя прямо в "Проклятии зверя" не сказано о том, что действие происходит за границей, по многим признакам и реалиям столичного европейского города можно предположить, что речь идет о Берлине. Примечательно, что некоторые современники не названный в рассказе город воспринимали именно как Берлин (*Н.К. Проездом через Берлин // РС*. 1908. 28 июня. (№ 149). С. 1–2). Берлинские реалии рассказа, в частности соотнесенность с целым рядом топонимов, таких как Груневальдский лес, парк Тиргартен с озером Ноейер, ресторан Weinhaus Rheingold на Bellevuestrasse, наконец Зоосад, с опорой на письма Андреева данного периода и путеводитель по городу отмечены М.В. Козьменко (*Козьменко М.В. Рассказ Леонида Андреева "Проклятие зверя": Символико-культурный и экзистенциальные аспекты // Изв. РАН. Сер. лит. и языка. М., 2012. Т. 71. № 1. С. 52–57*). Из двух "берлинских периодов" (посещений города Андреевым в 1905 и 1906 гг.) именно второй – с августа по декабрь 1906 г. – стал протосюжетом "Проклятия зверя". Многочисленные реалии, на которые указал Козьменко, можно дополнить сведениями из письма Андреева Горькому от 13/14 (26/27) октября 1906 г., где он, рассказывая о месте своего берлинского обитания – Груневальде, упоминает и о расположенном неподалеку лесе, любимом месте прогулок (*ЛН72*. С. 274), который, скорее всего, описан в эпизоде с эротоманом. Таким образом, антитеза "город" и "лес" в рассказе может быть

“в реальном плане” интерпретирована как противопоставление двух местожительств Андреева – гостиницы в центре Берлина и виллы или пансиона в Груневальде.

Эпизод с собакой, запряженной в тележку, воспринятый многими критиками как элемент абсурда, тоже имеет реальную основу. Так, в письме к А. Измайлову от 18 февраля 1908 г. Андреев пишет: «Ей-богу, в Германии очень много собак, запряженных в повозку, – это просто рабочие собаки, которые возят дрова, овощи, молоко и т.п. Я и сам удивился, увидав такую собаку, и принял за сумасшедших людей, которые ее запрягли, – как Вы приняли сумасшедшим “меня”, думая, что это я запряг. И поклонился “я” им обоим, человеку и собаке, как все тем же жертвам “города”, обрекающего на рабый труд и делающего мрачным то, что должно быть свободным и весело. Вы знаете, как приятно видеть играющую собаку? И помните, что говорил хотя бы тот же Ницше об “игре”? Действительно, сумасшествие запрячь собаку – как запрячь и человека!» (ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 10).

Проходящий через весь текст рефрен обращения к возлюбленной – еще одно свидетельство того, что рассказ “вырос” из берлинского периода, завершившегося смертью жены (подробнее см.: *Козьменко М.В.* Указ. соч.).

«“Проклятие зверя” – какая-то душевная замазка, чтобы не так дуло в щели», – пишет Андреев Горькому 11 февраля 1908 г. (*ЛН72*. С. 302). В этом же письме писатель делится своим настроением, созвучным настроению рассказа: “Трагедия – утверждение жизни, и только драма исключает жизнь. {...}

Трагедией была моя жизнь на Капри, еще вначале, когда я один бродил по острову и ночью слушал бурю. И трагедией она станет с весной, когда раз навсегда я уйду из ненавистного города с его жалкой суетой, раз навсегда стану лицом к лицу с природой, с морем, небом, снегом – перед чистым лицом человеческой мысли” (*ЛН72*. С. 302–303). Андреев имеет в виду свой план поселиться в собственном доме в Ваммельсуу, реализованный в мае 1908 г.

В некоторых отзывах современников (Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус и др.; подробнее см. ниже) рассказ воспринимался как отголосок “зарубежных памфлетов” Горького – очерков “Город желтого дьявола” (1906), “Прекрасная Франция” (1906) и др. Это соотнесение позднее, в ином, позитивном ключе, получило свою интерпретацию у К.Д. Муратовой (*Муратова К.Д.* Максим Горький и Леонид Андреев // *ЛН72*. С. 29). Прослеживается эта тема и в переписке с Горьким, который во время пребывания в Соединенных Штатах делится с Андреевым своими впечатлениями о Нью-Йорке в письме от 29 марта / 11 апреля 1906 г.: «Это такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа, фантазия, которую создали безумные великаны, уроды, тоскующие о красоте, мятежные души, полные дикой энергии. Все эти Берлины, Парижи и прочие “большие” города – пустышки по сравнению с Нью-Йорком» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 162–163). В свою очередь, Андреев в письме

Горькому от 28 декабря 1905 / 10 января 1906 г. в описании Берлина как воплощения мещанства и стадности намечает мотив, который будет развернут в его рассказе: “Конечно, есть и здесь люди свободной мысли и чувства, но их не видно – а то, что видно, что тысячами голосов кричит в своих газетах, торчит в кофейнях, хохочет в театрах (...) все это омерзительно” (ЛН72. С. 262).

Однако даже если не разделять предположения о прямом влиянии горьковских очерков, нельзя не учесть, что тема города была одной из популярнейших тем антиурбанистического дискурса и в прозе, и в поэзии начала XX в. (В. Брюсов, в том числе в своих переводах Э. Верхарна; А. Рославлев), и в живописи (М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст).

Оценка Горьким “Проклятия зверя”, как и других произведений Андреева этого периода, была резко негативной и весьма показательной как свидетельство начавшегося идейного и эстетического конфликта между двумя писателями, очень скоро приведшего к разрыву личных отношений. Так, в письме И.П. Ладыжникову около 26 октября / 8 ноября 1907 г., имея в виду “Проклятие зверя” и “Тьму” (1907), Горький отрицательно отзываясь о рассказе: “А рассказы Леонида – оба плохи” (Горький. Письма. Т. 6. С. 96). В письме К.П. Пятницкому от 26 октября / 8 ноября 1907 г. он пишет: «“Заключение зверя” (так! – *Сост.*) – вещь избитая, написана плохо, о ней стоит говорить¹» (Горький. Письма. Т. 6. С. 98), сопровождая свою оценку следующим высказыванием в адрес Андреева: “Этот жалкий, больной малый носит в себе [что-то] животное (...) и вот почему тоскует о звере. Зверь – не по силам ему, а животного он боится (...)”

Очень талантлив Л[еонид] вообще – не в данных рассказах (...) но он [же] нам – чужой.

(...) Его дорога – круто направо. Его задача – показать во всяком человеке прежде всего скота, – социальная ценность такого намерения и вредна и погана” (Там же. С. 97).

Как в столичных, так и в провинциальных газетах еще до его публикации интерес к новому произведению подогревался газетными анонсами, вызванными интервью с писателем, а также чтением рассказа в литературных кружках (см., например: *Эс Пэ [Поляков С.Л.]*. У Леонида Андреева // *РС*. 1907. 5 окт. (№ 228). С. 2; *М. Новый рассказ Л. Андреева* // *Клуб*. М., 1907. 11 дек. (№ 1). С. 3; [*Б.п.*] “Проклятие зверя” // *Одесское обозрение*. 1907. 22 дек. (№ 20). С. 3, и др.). Не подписавшийся корреспондент пересказывает свои впечатления от прослушанного им нового произведения Андреева, характеризуя его как “психологический опыт, слегка убранный в одежды поэзии”, и отмечая верность Андреева себе: “По одной строке ясно, что это мог написать только он” ([*Б.п.*] “Проклятие зверя” // *Одесское обозрение*. 1907. 12 дек. (№ 11). С. 2). Причем многие из анонсов включают в себя подробный пересказ содержания рассказа, некоторые из них весьма велики по объему и, стилистически

¹ Вероятно, в публикации ошибка, следует читать: “не стоит говорить”.

отличаясь от рассказа, выполнены по всем правилам традиционно понимаемой художественности. Так, И. Южанин, жалуясь на отсутствие в новом произведении фабулы, тем не менее пересказывает рассказ, тему которого определяет как “ошеломляющее влияние современной городской цивилизации, непреодолимое, фатальное подавление городом индивидуальности” (*Южанин И. [Иерусалимский А.М.] “Проклятие зверя” // Час. М., 1907. 7 дек. (№ 64). С. 3.*

В России рассказ вышел в свет 30 января 1908 г. в первой книге альманаха “Земля” и сразу же вызвал многочисленные отзывы.

Н.М. Архангельский так формулирует “основную, хотя и не новую для Леонида Андреева мысль нового его произведения”: “Ужас этой жизни!”, проклятие “жизни, где зверь поднимается до человеческого мук, а человек падает до уровня зверя” (*Архангельский Н.М. Новое произведение Л. Андреева: (“Проклятие зверя”). Сборник “Земля”. М., 1908 г.) // Северный вестник. Ярославль, 1908. № 31. (Февр.) С. 2.* Критик проводит параллель между “Проклятием зверя” и эпизодом из “Жизни Человека” – “Проклятием Человека”. Что касается объекта проклятия, Архангельский считает, что автор “как бы совершает непоследовательность, как бы суживает обобщающее значение мысли, красной нитью проходящей через ряд его произведений” (Там же. С. 3). Жизнь для Л. Андреева ужасна вообще, пишет критик, “и если автор на этот раз дал своей мысли опору городской жизни, то это, быть может, потому, что ужас существования из этих рамок выступает ярче, рельефнее, в особенно кричащих формах” (Там же).

Противопоставляя рассказ Андреева по тональности иным помещенным в сборнике произведениям, в другой своей статье Н. Архангельский также упрекает Андреева в “бесплодном пессимизме” и отмечает “однообразие в выборе темы”: «“Проклятие зверя” – это все тот же знакомый мотив: “притча об ужасе этой жизни”» (*А-ский Н. [Архангельский Н.М.] Земля. Сборник первый. Изд. Московского книгоиздательства. Ц. 1 р. 25 к. // Руль. М., 1908. 6 февр. (№ 23). С. 6.*

В более поздней публикации тот же критик за подписью “Профессор Архангельский” развивает высказанные ранее мысли. Отмечая неоригинальность основной темы рассказа, он тем не менее признает ее злободневность для современной культуры: «Тема о “море”, о “лесе”, с одной стороны, о “неволе душных городов”, с другой, – далеко не новая... она возникла у писателей, вероятно, с того самого момента, как, по библейскому преданию, один из сыновей еще Адама – Каин – построил первый город, отделившись от “селений скотопитателей...” Тема – не новая и в русской литературе: на “душные города” давно уже жаловался пушкинский Алеко, объясняя цыганке Земфире, почему он покинул город.

В современной литературе тема эта, впрочем, получила особую, совершенно новую постановку. Прежние романтические жалобы на “неволю душных городов” сменились принципиальным негодованием на весь современный общественно-городской строй, на эти огромные промышленные центры, огромные города, в которых так теряется и подавляет-

ся личность, – в которых человек является уже не гордым властителем своей судьбы, а жалким, придавленным рабом, совершенно теряющим всякие признаки нравственно-человеческой личности, индивидуальности в тяжелой борьбе за существование, в бешеной конкуренции, под непосильным гнетом индустрии, промышленности...» (*Профессор Архангельский. “Проклятие зверя” // Голос Москвы. 1908. 11 мая. (№ 109). С. 3).*

При этом Архангельский не скрывает своего раздражения стилем произведения: «Крайне странное впечатление производит это небольшое позднейшее произведение г. Андреева. Не знаешь, что это такое? Действительно, “в серьез”, антитеза “города” – “лесу”, “морю”, “природе” и т.д. или это новые “записки” Гоголевского “Фердинанда VIII, короля испанского...”, литературная симуляция какой-то душевной болезни, художественное изображение страшного болезненно-нервного припадка, который испытывает на себе этот неврастеник, попадающий в город?... <...>

Повторяем, впечатление от нового произведения г. Андреева какое-то крайне двойственное. Не знаешь, что думать об этом произведении, как понять отношение к нему его автора, – что собственно автор дает в нем своему читателю, что хочет в нем сказать... “В серьез” ли изображает автор здесь “яд города” или речь идет лишь о том, как легко и с какой страшной силой могут иногда наступать болезненные нервные припадки у тех неврастеников, которые попадают в сутолоку большого города, особенно если они привыкли перед этим “по целым часам” лежать на морском берегу, “пересыпая песок руками”, если попадают в незнакомый город совсем одни, и при том в жаркий, душный день...

Произведение г. Андреева понимать можно и так, можно и “совсем напротив”... Читатель чувствует себя совсем как покойный Павел Иванович Чичиков, когда тот въехал во двор к Плюшкину и в первый раз встретил хозяина: “Долго не мог Павел Иванович распознать, какого пола была фигура, – баба или мужик... Ой, баба!.. – подумал он про себя и тут же прибавил: – ой, нет!.. “Конечно, баба!” – наконец, сказал он, и уже обратился к фигуре, называя ее “матушкой”, но, как известно, опять ошибся: “матушка” и оказалась именно Плюшкиным!..”

То же совершенно и здесь, с “Проклятием зверя”: “Как будто новые “Записки” гоголевского Фердинанда VIII, короля испанского”, думает читатель, перелистывая рассказ. – Ой, нет!.. – восклицает он дальше. <...> “Конечно, что-то вроде “Записок””, – решает далее читатель, но тут же опять сомнение. – “Нет, как будто не то”...

Лично мы больше склоняемся к тому мнению, что перед нами нечто вроде “Записок” покойного “Короля испанского”. Г. Андреев, впрочем, берет, видимо, другой фазис “болезни”, но, вообще, прекрасно анализирует все ее симптомы... “Прекрасно”, разумеется, с точки зрения обычного читателя, публики; категорически подобные вопросы могут быть решаемы, конечно, лишь психиатром» (Там же).

Рецензент противопоставляет “дурному” опыту разработки природно-урбанистической коллизии Андреевым “положительный” – Гамсуна, в частности его романы “Новь” (1893) и “Пан” (1894). “Но какая же громадная разница между этими произведениями!.. – восклицает критик. – У Гамсуна выведенные лица ярко рисуют мысль романиста, и вообще, мы видим везде реальную жизнь живых, естественных, хотя и исковерканных городской жизнью людей, живые подробности, обстановку; здесь, в произведении г. Андреева – перед нами какой-то больной неврастеник, одни больничные истерические рыдания, выкрики, вопли...” (Там же).

Много внимания уделил “Проклятию зверя” А. Измайлов – и “перелицевав” рассказ в пародию (об этом ниже), и проанализировав в нескольких критических статьях. Вспоминая о времени зарождения в литературном обиходе интереса к нездоровому, появления пародий на Достоевского и слова “психопат”, он отмечает тягу современной литературы ко всему больному и характеризует новую вещь Андреева, исключительно предрасположенного к “анализу болезней мысли”, как образец “патологической литературы”, жанр которой должен определять не критик, а психиатр. Творчество Андреева, считает критик, подлежит рассмотрению с точки зрения психиатрии, как это было сделано в свое время с творчеством Гоголя и Достоевского психиатрами Чижом и Баженовым. “Перед вами типичный сын века – надорвавшийся человек, потерявший душевное равновесие”, – пишет он, а финал рассказа уподобляет “пародии, злой и грубой” (*Измайлов А. Литературные беседы: Клиническая литература. “Проклятие зверя” Леонида Андреева // РС. 1908. 17 февр. (№ 40). С. 3).*

Те же мысли развивает А. Измайлов от лица “Неблагодарного читателя” в другой газете: сравнивая новый рассказ с “Тьмой” – повестью хотя и “патологической”, но тем не менее “интересным психологическим парадоксом”, он определяет героя “Проклятия зверя” как “душевно расстроенного человека, со всеми симптомами начинающегося распада”, “субъекта накануне полного захвата известной манией” (*Неблагодарный читатель [Измайлов А.А.]. Литературные беседы // Слово. СПб., 1908. 15 февр. (№ 381). С. 2).* И далее: «С оголенной психологией такого героя имеет дело Андреев. Вы не узнаете ни его имени, ни положения, ни лет, ни внешности. Все это не нужно автору, который хочет оголить, исключительно подчеркнуть одну лишь психологию. “Вообразите, что это вы сами”».

По форме это не рассказ и не дневник. Это как бы вытянутая во всю длину нить мыслей больного человека, заполнившая один его день. Этому действующему лицу Андреева как-то не идет название героя. Его хочется называть – субъект, больной, пациент» (Там же). В эпизоде с собакой Измайлов также усматривает логику безумца – здесь, считает он, Андреев, в отличие от Достоевского, Шекспира, переступает допустимую грань в изображении психической болезненности.

“Можно понять основную идею Андреева. Это то проклятие городу, которое сейчас составляет предмет песен поэтов, начиная Брюсовым, продолжая Рукавишниковым, Рославлевым, и давно излюбленный мотив художников – Рериха, Добужинского, Бакста и т.д.

Андреев берет на себя ту же задачу, и, можно верить, не только потому, что это модно, но и потому, что в этом злом выпадении против города сказывается наболевшее чувство пресытившегося культурой и возненавидевшего город современного человека” (Там же).

Измайлов не ограничивается только заключениями о герое и идее рассказа, но пытается поделить наблюдения над художественными особенностями произведения. Отмечая в таланте Андреева “черту всегдашней сгущенности, излишней драматизации”, Измайлов далее, по сути, описывает поэтику рассказа как экспрессионистскую: “Протест против города, может быть, мог бы почувствоваться еще сильнее, если бы он шел от человека нормальной психики. Андрееву кажется, что он будет почувствован глубже и ужаснее, если обычное раздражение, вызываемое городом в обычной душе, дать в квадрате и в кубе восприятий уже смертельно раненного мозга.

Впечатления этого отдельного лица оказались подлинно жуткими и ужасными. Но это жуткость и этот ужас чисто субъективны. Они не передаются читателю, если он сам здоров. Протест, который мог иметь всю общечеловеческую и законную силу, свелся к мелкому, малозначительному, исключительному случаю” (Там же).

Близок к Измайлову в своей оценке “Проклятия зверя” как произведения патологического, свидетельства безвременья, и М. Дмитриев. Называя рассказ “материалом для наблюдений психиатра”, он пишет, что «“Проклятие зверя” относится к литературе чисто патологической и, в сущности, разбираться в нем дело медицины, а не критики» (Дмитриев М. Призраки и туманы // Николаевская газета. 1908. 23 февр. (№ 630). С. 2–3). “Здоровые люди знают, что индивидуальность духа важнее индивидуальности формы”, – не соглашается он с мыслью о борьбе героя рассказа за свою индивидуальность (Там же. С. 3). Город, считает он, как раз дает огромные возможности совершенствовать индивидуальность духа – Андреев же фиксирует внимание только на внешнем.

Примечателен отзыв Дмитриева как попытка анализа рассказа с точки зрения его художественных составляющих. Приведем отдельные наблюдения:

“Уже в самом заглавии чувствуется заранее рассчитанный и обдуманный эффект. (...) Что-то апокалиптическое” (Там же. С. 2).

«И что (...) удивительнее всего, мы не можем отделить героя этого очерка, больного полупомешанного человека, от имени которого ведется рассказ, от личности автора. Никому ведь не придет в голову проводить параллель между героем “Красного цветка” и Гаршиным, между “Палатой № 6” и Чеховым, а андреевские психопаты неразрывно связываются в представлении человека с личностью автора. Они неразделимы... Болезненные изломы фабулы, какой-то воспаленно бредовый язык сплошь

характерны для произведения Андреева, и в этом – яркая особенность его творчества» (Там же. С. 3).

«Страницы, посвященные “проклятию зверя”, – самое сильное место в новом андреевском очерке. Но это сила безумия или, может быть, безумие бессилия. Только бессильно безвольный, больной мозг может дать такую иллюзию силы мифических, даже просто бредовых проклятий. Эти страницы напоминают несколько картины Врубеля, которого считают безумным гением. В них есть что-то кошмарное, чудовищное, но только... это не литература. Это призрак, рожденный туманом, мертвым, безжизненно колыхающимся туманом...» (Там же. С. 3).

Обращая внимание и на “несообразные скачки”, и на “невыдержанность характера”, критик отмечает как самую большую оплошность автора комичность трагического по замыслу финала рассказа – эпизод с “поклонением” собаке:

“Представьте себе эту картину реальной, и вы увидите карикатуру. Только карикатуру там, где автор хочет заставить вас рыдать, хочет исторгнуть из вашей груди проклятие человека, чтобы присоединить его голос к проклятию зверя” (Там же. С. 3–4).

“Биржевые ведомости” помещают краткий уничижительный отзыв о рассказе: “Это как бы исповедь человека, лежащего на постели психиатрической больницы, или, в лучшем случае, кандидата в ее пациенты” ([Б.н.] Проклятие зверя // *БВед.* 1908. 7 февр. (№ 3). С. 3). И там же: “Психология нового рассказа Андреева – большая, исключительная. Столько же дела критику в этой вещи, сколько и психиатру”.

Схематичность и излишняя обобщенность в изображении города отмечается в статье со знаменательным названием «Апология “голового” человека», автор которой считает, что “город” у Андреева “только символ, широкое синтетическое понятие”, под которым понимается “всякое человеческое общежитие” (Л.И.Н. Апология “голового” человека: (По поводу “Проклятия зверя” Л.Андреева) // *Одесское обозрение.* 1908. 19 марта. (№ 91). С. 2). Примечательно, что автор статьи, анализируя позицию писателя, пытается поместить рассказ в социокультурологический дискурс: Андреев зачисляется в апологеты “голового” человека и противники “культурного роста”. После пространный экскурса в историю человечества и культуры, которую, по мнению рецензента, олицетворяет городская цивилизация, следует упрек автору, не сумевшему увидеть за внешней одинаковостью внутреннее, содержательное разнообразие культурных форм городской жизни. В рассуждениях Л.И.Н. осязательны отголоски социал-дарвинизма, с позиций которого он прославляет город как арену для битвы и победы сильнейших, а в финале статьи просвечивают истинные его симпатии, связанные с радикальными социальными преобразованиями. “Проклятие зверя”, подытоживает Л.И.Н., – этап “вдумчивого и чуткого творчества” Андреева, отразившего групповые интересы “социально разочарованных”.

Восторженно отзываясь о рассказе М. Королицкий: «Певец ночной кошмарной действительности, певец неисчислимых язв и ужасов со-

временной жизни, Андреев задался целью написать трагедию городско-го существования, изобразить влияние души города на душу человека. “Проклятие зверя” – и есть протест задавленной городской цивилизацией природы» (*Королицкий М.* “Проклятие зверя”: (Новое произведение Л. Андреева) // *Окраина.* Минск, 1908. 14 февр. (№ 163). С. 3). Отмечая, что тема рассказа не нова, Королицкий пишет: “...едва ли кто способен так сильно волновать читателя, так заставлять его глубоко думать и чувствовать, как этот великий художник слова, нарисовавший страшную, неотвратимую картину, посвященную тяжелой, безнадежной, неразрешимой проблеме” (Там же). Значимость сочинения не отменяет оговорку: «Пусть этот порою блистающий “андреевским” стилем, интересный по замыслу, но в целом туманный психологически-философский этюд читается довольно трудно; пусть (...) мысли читателя приходится много-много, вдумчиво, напряженно строить для того, чтобы перебраться мостки через те пропасти, которые оставляет за собой в своих лихорадочных, гигантских прыжках мысль художника» (Там же).

Еще один восторженный отзыв публикует “Петербургская газета”: “(...) последнее, глубокое, прекрасное, захватывающее произведение Леонида Андреева”, по словам автора заметки, “рисует скомканное, затравленное душевное состояние человека, затерянного в современном городе...” (*Whist.* “Проклятие зверя” // *Петербургская газета.* 1908. 5 марта. (№ 63). С. 2).

Обозреватель “Тульской молвы” усматривает в “Проклятии зверя” доказательство “силы и яркости субъективной интуиции” Андреева, умеющего “волновать душу современного читателя” и учитывать его психику. Автор статьи считает, что в раскрытии темы города Андреев далеко опережает пишущих на эту тему Юшкевича, Найденова, Горького, поскольку охватывает вопрос “во всей его сложности, во всей его синтетической глубине”, в одном проявлении художественной мысли исчерпывает все экономические, психические и социальные условия, создающие “власть города над человеком” (*Пли-кий.* *Общество и Леонид Андреев* // *Тульская молва.* 1908. 5 марта. (№ 129). С. 2).

Доброжелательным настроем и желанием понять авторский замысел отличается статья в “Киевских вестях”, автор которой, И. Джонсон, пытается объективно проанализировать художественные достоинства и недостатки нового произведения Андреева, подробно комментируя его. “Коренной порок” рассказа И. Джонсон видит в самой попытке “большую и отнюдь не большую идею выразить в переживаниях человека, который (...) стоит по ту сторону черты, отделяющей здорового человека от душевно больного” (*Джонсон И. [Иванов И.В.]* “Проклятие зверя” // *Киевские вести.* 1908. 25 февр. (№ 54). С. 2). Именно из этого “порока”, по мнению автора статьи, проистекают отрицательные отзывы на рассказ. Оценивая же рассказ в контексте всего творчества Андреева, Джонсон так формулирует его главную идею: “гибель индивидуальности и необходимость борьбы за нее”, “тоска по индивидуальности, отвлечение ко всеобщей нивелировке, которой стихийно подчинен чело-

век современного мира”, а также сопутствующая этой идее другая *ide'e fixe* – “недоумение и ужас перед бытием”. Вот несколько заключений критика по поводу доминантных сцен: “жизнь человечества, пошедшая по убийственному пути дифференциации личности”; “безнадежное отчаяние перед бытием, перед его грозной и неразрешимой проблемой, так мучающей последнее время нашего писателя. В (...) проклятии зверя выражается тесная связанность всего живого общностью непонятого страдания, и эта мысль символизируется (...) также встречей рассказчика со стариком и измученной собакой, запряженной в тележку, которые влекутся по жизненной дороге под игом безысходно-тяжкого существования” (Там же). В заключение Джонсон интерпретирует поклон героя-рассказчика собаке как поклон “страданию мировому” и сравнивает эту сцену с аналогичной у Достоевского (поклон Раскольникову Соне Мармеладовой).

Те же мысли Джонсон высказывает в более поздней статье, вновь обращаясь к кульминационной сцене в зоологическом саду, символизирующей, по его мнению, единство страданий всего живого: “{...} в самом мировом порядке существует трагический разлад. Вечный конфликт между великой идеей мира и его действительным характером. Самый корень мирового бытия поражен каким-то ядом, и отсюда – общность страдания не людей только, а и всего живого в мире” (*Джонсон И. [Иванов И.В.] В тревогах богоискания: (Леонид Андреев) // Киевские вести. 1910. 5 сент. (№ 239). С. 2.*

Некоторые критики оценивают рассказ в контексте всего альманаха, сравнивая с другими произведениями, помещенными в сборнике. Так, И. Записной, высоко ставя “Суламифь” Куприна, рассказ Андреева оценивает осторожно: “Несмотря на отдельные хорошие страницы, в общем можно иметь разные суждения о ценности этого произведения” (*Записной И. Новости в литературе // Котлин. Кронштадт, 1908. 21 февр. (№ 43). С. 3.*). Лейтмотив рассказа “возлюбленная моя” критик, вероятно, под влиянием контекста тоже возводит к библейской Песни песней. Так же острожен в оценке произведения рецензент из Житомира, называя его “своеобразно интересным” и противопоставляя ему безусловно удачную “Суламифь” (*[Б.п.] Новости искусства и литературы // Вестник Волыни. Житомир, 1908. 23 февр. (№ 52). С. 4.*

Напротив, как самую удачную вещь в сборнике “Земля” отмечает рассказ Андреева М. Морозов: «Разочаровывает многих “Проклятие зверя” Леонида Андреева; и все-таки это самый выдающийся рассказ по захватывающей мощи вложенной в него идеи. Неприятно поражает в нем – чрезмерно-слезливая чувствительность лица, от которого ведется рассказ. Это портит впечатление, ослабляет рассказ для душ суровых. Слишком много слез, потрясений и мало действия. Какая-то дряблая расслабленность дышит в страницах этого рассказа. И тем не менее кошмарный ужас города, его притягательная сила, его каменное бездушное, его удушающая теснота, устрашающее безличие массовой механической жизни – изображены с огромной силой» (*Морозов М. Литератур-*

ные заметки // Реформа. СПб., 1908. 7 марта. (№ 57). С. 1–2). И далее: “Нет, это не проклятие зверя. Но проклятие самого одинокого человека, которому (...) понадобился голос зверя, чтобы выразить безумную тоску одиночества и протеста против звериного безумия и холода городской жизни...” (Там же).

А. Тыркова отмечает, что, за исключением отдельных штрихов, которые тонут в скучной риторике, “напоминающей выпускное сочинение семинариста”, “Проклятие зверя” “мало что прибавляет к славе Андреева” (*Вергежский А. [Тыркова А.В.] Земля. Сборник первый. Московское кн-ство. 1908 г. Ц. 1. 35 к. // Речь. 1908. 14 февр. (№ 38). С. 6).*

А. Ачкасов полагает, что рассказ Андреева “не принадлежит к числу лучших и наиболее сильных его произведений”, но в нем явлены “знакомые и милые нам черты писателя со всеми его блистательными достоинствами и со всеми его успевшими стать нам дорогими недостатками” (*Ачкасов А. “Земля” // Киевская мысль. 1908. 18 марта. (№ 78). С. 2).* Для критика очевидно, что в этом произведении любимые мысли Андреева выражены “с присущей автору тоской и силой”, а основной сюжет связан с продолжением темы загадки бытия, олицетворенной образом Некто в сером: главный герой, убегая от “молчания первоприроды” в город, и здесь не находит ответов на свои вопросы.

В том же духе пишет о “Проклятии зверя” С.В. Мирский, усматривая в рассказе “территорию фатума” и вписывая его в контекст всего творчества Андреева: «Город (...) есть для Л. Андреева тот же “Некто в сером”» (*Мирский С.В. Литературные заметки. Сборник “Земля”: “Проклятие зверя” Л. Андреева, “Суламифь” Куприна и др. // Баку. 1908. 23 марта. (№ 33). С. 3).* «Посылая проклятия городу как носителю современной культуры, – пишет критик, – Л. Андреев сблизил проблему настоящего произведения с помыслами своего анархиста Саввы, которому (...) хотелось (...) чтобы “голый человек” остался на “голой земле”». И далее: «“Проклятие зверя” – это призыв к первобытной жизни, это апофеоз всякому живому естеству в его природном начале. Вот почему здесь “проклятие зверя” есть также проклятие человека, искусственно скрытого в обстановке немых каменных домов» (Там же); в образе девочки критик усматривает “инстинкт здоровой жизни, которым, в сущности, проникнуто все творчество Л. Андреева” (Там же).

Критик Боривой видит в рассказе начало “падения” Андреева: «“Проклятие зверя” представляет прекрасный образчик того тупика, в который постепенно упирается творчество Леонида Андреева. Он слишком остро переживает впечатления жизни и потому не умеет их правильно оценить. В данном случае за внешней стороной городской жизни он проглядел ее внутренние стороны; он сам себе создал ужас, сам себя довел до горячечного бреда...» (*Боривой [Якушев Д.П.]. Литературные очерки. О журналах и сборниках: Три произведения Леонида Андреева: “Великан”, “Проклятие зверя” и “Царь-Голод”... // Голос правды. СПб., 1908. 22 марта. (№ 756). С. 2).* Язык рассказа Боривой находит

“вычурным, безобразно кричащим”, совершенно неуместным и даже карикатурным в описании города.

Примечательно, что, даже признавая произведение Андреева неудачным, многие критики отдают дань таланту автора и признают его первенство среди современных писателей. Так, свой отрицательный отзыв о рассказе И. Игнатов сопровождает сожалением о том, что “из всех современных писателей {...} действительно способен взволновать читателя, заставить его думать не банальными мыслями, чувствовать незахватанными чувствами только г. Андреев” (*И-тов И. [Игнатов И.Н.] Литературные отголоски: (“Проклятие зверя” Л.Андреева (сборник “Земля”)) // РВед. 1908. 5 февр. (№ 29). С. 3.* “Проклятие зверя” сопоставимо, по мнению критика, с творческой неудачей Горького, изображавшего Америку как страну буржуазной морали и банальностью, схематизмом своих идеологических построений скомпрометировавшего себя в глазах читателя.

В заметке в “Русском слове” “Проклятие зверя” названо “слабым, неудачным произведением”, “скороспелым, непродуманным, вымученным и манерным”, “слабым как по мысли, так и по художественности формы” – и тем не менее, добавляет автор, “крупная личность Л. Андреева проявила себя и в слабом произведении” (*Н.К. Проездом через Берлин // РС. 1908. 28 июня. (№ 149). С. 1–2.* Впрочем, автор заметки солидарен с Андреевым в неприятии машинной жизни и далее, выступая против обезличивания, за индивидуальность и культуру, впадает в тот же пафос, что и автор рассказа.

Отрица художественность произведения, рецензент из Херсона называет рассказ “болезненным, жестоким криком”, знаменующим собою тупик, в котором оказался Андреев: «Наивная, более литературная, нежели жизненная формула “неприятия” города, с его городской культурой, с его “звериными”, стадными побуждениями, одета в неудобный и вычурный костюм беллетристического изделия. Вместо живой мысли и горячих, зажигающих чувство слов – холодная обдуманность искусственных положений и вялый, обидно вялый язык» (*Камышников Л. Литературные заметки: (Леонид Андреев: “Проклятие зверя”) // Херсонский вестник. 1908. 12 февр. (№ 1). С. 2.*

Провинциальные рецензенты зачастую помещают рассказ “Проклятие зверя” в далекие от литературы контексты. Так, в “Витебских губернских новостях” появляется статья, в которой андреевский рассказ интерпретируется как антитеррористическое высказывание. Ее автор, ссылаясь на некоего террориста, имевшего прозвище Тигрыч, и цитируя слова Вольтера, определившего человека как “обезьяну-тигра”, утверждает, что тигр в клетке – центральный образ произведения: “Хищное животное, запертое в клетке, лучше всего чувствует ту ненасытную злобу, ту жажду дикой мести, которая составляет основной фон морали сознаваемой или бессознательной, для анархистов, максималистов и других деятелей подобного сорта” (*С-ич. Язычники // Витебские губернские ведомости. 1908. 8 марта. (№ 56). С. 3.* Критик так формулирует идею

рассказа: “Своим рассказом Л. Андреев как бы хочет сказать нам – держите тигра в крепкой железной клетке или истребите эту породу, иначе рухнет все здание всемирной цивилизации, сущность которой сводится к торжеству гуманности и духовной жизни над грубою звериною правдою пещерного человека” (Там же).

Рассказ попадает и в поле “дискуссии о порнографии”, периодически возникавшей на страницах прессы уже примерно десятилетие. И если автора предшествующих рассказов – “Бездна” (1902), “В тумане” (1902), “Тьма” (1907) – иные критики причисляли к “порнографам” и ниспровергателям традиционной морали, то по поводу “Проклятия зверя” высказывались противоположные отзывы. Так, анализируя содержание другого сборника – “Жизнь”, вышедшего также в 1908 г., обозреватель “Киевских вестей” сообщает, что в половине помещенных там произведений (Куприн, Муйжель и другие авторы) изображено насилие над женщиной и что, по сути, уголовное преступление становится неотъемлемым элементом художественного произведения. Именно в этом контексте упоминается сцена с эротоманом из “Проклятия зверя”, в которой автор статьи видит “символическое отражение литературной ситуации”. «“Современная” литература наблюдает жизнь, заглядывая в щелку женской купальни», – констатирует он (*Homunculus* [Заславский Д.И.]. Штрихи // Киевские вести. 1908. 9 марта. (№ 67). С. 2), отмечая, что Леонид Андреев как раз не запятнал себя эротоманией.

Критик Барсег также проецирует сцену с эротоманом в “замечательном”, но “мало понятном” рассказе Андреева на современную литературную ситуацию: “Вообразите теперь, что такой эротоман обладает недюжинным художественным талантом, и вы поймете лейтмотив творчества гг. Арцыбашева и комп.” (*Барсег. Признаки времени: современные эротоманы* // Баку. 1908. 17 мая. (№ 72). С. 3). При этом автор статьи противопоставляет Андреева Арцыбашеву, усматривая в произведениях первого “скорбь и ужас за падшее достоинство человека” (Там же).

Еще в одном отклике на “Проклятие зверя” из провинции не находим даже намек на оценку рассказа, который становится лишь поводом для классификации современных писателей, подразделяемых на “порнографов” (они же декаденты), “микроскопических талантов” (Брюсов, Сологуб) и “истерических талантов” – к коим отнесен и “русский Шопенгауэр” Андреев (*Петров В. На привале* // Волжское слово. Самара, 1908. 30 марта. (№ 73). С. 2). Журналист сопоставляет разработку “антигородской темы” у Андреева и Брюсова не в пользу последнего.

В контексте рассуждений о “половой преступности” упоминает рассказ Андреева Л. Будкевич, анализирующий в своей статье журнальные публикации по данной проблеме за текущий год. Отмечая полную “распущенность” современных кумиров, автор называет “Проклятие зверя” “новым хламом” и «лубочной макулатурой, не достойной даже “первого тома” его рассказов, которыми он дебютировал десять лет тому назад» (*Будкевич Л. У окна жизни: (Критические письма)* // Русская Ривьера. Ялта, 1909. 20 авг. (№ 185). С. 3).

Наконец, в статье, помещенной в “Гражданине”, рассказ упоминается в связи с “псевдокорифеями” современности, в число которых зачисляется и автор рассказа, величаемый “внуком Карамазова” (*Вольный*. Карамазовщина навыворот // *Гражданин*. СПб., 1908. 20 апр. (№ 27–28). С. 5–7).

Ряд газетных откликов на рассказ объединен социологическим или социально-политическим ракурсом: Тан, определяя рассказ как вторую стадию “русского максимализма” (первая – горьковское бунтарство, третья – засилье эротики в беллетристике), пишет: Леонид Андреев “проклял нас Проклятием Зверя и крикнул с угрозой: не хочу быть хорошим, когда вы так плохи” (*Тан [Тан-Богораз В.Г.]*. Эротические максималисты // *Наша газета*. СПб., 1908. 20 марта. (№ 4). С. 3).

Критик С. Ноев в своем многословном социологическом очерке по поводу “Проклятия зверя” рассуждает, не мещанин ли герой рассказа и каково социальное значение образа возлюбленной. Выводы, которые он делает, следующие: герой не мещанин, а “размагниченный интеллигент”, а возлюбленная – мечта, которая когда-то вела вперед всех прогрессивно мыслящих людей, а сейчас стала светлым воспоминанием. “...Он, наш человек (герой рассказа. – *Сост.*), не поддается голосу протеста; привыкший рассуждать, вечно анализирующий и сравнивающий, скоро усмотрит он в однообразии города, которое его еще столь недавно умиляло, ужас жизни. Продукт разложения капиталистической цивилизации, он замечает только негативные стороны городской жизни...” (*Ноев С.* Литература и жизнь // *Бессарабская жизнь*. Кишинев, 1908. 30 марта. (№ 75). С. 3).

На вопрос героя: “Кто умер?” Ноев отвечает: “Не тот ли город, который, являясь необходимым звеном в цепи социально-закономерного исторического процесса, служит вместе с тем первопричиной бесконечных страданий и слез? {...} О, если так, то пусть же прозвучит голос зверя, голос человека. Голос всего мира: будь проклят, город!” (Там же. С. 4). “Проклинающий человек” Андреева не пытается бороться – только проклинает, констатирует критик.

Упрек в недостаточной активности героя находим и в статье В. Каменецкого, отказывающего рассказу и в художественности, и в ясно выраженной идее:

«Все тот же основной мотив “ужаса жизни” звучит и в этом произведении, но звучит уже более бледно, менее трагично. Все то же столкновение между “я” и “не я”, между миром и человеком, “не приемлющим мира”... {...}

“Проклятие зверя” – должно, по мысли автора, изображать протест личности против безличной культуры...

Но протест этот звучит какой-то мелкой, плаксивой руганью, какой-то растерянной жалобой человека, попавшего в водоворот чуждой ему жизни и тонущего в этом водовороте, не пытаюсь бороться.

Здесь нет деятельности борьбы за индивидуальность, есть лишь пугливое оберегание своей пассивной личности и один бесплодный

внутренний протест против обычного человеку уклада его жизни, против форм человеческой жизни. {...}

Чем-то нездоровым и дряблым веет от этого рассказа» (*Каменецкий В. Литературные заметки* (Сб. "Земля") // *Смоленский вестник*. 1908. 29 февр. (№ 49). С. 2).

В большой статье Луначарского "Тьма", посвященной почти исключительно Андрееву в контексте современной литературы ("их литературы", "литературы распада"), "Проклятие зверя" выступает как наглядный пример двойственности андреевского творчества (писатель назначается Луначарским на роль "благородного могильщика", рожденного "похоронить мертвое ради живого") (*Луначарский 1908*. С. 151).

Так, Луначарский пишет: «Он весь двойствен, этот рассказ, как почти все создаваемое нашим писателем. Его тезисы, одетые в художественные одежды, весьма приемлемы до известного пункта, а за ним становятся ложными, да к тому же вовсе неоригинальными, несмотря на всю напыщенность.

"Проклятие зверя" направлено против современной буржуазной, городской культуры. И Андреев нашел интересные проклятия, интересные карающие образы. Но к своему несчастью он, сильный разрушитель индивидуализма, сам индивидуалист, и норовит он обвинить культуру, главным образом, за ее общественность, коллективность. И получается путаница предосадная» (Там же. С. 158).

На протяжении своего анализа Луначарский интерпретирует четыре ключевых эпизода рассказа с позиций социологизированных и политизированных. Так, "расшифровывая" символику сцены с орлами, критик наставляет автора: "Жизнь бессмысленна не потому, что она коллективна, а потому, что она дурно организована" (Там же. С. 159).

«Самое изображение города вертится у Андреева на изображении стадности горожанина, схожести индивидуумов, господства глупой психологии толпы. Изображение это местами довольно остроумно, местами фельетонно. В общем, много мертвеннее, чем, например, у Поэ в его "Человеке толпы" и его картинах грядущего перенаселения земли. Отмечена и каменная громада, кошмар скученных зданий, ставших между человеком и природой. Но много слабее, чем у Верхарна. Маленькое стихотворение Брюсова в сборнике "Шиповника" и особенно 3 рисунка Добужинского дают в этом отношении больше, чем страницы Андреева» (Там же. С. 161).

Хотя критик и хвалит центральную сцену с тюленем, в которой заключается, по его мнению, вся сила рассказа, он и ее смысл усматривает в ином: "Андрееву нужно прот и в о п о с т а в и т ь своего детеныша городу, чтобы звать не вперед, а назад. Мол, в детской непосредственности, в отвержении культуры, которая тебя изгадила, найдешь ты великое единение с природой. У Андреева это иллюстрация к идеям Руссо {...} Обычная греза культуроотрицателей, в сущности, не верящих в человека, – дитя, дикарь, мужик – Андреев не верит в человека, как не верили в него Руссо, как и Толстой не верил в него. И Руссо и Толстой были

великими пессимистами. Что мрачнее идеи Толстого о воплощении своей задачи человечеством путем морального самооскопления и самоубийства?» (Там же. С. 160–161).

«Зверь проклинал город и людей. А также землю и небо. Андреев смешивает все вместе. Зверю это, конечно, более чем позволительно. Но Андрееву? Есть ли за что проклинать землю и небо? Стоит ли учиться у зверя этому проклятию? Звери – позитивисты и вряд ли направляют крик своей мучительной боли небу, “духовному”, небу, населенному вымыслами чисто человеческими. Но не трепещет ли страшный безнадежный протест против природы из груди страждущего организма в вопль агонии? В природе, как в таковой, взятой вне жизни органической, нет ни злого умысла, ни зла. Зло появляется на свете вместе с чувствующим организмом» (Там же. С. 162). Ссылаясь на американского социолога Лестера Уорда (“Чистая социология”), Луначарский определяет боль как “необходимое предупреждение организма об опасности, (...) средство самосохранения жизни” и далее философствует: “Где есть боль – там есть дисгармония, и именно между нормальными потребностями организма и средою. (...) Но ни одно животное, ни один животный вид не может сохранить в сердце своем все сокровище и весь ужас всей суммы воплей и стонов жизни и творить дело победы над злом, дело гармонизации жизни сознательно, из поколения в поколение – ни одно существо не может этого, кроме человека, и притом человека социального. Зверь бросал, по Андрееву, тоже проклятие людям и городу. (...) Опыт зверя ограничен, и он мог проклинать город и людей, не разбираючи лица” (Там же. С. 162–163).

Привлекая далее цитату из Послания апостола Павла к римлянам, Луначарский вопрошает: “Не изменили ли люди своему предназначению, особенно люди городские? Андреев думает, что изменили, пошли по ложному пути. Андреева возмутила нивелировка человеческая в городе, потеря личности, а стало быть, и мысли, идеала, воли, которые заменяются де каким-то глупым стадным чувством” (Там же. С. 163).

Эпизод с “двойничеством” (герой узнает себя в другом господине) истолковывается в том же духе: «Подумайте. До чего это, в сущности, поверхностно и фельетонно. И это-то только и увидел в городе, в современном городе его “убийственный критик”? А океана мысли, чувства, борьбы, надежд, с его течениями и бурями, он не увидел? Он даже не заметил хоть того, что есть в каждом большом городе – два города – буржуазный и пролетарский» (Там же. С. 164).

Завершает свой анализ критик эмоциональным призывом: “А где же т в о р ч е с к а я борьба? Планомерная, строящая? Так как она борьба видовая, коллективная, то ее н у ж н о не видеть или замолчать. То, в чем гордость человека, – не существует для Андреева, и он посылает его учиться у зверя жалкому и бесплодному проклятию!” (Там же. С. 165).

Большое количество откликов на рассказ появляется в журналах за 1908 г. Недоброжелательно отреагировала на рассказ З. Гиппиус, которая после уничижительного отзыва о рассказе “Тьма” замечает: «Правда, в

сборнике “Земля” Андреев ухитрился написать еще хуже. “Проклятие Зверя”, кажется, не встречено особыми восторгами. А, может быть, еще начнут и этим “Проклятием” восторгаться (я всего ожидаю), хотя тут уж ничего, кроме голой натуги нет; в придачу она стала пахнуть последними трудами Горького, горьковским потом, когда он проклинал Европу» (*Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]*. Репа: Литературно-художественные альманахи к-ва “Шиповник”, книга третья. Спб.; – “Земля”. Сборник 1-й, Московское к-во. – “Факелы”, книга третья. Спб.; – “Новое слово”. Товарищеские Сборники, книга вторая. Москва // Весы. 1908. № 2. С. 73).

Негативна и оценка “Проклятия зверя” Д. Философовым, стоящим на тех же позициях, что и Гиппиус: «Это – целая поэма в прозе. Одна из тех поэм, которыми переполнены редакционные ящики с рукописями и которые, полежав в них месяц, редакциями уничтожаются. Если бы “Проклятие зверя” было подписано каким-нибудь Иваном, а не Леонидом Андреевым, я убежден, что его никогда бы не напечатали (...)

Пятьдесят страниц страданий от жары, асфальта, безличной толпы, безумия города. Читателю припоминаются “лучшие страницы” из горьковских описаний Америки. Люди, несчастные жалкие люди, примирились с этим кошмаром. Они не замечают всего ужаса окружающего их города. Они молчат. Но заговорил Зверь, и проклял в “бешеном гневе”, “огненными проклятиями”, проклял “проклятием Зверя и город этот, и людей, и землю, и небо»» (*Философов Д.В.* Без стиля // Московский еженедельник. 1908. 18 февр. (№ 12). С. 41).

Философов крайне тенденциозен в своем отзыве о рассказе, стиль которого он даже не дает себе труда анализировать, как бы предоставляя дискредитировать себя самому автору и с этой целью обильно цитируя пассажи из андреевского текста. Его оценка “Проклятия зверя” еще и полемична по отношению к брюсовскому восприятию Андреева как писателя безусловно узнаваемого, имеющего свой стиль (*Аврелий [Брюсов В.Я.]*. “Жизнь Человека” в Художественном театре // Весы. 1908. № 1. С. 143). В соответствии с заглавием своей статьи критик завершает разговор о рассказе вопросом: «Может быть, г-ну Брюсову нравится этот “стиль”?.. Может быть, “бешеный гнев” и “огненные проклятия” кажутся ему литературными? Очень сомневаюсь» (Там же. С. 42).

В критическом очерке о современной “молодой литературе” Т. Ганжулевич пишет, что в рассказе Андреева выразилась трагедия его как писателя – “контраст между утонченностью психики и грубостью воплощающей ее формы” (*Ганжулевич Т.* Наша молодая литература: Критический этюд // Вестник литературы. 1908. № 3. (Март). Стб. 54). И далее: «“Проклятие зверя” все пропитано ненавистью, презрением к улице, к толпе, и в каждой фразе его героя, воспитавшего в себе эту вражду и эту ненависть (...)

слышится улица, толпа, та грубость, которая, скрываясь под тонкой пеленой, резче еще выступает, прорываясь сквозь нее» (Там же. Стб. 55). Ответ на вопрос: «Зачем понадобилась Л. Андрееву эта “новая тропа”, зачем психологической утонченности

его таланта понадобилось драпироваться в складки грубо вырубленных фраз и резких выражений» критик усматривает в “тесной дружественной связи” писателя с “нашей молодой литературой, во главе которой еще недавно стоял М. Горький” (Там же. Стб. 56).

Высоко оценил рассказ М. Гершензон: «“Проклятие зверя” – единственная живая вещь, помещенная в сборнике» (М.Г. [Гершензон М.О.] IV. Земля. Сб. первый. Моск. кн-во. Москва. 1908 г. 288 с. // ВЕ. 1908. № 3. (Март). С. 405).

«Это – проклятие городу, это – крик души, болезненный, потому что больна душа, искалеченная городом; она проклинает, потому что она еще жива, еще не вся покорена городом, и проклинает тем более страстно, что уже не может освободиться от его дьявольских чар (...) с первых же строк г. Андреев дает понять, что здесь – больше, чем противоположность камня и моря, неволи и свободы: здесь две плоскости бытия (...) “... Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то, что я понимаю, что сладко и не пугает меня”. В этом – корень вопроса, и если бы г. Андреев показал нам город с этой стороны, как убежище от мировой тайны, куда в нестерпимом страхе забилось бедное человечество, готовое все терпеть, лишь бы не видеть грозного неба и ужасной непостижимости бытия, он создал бы замечательные страницы. Но он только мимоходом бросил мысль, и в дальнейшем проклял город только как неволю и уродство, но не как трусость, и потому *только* проклял, тогда как он должен был бы и благословить его, ибо как может он, так глубоко страдающий, не благословить “шоколада и какао”, дающих самозабвение страдальцу? Город или религия, третьего нет; либо стараться не видеть неба, либо смотреть на него пристально и пытливо (...)

Но в тех пределах, как неволю и уродство, г. Андреев изобразил город так, как до него никто. *Так* рассказать обыкновенный день, проведенный в обыкновенном большом городе, дело исключительного таланта; а тот образ, в котором г. Андреев сконцентрировал весь ужас города (умирающий в зоологическом саду старый тюлень), при всей своей простоте поистине грандиозен» (Там же. С. 405–406).

Совершенно иначе воспринял рассказ другой маститый критик, Ю. Айхенвальд. Предлагая поставить эпиграфом к рассказу шекспировское “Много шума из ничего”, он развивает свою мысль: «И этот намек на Шекспира своим отраженным светом прибавил бы “Проклятию” несколько талантливости (...) Г. Андреев много шумит, пускается в риторику и мнимое глубокомыслие, даже в философию носового платка – все по поводу того, что в большом городе один человек будто бы до ужаса походит на другого. Но все усилия автора не приводят к убедительности. Он не сумел доказать нам, что город его удручает. Выносишь такое впечатление, словно г. Андреев обобщил какое-нибудь мимолетное свое настроение и уверил себя, что о городе надо писать именно так, как он пишет, что он предварительно составил себе философию города и из нее уже дедуцировал, а вовсе не пережил реально свои ощущения (...) Как

и всегда у нашего автора, не возникла обязательность, и отдельные яркие крупницы дарования потонули в море словесности и сочиненности» (*Дйхенвальд Ю.* Земля. Сб. первый. М., 1908. 289 с. Ц. 1 р. 25 к. // *РМ.* 1908. № 3. Отд. 3. С. 45).

Рассказ вызывает к жизни небывало большое количество пародий, фельетонов, шаржей, иронических “перелицовок”.

Примечательно, что первый фельетон с элементами пародии появляется еще до опубликования рассказа: автор его изображает встречу с провинциальным депутатом, который жалуется на усталость от заседаний в Думе, от Петербурга и выражает желание вернуться в свое “захолустье”. И далее, вспомнив героя «новой, еще не напечатанной повести Леонида Андреева “Проклятие зверя”», автор, ритмически и интонационно имитируя стиль рассказа, проецирует образ возлюбленной в розовом платье на мечту избирателей, которую не сумели воплотить в жизнь депутаты Третьей думы. Каждый привез когда-то с собой мечту своей малой родины “в розовом платье надежды”, но теперь это платье запачкалось, потускнело. Развернутая картинка смущения, растерянности, раскаяния депутата завершается надеждой на то, что он «найдет свое “я” и, “вернувшись с каникул в Думу, будет отстаивать свою принцессу Грезу – свою милую в розовом платье”» (*Шебуев Н.* О милой в розовом платье // *Слово.* 1907. 16 дек. (№ 332). С. 1–2).

Сразу после опубликования рассказа появляются пародии. Как отмечено В.В. Полонским, одной из первых пародий на рассказ можно считать стихотворение Саши Черного (“Все в штанах, скроенных одинаково...”), опубликованное в первом номере “Сатирикона” за 1908 г., с эпиграфом из “Проклятия зверя”: “Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих”. В стихотворении иронически воспевается спасительный побег героя из обезличивающего города на лоно природы – к другому отшельнику-неоруссоисту – лейтенанту Глану из романа К. Гамсуна “Пан” (1894).

Поэт-сатириконец соотносит русского прозаика с Гамсуном и иронически обыгрывает в финале центральный для “Проклятия зверя” мотив двойственности героя, раздираемого зовами стихий и города, с одной стороны осложняя им прямолинейную гамсуновскую апологию природы, а с другой – выворачивая наизнанку андреевский сюжет о побеге в город (*Полонский В.В.* Кнут Гамсун и Леонид Андреев в контексте восприятия норвежского писателя в России “серебряного века” // *Полонский В.В.* Между традицией и модернизмом: Русская литература рубежа XIX–XX веков: История, поэтика, контекст. М., 2011. С. 314–316).

Пародия, подписанная Piegte Piegrot, представляет собой лирический монолог, в котором в той же последовательности, что и в рассказе, предлагаются иронически вывернутые мотивы и образы андреевского сочинения: страх перед городом, одинаковость людей в нем, ужас перед одновременно жующими, ощущение своих собственных каблук и скелета под одеждой, ассоциативная связь между людьми и обитате-

лями Зоологического сада, наконец, сцена с моржами. Каждый образ комически переосмысливается, например небу, морю и лесу противопоставляется любовь к какао и шоколаду, одинаковые шляпки у женщин внушают герою мысль заменить свою возлюбленную на другую, возлюбленными называются каблуки и т. п. В пародии фигурируют имена писателей-модернистов, современников Андреева: Блока, Сологуба, Городецкого, Кузмина (*Pierre Pierrot*. Из альбома пародий: “Проклятие зверя” Леонида Андреева // Последние новости. СПб., 1908. 13 февр. (№ 26). С. 3).

Пародия Фрицхена, жанрово определенная как “отрывки из рассказа Л. Андреева”, действительно представляет собой подборку развернутых цитат из произведения, лишь завершенных комическим пуантом: или доведением ситуации до абсурда, или снижением, или буквализацией андреевской экспрессии (*Фрицхен [Благов Ф. Ф.]*. Проклятие зверя: Отрывки из рассказа Л. Андреева // Руль. М., 1908. 25 марта. (№ 64)). Пародист предлагает своеобразный коллаж, где находим рассуждение о носовом платке – “эмблеме братства”; обуревающую героя страсть покупать бесполезные вещи; внушающих ужас своей “тождественностью” мужчин; пресловутые каблуки и “окаменение” героя; его отдых перед чужой закрытой дверью; ужас от созерцания жующих и сравнение их с обитателями Зоологического сада; орлов в клетке; желание скандала; встречу со стариком и собакой. Пародийный эффект возникает вследствие неувимости стилистического “стыка” между текстами Андреева и концовками Фрицхена.

Микропародию в шуточном “Календаре читателя” предлагает некто за подписью Вилли – в форме объявления о судебном процессе “по обвинению в диффамации”: «Два молодых моржа из Зоологического сада обвиняют Леонида Андреева в опубликовании обстоятельств из их личной жизни с заведомой целью выставить их в виде ругателей (...) Инкриминируется последнее произведение Леонида Андреева “Проклятие зверя”» (*Вилли*. Календарь читателя // *БВед*. 1908. 28 февр. (№ 10377). Веч. вып. С. 5. Отд.: Маленький фельетон).

Еще одна короткая пародия на рассказ помещена в ряду других иронических вариаций на тему “Любовь у современных писателей” (“соседи по пародии” Андреева – Арцыбашев, Куприн, Каменский, Сологуб, Кузмин и Гамсун):

«...Когда целуются, все одинаково раскрывают рты, прижимаются губами, и при этом лица становятся такими красными, а у некоторых так странно движутся уши, и в отчетливой напряженной работе челюстей ясно видится безглазый, костлявый череп с белыми крепкими зубами. Боже мой, но ведь и я так целуюсь, и у меня так же движутся челюсти...

О проклятый душный каменный город, где все так одинаково...
О возлюбленная моя!..

Я бегу от этих душных каменных громад, где повсюду в витринах виднеется мой “Царь-Голод”, за который мне уплочено “Шиповником” 15 тысяч, к полному неудовольствию других писателей...

Я бегу к пустынному морю, в лес, где нет ни книжных витрин, ни гонораров в 15 тысяч, но, Боже мой, и там целуются точно так же, как в душном городе, и челюсти при этом так же противно раздвигаются...

Возлюбленная моя...» (*Гарольд*. Верб: Литературно-художественный альманах: Любовь у современных писателей: Леонид Андреев // Киевская мысль. 1908. 6 апр. (№ 97). С. 3).

В “вольном подражании” рассказу “Плач крокодила” Ив. Щеглов, ритмически и интонационно подражая Андрееву, пародийно обыгрывает антитезу “город–лес” как “Петербург–Куоккала”, что недвусмысленно намекает на повествование от лица самого автора:

“Я терпеть не могу Петербурга.

Я люблю Куоккалу. Я люблю Куоккалу...

Я люблю лежать растянувшись на берегу моря, смотреть на холодные звезды и любоваться бледной луной.

Но нельзя долго смотреть на холодные звезды и любоваться бледной луной, когда в кармане нет аванса, нет аванса... И я простился с берегом моря, луной и звездами и направился к железнодорожной станции, чтобы умчаться туда, где нет далеких горизонтов, но есть большие авансы” (*Щеглов Ив*. Плач крокодила: (Вольное подражание рассказу Л. Андреева “Проклятие зверя”) // Слово. 1908. 24 февр. (№ 389). С. 2).

Просвечивающим сквозь абстрактный андреевский “город” берлинским реалиям Щеглов дает петербургские аналогии: Пассаж на Невском, Зоологический сад на Петербургской стороне, Театральная площадь близ Марининского театра и др. Петербургским “двойником” ресторана Weinhaus Rheingold на Bellevuestrasse в пародии выступает знаменитая “Квиссисана” – ресторан на Невском, 46, оснащенный механическим автоматом-буфетом. Вообще, опус Щеглова наводнен легкоузнаваемыми для современников приметам петербургской культурной жизни: гастрологи Айседоры Дункан, танец “поло-поло” в “Фарсе” и т.п. Пародист не забывает и тему “эротомании”: в роли груневальдского эротомана выступает ласковый старик в цилиндре, интересующийся смазливый мальчиком-газетчиком, а на зов “возлюбленная моя” является девица, приглашающая в номера. Сквозной образ “плача крокодила” в пародии – и пародийный двойник крика тюленя в рассказе, и одновременно связанная с авторской позицией апелляция к идиоме “слезы крокодила”, т.е. нечто фальшивое, искусственное.

Сходной пародийной стратегии придерживается д’Ор, перенося действие в Петербург (*д’Ор О.Л.* [*Оршер И.Л.*] Проклятие зверя: (По Леониду Андрееву) // Речь. 1908. 19 февр. (№ 42). С. 2) и намекая на большие авансы автора, безумную голову которого в финале поливают холодной водой. Его опус ритмически и стилистически близок андреевскому рассказу: наполнен риторическими восклицаниями и вопросами, многоточиями, нарочитым членением фразы, наконец, лейтмотивным

обращением к возлюбленной. Все андреевские попытки остранить восприятие героя-повествователя буквализируются:

“Впрочем, вот проехал извозчик. Почему люди на дрожках, а лошадь в оглоблях? (...)

Вы видели, как люди сморкаются?

Для этого нужно иметь две вещи – носовой платок и нос” (Там же).

Наконец, огромной популярностью пользовалась пародия А. Измайлова (*Измайлов А. Проклятие зверя: Шарж // БВед.* 1908. 17 февр. (№ 10358). Утр. вып. С. 2–3), и популярности этой во многом способствовал выход в 1908 г. его же сборника пародий “Кривое зеркало”, затем не раз переиздававшегося. В измайловской пародии действие тоже перенесено в Петербург – при общей синхронности с нарративом андреевского рассказа и большом количестве “знаков чужого текста”. В противовес “просто человеку” (“безликость” героя рассказа была негативно отмечена Измайловым-критиком) в пародии фигурирует пара социально конкретных, “лабазного сословия”, героев – Петр Еремеевич и Вася Ергунов, перемещающиеся по городу в той же последовательности, что и герой андреевского рассказа: из трактира “в Зоологию”. Сохраняя сюжетные положения текста-источника, но в петербургском обличье, Измайлов переводит внутренний диалог андреевского героя-повествователя во внешний – между двумя лабазниками – и придает ему сказовую стилистическую окраску:

«– Я, Вася, говорит, дорóгой свое “я” потерял. Не то на Каменно-островском, не то на Большом. Я, говорит, теперича червь, а не человек. Пыль. Песчинка. Был Петра Еремееч Именитов, да весь вышел. Я, говорит, совсем как ты, только у тебя штаны покороче да борода мочалкой» (Там же. С. 2).

Пародию Измайлова отличает не только сказовое начало, но и полемическая по отношению к рассказу бытовая конкретность в воссоздании петербургских реалий.

Соотношение литературно-критических статей А. Измайлова о “Проклятии зверя” и его же пародии на рассказ неоднократно рассматривалось и в позднейших исследованиях (см.: *Тяпков С.Н.* Леонид Андреев в зеркале критика и пародиста А. Измайлова: (К проблеме соотношения литературной критики и литературной пародии) // *Творчество писателя и литературный процесс.* Иваново, 1978. С. 77–96; *Хворостьянова Е.В.* “Забытый смех”: Предисловие // *Измайлов А.А.* Кривое зеркало: Книга пародии и шаржа / Подг. текста, вступ. ст., коммент. Е.В. Хворостьяновой. СПб., 2002. С. 5–26; *Она же.* Пародия – литературная критика: К проблеме разграничения // *Культурно-исторический диалог: Традиция и текст: Межвуз. сб.* / Под ред. А.Б. Муратова, С.Б. Адоньевой. СПб., 1993. С. 99–113).

Возможно, именно вследствие многожанровости рецепции рассказа позиция Измайлова, критика-пародиста, показалась неясной Г. Эккерт, автору критических заметок в “Лодзинском листке” за 1909 г., так и не понявшему, приемлет или не приемлет критик-пародист “Проклятие

зверя”. Приводя выдержки андреевского рассказа из пародии Измайлова, обозреватель недоумевает: «Неясность мысли у Л. Андреева доходит до того, что иные критики, хвалящие его писания, произносят ему хулу, равную брани, и наоборот. И это – в одной и той же статье. У разных таких “критиков” не хватает гражданского мужества, что ли, высказаться строго, справедливо и ясно, или им недоступна правильная оценка литературных произведений?» В целом же рассказ оценивается им как один из символов упадка современной литературы (*Эккерт Г. Жизнь и мысли: Из писем о жизни столичной // Лодзинский листок. 1909. 20 июня. (№ 128). С. 2).*

Наконец, упомянем публикацию Т. Ардова “Рабы” – фельетон-перепев антиурбанистического содержания, явно навеянный “Проклятием зверя”:

“... И я чувствую, как туман обволакивает меня, город поглощает меня, и я бегу, бегу домой, вот дойду до угла, поверну направо, потому что я раб этого направления, дома приду в соприкосновение с разными вещами, без которых я не могу обходиться, которых раб (...)

И странно мне становится от моего растворения в этом городе, который уничтожил меня, поглотил.

И свободы нет и не будет...” (Свободная молва. СПб., 1908. 21 янв. (№ 1). С. 3).

Факт “пародийной провокативности” рассказа не мог остаться незамеченным самими участниками критического дискурса. Возникают попытки осмысления причин пародийной “заряженности” андреевского произведения. Некоторые из объяснений необычны и даже парадоксальны. Так, И. Игнатов видит в “Проклятии зверя” некую самопародию: «Я уверен, что если бы какой-нибудь фельетонист, с талантом, равным таланту г. Андреева, захотел написать пародию на произведения автора Василия Фивейского, он написал бы “Проклятие зверя”, и здесь было бы все, что необходимо для талантливой пародии: полное несоответствие содержания с формой, серьезное отношение к мелкому и несерьезному, ужас перед тем, что заслуживает осмеяния» (*И-тов И. [Игнатов И.Н.] Литературные отголоски: (“Проклятие зверя” Л. Андреева (сборник “Земля”) // ПВед. 1908. 5 февр. (№ 29). С. 3).*

Именно на вышеприведенное мнение ссылается И. Джонсон, констатируя обилие пародий на рассказ. Между прочим он сообщает, что в “Свободных мыслях” помещен фельетон, «который тоже можно счесть за пародию на “Проклятие зверя”, ибо в шутовском тоне он трактовал о том же самом, о чем в трагическом повествует рассматриваемый рассказ. Кроме того, он словно удовлетворяет и первому требованию г. Игнатова, ибо подписан именем, совершенно равным по таланту г. Андрееву: он подписан именем... самого Л. Андреева» (*Джонсон И. [Иванов И.В.] “Проклятие зверя” // Киевские вести. 1908. 25 февр. (№ 54). С. 2).*

«Не знаю точно, когда написан фельетон, – продолжает критик, – но кажется, что не теперь. Кажется, “Свободные мысли” занялись раскопками и перепечатывают те старые фельетоны г. Андреева, которые он

некогда, в начале своей литературной карьеры, помещал в московской газете “Курьер” под псевдонимом Джеймса Линча.

Может быть, из их числа и тот фельетон, о котором я говорю. Но если он и старого происхождения, то это не только не изменяет дела, а наоборот, показывает, что мысль, развиваемая в “Проклятии зверя”, принадлежит к основным идеям мирозерцания Андреева и издавна занимает его» (Там же).

Вероятно, Джонсон имеет в виду републикацию под заглавием “Мелочи жизни” (Свободные мысли. СПб., 1908. 4 февр. (№ 39). С. 2) фельетона Андреева “курьерского периода” о тирании мелочей, который действительно и стилистически, и тематически близок рассказу “Проклятие зверя”, – там, в частности, найдем комическое описание мучений человека от высоких каблучков и воротничков и о власти над современным горожанином условностей (ненормальности в глазах окружающих господина, вышедшего без шляпы, и молодого человека, не умеющего есть дичь вилкой с ножом) (*Джеймс Линч. Мелочи жизни // Курьер. 1902. 5 мая. (№ 123). С. 2*)². Приведем один из пассажей фельетона, тематически близких рассказу: “Кто-то из умных людей сказал, что индивидуальность есть тягчайшее преступление – и он сказал очень скверную правду. Особенно тяжким преступлением стала она в наше благополучное время готовых платьев, механической обуви, пятиэтажных домов и механических идей. Пройдитесь как-нибудь по такому пятиэтажному дому. В нем сотня квартир, и все по одному образцу. В квартирах все: мебель, картины, ковры, – все изготовлено фабрикой, и все по одному образцу. По одному образцу изготавливают себя и люди, живущие в этих квартирах” (Мелочи жизни // Свободные мысли. СПб., 1908. 4 февр. (№ 39). С. 2).

Анализируя причины “неудачи” Андреева, Игнатов отмечает: “Во всем – в построении рассказа, в тоне его, в самом названии – я различаю намерение написать трагедию городского существования, но вместе с тем я вижу, что автор не токмо цели своей не достиг, но постепенно от оной удалился. Получилась не трагедия, не страх, а юмористическое описание. Не ужасные, а смешные стороны городского существования изображает автор”. Критик упрекает Андреева в нежелании отдаться юмористической стихии, к которой он имеет склонность, и в упорстве подражать самому себе, изображая походжения русского туриста в Берлине как “мировой ужас” (*И-тов И. [Игнатов И.Н.]. Указ. соч. С. 3*).

Рассказ Андреева стал одним из литературных прообразов поэмы В. Хлебникова “Зверинец” (1909) и лирической повести В. Каменского “Землянка” (1910), на что впервые обратил внимание Ю.Б. Орлицкий, отметивший переключки между этими произведениями на тематическом уровне (антиурбанистический пафос), на уровне ключевых образов и на уровне строфики (*Орлицкий Ю.Б. Строфические особенности прозы*

² Позднее, под заглавием “Тирания мелочей и преступность индивидуальности”, был перепечатан в *Пр* (Т. 1. С. 33–41) и *ЛССМ* (Т. 6. С. 168–171).

Андреева // Творчество Леонида Андреева: Современный взгляд. Орел, 2006. С. 90–97; см. также: *Боева Г.Н.* Об одном художественном влиянии на художественную практику футуристов: (“Проклятие зверя” Л. Андреева и “Землянка” В. Каменского) // Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья: Сб. статей и материалов: (Памяти Л.А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения). СПб., 2010. С. 252–261).

В 1908 г. выходит отдельной брошюрой книга Б.К. Лебедева, полностью посвященная рассказу Андреева (*Лебедев Б.К.* “Проклятие зверя”. СПб., 1908. 17 с.). Изначальные эстетические установки Лебедева сводятся к следующему: “Сгущение красок и усиление резкости контуров являются существеннейшими приемами выражения мысли художника (...) идейная живопись, отступающая от точной передачи явлений, может быть оправдываема в виду достигаемых ею образовательных целей” (Там же. С. 3). Основываясь на них и настаивая на том, что символы должны интерпретироваться одним-единственным способом, автор упрекает Андреева в декадентстве, которое выражается в извращении “картины явлений”. По мнению Лебедева, Андреев “впитал в себя (...) изрядную долю декадентщины”, а “декадентские приемы” не нужны писателю, которому не свойственна “идейная нищета”. «Что приемы, которыми пользуется Л. Андреев, могут мешать пониманию его мысли, это подтверждается хотя бы тем, что в “Проклятии зверя” громадное число читателей не может уловить *никакой* общей мысли», – сетует автор книги (Там же. С. 5). Помимо “недостатков изложения” (“недостаточно общепонятная форма”), Лебедев констатирует недостаточную “обработку” произведения. Кроме того, автор книги полагает, что «для выражения мысли, проведенной в “Проклятии зверя”, Л. Андреев мог бы не брать действующим лицом субъекта изнервничавшегося и раздражающегося истеричными рыданиями, а также мог бы во многих местах не звать к своей “возлюбленной”» (Там же. С. 6), что, с точки зрения критика, “связано с личной жизнью самого Л. Андреева”, а потому неприлично.

Вместе с тем признается “основная мысль” произведения: «Основная мысль, которую мы видим в “Проклятии зверя” и которая, по нашему мнению, проведена и в “Царе Голоде”, заключается в *отрицании современной культуры*. Л. Андреев, как гениальный хирург, вскрывает язвы современной культуры и с пронизательностью гения предвидит грядущий ее провал» (Там же). “Человеческое общество превращено в машину”, – констатирует Лебедев, именно в этом усматривая “ужас” современной культуры: “Город, убивающий богатство человеческой души и уничтожающий красоту человеческой жизни; эту машину, все выравнивающую, все опошляющую, все подавляющую (...) прокликает то любящее свою мать-природу животное, которое уничтожить в себе совершенно человек никогда не будет в состоянии”. Вместе с тем придерживаясь социального оптимизма насчет будущего и восхищаясь научными достижениями современности, автор книги выражает уверен-

ность в том, что человечество идет по пути все большего постижения мира (Там же. С. 14).

Иную позицию по отношению к рассказу занимает другой интерпретатор: «Характерной чертой Андреева является проклятие. (...) «Проклятие зверя» есть проклятие неосмысленное!

Вы видите человека, стоящего на городской площади и проклинаящего город, но для чего он это делает, во имя чего он это делает, – вы не знаете, да он и сам этого не знает!

Вы только пожимаете плечами. И именно с таким пожиманием плечами наша читающая публика и встретила «Проклятие зверя»» (*Данилин А.* Леонид Андреев и общественная реакция. М., 1909. С. 7–8).

Социологический подход к анализу рассказа демонстрирует и Н. Смоленский, издавший свою публичную лекцию о творчестве Андреева отдельной брошюрой (*Смоленский Н.* Защитникам Леонида Андреева! (Публичная лекция). М., 1910. 82 с.). Сторонник цивилизации и прогресса, Смоленский пишет, что Андреев “по недоразумению” проклял в своем рассказе город – “большой капиталистический центр, который сам есть плод человеческой изобретательности и торжества личности” (Там же. С. 29). Творчество Андреева для автора критического этюда есть наглядное выражение страха писателя, сына мелкого орловского чиновника, перед большим городом, – именно страх мещанина перед новой средой усматривает критик в “Проклятии зверя”. Смоленский упрекает писателя в том, что тот подходит к “большому капиталистическому городу как к terra incognita (...) увидев только уже в носовом платке символ единения и братства и совершенно забыв, что у него на родине добрая половина миллионов братьев сморкается первобытным способом” (Там же. С. 47). Сцену с собакой, запряженной в тележку, критик тоже рассматривает в свете своих взглядов: только социализм уничтожит эксплуатацию. «Нужно же понять и то, что “зверь”, даже и “умный, неиспорченный, честный (!)”, – все-таки зверь – идеал прошедшего, а не будущего; что бегство из города на лоно природы в объятия возлюбленной – не спасение от страхов жизни; а идеализирование первобытной невинности – не гармония жизни» (Там же. С. 49).

Подводя литературные итоги 1908 г., А. Горнфельд негативно отзываясь о рассказе: “неудачные философские замыслы” в нем, пишет критик, облечены “в форму бессильной истерической лирики” (*Горнфельд А.* Русская литература в 1908 г. // Наша газета. 1909. 1 янв. (№ 1). С. 5).

В последующее время рассказ “Проклятие зверя” стал объектом внимания в целом ряде книг, в которых творчество Андреева освещается с социал-демократических позиций. Так, в своем позднейшем обзоре творчества писателя К.И. Арабажин рассматривает рассказ как сопряжение двух излюбленных тем Андреева – города и одиночества, отмечая, впрочем, неясность общего смысла произведения: “Но в чем опасность этой жизни, в чем ужас? Почему нужно кричать о смерти? Это не выяснено автором” (*Арабажин 1910.* С. 208).

“В городах тесно жить и царит холод, голод, рабство. Но и на лоне природы царят они, и, конечно, еще в большей степени. Как чуткий человек, автор страдает чужим страданием, скорбит чужой скорбью; но, не обладая ни социальным воображением, ни творчеством, он способен только страдать, плакать и кричать об опасности этой жизни. Отрицая современную жизнь города, автор отрицает ее вообще, якобы за уничтожение индивидуальности.

В городе будто бы теряется индивидуальность, но кто же виноват, что душа автора, по собственному признанию, так мягка, восприимчива и пластична. И если на лоне природы никто не влияет на его душу, то кто поручится, что эта душа создаст и в своей индивидуалистической обособленности сколько-нибудь заметные ценности? И на лоне природы она принесет запас идей, захваченных ею у цивилизации. Там, на лоне природы, она, больная, усталая, неврастеничная, отдохнет от тревог, шума и сердце раздирающих впечатлений. Но это, собственно говоря, не на лоне природы, а на даче, на которую устремляется горожанин на известный срок для отдыха и перемены впечатлений. А жить действительно на лоне природы – не отдых, а еще более тяжелый подвиг, полный испытаний, тревог и горя...” (Там же. С. 208–209).

Далее критик отмечает противоречие в авторской мысли: “Автор жалуется, что город стирает индивидуальность, между тем только в городе и зародилась и могла вырасти и развиваться идея индивидуализма. (...)

Под внешним однообразием именно город растит и лелеет сильную индивидуальность.

Но нет места в городе, и не только в нем, а вообще в человеческом обществе, больным, растерянным, уставшим людям, плывущим без руля и ветрил в потоке жизни, не знающим, что делать, куда идти, чем жить” (Там же. С. 209–210).

Вместе с тем Арабажин обращает внимание на одну страницу в рассказе, которая могла бы ответить автору на все его вопросы и проклятия, – сцену с возлюбленной в парке. “Всесильная любовь, расширенная и распространенная на всех, освобождающая от гнета одиночества и эгоизма, одна может побороть ужасы жизни, преодолеть ее опасность и, опираясь на разум и объективную необходимость лучшего строительства жизни, победит зло, насилие, рабство, – победит навсегда; а громкие проклятия и нервные всхлипывания ничего не изменят; они из области болезни и слабости – духовной и физической” (Там же. С. 210–211).

Другой социолог, М.А. Рейснер, сопрягает в своем анализе “Проклятие зверя” с “философией железной решетки” героя “Моих записок”, а попутно вовлекает в контекст еще целый ряд андреевских произведений (“Ложь”, “Рассказ о Сергее Петровиче” и др.). По Рейснеру, город в изображении Андреева – “грандиозная культурная тюрьма”, воплощение “современного порядка жизни” – “бытового уклада и государственного порядка” (Рейснер 1909. С. 75). По его мнению, мотив “города-тюрьмы” проявляется в “Проклятии зверя” “с новой, почти антихудожественной

силой” (Там же). Последовательно проводя параллель между творчеством “индивидуалиста” и “русского нищепанца” Андреева и самим Ницше, Рейснер пишет, что для последнего государство “просто зверинец или клетка для зверей”, а “дух обращается в верблюда, во льва верблюд, и, наконец, в дитя превращается лев”, – и, возможно, неслучайно оговаривается, называя тюленя из андреевского рассказа “морским львом”.

Подробно останавливается на рассказе “Проклятие зверя” Л. Львов-Рогачевский в своей книге о Леониде Андрееве, расценивая произведение как глубоко личное, интимное, связанное с потерей “оруженосца” – жены – и отразившее боль этой потери: «Иногда кажется, что “Проклятие зверя” – отрывок из дневника и что близкий образ стоит неминуче перед глазами художника» (*Львов-Рогачевский 1914. С. 78*).

Однако, принимая экзальтированность повествования, связанного с образом возлюбленной, критик не приемлет того же тона в изображении города: «“Проклятие зверя” утомляет, как однообразно повторяемая без конца высокая нота, взятая фальцетом» (Там же. С. 80). Та же тема, считает критик, с большим успехом раскрыта самим Андреевым в рассказе “Город” (1902), не говоря уж о блестящем воплощении ее Ш. Бодлером в стихотворении “Лебедь”, посвященном Виктору Гюго. Париж у Гюго – живой город, «“город” Леонида Андреева – мертвый город» (Там же. С. 81). “Абстрактный город” Андреева проигрывает и в сравнении с живым и поражающим разнообразием городом, описанным в книге “Анархисты” Джона Генри Маккая, считает критик.

Сравнивая безымянного героя рассказа с “девушкой в черном” из пьесы Андреева “Царь Голод”, Львов-Рогачевский вопрошает: «Разве Андреевский Алеко видит город? Он ездит в автомобиле, он ходит по магазинам и, охваченный нестерпимым бешеным желанием приобрести, делает ненужные покупки, он обедает в лучшем ресторане вместе с двумя тысячами таких же, как он. Это город “победителей”. Девушка в черном, по своему обыкновению, снова очутилась среди сытых... (...) существует другой город, где кто-то выбрасывает на рынок сотни тысяч котелков, миллионы палок, платков, кормит победителей и, пока эти победители бродят по улицам и нагуливают аппетит, вываривается в фабричном котле с утра до вечера. Этого города безымянный герой, он же “Девушка в черном”, – не видел» (Там же. С. 81–82). Связывая в своем восприятии рассказ с пьесой “Царь Голод”, критик заключает: “Обе вещи Леонида Андреева бледны, вялы, неровны и как-то не закончены. Художник не отделял их, а отделался от них. Образы без лиц, какие-то стигийские тени проходят откуда-то, куда-то” (Там же. С. 107).

Рассказ получил двойственную оценку Л.Н. Толстого, которому, по свидетельству Д.П. Маковицкого, он был прочитан в начале 1910 г. в Ясной Поляне: «Описание города – восхитительно! Теперь я буду хохотать! – и передал Софье Андреевне – читать вслух. Потом сам продолжил читать и сказал: “Длинно и в конце скучно”» (Лит. наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 3. С. 76).

Рассказ при жизни писателя переведен на немецкий (1907, до публикации на русском языке) и болгарский (1908, 1912) языки.

С. 36. *Я знаю благородный гнев библейского Иова...* – Имеется в виду библейский праведник Иов, который, согласно преданию, подвергался сатаной, со изволения Бога, различным испытаниям. Вероятно, здесь речь идет о пророчествах Иова, предрекающих гибель и опустошения неправедным городам и землям (Иов 20–25).

...я помню гневные упреки Каина... – Подразумеваются слова библейского братоубийцы Каина, которого Бог приговорил за его преступление к вечному изгнанию: “И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня” (Быт 4: 13–14). Вероятно, что на библейский текст здесь накладываются обширные боготорческие монологи героя мистерии Дж. Байрона “Каин”, перевод которой, сделанный И.А. Буниным, был опубликован в 1905 г. в журнале “Правда” (№ 2–4).

...в моих ушах еще звучат проклятия пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов... – Речь идет о библейских пророках (прежде всего Исаии, Иеремии, Данииле и Иезекииле), предсказывавших грядущие напасти – насылаемое Богом наказание за неправедную жизнь различным городам и народам.

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

(С. 46)

Источники текста:

PC1 – рукописный свод НИОР РГБ. Хранится: НИОР РГБ. Ф. 178. № 7573. 101 л.

PC2 – рукописный свод Гуверовского института. Хранится: *Hoover*. Вох 140. Folders 1–2. 77 л.

ЧА1 – черновой автограф. Ранняя редакция рассказа (реставрация с использованием сохранившихся самостоятельных ранних фрагментов и фрагментов раннего слоя *ЧА2*). 20 февраля – 16 марта 1908 г. Подпись: Леонид Андреев. Источники: *PC1* (84 л.) и *PC2* (фрагменты из 29 л.).

ЧН1 – черновой набросок. Промежуточные варианты (наброски). *PC1*. 11 л.

ЧН2 – черновой набросок. Промежуточные варианты (наброски). *PC2*. 4 л.

ЧН3 – черновой набросок. Перечень глав (промежуточный вариант). *PC1*. 1 л.

ЧН4 – черновой набросок. Ранняя версия финала гл. 10. *PC2* и *PC1*. 3 л.

ЧА2 – черновой автограф. Окончательная редакция рассказа. Б. д. Источники: Гл. 1–10 – *PC2*. 73 л.; гл. 11–12 – *PC1*. 24 л.

БМАП – беловая машинописная копия с авторской правкой. Без даты. Подпись (автограф): Леонид Андреев. Хранится: НИОР РГБ. Ф. 178. № 7574. 120 л.

БАВ – беловой автограф-вставка. Начало гл. 7. *РС1*. 2 л.

АШ – Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. СПб., 1908. Кн. 5. С. 153–240.

Ш. Т. 6. С. 130–215. С надписью “Посвящается Л.Н. Толстому”.

Пр. Т. 8. С. 3–114.

ПССМ. Т. 4. С. 3–67.

Впервые: *АШ*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

Гл. 5, стк. 232: открыв на затылке лысинку – *вместо*: открыв на затылке лысину (по *ЧА2*, *БМАП*, *АШ*)

Гл. 9, стк. 30–33: Он уже не идет куда хочет, а его везут – куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. – *вместо*: Он уже не идет куда хочет, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. (по *АШ*, *Ш*, *Пр*)

Гл. 10, стк. 89: привинченный к полу стол – *вместо*: привинченный к полу стул (по *ЧА2*)

Гл. 11, стк. 17–19: Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или слишком медленно, или же слишком быстро; – *вместо*: Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или же слишком быстро; (по *АШ*, *Ш*, *Пр*)

Гл. 11, стк. 212–213: в фонаре сильно коптила лампа – *вместо*: в фонаре сильно коптела лампа (по *ЧА2*, *БМАП*, *АШ*)

Гл. 12, стк. 95: по цельному снегу – *вместо*: по целому снегу (по *АШ*, *Ш*, *Пр*)

Гл. 12, стк. 158–160: От священника также все отказались. Цыганок сказал: // – Буде, батя, дурака ломать: ты меня простишь, а они меня повесят. Ступай откудова пришел. – *вместо*: От священника все отказались. (Фраза восстановлена согласно желанию Л. Андреева видеть ее в бесцензурном издании, выраженному в недатированном письме переводчику рассказа на английский язык Г. Бернштейну³.)

Гл. 12, стк. 260: Складывали в ящики трупы. – *вместо*: Складывали в ящик трупы. (по *ЧА2*)

Рукописное наследие “Рассказа о семи повешенных” имеет сложную архивную историю. Все сохранившиеся автографы в домашнем архиве писателя были распределены по двум папкам (которым в нем приданы номера 26/а и 26/б). Эти папки в последующем оказались в двух разных архивных собраниях – соответственно Российской государ-

³ Это письмо сопровождает его же письмо от 5(18) октября 1908 г. (YIVO Institute for Jewish Research. RG 713. Herman Bernstein Papers. Ser. III. Subser. 1. Box 10/304; опубли.: “...О семи из тысяч повешенных”: Переписка Леонида Андреева и Германа Бернштейна / Публ. В.А. Александрова // Родина. 1993 № 12. С. 43).

ственной библиотеки (*PC1*) и Гуверовского института Стэнфордского университета (*PC2*).

Изучение рукописей позволило выяснить, что ни одной *цельной* и единой редакции не сохранилось ни в одном из двух рукописных сводов. Однако можно выделить две основные версии рассказа – наиболее раннюю (*ЧА1*) и позднейшую, достаточную близкую к *ОТ* (*ЧА2*), а также ряд промежуточных материалов.

В общем механизм перехода от ранней к позднейшей версии был следующим: Андреев перекладывал в целом удовлетворяющие его листы из *ЧА1* в *ЧА2*, восполняя отвергнутый материал новыми фрагментами и внося поправки в старые. Таким образом, в подобных случаях один и тот же лист имеет двойную природу и в зависимости от слоев текста оказывается принадлежностью двух версий рассказа. На происхождение подобных, заимствованных из *ЧА1* и включенных в состав *ЧА2*, листов указывают исправленные номера глав (в ранней версии они, как правило, писались римскими цифрами и не имели заголовков) и исправленные номера страниц, а иногда характер бумаги и иные признаки. По всем этим приметам стало возможным восстановить сохранившуюся часть текста ранней версии рассказа – *ЧА1*, которую составили хранящиеся в *PC1* самостоятельные, как правило, логически связанные фрагменты (листы) и фрагменты (листы и вклейки вырезанных из листов частей) в *PC1* и *PC2*, включенные в позднейшую редакцию – *ЧА2*. При включении текста листов второго типа в реконструируемый *ЧА1* составителями редакции воспроизводится ранний слой текста (с учетом ранней правки), а дополнения и исправления, произведенные автором при включении их в *ЧА2*, учитываются в качестве *позднейшей* правки. *Поздние* слои текста подобных листов воспроизводятся (*уже как принадлежность ЧА2*) в *Вариантах* *чернового автографа*, что позволяет продемонстрировать полный генезис листов, имеющих двойственную природу. При этом нужно учитывать, что поскольку, как уже было сказано, в *PC1* сохранились фрагменты рассказа, которые были отвергнуты автором и которые потому относятся только к *ЧА1*, то полного текстуального совпадения (и соответственно дублирования) между реконструируемой *ЧА1* и вариантами *ЧА2*, приводимыми в своде вариантов архивных источников текста, не наблюдается.

В процессе реставрации *ЧА1* составителям не удалось вычленишь из сохранившегося материала *цельную* и последовательную раннюю редакцию рассказа. Реставрированный текст представляет собой в срединной части (гл. 6) скорее динамическую рабочую версию произведения, в которой даны варианты одних и тех же тем, что демонстрирует развитие замысла. Однако все остальные главы (помимо вышеуказанной шестой) и структура реставрированной версии в целом дают достаточно четкое представление о первоначальной композиции рассказа (формальная *цельность* предлагаемой “сводной” версии рассказа подтверждается и неисправленной, единой и сквозной, авторской нумерацией страниц в *PC1*). В ее состав входило 12 глав, содержание большинства которых

совпадало с печатной редакцией (*ОТ*). Так, полностью совпадали с *ОТ* по сюжету первые пять глав (повествующие о переживаниях предупрежденного о готовившемся покушении сенатора, в этой версии обладающего именем-отчеством: “Дмитрий Александрович” (гл. 1), поведении террористов на суде (гл. 2), Иване Янсоне (гл. 3), Цыганке (гл. 4) и свидании с родителями Сергея Головина и Василия Каширина (в ранней версии носившего фамилию Попов) (гл. 5)).

В ранней версии Андреев уже в гл. 1 выдвигает на первый план и развивает одну из главных мыслей рассказа – о невыносимости для нормального человеческого рассудка знания точной даты своей смерти – как центральный аргумент против самой идеи смертной казни (подробнее см. ниже, в истории создания произведения). Мысль эта должна была возникнуть и в сознании самого стойкого террориста – Вернера (в первых главах ранней версии он предстает перед судом под именем Марио; подробнее также см. ниже). Эту тему писатель пытается раскрыть в четырех версиях начала главы 6 (см.: VI (1), л. 38 (21); VI (2), л. 38 (21); VI (3), л. 39*(27) – 40* (29); VI (4), л. 40 (29) – л. 41 (30)).

Однако, скорее всего, Андреев остался недоволен найденными решениями и перенес эту тему в финал рассказа, в главу 12 “Я говорю из гроба” (первоначальным наброском к ней является четвертая версия главы 6 (VI (4))). Здесь, в посмертной записке Вернера, эта мысль находит наиболее радикальное выражение (л. 81 (86)). Однако уже здесь начинает развиваться иное решение проблемы противостояния ужасу смерти со стороны Вернера – через единение с людьми (л. 83 (89)).

Глава 7 *ЧА1* тематически соответствует главе 7 – “Смерти нет” *ОТ* (переживания Муси и Тани Ковальчук). Главы 8 и 9 *ОТ* (о Головине и Каширине) в *ЧА1* объединены в одну главу 8.

Необходимо отметить, что уже в *ЧА1* стержневая идея рассказа как бы дублируется в главе 8, посвященной переживаниям накануне казни Сергея Головина: “Святотатственной рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной, – но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное” (гл. 8, нenum. листы). Этот фрагмент был перенесен в *ОТ* (гл. 8, стк. 134–144), т.е. в конечном счете Андреев связал идею о невыносимости для сознания мысли о предстоящей казни также и с Головиным, а образ Вернера, в котором исходно был заложен гораздо более существенный интеллектуальный и волевой потенциал, был развит и в другом направлении.

Далее в ранней версии следует короткая главка 9 (не имеющая аналога в *ОТ*): в ней сжато констатируются события ночи перед казнью в камерах Тани Ковальчук и Вернера. Однако финал ее дает возможность увидеть пути развития сюжета, так как является композиционной связкой с последней, двенадцатой, главой *ЧА1*, в которой воспроизводится “Заявление” – текст, написанный Вернером в эту ночь (показательна не-

завершенность последней фразы “Заявления”, написание которого ему “кончить не удалось, бумагу отобрали”). Благодаря этой связке можно полностью воссоздать линию Вернера в ранней версии: глава 6 – осознание идеи противоестественности смертной казни, глава 9 – написание некоей записки, о содержании которой мы еще ничего не знаем, глава 12 – финал рассказа – самый текст “Заявления”.

В этой и предыдущей главах нужно выделить фразу-лейтмотив, которой завершается описание последней ночи каждого из осужденных: “Потом вошли люди” (вариант: “Вошли люди”). Безусловно, он связан с последней фразой главы 11 *ЧА1* (и финальной фразой рассказа в *ОТ*): “Так люди приветствовали восходящее солнце”. По самым ранним сообщениям прессы, одним из первых названий еще не написанного рассказа было “Люди”⁴. Интересен один из сохранившихся промежуточных вариантов финала: “Так люди приветствовали солнце. Люди, люди, как долго и мучителен ваш путь к совершенству, как долго [еще] вам еще идти!” (*ЧН1*).

Глава 10 *ЧА1* тематически и по названию совпадает с главой 11 *ОТ* (“Их везут”). Глава 11 *ЧА1* (“Так люди приветствовали солнце”) тематически соответствует последней, двенадцатой главе *ОТ* (“Их привезли”). Как уже было сказано, ранняя версия заканчивалась главой 12 – “Я говорю из гроба” (в *ОТ* отсутствует)⁵. Важно отметить наличие даты и подписи в конце этой главы, которыми писатель обычно отмечал законченные редакции своих произведений, это свидетельствует о том, что в какой-то момент в его сознании сложилось представление о цельности и завершенности ранней версии.

Последующая работа над рассказом отражена в промежуточных вариантах, большая часть из которых вошла в *ЧА2* (см. *ЧН1* и *ЧН2*).

Важен для истории создания и промежуточный перечень глав (*ЧН3*). В “Перечне” появляется (и это единственное отличие его структуры от структуры глав в *ЧА1*) глава 6 под названием “Часы бегут”. Если допустить, что она соответствует аналогичной главе в *ОТ* и заменяет старые версии главы 6 (размышления Вернера), то велика вероятность, что Андреев решил отказаться от всех этих версий и полностью перенести все рассуждения Вернера в финальное “Заявление”.

Созданный позже *ЧА2* структурно полностью совпадает с *ОТ*. Как видно из “Вариантов”, он также во многом совпадает с печатной редакцией и текстуально (особенно – в позднейшем слое). Существенных различий два. Вероятно, уже после создания машинописной копии *ЧА2* – *БМАП* писатель переписывает финал главы 10 (“Стены падают”). Это новая, отсутствовавшая в *ЧА1* глава, в которой автор дает иной образ

⁴ Так, газета “Свободные мысли” (СПб.) уже в номере от 11 марта 1908 г. сообщала: «Л. Андреев пишет рассказ “Люди”, тема – психология приговоренных к казни».

⁵ Впервые опубликовано: Черников А.П. К творческой истории “Рассказа о семи повешенных” Л. Андреева // Зап. ОР ГБЛ. М., 1988. Вып. 47. С. 4–18. В наст. изд. печатается по автографу.

Вернера. Важно, однако, что в первоначальной версии главы еще оставалась старая (новой сюжетной схемой не поддерживаемая) тема создания Вернером своей посмертной записки: “По требованию Вернера ему принесли письменные принадлежности. И вплоть до часу ночи, до того момента, как отворилась дверь и вошли люди, чтобы везти его на казнь, он торопливо писал” (*ЧН4*, л. (50)). Эти фрагменты были вычеркнуты лишь в позднейшей версии машинописи (см.: *Варианты*, гл. 10, стк. 84–85). Также уже после создания *БМАП* Андреев делает большую вставку в начало главы 7, в которой существенно углубляется образ Тани Ковальчук (см. *БВВ*).

При перепечатке *ЧА2* (создании машинописи – основы *БМАП*) машинистка, еще плохо знакомая с почерком Андреева (ею была его будущая вторая жена, Матильда (Анна) Ильинична Карницкая), не смогла правильно прочесть достаточно большое количество слов в оригинале. Большую часть из этих ошибок Андреев исправил при чтке машинописи (подобная, “восстановительная” правка в вариантах *БМАП* не учитывается). Вместе с тем можно предположить, что неопытность машинистки в какой-то степени повлияла на судьбу отдельных слов и фраз, вошедших в печатную редакцию рассказа. Так, судя по тексту *ЧА2*, Андреев решил придать национальный колорит речи Янсона. Прежде всего это отразилось на фразе, постоянно повторяемой Янсоном: “Меня не надо вешать”. При первом появлении ее в *ЧА2* она звучала так: “Она (судья-мужчина. – *Сост.*) сказала, что мене нада повешать”. Позже автор поправляет фразу: “{...} мене нада вешать”. В первом слое машинописи читаем: “Она сказала, что моя нада вешать”. После авторской правки – “Она сказала, что меня нада вешать”. В печатном тексте “нада” исправлено на “надо” – в этом виде фраза вошла в *ОТ* (см.: *Варианты*, гл. 3, стк. 119, 130). Далее в *ЧА2* ключевая фраза еще несколько раз звучит как: «Мене (вариант – “Меня”) не нада вешать», но в *БМАП* все случаи сведены к языковой норме (что было пропущено, сознательно или случайно, при проверке автором) (см.: *Варианты*, гл. 3, стк. 119, 130, 133, 139, 178). Гораздо более серьезными, чем эти и прочие неточности, являются две смысловые ошибки, которых не заметил автор и которые вошли в печатные тексты надолго. Первая – “привинченный к полу стул” вместо “привинченный к полу стол” (искаженное слово отчетливо видно в *ЧА2*) (гл. 10, стк. 89). Вторая – “Складывали в ящик трупы” вместо авторского “Складывали в ящики трупы” (гл. 12, стк. 260). Обе ошибки исправляются в наст. изд.

* * *

“Рассказ о семи повешенных” написан в марте 1908 г. Однако его замысел складывался несколькими годами ранее в атмосфере событий первой русской революции, которые Л. Андреев выразительно характеризовал в письме американскому издателю и переводчику “Рассказа” Г. Бернштейну от 5(18) октября 1908 г.: “Еврейские погромы и голод; парламент и казни; грабежи и величайшее геройство; черная сотня и

Лев Толстой, – какое смешение лиц и понятий, какой обильный источник для всяческих недоразумений” (“...О семи из тысяч повешенных”: Переписка Леонида Андреева и Германа Бернштейна. С. 43).

Основой произведения стала тема смертной казни – самый трагический вопрос для русского общества в годы революции 1905 г. На первом заседании I Государственной думы был принят законопроект, гласивший: “Вступив на путь обновления, Россия должна без замедления и навсегда покончить с этим наследием жестокости и кровавых времен. Она должна вступить в число тех государств, которые признали, что наказание смертью несовместимо с известным уровнем нравственного развития народа” (I Государственная дума: Стенографический отчет. СПб., 1906. С. 422).

Однако русская действительность оказалась суровой. В целях борьбы с революционным террором правительственным законом от 19 августа 1906 г. вводились военно-полевые суды. Закон предоставлял право генерал-губернаторам и облеченным их властью лицам без расследования, без защитников и свидетелей “предавать обвиняемого военно-полевому суду с применением в надлежащих случаях наказания по законам военного времени” (Русь. 1906. 20 авг. (№ 205). С. 1). Только за 1906-й год военно-полевые суды приговорили к смертной казни 1252 человека, из них было казнено 934. Всего же было осуждено по политическим делам 9412 человек (*Клейнборг Л.* Отклики русской жизни // *Обр.* 1907. № 10. С. 101–122). Эти цифры казались вопиющими в сравнении даже с предшествующей эпохой (1878–1889), ознаменованной жестокими правительственными репрессиями, вызывавшими возмущение современников. В ноябре 1906 г. Л. Андреев писал В. Вересаеву: “Военно-полевые суды!.. Только сумасшедшие могут додуматься до них, только сумасшедшие могут принимать их и рассуждать о них. Рассуждать! Как можно рассуждать о военно-полевых судах, не будучи свихнутым?” (*Вересаев В.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 409). В этих словах уже просматриваются идея и пафос рассказа. Но окончательно его замысел сложится позднее.

Газетная периодика 1907–1908 гг. переполнена сообщениями о покушениях, убийствах, арестах и процессах над революционерами. Вводятся специальные рубрики: “Смертные казни”, “Смертные приговоры”, “Военно-полевые суды”. Газета “Русь”, например, с середины 1907 г. на первой полосе ежедневно помещает набранную жирным шрифтом шапку, извещающую о числе смертных казней и смертных приговоров. Разворачиваются дискуссии за и против смертной казни. Печатные органы правой ориентации: петербургские газеты “Новое время”, правительственная “Россия”, московские монархические газеты “День”, “Московские ведомости” – выступали против “красного террора”, пытаясь оправдать неизбежность в этих условиях военно-полевых судов как единственного спасения от разгула анархии. Так, например, “День” утверждал, что правительство лишь исполняет волю народа, ветхоза-

ветный закон русского мужика: “око за око, зуб за зуб” (День. 1909. 27 сент. (№ 684). С. 2). Орган Союза русского народа “Русское знамя” и газета Союза Михаила Архангела “Колокол” обвиняли правительство в недостаточной решимости, предлагая отправить на виселицу всех революционных главарей и тем самым положить конец революции. В черносотенных газетах печатаются статьи “в защиту смертной казни”, утверждающие, что государство не имеет права лишать себя оружия в борьбе с внутренними врагами и что сам Христос не отвергал смертную казнь (Колокол. СПб., 1907. 16 марта. (№ 340). С. 4).

Либеральная и левая демократическая печать безоговорочно осудила смертную казнь. На ее страницах печатались идущие потоком с разных концов России протесты против нее рабочих Петербурга и крестьян из маленьких сел, провинциальных учителей и столичных адвокатов, врачей, отказывающихся присутствовать при совершении казни, и студентов Духовной академии. С трибуны Государственной думы против смертной казни выступили известные священники Г. Петров и о. Тихвинский.

1908-й год стал рекордным по числу арестов, ссылок и казней. Смертная казнь стала, по выражению В. Короленко, “бытовым явлением”. Настроение этих дней Л. Андреев впоследствии охарактеризует в романе “Сашка Жегулев”: “Вдруг стало стыдно читать газеты, в которых говорилось о казнях, расстрелах, и из каждой строки глядела безумно-печальными глазами окровавленная, дымящаяся, горящая, истерзанная Россия” (*ЛССМ*. Т. 5. С. 50). В черновиках “Рассказа о семи повешенных” он напишет: “Это происходило в то мутное и страшное время, когда как бы пошатнулись разум и совесть части человечества. В мутное, как всегда, русло жизни вливались отовсюду ярко-красные ручейки чистой человеческой крови (...) каждый день в разных концах страны люди веревкою давили других людей, называя это смертной казнью через повешение (...) Убийства и казни стали необходимою и естественною приправою каждого дня, придавая ему горький и ядовитый вкус”.

Желание выразить протест против смертной казни совпало с замыслом произведения о революционерах-террористах, который занимал писателя еще до революции 1905 г. “Мне хочется, например, написать о террористах-семидесятниках, дать душу этого движения, этих людей, о которых я знаю только по книгам, и я думаю теперь, что это может мне удался”, – делился он своими планами в письме М.П. Неведомскому (*Искусство*. 1925. № 2. С. 266). Трагическое движение народников с его психологической атмосферой покаяния, жертвенности, проблемами совести и личной святости необыкновенно привлекало Андреева. “Только за ними, – писал он 4 сент. 1912 г. В.Г. Короленко об уходящем поколении народников, – я чувствовал ту глубокую серьезность, которая дело русской революции делала воистину святым делом, всю литературу подняла на высоту строгого и неподкупного народослужения” (*ИРЛИ*. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 2. Опубл.: *Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева: 1892–1906. Л., 1976. С. 193). Восхищаясь красотой индивидуального подвига, писатель сожалел, что “навсегда уходит в могилу та

настоящая великая революция, которая десятки лет творилась в тишине и молчании одинокими бойцами”. “Становится пусто и холодно, – писал он В.Г. Короленко. – Будут и еще у нас люди, и даже герои будут, но той чистоты *всего* дела, какая была, уже не будет. Романтики не будет, а без романтики – простите за преувеличение – самая Голгофа становится делом коммерческим” (опубл.: *Муратова К.Д.* Максим Горький и Леонид Андреев // *ЛН72*. С. 44).

В начале XX в. идейной наследницей “Народной воли” провозгласила себя партия социалистов-революционеров. Наибольшая известность ее приходится на 1904–1906 гг. Избрав путь террора, целью которого было путем физического уничтожения отдельных политиков заставить правительство отказаться от власти, эсеры объявили свою деятельность гласным судом над врагами народа, дав примеры индивидуального героизма в лице С. Балмашева, Е. Сазонова, И. Каляева и др. Со многими представителями партии Андреев был знаком лично.

Непосредственным толчком для создания “Рассказа о семи повешенных” послужил факт ареста и казни террористов Летучего боевого отряда Северной области. (Указания на это содержались в исторической и мемуарной литературе, см.: *Фигнер*. С. 245; *Ушеревич С.* Смертные казни в царской России. Харьков, 1933. С. 334, 339; *Герасимов*. С. 121–123; об этом исследования: *Вильчинский В.П.* Правда истории, художественный отбор и произвольный домысел: (“Рассказ о семи повешенных” Леонида Андреева) // *Русская литература*. 1970. № 1; *Васильева Л.М.* По следам “Рассказа о семи повешенных”: (Поиски и находки в архивах) // *Сов. архивы*. 1971. № 4; *Шишкина Л.И.* О реальной основе “Рассказа о семи повешенных” Л.Н. Андреева // *Учен. зап. ЛГУ*. № 355. Вып. 76. Л., 1971; *Ильев С.П.* Авторская интерпретация “Рассказа о семи повешенных” // *Русская литература XX века* (доокт. период). Тула, 1974. Вып. 5; *Черников А.П.* К творческой истории “Рассказа о семи повешенных” Л. Андреева // *Зап. ОР ГБЛ*. М., 1988. Вып. 47; *Михайлова М.В., Шулятиков В.И.* “Рассказ о семи повешенных” Л. Андреева: Исторический контекст: (К вопросу о прототипичности женских персонажей) // Орловский текст российской словесности: Материалы Всерос. науч. конф. Орел, 2010.)

Летучий боевой отряд Северной области был организован летом 1906 г. согласно директиве партии с.-р. об усилении террора (*Стиридович*. С. 383). Его возглавил Альберт Трауберг (партийная кличка Карл), латыш по национальности, участник московского вооруженного восстания 1905 г., “человек исключительной предприимчивости и смелости” (*Герасимов*. С. 121). Действия отряда отличались особой дерзостью. Им были совершены убийства начальника петербургской тюрьмы Гудима, усмирителя московского вооруженного восстания 1905 г. генерала Мина, главного военного прокурора генерала Павлова и др.; предприняты покушения на московского генерал-губернатора Дубасова, военного министра Редигера, петербургского градоначальника генерала Драчевского и др.

В январе 1908 г. был арестован и казнен Трауберг (Карл) и во главе отряда встал Всеволод Лебединцев (Кальвино). По его инициативе разрабатывался замысел одновременного убийства нескольких самых высоких должностных лиц: премьер-министра П.А. Столыпина, министра юстиции И.Г. Щегловитова, председателя Государственного совета М.Г. Акимова и главнокомандующего Петербургским военным округом великого князя Николая Николаевича; готовился план взрыва правого крыла Государственного совета во время его заседания. Провал покушения Лебединцева и его группы на Щегловитова привел к окончательному разгрому отряда и концу террористической деятельности партии с.-р. Позднее стало официально известно, что весь Летучий отряд был предан известным провокатором, членом ЦК партии социалистов-революционеров и одновременно агентом царской охраны Евно Азефом (см. об этом: *Бакай*. С. 115; *Фигнер*. С. 245; *Ушерович* С. Смертные казни в царской России. С. 409; *Стиридович*. С. 362; *Агафонов В. Евно Азеф // Заграничная охранка*. Пг., 1918. С. 268; *Савинков Б. Воспоминания террориста*. М., 1926. С. 327, 332; *Герасимов*. С. 113–128, 132–144). Современники прямо указывали, что покушение на министра юстиции Щегловитова, на котором настоял Азеф, стало способом предотвратить грандиозный проект и разгромить отряд.

Процесс о девяти арестованных и семи повешенных террористах широко освещался на страницах петербургских и московских газет в строгих официальных сообщениях и в крикливых, исполненных сенсационности корреспонденциях. С уверенностью можно сказать о том, что Андреев внимательно следил за газетными материалами, многочисленные подробности которых нашли отражение в деталях его повествования.

Первая попытка убить И.Г. Щегловитова была предпринята 6 февраля 1908 г., вторая – 7 февраля. Одиннадцать террористов на пути к цели были схвачены сыщиками. Уже 9 февраля в ряде газет появилось официальное сообщение о происшедшем, где перечислялись 9 арестованных революционеров: астроном Пулковской обсерватории Всеволод Лебединцев, выдававший себя за итальянского подданного Марио Кальвино, сын революционера-народника С. Синегуба Лев Синегуб; крестьянка Пермской губернии Анна Распутина; дочь царского подполковника Лидия Стуре; студент Сергей Баранов; эсерка Елизавета Лебедева, назвавшаяся на допросе Казанской; слушательница Высших женских курсов Вера Янчевская; крестьяне Александр Смирнов и Петр Константинов. Рассказывалось, чем и как они были вооружены и при каких обстоятельствах каждый из них был схвачен. Правительство не скрывало осведомленности охранного отделения о готовившемся акте. В сообщении, в частности, говорилось, что “в течение последнего времени были получены сведения о том, что партией социалистов-революционеров решено совершить убийство великого князя, министра юстиции и нескольких представителей высшей правительственной власти”; в другом месте еще раз подчеркивалось: “О действиях арестованных лиц и их планах поли-

ция была заранее осведомлена” (Русь. 1908. 9 февр. С. 2). Хранящиеся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции материалы следствия показывают, что арестованные держались мужественно, не отрицая своей принадлежности к террористической организации, поставившей целью “насильственное ниспровержение установленного законом образа правления”. Лишь Константинов публично раскаялся и дал подробные показания, в результате которых был арестован студент Николаев, неоднократно посещавший квартиру В. Янчевской, где хранилось оружие (Черников. С. 307).

13 февраля было закончено расследование, а 14 февраля в Трубечком бастионе Петропавловской крепости состоялось закрытое заседание военно-полевого суда, который приговорил семерых обвиняемых к смертной казни через повешение, а троих – к 15 годам каторжных работ (см. об этом: *Иванишин*. С. 497–502). 18 февраля на первых страницах газет в ряду основных сообщений за день значилось: «Приговором С.-Петербургского военно-окружного суда, вошедшим в законную силу, присуждены к смертной казни через повешение: крестьянка Анна Распутина, дочь подполковника Лидия Стуре, мещанин Лев Синегуб, крестьянин Александр Смирнов, сын придворного служителя Сергей Баранов, именующий себя итальянским подданным Марио Кальвино, и неизвестная, именующая себя “Казанской”, – виновные в покушении на жизнь великого князя Николая Николаевича, министра юстиции Щегловитова, а Стуре, Смирнов и “Казанская” также в вооруженном сопротивлении полиции. Приговор в отношении всех семи лиц приведен в исполнение 17 февраля» (Русь. 1908. 18 февр. С. 1).

Террористы были казнены в местечке Лисий Нос, под Петербургом, на рассвете 17 февраля. А 21 марта Андреев писал М. Горькому: «Сейчас усиленно работаю. Пишу большой, листа три-четыре, “Рассказ о семи повешенных” – на тему о смертных казнях. Чувствую, что сейчас голосу настоящего нет, а хочется крикнуть: не вешай, сволочь! Отдельные фигуры в рассказе недурны, а что в целом выйдет, не знаю. Тягостно писать» (*ЛН72*. С. 307). В дневнике В.Я. Яковлева-Богучарского сохранилась запись о том, что 30 марта 1908 г. на вечере, посвященном 20-летию со дня смерти Вс. Гаршина, Андреев рассказывал ему содержание своего нового произведения, “которое он уже кончает. По мысли оно должно быть весьма оригинальным” (РГАЛИ. Ф. 1696. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 194; опубл.: *Ильев С.П.* Авторская интерпретация “Рассказа о семи повешенных”).

Начиная с середины марта в столичной и провинциальной печати появляются сообщения о работе Л. Андреева над новым произведением, которое именуется то “Казни”, то “Семь повешенных”. Так, газеты “Русь” и “Последние новости” от 10 (24) марта информировали: «Леонид Андреев в настоящее время занят отделкой только что набросанного им рассказа “Казни”, в котором он в реалистических тонах дает анализ психологии людей перед казнью. В рассказе фигурируют приговоренные к смерти политические и уголовные» (Последние новости. 1908.

№ 47. С. 4; то же повторили: Одесское обозрение. 1908. 3 апр. (№ 103), и др.). Газета “Современное слово” писала: «Л.Н. Андреев работает в настоящее время над большим рассказом под названием “Семь повешенных”. Как указывает название, сюжетом рассказа является смертная казнь и переживания приговоренных» (1908. 25 марта (7 апр.). (№ 167). С. 3). Газетную информацию язвительно прокомментировало “Русское знамя”: «Известный своими богохульными сочинениями писатель Л. Андреев в настоящее время, по сообщениям “Руси”, “занят отделкой новой повести...” (...) Проверка душевных ощущений человекоубийц, грабителей и других насильников! Задача вполне по плечу Л. Андрееву. Жаль, что в этом рассказе не фигурируют лица, убитые этими “приговоренными к смерти политическими и ссыльными” и не обрисованы “в реалистических тонах” страдания их семейств. Такие рассказы не с руки Андреевым, и такой товар не котируется на “освободительной” бирже» (Русское знамя. СПб., 1908. 12 марта. (№ 59). С. 4).

В конце марта газеты сообщили о завершении работы и дали предварительные оценки: «Леонид Андреев закончил новую повесть на тему из современных событий. Наиболее ярким моментом нового произведения являются переживания героев рассказа, приговоренных к смертной казни, от суда до момента смертного приговора. Лица, имевшие возможность познакомиться с рукописью, говорят, что по силе впечатления повесть Леонида Андреева значительно выше “Казни Тропмана” Тургенева и “Последних дней осужденного” Виктора Гюго» (Руль. М., 1908. 25 марта. (№ 64). С. 5). Позднее правая печать с негодованием писала о широкой рекламной кампании, предшествовавшей появлению “Рассказа”: «В области изящной литературы огонь против смертной казни открыл тот же Л. Андреев своим рассказом “О семи повешенных”, чему предшествовала усиленная реклама в нашей левой прессе о том, что Андреев написал такую вещь, перед которой “Последний день приговоренного” Гюго и “Казнь Тропмана” Тургенева ничего не стоят. Тем не менее это новое произведение носило на себе отпечаток написанного “на случай”. Оно вышло очень бледно и отзывалось придуманностью и неестественностью» (*Бэн [Назаревский Б.В.]*. Русская литература в минувшем году// *МВед*. 1909. 21 янв. (№ 16). С. 2). В начале апреля появилась информация о печатании повести в ближайшем номере альманаха “Шиповник” (Южный край. 1908. 10 апр. (№ 9357). С. 5).

Произведение, объединившее протест против смертной казни с осмыслением революционных событий, потребовало громадного нервного напряжения и душевных сил. А. Измайлов передавал слова Андреева, сказанные им в начале апреля 1908 г.: «...Я только что отошел от новой работы, которая меня измучила. Я написал новый рассказ с простым названием – “Рассказ о семи повешенных”. Как догадываетесь, это совсем на близкие нам темы.

Я вдумываюсь в психологию семерых, обреченных на смертную казнь, из тех, о которых мы каждый день утром читаем в газетах: “Семеро приговорены в Риге”, “четверо в Ревеле” и т.д. (...) Еще только

“Красный смех” так измучил меня, как этот рассказ. Тогда я почти полгода не находил в себе силы приняться за другую работу. И, вероятно, теперь будет то же (...) Теперь эти впечатления – сидение в тюрьме под одну мысль о предстоящей казни. Может быть, Вы не поверите и Вам это покажется рисовкою, но постоянной думою об этом, постоянным поставлением себя на место приговоренных я создал себе адское настроение, которое сгустилось в последние дни до крайнего предела. Просыпаясь, я ловил себя на какой-то тяжелой мысли. Мне казалось, что я должен чего-то ждать, что вот-вот совершится что-то жуткое и тяжелое. Мне казалось, что сейчас кто-то войдет и скажет, что совершилось несчастье. Не дальше, как несколько дней назад, я понял, в чем секрет. Я просто так фиксировал свою мысль на психологии моих несчастных семерых, что невольно и сам разделял их предсмертную тоску» (*Измайлов 1911. С. 285–286*). Это ощущение он подчеркнул и в письме, напечатанном в журнале “Огонек”: “Только думая о казни, только ставя себя на место одного из этих несчастных, я приводил свой человеческий разум в то состояние, при котором только тонкая пленка отделяла меня от сумасшествия” (*Огонек. 1909. № 6. С. 8*).

Впоследствии в своем дневнике Андреев вспоминал о днях работы: «Любопытно, что почти все лучшие мои вещи я писал в пору наибольшей личной неурядицы, в периоды самых тяжелых душевных переживаний (...) Больной, ошалелый после пьянства, не думая, писал я “Семь повешенных”. Вдобавок, самая тема была так тяжела, что я во все время, что не за столом, старался даже не вспоминать о рассказе; больше того, в наиболее тяжелых местах я даже во время процесса писания – как это ни странно – старался развлекать себя посторонними мыслями. Один вечер я почти сплошь проплакал и написал всего три или четыре строки» (*Андреев Л. Из дневника 11 октября 1915 г. // S.O.S. С. 22–23*).

Действительно, “Рассказ о семи повешенных” создавался в чрезвычайно сложную для писателя полосу жизни. Разочарование в результатах революции (“Прокатилась с треском и шумом революционная волна и затихла, не сокрушив на своем пути ни одной капитальной стены, сделала только надломы и трещины во всех областях человеческой жизни”, – констатировал он в одном из газетных интервью в середине февраля 1908 г. (*ЛН72. С. 526*)), личная трагедия – смерть горячо любимой жены, связанное с этим чувство крайнего одиночества, усугубленное охлаждением отношений с М. Горьким и разрывом с товариществом “Знание”, – все это определило кризисное состояние его духа. В письме Горькому от 11 февраля 1908 г. Андреев сообщает, что его ощущения таковы, будто, “по примеру Данте, год путешествовал по аду”. “Был целый месяц, когда разум мой просто-напросто мутился. Потом тоска, удивительная тоска, когда однажды почувствовал я, что дошел до предела скорби, до того таинственного предела, который отделяет скорбь от чего-то нового, непостижимого, не то смерти, не то жизни. Потом пил я – по три-четыре дня, сперва рюмками, а потом коньяк, стаканами. Потом женщины – ряд мыльных пузырей, за которыми гонялся я, задрав

кверху пьяно-плачущую рожу, и от которых теперь и на языке, и на сердце вкус дешевого мыла <...>

Теперь я не пью и, по-видимому, собираюсь жить. Что-нибудь изменилось? Нет. Так же одинок, так же нет женщины, которую бы любил, так же пуста и по-больничному звонка квартира. И нет ни одного друга, кроме тебя, такого далекого и такого ненадежного <...> Что же! Если за смерть Шуры я поплатился только тем, что было, то это страшно дешево” (ЛН72. С. 302).

Ко всему присоединялось отношение критики, резко не принявшей последние произведения Л. Андреева: “Кадеты, мистики, декаденты, октябристы, черная сотня – со всех сторон” и увенчивающие “травлю с.-деки” (письмо Горькому от 21–23 марта 1908 г. – ЛН72. С. 307), что особенно возмутило писателя.

В этой ситуации в Андрееве зреет перелом, складывается мировоззрение, которое он назовет трагическим, ибо, по его мнению, “трагедия – утверждение жизни”: “Вот во мне уже с полгода резко намечается какой-то кризис, намечается столь ощутительно, что я не могу писать ничего серьезного: от старого я отошел, а к новому дороги не знаю. И в чем оно заключается – тоже не знаю. Несомненно только одно, что от отрицания жизни я как-то резко поворачиваю сейчас к утверждению ее. И если прежде я думал, что существует только смерть, то теперь начинаю догадываться, что есть только жизнь. Но именно догадываться. Поразительным, например, кажется для меня то, что наряду со страданиями, о которых я писал уже достаточно, я почти непрерывно испытывал и испытываю какую-то огромную, чудовищную радость жизни. Если при успехах революции я смотрел мрачно и каркал: так было, так будет, то сейчас, живя в лесу виселиц, я чувствую и радость, и непоколебимую уверенность в победе жизни”, – пишет он 11 февраля 1908 г. Горькому (ЛН72. С. 302–304). Свидетельством перелома стал “Рассказ о семи повешенных”.

Еще до публикации “Рассказа” в альманахе “Шиповника” достаточно широкий круг интеллигенции имел возможность познакомиться с ним на литературных чтениях. Впервые он был прочитан 5 апреля 1908 г. на петербургской квартире Андреева на Каменноостровском проспекте, о чем проинформировали газеты. «Новый рассказ Л. Андреева был прочитан на днях автором в литературном кружке. Рассказ написан в манере тех вещей, которые предшествовали “Жизни человека”, и произвел на слушателей очень сильное впечатление. Двенадцать глав его описывают последовательно психологию семи приговоренных к смерти» (Южный край. Харьков, 1908. 10 апр. (№ 9357). С. 5).

А. Измайлов, присутствовавший на этом чтении, так передает общее впечатление: “Часов в девять все мы собрались в его кабинете <...> Была мертвая тишина в кабинете. Только часто вспыхивала спичка в руках чтеца, закуривавшего папиросу за папиросой, и на минуту воцарялось молчание, когда он доходил до конца главы и произносил название следующей <...> Свободный от расчета на эффект, такой объективный,

такой ровный в своем темпе рассказ захватывал медленно, но прочно. Когда дальше пошли подробности психологических переживаний молодых людей, Цыганка и чухонца Янсона, волнение начало сообщаться слушателям (...)

Впечатление, произведенное концом рассказа, было большое. Никто, конечно, не охал, не всхлипывал, не уходил с рыданиями, но в мертвом молчании, которое прорезал бесстрастный, спокойный и твердый, без малейшей дрожи голос читавшего, чувствовалась жуткая напряженность, какая бывает перед грозой” (*Измайлов 1911. С. 288, 290*).

На этом чтении присутствовали два человека, мнение которых было особенно важно для писателя. Ими были два “эксперта смерти” – бывшие узники Шлиссельбурга Н.А. Морозов и Н.П. Стародворский. “Они оба выразили почти изумление, как можно было угадать, все это правдиво”, – свидетельствовал А. Измайлов. Стародворский, назвав рассказ Андреева “прекрасной вещью”, сказал: “Меня удивляет, как Вы, человек, не переживший на самом деле тоски неизбежной смерти, могли проникнуться нашими настроениями до такого удивительного подобия. Это все удивительно верно. Это все так. Конечно, это еще более потрясает, гнетет, ломает человека в действительности”. Вместе с тем он заметил: «...того состояния безнадежности, той уверенности в казни (...) и уже готовности ее принять, я, по крайней мере, не пережил. И думаю, что здесь Вы не совсем правы. Думаю, что нет такого приговоренного, который, уже наглядно видя, что смерть неминуема, что виселица готова, что его уже ведут на нее, все-таки и в эту минуту не верил бы в свое спасение. Нет, все мы без исключения держались за эту надежду до самого конца. Мы ждали невероятного. Мы прямо требовали чуда (...) Этот инстинкт жизни у Вас прекрасно подчеркнут в чухонце, в его “я не хочу, чтобы меня вешали”, но потом Вы все-таки примирили их всех со смертью». Н. Морозов, выразив свое впечатление словами: “Я могу только сказать (...) что все это действительно правдиво и метко и глубоко. Конечно, Вы удивительно догадались о многом”, отметил несколько психологических моментов, которые невозможно предугадать человеку, не пережившему этой драмы. Например, после прочтения приговора, «когда казалось бы ни о чем нельзя было думать, кроме как о предстоящем ужасе, главной мыслью было, “как не показать врагам, что я потрясен, что я убит, что мне жалко жизни, как сделать так, чтобы мои враги увидели, что я не такой, как они, и иду на смерть спокойным”» (*Измайлов 1911. С. 291, 292*).

Вторичное чтение рассказа состоялось в Орле, куда Л. Андреев заехал по дороге в Крым вместе со своей будущей женой А.И. Денисевич (Карницкой) и провел там Страстную неделю (Орловский вестник. 1908. 11 апр. (№ 99)). В связи с тем что 8 апреля отмечалось десятилетие литературной деятельности писателя-орловца, общественность города по инициативе близкого друга Андреева доктора И.Н. Севастьянова 17 апреля устроила в его честь вечер. На нем по просьбе гостей «Леонид Николаевич мастерски прочитал свой новый рассказ, печатающийся ныне

в сборнике “Шиповник”. Рассказ этот написан на жгучую тему и производит подавляющее впечатление» (Орловский вестник. 1908. 18 апр. (№ 102). С. 3).

Затем рассказ был дважды прочитан в Ялте. Первый раз – незадолго до венчания писателя с Денисевич, состоявшегося 20 апреля (Южные ведомости. Симферополь, 1908. 26 апр. (№ 94)), в узком кругу литераторов, среди которых присутствовали, в частности, гостившие в то время в Ялте М. Арцыбашев, В. Муйжель, В. Башкин и др. “Южные ведомости” передавали впечатление слушателей, потрясенных рассказом, “поражающим своей простотой и высокохудожественным изображением психологии приговоренных к смертной казни 5 террористов и 2 простых убийц”: «С разных концов пришли они сюда. В одну темную ночь их везут сначала в каретах, потом – по железной дороге (...) У Юго – один осужденный. Человек вообще. У Андреева семь различных людей, семь различных, иногда не имеющих ничего общего психологий. Арцыбашев по поводу новой повести высказал свое мнение: “Вот что ужасно: повешенных семь, а вешают все одного – Леонида Андреева”» (Южные ведомости. 1908. 22 апр. (№ 90). С. 3).

Несколько дней спустя газеты сообщили, что 1 мая в номере ялтинской гостиницы “Ореанда” у известного по политическим процессам московского присяжного поверенного М.Я. Мандельштама “в общем собрании всех писателей, проживающих ныне в Ялте”, рассказ Л. Андреева был прочитан вновь. На этот раз его читала артистка Голубева. «Чтение длилось более 4 часов. Изложить содержание повести подробно нельзя. Ее надо прочесть. Вещь эта написана не в стиле “Жизни человека” или “Царя Голода”. Это реально-психологическое произведение и несравненно выше этих двух», – писал корреспондент ялтинского “Утра” (Одесское обозрение. 1908. 6 мая. (№ 130). С. 3).

Об этом чтении вспоминал Н.С. Клецов (Ангарский): “Читал Леонид Николаевич очень хорошо. Впечатление было сильное. Трудно было сдерживать слезы при описании предсмертных минут молодых людей у виселицы где-то в лесу близ Шлиссельбурга в предрассветный весенний час (...) Сам автор с трудом выдерживал тон спокойного рассказчика о страшных вещах. Мы едва сдерживали слезы. Закипела ненависть, хотелось бороться и отомстить палачам за все: за ужас русской жизни, за гибнущих в тюрьмах, на каторге, на виселицах (...) Такова была потрясающая сила искусства” (ОР РГБ. Ф. 9.211. Л. 9; см. также: ЛН72. С. 310).

Впервые рассказ был опубликован в майской книжке литературно-художественного альманаха издательства “Шиповник” за 1908 г.

Выражая гуманистический протест против массовых смертных казней, Андреев сознавал близость собственной оценки событий толстовской позиции. «Хотя статья Толстого “Не могу молчать” была начата через семь дней (13 мая 1908) после выхода из печати “Рассказа о семи повешенных”, его возмущенные протесты против смертных казней были и ранее широко известны, и Андреев сознательно стремился солидаризи-

зировавшись с ними» (Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 68–69).

18 августа 1908 г. Андреев в письме к Толстому просит разрешения посвятить ему свое произведение. “Я хорошо знаю,- писал он, – крупные художественные недочеты рассказа, во многом сам решительно им недоволен и в оправдание свое могу привести только то, что я был нездоров, когда писал, и очень торопился. Думалось, что пусть лучше художественные недостатки, но только выпустить теперь же, так как молчать нельзя. И если сейчас я осмеливаюсь просить о разрешении посвятить рассказ Вам, то лишь потому, что полная искренность лежит в основе его. С глубокой болью писал я, и не рассказ, который плох, а свою боль приношу Вам, человеку, всю жизнь мою, с самых ранних лет стоявшему надо мной, как воплощение совести и правды” (Реквием. С. 65).

Судя по ответному письму (2 сентября 1908), Толстой принял это посвящение: “Получил ваше хорошее письмо, любезный Леонид Николаевич. Никогда не знал, что значит посвящение, хотя, кажется, и сам кому-то посвящал. Одно знаю, что ваше посвящение мне означает ваши ко мне добрые чувства, то же, что я видел и в письме вашем ко мне, и это мне очень приятно”. Свое согласие великий писатель объяснял не только искренностью андреевских произведений, но тем, что “цель их добрая: желание содействовать благу людей” (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1956. Т. 78. С. 218). Андреев очень дорожил письмом Толстого и опубликовал его (рядом с неизданным отрывком из “Жизни Василия Фивейского” – “Сон о. Василия”) в сборнике “Италии”, выпущенном в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине книгоиздательством “Шиповник” в 1909 г. Основное содержание толстовского письма составляли размышления о писательском труде, часть которых была созвучна взглядам Андреева: писать только тогда, когда мысль “так неотвязчива, что она до тех пор, пока не выразишь ее, как умеешь, не отстанет от тебя” (Там же. С. 219), неприемлемость тщеславных и меркантильных побуждений, нежелание потакать сиюминутным вкусам и потребностям читающей публики и необходимость идти впереди нее, открывая людям нечто новое и неизвестное. Для Андреева была чрезвычайно значима эта общность позиции. Не случайно позже, в 1912 г., отвергая упреки Горького в том, что в последних произведениях Андреев поддавался погоне за славой, он отвечал ему: «“Семь повешенных” – правда, этот рассказ имел успех, но если здесь я был лакеем, то я прислуживал за одним столом с Толстым, который в ту же пору писал свое “Не могу молчать”» (ЛН72. С. 330).

Впервые с посвящением Л.Н. Толстому “Рассказ о семи повешенных” вышел в 1909 г. в шестом томе Собрания сочинений Л. Андреева, выпущенном издательством “Шиповник”.

Как это сделал Толстой со своими произведениями, Л. Андреев 1 января 1909 г. отказался от права собственности на “Рассказ” и разрешил его свободную перепечатку. “Рассказ” получил большой общественный

резонанс. Только в течение 1908–1911 гг. он издавался на русском языке 15 раз тиражом более 100 тыс. экземпляров. По инициативе видных деятелей революционного движения, в частности В.Н. Фигнер, вышло издание для узников Шлиссельбурга с иллюстрациями И.Е. Репина. До 1918 г. в России “Рассказ о семи повешенных” выдержал 28 изданий.

Произведение принесло автору не только общероссийскую славу, но и всемирную известность. Почти сразу “Рассказ” был переведен на несколько иностранных языков. Уже в июле 1908 г. газеты сообщали о его издании в Италии. «Рассказ Леонида Андреева “О семи повешенных” переведен на итальянский язык и помещен в римском журнале “La rivista d’ Italiana”. Вся итальянская печать в восторге от этого андреевского произведения, и во многих газетах появляются перепечатки из него. Три книгоиздательства сразу заказали переводы рассказа с целью выпустить его отдельной книжкой» (Бессарабская жизнь. Кишинев, 1908. 5 июля. (№ 153). С. 2). Осенью 1908 г. с просьбой о публикации рассказа в США к Андрееву обратился американский журналист, переводчик и пропагандист его творчества Герман Бернштейн (см. выше). «Я уверен, что “Рассказ” вызовет громадный интерес как в Америке, так и в Англии – и восстановит престиж, значительно утраченный, молодой русской литературы – в Америке, – писал он в письме от 23 сентября (6 октября) 1908 г. – “Рассказ о семи повешенных”, по моему глубокому убеждению, помимо своей литературной ценности, откроет глаза американскому обществу на “порядки” в России» (Родина. 1993. № 12. С. 43). В ответном письме от 5(18) окт. Андреев, разъясняя концепцию произведения и отчасти основных мотивов своего творчества, замечал: “И если моя правдивая повесть о семи из тысяч повешенных поможет разрушиться хоть одной перегородке, отделяющей народ от народа, человека от человека, душу от души, – я почту себя счастливым” (Там же. С. 44). Факсимиле этого письма было приложено в качестве предисловия к американскому изданию “The seven who were hanged” (N.Y., 1909) в переводе Г. Бернштейна, с иллюстрациями Ирвинга Политцера и восстановленной по просьбе Андреева фразой Цыганка (об этом: *Ришина Р.* “Вечные дебри отчаянья”: Леонид Андреев и американский оптимизм: (К восприятию творчества Леонида Андреева в Америке) // *МиИ2012*. С. 182–184).

В 1909 г. отдельное издание “Рассказа” было выпущено И.П. Ладыхниковым в Берлине. Он был издан в Мадриде, Милане, Париже, Стокгольме и ряде других американских и европейских городов.

Реальной основой “Рассказа о семи повешенных”, о чем уже сказано, стали смертная казнь как общее явление русской пореволюционной действительности и конкретный факт казни революционеров-террористов Летучего боевого отряда Северной области.

В своей трактовке смертной казни Андреев избегал, как он выражался, “бессознательного заимствования” (РГАЛИ. Ф. 169. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 195) ее изображения в русской и мировой литературе, например в “Казни Тропмана” И.С. Тургенева, “Идиоте” Ф.М. Достоевского,

“Войне и мире” и “Исповеди” Л.Н. Толстого, “Последнем дне приговоренного к смерти” В. Гюго.

Андреев знал материалы современной ему русской печати на эту тему. В процессе их осмысления, под их воздействием и в полемике с ними складывалась его концепция. Волнующая тема освещалась в те годы широко и многообразно. Так, в 1906 г. в Петербурге вышли два сборника: “Смертная казнь” (под ред. Л. Никифорова), собравший известные ранее материалы по этому вопросу, и “Против смертной казни”, целиком основанный на современном материале. Его редакторы и составители: известный юрист, профессор уголовного права Московского университета М. Гернет, историки О. Гольдовский и И. Сахаров привели мнения признанных ученых, писателей (среди них О. Мирбо и А. Франс), общественных и политических деятелей России и Европы, которые доказывали как нравственную невозможность, так и практическую вредность смертной казни. Итальянский социал-демократ и профессор уголовного права Римского университета Энрико Ферри убеждал, что казнь политических преступников понижает общий уровень нации, так как “вызывает уменьшение числа наиболее возвышенных и альтруистических и приводит к преобладанию душ наиболее низких, отсталых” (Против смертной казни. СПб., 1906. С. 94, 307). Публицистика тех лет: “Очерки смертных казней” В. Владимирова, цикл очерков защитника по политическим процессам В. Беренштама “В огне защиты” (Обр. 1907. № 10; 1908. № 7–8); построенная на обширных статистических данных статья юриста Н. Фалеева “Шесть месяцев военно-полевой юстиции” (Былое. 1907. № 2) и др. – производила впечатление силой факта, достоверностью, беспощадностью описаний. Антигуманность смертной казни – основной мотив ряда беллетристических произведений: “Она придет” Р. Хина, “Две казни” Вас. Немировича-Данченко, “Сказка старого прокурора” М. Арцыбашева, поэмы “Благословение” В. Быстрицкого (1907); “С тревогой жуткою привык встречать я день” Д. Бедного, “Казнь Якова Стеблянского” В. Анучина, “Как было. (Как вешали)” А. Серафимовича, “Смертники” Н. Олигера (1908) и др.

Среди протестов публицистов и писателей громче других звучали голоса В. Короленко и Л. Толстого. “Смертничий вопрос” волновал Короленко в “Сорочинской трагедии” (1907), “Чертах военного правосудия”, “Деле Глускера” (1910). Но вершиной стал цикл очерков “Бытовое явление” (впервые: Русское богатство. 1910. № 3–4). «Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: “от виселицы”», – констатировал писатель; “у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое” (Короленко В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 478). Собрал материалы газет, свидетельства очевидцев, исповеди и

письма смертников и почти не комментируя их, писатель обращался к разуму общества, призывая не дать “ужасу” превратиться в “бытовое явление”, “своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть” (Там же. С. 527).

Первое выступление Л.Н.Толстого против массовых репрессий относится к июлю 1907 г. В статье “Не убий никого”, напечатанной в газете “Речь”, писатель характеризовал происходящее в России как разгул “вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов” (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 37. С. 42), которые стали результатом того, что люди утратили нравственные и религиозные обязательства, а тем самым и необходимость повиновения власти. Убежденный в невозможности изменения общества путем насилия, писатель считал, что выход из нынешнего положения будет найден, когда люди поймут, что убийство не свойственно человеческой природе. Знаменитая статья “Не могу молчать!”, написанная по поводу казни в Херсоне в 1908 г. семьи Рябоштан, осужденной за участие в аграрном движении, имела резкий антиправительственный характер. Если революционеров, по мысли Толстого, оправдывает хотя бы самопожертвование ради идеи, то действия правительства, безнравственные и бессмысленные, не имеют оправдания. К проблеме смертной казни Толстой обращался еще несколько раз: “Смертная казнь и христианство”, “Неизбежный переворот”, “Пора понять” (1909), незаконченная статья “Действительное средство” (1910), над которой он работал за месяц до смерти. В концепции Толстого смертная казнь – нравственное зло, не совместимое с нормальной человеческой психикой, потому он уповает на нравственное прозрение ее совершающих: “Стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что, поступая так, как вы поступаете, т.е. участвуя во всех этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняете внутрь” (Там же. С. 88).

На общем фоне позиция Л. Андреева оригинальна. В своих выступлениях он не раз говорил, что не стремился “заклеймить” правительство, и без того себя достаточно скомпрометировавшее. “Моей задачей было: указать на ужас и недопустимость смертной казни – при всяких условиях, – разъяснял он концепцию рассказа в письме к Г. Бернштейну. – Велик ужас казни, когда она постигает людей мужественных и честных, виновных лишь в избытке любви и чувства справедливости, – здесь возмущается совесть. Но еще ужаснее веревка, когда она захлестывает горло людей слабых и темных. И как ни странно покажется это: с меньшей скорбью и страданием я смотрю на казнь революционеров, подобных Вернеру и Мусе, нежели на удушение этих темных, скорбных главою и сердцем убийц – Янсона и Цыганка. Даже последнему, безумному ужасу неотвратимо надвигающейся смерти могут противопоставить: Вернер – свой просвещенный ум и закаленную волю, Муся – свою чистоту и безгрешность... а чем могут отозваться слабые и грешные, как не безумием, как не глубочайшим потрясением всех основ своей человеческой души?

А их-то, набивши руку на революционерах, и вешают теперь по всей Руси: где по одному, где сразу по десятку. Играющие дети натываются на плохо зарытые трупы, и собравшийся народ с ужасом смотрит на торчащие из-под земли лапти; прокуроры, присутствующие при казни, сходят с ума и отвозятся в больницу – а их все вешают, все вешают” (Родина. 1993. № 12. С. 44).

Сказанным определяется и своеобразие решения Андреевым темы смертной казни, которая не может существовать ни при каких условиях, потому что она “противна закону жизни”. “Этот закон состоит в том, – объяснял писатель публицисту и участнику революционного движения В.Я. Богучарскому, – что ни одно живое существо не знает заранее времени своей смерти. Не составляют в этом отношении исключения не только люди вообще, но даже, например, самоубийцы, ибо между самоубийцей и смертью стоит его воля, которая может в каждый данный момент измениться. Не составляет исключения и, например, бросающий бомбу террорист, ибо мало ли что может случиться: бомба может не взорваться, бросивший ее может побегать от преследователей и т.д. и т.д. Только осужденный *знает* время своей смерти. – Значит, тут нарушается *закон жизни*, и в том осуждение смертных казней. Теперь я убежденный ее противник” (РГАЛИ. Ф. 1696. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 195).

Таким образом, протест Андреева против смертной казни носит еще в большей степени, нежели нравственно-социальный, – общефилософский характер. Человеческий разум, будучи поставлен перед осознанием нарушения природного, космического закона, разрушается (“Мысль”, “Красный смех”). Отсюда – “смертная казнь – это безумие”. Эту идею Андреев выразил в газете “Эпоха”: “...Одного мы не смеем касаться – это человеческого разума и его священных прав. Таинственный и непостижимый в существе своем, безгранично сильный, отчаянно хрупкий и непрочный, разум требует, чтобы с ним обращались с осторожностью. Он не имеет собственника.

Когда человека убивают, то это значит, что умер еще один человек; колыгнуть же разум только одного – значит – нанести удар всем...

И много страшного есть на пути у разума, но нет ничего страшнее смертной казни. В обнаженности тех противоречий, которые ставит она человеческому разуму, звучит безумное и страшное кощунство...

И когда человек ставится в положение, когда он должен мыслить немислимое, – это покушение на разум всего человечества, он поднимает руку на самого себя, он уничтожает смысл человеческого существования” (Андреев Л. Из письма // Эпоха. СПб., 1908. 15 сент. (№ 1). С. 1).

Общефилософское содержание произведения, как видно, выходит далеко за рамки исторически конкретных событий, но рассматривается на их основе. В.Я. Богучарский зафиксировал в своем дневнике признание Андреева: “...последний процесс террористов, кончившийся их казнями, особенно сосредоточил мою мысль на вопросе о смертной казни” (РГАЛИ. Ф. 1696. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 194–195). Именно остро злобо-

дневная проблематика сочинения, связанная с образом революционера и его деянием, вызвала наиболее противоречивые отклики современников. Некоторые из них посчитали персонажей выдумкой писателя. Это придает особую остроту вопросу о прототипах произведения.

Современники писателя знали, что сведения о казненных он брал из различных источников. Так, В.Н. Фигнер писала: “Много лет спустя Екатерина Бибергаль, осужденная на каторгу по делу Никитенко и Наумова (покушение на жизнь Николая II. – *Сост.*), говорила мне, что друзья повешенных передали Л. Андрееву биографический материал для рассказа” и добавила далее: “...но Андреев, по ее словам, не дал их настоящего образа” (*Фигнер. С. 245*). Вместе с тем верность писателя подлинной истории подтвердил в своей книге начальник петербургского охранного отделения А.В. Герасимов: «Героизм этой молодежи, надо признать, привлекал к ней симпатии в обществе. Леонид Андреев вдохновился этой темой и написал пресловутую повесть “Семь повешенных”» (*Герасимов. С. 123*).

Террористы были казнены 17 февраля 1908 г. Авторская дата завершения ранней редакции произведения, проставленная рукой Андреева в черновом автографе (*ЧА1*), – 16 марта. За месяц, прошедший со дня казни, писатель, по-видимому, хорошо изучил материалы процесса, многочисленные материалы газет, получил сведения, которые не попали в печать. Следы его знакомства с делом мы находим на протяжении всего рассказа, в отдельных деталях, подробностях, особенно в двух первых и в заключительных главах рассказа. Почти с протокольной точностью зафиксированы детали несостоявшегося покушения: указание на причину провала – “несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков...”; описание внешнего облика И. Щегловитова – “министр был тучный, склонный к апоплексии...”; состав участников заговора и обстоятельства их ареста. Так, петербургские газеты под заголовком “Аресты и вооруженные сопротивления 7 февраля” сообщали об арестованной “молоденькой барышне миловидной наружности”, прятавшей в муфте разрывной снаряд, которая при обыске “вела себя непринужденно и весело смеялась”; о другой юной девушке, при аресте стрелявшей в городского в упор из браунинга; о четырех молодых людях, опоясанных адскими машинами и вооруженных револьверами; об обнаружении в одной из конспиративных квартир по Фонтанке, 47, арсенала оружия: бомб большой разрушительной силы, динамита, маузеров, браунингов и патронов (см., напр.: *Русь. 1908. 9 февр. (№ 39). С. 2*). У Андреева об этом говорится так: “Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую – нашли на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия”.

Отдельные факты, упоминавшиеся в газетах, Андреев использует при описании персонажей рассказа. Так, стреляет в сыщиков при аресте Таня Ковальчук. А “красивая брюнетка” Лидия Стуре смеется в ожидании казни. В. Лебединцев и Е. Лебедева (Казанская) отказались назвать свои имена и умерли как “итальянский подданный Марио Кальвино” и “неизвестная, по прозвищу Кися”. В рассказе также двое неизвестных: “неизвестный, по прозвищу Вернер”, и “молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся”.

В рассказ перенесено немало и других подробностей. Совпадают время и место казни. Газеты сообщали, что казнь над террористами была совершена в Лисьем Носу на рассвете. Они были доставлены под конвоем жандармов из Петропавловской крепости на Приморский вокзал, а оттуда экстренным поездом привезены к месту казни. В “Рассказе” “черные, без фонарей” кареты смертников, окруженные жандармами, везут их по глухим окраинным улицам к вокзалу, который был “по-ночному темен, пуст и безжизнен”. Место казни террористов сходно по описанию с Лисьим Носом – лобным местом русской революции.

Точно воссоздается эмоциональная и нравственная атмосфера, необычность поведения этих людей перед смертью, что привлекало симпатии современников и признавалось даже их политическими противниками. А.В. Герасимов, под личным наблюдением которого разрабатывался и осуществлялся план разгрома террористической организации, в своей книге приводит свидетельства прокурора, по долгу службы присутствовавшего на казни террористов – прототипов “Рассказа”: “Как эти люди умирали... Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости... С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои” (Герасимов. С. 122–123).

С уверенностью можно утверждать, что прототипом Вернера стал Всеволод Лебединцев. Образ этого незаурядного человека, талантливого ученого-астронома, журналиста, отважного революционера, вызвал необычайный интерес, о нем много писали газеты (см., напр.: *БВед.* 1908. 19, 21, 22, 24 февр.). Загадочная личность террориста – организатора покушения на министра Щегловитова была в центре внимания следователей. И хотя на суде личность обвиняемого удостоверить не удалось – сам он назвал себя “неизвестным”, а был казнен под именем итальянского журналиста Марио Кальвино, – из агентурных источников было известно, что под этим именем скрывался руководитель Летучего боевого отряда Северной области Всеволод Лебединцев. Этот факт нашел подтверждение и в изданиях партии социалистов-революционеров, где ему были посвящены многочисленные некрологи и воспоминания. Близко знавший Лебединцева Я. Зильберштейн категорически утверждал, что в “Рассказе” тот фигурирует под именем Вернера (*Зильберштейн.* С. 146). Писатель М. Осоргин, в юности близкий к крайнему крылу партии социалистов-революционеров – эсерам-максималистам, воспоминания о Лебединцеве, написанные в эмиграции, назвал “Неизвестный, по прозвищу Вернер”, тем самым прямо указав на соот-

ношение образа и прототипа (*Осоргин М.* Неизвестный, по прозвищу Вернер // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. № 4). Многие черты незаурядной, яркой и в то же время трагической в своих противоречиях личности могли привлечь Леонида Андреева и найти отражение в его произведении.

Лебединцев, аристократ по происхождению (по материнской линии он принадлежал к старинному итальянскому роду), был единственным сыном в семье действительного статского советника, члена Одесской судебной палаты. Он получил блестящее образование: свободно говорил на нескольких языках, страстно любил музыку, пел, глубоко понимал искусство. Современники единодушно отмечали его привлекательную внешность: “Невысокого роста, с изумительно правильными и мягкими чертами лица, вообще – очень красив был Всеволод Лебединцев. Глаза темного бархата, волнистые длинные волосы, кожа матовой нежности, породистые уши и руки” (Там же. С. 194).

Данный портрет почти дословно совпадает с описанием персонажа у Андреева: “Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них...” По мнению Зильберштейна, Андреев точно воссоздал не только внешний облик Лебединцева, черты его лица, “тонкие и благородные”, его привычки (напевать итальянские арийки, пристрастие к крепкому чаю), противоречия его характера, нежного, страстного и в то же время “гордого и надменного”, но верно запечатлел и его психологическое состояние в последние моменты жизни.

Романтик и энтузиаст, Лебединцев в то же время был человеком рационального склада ума с явными способностями к исследовательской деятельности. С детского возраста он интересовался астрономией. Будучи студентом, получил за свои астрономические работы золотую медаль; в 1904 г. был принят в Пулковскую обсерваторию в качестве штатного астронома-вычислителя. Летом 1905 г. был командирован в составе научной экспедиции в Испанию для наблюдения солнечного затмения. Из Испании он уехал в Италию, где приобрел широкую известность в революционных кругах. Лебединцев пользовался большой популярностью среди римской интеллигенции, сотрудничал в ряде итальянских газет и журналов под различными псевдонимами. Он был блестящим оратором и, выступая на митингах в Риме, разъяснял смысл русской революции, в 1907 г. его имя было в центре внимания итальянской прессы. Он был вхож в высшее общество и лично знаком с русским послом в Италии Н.В. Муравьевым, поддерживал дружеские связи с А.К. Глазуновым, М. Горьким (перевел для итальянских газет горьковское письмо-протест против французских займов для русского правительства, финансирующих реакционную политику последнего) и другими выдающимися деятелями русской культуры. Современники писали, что в Италии он завоевал столько симпатий и любви, что жизнь его послужила сюжетом

нескольких литературных произведений, а газеты после его смерти были переполнены рассказами и воспоминаниями о нем (Семенова. С. 5).

Начальник жандармского управления А. Спиридович давал о нем следующую справку: “Лебединцеву было 28 лет. Сын богатых родителей, хорошо воспитанный, блестяще образованный, владеющий несколькими языками, любящий и понимающий искусство, красивый, изящный” (Спиридович. С. 369). Все эти детали нашли отражение в андреевской характеристике Вернера: “Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить как настоящий прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей братии, без риска быть узанным, смел появляться на великосветских балах”.

Лебединцев отрицательно относился к теориям рационального планомерного террора. Для него террористический акт мог быть лишь следствием “святой любви” и “святой ненависти”. В то же время он признавал необходимость для террориста самообладания и хладнокровия; эти присущие характеру Лебединцева качества позволили и ему самому вступить на путь террора. Леонид Андреев в описании Вернера подчеркивает наличие “огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества”. Друзья отмечали высокие нравственные качества его личности: “...это был один из тех редких высоконравственных людей, одно присутствие которого как бы возвышает окружающих, он так хорошо знал психологию людей, их достоинства и недостатки, что умел подходить к каждому и как бы отдавать ему часть своего я” (Семенова. С. 3).

Приняв решение посвятить себя революционной борьбе, Лебединцев порвал с прежней жизнью, старыми привязанностями и полностью отдался единственной задаче. Его отвагу, волю и громадную энергию отмечал и Спиридович. Для осуществления своего замысла Лебединцев поселился в Петербурге под именем итальянского подданного, корреспондента газеты “Трибуна” (Tribuna) Марио Кальвино. Итальянские корни, сказавшиеся в его внешности и темпераменте, блестящее владение языком, журналистский талант помогли ему убедительно сыграть эту роль. Итальянский посол, посетивший Лебединцева в тюрьме перед казнью, остался уверен в его подданстве и предлагал содействие итальянского правительства для его освобождения, от чего осужденный отказался (см.: *Идельсон М.В.* Летучий боевой отряд Северной области партии с.-р. // Краеведческие записки. СПб., 1993. С. 18).

Вместе с тем сам Лебединцев сомневался в успехе покушения на Щегловитова, не поддерживал его и не должен был участвовать в нем лично. Но чувство долга и ответственности перед молодыми товарищами не позволило ему остаться в стороне. “Лучше самому умереть,

чем других посылать на смерть, – сказал он однажды своему близкому другу” (*Зильберштейн*. С. 162). В покушении на министра он выбрал для себя главную роль. Хотя в “Рассказе” говорится, что жандармы обнаружили “у Вернера только черный револьвер”, А.В. Герасимов описывал задержание Лебединцева иначе: «Третий из террористов крикнул агентам, пытавшимся его взять: “Осторожно! Я весь обложен динамитом. Если я взорвусь, вся улица будет разрушена” (...) Человек, забронированный в динамит, был Всеволод Лебединцев, одна из замечательных фигур в революции (...) С большими предосторожностями Лебединцева доставили в охранное отделение. Он был по всему телу опоясан динамитными шнурами. Террористы предполагали бросить бомбу в карету министра. Если бы это не удалось или бомба бы не взорвалась, Лебединцев предполагал в виде живой бомбы броситься под карету министра и погибнуть вместе с ним» (*Герасимов*. С. 122). После революции 1917 г. было принято решение об установке памятника революционеру в Одессе, где прошли его детские и юношеские годы. Но этот проект не осуществился. Памятником стал “Рассказ о семи повешенных”.

Л. Андреев познакомился с Лебединцевым еще в 1905 г., когда во время создания драмы “К звездам” часто приезжал в Пулковскую обсерваторию. Возможно, что знакомство с ним сказалось на центральной идее этой драмы, воспевающей бессмертие человека – сына вечности, равнозначность научного и революционного подвига. Между ними установились дружеские отношения, и Лебединцев стал частым гостем у Андреева в Петербурге. Некоторые детали их взаимоотношений приводятся в воспоминаниях Я. Зильберштейна: «Л. Андреев был лично знаком с Лебединцевым (...) В свободные часы В.В. заходил к Андрееву, который в продолжительных беседах мог оценить блестящие качества разностороннего и оригинального ума Лебединцева. Кроме того, Лебединцев давал уроки итальянского языка жене Андреева. Понятно, что арест и вся дальнейшая участь Лебединцева произвела сильное впечатление на автора “Жизни человека”» (*Зильберштейн*. С. 164).

То, что Лебединцев стал прототипом андреевского героя, доказывают и черновые рукописи. В них он неоднократно фигурирует то под именем Марио, то Кальвино. Затем реальные имена зачеркиваются и заменяются именем Вернер. Возможно, что само это имя Андреев взял из раздела объявлений в одной из газет, печатавшей материалы следствия. “Новое время” от 11 февраля 1908 г. извещало о кончине коммерции советника Адольфа Карловича Вернера. Может быть, это имя соединилось с фигурой террориста, о котором говорилось почти в каждом номере “Нового времени” с 9 по 20 февраля. Но возможно, что конспиративный псевдоним одного из главных персонажей рассказа связан с колоритной фигурой горьковского окружения, хорошо знакомой Андрееву. Н. Вернер – один из псевдонимов А.А. Малиновского (другие: Рядовой, Галерка, самый известный – Богданов), марксиста, общественного деятеля,

члена редколлегии газет “Новая жизнь” и “Вперед”, организовавшего в 1909 г. вместе с А. Луначарским и М. Горьким в Италии, на о. Капри и в Болонье, партийную школу, в которой проводили занятия известные интеллектуалы-марксисты. Лебединцев посещал М. Горького на Капри. Сохранилась фотография, запечатлевшая его рядом с писателем и его каприйским окружением (опубл. Л. Васильевой: Сов. архивы. 1971. № 4). Под именем Н. Вернера вышла популярная брошюра Малиновского “Куда идет развитие общества?” (СПб., 1906). Революционер и ученый, журналист и философ, писатель и врач, он был во многом схож с Лебединцевым.

В образе самой юной героини рассказа – “неизвестной по имени Муся” – нашли отражение черты двух казненных – Лидии Стуре и Елизаветы Лебедевой, дочери секретаря якутской духовной консистории, имевшей подпольную кличку Кися. Обе погибли, не достигнув двадцати лет от роду, обе стреляли в полицейских во время ареста, обе были беззаветно преданы делу, за которое пошли на смерть, обе воспринимали казнь как искупляющую жертву, как награду, победу и праздник. Современники (В. Фигнер, С. Ушерович) были более склонны считать прототипом Муси Л. Стуре, девятнадцатилетнюю девушку (у Андреева: “младшей из женщин всего девятнадцать”), дворянку, дочь подполковника, слушательницу Бестужевских курсов. В высказываниях представителей разных политических течений ее образ неоднозначен. Авторы черносотенного “Русского знамени” возмущались тем, что русская дворянка, вооружившись браунингом, встала рядом с безвестным Синегубом у великокняжеского дворца, и представляли ее как “слишком пылкую и доверчивую”, “наивную”, “очень хорошенькую, даже красивую, но очень глупенькую барышню”, случайно уловленную в сети освободительного движения “мрачными и шумными студентами-нигилистами, бородатыми Синегубами” (*Венोजинский В.* Смертная казнь и террор // Русское знамя. 1908. 16 мая. (№ 110). С. 1–2). Совершенно иной образ – возвышенный и поэтический – предстает из воспоминаний соратников по борьбе: Н. Морозов, В. Фигнер говорят о Л. Стуре как о девушке, исполненной дивной, одухотворенной красоты (*Фигнер С.* 244; *Морозов Н.* Повести моей жизни. М., 1965. Т. 2. С. 520–521). Известная эсерка П.С. Ивановская-Волошенко писала: “Нежная, хрупкая, совершенное дитя, смотревшая мечтательно своими большими синими глазами, обрамленными длинными ресницами, вся худенькая, еще не сложившаяся, с узкими острыми плечами, вытянутой шейкой и длинными-предлинными двумя косами” (*Ивановская-Волошенко П.С.* В боевой организации. М., 1929. С. 159). Полковник Иванишин, заместитель коменданта Петропавловской крепости, куда были заключены участники “дела семи”, свидетельствовал: “Из всех приговоренных к казни Стуре наиболее одаренная натура, с тонкой психикой (...) одухотворенная, талантливая” (*Иванишин С.* 500). Знавшие ее современники отмечали особую экзальтированность девушки, ее сосредоточенность на идее жертвенной гибе-

ли, которая представлялась как величайшее счастье. По словам очевидцев, она шла на смерть как на праздник. К этой трактовке и склонился Андреев, создавая образ Муси: “И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний. Она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казнь идут к высокому небу”.

Другой женский образ – Тани Ковальчук – вобрал в себя черты характера и облика Анны Распутиной, а также эпизоды биографии и обстоятельства ареста Веры Янчевской. Именно Янчевская была хозяйкой конспиративной квартиры, которая служила штабом для террористов, где хранилось оружие и подробные планы Петербурга. “Это у нее на квартире, – пишет Л. Андреев, – открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встретила выстрелами и ранила одного сыщика в голову” (последнего не совершали ни Распутина, ни Янчевская; полицейского ранила Е. Лебедева).

Вполне возможно, что Андреев мог знать и Распутину. Она была сестрой известного критика В. Шулятикова, с которым Андреев работал в газете “Курьер” и который был автором одной из первых статей о творчестве писателя (“Одинокие и таинственные люди”): (Рассказы Леонида Андреева) // Курьер. 1901. 8 окт. (№ 278). С. 3; см. об этом: *Михайлова М.В., Шулятиков В.И.* “Рассказ о семи повешенных” Л. Андреева. С. 115–123).

Анна Распутина-Шулятикова была одной из самых старших и опытных среди арестованных террористов, к тому времени ей было 32 года. Курсистка Высших женских курсов, мать двоих детей, она давно занималась революционной работой, не раз сидела в тюрьмах, несколько лет провела в сибирской ссылке, в 1907 г. вступила в боевую организацию эсеров. А Герасимов называет ее в числе руководителей группы (группа Лебединцева–Распутиной). Она осуществляла связь между членами группы, передавая им оружие. Имя Распутиной было первым, переданным Азефом царской полиции. Помимо беззаветной храбрости, ее отличали заботливое отношение к товарищам, постоянная тревога за других, что Андреев и подчеркнул в образе своей героини: “И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук”.

Прототипом для создания образа молодого офицера Сергея Головина стал сын придворного служителя студент Сергей Баранов, на следствии заявивший о том, что, зная о посягательстве на жизнь министра юстиции, он лично в этом участия не принимал.

Образ купеческого сына Василия Каширина, человека случайного в революции, бравярующего своей храбростью, но не имеющего идеи, которую можно противопоставить ужасу смерти, складывался, скорее всего, также из черт двух реальных людей – крестьян Александра Смирнова и Петра Константинова.

Крестьянин Александр Смирнов был виновником убийства начальника тюрьмы Гудима. Затем под видом торговца (возможно, отсюда

возникает у Василия Каширина отец-купец) держал одну из конспиративных квартир Летучего отряда. Был арестован 7 февраля на Васильевском острове в одежде рабочего, оказал вооруженное сопротивление агентам, ранив одного в рот, а другого в руку. Петр Константинов был единственным среди арестованных, кто раскаялся в своей деятельности, купив себе жизнь ценой предательства, дав подробные показания о своих товарищах (см.: *Черников А.П.* К творческой истории “Рассказа о семи повешенных” Л. Андреева).

В черновых редакциях этот персонаж носил фамилию Попов. Дав своему персонажу иное социальное происхождение, Андреев подбирает ему и соответствующую “купеческую” фамилию. Возможно, она подсказана была фамилией деда М. Горького – Василия Васильевича Каширина. В эти годы (1906–1908) Горький обдумывал замысел автобиографических произведений и, как свидетельствуют его близкие, много рассказывал “о Нижнем Новгороде, о Волге, о своем детстве” (*Андреева М.Ф.* Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1961. С. 123). Мог говорить об этом и с Андреевым, жившим на Капри в 1907 г. после смерти жены.

Таким образом, рассказ Андреева насыщен различного рода реалиями. Одни из них – лишь толчок к мысли художника, другие создают атмосферу времени, некоторые – влияют на авторскую концепцию (Вернер–Лебединцев).

Современники были правы, утверждая, что писатель не дал действительных портретов террористов, не собирался писать своих героев по моделям их возможных прототипов, хотя вместе с тем (как видно из предыдущего изложения) достаточно широко использовал отдельные прототипические детали. Он создавал обобщенный образ революционера, каким его представлял. Не случайно своих героев 900-х годов Андреев наделяет чертами народовольцев-семидесятников, столь привлекавших его романтикой самоотречения и жертвенного подвига. Определенная близость андреевских революционеров-террористов к народовольцам была отмечена критикой. Например, Мусю сравнивали с Софьей Перовской. А тип Каширина может быть соотнесен с фигурой Николая Рысакова, на допросах раскаявшегося и предавшего товарищей. Очевидное знакомство писателя с многочисленными документальными материалами по делу первомайцев, появившимися в 1906 г. в связи с 25-летием этого трагического для России события (Дело 1 марта: Правительственный отчет. СПб., 1906; Процесс 1 марта: 1881 г. СПб., 1906; биографии С. Перовской, А. Желябова, И. Гриневецкого, многочисленные воспоминания), наложило отпечаток на общую тональность рассказа, в частности на описание суда над террористами и их поведение. Свидетели процесса первомайцев подчеркивали царившую на нем атмосферу высокой трагедии, обусловленную предопределенностью смертного приговора. Отсутствовала шумная агитационность, осужденные строго и спокойно объясняли свою позицию, пытаясь снять обвинения в безнравственности и жестокости. Возможно, что и выбор числа осужденных на казнь

террористов – не семь, как в действительности, а пять – был не случаен и напоминал о пяти первоартовцах: “На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы (...) Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц”.

Андреев попытался передать суть того историко-культурного феномена, каковым стал в начале XX в. русский политический терроризм, сосредоточил внимание на психологии движения, отличавшегося крайней неоднородностью, отмеченного кризисными чертами, соединявшего бескорыстных подвижников “идейного террора”, опьяненных красотой жертвенного подвига, и “мастеровых кровавого цеха”, которых привлекала возможность играть человеческими жизнями. Явные признаки вырождения проявились в течениях, сделавших своими принципами лозунги “цель оправдывает средство” и “все позволено” (террористы-максималисты и “экспроприаторы”); в результате террористическая деятельность зачастую превращалась в самоцель, открывая возможность потрясающей по своему откровенному и хладнокровному цинизму провокаторской деятельности Азефа. Жизнелюбие, бодрость и энергия Сергея Головина, самоотречение во имя любви к ближнему Тани Ковальчук, экзальтированная готовность к жертвенному подвигу Муси, холодный ум и железная воля Вернера – и вместе с тем вернеровские усталость, разочарование и скептицизм, самоутверждение через революционное действие Василия Каширина, – все это в совокупности отразило некоторые главные черты революционеров-террористов 900-х годов (см. подробнее: *Шишкина Л.И.* Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб., 2009. С. 113–147).

Для более полного раскрытия своей концепции недопустимости смертной казни Андреев вводит в рассказ, наряду с образами революционеров, двух убийц-уголовников – крестьянина Янсона и разбойника Мишку Голубца, по прозвищу Мишка Цыганок.

Образ Янсона был также подказан Андрееву газетными сообщениями о террористах. Рядом с изложением обстоятельств дела рассказывалось о суде над крестьянином Августом Вебером: “Приговором С.-Петербургского военно-окружного суда, вошедшим в законную силу, присужден к смертной казни через повешение крестьянин Вебер, виновный в вооруженном нападении на дом Мейгаса в Петергофском уезде и изнасиловании жены хозяина” (Русь. 1908. 18 февр.). Более подробно о преступлении Вебера, с описанием зверских истязаний хозяев усадьбы, сообщалось в “Биржевых ведомостях” (1908. 15 февр.). Приговор был приведен в исполнение там же, в Лисьем Носу, 17 февраля.

Так появляется в “Рассказе о семи повешенных” эстонец Иван Янсон, тупой, безгласный, жестокий, с вечно заспанными глазками, который, действуя под влиянием первобытных инстинктов, совершает страшное по своей жестокости убийство. Первоначально в рукописях (ЧА1, ЧА2) он был “латыш из Вредена”. В окончательной редакции он

становится эстонцем, сохранив при этом латышскую фамилию Янсон. Фраза Янсона “Меня не надо вешать”, семь раз повторенная им в рассказе, была подсказана встречей Андреева с финном, который однажды ночью привез писателя в Куоккалу и отказался взять в награду рубль, повторяя при этом: “Мне не надо рубль”. К.И. Чуковский, рассказавший этот случай, точно заметил, что Андреев умел вовлекать в круг своих произведений детали, казавшиеся людям мелочами, и мог придавать этим мелочам “неожиданную художественную ценность” (*Чуковский К. Люди и книги. М., 1960. С. 502*).

Характерен процесс создания образа Цыганка. Биограф Андреева Н.Н. Фатов сообщает факты из воспоминаний революционера П.Я. Заволокина, который после выхода из тюрьмы беседовал с Андреевым на тему о смертниках. «Я рассказал Л. Н[иколаевичу], – говорил П. Заволокин, – что за время пребывания в тюрьме встречал смертников среди уголовных, было также немало и среди интеллигентов. Большинство смертников были осуждены к повешению за экспроприацию и вооруженные нападения, главным образом, на помещицкие усадьбы. Леонид Н[иколаевич] продолжал расспрашивать: “Наверное, они сильно скучают, отчаиваются, плачут?” С большим вниманием выслушал Леонид Николаевич мой рассказ о двух смертниках, осужденных за ограбление усадьбы и убийство старой помещицы. Это были два человека с противоположными характерами и различными настроениями (...) Один из них, полуинтеллигент, бывший сельский учитель, совершенно не причастный к экспроприации и убийству помещицы, как он выражался, “случайно пришитый к этому грязному делу”. Второй – активный участник убийства и ограбления, беглый сибиряк Мурилин (...), взявший на себя дело убийства помещицы и ограбление усадьбы, был закован в кандалы, ел за троих, прекрасно спал, распевал тюремные песни, шутил, смеялся (...) На вопрос надзирателя, не боится ли Мурилин смерти, сибиряк смеясь отвечал: “Смерти я не боюсь. Да и чего ее бояться? Все мы умрем, один раньше, другой позже. Не люблю и боюсь фараонов, тюремщиков и палачей. Всю эту нечисть, по-моему, следовало бы уничтожить. Кажется, до единого передудил бы всех, и рука бы не дрогнула”. Затем, обращаясь к помощнику начальника тюрьмы или к тюремному врачу, делая ласковое выражение лица, говорил: “Позвольте, почтеннейший господин, прикурить”. “И так мы покурим, попоем, а палач придет (чтоб ему не было ни дна, ни крыши) – умирать пойдем”. Леонид Н[иколаевич] глубоко задумался, достал из кармана своей бархатной тужурки записную книжку и сделал в ней какие-то отметки» (*Андреев Л. Избранные рассказы. М., 1926. С. 340–341*). Из истории первого заключенного Андреев почерпнул лишь некоторые психологические детали поведения человека перед смертью, нашедшие отражение в описаниях Янсона и Каширина (“учитель, больной неврастенией, страшно мучился и тщетно взывал к правосудию. Совершенно не ел, не спал. Ночью вскакивал с койки и горячо молился Богу, призывая всех святых”). А вот в фигуре смертника Мурилина вполне

узнаваем андреевский Цыганок, с его темным разбойничьим прошлым и презрением к модному слову “экспроприаторы”, стихийным протестом против несправедливости мира и ненавистью к охранителям его устоев, с его присловьями, поговорками и строчками из разбойничьих песен, встретивший смертный приговор словами: “Верно! Во чистом поле да перекладинка”. Он для Андреева олицетворял анархический бунтарский дух, свободолюбивую, но в то же время непросветленную, дикую стихию, сосредоточенную в русском народе, для которого, по словам писателя, “бунт был религией, а религия бунтом”.

Таким образом, и при изображении непросветленного сознания Андреев шел от факта, случая, слова, переплавленных в художественный вымысел и подчиненных основной авторской задаче: “указать на ужас и недопустимость смертной казни – при всяких условиях”.

Как работал писатель над воплощением своей идеи, показывают его черновые рукописи. Общий текстологический комментарий (см. с. 584–588) необходимо дополнить наблюдениями над развитием конкретных мотивов и образов при создании рассказа, как и отдельными наблюдениями, в том числе стиливыми, над эволюцией повествования.

Как свойственно Андрееву, в ранних вариантах рассказа прослеживается непосредственная связь с конкретными реалиями и событиями, давшими толчок для его написания. В начале ранней редакции звучит мотив обреченности террористов в результате предательства, о котором так много писали газеты: “Они не знали, что уже преданы они шпионом, сумевшим войти в их тесную среду, что уже несколько дней по пятам преследовали их бессонные сыщики и петлю держали в руках”. При этом на первых этапах работы отчетливо заметны элементы публицистического стиля. Так, вторую главу *Ча1* открывала пространная характеристика современного момента в открыто публицистическом духе: “Это происходило в то тяжелое и страшное время, когда как бы пошатнулись разум и совесть части человечества. В мутное, как всегда, но спокойное русло жизни вливались отовсюду ярко красные ручейки человеческой крови. Каждый день в разных концах страны совершались убийства: и в городе, и в деревнях, и на дороге; и каждый день в разных концах страны [земли] люди веревкою давили других людей, называя это смертной казнью через повешение...” В *Ча2* этот фрагмент отсутствует, а описание ареста террористов, которое становится теперь началом второй главы, предельно сжимается до констатации факта.

Публицистичен Андреев и в своей аргументации невозможности смертной казни. В первую главу *Ча1* он включает собственные слова, неоднократно повторенные им в интервью и беседах и зафиксированные, в частности, в воспоминаниях Я. Богучарского: “Ничему живому, ни зверю, ни человеку, не дано знать дня и часа своей смерти. Не знает его больной, потому что надеется, не знает его даже самоубийца, ибо в последнюю минуту может раздумать, не знает его солдат, идущий на штурм, моряк, готовящийся взорвать свой корабль, ибо в последнее мгновение что-нибудь может измениться”. Эта мысль, переданная

сквозь призму сознания героя главы, министра, в *ЧА2* максимально психологизирует повествование, сообщая ему атмосферу особой художественной экспрессии, которая запечатлевает авторскую мысль о том, что “одно уже знание возможного часа смерти” наполняет человека непреодолимым ужасом.

В этом же направлении писатель работает и над остальными главами “Рассказа”. Он расширяет объем повествования, воссоздавая психологическое состояние различных персонажей, поставленных в кризисную ситуацию (к примеру, распадающееся сознание Янсона и Цыганка).

В главе “Поцелуй и молчи” значительно расширен эпизод, повествующий о том, как отец накануне свидания продумывает встречу с обреченным на смерть сыном, вводится мотив “поцелуй и молчи”, который в конечном итоге дает название главы. Первоначальное поведение матери при встрече с сыном: “Даже не поцеловала!” (*ЧА1*, л. [28?] 36*) – заменяется на противоположное: “Поцеловала в губы. И молча села”. Вписана и самая пронзительная часть главы – сцена прощального поцелуя отца и сына: “Ты, отец, благородный человек ~ умри храбро, как офицер” (*ЧА2*).

Значительному расширению в процессе работы подвергаются последние главы. Вставляются фрагменты, усиливающие контраст жизни и смерти. Так, в главе “Их везут” в *ЧА2* значительно расширяется описание теплой весенней ночи с ее влажным ветром, запахом тающего снега, хлопотливым бегом капели, чеканящей весеннюю песню. Оно подчеркивает вечность жизни природы, контрастирующей с тем, что совершают люди. В главе “Так люди приветствовали солнце” в *ЧА2* вводится важный в смысловом отношении абзац о море, включающий знаменитую строку романа “Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега”, ставшей одной из доминант темы революционного подвига. В этой же главе призрачность происходящего: “Тут наступил сон” – акцентирована дополнительным абзацем: “Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспмятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, шагал бесшумно, страдал без страдания”.

От реалии к художественному обобщению идет Андреев при создании образа Тани Ковальчук. Ее первоначальная характеристика – мужеподобный облик: “скорее вид молодого бреющегося мужчины, чем девушки”, стриженные волосы, резко очерченное лицо, грубоватый голос, грубоватые манеры: “курила папиросу за папиросой”, сидела “по-мужски, закинув ногу за ногу” (*ЧН1*, л. (16)), – скорее всего совпадала с конкретным обликом одной из террористок, ставших прототипом андреевской героини. Но позднее Андреев пишет новое начало главы “Смерти нет”, в котором выделяет не черты реального человека, а основную идею образа Тани Ковальчук – самоотречение и всепоглощающую любовь к ближним: “Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других

мучилась и тосковала сильно” (ЧА2). Эта характеристика без изменений входит в окончательный текст.

В первой редакции сознание Сергея Головина разрушалось под давлением ужаса смерти. Здесь именно к нему относилась фраза: “Безумие тяжко напоздало”, в дальнейшем ставшая характеристикой Василия Каширина. Мозг Головина не мог принять, что “останется и отцов сюртучок, и улицы, и даже царапина на стекле. И отцов сюртучок будет пахнуть бензином в своем шкафу, когда его уже не будет”. “Нельзя быть одновременно живым и мертвым, а он был одновременно и мертвым и живым, и Сергеем Головиным и тем окостенелым некто, который лежит под землею в деревянном ящике. И как Ивану Янсону, как Мишке Цыганку – ему, Сергею Головину разумному и твердому человеку – вдруг захотелось кричать. Не от ужаса, а в смутном сознании тела, что бессильно слово, что бессильна мысль, что в диком и необыкновенном крике, в каких-то особенных оттенках его звука, в особенном напряжении груди и гортани сумеет выразить себя тот, кто в нем” (ЧА1, л. <<55>> (77), 56 (79)). Во второй черновой редакции Андреев меняет концепцию образа, смещая акценты и изменяя отдельные сюжетные мотивы. Вместо бытового увлечения – “до страсти любил собирать белые грибы”, он наделяется столь же страстной любовью к пению при отсутствии слуха, “но за недостаток этот его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства”. При описании завтрака перед покушением лишний раз подчеркиваются его оптимизм и неистребимая сила жизни. На это же работает введенный сюжет о занятиях в камере смертника гимнастикой “по Мюллеру”. В результате в образе Сергея главной становится тема живой жизни, побеждающей страх смерти. Новая концепция получает отражение в названии главы. Первоначальное “Есть смерть, есть и ужас” в опубликованном тексте заменено на “Есть смерть, есть и жизнь”.

Значительные изменения внесены в характеристику Муси. Верный своей манере давать не “портрет паспортных примет”, а выражать во внешнем описании “идею” образа, писатель решительно убирает присутствовавшие в первом черновом варианте многочисленные конкретные описания: намеки на возлюбленного и мечты о свадьбе, указание на ее некрасивость. В представлении читателя Муся предстает красавицей, ибо главное в ней – духовная красота. Портрет Муси в первой редакции дан в контрасте черного и белого: “Была она чрезвычайно, до прозрачности бледна – и на черном фоне двери профиль ее казался вырезанным из белой прозрачной бумаги, на котором углем провели полоску бровей и затемнили черноту глаз”. Бледность, ассоциирующаяся со смертельной, и чернота глаз – глаз обреченной (позже те же “темные, жутко обведенные глаза”, “жуткие глаза обреченного” станут доминантой характеристики Саши Погодина в “Сашке Жегулеве”) выражают иступленную жертвенность, упоение страданием, что приводит к отрицанию жизни и приятию смерти. “Ей хотелось больше страданий, еще больше ужаса и истязаний. Для нее ступеньки эшафота были как лестница в небо, которую видел во сне Иаков, и чем больше страданий, тем выше становилась

лестница, тем прекраснее раскрывалось небо. Уже не в жизни она была, а в смерти, в прекрасной, как сад из белых роз, благоуханной смерти – и это делало ее нечувствительной к страху, родило в ней тихое умиление и восторг” (ЧА1, л. (60)).

Начиная со второй редакции и во всех последующих Андреев в портрете Муси, как бы полемизируя с первоначальным, акцентирует идею живого начала, воплощая ее в образе огня: “Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор” (ЧА2). Доминантой образа становится не идея обреченности, а тема бессмертия. В связи с этим значительно расширена глава “Смерти нет” в части, описывающей предсмертное состояние героини. В окончательной редакции ей уготована высокая участь: она поднимается над землей. Андреев связывает ее предсмертное состояние с открытием новой надсмертной истины, прикосновением к общим мировым законам существования, к “другой реальности”, где умирает только брэнная оболочка – тело, а человек оказывается бессмертен.

Как уже было сказано, рукописи рассказа свидетельствуют, что наиболее напряженная работа шла над образом Вернера. В набросках к гл. 6 ЧА1 он характеризуется как исключительная личность: человек огромной силы воли, не знающий страха смерти (“страха он не знал, тут как бы находился предел его чувствительности. Там, где люди начинали бояться, он испытывал только сильное раздражение, иногда доходившее до головы и неизменно толкавшее его к действию” (л. 34 (17))). Он “свободный мыслитель, умеющий заглядывать в бездны” (л. 39* (27)), философ, пытающийся разрешить загадку жизни и смерти.

По первоначальному замыслу Вернер должен был стать рупором философско-этических взглядов автора, прежде всего выразить андреевскую концепцию смертной казни. Не случайно в первой редакции вернеровские размышления о возможности и невозможности смертной казни почти дословно совпадают с рассуждениями самого писателя. В частности, Я. Богучарский в своем дневнике зафиксировал такие слова Андреева: “Надо Вам сказать, что я не был до настоящего времени убежденным противником смертной казни. Если я допускал возможность политических убийств, то должен был логически допускать и возможность смертной казни. Но последний процесс террористов, кончившийся их казнями, особенно сосредоточил мою мысль на вопросе о смертной казни. И вот, раздумывая об этом предмете, я напал на такую мысль: смертная казнь не должна существовать, потому что она противна закону жизни”. Сходную эволюцию проходит и Вернер. Поначалу смертная казнь не кажется ему несправедливостью: “Самое трудное, с чем вначале долго пришлось ему бороться, это было преступить закон: не убий – а раз он признал убийство, то должен был признать и казнь. Разница только в подробностях, а суть одна” (ЧА1, (л. 34 (17))). Не удовлетворившись этими доводами, Андреев в одном из вариантов

главы VI делает их более развернутыми. Его герой пытается как ученый-позитивист рационалистически объяснить существование в природе и человеческом обществе смерти и убийства, тем самым оправдывая и революционное деяние, и деятельность террористов с точки зрения дарвиновской борьбы за существование: “Или жизнь неприкосновенна, как говорят мистики-идеалисты, и тогда нет разницы между жизнью человека и жизнью растения, вши, клопа, и тогда нельзя убивать никого – а если можно убивать клопа, то можно убивать и человека. И так как во всем мире, где есть жизнь, где есть слабые и сильные, полезные и вредные, плохие и хорошие, угнетатели и угнетенные, – царит и убийство, то нет основания не быть ему среди людей. Поэтому война – убийственная борьба народов с народами, поэтому революция – борьба угнетенных с угнетателями, поэтому и террор – партизанская война одиночек”. Эти рассуждения Андреев заканчивает выводом: “Это была мрачная и суровая теория, создавшаяся в тяжелой атмосфере мучительной и неравной борьбы, теория, по которой противник отвечал тем же: за смерть платил смертью” (ЧА1, л. 40 (29)).

Но в “Заявлении” Вернера (гл. 12 ЧА1) писатель наделяет героя собственным прозрением, приводя его к выводу, что смертная казнь есть нарушение законов природы, и если принимать ее, то нужно “отменить и другие незыблемые природные закономерности: уничтожить все часы и прекратить восход солнца” (л. 81 (86)).

Придавая важнейшее значение взглядам Вернера, Андреев делает несколько попыток изложить их то в объективной форме авторского повествования (гл. 6 (VI {1}, VI {3})), то от первого лица, сначала в форме внутреннего монолога (VI {2}), а затем в форме письма, смысл которого – объяснить людям, что такое смертная казнь и почему казнить нельзя (VI {4}). Обращенное непосредственно к читателю, оно пронизано интонацией горячего убеждения: “Поймите, люди, что это закон: человек не должен знать дня и часа своей смерти”. Наконец, в форме официального заявления-протеста: “Я, неизвестный, по прозвищу Вернер, приговоренный к смертной казни через повешение, – во имя разума и человечества протестую против смертной казни как против чудовищного и безумного нарушения основных законов бытия” (гл. 12 ЧА1).

Как было показано ранее, от самой идеи письма Андреев отказывается лишь на самой последней стадии работы над текстом, при правке машинописи, и это не случайно. Известно, что В. Лебединцев в одиночной камере Трубецкого бастиона писал свое предсмертное послание. После казни адвокат А.М. Земмель передал родителям его последние слова: “Смерти не боюсь, избежать ее не желаю. По-прежнему вас люблю. Скорблю, что так вышло, но иначе поступить не мог”. Кроме того, за несколько часов до казни В. Лебединцев написал записочку своим итальянским друзьям, которая заключала в себе всего четыре слова: “Привет из потустороннего мира” (*Зильберштейн*. С. 163). Эти слова нашли отражение в названии главы 12 ЧА1: “Я говорю из гроба”.

В процессе работы образ Вернера претерпел значительные изменения. В первоначальных набросках остается отчетливая связь андреевского героя с его прототипом. Характерные черты личности и факты биографии В. Лебединцева, отчасти сохраненные и в окончательном варианте, но не акцентированные, здесь играют важную роль. В описании внешности подчеркивалось аристократическое происхождение героя: в *ЧА2* еще оставалась фраза, впоследствии также вымаранная: “Лицо у него было тонкое, хрупкое, аристократическое (...)” (*Варианты*, гл. 2, стк. 85–86). В ранней редакции Вернер не просто человек рационального, математического склада ума, но, как и Лебединцев, ученый. На суде он решал не шахматную задачу, а “обдумывал новый, очень сложный химический закон, который он, казалось ему, открыл”, и “черпал радость в самом процессе искания и мышления” (*ЧА1*, л. 35 (18)). В предсмертном одиночестве в камере он “быстро чертил пальцем в воздухе химические формулы. И весь воздух вокруг него, мертвый и затхлый, был полон этих живых невидимых значков” (*ЧА1*, л. 36 (19)). И ошибку он ищет не в шахматной партии, а в своих вычислениях. В окончательном тексте остается лишь упоминание о необычной походке и манере насвистывать несложную итальянскую арийку.

Но главное – андреевский персонаж сохранял неоднозначность, противоречивость натуры Лебединцева, которую отмечали все близко знавшие этого незаурядного человека. Я. Зильберштейн, в частности, констатируя непреклонность и абсолютное бесстрашие Лебединцева-революционера, говорил о глубоком пессимизме, с ранних лет ставшем одной из черт его мирозерцания. «Человеческая жизнь с ее слабостями, эксцессами эгоизма, с ее ложью и грубой борьбой за существование, казалась ему “пошлой комедией”, лишенной смысла и недостойной мыслящего свободного человека. Человек, возомнивший себя “царем природы”, казался ему отвратительным рабом своих страстей, своего желудка» (*Зильберштейн*. С. 155). Разочарование в человечестве, ощущение бессмысленности существования не раз приводили Лебединцева к попытке самоубийства. В Риме, где он жил последние годы, он хотел броситься в Тибр. В предсмертном письме он выражал свое презрение к людям – “этим червям, ползающим по земному шару, страдающим за чем-то и лгушим, лгушим вечно, потому что только так они могут найти свое так называемое счастье”, и объяснял желание уйти из жизни тем, что не хочет быть “невольным актером в пошлой комедии человеческой жизни” (Там же).

М. Семенова, сообщая в своих воспоминаниях о глубочайшей разочарованности, физической и моральной усталости Лебединцева во время подготовки покушения на Щегловитова, высказывала предположение о его осознанном желании гибели (*Семенова*. С. 13). “Очень возможно, что Вернер сам искал смерти”, – пишет Андреев (*ЧА1*, л. 35 (18)).

В первой редакции нашла отражение отмеченная сложность натуры Лебединцева. Вернер соединяет непреклонность революционера-борца, в котором смерть его товарищей “будила новую жажду мести, укрепляла

ненависть и делала ее беспощадною”, и глубочайшее разочарование “в жизни, в борьбе, в людях”. Строки предсмертного письма литературного персонажа напоминают размышления Лебединцева о лжи, царящей в человеческом обществе: “И понял я, что все люди – немые, и языка у них нет, а то, что они называют своею речью, служит только для всеобщего обмана, и от этого люди живут хуже, чем звери, которые говорят и понимают глазами. И еще понял я, что есть люди слепые и глухие и нет у них ни глаза, ни уха, а то, что они называют зрением и слухом, служит только для всеобщего обмана; и от этого каждый человек есть гробница правды, и между людьми ходит только Ложь” (л. 80 (85)), о жизни – безумии и дикой клоунаде (*ЧА1*, л. 82 (87) – 83 (88)). Факт смертной казни – “Убийства есть везде, а казнь только у людей (...)” (л. 81 (86)) – утверждает Вернера в последнем презрении к людям, среди которых он выделяет только своих товарищей, идущих в смерть.

В *ЧА1* несгибаемый Вернер, разумом презирающий смерть, так же как и остальные, испытывает мистический ужас: “Тубы его побелели. Их побелил ужас, впервые коснувшийся его сердца холодными, цепкими пальцами” (л. 38 (21)). Его мозг не может осознать одновременное существование жизни и смерти и разрушается перед лицом неразрешимого противоречия. В рукописях Андреев подробно воссоздает эволюцию состояния Вернера от равнодушия – к страху и ужасу перед лицом смерти. “И остолбенел – так ослепительно ярко, так мистически грозен был свет, внезапно озаривший его всегда трезвую, холодную голову” (л. 37 (20)). Мотив безумия особенно отчетливо звучит в главе 12 *ЧА1* “Я пишу из гроба”, подчеркнутый как самим текстом письма, крайне экспрессивным, лихорадочным, заканчивающимся отчаянным оборвавшимся криком: “Не казните! Не каз...”, так и авторским описанием состояния Вернера.

Однако подобная трактовка образа, как уже было сказано, не удовлетворила писателя. Во второй черновой редакции, близкой окончательной (*ЧА2*), он кардинально меняет ее. Отказываясь от большей части биографических реалий, связывающих литературного персонажа с судьбой конкретной личности, он оставляет лишь емкое обобщение: “Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы (...) Но уже давно, невидимо от товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость...” Но главное – характер потрясения, испытываемого Вернером перед смертью, оказывается принципиально иным. В первой редакции его мозг разрушался не от страха смерти, а от невозможности осознать одновременное существование жизни и смерти, от того, что “раскорячен ум”. В окончательной редакции именно осознание одновременности жизни и смерти наполняет его небывалым ликованием. Толчок для подобной трактовки также могло дать письмо Лебединцева, написанное перед несостоявшимся самоубийством в Риме. В нем, в частности, были такие слова: “...теперь пути к отступлению отрезаны. И сознание это меня переродило, наполнило грудь мою каким-то сумасшедшим ликованием. Я никогда не переживал таких дивных минут: сознание, что через

каких-то 3–4 часа меня больше не будет здесь, среди людей, что не буду я больше невольным актером в пошлой комедии человеческой жизни, дало мне столько счастья, как ничто в жизни” (*Зильберштейн*. С. 156). Андреев, очевидно пораженный возможностью такого психологического самочувствия, пытается в рассказе дать ему объяснение. В промежуточном, написанном после *ЧА1*, наброске он начинает второй вариант предсмертного письма Вернера, воссоздающего не безумие, а ликование от ощущения подъема над землей и перехода в некое новое биологическое состояние: “Завтра утром меня казнят. Это лучше, чем подняться на воздушном шаре. Правда, и на воздушном шаре, когда видишь землю в прорывы облаков, а над головою вечное солнце, начинаешь кое-что понимать. Но этого мало. Я как будто иду по узенькому хребту, очень высокому и очень узенькому, как острый нож, и по одну сторону вижу жизнь, по другую – смерть. Великолепное зрелище!

Я не испытываю ни головокружения, ни страха, но я очень волнуюсь. Волнуюсь перед красотой открывшегося невиданного зрелища. Волнуюсь еще и вот отчего: я чувствую, как я очень быстро, в течение этих часов перерождаюсь в новое существо, пока мне еще не известное, почти в новую биологическую форму. Хотя нет: я человек по прошлому или другой, незнакомый, новый, человек” (*ЧН1*, л. (52 об.)).

Этот мотив расширяется и обогащается при дальнейшей работе над текстом. В окончательном варианте новое психологическое состояние персонажа связано с полным обновлением всего духовного мира, с открывшейся Вернеру новой истиной. Вместо разрушения разума торжествует его победа. Вместо ужаса перед физическим уничтожением звучит идея бессмертия.

После появления в печати рассказ подавляющим большинством читателей и критиков был принят восторженно. Многие критики признали его событием современной литературы.

«“Рассказ”, может быть, лучшее, написанное этим волнующим и своенравным автором в последние два года. И какое это характерное, примечательное для Андреева, чисто андреевское произведение» (Пессимист. 5 кн. “Шиповника” // Уральская жизнь. Екатеринбург, 1908. 28 июня. (№ 140). С. 2). “Рассказ Андреева производит большое и тяжелое впечатление. И на иных потрясающее. (...) бесспорно, что это одно из лучших произведений автора” (*Измайлов А.* Литературные беседы: (Новая драма Горького. “Рассказ о семи повешенных” Леонида Андреева // *РС*. 1908. 17(30) мая. (№ 114). С. 2). “Это новое произведение Л. Андреева представляется мне большим литературным событием. Ничего равноценного в нашей литературе последнего времени я не знаю. И пока что он остается лучшим, и в то же время типичнейшим цветком, выросшим на почве истинно-русской конституции” (*Кранихфельд В.* Литературные отклики // Современный мир. 1908. № 6. Отд. II. С. 108). «Единственная в своем роде, потрясающая, громадная исполинская вещь (...) После набивших оскомину, прискучивших уху и сердцу “половых”,

экстравагантных, сверхмыслимых, сверхвозможных, сверхлитературных тем вдруг вспомнили о том, что есть потрясающая действительность, что счастье и огни, ужас и трагедии несет сама жизнь, что есть палачи и убиваемые, убийцы и казни», – писал Д. Фортунатов (*Журнальные впечатления // Обр. 1908. № 7. Отд. III. С. 57*).

Некоторые критики подчеркивали его исключительное значение для русской литературы в целом. «Без всякого опасения преувеличить можно сказать, что “Рассказу о семи повешенных” есть мало равных в русской литературе, а как рассказу о казни человека – нет равного» (*La vo. Литературные заметки // Южные ведомости. Симферополь, 1908. 17 июля. (№ 163). С. 2*). “Последняя вещь делает целую эпоху в русской литературе. Такого произведения не было и нет. Смертная казнь давно мучает и бередит совесть и сердце русского писателя. Но никто не дерзнул подойти вплотную к виселице и заглянуть проникновенным взором творца-психолога в душу казнимых” (*Раев В. Литературные впечатления: “Рассказ о семи повешенных” // Северный вестник. Ярославль, 1908. 20 мая. (№ 109). С. 2*).

Шквал отзывов, прежде всего газетных статей, появившихся не только в центральных изданиях, но и в периодике Поволжья (Ярославль, Самара, Астрахань), Урала, Севера и Юга России (Одесса, Киев, Харьков, Симферополь, Кишинев), Кавказа, Харбина и др., в первую очередь был обусловлен злободневностью и остротой проблематики сочинения. Подводя литературные итоги 1908 г., К. Чуковский писал: “Единственное, чем по-настоящему жива литература минувшего года, – это смертная казнь”. С благоговением упоминая “великолепный рассказ Андреева”, статью Толстого и ряд других произведений, критик делал вывод, что это “лучшие страницы нашей литературы, и жаль, что их было меньше, чем нужно” (*Речь. 1909. 1 янв. (№ 1). С. 7*).

Вместе с тем актуальность андреевского произведения была по-разному оценена критиками. Большинство из них с благодарностью отметили в рассказе живое дыхание времени. “В нем слышится наше безумное время. Читая рассказ, вспоминаешь о лицах, действительно существующих” (*Изгоев А. [Ланде А.С.] Литературно-общественный дневник // Речь. 1908. 17 мая. (№ 117). С. 1*). “Рассказ о семи повешенных” – это “отголосок наших дней, трагический жанр. Во внешних очертаниях его можно узнать события и лица близкого вчера, чувствуется дыхание газетной хроники” (*Раев В. Литературные впечатления: “Рассказ о семи повешенных”. С. 2*). «Рассказ этот, как и все творчество Андреева, носит на себе печать злобы дня, тенденциозности; но тема настолько широка, захватывающа и разработана она с такой подкупающей простотой (не свойственной автору) и оригинальностью, что модная тенденциозность тонет в глубине сюжета, в разнообразии и богатстве красок, как случайная капля мути в кристальных водах озера. “Рассказ” нельзя читать без душевной дрожи. Он не сочинен, – он вырван, как кусок теплого мяса с кровью из живой окружающей нас действительности» (*Вольный. Семь повешенных // Гражданин. 1908. 22 июня. (№ 45–46). С. 6–7*).

В то же время злободневность произведения рассматривалась противниками Андреева как желание во что бы то ни стало оставаться “модным писателем”. «Модная тема – это единственное “оправдание” автора, который весь свой талант тратит на улавливание “злоб дня”» (*Симбирский Н.* “Эксперты смерти” // *Голос Москвы.* 1908. 21 мая. (№ 17). С. 2). Писателю приписывалось стремление угодить политической конъюнктуре: «В Л. Андрееве надо особенно отметить умение реагировать на так называемые “политические моменты” в интересах левых партий. Это умение – чисто газетное. Нужно агитировать за прекращение русско-японской войны, он пишет “Красный смех”; идет агитация против смертных казней, он выпускает “Рассказ о семи повешенных”», – писал Бэн, делая вывод о “репортерском нюхе” Андреева (*Бэн [Назаревский Б.В.]*. На рынке литературы // *МВед.* 1909. 2 июня. (№ 124). С. 2). А в газете “Старая Москва”, каждый номер которой в 1908 г. выходил под лозунгом “сначала нужно искоренить крамолу”, неизвестный Читатель обвинял Андреева (а заодно и Л.Н. Толстого с его “Не могу молчать!”) в заказном происхождении их произведений: “Оба эти произведения, еще с их появления, усердно рекламируются красною прессою, особенно произведение Л. Андреева. Оба эти произведения не блещут никакими литературными достоинствами, в них так и чувствуется вымученность, неестественность и какая-то особенная казенность. Произведения написаны спешно, по особому заказу (...) Краски сгущены донельзя, и они настолько лубочны и крикливы, что производят попросту отталкивающее впечатление” (*Читатель.* Организация действует // *Старая Москва.* 1908. 8 июля. (№ 75). С. 2).

Некоторые критики упрекали писателя в излишней торопливости. Например, В. Поссе считал, что андреевский “Рассказ о семи повешенных” “мог бы занять выдающееся место в мировой литературе, если бы был дольше выношен и продуман автором и не наспех написан” (*Поссе В.* Жизненные вопросы нашей литературы // *Новая Русь.* СПб., 1908. 28 окт. (10 нояб.) (№ 74). С. 2). «“Рассказ о семи повешенных” – фотография, а не живопись, – утверждал рецензент “Одесского листка” И. Александровский, – и г. Андреев не дал ничего исчерпывающего в своей разработке затронутого сюжета» (*Одесский листок.* 1909. 26 авг. (№ 194). С. 3). А в другой своей статье тот же критик делал вывод: “Эти произведения нашего модного писателя не только не вплели новых лавров в его писательский венок, не только не содействовали укреплению видной позиции, занятой им, но оказавшейся далеко не прочной, к десятилетию его творческой деятельности, но и значительно пошатнули его репутацию даже в глазах его преданных, но мало разборчивых поклонников” (*Александровский И.* Литература и театр в 1908 г. // *Одесский листок.* 1909. 1 янв. (№ 1). С. 2).

Ю. Айхенвальд был возмущен самой возможностью создания художественного произведения на данную тему. «Когда в альманахе “Шиповника” появился “Рассказ о семи повешенных”, заглавная страница его была снабжена орнаментом из виселиц и висельников. И художник,

и писатель сделали из современного русского кошмара сюжет, из смертной казни – виньетку. В этом одном уже есть нечто кошунственное». Неприятие критика исходило из его представления о равнодушии и внутренней холодности Андреева. “Виртуоз околесицы, мастер неправдоподобия”, он, по мнению Айхенвальда, “только сочиняет, только вымышляет (...) Он выдумывает души, поступки, он сочиняет людей, и в этом – великое кошунство (...) Он не реалист и не фантаст (...) Он задал себе темы. Его привлекает какая-нибудь идея, чаще плоская, и, отправляясь от нее, он старается облекать ее в беллетристические одежды”. Поэтому «он из действительности, вынув ее теплую сердцевину, стал брать только внешние поводы. Он отзывался на ее моду, отвечал революции “Губернатором”, “Саввой”, “Так было”, отвечал смертным казням “Рассказом о семи повешенных” – но принимать у жизни заказы – еще не значит быть ей внутренне верным” (*Айхенвальд Ю. Л. Андреев // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1910. Вып. III. С. 65, 67, 88*). Невысоко оценивая художественное значение “Рассказа”, Айхенвальд между тем делает характерную оговорку: “Впрочем, – пишет он, – грешно предлагать к этому рассказу эстетическое мерило. Он сильно действует, но трудно решить – почему: благодаря ли автору или как раз оттого, что автора отодвигает здесь сама жизнь, – такая страшная, такая дикая, такая обильная смертью и, что неизмеримо больше смерти, смертной казнью” (Там же. С. 73).

По мысли многих критиков, андреевское произведение – это человеческий документ, выходящий за рамки чисто эстетической значимости. «Я не знаю, присутствовал или нет Л. Андреев при казни, (...) но думаю, что его рассказ не только “литература”. Рассказ о повешенных написан кровью и считаться с ним надо», – писал Г. Чулков (*Чулков Г. Казни // Слово. СПб., 1908. 18(31) мая. (№ 460). С. 2*). Его поддержал Д. Мережковский: “Бывают в жизни минуты, когда не до искусства. В искусстве, говорят, важно не *что*, а *как*. В повести Андреева важно не *как*, а *что*. Значит ли это, что тут нет искусства? Не знаю. Знаю только, что, если существует в мире нечто большее, чем искусство, то оно в этой повести, что здесь переступается какая-то грань, отделяющая жизнь от вымысла. (...) Это не рассказано, а пережито, не прочитано, а испытано; не узнаю мною что-то о других, а со мною самим произошло. *Это не о том, а то самое*” (*Мережковский Д. Сошествие в ад // Речь. 1908. 19 июня (2 июля). (№ 145). С. 2*). А Д. Философов вообще отказался дать эстетическую оценку рассказа, считая, что “перед столь значительным произведением, выходящим за пределы эстетики, – критика умолкает, должна умолкнуть”. “Андреев так рассказал о судьбе семи повешенных, что вы забываете о литературе, об авторе. Вы не созерцаете литературное произведение, не производите его эстетической оценки. Вы чувствуете себя действующим лицом этой драмы” (*Философов Д. Рассказ о семи повешенных // Московский еженедельник. 1908. 11 июня. (№ 23). С. 27*).

Рецензенты считали, что рассказ, обладая мощным моральным воздействием на современное общество, станет еще одним веским аргумен-

том против смертной казни. «“Рассказ” достигает поставленной автором задачи. Бессмыслица казни – не только в общественном, но и в психологическом смысле – совершенно ощутительна читателю» (Пессимист. V книга “Шиповника” // Уральская жизнь. Екатеринбург, 1908. 28 июня. (№ 140). С. 2). «Все нравственные, философские и юридические оправдания смертной казни отныне будут напоминать казенное мыло на удавку, – писал Д. Мережковский. – Конечно, и после “Семи повешенных” будут вешать, как прежде. Но так, да не так. Сторожевой крик совести раздался – и ничто его не заглушит. Все называли черное белым, но стоит назвать черное черным, чтобы рано или поздно согласились все» (Речь. 1908. 19 июня. (№ 145). С. 2).

За искренность и человеческую боль многие соглашались простить отдельные художественные недостатки произведения. “Все критики сошлись на одном: рассказ этот настолько ярок, целен, глубок и силен, что все его мелкие недостатки, все дефекты не могут заслонить того важного и прекрасного, что есть в нем и что делает его поэтому таким значительным, таким выдающимся, таким большим в смысле искусства”, – подводил итог первой волне откликов Ю. Соболев, объясняя причину привлекательности произведения для широкого читателя еще и тем, что художник, отрешившись от излюбленных приемов символики, схематизации и стилизации, вернулся к жизни. «Исходя теперь из быта, пользуясь исключительно материалом “каждого дня”, он расширил его границы, стал над бытом, и создал нечто необыкновенно сильное, сжатое и простое» (Соболев Ю. Литературные наброски // Сура. Пенза, 1908. 1 июля. (№ 140). С. 2).

Рецензенты с удовлетворением отметили художественную деликатность, неожиданное для “чрезмерного” Андреева чувство такта в освещении пограничных тем, когда он, «доведя читателя до края пропасти, удержался сделать дальше один шаг” (Соколовский М. V книга альманаха “Шиповник” // Голос правды. СПб., 1908. 17 сент. (№ 898). С. 3), отсутствие кричащих эффектов, чрезмерности и надрыва. «Нет нагроможденных ужасов, нет подчеркнутых теней, но эпическая простота дает поразительно живые образы. И при этом ни малейшей сентиментальности, ничего, что звучало бы фальшивой нотой (...) Простыми средствами, обычной манерой достигаются такие сильные настроения, когда “в небесах видишь Бога” и ужасаешься деяниям человека на земле» ([Б.н.] Новые произведения Л. Андреева и Шолом-Аша // Последние новости. СПб., 1908. 9(22) мая. (№ 95). С. 4). «Многие будут ждать от последней вещи Андреева с такой бездонно-страшной темой обычных андреевских ужасов, нагромождения трагической бутафории, кричащих эффектов. Они ошибутся. “Рассказ о семи повешенных” написан в строго реалистических тонах, как пишут Толстой и Чехов. Ни одного раздражающего, надуманного выражения, образа, сравнения. Все ясно, чисто, глубоко, а главное, просто, удивительно просто, как проста сама жизнь”, – писал В. Раев (Северный вестник. 1908. 18 мая. (№ 108). С. 2). Эту же мысль выразил рецензент газеты “Красноярец”: «К чтению

“Семи повешенных” читатель, напуганный нагромождением ужасов в предыдущих произведениях, подходит со страхом», но “уже по прочтении немногих глав успокаивается. Он видит, что у автора не было желания омрачить его душу, выставляя ужас во всем его безобразии. Ничего манерного, ничего вздернутого” (*Васенов М. По литературному полю // Красноярск. 1908. 30 июля. (№ 167). С. 2–3*). Подобное же ощущение пережил и В. Кранихфельд, не без удивления заметив, что, увлекая своего читателя “в крошечный ад пыток и истязаний, которому подвергаются здесь живые, чувствующие и мыслящие человеческие существа”, “Андреев ведет нас с осторожностью, граничащей с робостью. Многие он не договаривает, о многом совершенно умалчивает. Андреев не протестует, не обличает, — он только рассказывает и даже в тех потрясающих по трагизму местах, где кажется, что голос рассказчика вот-вот перейдет сейчас в крик пафоса, Андреев, как раз наоборот, вдруг сразу понижает тон и замедленным шепотом продолжает свою скорбную повесть” (*Кранихфельд В. Литературные отклики // Современный мир. 1908. № 6. С. 96*). Отказ от условно-символической манеры и возвращение к реализму в большой мере определили, по мнению критиков, успех “Рассказа о семи повешенных”: “С облаков вычурного символизма он снова вернулся на землю” (*Боривой [Якушев Д.П.]. Литературные очерки // Голос правды. 1908. 17 сент. (№ 898). С. 2*). «Художник победил сочинителя. От искусственного “неосимволизма” Андреев опять пришел к широкой литературной дороге, на которой так ярко маячат Толстой и Чехов», — выразил господствующее мнение В. Раев (*Северный вестник. 1908. 18 мая. (№ 108). С. 2*).

Односторонняя оценка “Рассказа о семи повешенных” только как протеста против смертной казни беспокоила Л. Андреева, а трактовка повествовательной манеры как отказа от предшествующих художественных поисков явно задевала. Этим объясняются его собственные, полемические и неоднозначные, оценки произведения. В интервью репортеру “Биржевых ведомостей” писатель заявил, что восторги по поводу “Семи повешенных” преувеличены, в то время как “Царь Голод” критикой не оценен (*Кодак. У Леонида Андреева // БВед. 1908. 12 нояб. (№ 10806). Утр. вып. С. 2*). В беседе с П. Пильским он разъяснял свою позицию. «И не плох, может быть, — отвечал он на вопрос критика о качестве рассказа, — но писать такие вещи легче легкого. Никак я не пойму моего читателя: такие безделушки, как “Семь повешенных”, нравятся, а “Царь Голод” не нравится. Ну, что может быть более потрясающего, чем самая простая и точная корреспонденция о повешенном человеке в каком-нибудь далеком и захолустном городишке? И больше я уже не читаю их, этих правдивых, ясных и ужасных известий. Веду статистику, но если бы ко мне пришли сейчас и рассказали, какое лицо было у приговоренного, у палача, у прокурора, я прервал бы рассказчика и не стал слушать» (*Пильский П. Леонид Андреев // Пильский П. Критические статьи. СПб., 1910. Т. 1. С. 19*). В другом же интервью Андреев опровергал собственную оценку: «Кто-то придумал,

будто я сам очень недоволен этой вещью. Писатель вообще не может никогда быть в восторге от своих сочинений. В этом смысле я и “Семь повешенных” не могу считать безукоризненным произведением. Но не больше того». Здесь же он объяснял и выбор художественной манеры: «Каждое произведение должно быть написано в том стиле, какой для него требуется. “Голод” нельзя было писать без стилизации. “Семь повешенных” нельзя было писать иначе, как в реальных тонах» (*Потемкин А. У Леонида Андреева // Петербургская газета. 1908. 27 авг. (№ 234). С. 2).*

Смысл этих на первый взгляд противоречивых высказываний в том, что Андреев не желал принимать успеха, predetermined темой. Он хотел, чтобы читатель видел в нем художника, ставящего вечные, “проклятые” вопросы бытия, открывающего “новые формы писания”.

Андреев, однако, был не совсем прав. Многие критики как раз отказывались рассматривать произведение исключительно в плане его злободневности. «“Рассказ о семи повешенных” ни в каком случае не может быть назван памфлетом против смертной казни», – предостерегал от односторонней оценки В. Кранихфельд (*Современный мир. 1908. № 6. С. 96*). “Близорукая и прямолинейная критика усмотрит в творчестве Андреева один из видов протеста против смертной казни и, быть может, такова была и тенденция автора”, – предполагал рецензент “Гражданина”, утверждая, что на деле Андреев-художник победил политическую тенденцию, заговорив о сложных проблемах человеческого бытия (*Вольный. Семь повешенных // Гражданин. 1908. 22 июня. (№ 45–46). С. 6*). “Какая бы тема ни была им избрана в смысле блеска злободневности и как бы эта тема (...) ни была близка нам, – она еще не самое главное”, – писал Лоэнгрин ([*Герцо-Виноградский П.Г.*] *Одесские новости. 1908. 11 мая. (№ 755). С. 2*). Отдавая должное произведению, критики увидели в нем круг типично андреевских проблем и определили его место в контексте творчества писателя. Выявляя его философское содержание, они выделили “Рассказ о семи повешенных” в ряду других произведений современной литературы, написанных на тему смертной казни. При этом находили в нем разные смыслы, соответствовавшие их собственным позициям, выдвигали на первый план разные стороны рассказа.

Ряд рецензентов отметил, что на материале смертной казни Андреев рассматривает вечно волновавшую его проблему жизни и смерти. “Казнь взята им не как самодовлеющий факт, безобразный по существу, но (...) чтобы еще ниже нагнуться над головокружительной пропастью и увидеть, кто победит: Некто в сером или человек”, – приходил к выводу М. Васенов (*Красноярец. 1908. 31 июля. (№ 167). С. 3*). Лоэнгрин (П.Г. Герцо-Виноградский) считал, что “Рассказ” – это не столько апофеоз повешенных, сколько размышление писателя над великими проблемами человеческого бытия, остановка перед таинственной гранью, отделяющей смысл жизни от смысла смерти. По его мнению, самое главное в рассказе то, что “все герои ходят приговоренные” (нам, в сущности, даже

неважно, кто их приговорил, скорее, их приговорил не кто-то, а что-то) около предельных точек человеческой жизни, ходят около темной бездны, где имеет равное право и человеческий оптимизм, и человеческий пессимизм”. Андреев дает почувствовать *философию смерти*, поднимаясь тем самым до уровня Л. Толстого (Одесские новости. 1908. 11 мая. (№ 7551). С. 2). Как попытку проникнуть в тайну смерти рассматривает “Рассказ” и С.В. Мирский. «“Семь повешенных” – это первый опыт раскрыть тайну двух миров. Одного – земного, а другого – лежащего где-то за границами его» (*Мирский С. У порога смерти: (“Семь повешенных” Леонида Андреева)* // Баку. 1908. 25 июля. (№ 129). С. 2).

Наряду с темой жизни и смерти современники увидели в рассказе и другую “андреевскую” тему – анализ человеческого сознания в кризисной ситуации. “Протест ли это против смертной казни? – задавал вопрос А. Изгоев, и отвечал: – Если хотите, конечно. Да, это протест! Но чувствуется, что Л. Андреева более интересовала другая, не общественная, а психологическая сторона, как люди идут заведомо на смерть, как преодолевают они ужас смерти и еще больший страх ужаса смерти. Христианские мученики впервые громко, на весь мир, поставили этот вопрос, который и для русской интеллигенции на долгие, тяжелые годы стал самым главным, особым вопросом” (*Изгоев А. [Ланде А.С.] Литературно-общественный дневник: Семь повешенных* // Речь. 1908. 17(30) мая. (№ 117). С. 2). Именно для того чтобы раскрыть множественность человеческого сознания, считали критики, Андрееву и понадобились не один, а семь повешенных. “Именно семь казнимых (...) как числовая полнота человеческих типов, подпавших под тяжкую руку власти. И все они различны, как различны человеческие лица, и все они – одно целое, как целостно-единая человеческая масса”, “с возможной для художника полнотой эти семь исчерпывают человеческое отношение к смертной казни”, – выразил эту мысль М. Премиров (*Литературные отклики* // Волжский листок. Казань, 1908. 20 июля. (№ 729). С. 2). Позднее В. Львов-Рогачевский в своей монографии сравнит “Рассказ” Андреева с лестницей, состоящей из семи ступеней, от “зверь-разбойника до святой мученицы, напомнившей современному человеку о связи между людьми и о победе, одержанной человеком над страхом смерти” (*Львов-Рогачевский 1914. С. 122*).

В. Краинхфельд увидел в рассказе ницшеанскую тему спора “малого разума” – интеллекта с “Самим”. Проведя человека от бессознательного, почти животного существования Янсона, смерть которого напоминает умерщвление на бойне скотины, от слабо глеющего “малого разума” Василия Каширина, через столкновение интеллекта и “Самого” в фигуре Головина, писатель в образах Вернера, Муси и Тани Ковальчук показал победу разума над страхом смерти (*Современный мир. 1908. № 6*). Любопытную иерархию образов выстроил Вольный. Он считал, что все андреевские герои разбиты на пары, представляющие разные уровни соотношения сознания и бессознательного. Первая ступень – два человека-животных, в агонии которых не участвовал дух, а только тело

с его властным инстинктом самосохранения. Вторая – пара анархистов, последние минуты которых проходят в борьбе духа и плоти, в которой побеждает плоть, а потому смерть этой пары еще ужаснее, чем первой. Третья ступень – Мусья и Вернер, у которых процесс борьбы плоти с духом оканчивается победой последнего, и мы присутствуем при апофеозе бессмертия. Наконец, на верхушке пирамиды – одинокая женская фигура, отдавшая жизнь любви к ближним, а потому не думающая о смерти и не боящаяся ее, – кульминационный пункт победы жизни над смертью, творчества над тленом (*Вольный. Семь повешенных // Гражданин. 1908. 22 июня. (№ 45–46). С. 6–7*).

Критики разошлись в оценке созданных Андреевым образов. Практически единодушно восторженно оценив “яркие”, “запоминающиеся”, “глубоко правдивые” фигуры Янсона и Цыганка, они высказали неоднозначные, часто абсолютно противоположные трактовки образов революционеров. Одни утверждали, что центральный персонаж – это Вернер, чья “фигура выписана изумительно отчетливо”, а глава о нем поразительна по изображению нравственного перерождения человека (*Соболев Ю. Литературные наброски // Сура. Пенза, 1908. 1 июля. (№ 140). С. 2*). Другим, напротив, фигура Вернера казалась “совершенно выдуманной, безжизненной” (*Боривой [Якушев Д.П.]. Литературные очерки // Голос правды. 1908. 17 сент. (№ 898). С. 2*). Многим представлялся наиболее удавшимся образ Муси. “В изображении Муси художественная мысль Андреева достигает высочайших вершин светлого идеализма, и для самого художника открываются новые горизонты, открывается выход из ужаса смерти отрицанием ее”, – писал И. Джонсон (И.В. Иванов) (*Киевские вести. 1908. 31 мая. (№ 145)*). “Наиболее слаб образ Муси”, – полемизировал с ним В. Делич, усматривая авторскую логическую ошибку и в ее рассуждениях, и в примеривании венца христианской мученицы террористке, которая несет в себе идею не смирения, а борьбы (*Делич В. Творчество ужаса // Астраханский листок. 1(14) авг. (№ 167). С. 3*). Его мнение разделял А. Изгоев, посчитавший попытку “синтезировать душу христианской мученицы с душой современной террористки” неорганичной, а потому – неудачной. Некоторые, подобно рецензенту “Гражданина”, вершиной лестницы, состоящей из семи человеческих ступеней, считали Таню Ковальчук, растворившую собственную личность в жертвенной любви к ближнему. Часть критиков восторженно отзывалась о женских типах: “В русской литературе после Тургенева и Чехова никто еще не рисовал таких законченных, цельных женских образов, как Андреев” (Ю. Соболев). Другие утверждали обратное: “Неудачны и женские типы” (Боривой (Д.П. Якушев)). Оценки пересекались, опровергали друг друга. Но в конечном итоге сходились в мысли, что Андреев, вернувшись к своей излюбленной теме жизни и смерти, в “Рассказе о семи повешенных” говорит решительное “да” жизни и решительное “нет” смерти.

Полемизируя с известной оценкой Н.К. Михайловского, считавшего главной темой андреевского творчества “страх жизни и страх смерти”,

П. Пильский утверждал: “Никакого страха смерти у Андреева нет”, – и называл “Семь повешенных” поэмой страха перед страхом смерти, а не самого страха ее: “Приговоренные – революционеры, грабитель и убийца – мужчины и женщины – боятся только наступления страха смерти, а не самой смерти, которая неизбежна и которую большинство из них благословляет, как подвиг, высшую радость и завидную долю, которую они принимают без сомнений и колебаний, решительно и твердо” (*Пильский П.* Критические статьи. СПб., 1910. Т. 1. С. 38–39). Преодоление ужаса и трагедии силой человеческого духа увидел в “Рассказе” и С. Франк (*Франк С.* Преодоление трагедии // Слово. 1908. 24 сент. (7 окт.). (№ 570). С. 2). Эта тема, сильно прозвучавшая в андреевском произведении, дала основание увидеть в нем религиозный смысл.

“Тема рассказа Леонида Андреева не столько психологическая, сколько религиозная”, – заявлял Г. Чулков. Религиозный смысл, в его понимании, заключался в андреевской трактовке смертной казни, весь ужас которой – в нарушении Закона. “День и час смерти не в руках человека – это религиозный закон. Казнь – нарушение этого закона. И эта религиозная антиномия раскрывается в рассказе Леонида Андреева с достаточной убедительностью” (*Чулков Г.* Казни // Слово. 1908. 18(31) мая. (№ 460). С. 2).

Возможность подобного прочтения, заложенная в андреевском тексте, обусловила высокую оценку произведения всегдашними оппонентами писателя – литературным кругом Мережковских, которые в это время много рассуждали о необходимости слияния искусства и религии как залога создания новой культуры. З. Гиппиус, в прежних статьях достаточно резко отзывавшаяся о творчестве Андреева, высказала свое мнение в письме к Б. Савинкову при обсуждении его повести “Конь бледный”, которая создавалась в это же время и затрагивала сходные ситуации. “Читали ли Вы его? – спрашивала она. – Рассказ, однако, хороший, есть очень сильные места, хотя есть и ужасно провальные. Очень интересно знать, что Вы о нем думаете”. Сравнивая два произведения и отдавая симпатии своему литературному ученику Савинкову, она отмечала: “У Андреева много гипноза, рассчитанного на нервы среднего обывателя” (Письма З. Гиппиус к Б. Савинкову / Вступ. ст. и публ. писем Е.И. Гончаровой // Русская литература. 2001. № 3. С. 146). Д. Мережковским и Д. Философовым “Рассказ о семи повешенных” был принят безоговорочно. Они увидели в нем воплощение важной для них идеи соединения революции и религии, обретения нового религиозного сознания. “Как ни велико общественное значение повести, религиозное – еще больше”, – считал Д. Мережковский. По убеждению Мережковского, человек в состоянии преодолеть смерть лишь через религиозное чувство, суть которого – вера в существование после смерти и возможность физического Воскресения, а трансцендентное утверждение личного бытия происходит через любовь. Потому он утверждал, что андреевские террористы “не молятся, не говорят о Боге, но с ними Бог”. Религиозный смысл, подчеркивал критик, заключен не в словах, он “глубже, проще и таинственнее слов”. Он – в том необычном предсмертном состоянии

Муся и Вернера, когда они начинают ощущать свое бессмертие” (*Мережковский Д.* Сошествие в ад // Речь. 1908. 19 июня (2 июля). (№ 145). С. 2). Мережковский трактовал андреевское произведение в русле своих тогдашних размышлений о равнозначности религиозного и революционного подвига, о религиозном смысле русской революции, выраженных в ряде статей этого периода (*Гиппиус З., Мережковский Д., Философов Д.* Le Tzar et la Revolution. [Р., 1907] / Царь и революция. М., 1999; *Мережковский Д.* Не мир, но меч. [СПб., 1908]. М., 2000). (Об этом подробнее: *Шишкина Л.И.* Терроризм в мифологическом поле русского религиозного сознания // Шишкина Л.И. Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб., 2009. С. 57–74).

Д. Философов считал, что “рассказ Андреева пронизан лучами религиозного просветления”, без которого невозможно принять факт казни и не проклясть мира. “Страдание героев и автора (...) достигает тех высших пределов напряжения, когда страдание превращается в чистую, светлую, божественную любовь. Смертная казнь хуже смерти, хуже убийства. Это нечто такое, что абсолютно отрицает любовь. Но Вернер и Муся не поколебались и пред этим высшим испытанием и твердо сказали Любви свое предсмертное Да” (Московский еженедельник. 1908. 11 июня. (№ 23). С. 6) (см.: *Шишкина Л.И.* Творчество Леонида Андреева в оценке Д. Философова // Философовские чтения: Сб. материалов первых Философовских чтений. Псков, 2005. С. 158–162).

М. Неведомский утверждал, что Мережковский истолковал состояние героев “Рассказа о семи повешенных” в своем собственном духе, а совсем не в духе Андреева. «Мы видели, как он старался восторженно истолковать ощущение не “бессмертия” (это он подсказывает только Андрееву свою идейку), а “отсутствия смерти” – ощущения, что “смерти нет”, которую Андреев приписывает героям своей “Повести о семи повешенных”. Именно это место повести побуждает г. Мережковского восклицать, что “семя прорастает в темноте”, что у Андреева появляется религиозное “да”». Сам же Неведомский трактует предсмертное состояние осужденных в ином ключе. Он считает, что мысль Андреева в “Рассказе” тождественна той, что выражена в драме “К звездам” в словах астронома Терновского, обращенных к Марусе: «“Смерти нет... Ты погибнешь, как погиб Николай, как гибнут, кому душой своей, безмерно счастливой, суждено поддерживать вечный огонь. Но в гибели твоей ты обретешь бессмертие. Разве умер Джордано Бруно?” Но именно эти строки вызвали крайнее неприятие Мережковского и дали повод для определения им Андреева как “духовного босяка” (“В обезьяньих лапах”»)» (*Неведомский М.* [Миклашевский М.П.] Модернистское похмелье // М. Неведомский: Вершины. СПб., 1909. Кн. 1. С. 27). Неведомский доказывал, что в “Рассказе о семи повешенных” страх смерти преодолевают те, кто стоит на более высокой ступени интеллектуального развития, кто может выйти за рамки своего узко личного существования и слиться с природой, с миром, с космосом. Исходя из такой концепции, критик считает особенно удачной психологическую разработку образа

Вернера (*Неведомский М. Об искусстве наших дней и искусстве будущего // Современный мир. 1909. № 3. С. 165–190*).

Тем не менее трактовка Мережковского нашла поддержку у ряда критиков. Рецензент “Северокавказской газеты”, скрывшийся под инициалами М.П., писал, что Андреев от “Жизни человека”, через “Тьму”, от религиозного неверия пришел в “Рассказе о семи повешенных” к религиозному сознанию. Это не значит, что Андреев стал религиозным человеком. Важно то, что он *дал психологию религиозного сознания*, показателем которого является отношение человека к смерти. Муся, Таня, Вернер “проникаются сознанием своей правоты, тихой радостью святых, умирающих за то, что истинно любили людей (...) Для того, кто любит, нет смерти, потому что любовь есть абсолютное утверждение жизни” (Северокавказская газета. Ставрополь, 1908. 19 сент. (№ 209). С. 3). «Religio – значит “связываю”. И у них была несомненно прочная и нерушимая связь с жизнью, – писал Ю. Соболев. – Ее утратил Вас. Каширин, у которого не было никакой религии, а потому его последние дни и часы наполнились невыносимым страданием. У Муси и Тани религией стала любовь, “широкая, как море”, у Вернера и Головина – жизнь во всем ее разнообразии» (*Соболев Ю. Литературные наброски // Сура. Пенза, 1908. 1 июля. (№ 140). С. 3*). О мировой любви как содержании религиозного сознания, которая освещает внутренний смысл и гармонию бытия и помогает преодолеть смерть, писал С. Франк. “Это – беспредельная, всепроникающая любовь. (...) Это не та любовь инстинкта физической жизни, созвучная с таким же инстинктом природы, трепещущая перед смертью, цепляющаяся за жизнь, а та бесконечно-мировая любовь, что и самый факт смерти низводит на уровень не страшного, простого, незначительного, хотя и очень интересного явления” (*Франк С. Преодоление трагедии // Слово. 1908. 24 сент. (7 окт.) (№ 570). С. 2*).

В последующее десятилетие “Рассказ о семи повешенных” рассматривался как значительное явление на фоне пестрой картины литературы того времени в обзорных статьях М. Неведомского, В. Краинфельда, А. Редько, В. Сперанского, К. Жакова, В. Сахновского. Большое место анализу рассказа уделялось в монографиях В. Фриче, Т. Ганжулевич, К. Чуковского, К. Арабажина, М. Рейснера, В. Брусянина, В. Львова-Рогачевского. В них критики уже в меньшей степени говорили о злободневности произведения, больше обращая внимания на отдельные проблемы, характерные для андреевского творчества в целом. Так, М. Рейснер, выясняя корни андреевского индивидуализма, соотносил его произведения с нищенством. Рассматривая “Рассказ” под таким углом зрения, он видел в нем наиболее высокое воплощение любви к “дальному” в духе Ницше, свойственное андреевским сверхчеловекам – террористам, любовь к собственной гибели, радостное шествие в объятия смерти, которые есть у Заратустры. И если один из приговоренных “в ужасном одиночестве” проводит свои последние минуты, то для других, полных любви к дальнему, “стены падают” и “смерти нет” (*Рейснер 1909. С. 124*).

О необходимости анализа отдельного произведения в контексте художественного мира писателя заявила Т. Ганжулевич. Она отводила «Рассказу о семи повешенных» особое место в творчестве Андреева. По ее мнению, в результате мучительных исканий и тотального анализа писатель пришел к синтезу, которым стало преодоление страха смерти у героев рассказа. «Для русского человека этот синтез особенно важен, потому что нигде жизнь и смерть не сталкиваются так часто лицом к лицу, как у нас, нигде не гибнут так бессмысленно маленькие единичные жизни» (*Ганжулевич Т.* Русская жизнь и ее течения в творчестве Л. Андреева. СПб., 1908. С. 121). В. Сахновский попытался определить особенности художественной манеры писателя, выразившейся, по его мнению, в соединении ультрареального, натуралистического с нереальным, фантастическим, сверхъестественным, что нашло отражение в «Рассказе» с его точностью психологических и бытовых деталей (*Сахновский В.* Писатель без догмата: (Основные мотивы творчества Леонида Андреева) // Новая жизнь: Лит.-обществ. альманах. М., 1916. Альманах I. С. 174–177). В. Львов-Рогачевский еще раз подчеркнул общественное звучание произведения, назвав его «драгоценным документом эпохи», сказав о необыкновенной чуткости Андреева к чужой боли: «он душой своей присутствовал при последних днях и последних часах всех обреченных, он оплакал каждого из них и он преклонился перед красотой человека» (*Львов-Рогачевский 1914.* С. 118). М. Неведомский, прослеживая эволюцию андреевского творчества, увидел в нем «медленную, но неуклонную» победу человеческого «я», явленную и в «Рассказе о семи повешенных»: «мы увидим борьбу и победу, а не поражение, увидим выпрямление и рост, а не съеживающееся в страхе бессилие. Можно сказать, что {...} Андреев пытается освободиться от кошмара наиболее тяжелых, наиболее удручающих сторон человеческого бытия» (*Неведомский М.* [Миклашевский М.П.] Зачинатели и продолжатели. Пг., 1919. С. 355).

Особая трактовка была дана в статье К. Жакова, предваряющей отдельное издание «Рассказа о семи повешенных». Автор – философ-неоплатоник, последователь В. Соловьева, связывавший с индивидуализмом пессимизм и кризисность современного мировоззрения. (Этому вопросу была посвящена его лекция «Леонид Андреев и пессимизм нашего времени», прочитанная в Вологде в зале Благотворительного собрания. См.: Вологодская жизнь. 1909. 25 авг. (№ 264). Отклик на нее: *Троцкий Л. Л.* Андреев и его пессимизм: (О лекции под таким названием К.Ф. Жакова) // Вологодская жизнь. 1909. 28 авг. (№ 267)). В творчестве Леонида Андреева, отразившем, по его мнению, хаос философских течений современности, он увидел выражение краха индивидуализма в лице Керженцева, а в альтруизме социалистов «Рассказа о семи повешенных» – «силу, не ломающуюся ни перед чем, уверенность и спокойствие в самые роковые моменты жизни». Андреев своей художественной интуицией признает метафизическое положение об абсолютном значении личности, которая не переступаема. «Керженцев не имел права

убивать Савелова (...), Вернер не имел права убивать провокатора, не должно было лишать жизни ни Янсона, ни Цыганка, никого другого, ибо ничтожный и великий, подлый и благородный, сильный и слабый равны в праве своем на жизнь (...) Существование, жизнь – неотъемлемое право каждого и посягать на это право есть во всех случаях безумие и преступление”. «Это утверждение личности как абсолютной ценности, как “вещи в себе” составляет огромную моральную заслугу автора и сближает его с великим религиозным мистиком и моралистом – Достоевским». Антииндивидуализм в “Рассказе” предстает как типическая черта русского героя и русского менталитета: “Дайте ему Бога, правду-истину, чтобы он мог любить Его больше себя и каждую минуту мог погибнуть за него; или дайте ему правду-справедливость на земле. Этот герой счастлив и жив лишь в подвиге самоотречения, жертве” (*Жаков К. Леонид Андреев и его произведения: (Опыт философской характеристики)* // Андреев Л. Рассказ о семи повешенных. СПб., 1909. С. XXI, XXIII, XXIV).

Вместе с тем оставался наиболее спорным вопрос об изображении революционеров в рассказе, в чем нашла отражение идеологическая борьба в русском обществе, противоположность позиций различных политических партий и общественных течений. Резко негативной оценке подвергся рассказ в правом крыле русского общества, воспринимавшем Андреева как выразителя идей революционизированной интеллигенции, которая, по утверждению рецензента петербургской газеты “Свет”, “сделала из человеческой крови одно из самых лакомых своих блюд”: “Зверство и безграничная кровожадность, с одной стороны, и безграничные же трусливость и трепет перед виселицей” – таково истинное лицо современного интеллигентного революционера (*Великорус. Интеллигентская душа* // Свет. 1908. 18 сент. (№ 246). С. 3). Андреев же, как утверждал критик “Московских ведомостей”, идеализировал своих террористов, сосредоточив внимание читателя “исключительно на красоте – не только нравственной, но отчасти и физической, – повешенных политических”. У него на фоне двух уголовников, разбойников-душегубов появляются “люди подвига” – «как лучезарные светила, как герои и полубоги, выступают “политические”. Их фигуры выписаны весьма старательно, детально и с несомненной идеализацией» (*Басаргин А. [Введенский А.И.] “Неореализм” Леонида Андреева* // *МВед.* 1908. 14 июня. (№ 137). С. 2).

В идеализации и героизации деятелей революционного движения некоторые критики видели трагическую вину русской литературы. «Освободительное движение нанесло сильный удар нашей литературе, оно наполнило ее “идейными” анархистами с ничтожным запасом идей», – писал С. Сыромятников (*Сыромятников С. Книги и жизнь* // Россия. СПб., 1909. 23 янв. (№ 972). С. 3). Эти слова были сказаны по поводу повести писателя и революционера-террориста Б.В. Савинкова (В. Ропшина) “Конь бледный”. Известно высказывание Андреева из цитированного письма к Короленко о “Ропшиных, которые для меня отвратительнее

самого Азефа” (опубл.: *Иезуитова Л.А.* Указ. соч. С. 193). Тем не менее сходные упреки раздавались и в адрес его “Рассказа”. Рецензент органа октябристов, газеты “Голос Москвы”, признав большую общественную пользу рассказа как протеста против смертной казни, считал вредной его стороной “крайне фальшивую, но, несомненно, могущую найти отклик во многих апологию террористов”, которые “совмещают в себе все, что только можно выдумать привлекательного: материнская заботливая нежность о чужих людях, идеалистка девушка, благородный, полный жизни юноша и, наконец, мыслитель. И все покушение рисуется подвигом”, обернувшимся горькой прозой кровавой русской действительности. Талантливый и яркий рассказ Андреева может оказать разлагающее воздействие на молодых людей, которые становятся пушечным мясом революции. “Можно ли смелость их признать героизмом? Можно ли вообще утверждать, что на такие акты всегда идут люди, одухотворенные благородными чувствами?” – задает вопрос критик. Сам же он считает, что для участия в терроре “нужна известная умственная неустойчивость или болезненная экзальтация (...) А то, что они сами идут на смерть, такой же сомнительный героизм, как самоубийство” (*Громобой [Бобринцев-Пушкин А.В.]*. Андреевские террористы // Голос Москвы. 1908. 5 июня. (№ 129). С. 1).

Произведение Андреева вызвало протест и у представителей официальной церкви. «Рассказ Андреева – это сплошная дифирамб героям от революции (...) Пять разношерстных революционеров с бомбами и браунингами, идущих на “идейное дело”, возведены в “бессмертные герои” и их террористический акт – на степень мученического подвига», – выражал свое возмущение священник Петр Сергеев. Он считает, что в рассказе происходит кощунственное смешение понятий подвига и преступления, ибо истинно христианский подвиг осуществляется без капли чужой крови. “В многовековой истории подвижничества шли сонмы мученического войска, бескорыстные герои долга и совести. И ни один из них, умирая смертью мученика, не пожелал смерти своим палачам”. Не видит он подвига и в отсутствии страха перед смертью, ибо, с позиций христианства, “бравирование жизнью и равнодушие к смерти – просто задорное банальство” (Братский листок. Саратов, 1909. 9 авг. (№ 167). С. 2).

Неудовлетворенность изображением революционеров выразили и представители противоположного лагеря. Некоторые из них посчитали персонажей выдумкой писателя. Например, В. Поссе полагал, что состояние христианской мученицы совершенно не свойственно современному революционеру-террористу. В статье “Выдумка Л. Андреева” он утверждал: «Современный террор, террор Муси и Вернера, можно понять лишь в связи с чувством невыносимой горечи, отчаяния, мести, которыми переполнены сердца террористов, а никак не в связи с тем лучезарным душевным состоянием, которое Андреев измышляет для Муси. Такое состояние могло быть у христианской мученицы, но та проповедовала “непротивление злу”, террористка же Муся стоит за противление всеми средствами до адской машины включительно» (Слово. СПб., 1908. 19 мая. (№ 460). С. 3). Примыкавший в эти годы к эсерам

А.В. Амфитеатров писал, что среди персонажей “Семи повешенных” есть люди, которые боятся казни, принимают казнь, но нет ни одного революционера, ибо “воображение его (Андреева. – *Сост.*), чуть вступив на площадь революции, всегда спотыкается” (*Амфитеатров А. Разговоры по душам.* СПб., 1909. С. 97). Эту мысль разъясняет в своей книге критик марксистского лагеря В. Фриче. По его мнению, Андреев, ранее изображавший одинокого интеллигента, не смог показать чуждый ему психологический тип, а потому своих активных интеллигентов он наделил той же усталостью и разочарованностью, которые характеризовали его обывателей-мещан. “Изображенные Л. Андреевым активные интеллигенты занимаются преимущественно личными, а не общими делами, интересуются более всего собственной особой, а не благом других, совершенно так же, как нарисованные им обыватели-мещане”. «Люди с большой потребностью коллективной жизни живут преимущественно личными ощущениями. Люди крепкой психики превращаются под его пером в неустойчивых неврастеников. Люди, идейные прежде всего, у него становятся плаксивыми сентименталистами. Борцы по натуре у него выходят “усталыми душами”. Люди, мечтающие всех поднять наверх, проповедуют необходимость “идти вниз”» (*Фриче В. Леонид Андреев: Опыт характеристики.* М., 1909. С. 38, 46).

О надуманности психологии андреевских героев, которая стала следствием малого знакомства с определенной средой, писал в своей монографии К. Арабажин. “Тип людей этого рода – подвижников-идеалистов чужд душе Андреева”, – считал критик. Поддавшись соблазну вдвинуть в данную обстановку людей своего типа – одиноких индивидуалистов, писатель не сумел воссоздать тип современного революционера ни в Вернере – “в нем нет прежде всего воодушевления, нет веры, нет жажды жертвы за других – черт, так выгодно отличающих террористов этого типа и смягчающих к ним отношение всех, даже не сочувствующих избранному ими пути”, ни в Мусе – ибо ее состояние нельзя возводить к психологии “мученицы-христианки, верящей в значение жертвы, когда речь идет о деятелях, ценивших, конечно, не страдание, а результаты своей жертвы и своего страдания”. “Андреева не интересует общественная сторона борьбы. Он хочет быть только психологом”, – делает вывод Арабажин. Но и в изображении предсмертного состояния революционеров он видит психологическую ошибку: несправедливо навязывая героям повести страх смерти и страх перед страхом смерти, давая им печальную и трусливую смерть, Андреев, по мнению критика, совершенно несправедливо унизил своих героев (*Арабажин 1910.* С. 198, 200).

М. Горький в статье “Разрушение личности” (1909) резко высказался о недостоверности героев Андреева, ни один из которых, по его мнению, идя на смерть, даже не вспомнил о своем деле. “Они производят впечатление людей, которые прожили жизнь неимоверно скучно, не имеют ни одной живой связи за стенами тюрьмы и принимают смерть, как безнадежно больной ложку лекарства” (*Горький М. Собр. соч.: В 30 т.* М., 1953. Т. 24. С. 63). В то же время в интервью 1908 г. Горький в целом дал высокую оценку литературной деятельности Л. Андреева: «Назо-

вите во всей европейской литературе имя, которое было бы интереснее Леонида Андреева. Я говорю это, вовсе не закрывая глаза на его слабые стороны. Я, например, не считаю “Рассказ о семи повешенных” очень ему удавшимся. Но это так! По-моему, Андреев самый сейчас интересный по выбору тем, по своим писательским настроениям беллетрист” (*Измайлов А. У М. Горького на о. Капри // БВед.* 1908. 6 июля. (№ 10590). С. 6).

При жизни автора “Рассказ о семи повешенных” переведен на идиш (1908), болгарский (1908), эстонский (1908), латышский (1908), итальянский (1908, 1919), немецкий (1908), шведский (1908), татарский (1909), армянский (1909), польский (1909), английский (1909), румынский (1910), французский (1911), испанский (1911), голландский (1918) языки.

После смерти автора повесть неоднократно привлекала внимание театральных и кинорежиссеров.

В 1920 г. экранизацией андреевской повести занимался П.И. Чардынин; фильм не был закончен (см.: *Цивьян Ю., Янгиров Р.* Чардынин Петр Иванович // Великий кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 1908–1919. М., 2002. С. 530).

В 1921–1924 гг. в варшавском театре “Централ” шла сценическая версия повести на идише (режиссер Зигмунт Турков); см.: *МуИ2012.* С. 237.

В 1960 г. режиссер Эн Снайдер (Anne Snyder) сделал телевизионную версию произведения в рамках сериала “CBS Repertoire Workshop” (США).

В 1968 г. в Чехословакии телеверсия повести (Balada o siedmich obesených) появилась на словацком языке. Режиссер Мартин Холли (Martin Hollý).

В 1982 г. “Рассказ о семи повешенных” был экранизирован на финском телевидении (Seitsemän hirtetyn tarina). Режиссер Ярмо Ниеминен (Jarmo Nieminen).

В 1989 г. телеверсию повести (Hét akasztott) создал венгерский режиссер Янош Домолки (János Dömölki); см.: *МуИ2012.* С. 363.

В 2005 г. “Рассказ о семи повешенных” был поставлен в московском Театре-студии под руководством О. Табакова. Премьера состоялась 25 ноября 2005 г., режиссер Миндаугас Карбаускис. Спектакль стал лауреатом премии “Золотая маска” в 2007 г. в номинации “Приз критиков и журналистов”.

С. 46. *Апоплексия* – инсульт в современной терминологии.

Сановник – лицо, обладающее особыми привилегиями, занимающее важные посты в государстве. Официально такого звания не было.

С. 47. *Он вспомнил ~ когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы...* – В начале 1900-х годов и в годы первой русской революции Боевой организацией с.-р. было осуществлено несколько громких убийств, поразивших общественное сознание и

подробно освещавшихся в периодической печати. В апреле 1902 г. был убит министр внутренних дел Д.С. Сипягин; в мае 1903 г. Г. Гершуни организовал убийство уфимского генерал-губернатора Н.М. Богдановича; 15 июля 1904 г. Е. Сазонов бросил бомбу в карету министра внутренних дел В.К. Плеве; 4 февраля 1905 г. на Сенатской площади Кремля бомбой И. Каляева было разорвано в клочья тело вел. князя Сергея Александровича; 12 августа 1906 г. эсеры-максималисты предприняли покушение на премьер-министра П.А. Столыпина, взорвав его дачу на Аптекарском острове; 15 октября 1907 г. боевой отряд Карла (Трауберга) осуществил сложно задуманное убийство генерала А.М. Максимовского.

С. 47. ...так своевременно, так ловко предупредили убийство... – Участники покушения на министра юстиции И. Щегловитова, который явился прототипом андреевского сановника, были выданы полиции провокатором Е. Азефом. М.Я. Бакай, чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении, утверждал в своих воспоминаниях: “Наблюдение велось за Щегловитовым, и он в это время свободно выезжал из дому. За участниками велась тщательная слежка, все было выяснено, и в тот день, когда готовилось покушение, Щегловитов не вышел из дома, а охранное отделение, мобилизовав все силы еще накануне, начало одновременно арестовывать участников этого дела во всех частях города, причем осведомленность доходила до того, что филеры знали, при ком находятся бомбы или только револьверы” (Бакай. С. 114–115).

С. 49. *И не смерть страшна, а знание ее...* – В этих словах сформулировано андреевское отношение к смертной казни, которая не может существовать, потому что она противна закону жизни (см. выше, с. 603). Хотя Андреев и утверждал, что специально не перечитывал произведений, затрагивающих тему смертной казни, боясь невольного повторения, тем не менее идея его рассказа перекликается с идеями Ф.М. Достоевского в “Идиоте” и В. Гюго в “Последнем дне приговоренного к смерти”. Ср. в рассуждениях о смертной казни князя Мышкина: “А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно* (...) Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он все еще будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор *наверно*, и он с ума сойдет или заплачет” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 20–21).

С. 52. ...старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. – Вс. Лебединцеву, прототипу Вернера, действительно было 28 лет (см.: *Стридович*. С. 369). Самой молодой участницей покушения на Щегловитова была 17-летняя Вера Янчевская, приговоренная к 10 годам каторжных работ. В связи с ее несовершеннолетием этот срок был уменьшен до пяти лет. Приговоренной к смертной казни Л. Стуре было 19 лет.

Судили их в той же крепости... – Петропавловская крепость начиная с первой четверти XVIII в. стала тюрьмой для государственных преступников и политических противников. Как сообщал в своих записных книжках полковник Иванишин, бывший в те годы заместителем коменданта Петропавловской крепости, заседание Петербургского военно-окружного суда действительно происходило в том же Трубецком бастионе (юго-западный бастион, названный по имени сподвижника Петра, Ю. Трубецкого, наблюдавшего за его возведением, в который традиционно заключались политические преступники. – *Сост.*), на его служебной квартире (*Иванишин*. С. 499).

...судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время. – В Положении о введенных правительственным указом от 19 августа 1906 г. военно-полевых судах говорилось: “Генерал-губернаторам или облеченным их властью лицам предоставляется в тех случаях, когда учинение гражданского вedomства преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании, предавать обвиняемого военно-полевому суду с применением в надлежащих случаях наказания по законам военного времени”. Эти законы предполагали: отсутствие у подсудимых защитников; свидетели со стороны обвиняемых не вызываются; суд рассматривает дело в течение двух суток; приговор вступает в силу немедленно и не позже чем через сутки приводится в исполнение (Русь. 1906. 20 авг. (№ 205). С. 1). “Процесс семи”, начавшийся 14 февраля 1908 г., велся под покровом особой тайны. Власти торопились закончить дело. Следствия, по существу, не было, так как оно безусловно привело бы к Азефу, чью фигуру как тайного агента полиции нежелательно было раскрывать. Обвинение было вынесено не на основе расследования, а на основе агентурных данных, которые исчерпывающе представляли план покушения и роль каждого из участников (*Зильберштейн*. С. 154).

С. 53. ...*неизвестная, по прозвищу Муся.* – Среди схваченных по делу о покушении на Щегловитова фигурировали две неизвестные. Под именем Казанская умерла не назвавшая себя на следствии Е. Лебедева. Кроме того, в газетных репортажах о следствии часто упоминалась “Неизвестная, по имени Кися”. По ассоциации с этой кличкой, возможно, и возникло имя собирательного персонажа, в котором Андреев воплотил черты, важные для него, в молодой революционерке, соединив в нем детали внешности и биографии как неизвестной Киси, так и назвавшей себя Л. Стуре.

...внутри человека как бы зажжен огромный сильный огонь... – С образом Муси в рассказе связана тема жертвенного подвига во имя

всепоглощающей идеи, напоминающего раннехристианскую жертвенность. На это указывали современные критики как на характерную психологическую черту многих участников террористического движения. Поэтому с самого начала тема Муси пронизана библейскими образами и мотивами. Один из них – многозначный символ огня, различные смыслы которого обыгрывал Андреев в своих произведениях. Огонь – обязательная принадлежность жертвенника. “Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает” (Лев 6: 131). Этот смысл использует писатель для характеристики Муси.

С. 54. ...а у Вернера только черный револьвер... – Андреев следует фактам, которые сообщали газеты о том, что охранные агенты выследили “двух прилично одетых юношей, спокойно прогуливавшихся по Морской улице”. При аресте и обыске у одного из них был найден снаряд большой разрывной силы, у второго – заряженный браунинг. Этим вторым и был назвавший себя итальянским подданным Марио Кальвино В. Лебединцев.

...судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью... – Таинственная фигура итальянского подданного Марио Кальвино была в центре внимания следователей. Из агентурных источников было известно, что под этим именем скрывается руководитель Северной летучки Всеволод Лебединцев. Но сам он это отрицал, а официально доказать это не удалось.

С. 55. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову. – В биографии Тани Ковальчук Андреев вновь соединяет реальные факты жизни разных людей. Склад бомб и динамита был обнаружен на квартире Веры Янчевской (см. с. 610). Стреляла в агентов охранного отделения при задержании Лидия Стуре. Газеты сообщали, что “молодая, высокого роста, красивая брюнетка, выхватив револьвер, выстрелила в агента, но промахнулась и уже на бегу сделала второй выстрел, уже в себя, но опять промахнулась” (Русь. 1908. 9 февр. (№ 39)). То же подтверждает и А. Герасимов: когда агенты подошли к нежно влюбленной парочке, которую изображали С. Синегуб и Л. Стуре, то “молодая девушка молниеносно выхватила револьвер и выстрелила. Молодой человек не оказал сопротивления” (Герасимов. С. 121). Ранила городского Е. Лебедева–Казанская при аресте: “Поднявшись по лестнице в четвертый этаж участка Спасской части, агент и городской (вдвоем арестовавшие девушку на набережной Екатерининского канала. – *Сост.*), проходя через узкую дверь, освободили руки арестованной. Едва успел агент охраны открыть дверь, как молодая девушка быстро выхватила браунинг и выстрелила в городского в упор. На стрелявшую бросился агент и вместе с набежавшими на выстрел городскими обезоружил девушку и привел ее в участок. При обыске в кармане у нее найдена запасная обойма с патронами. Арестованная наотрез отказалась дать какие-либо показания или назвать себя”, – такие подробности сообщала газета “Русь” (1908. 8 февр. (№ 38). С. 4).

С. 56. *Родом он был эстонец, из Везенберга...* – Везенберг – уездный город в Эстляндской губернии, второй по величине после Ревеля, расположен в непосредственной близости от границы с С.-Петербургской губернией. Город Раквере в современной Эстонии.

...переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. – Словарь Брокгауза и Ефрона отмечал, что в начале XX в. выселение из Эстляндской губернии приобрело массовый характер ввиду нехватки земли – “безземельные эсты массами переселяются в ближайшие великорусские губернии – С.-Петербургскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую” (*Брокгауз Ф., Ефрон И.* Энциклопедический словарь. СПб., 1904. Т. 41. С. 119).

С. 57. *... а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах.* – После событий 9 января 1905 г. Россия была охвачена массовым движением в крупных промышленных центрах и в деревнях. “Забастовки”, “Сходки, демонстрации”, “Поджоги помещичьих усадеб”, “Покушения, экспроприации”, “Массовые митинги” – подобными заголовками пестрели страницы газет. В крестьянстве начался так называемый аграрный террор, вдохновители которого, члены партии с.-р., призывали крестьян на потравы, порубки, насильственный захват земель, поджоги и убийства помещиков и управляющих, которые зачастую выливались в обычные разбои (*Стиридович. С. 170–171*).

Кирка – лютеранский храм (нем. Kirche).

С. 63. *Он ничего не думал ~ а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части.* – Андреев считал наиболее бесчеловечным применение смертной казни для людей слабых, с непросветленным разумом (см. с. 602).

Только ничего не ел и совсем перестал спать. – В описании предсмертного состояния Янсона Андреев опирается на рассказ П.Я. Заволокина, заинтересовавший его отдельными деталями психологии обреченного: «Совершенно не ел, не спал. (...) На вопросы тюремного врача, как он себя чувствует и почему ничего не ест, учитель отвечал кратко: “Самочувствие прескверное. Пропадаю ни за что. Аппетита у меня нет, а насильно есть не могу”» (*Фатов Н.* Примечания к “Рассказу о семи повешенных” // Андреев Л. Избранные рассказы. М., 1926. С. 340).

С. 64. *Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал.* – Состояние непреодолимой дремоты, характерное для смертника, описывает В. Гюго в “Последнем дне приговоренного к смерти”: “... только чувствовал, что меня везут, как человек, впавший в летаргический сон, чувствует, что его хоронят заживо, и не может ни пошевелиться, ни крикнуть” (*Гюго В.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 1. С. 257).

С. 65. *...по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин.* – Клички Цыган, Татарин в русском фольклоре традиционно связывались с воровским промыслом, грабежом. См., например, пословицы: “На волка помолвка, а цыган (или татарин) кобылу украл (съел)”;

а у раскольника коня” и т.д. (*Даль В.И.* Пословицы русского народа. М., 2000. С. 96, 97). Аналогично и в русских народных песнях:

Не воры охотнички –
Донские разбойнички,
Татарские рожи,
На черта похожи.

(*Великорусские народные песни /* Изд. проф.
А. Соболевского. СПб., 1895. Т.1. С. 276)

Эта традиция была продолжена в начале XX в. бульварной, лубочной литературой.

...*темное прошлое (...)* темный пьяный разгул. – На воровском жаргоне слово “темный” имело еще значение “краденый” (*Трахтенберг В.Ф.* “Блатная музыка” (жаргон тюрьмы). СПб., 1908. С. 59).

...и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя “экспроприаторами”. – Начиная с 1906 г. революционные партии повсеместно проводили так называемые экспроприации для получения денег на партийные нужды. Особенными сторонниками экспроприаций стали представители крайнего, оппозиционного течения в эсеровской партии, выделившиеся в октябре 1906 г. в Союз социалистов-революционеров-максималистов и предложившие в своей программе тактику массового террора – немедленный захват земли, фабрик, заводов, экспроприацию частного и казенного имущества. Так, весной 1906 г. в Москве была совершена миллионная экспроприация Московского общества взаимного кредита, которой руководил Вл. Мазурин, глава московской организации “максималистов”, казенный по приговору военно-полевого суда (Л. Андреев познакомился с Мазуриным во время своего заключения в Таганской тюрьме и посвятил ему листовку “Памяти Владимира Мазурина”). В Петербурге была совершена знаменитая экспроприация в Фонарном переулке, когда при нападении на казначея петроградской портовой таможни было похищено несколько мешков денег (см.: *Стридович.* С. 307–332). В действительности “идейные” экспроприации часто превращались в вооруженные грабежи, а большая часть награбленных сумм шла на личные нужды “экспроприаторов”. Очень скоро “экспроприаторами” стали называть себя не только организованные отряды с.-р. и с.-д., но и обычные разбойники. “Экспроприация” – распространенный термин в периодической печати 1906–1908 гг. Например, только за один день в разделе “Судебная хроника” “Петербургской газеты” значилось: “Кража денег из частного банка”, “Две экспроприации”, “Экспроприации при участии стражников”, “Нападение на поезд”, “Ограбление артельщиков”, “Убийство” (Петербургская газета. 1908. 21 июня. (№ 178). С. 4–6).

Орел да Кромы – первые воры. Карачев да Ливны – всем ворах дивны. А Елец – так тот всем ворах отец. – Традиция русской литературы в изображении разбойника из народа предполагала обращение к фольклорному материалу. Так, Ф.М. Достоевский в “Записках из Мертвого дома” воспроизводит арестантские песни, легенды и пословицы. Андреев строит образ Цыганка в русле литературной традиции, широко вводит в речь своего персонажа характеризующий его сословную при-

надлежность особый “блатной” язык, который И.А. Бодуэн де Куртенэ назвал одним из русских “говоров” во вступительной статье к книге В.Ф. Трахтенберга “Блатная музыка” (СПб., 1908. С. XII).

С. 66. ...*дикий разбойничий повист ~ и дикая радость убийцы, и грозное предостережение; и зов и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество – все было в этом пронзительном, и не человеческом, и не зверином воле.* – В этом ключе воспринимались и современные Андрееву “герои”, наводившие ужас на Россию в период революции 1905 г.: атаман Лбов («Героем дня явился атаман Лбов, “черный ворон” в шелковой рубахе и с маузером в руках, он крикнул: “руки вверх” и стал палить направо и налево». – Наша газета. СПб., 1908. 20 марта. (№ 4). С. 3), чья фигура нашла отклик в образе Цыганка, и “черниговский Ринальдо Ринальдини” Александр Савицкий, послуживший Андрееву прототипом Сашки Жегулева. В Цыганке Андреев убирает ореол “благородного разбойника” в духе традиции русской литературы, но оставляет привлекательную и одновременно страшную в своем крайнем выражении идею анархической свободы-воли.

Во чистом поле да перекладинка. – Видоизмененная заключительная строка из русской народной песни “Не шуми, мати, зеленая дубровушка”.

Не шуми, мати, зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
{...}
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладинкой.

(Приводится в сб.: Чулков М. Собрание разных песен. СПб., 1770. Ч. 1. С. 173, № 135)

Одна из наиболее популярных песен на “разбойничью” тематику. Дважды введена А.С. Пушкиным в свои произведения: “Капитанскую дочку” и “Дубровский”.

С. 67. *Конечно, надо с музыкой. Вот так!* – *И он запел что-то захватское.* – Видоизмененная поговорка: «“Умирать так с музыкой!” “Многие слова и выражения искрятся своеобразной иронией и юмором, который чаще всего {...} подходит под понятие так называемого “виселичного юмора”», – писал И.А. Бодуэн де Куртенэ в предисловии к книге “Блатная музыка” (С. XIV–XV).

... *не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их; и в хаос ярких, но незаконченных образов, улетавших Цыганка своею стремительностью...* – Автор вводит характерные психологические детали состояния приговоренного к смерти. Народоволка Л. Волькенштейн, приговоренная к смертной казни в 1883 г. (смертная казнь была заменена 15-летним заключением), описывала свое состояние после приговора: “Мелькнет обрывок то одной мысли, то другой, словно мозг исполняет какую-то свою обязанность и ни за что не соглашается оставить меня в покое”. Подобное же состояние зафиксировал в своем дневнике М. Новорусский: “Кровь стучит в виски, мысли роятся быстро, то нахлынут общим потоком и, перебивая друг

друга, лезут в сознание беспорядочными толпами, то примут ровное течение и определенный ход” (Под сводами: Сборник бывших узников Шлиссельбурга. М., 1909. С. 24, 75).

С. 68. ... как хорошо быть палачом в красной рубахе. ~ Цыганок, в красной рубахе, разгуливает... с топориком. – Представление о палаче, выраженное в фольклорной традиции.

С. 69. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте. – Перед началом казни веревки для повешения натирались мылом. Л. Толстой писал в статье “Не могу молчать!”: “...палачи, – их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, – разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шею веревочные петли” (Толстой Л. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 37. С. 84).

Карету графа Бенгальского! – Характерное для веровской среды шутейное присваивание высоких титулов. См. запись Ф.М. Достоевского в его (Сибирской тетради): “А я-то куражусь, рубаха на мне красная, шаровары плисовые, лежу себе, как этакий граф Бутылкин” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 238).

С. 70. Приговор ~ в тот же день подтвержден. – Конфирмация – утверждение приговора. “Судебный процесс прежнего типа отделял функцию постановления приговора от его утверждения, предоставленного высшим судебным инстанциям или административным органам. Конфирмация была принята более всего в военно-полевых судах. Приговоры военно-полевых судов подлежали конфирмации в следующих случаях: 1) в военное время а) все приговоры к смертной казни; б) приговоры, присуждающие к лишению всех прав состояния или к заключению в крепости по тем делам, по которым отменена подача кассационных жалоб и протестов; 2) при суждении на основании положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. В первом случае право конфирмации принадлежало главнокомандующему (...); во втором – генерал-губернаторам” (Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. 41. С. 141–142).

Полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. – В адресной и справочной книге С.-Петербурга на 1908 г. значился отставной полковник Николай Георгиевич Головин, проживающий по ул. Морская, 21 (Весь Петербург. 1908. С. 190). На Морской улице был арестован в день попытки покушения на И. Щегловитова сын придворного служащего, Сергей Баранов, ставший прототипом Сергея Головина.

С. 71. ... сюртучок ~ с новенькими поперечными погонами. – Андреев имеет в виду мундирный сюртук – разновидность гражданской форменной одежды. В 1854 г. генералы и офицеры получили дополнительно к эполетам галунные погоны на цветной суконной подкладке для ношения на шинелях, а затем и на сюртуках, на которых чины обозначались продольными просветами в галуне и звездочками (Шепелев Л. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 100).

... была масленая неделя, и на улицах было шумно илюдно. – Судя по сообщениям газет, суд над террористами – прототипами “Рассказа” и их казнь действительно состоялись во время разгульной масленичной недели.

С. 74. ... *пойди, дай отпущение.* – Отпущение грехов – религиозный обряд.

С. 76. *В крепости ~ находилась колокольня с старинными часами.* – В центре Петропавловской крепости находится Петропавловский собор, сооруженный в первой четверти XVIII в. Главным украшением собора является его многоярусная колокольня с высоким шпилем и часами, созданная по проекту архитектора Д. Трезини.

... *на масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне.* – Проводы “честной масленицы” состояли в разъездах по городу и селам. Для поезда сколачивали несколько дровен и саней. Такой поезд разъезжал по улицам, впереди и вокруг него пели, играли и плясали скоморохи и колоброды, приехавшие из деревень забавляться с городскими весельчаками (Полная энциклопедия быта русского народа. СПб., 1999. Т. 1. С. 90).

С моря широкими влажными порывами дул теплый ветер. – Андреев в письмах, дневниках и художественных текстах называет морем Финский залив. “Море и моя любовь к нему!.. самая настоящая, доподлинная, нежнейшая любовь”, – писал он в своем дневнике 28 апреля 1918 г. (S.O.S. С. 57). О море – Финском заливе – его очерк “Шхеры” (Из рукописного наследия Л.Н. Андреева, хранящегося в ЦГАЛИ / Публ. и коммент. А.И. Наумовой // Андреевский сборник: Исследования и материалы. Курск, 1975. С. 192–205).

...*И тогда слышен становился бой часов.* – Заключение в крепость Л. Волькенштейн, приговоренная к смертной казни, также вспоминает бой часов на колокольне Петропавловской крепости, которым отмерялась оставшаяся жизнь (Под сводами: Сборник бывших узников Шлиссельбурга. М., 1909. С. 241). В “Рассказе” бой часов ассоциируется с мигами жизни – каплями вечной реки жизни (“Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты”). Образ старой башни с часами, маятник которых отбивает вечный ритм жизни, использован Андреевым в рассказе “Так было”.

Только для важных преступников была предназначена тюрьма... – Петропавловская крепость в среде иностранных дипломатов приобрела славу “Русской Бастилии”, а в отечественном фольклоре получила название “Петропавловский централ”. С описанием тюрьмы в данной главе сближается отрывок из воспоминаний о Лебединцеве Я. Зильберштейна: «Лебединцева и его товарищей посадили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Каждому была отведена одиночка, и все были под строгим надзором тюремной стражи. Тюрьма эта предназначалась исключительно для “тяжких преступни-

ков”. Здесь царила жуткая тишина, прерываемая звоном старинных крепостных часов да слабыми отголосками городского движения. Иногда доносилось дыхание моря, которое будило воспоминания о приморских странах, о чем-то далеком и прекрасном» (*Зильберштейн. С. 162*).

С. 78. ... *подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какую умирали до нее настоящие герои и мученики...* – Культ мучеников появился в период преследования христиан в Римской империи. Церковь причислила к лику святых мучеников многих первых христиан.

... *если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать <...> тогда она достойна мученического венца.* – Критик В. Кранихфельд, отмечая, что террористка Муся в изображении Л. Андреева приобрела черты мученицы первых веков христианства, писал: “Участвуя в террористической организации, она и террор понимает по-своему, по-христиански. Ей совсем не нужен успех террористического акта (...) Важна готовность террориста принести в жертву себя, а отнюдь не жертва из другого лагеря” (*Кранихфельд В. Литературные отклики // Современный мир. 1908. № 6. С. 106*).

С. 79. ... *она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека, через костер, пытки и казни идут к высокому небу.* – Своеобразное ощущение религиозно окрашенного избранничества и мученичества было свойственно многим деятелям революционно-террористического движения тех лет. Современники вспоминали, например, об И. Каляеве: “Революция была для него стихией, в которой напряженно ярким светом горела его душа, жаждающая сгореть. Он часто говорил мне, что не знает завидней доли, чем смерть на эшафоте” (*Могиланский М. В девятностые годы // Былое. 1924. № 24. С. 131*). См. об этом: *Басинский П. Поэзия бунта и этика революции: (Реальность и символ в творчестве Л. Андреева) // Вопросы литературы. 1989. № 10; Колеров М., Морозов И. Религиозное сознание и революция: Мережковские и Савинков в 1911 г. // Вопросы философии. 1994. № 10; Шишкина Л.И. Терроризм в мифологическом поле русского религиозного сознания // Шишкина Л.И. Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб., 2009.*

Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете. – Сближение революционного и религиозного деяния обусловило включение в текст “Рассказа” мотивов Апокалипсиса. Христианский Апокалипсис усвоил и переработал представления ветхозаветной апокалиптики, которые также находят отзвук в рассказе.

... *жива в смерти, как была жива в жизни.* – Д. Мережковский писал: “Христианство основано вовсе не на любви к ближнему, как обыкновенно думают – эта любовь есть и в законе Моисеевом, и у всех древних учителей мудрости от Сократа до Марка Аврелия, от Конфуция до Бодизатвы, – не на праведной жизни и крестной смерти Христа, а

на неотразимо доказанной опытом, реальной возможности физического Воскресения” (*Мережковский Д.* Не мир, но меч. СПб., 1908. С. 15).

С. 80. ... *выйти одной перед целым полком солдат ~ Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один.* – Характерное для части деятелей террористического движения мироощущение, когда покушение, независимо от практического результата, рассматривалось как победа. Большой общественный резонанс получила брошюра “Памяти Фрумкиной и Бердягина” (М., 1908), в которой биографический очерк о казненной террористке представлял именно такие демонстративные и изначально обреченные действия. Д. Мережковский в статье “Бес или Бог?”, навеянной этой публикацией, дал трактовку подобного типа революционеров. Они предстают в его понимании святыми мучениками: “...физическое насилие – только предлог для какого-то метафизического утверждения. Делают не для того, чтобы сделать, а чтобы сказать, возвестить, проповедовать что-то” (*Обр.* 1908. № 8. С. 57).

С. 81. *Одна труба, большая, медная, ~ Муся видит солдатику с этой трубой...* – В предсмертных видениях Муси переосмыслиется апокалиптический мотив трубы Архангела, возвещающего последний суд и Воскресение мертвых (Откр 8: 2, 5, 6).

С. 83. *Вихри враждебные веют над нами...* – Первая строка “Варшавянки”, революционной песни, сочиненной революционером-марксистом Г.М. Кржижановским (свободный перевод польской революционной песни) в 1897 г., когда он был заключен в московскую Бутырскую тюрьму по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Из революционных песен “Варшавянка” пользовалась самой большой известностью. На ее мотив создавались и другие песни.

С. 84. ...*гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера (...)* разделся голый (...) *проделал все предписанные восемнадцать упражнений.* – Имеется в виду очень популярная в начале XX в. гимнастика датского гигиениста Йоргена Петера Мюллера (1866–1938). Гимнастика состояла из 18 основных упражнений, 10 из которых нужно было делать обнаженным (см.: *Мюллер И.П.* «Моя система»: 15 минут ежедневной работы для здоровья. И.П. Мюллера, инж.-лейт. в отставке, Клампенбург, Дания / Пер. с нем. Киев: Тип. И.И. Чоколова, [1907]).

С. 86. *Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное...* – Вновь возникают мотивы Апокалипсиса, связанные с темой религиозной жертвы и преображения мира. Ветхозаветный апокалипсис говорит о конце мира и растворении в космическом бытии. Переживаемое Вернером перед смертью “удивительное просветление духа” изменяет представление о пространстве и времени. Оно сближается с идеями А. Шопенгауэра. “Формой проявления воли, то есть формой проявления жизни или реальности служит только настоящее, – а не будущее и не прошедшее”, – считал Шопенгауэр. На деле же, доказывал он, это представление о времени относительно. “Я могу

за бесконечное время после моей смерти утешить себя бесконечным временем, когда меня еще не было. Так как оба ничем не отличаются, кроме перерыва их эфемерным жизненным сновидением, печалиться о времени, когда нас более не будет, так же нелепо, как нелепо сожалеть о времени, когда нас еще не было; ибо совершенно безразлично, как относится время, не наполняющее наше существование, к тому, которое его наполняет – как будущее или как прошедшее” (*Шоенгауэр А.* Мир как воля и представление. М., 1906. Т. 1, кн. IV. С. 286; *Он же.* Афоризмы и максимы: Мысли. СПб., 1892. Т. 2. С. 113).

С. 88. ... *опоясанный адской машиной...* – Адская машина – снаряд, снабженный взрывателем, регулируемый часовым механизмом. В начале XX в. – распространенный термин для обозначения самодельных снарядов, применяемых террористами в их политических актах. При аресте Льва Синегуба, послужившего одним из прототипов Василия Каширина, действительно была обнаружена привешенная у пояса “адская машина” (Русь.1908. 9 февр. (№ 39). С. 2).

С. 90. *Всех скорбящих радость...* – Чудотворная икона пресвятой Богородицы “Всех скорбящих радости” – одна из самых почитаемых христианских святынь. Воспринималась как заступница всех сирых, обиженных, оставленных в несчастье. Смысл этого образа в “Рассказе” неоднозначен. Это не только поиск единственной опоры, к которой обращается распадающееся сознание погибающего в “ужасном одиночестве” Василия Каширина. Образ дает дополнительные краски контексту произведения, связанному с мотивами жертвенности и христианского подвига.

... *он захотел молиться...* – Для облегчения исхода из жизни церковь предлагала особые “каноны на исход души”, в которых кающийся испрашивал всеильного ходатайства Богоматери, чтобы она “не отвратила от него человеколюбивого сердца, но подала ему руку помощи и в час судный помянула его” (Последние минуты православного христианина. СПб., 1878. С. 36–37). Каширин, воспитанный в религиозной купеческой семье, вспоминает об этом. Он обращается к иконе “Всех скорбящих радость”, защитнице “всех скорбящих, недужных и напастуемых”, которая “подает чудодейственную и многообразную помощь в недугах душевных и телесных”, но молитва остается без ответа.

С. 92. ... *человек, уставший от жизни и от борьбы.* – Современники, хорошо знавшие В.В. Лебединцева, подчеркивали, что Андреев точен как в деталях его внешней характеристики, так и в воссоздании его психологического состояния. Во время подготовки террористического акта его настроение было крайне тяжелым. Он переживал глубокое разочарование, нервное и физическое истощение и усталость (*Семенова*). Это нашло отражение в строках его писем. 7 декабря 1907 г. он пишет: “Плохи дела наши. Был момент даже, когда все было близко от полного распада. Избегнуть этого удалось, и теперь, поскрипывая, едем дальше (...) А что в результате получится? На практике – ничего, но это в моих

глазах ценности ничуть не умаляет (...) в пошлую гармонию (в гармонию пошлости) ворвется резкий диссонанс. В этом я вижу *всю* ценность, смысл и оправдание всего существующего. Это то, что примиряет меня с днями, в общем, серыми и холодными, иногда черными”. В январе 1908 г.: “Я поистине в отчаянии (...) Что касается моей усталости, то Вы, пожалуйста, мне об этом не говорите” (Семенова. С. 14, 15).

Но уже давно ~ зрело темное презрение к людям... – Я. Зильберштейн пишет о Лебединцеве: «С ранней юношеской поры он проникся глубоким пессимизмом, и этот пессимизм сделался на всю жизнь основной чертой его мирозерцания. Человеческая жизнь, с ее слабостями и эксцессами эгоизма, с ее ложью и грубой борьбой за существование, казалась ему “пошлой комедией”, лишенной смысла и недостойной мыслящего свободного человека. Человек, возомнивший себя “царем природы”, казался ему отвратительным рабом своих страстей и своего желудка, и чем пошлее и отвратительнее казалась ему жизнь на земле, тем больше привлекали его небесные сферы с их блестящими созвездиями и планетами, с их величавой гармонией во всех частях мироздания. Он любил уходить от жалкой земной жизни и погружаться в созерцание и изучение той великой книги, которая ему открывалась в необъятных небесных пространствах (...) А когда от бесконечных звездных миров он снова возвращался в скучный круг человеческой жизни, его душа сжималась и металась от тоски, от невыносимых теснин земного плена, от жалких условий человеческого быта» (Зильберштейн. С. 155).

По природе своей скорее математик, чем поэт... – Лебединцев учился на физико-математическом факультете Новороссийского (впоследствии Одесского) университета (был исключен в 1904 г. за участие в студенческой сходке) и проявил блестящие математические способности, которые помогли ему сделать успехи и в астрономии, которой он намеревался посвятить жизнь. М. Осоргин свидетельствовал: «По специальности этот будущий террорист был астрономом. Ему улыбалась уже кафедра, но девятьсот пятый год нарушил все планы (...) Он и за границей не бросил своих занятий: в Риме работал в обсерватории (...) Сейчас передо мной, вместе с двумя его портретами и записочками, лежит и листок бумаги с астрономическими записями, сделанными его рукой; мельчайшие черточки и линии, тончайшим пером нанесенные цифры и значки, для меня – китайская грамота, для него – живая запись движения тел небесных» (Осоргин М. Неизвестный, по прозвищу Вернер // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. № 4. С. 54). Зильберштейн спорит с андреевской характеристикой, утверждая, что письма Лебединцева и рассказы близких ему людей рисуют, наоборот, натуру темпераментную, быстро увлекающуюся, лирика и мечтателя, который даже в такой точной науке, как астрономия, был более поэтом, чем математиком.

... чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. – Квадратура круга – полукалька с латинского “*quadratura circuli*” от неразрешимой математической задачи: при помощи циркуля и линейки превратить круг в равновеликий квадрат (Шанский Н. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987. С. 66); экспрессивный фразеологизм, означающий что-либо нераз-

решимое, нечто вообще не существующее (Фразеологический словарь русского литературного языка. М., 1995. С. 235).

... *убийство провокатора, совершенное им по поручению организации*. – Практически во всех революционных партиях тех лет работали внедренные в них тайные агенты охранного отделения. “Провокация слишком крепко засела в рядах революционных и оппозиционных партий, – писал М.Я. Бакай. – Если проследить историю русского революционного движения не только по источникам, доступным каждому, но также по всем секретным документам, которые хранятся под замком в департаменте полиции, то мы увидим, что само по себе правительство со всеми громадными розыскными средствами, без внутреннего предательства совершенно не в состоянии бороться с тайными революционными организациями” (Бакай. С. 99). Особенно мощно разрослась провокация с декабря 1905 г., когда правительство решило покончить с революцией. Свидетельств о том, что Лебединцев участвовал в убийстве провокатора, нет. Однако тема провокации не случайно появляется в “Рассказе о семи повешенных”. Вся история разгрома Северного летучего отряда, провал грандиозного плана Лебединцева и покушения на Щегловитова пронизаны провокацией, в которой главную роль сыграл человек, чье имя стало нарицательным – Евно Азеф (1869–1918). Он одновременно был членом ЦК партии с.-р., ответственным за подготовку террористических актов, и тайным агентом охраны с псевдонимом Раскин, подчинявшимся лично ее главе, А. Герасимову. Деятельность Азефа привела к ряду крупных провалов и в конечном итоге способствовала угасанию террора. В результате скандального разоблачения в 1909 г. (о чем писали все российские газеты) и партийного суда он был приговорен к смерти, но бежал в Германию, где скрывался до конца жизни. Суд над Азефом был тяжелым моральным ударом по чести Боевой организации с.-р. Полную картину разрушения эсеровского терроризма, совершенного Азефом, вожди партии оценили только после выхода в 1934 г. на немецком языке книги генерала Герасимова “На лезвие с террористами”.

С. 92–93. ... *выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа*. – Тема, выраженная Ницше в “Так говорил Заратустра”: “Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное Нет, когда нет уже времени говорить Да: так понимает он смерть и жизнь” (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 53).

С. 93. ... *сосредоточенно ~ разыгрывал трудную шахматную партию*. – “Символическая шахматная партия, которую будто бы разыгрывал Вернер накануне казни, конечно, принадлежит к области фантазии” (Зильберштейн. С. 164). Вместе с тем эта деталь точно выражает тип героя.

...*нарастал* ~ *чувство смутной, но огромной и смелой радости*. – Подобное описание переживаний Вернера перед казнью, которые многие критики сочли выдумкой Андреева, тем не менее вполне соотносятся с психологией и жизнеощущением Лебединцева. В письме матери о своем состоянии накануне попытки самоубийства он писал: “И сознание это меня переродило, наполнило грудь мою сумасшедшим ликованием.

Я никогда не переживал таких дивных минут. Сознание, что через каких-нибудь 3–4 часа меня больше не будет здесь, среди людей, что не буду я больше невольным актером в комедии человеческой жизни, – дало мне столько счастья, как ничто в жизни” (*Зильберштейн*. С. 156).

С. 95. *Какими тайными путями пришел он от чувства безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости...* – В размышлениях Вернера происходит переосмысление ницшеанской идеи. Заратустра говорит: «Запомните также и эти слова: всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет – создать! “Себя самого приношу я в жертву любви своей и ближнего своего, подобно себе” – так надо говорить всем созидающим» (*Ницше Ф.* Указ. соч. С. 64).

С. 97. ... *но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор.* – Точность подобной психологической детали подтвердил на первом чтении “Рассказа о семи повешенных” шлиссельбуржец Н. Морозов, переживший состояние приговоренного к смерти: “Но вот подробность, говорящая о том, до какой степени в такие минуты может прямо-таки атрофироваться человеческая мысль. Один из наших товарищей по несчастью показался мне настолько окаменевшим, что я не рискнул протянуть ему руку. Он стоял как каменный. Смотрел куда-то в пространство таким мертвым, таким пустым, таким чужим взглядом, что было ясно, что он совершенно не понимал, не чувствовал, не воспринимал того, что происходило здесь, кто шел мимо него, что значило пожатие моей руки” (*Огонек*. 1909. № 6. [Б. паг.]).

... *да, я теперь очень люблю...* – В перерождении Вернера отразились духовные процессы, порой происходившие в его среде. Это подтвердило, например, “Письмо перед казнью” Н. Климовой (Н. Климова, член организации с.-р.-максималистов, была приговорена к смертной казни за организацию взрыва дачи П.А. Столыпина на Аптекарском острове), опубликованное в журнале “Образование”. Описывая свои ощущения, она выделяет в качестве доминирующего “всепоглощающее чувство внутренней свободы”, «гордость человека, взглянувшего в лицо самой смерти и спокойно и просто сказавшей ей: “Я не боюсь тебя”. Возникшее новое ощущение – всепроникающая любовь, которая факт личной смерти низвела “до уровня не страшного, простого, незначительного явления” и заставила “мгновенно почувствовать величайшее единство мира”. Тончайшую и красивейшую связь между отдаленной звездой и микроскопической пылинкой, между величайшим гением человечества и зачатком нервной системы какого-нибудь червя» (*Обр.* 1908. № 8. С. 67, 70). Анализируя этот человеческий документ, С. Франк писал: “Этому человеку не нужно ни личного бессмертия, ни какого-либо религиозного учения; он переживает Бога, не называя его по имени, и этой силой изгоняет, разрушает всякий трагизм” (*Франк С.* Преодоление трагедии // *Слово*. 1908. 24 сент. (7 окт.) (№ 570). С. 2).

С. 99. ... *приближаются к С-скому вокзалу.* – Приговоренные к смерти отправлялись на казнь с Приморского (Сестрорецкого) вокзала.

Полковник Иванишин сообщает: “В ночь с 16 на 17 февраля, с субботы на воскресенье, мною были выданы подполковнику Собошанскому 7 человек осужденных, которые были отвезены под конвоем жандармских унтер-офицеров на Лисий Нос, от крепости в каретах (каждого в отдельной карете), а от Новой Деревни – по Приморской железной дороге” (*Иванишин*. С. 501). В начале века существовала Приморская, или С.-Петербургско-Сестрорецкая, железная дорога местного значения протяженностью 43 км, обслуживавшая пригородные районы Петербурга. Она была выстроена в период промышленного подъема в 90-х годах. Впоследствии закрыта. Вокзал находился в Новой деревне.

С. 100. ... *едут на какой-то праздник...* – Метафора смерти-праздника неоднократно встречается у Ф. Ницше (Так говорил Заратустра. Гл. “О свободной смерти” // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 51–52).

... *сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон...* – Характерная особенность сознания приговоренного к смерти – инстинктивная попытка удержаться в жизни – отмечалась у затрагивавших тему смертной казни. На нее указал Достоевский. “Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге”, – думает Раскольников, идя на убийство старухи (*Достоевский Ф.М.* Преступление и наказание // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 60). В рассказе В. Гюго “Последний день приговоренного к смерти” герой по дороге так же “прилепливается” ко всем окружающему (*Гюго В.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 1. С. 291–292).

С. 104. *Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге.* – Приморская железная дорога обслуживала пригородные районы Петербурга, его дачно-курортную зону, проходя через станции: Новая деревня, Лахта, Горская, Лисий Нос, Тарховка, Разлив, Сестрорецк. Последней остановкой были Дюны – финская граница.

С. 107. *Мою любовь, широкую, как море, / Вместить не могут жизни берега.* – Слова из стихотворения А.К. Толстого “Слеза дрожит в твоём ревнивном взоре...” (*Толстой А.К.* Избранное. М., 1949. С. 54). В рецензии на “Рассказ” Мережковский писал: “Все это уже было девятнадцать веков назад, в римских катакомбах и на арене Колизея, христианские мученицы, непорочные девушки и разбойники шли на смерть, как на брачную вечерю, тем же вином, тою же кровью опьяненные, твердя молитву иную, но с тем же смыслом: *Мою любовь, широкую, как море, / Вместить не могут жизни берега*” (*Мережковский Д.* Не мир, но меч. СПб., 1908; цит. по: *Мережковский Д.* Не мир, но меч. М., 2000. С. 611). Декламация приговоренными к казни стихотворных строк соответствовала реальным фактам. А.В. Герасимов свидетельствует: “...все террористы умирали с большим мужеством и достоинством, особенно женщины. В моей памяти до сих пор сохранился рассказ о том, как умерла Зинаида Конопляникова, повешенная за убийство командира Семеновского полка генерала Мина, который в декабре 1905 г. подавил восстание в Москве. Она взшла на эшафот, декламируя строки Пушкина:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!”

(Герасимов. С. 123)

С. 107. *От священника также все отказались.* – Об участии в процедуре смертной казни священника с неприязнью писал Л. Толстой в статье “Не могу молчать!”: “...человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе” (Толстой Л. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 84). О предписанном официальной церковью обряде с негодованием писала и З. Гиппиус, напоминая о казни первомауртовцев: “Жертвы, отказавшиеся целовать крест, были в большей мере людьми и гораздо ближе, чем они (священники. – Сост.), к Евангелию” (Гиппиус З. Революция и насилие // Гиппиус З., Мережковский Д., Философов Д. Le Tzar et la Revolution. [Р., 1907] / Царь и революция. М., 1999. С. 110).

С. 108. ... *крепко поцеловала его в губы.* – Символика поцелуя многозначна. Так называемым святым поцелуем приветствовали друг друга члены христианской общины. Возможно, это еще одно напоминание о судьбе раннехристианских мучеников, приносивших себя в жертву.

С. 109. *Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки ~ упал лицом вниз. Так и остался лежать.* – Описание психического состояния солдата, участвовавшего в процедуре смертной казни, близко аналогичному толстовскому описанию в “Войне и мире” (Толстой Л. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 43).

ЧА I

С. 339. *Для нее ступени эшафота были как лестница на небо, которую видел во сне Иаков...* – Речь идет о сне ветхозаветного библейского патриарха Иакова; в нем он увидел лестницу между землей и небом, по которой поднимались и опускались ангелы и на вершине которой стоял Господь, говоривший с Иаковом (Быт 28: 12–16).

МОИ ЗАПИСКИ

(С. III)

Источники текста:

ЧН – черновой набросок начала повести (первые четыре главы). Б.д. (январь–май 1907 г.)⁶. Под заглавием “Наша тюрьма”. Хранится: Hoover. Box 138. Folder 12. 9 л.

⁶ Рукопись предположительно датируется на основании воспоминаний М. Горького (см. ниже).

ЧА – черновой автограф (несколько листов – рукой А.И. Андреевой). 15–29 августа; 12 сентября 1908 г.⁷ Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 138. Folder 10. 124 л.

БМАП – беловая машинопись с авторской правкой. 13 сентября 1908 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 138. Folder 11. 125 л.

Б – Berlin: J. Ladyschnikow, 1908. 87 с.

АШ – Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. СПб., 1908. Кн. 6. С. 165–262.

Ш. Т. 7. С. 7–106.

Пр. Т. 8. С. 115–232.

ПССМ. Т. 3. С. 188–257.

Впервые: *Б*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

Гл. 2, примеч. 8, стк. 3–4: прозрачностеклянных кукол, убивающих – *вместо*: прозрачностеклянных, убивающих (*по ЧА, Б*)

Гл. 5, стк. 138: продержжусь я еще неделю – *вместо*: подержжусь я еще неделю (*по ЧА, Б, АШ, Ш*)

Гл. 5, стк. 144–145: хочу пройтись по камере – *вместо*: хочу пройти по камере (*по ЧА, БМАП, Б, АШ, Ш*)

Гл. 8, стк. 46: А он еще квакать начнет – *вместо*: А он еще квакать начинает (*по всем редакциям*)

Гл. 9, стк. 135: зеркало ихней душе. // Без сомнения (*с абзаца*) – *вместо*: зеркало ихней душе. Без сомнения (*в подбор*) (*по всем редакциям*)

Гл. 10, стк. 51: Страстное внимание – *вместо*: Странное внимание (*по ЧА, БМАП, Б, АШ, Ш*)

Гл. 10, стк. 227: Я люблю тебя. – *вместо*: – Я люблю тебя. (*по ЧА, Б*)

Гл. 10, стк. 285–286: о моем юном, столь безвременно погибшем друге г. К. – *вместо*: о моем юном, столь безвременно погибшем г. К. (*по всем редакциям*)

Как вспоминает М. Горький, несколько начальных глав “Моих записок” Андреев написал в первой половине 1907 г. на Капри, куда он приехал после смерти своей первой жены, А.М. Велигорской. По свидетельству Горького, в течение этого полугода Андреев чрезвычайно плодотворно работал и замыслил и реализовал целый ряд произведений, в том числе «несколько глав – две или три – повести “Мои записки”» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 349). Вполне вероятно, что речь идет о недатированных четырех главах, составляющих *ЧН*. Вероятно, уже этот, самый ранний набросок к повести был близок к замыслу, воплощенному позже (что подтверждает, например, использование автором фрагмента из *ЧН* в позднейшей рукописной версии (составителями этот фрагмент восстановлен; см. *Редакции*)).

⁷ Последняя дата относится к позднему варианту финала (последнего листа) повести.

Замысел зафиксирован в одном из перечней задуманных произведений в рабочей тетради писателя: “28. Тюрьма. В начале кричит и прокликает; потом отыскивает целесообразность и признает тюрьму” (*МиИ2012*. С. 134). Чуть позже в той же тетради появляются наброски, развивающие ранний замысел:

«К “нашей тюрьме”

И каждый вечер я хожу смотреть на нашу тюрьму. При закате солнца она великолепна.

А вы желали бы бессмертия? – спросил я молодого человека, подержанный дружным смехом присутствующих. Когда смех умолк, я обратился:

– Позвольте сказать вам, молодой человек...

– Это ужас! – истерически воскликнул молодой человек.

– Нет, это целесообразность! – ответил я твердо» (Там же. С. 138–139; ср. фрагмент раннего слоя *ЧА* – *Варианты*, гл. 5, стк. 192–193).

Следующая редакция повести (*ЧА*) создавалась в августе и сентябре 1908 г. Скорее всего, писатель работал в два приема: с 15 по 29 августа была создана более ранняя версия (о чем свидетельствуют даты на первом листе рукописи и на раннем варианте ее финала), а затем еще две недели автор ее серьезно перерабатывал (на что указывает дата – 12 сентября 1908 г. – на позднейшем варианте финала). В составе *ЧА* сохранилось несколько листов, существенно отличающихся от позднейшей версии, близкой к *ОТ*; составители включили эти листы с пометой “*ЧА-р*”. Часть листов *ЧА* написаны рукой А.И. Андреевой, что указывает на возможный механизм переработки повести: вероятно, жена писателя писала под его диктовку новую версию текста.

Следует отметить и два существенно различающихся слоя машинописи (*БМАП*), которая была создана на основе *ЧА*. Вероятно, берлинское издание (которое обычно выходило на несколько недель раньше первой публикации произведения в России) было набрано с раннего слоя *БМАП* (весьма наглядно об этом свидетельствует, например, отсутствие как в первоначальной версии машинописи, так и в берлинском издании подстрочных примечаний 68–72 в главе 10; см. *Варианты*). Скорее всего, отправив в берлинское издательство вторую копию (отпуск) машинописи, первый ее экземпляр Андреев продолжал править. Новая версия машинописи, существенно дополненная, стала основой для набора текста повести, опубликованного в альманахе издательства “Шиповник” (ср. аналогичную – здесь сохранились оба экземпляра машинописи – ситуацию с публикацией пьесы “Савва”; см. т. 5 наст. изд., с. 644). Как видно из свода вариантов *ЧА* и *БМАП*, одной из особенностей композиционного развития замысла повести было увеличение подстрочных примечаний как одной из характерных сторон стиля героя-повествователя (на ранних этапах ее создания их количество было существенно меньшим).

Из числа самых ранних импульсов к созданию повести можно указать на репортерский опыт Андреева: в 1902 г., будучи сотрудником “Курьера”, молодой писатель присутствовал на судебном процессе пятнадцатилетнего Александра Кара, который при неясных обстоятельствах и без видимых причин убил мать и двух сестер. “Кто же он? – вопрошает Андреев в своем репортаже. – Исключительно сильная натура, сознательно ставшая по ту сторону добра и зла?.. Человек-зверь, жадный до крови, сам несчастный, сам жертва темных инстинктов разрушения? Или, наконец, сумасшедший? Ни то, ни другое, ни третье” (*Л-ев. Впечатления // Курьер. 1902. 1 апр. (№ 90). С. 3*). Уже тогда писатель пытается постигнуть метаморфозы в личности преступника, в душе которого “произошло что-то страшное, непонятное и недоступное взору. Что-то умерло, без стона и содроганий, ибо *так неслышно умирает человеческая душа*” (Там же. 2 апр. (№ 91). С. 3).

А непосредственным эмоциональным импульсом к созданию повести послужил эпизод, фигурирующий в воспоминаниях К. Чуковского: «Однажды ему попала газета “Одесские новости”, где известный авиатор Уточкин, описывая свой полет, говорил: “При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна”. Такое любование “нашей тюрьмой” очень поразило Андреева, и через несколько дней он уже писал свою знаменитую повесть “Мои записки” – о человеке, полюбившем свою тюрьму, – и закончил ее теми же словами: “При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!” Причем придал этим словам неожиданно символический смысл» (*Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2001. Т. 5. С. 119*). Напомним, что ранняя редакция повести так и называется – “Наша тюрьма”.

Сам Л. Андреев считал “Мои записки” одним из своих лучших произведений – свидетельство тому находим сразу в нескольких источниках. Так, откликаясь на присланную ему статью критика В. Сахновского “Писатель без догмата”, он сетует в письме С. Голоушеву от 15 декабря 1916 г., что автор статьи «так мало остановился на “Моих записках” и Иуде из Кариота», и называет статью о себе “не трех измерений, а всего одного, а за угол он не зашел, а за углом-то живой поросенок бегае!” (*Реквием. С. 132*). Знаменательно также сделанное в другом контексте признание писателя, перечисляющего написанное в 1908 г. – и в том числе повесть “Мои записки”: “Вершины я достигаю в 906–7 г., когда мною написаны: в 1906 – Елезар, Жизнь Человека, Савва, 1907 – Иуда и Тьма и в одном 1908 – Семь повешенных, Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатема” (Письмо С.С. Голоушеву от 25 марта 1918 г. // *S.O.S. С. 233*).

Аналогичное высказывание (с биографическими деталями, определяющими душевную настрой автора “Моих записок”) находим в дневниковой записи от 11 октября 1915 г.: «Но самое удивительное – это осень 1908 года, когда я переживал ту страшную историю с А(нной). Несомненно, что в отношении личных переживаний я в те месяцы был в состоянии психоза, тяжелого полусумасшествия; и все мои мысли были

отданы Анне, новым неожиданным фактам и открытиям, болезненному сыску. Желание узнать всю правду было моей идее фиксе⁸ (...)

И в это самое время с необыкновенной легкостью и быстротой (у меня еще болели руки и я диктовал) были написаны: “Мои записки”, причем несколько раз работа прерывалась открытиями-неожиданностями правды и состояниями, близкими к убийству и сумасшествию (...))» (S.O.S. С. 23). В той же дневниковой записи Андреев определяет “Мои записки” как “гениальные” (Там же. С. 25).

Уже после выхода повести в свет “Биржевые ведомости” помещают впечатления А. Измайлова, посетившего дом Андреева на Черной речке (в заметке дом назван «виллой “Белая ночь”»). В беседе с автором Измайлов, становясь на позицию “рядового читателя”, расспрашивает писателя, раздраженно отзывающегося о критиках (“ничего иногда не понимают”), о смысле “Моих записок”, в частности убийца ли его герой:

«Вы спрашиваете, убийца ли герой “Моих записок” или, как он уверяет, жертва судебной ошибки? Вначале я был убежден в его невинности, но с некоторого момента я стал *подозревать* его в убийстве. Да, да, я положительно подозреваю, что старикашка лжет, повторяя чуть ли не на каждой странице уверения в своей невинности.

Вы удивляетесь тому, что я не знаю этого наверное. Между тем это так. Я действительно не могу считать себя в разрешении вашего вопроса авторитетней всякого другого человека. Ведь мы, писатели, вовсе не властны заставлять своих героев проделывать все, что нам вздумается, но только то, что соответствует их духу и характеру. Иначе получится фальшь, а не художественное произведение. Таким образом, наша власть над создаваемыми нами персонажами чисто призрачная. С некоторого момента создаваемый мною образ оживает и начинает жить самостоятельною, независимую от моей воли жизнью; как же могу я быть ответственным за его поступки и почему я должен знать их лучше, чем кто-либо другой?

Я сказал, что я *подозреваю* героя “Моих записок” в убийстве. Я подозреваю его по некоторым малоощутимым признакам и по тому, что дойти до такого извращения мысли, до таких чудовищных логических построений мог только человек, за плечами которого стоит какое-нибудь тяжкое преступление.

Мне легко проследить и тот моральный путь, который прошел он после преступления. Молодой ученый, доктор математики, совершает почти невероятное по своей жестокости тройное убийство отца, брата и сестры, сопровождающееся надругательствами над трупами. Такие убийства бывают, и во время совершения их личность человека как бы

⁸ Подробнее о личной ситуации Андреева, подозревавшего в этот период свою новую жену, А.И. Андрееву, в неискренности, см.: Кен Л., Рогов Л. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб., 2010. С. 212–215.

раздвоится, рука его действует бессознательно по воле страшных инстинктов, дремавших дотолде где-то в глубине его души.

Но вот на суде перед ним снова проходит страшная картина убийства со всеми подробностями, и на этот раз уже при ином душевном состоянии, когда по-прежнему разум вступил в свои права и задавил кровавые инстинкты.

Разумеется, она так потрясает и поражает пришедшего в себя преступника, что даже самому себе он боится сознаваться в своей вине. И уж, конечно, он не в силах признаться в том другим людям. И, даже представ перед престолом Бога, он будет твердить: нет, невиновен.

И, мне кажется:

– Глупец! – воскликнет Он. – Ведь Я знаю!

– Нет, нет... невиновен, – будет настаивать преступник. – То был не я, то был другой...

По-видимому, лукавый старикашка предчувствует возможность такого диалога, потому что (помните?) пишет в своих записках: “И если на Страшном суде я не встречу справедливости, – я буду ждать нового страшнейшего суда”...

И вот при таких-то условиях убийца попадает в тюрьму.

Он не перестает лгать всю жизнь, и нет ничего удивительного в том, что даже Христа заподозрил в том же.

С другой стороны, те же условия, в которых нет места ни надежде, ни жизни, заставляют его страшным усилием воли создать свой собственный мир, в котором царит целесообразность, гармония и красота. “Ибо, – как говорит он, – я должен жить”, ибо он цепляется за эту жизнь всеми средствами и наделен от природы огромной способностью приспособляемости.

– Я думаю, – заключил Л.Н., – его можно было бы назвать гением приспособляемости...» (А.И. [Измайлов А.А.] Леонид Андреев о своей повести // *БВед.* 1908. 6 нояб. (№ 10797). Веч. вып. С. 3).

К вопросу о том, что или кто скрывается за образом главного героя повести, Андреев возвращается в письме к брату Андрею: «В “Моих записках” я дал злодея, но я все еще не спокоен, и теперь у меня задача дать бездонность тьмы, адское зло: дать образ матери дьявола. Если сынок – дьявол, то какова же мамаша?..» (Андреев А. Из воспоминаний о Л. Андрееве // *Красная новь.* 1926. № 9. С. 221).

“Мои записки” анонсируются в печати уже с середины июля (Вечер. СПб., 1908. 14 июля. (№ 42); Новая Русь. СПб., 1908. 30 авг. (№ 15) (заявлено о том, что Л. Андреев закончил «рассказ в типе его знаменитой “Мысли”»); Эпоха. СПб., 1908. 15 сент. (№ 1); Минское эхо. 1908. 27 сент. (№ 100); Утро России. 1908. 14 окт. (№ 25)), причем в некоторых газетах объявляется о завершении Андреевым повести еще под старым ее названием – “Моя тюрьма” или “Наша тюрьма”. Во втором номере “Эпохи” (от 22 сент.) предлагается краткое содержание повести и подборка цитат; и эта реклама, а особенно цитаты, вне контекста шокирующие своей откровенностью, привлекают внимание цензуры:

было возбуждено уголовное дело, а редактора “Эпохи” М.П. Ялгубцева обвинили в “порнографии” и “кошунстве” (РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед.хр. 1368 / 48; см. также “Известия книжных магазинов Товарищества М.О. Вольф”. 1910. № 5. Стб. 85; отмечено В.Н. Чуваковым: *ССХЛ*. Т. 3. С. 637).

Интересный материал для реконструкции картины восприятия “Моих записок” читателями представляет напечатанная в “Киевских вестях” заметка “Публика о Леониде Андрееве”, автор которой подробно описывает дискуссию о новой повести Андреева, имевшую место в общественном собрании. Как явствует из репортажа, некто Г.В. Александровский поставил перед собравшимися ряд вопросов: «1) Общий смысл произведения Андреева “Мои записки”. 2) Генезис идей “Моих записок” в связи с другими его произведениями. 3) Психологическая правда героя “записок”. 4) Стиль и форма этого произведения» (*Ис-ев С.* Публика о Леониде Андрееве // *Киевские вести*. 1908. 14 дек. (№ 332). С. 3). Автор заметки цитирует одного из ораторов: «...героем “Моих записок” является сам Андреев. В нем борются две души: Андреев, живущий обыденной мещанской жизнью, примиряющийся с действительностью, с “мировой тюрьмой”, и Андреев-художник, бунтующий, борющийся и разбивающий свой лоб о стену» (Там же). В числе прочих выступавших нашелся и представитель “общественной точки зрения” – для него «творчество Андреева есть отражение настроения известной части русской интеллигенции, которая, как герой “Моих записок”, не живет, не борется, а примиряется с действительностью, с железной необходимостью, и, уходя в глубь своих переживаний, прозябает» (Там же).

Предварительно подогретое отдельными полускандалными публикациями и статьями, внимание прессы было обращено на повесть сразу же по выходе ее в альманахе “Шиповник”. Хотя позже Андреев в письме Горькому от 28 марта (10 апреля) 1912 г. назовет “Мои записки” в ряду своих “вещей, сплошь обруганных и справа и слева” (*ЛН72*. С. 330), среди первых откликов на нее в газетах лишь единичные рецензии можно расценить как абсолютно отрицательные. “Детской пробой пера” и проявлением «доморощенной “философии”» называет повесть П. В-ий (*В-ий П. [Вишневский П.И.] Журнальное обозрение // Волгарь*. 1908. 18 окт. (№ 256). С. 2); повесть, считает рецензент, имеет “отчасти автобиографический характер” – «характер “исповеди” самого автора и отчасти “отповеди” кому-то» (в доказательство приводится финальное обращение героя повести к читателям) (Там же). “С грехом пополам правдивой” повестью, поскольку главный герой сумасшедший, называет “Мои записки” Кин (*Кин. Дни нашей жизни // Тульская молва*. 1908. 2 дек. (№ 351). С. 2); попутно он упрекает Андреева в том, что тот целиком заимствовал форму из “Автобиографии” Чарльза Дарвина. Литературный обозреватель, подписавшийся С.О., называет повесть “бледной и маловыразительной”, с “символизацией, доведенной до высшей степени отвлеченности”, примечательной, скорее, как характеристика умонастроения Андреева – “пессимизма нашего талантливом автора” (*С.О.*

Наша литература в 1908 г. // Одесские новости. 1908. 31 дек. (№ 7705). С. 2). Впрочем, тремя месяцами раньше тот же С.О. приветствовал появление новой повести Андреева следующими заявлениями: «“Мои записки” являются самым замечательным из всего, что написано нашим молодым художником-мыслителем для обличения мучительных противоречий, которыми страдает нынешнее общество и в нем одинокий, вечно раздвоенный и всегда неудовлетворенный человек. В то же время это самое мрачное из всех его произведений, полное тоски по желанному и неосуществимому, полное безверия в возможность исхода из фатального сцепления страшных и гнетущих условий бытия» (С.О. Шестой альманах “Шиповника” // Одесские новости. 1908. 5 окт. (№ 7635). С. 3); “Пессимизм г. Андреева обостряется в его новом произведении с такою же силой, какой высоты достигает его сатирический и обличительный пафос, ядом пропитанный и со злостью выливаемый на головы современных культурных людей, кичащихся своим гуманизмом, искусством и утонченностью взаимных человеческих отношений” (Там же).

Литературный обозреватель газеты “Вечер” В. Маров, ядовито отзываясь о повести, делает заключение о творчестве писателя в целом: “Андреев представляется мне сосудом, не могущим вместить все его идеи. Он хотел бы быть Шекспиром, Толстым, Гете, Гюго. Но не хватило силы, и из Андреева он превратился в... Леонида Андреева” (Маров В. Гений нашего времени // Вечер. 1908. 16 окт. (№ 133). С. 4). “Есть гениальность общедоступная (...) И гениальность никому не доступная... Леонида Андреева”, – заключает он (Там же).

“Мои записки” встретили резкую критику у М. Горького, который в письме А.В. Амфитеатрову (ок. 20 окт. (2 нояб.) 1908) пишет: «Андреева “Мои записки” читали? Ныне он воспринял мистический анархизм Георгия Чулкова и с этой точки машет руками на позитивизм, материализм и иные виды теории, внушающие активное отношение к жизни. Хочет попасть в зубки всем этим философам, но попадает – мимо» (Горький. Письма. Т. 7. С. 31). Еще более резко характеризуется повесть в его письме Е.П. Пешковой от 18–19 (30–31) октября 1908 г.: «Вещь – озлобленная и противная. Погибает Леонид, с каждым шагом вперед он опускается куда-то вниз. Меня не удивит, если он напишет нечто в духе “Бесов»» (Там же. С. 29). В письме Е.К. Малиновской от 10 или 11 (23 или 24) апреля 1909 г. Горький указывает на повесть как на один из стимулов изменения личных отношений с ее автором: ««...» после “Тьмы” решил прекратить с ним личные отношения, а “Семь повешенных” и “Записки” – утвердили меня в решении этом» (Там же. С. 119). В письме В.Л. Львову-Рогачевскому от января 1912 г. Горький, уже по поводу романа “Сашка Жегулев”, упрекает Андреева в отсутствии “общественного инстинкта”, ссылаясь на “Мои записки”: «Лучше всего это выражено им в “Моих записках” – это верный ключ, коим отпираются все “тайны” его творчества – всюду холодного и надуманного» (Горький. Письма. Т. 9. С. 253; в оригинале письма данная фраза зачеркнута). В письме же самому Андрееву, написанном в 1911 г. (август, по-

сле 16 (29)), объясняя свое охлаждение к нему прежде всего “Тьмой”, за которую он на автора “обиделся”, Горький так отзывается о позднейшей повести: «(...) “Мои записки” – вещь тоже обидная, во-первых, потому, что совпадает с “философией” бездарного Чулкова, во-вторых, потому, что является проповедью пассивного отношения к жизни – проповедью неожиданной для меня и тебе несвойственной» (Там же. С. 87–88).

“Леонид Андреев подарил нас новым тяжелым кошмаром”, – пишет Н. Сербов (*Сербов Н. Священная формула железной решетки: “Мои записки”*, повесть Л. Андреева // *Столичная молва*. 1908. 20 окт. (№ 22). С. 3). “Первым впечатлением среднего читателя” он называет “впечатление страшного кошмара, в своем спокойном изложении действующего сильнее самых кровавых картин безумия и ужаса” (Там же). Рецензент находит “спокойную повесть, написанную старческим, не андреевским языком”, «еще страшнее обычных для Андреева “безумия и ужаса”, безысходности отчаяния, нечеловеческих страданий, зияющих провалов бездны» (Там же) – всего, к чему писатель приучил своих читателей. Философию героя Н. Сербов определяет как “исступленный апофеоз рабства” (Там же).

Об “ужасе бессцельности”, выразившемся в “Моих записках”, пишет М. Люсин: “Могучий, огромный талант Андреева мечется в тисках заколдованного круга целесообразности мироздания и в бессилии тонет в хаосе его загадок, освещая человечеству ту или другую из них ярким светом своего гения” (*Люсин М. “Дни нашей жизни” Леонида Андреева* // *Голос юга*. Елисаветград, 1908. 6 дек. (№ 285). С. 3).

Некоторую надуманность повести и “верность себе” Андреева отмечает С. Яблоновский: “...иначе г. Андреев не может: если повешенные, так семеро, если убийство, так что-нибудь до последней степени исключительное” (*Яблоновский С. [Потресов С.В.] “Мои записки”* // *РС*. 1908. 11 окт. (№ 236). С. 2). Впрочем, попутно критик делает и повести, и писателю комплимент: «Леонид Андреев всегда жонглирует с находящимися в его распоряжении психологическими и иными данными; всегда балансирует на канате парадокса, но никогда это не проделывалось им с таким искусством, как в “Моих записках”» (Там же).

Н. Инбер сближает Андреева с Ф. Ницше (“родной брат Ницше”) по духу, “по склонности к постановке основных, самых главных проблем бытия, по какой-то болезненной любви к самым загадочным, казалось бы, неразрешимым тайнам жизни” (*Инбер Н. “Ибо я должен жить!” (“Мои записки” Леонида Андреева)* // *Одесские новости*. 1908. 11 окт. (№ 7640). С. 2). Автора “Моих записок”, по мнению критика, можно упрекнуть в том, что тот слишком быстро перебегает с одной темы на другую, но он “не Гете и не Толстой”, чтобы позволить себе это, да и материальных затруднений он не испытывает, подобно Достоевскому, который, “чтобы спасти последнюю теплую юбку больной жены”, писал чуть ли не по печатному листу в сутки. Однако после “Моих записок”, считает Н. Инбер, стало очевидно, что упрек этот несправедлив вследствие “огромной субъективности андреевского творчества”: в каждом

произведении писатель рассказывает о себе, и каждое его произведение – динамит. Вывод, который делает автор статьи, противоречив: “Выхода Андреев пока не нашел”, но в повести ощутим “поворотный пункт” в мироотношении, “вера в неисчерпаемые силы разумной человеческой личности” – “вопреки его (Андреева. – *Сост.*) видимой уверенности в ее бессилии” (Там же).

“Аллегорической туманностью” и “виртуозной путаницей” называет “Мои записки” А. Дерман: «...писатель опять впадает в “андреевщину”, опять демонстрирует изъяды своего могучего дарования”, “силу самодовлеющей виртуозности» (*Дерман А.* Литературные заметки: (VI альманах “Шиповника”) // Южные ведомости. Симферополь, 1908. 18 окт. (№ 237). С. 2–3). Упрекая Андреева в неясности идеи (“нет основ самого автора, нет ариадниной нити его собственного угла зрения” (Там же. С. 3)), критик вопрошает: “Есть ли это мысль о стремлении человека ограничить бесконечное – конечным, формулой железной решетки, или <...> идея борьбы начал хаоса и порядка, или противопоставление жизни без ясных и определенных целей – телеологическому мировоззрению – не знаю, не знаю, не знаю...” (Там же).

Более аргументированно подходят к оценке повести авторы журнальных публикаций, большая часть которых появилась к концу года и в следующем, 1909-м, году. Впрочем, и среди журнальных отзывов есть лишь основанные на предубеждении и противоположной литературно-эстетической ориентации их авторов. Так, З. Гиппиус увидела в “Моих записках” “лишь хаотическую, ленивую распущенность человека, всею тяжестью улегшегося на свой талант, который под ним, конечно, и треснул” (*Пуцин Лев [Гиппиус З.Н.]*. Литературный дневник // *РМ*. 1909. № 2. Отд. 2. С. 167). Повесть становится поводом, чтобы высказаться о творчестве Андреева в целом – “пышном пустоцвете”: не отказывая писателю в таланте, Пуцин–Гиппиус называет андреевские произведения маловразумительными и призывает не искать в них смысла, поскольку автор “пишет в четыре руки то, чего сам не понимает” (Там же).

Вяч. Полонский пишет по поводу “Моих записок” о “черном, мрачном и нудном, наконец, пессимизме” (*Полонский В.* Литературное обозрение // *Вестник знания*. СПб., 1908. № 12. С. 1464), оценивая повесть как неудачную для “мрачного гения” Андреева, “местами <...> страшно путаную, темную и непонятную, местами совершенно ненужно и даже вредно растянутую” (Там же. С. 1467), неудачную и в смысле соответствия поставленной себе автором задачи, и в смысле выдержанности символики: «“Мои записки” – кошмарная, мучительная повесть русской жизни. Это – доведенная до крайних пределов в безверии своем трагедия опустошенной души. Нарисованная символическими штрихами, порою темно, часто непонятно, порою запутанно – она камнем ложится на душу читателя и возбуждает в нем тяжелый вопрос: не дошел ли в своем пессимизме Андреев до той грани, за которой для него начинается уже страшное “ничто” и жизнь теряет всякую ценность и осмысленность?»

(Там же). Осуждая пессимизм Андреева, критик выражает надежду на то, что писатель отвратит свое творчество от “сил смерти” и направит его на “силы жизни” (Там же. С. 1469).

Рассматривая Андреева как “любопытного” и “крупного” художника, А. Горнфельд, тем не менее, невысоко ставит повесть и считает, что она интересна не “бедной андреевской философией”, а тем, что “вводит нас в психологический мир творчества Андреева” (*Горнфельд А. “Мои записки” Леонида Андреева // Русское богатство. 1909. Кн. 1. Отд. 2. С. 97*). Критик находит повесть слишком тенденциозной и элементарной, заключая: «... быть может, никогда поверхностная жизненная философия Леонида Андреева не выступала с такой обнаженностью, с такой беспощадной преднамеренностью, как в “Моих записках”» (Там же. С. 98). Задавая вопрос: “Зачем лжет герой повести?”, Горнфельд отвечает: «Трагедия рационализма – такова основная тема “Моих записок”» (Там же. С. 100), и эта трагедия объявляется им и трагедией самого Андреева. «Разум свел автора “Записок” с ума, рационализм есть источник его морального помешательства, самочинное умствование привело его к чудовищному преступлению» (Там же. С. 108–109).

На К. Арабажина повесть производит “крайне тяжелое, гнетущее впечатление”, он усматривает в ней “что-то мрачное, полное затаенного сарказма, по временам даже прямое издевательство” (*Арабажин К. Формула железной решетки: (По поводу повести Л. Андреева “Мои записки”) // Мир. СПб., 1908. 1 дек. (№ 4). С. 40*). “Мои записки” расцениваются им как еще одно звено в разрушительном по своему устремлению творчестве писателя, направленном на “борьбу с идолами и кумирами жизни” (Там же. С. 39), причем отмечается призрачность философии Андреева и бесплодность его разрушительной работы. Характеризуя повесть как “обычный образец андреевского творчества – сочетание реализма с кошмарами, правды жизни с философской и поэтической фантастикой” (Там же. С. 40), Арабажин заключает: “Записки” – “саркастический плевок жизни” (Там же. С. 41), “не формула железной решетки, как думает Андреев, а решето, продырявленное неудачными формулами” (Там же. С. 42).

Особенно много упреков находим в рецензии на шестой номер альманаха “Шиповника” Ал. Диесперова, который оценивает повесть как самую слабую из всего написанного Андреевым прежде: “неудавшуюся”, “нечто вроде литературного недоразумения”, “повесть неубедительную, сочиненную, художественно лживую с начала до конца”, “неразбериху, художественный хаос”, “безобидное произведение изнасилованной фантазии”, на которое “безобидный и дешевый бенгальский огонь бросает адские рефлексы”, “ходульное, шитое белыми нитками произведение” с “неясно поставленной и неудачно разрешенной психологической проблемой” (*Диесперов А. Альманах “Шиповника”. Кн. 6-я // РМ. 1908. № 12. Отд. 2. С. 265*). Строгий приговор выносит критик и языку “Моих записок”: “Язык повести Андреева такой же деланный, как и вся ее конструкция” (Там же. С. 266), – в качестве иллюстрации приводится одно из примечаний героя к его дневниковым запискам. Упрекая писателя в

том, что он из своего героя сделал дьявола, Диесперов, тем не менее, как одну из немногих художественных удач автора отмечает второстепенных персонажей, в частности художника, который “жив, прост и понятен” и в котором чувствуется “искра неподдельной художественности” (Там же). “Заблудившийся талант, – заключает Диесперов. – (...) Ему не дано осуществить последнего синтеза художника и пророка” (Там же).

В целом ряде журнальных рецензий на “Мои записки” в качестве центрального и глубинного интереса повести выделяется ее сатирическая направленность. Так, Ник. Носков, оценивая “Мои записки” как “местами безусловно талантливую”, но “в общем поразительно не художественную вещь писателя” (*Носков Ник. [Васильев Н.В.] Литературное обозрение. II // Мир. СПб., 1908. 1 нояб. (№ 2). С. 32*), видит в ней сатиру на обывательскую философию героя: “Сатирический элемент – ее сила, попытки на углубление, на анализ тайников человеческого души – ее слабость. В ней как бы два параллельных замысла, два взаимно исключających друг друга элемента” (Там же. С. 33); “Символика и реализм рядом, и рядом яркая, дышащая силой гнева и презрения сатира” (Там же); “Художник уступает место сатирику” (Там же. С. 34); “...Вся ценность и интерес нового произведения Л. Андреева сводится к сатире, и вне ее оно не имеет ни особого художественного значения, ни общественного интереса” (Там же).

Критик Боривой также видит в повести прежде всего сатиру: это “язвительная сатира, написанная кровью израненного любящего сердца. Ее жестокая мудрость – это горечь оскорбленной любви к людям. Ее издевательства – самобичевание. И какая это великолепная сатира!” (*Боривой [Якушев В.П.]. Литературные очерки: Жестокая мудрость // Голос правды. СПб., 1908. 16 окт. (№ 921). С. 2*). На вопрос: «Но есть ли мировоззрение автора “Моих записок” – мировоззрение Андреева?» – Боривой отвечает: нет, Андреев скорее на стороне художника К. (сцена разговора главного героя с художником расценивается им как самая сильная в повести).

Наконец, в статье Р.В. Иванова-Разумника также подчеркивается сатирическая нацеленность “Моих записок”: “сатира и мораль смысл этого всего”. Задавая вопросом, насколько “удалось или не удалось Л. Андрееву решение поставленной им себе задачи”, критик отвечает: «Рассказ, несомненно, очень удался Л. Андрееву; он выдержан и написан с большой тонкостью исполнения, столь странно иногда сочетающейся у него с “топорностью” замыслов; но убедительно ли это для инаковерующих? Вера в объективную осмысленность жизни неуничтожима в известной части человечества, – ее не уничтожишь никакими доказательствами от противного. Но ведь цель художественного произведения не заключается в доказательстве той или иной отвлеченной мысли; это только анекдотический и, по-видимому, не очень умный математик мог спросить, прослушав симфонию: “что она доказывает?” Рассказ Л. Андреева ничего не доказывает; он только показывает, что Л. Андреев еще больше укрепился на своей прежней точке зрения – на

убеждении в объективной бессмысленности жизни. Этим однако он еще не ответил на другой неизбежный вопрос: не имеет ли зато жизнь внутренней, субъективной осмысленности? Но в том-то и дело, что Л. Андреев твердо убежден в объективной бессмысленности жизни и нерешительно колеблется в вопросе об ее субъективной осмысленности» (*Иванов-Разумник Р.В.* Талантливое сочинительство: (По поводу “Моих записок” Л. Андреева) // *РВед.* 1908. 29 окт. (№ 251). С. 2). Критик заключает: “Мои записки” – “талантливое сочинительство, не создающее нам живые образы и типы, а временно придающее вид жизни восковым фигурам, ходячим символам и аллегориям” (Там же); в этом “слабый пункт” творчества Андреева, но он “громадный талант”, а “талант всегда прав” (Там же).

Сразу несколько критиков характеризуют андреевскую повесть как интересную в психопатологическом отношении. Так, “психопатологическую картину, написанную мастерской кистью художника”, видит в ней автор заметки в “Донской жизни” ([Б.п.] “Мои записки” Леонида Андреева // *Донская жизнь.* 1908. 11 окт. (№ 234). С. 2). “На всем протяжении повести рассыпаны непередаваемые штрихи и подробности, создающие в своей совокупности законченную, художественно цельную картину душевной жизни психически больного арестанта”, – разворачивает далее автор свою мысль (Там же).

По мнению А. Измайлова, “Записки Андреева дают прямые иллюстрации к теоретическим страницам учебника психиатрии” и могут стать материалом для студентов-юристов: “...Во второй половине повести перед вами настоящий субъект психиатрической клиники, с элементами мании величия и с повышенной иногда пугливостью и нервным беспокойством, вызывающими мысль о мании преследования” (*Измайлов А.* Художественный ребус: (Новая повесть Л. Андреева “Мои записки”) // *РС.* 1908. 23 окт. (№ 246). С. 2). “Мои записки” говорят автору заметки о широте области творчества, и он приветствует обращение литературы к изучению нервного, больного, психопатологического. Кроме того, А. Измайлов отмечает, что повесть, рассчитанная на умного читателя, представляет собой интеллектуальную игру, “поединок с безумцем”, но умным безумцем. Как достоинство повести отмечается адекватность ее “нарочитого” стиля замыслу: “Эта фраза непривычна для Андреева, периодична, вязка, длинна” (Там же).

Н. Сербов считает, что “дело психиатра разобраться в этом больном человеке, поставить диагноз, оценить научные достоинства нового творения Л. Андреева” (*Сербов Н.* Указ. соч. С. 3).

Примечательно, что в большинстве рецензий на “Мои записки” повесть рассматривается в контексте всего творчества Андреева и сопоставляется со многими его произведениями, что связано с параллельным развитием темы в сочинениях писателя разной жанровой природы. Эту особенность характеризует в своих статьях, посвященных “Моим запискам”, Вл. Боцяновский (*Боцяновский Вл.* Великий инквизитор Андреева // *Новая Русь.* СПб., 1908. 29 окт. (№ 75). С. 2; *Он же.* Леонид

Андреев и мировая гармония // Б-ка “Театра и искусства”. 1910. Т. X. (31 окт.) С. 36–72), отмечающий родство повести с “Рассказом о семи повешенных”, “Царем Голодом”, “Проклятием зверя”: “Новая повесть Андреева (...) находится в непосредственной связи с предшествующими произведениями самого Андреева” (*Боцяновский Вл. Великий инквизитор Андреева. С. 2*). Отмечая любовь писателя к притчам и причисляя “Мои записки” к “очень сложным, едва ли не сложнее предшествующих, ребусам” (*Боцяновский Вл. Леонид Андреев и мировая гармония. С. 50*), критик сближает это сочинение с такими произведениями, как “Савва”, “Тьма”. Сравнивает Боцяновский героя повести и с кесарем Августом (“Елеазар”): жизнь также берет над ним верх, хотя и не упреждает способность всматриваться в смерть (Там же). Сопоставляя “Красный смех” и “Мои записки” не в пользу последних, критик пишет: “...красная нить основной мысли автора теряется в прихотливых узорах сложного рисунка, в массе брошенных автором побочных мыслей, и потому она улавливается с неимоверно большим трудом” (*Боцяновский Вл. Великий инквизитор Андреева. С. 2*). По мнению Вл. Боцяновского, Л. Андреев ненавидит мировую гармонию, которую “символизировал одновременно двумя образами – расстроенной шарманки и основанной на неизбежной человеческой глупости тюрьмы”; у Ограждающего входы (“Анатэма”) и г. Начальника тюрьмы одна и та же роль: “оберегать мировую гармонию” (*Боцяновский Вл. Леонид Андреев и мировая гармония. С. 43*). В другой работе критика находим: «Я утверждаю, что автор “Моих записок” не кто иной, как не желающий сдать бунтовщик Савва. Это он оголяет землю от всего, что, по его мнению, задерживает новые, свежие побег. Это Савва работает» (*Боцяновский Вл. Великий инквизитор Андреева. С. 2*).

Приведем еще несколько сопоставлений. Рецензент, подписавшийся С.О., отмечает общность героев “Моих записок” и “Мысли” и в их преступности, и в пересмотре всех человеческих отношений “через призму большой души”, и в том, что “...через эту психологию сам автор проводит свое отношение к миру, свой взгляд на сущность как исторического процесса (...) так и явлений более длительных и постоянных, вытекающих из самой природы человека” (С.О. Указ. соч. С. 3). Критик считает, что повесть нельзя свести только к анализу “патологической души человека”: андреевские герои, хотя и ненормальны, весьма типичны (Там же; ср.: «Герой “Записок” не тип. Это символ всей нашей обывательской пошлятины с ее смиренным оправданием всякой лжи, с ее укушением правды, с ее полным примирением и оправданием всякой разумной действительности» (*Носков. Ник. Указ. соч. С. 33*)). А. Дерман усматривает много общего между “Моими записками” и “Мыслью” на фабульном уровне – «в отсутствии уверенности: убийца ли герой повести или не убийца, и в узорах этого сомнения чувствуется повторение андреевской “Мысли”...» (*Дерман А. Указ. соч. С. 3*). Критик, скрывающийся под псевдонимом Аид, видит в авторе “Моих записок” одновременно и д-ра Антона Игнатьевича Керженцева на каторге, и alter ego

самого Андреева (*Аид*. В руках рока: (Л. Андреев и его произведения, включая “Мои записки”). Вознесенск, 1909).

Боривой, сравнивая “Мои записки” со “Стеной” по силе “безнадежного проклятья”, брошенного миру, отмечает, что, «благодаря контрасту между тюрьмой и полною надежд, светлой жизнью, “Мои записки” производят гораздо более сильное впечатление, чем “Стена”» (*Боривой*. Указ. соч. С. 2).

Критик Н. С-кий замечает: «“Записки” близки и к “Жизни Человека”, и к “Тьме”, и “К звездам”, и <к> “Жили-были” и пр. Автор не отрешился от своего “лейтмотива” – ужас бессмысленности жизни...» (*С-кий Н.* Мысли вслух: По поводу “Моих записок” Л. Андреева // Старый владимирец. 1908. 18 нояб. (№ 87). С. 1). Не останавливаясь на “художественности и красоте” произведения (“эта сторона таланта признана всеми, оценена”), критик оценивает “идейную сторону”, “философскую сущность” повести, в самом заглавии которой ему слышится “что-то автобиографическое, личное” и видится поиск ответов на вопросы, поставленные в прежних произведениях писателя.

В. Львов-Рогачевский в своей позднейшей монографии указывает: «С поразительной настойчивостью ту же мысль (об измене мысли ее властелину-человеку, главную идею рассказа “Мысль”. – *Сост.*) повторяет художник и в своей стилизованной, отравленной ядом сарказма повести “Мои записки”, написанной в 1908 году.

Его герой – вечно притворяющийся убийца, доктор математики, очень напоминает вечно притворяющегося доктора медицины Керженцева. Оба они знают, что в “нравственной жизни есть свои полюсы”, и одного из них пытаются достичь. Керженцева погубил хаос его мысли, а безумный мономан-доктор математики подчинил этот хаос формуле железной решетки <...>

То, что говорил дальше доктор математики, представляет как бы конспект “Черных масок». Критик имеет в виду изложение основного сюжетного мотива пьесы (“пышный маскарад в замке”, на который “съехались отовсюду странные маски”), истолкованного героем “Записок” как борьба “изначального и страшного хаоса с жадным стремлением к гармонии” (*Львов-Рогачевский 1914*. С. 51–52).

А. Горнфельд также проводит параллель с “Черными масками”: по его мысли, герой “Записок” не верит сам себе, как не верит и Андреев; не все из исповеди героя нелепо для автора повести, и впечатления преступника во многом напоминают видения в “Черных масках”. Критик усматривает противоречие в самом авторе повести: именно в его сердце “идет борьба за священную формулу осмысленного мира” (*Горнфельд А.* Указ. соч. С. 120).

С “Черными масками” и “Мыслью” сближает повесть М. Морозов, отмечая, что фантазии героя “Моих записок” становятся сюжетами других произведений Андреева (*Морозов М.* Ужас бессцельности: (“Мои записки” и “Черные маски” Леонида Андреева) // Вершины: Лит.-критич. и филос.-публ. сб. СПб., 1909. Кн. 1. С. 245).

В контекст приведенных сопоставлений следует поместить суждения М. Волошина и И.Ф. Анненского. Так, Волошин в одном из писем матери пишет, что “это та самая повесть, про которую он (Андреев. – *Сост.*) говорил мне, что она будет ответом на мои статьи о нем” (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 60. Л. 71), а поскольку в волошинских статьях мотивируется “внутренняя органическая связь” таких произведений, как “Тьма”, “Иуда Искариот”, можно предположить, что “Мои записки” были восприняты им в этом ряду (см.: *Генералова Н.П.* “Мои записки” Леонида Андреева: (К вопросу об идейной проблематике повести) // Русская литература. 1986. № 4. С. 173–174). На тесную связь “Моих записок” с “Черными масками” указывает в одном из писем И.Ф. Анненский: «Улыбающееся сумасшествие герцога (героя “Черных масок”. – *Сост.*), которое началось в нем гораздо ранее, чем он видит масок, – его объективированная Андреевым галлюцинация и мука – в литературном отношении продолжает черствое, рационалистическое, гелертерское сумасшествие автора “Записок”» (*Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 483).

Еще один аспект сопоставлений – установление литературных традиций в “Моих записках”. И здесь у всех пишущих о повести обнаруживается единодушие в сближении Андреева с Достоевским, хотя и по-разному воспринятом. “Это уже пахнет Достоевским, и притом не подделкой под Достоевского, а Достоевским подлинным”, – констатирует С. Яблоновский (*Яблоновский С. [Потресов С.В.] “Мои записки”. С. 2*). Ему вторит А. Измайлов, отмечая, что только Андрееву “под силу сейчас братья за то, что удавалось Достоевскому” (*Измайлов А.* Художественный ребус: (Новая повесть Л. Андреева “Мои записки”). С. 2).

Упомянутые обширные статьи Вл. Боцяновского – опыт развернутого анализа повести как “дальнейшей разработки тех же вопросов, которые затронул Достоевский”. Критик настаивает на том, что повесть Андреева не сатира и не очередные “записки сумасшедшего” в духе Голя и Гаршина, как думают некоторые, а притча. Критик причисляет повесть Андреева к произведениям, в которых, как и в романах Достоевского, ставятся “мировые проблемы” и делается “новый шаг <...> в <...> направлении разрушения мировой гармонии” (*Боцяновский Вл.* Леонид Андреев и мировая гармония. С. 52). “Мои записки” критик расценивает как ту же легенду о Великом инквизиторе, только более пессимистическую с точки зрения высшей гармонии. Сближая Ивана Карамазова и героя “Тьмы”, “возвращающих свой билет Творцу”, Боцяновский считает, что герой “Моих записок” идет дальше: “В своей символической притче он (Андреев. – *Сост.*) не только нарисовал картину такой высшей гармонии, достигнутой по рецепту великого инквизитора Достоевского, но и сказал, что, в сущности, другой она не может быть. Андреев выдернул последнюю мистическую подпорку из-под этой высшей гармонии” (*Боцяновский Вл.* Великий инквизитор Андреева. С. 2). Примечательно наблюдение критика по поводу близости к утверждениям Ивана Карамазова формулировок “андреевского инквизитора” в заголовках его лекций.

В сцене разговора героя андреевской повести с художником Вл. Боцяновский также видит своеобразное “продолжение” легенды о Великом инквизиторе: если инквизитор Достоевского упрекает Христа в том, что он не принял трех искушений дьявола, то андреевский герой уверяет, что тот их принял-таки. Более того, герой “Моих записок” борется с этими тремя искушениями, и если Савва протестует против чуда, то “новая повесть идет дальше в этом отношении и срывает завесу с тайны и покоящегося на ней авторитета тех устроителей жизни, которые мнят себя гегемонами нашими, знающими дорогу к высшей гармонии” (Там же).

По мнению Боцяновского, герой Андреева – тот же инквизитор, только позитивист и материалист, который видит в Христе продавшегося дьяволу. Критик полагает, что в основе идеи мировой гармонии, по Андрееву, покоятся чудо, тайна и авторитет – и их-то автор упраздняет, дискредитирует в своей повести (его герой уже собирается творить “чудеса”). “Высшей гармонией” в “Моих записках” становится страшная тюрьма, в которой все гибнет: «“Записки” Андреева являются разработкой тех же вопросов, которые затронул Достоевский, и вместе с тем находятся в непосредственной связи с произведениями самого Андреева, проникнутыми враждой к тюремной “высшей гармонии” и теми ее вещателями, которые, задрапировавшись в тайну и авторитет, превратили мир в тюрьму, всё, всех, всю жизнь прикрыли тяжелой железной решеткой» (*Боцяновский Вл.* Леонид Андреев и мировая гармония. С. 58).

Подробно доказывая, что герой “Моих записок” является убийцей, А. Горнфельд прямо называет его «достоевским “человеком из подполья”», находя, впрочем, параллели и с отцеубийцей Смердяковым, и с Фомой Опискиным, и с Раскольниковым, убившим не из-за денег, а “идейно” (*Горнфельд А.* Указ. соч. С. 96–120). “Приговор перевернул рациональное спокойствие убийцы” (Там же. С. 116), – сближает Горнфельд психологию героев повести Андреева и Раскольникова. Оба долго боролись с собой, однако если Раскольников переродился и жизнь у Достоевского победила диалектику, то у Андреева, по мысли критика, происходит наоборот. Разум, которым не правит совесть, приводит героя Андреева в тупик: “Безумие разнузданного разума и стало уделом несчастного узника” (Там же. С. 118).

Критик Боривой, называя Андреева “самым крупным современным беллетристом”, также сравнивает его с Достоевским. В частности, он обращает внимание на то, что действие в повести не внешнее, а внутреннее, а также на мастерство, с которым Андреев создает у читателя уверенность в том, что его герой – убийца: “Как это происходит – объяснить нельзя: это секрет Андреева. Умение, говоря одно, заставить понимать другое – редкое искусство, которое знают лишь исключительные таланты, и лучше всех – Достоевский” (*Боривой.* Указ. соч. С. 2).

С именем Достоевского критик А. Дерман связывает “неясность” повести: «Темноту усугубляет язык повести; это язык, напоминающий слегка Достоевского (именно “записки из подполья”), точно рассказчик одновременно издевается и над читателем, и над собой путем утвержде-

ния парадоксов и отрицания аксиом и трюизмов: все время приходится как бы вместо плюсов разумать минусы и наоборот. Влияние Достоевского – несомненно» (*Дерман А. Указ. соч. С. 3*).

Наконец, В. Германов отмечает, что мысль Андреева движется в той же плоскости, что и у Достоевского: это “освещение жизни с точки зрения вечности, религиозного приятия ее” (*Германов В. Вечное в художественной литературе наших дней. [Ч.] 2: Перед дверьми // Христианская мысль. Киев, 1916. Март. С. 132*). «Автор “Записок” – великий Инквизитор от позитивизма. Для него важно умиротворить человеческую душу, и он рисует идеалом жизни тюрьму, ограниченность», – вторит Германов Боцяновскому (Там же. С. 136).

Имя Л. Толстого также подспудно всплывает в рецензиях на повесть (см. ниже).

У Иванова-Разумника находим сравнение автора “Моих записок” с Чеховым: называя повесть “талантливым сочинительством”, критик оценивает Андреева как “большой талант, но грубый”, в отличие от Чехова, который умеет виртуозно исследовать любимую андреевскую тему “ужаса бесцельности” на примере повседневной жизни и обычных героев (*Иванов-Разумник Р.В. Указ. соч. С. 2*). Интересно, что Вл. Боцяновский сравнивает “Мои записки” Андреева с Чеховым в совершенно ином, положительном смысле: оба они “человеческие таланты”, любят жизнь настоящую, болеют за человека и верят в будущее (*Боцяновский Вл. Леонид Андреев и мировая гармония. С. 36–72*).

Вяч. Полонский, называя Андреева художником, который убивает себя в столкновении с могущественной философией пессимизма, противопоставляет его оптимизму Горького, верящего, что тюрьма должна пасть (*Полонский Вяч. Указ. соч. С. 1468*).

Социологическая критика пытается осмыслить “Мои записки” как очередную фазу развития социально-идеологической мысли. Одной из самых ранних попыток системного анализа повести с преимущественно социальной позиции является статья марксиста В. Воровского, увидевшего, что “за печальным рассказом о человеке, постигшем формулу железной решетки, кроется другой, еще более печальный рассказ: это трагедия современного интеллигента, отколотого от общества, одинокого со своей сверлящей мыслью” (*Орловский П. [Воровский В.] “Правда” или “ложь” // Одесское обозрение. 12 окт. (№ 248)*) (цит. по: *Воровский В.В. Соч. М., 1931. Т. 2. С. 269*). По мнению Воровского, Андреев “хотел показать, что голая, вырванная из житейского хаоса мысль обречена на движение по наклонной плоскости к тому пределу, где разум становится нелепостью, логика – безумием. Он хотел показать, что абстрактная правда, оторванная от условий времени и места, в которых она родилась, становится ложью, что она из орудия возрождения и освобождения человека становится орудием его гибели. Он хотел сказать, что метафизическая целесообразность, которой подгоняется вся жизнь общества и которой можно оправдать все – даже этику и эстетику железной решетки (...) есть высшая бессмыслица и высшее зло. Он хотел

сказать, что для познания жизни и направления ее на путь к благу и счастью нужно понимание не *мертвых* истин, чуждых человеческим массам, а истин *живых*, творящих чудо человеческого преображения” (Там же. С. 268–269). «Мир для него (героя повести. – *Сост.*) стал тюрьмой. Вселенную он в силах постигать лишь в рамках железной решетки, и он приходит в негодование, когда “хаос” жизни не хочет постигнуть его логических формул» (Там же. С. 269).

М. Неведомский вписывает повесть в социально-политический контекст и видит в ней “отклик на современность”, свидетельство “чувства утраты прежней живой связи с читателем” и кризиса в обществе, который он формулирует как “интеллигентский распад и разброд нашей интеллигенции” (*Неведомский М. Песни безвременья: (“Мои записки”, “Дни нашей жизни” и “Черные маски” Л. Андреева) // На рубеже: Критич. сб.: (К характеристике современных исканий). СПб., 1909. С. 288).*

Примечательно, что М. Неведомский, несмотря на социологический ракурс анализа, подробно останавливается и на художественных особенностях “Моих записок”, видя здесь серьезные недостатки, рассматриваемые им в тесной связи с содержанием повести. В качестве главного “дефекта” он отмечает двойственность, обусловленную двойственностью самого характера творчества Андреева: она, по мнению критика, проявляется и на уровне “художества”, как сочетание реализма и символизма (начал “интимно-философского”, или “интимно-личного”, и “схематично-обобщенного”, сочетание символического замысла с “реальной, бытовой средой”), и на уровне раскрытия темы: «Самый замысел ее глубоко двойственный. (...) В ней (...) отсутствует е д и н с т в о т е м ы. Две темы переплетаются все время друг с другом и порождают огромную неясность и сбивчивость впечатления. (...) “Мои записки” как бы соединяют в себе обе темы двух предыдущих андреевских “песен безвременья”: тему “Дней нашей жизни” – о власти объективных условий, о “будничном роке” – и тему “Черных масок” (...) – о лживости наших представлений о жизни» (Там же. С. 295–296). Тематическую “раздвоенность” повести критик иллюстрирует двумя ее лучшими, как считает он, сценами: разговором с художником К. и разговором героя с распятием и своим портретом; лжива и раздвоенна, по его мнению, и невеста героя в изображении Андреева.

Еще один “дефект”, по Неведомскому, – неразвернутость символа “железной решетки”, который не сопровождается подробным изложением философии героя, – “содержание этому символу дает лишь вся повесть, взятая целиком” (Там же. С. 293). К недостаткам, “обворовыванию себя”, относит критик и неразвитость темы о влиянии одиночества на философа, о его “освобождении от влияния среды” и связи этого настроения с его духовной деградацией, “мыслительным крахом” (Там же. С. 299). Плох, по мнению критика, и стиль повести, “утомительный до чрезвычайности”, так как “повесть написана вся языком автора записок – мертво практическим, тягучим, лицемерным, с массой оговорок и подстрочных примечаний” (Там же).

Впрочем, вывод, который делается Неведомским из анализа повести, скорее положительен: в “Моих записках”, “при всех огромных недостатках внешних и внутренних, при искусственности и невыдержанности стиля, при сбивающей с толку раздвоенности замысла, – все же содержится большая и интересная мысль” (Там же. С. 300).

Ю. Александрович, прослеживая этапы развития русской интеллигенции за последнюю четверть века, рассматривает повесть как одно из звеньев нигилизма, ставшего источником трагедии Андреева (*Александрович Ю. [Потеряхин А.Н.] После Чехова. Т. 2: Нигилизм-модерн и наши моралисты. М., 1909. С. 97–103*), и отмечает, что, хотя “... такой бездны отчаяния, ужаса и отрицания бытия мы не видали еще от Л. Андреева” (Там же. С. 98), «...перед нами снова прежний Л. Андреев с его эпическим спокойным тоном, холодной, стальной мыслью, бесстрашно порхающий над пропастями, не “пугающий”, но доводящий до ужаса...» (Там же). Попутно повесть оценивается и с художественных позиций – как “произведение высокой ценности”, в котором виден “жестокий талант” во всей его “многогранной красоте, величии и мощи” (Там же. С. 98).

Автор книги “В руках рока...” Аид руководствуется в своем анализе повести исключительно социально-политическими установками; не разграничивая героя и автора, он приписывает Андрееву мысли и мирозерцание героя. Для Аида причина появления таких произведений, как “Мои записки”, – “политическое состояние нашей родины” и “отпечаток той социальной среды”, которая повлияла на Андреева (*Аид. Указ. соч. С. 53*). Он также усматривает в повести двойственность, но иного рода, и упрекает писателя в том, что тот не победил своего пессимизма, хотя его одиночество проникнуто любовью к человечеству; ссылаясь на Энгельса, критик заключает: “Благодаря этой двойственности, Леонид Андреев весь в руках Рока (истории). Он не проникся исторической необходимостью, а потому не поднялся над нею” (Там же. С. 53).

М. Морозов, называя Андреева “талантом с природной кривизной”, оценивает повесть как “памфлет на мирозерцание, исходящее из признания закономерности и необходимости”, т.е. на позитивизм (*Морозов М. Указ. соч. С. 226*). Упрекая Андреева в том, что он “платит тяжелую дань декадентству” (Там же. С. 220) и тщетно, не имея веры, стремится обрести мистический опыт, Морозов пишет: “Он питается не пониманием жизни в ее целом, – а только уродствами ее (...) Надо придумать гнуснейшее преступление, чтобы заставить уверовать в торжество хаоса, во власть темных стихий бездны” (Там же. С. 221). Далее автор статьи отмечает, что в “Моих записках” и автор, и герой носят маски, причем все герои суть один и тот же лик, а именно автор с его философией, – вот почему диалог героя и художника К. так похож на монолог: оба послушно выражают “глубины авторского понимания” (Там же. С. 225). Отмечая “огромный и мощный” замысел (Там же. С. 221), критик констатирует его нереализованность в повести именно вследствие того, что за всем стоит сам автор с его ущербной филосо-

фией: “Мысль самого автора, а не только его больного героя, движется в порочном круге” (Там же. С. 226).

«В “Моих записках” мы слышим старые, несложные мотивы, – продолжает Морозов. – Это все та же песня о бездне, ныне именуемой изначальным буйным хаосом. Ощущение ужаса перед властью этого хаоса составляет психологическую основу повести. Это – старое откровение Леонида Андреева о бунтующем, темном и древнем начале, притаившемся на дне безумно одинокой души человеческой. На очную ставку с ним художник привел новое откровение о творческом “я”, перевернувшем мир, создавшем по своей собственной воле и фантазии свое собственное царство покоя и гармонии. Увлекаемый склонностью к парадоксу, он соединил и то и другое в одном лице, славяв их безумием его. Автор одинаково предоставляет помешанному славословить красоту и целесообразность железной решетки и творческую силу свободной воли. И от этой умалишенной какофонии отдает полемической мелочью широко и глубоко задуманная вещь. И оттого-то она кажется нам ненужной – оттого-то не чувствуется в ней законченной самоцели и той собственной жизни, которою действительно живут создания поэтов, переживая своих творцов» (Там же. С. 228).

Важнейшие недостатки повести Морозов усматривает в парадоксальности, “обратных местах” (надо понимать, здесь критик употребляет придуманное И.С. Тургеневым понятие – “обратные общие места”), “насиловании смысла” и отсутствии глубокого философского мирозерцания: “Шиворот-навыворот – такова звезда волхвов, приведшая Леонида Андреева к яслям славы” (Там же. С. 229). Сила таланта Андреева, пишет критик, разворачивается путем “парадоксального противоречия”, а “не признак ли это бесцельности творчества, не имеющего внутреннего упора, обреченного безволием и отсутствием убежденности иметь точку опоры в парадоксальности?” (Там же). Анализ повести завершается целым рядом заключений о природе творчества писателя: “...Изнасилование естества – вот та великая задача, неугасающий маяк творчества Леонида Андреева”; “дерзкий вызов привычному”, “чтение книги жизни шиворот-навыворот” – “проклятие таланта Андреева”, но и источник его обаяния (Там же. С. 230).

Попытку осмыслить “Мои записки” с точки зрения христианской мысли предпринял В. Германов. Отрицая художественную ценность произведения Андреева вкпе со всем его творчеством – это “проповедь в форме литературы” (Германов В. Указ. соч. С. 129), автор статьи видит в повести “жестокий памфлет против того мировоззрения, которое в последние десятилетия развивает Мечников” (Там же. С. 136). «Заставить забыть о свободе, о порывах вдаль – вот желание автора “Записок”. Свободы нет и после смерти: и там – решетка и тюрьма», – пишет он (Там же. С. 137). И далее: “...вне религиозного сознания возможно только одно примирение с жизнью – отречение от всего человеческого во имя велений рока”, “но не может примириться с этою ложью сердце человеческое” (Там же. С. 137) – и ищет тайный смысл в Евангелии. Продол-

жение поиска новых ответов на старые вопросы в творчестве Андреева является для Германова доказательством того, что “и сам Андреев, видно, не нашел покоя в формуле решетки” (Там же. С. 138). Критик заключает: Андреев сбивается на “позитивную почву”, ставит старые как мир религиозные вопросы и забывает, что “Царство Божие внутри вас есть” (Там же).

Подводя итоги обзору критики, порожденной “Моими записками”, можно согласиться с мнением венгерского литературоведа Л. Силард, которая в своей трехчастной работе о “Моих записках”⁹ условно выделяет во всем написанном о повести Андреева четыре направления, каждое из которых “зависит от избираемых {...} путей подхода к произведению” (Силард Л. Указ. соч. I. S. 304). Эти направления следующие: “психологическое” (взгляд на повесть “сквозь призму психологизма”, сосредоточенность на анализе психологии героя и ее достоверности); “социологическое” (“соотнесение идей героя-повествователя с конкретно-исторической действительностью”); “философско-эссеистическое” (анализ системы философских идей в повести и их художественного выражения); “прототипическое” (“поиски прототипов, отражения конкретных литературно-мировоззренческих споров, прямой полемики с современниками или предшественниками” (Там же. S. 304–322).

Последний из аспектов критики, касающийся возможных прототипов главного героя “Моих записок”, вызвал полемику. Вкратце остановимся на этом.

Впервые “Мои записки” были связаны с именем Л.Н. Толстого – очень осторожно и с оговорками – А. Горнфельдом, обозревателем журнала “Русское богатство”, который увидел в повести идею непротivления, доведенную до логического конца (Горнфельд А. Указ. соч. С. 96–120). Отшельничество рассказчика, учительство, исповедальность, отрицательное отношение к литературе и вымыслу критик воспринимает как полемические отсылки к учению и эстетической теории позднего Толстого и даже “любовь в одиночку” интерпретирует как карикатуру на “Крейцерову сонату” (Там же. С. 101).

Сопоставление Горнфельда было поддержано, уже со ссылкой на первого биографа Андреева В.В. Брусянина, В.А. Поссе, воспоминания которого о рецепции “Моих записок” заслуживают особого внимания. Поссе описывает, как он отправился по приглашению самого Андреева в “Белые Ночи” (так называли виллу писателя) сразу после выхода в свет “загадочной” повести “Мои записки”, на которую обратил его внимание студент А.М. Маркер, “очень недолголюбивавший Андреева” и назвавший произведение “возмутительным пасквилом на Толстого”

⁹ Силард Л. “Мои записки” Л. Андреева. I: К вопросу об истории оценок и полемической направленности повести // *Studia Slavica Hungaricae*. XVIII. Вр., 1972; S. 303–342; II: Метаморфозы русского позитивизма в зеркале литературной пародии; III: Великий Инквизитор Л. Андреева, или “Душегрейка новейшего уныния” // *Studia Slavica Hungaricae*. XX. Вр., 1974. S. 41–69, 271–304.

(Поссе В.А. Мой жизненный путь: Дореволюционный период (1864–1917). М.: Л., 1929. С. 164). Приведем фрагмент из воспоминаний Поссе:

«Я не хотел верить Маркеру, так как одновременно с появлением в печати “Моих записок” Андреев посвятил “Рассказ о семи повешенных” Толстому и послал ему телеграмму, в которой просил разрешить ему приехать в Ясную Поляну. Телеграмма была составлена в выражениях восторженного поклонения перед великим писателем.

Прочел я “Мои записки”, и не без ужаса, – именно, ужаса, – должен был признать, что Маркер был прав.

Несомненно, Андреев думал о Толстом, когда писал “Мои записки”. Но можно ли это назвать пасквилем? Нет, это что-то иное, неизмеримо более сильное и более страшное. Здесь кощунственная радость надругательства над тем, что не только всем миром, но и самим Андреевым считается великим и святым. Преклоняясь перед Толстым, он издевается над ним; издеваясь, преклоняется» (Там же. С. 165).

Сомнения Поссе в своей – и Маркера – правоте были рассеяны другом Андреева, В.В. Брусяниным, с которым состоялся следующий разговор:

«– Тайну “Моих записок” мир узнает, – сказал Брусянин, – лишь после того, когда умрет и Толстой, и Андреев.

– Я знаю ее и теперь, – сказал я. – В лицемерном профессоре-отцеубийце Андреев изобразил Толстого.

– Кто это вам сказал? – спросил с испугом Брусянин.

– Мне это сказали “Мои записки”.

– Ну, раз вы угадали, то я могу сообщить вам одну интересную подробность. Леонид Николаевич рассказывал мне, что когда он создавал “Мои записки”, то до такой степени перевоплотился в Льва Николаевича, что у него даже изменился почерк, и он их написал почерком, очень похожим на почерк Толстого» (Там же).

Не желая касаться “Моих записок”, Поссе в гостях у Андреева обсуждал с ним рассказ Василевского (Не-буквы) о революционерке, подпавшей под влияние сыщика. С точки зрения Поссе-редактора, забравшего рассказ, автор перешел границы дозволенного в обрисовке героини, навеянной образом Софьи Перовской (ее письма к матери повлияли на замысел рассказа), и смешал “святое и прекрасное с самыми омерзительными подробностями половых извращений” (Там же). Андреев же иначе воспринял рассказ: “Мне понравилось у Василевского его крайнее дерзновение, с которым он не побоялся показать, какую грязь можно поднять с души даже самой чистой девушки” (Там же. С. 166). Дальнейший пассаж воспоминаний Поссе нарочито художествен и субъективен:

«– Да, вы любите кощунственное дерзновение. Это видно по “Моим запискам”. Скажите, как вы решились так надругаться над тем, кого вы чтите?

Андреев стоял в своей бархатной тужурке, с каштановыми волосами, откинутыми с высокого белого лба, стоял, заложив руки назад, при-

слонившись к кафельной печке. Лицо его было освещено лампой – оно побледнело, а глаза... смотря на эти глаза, я вспомнил глаза Христа, о которых художник говорил автору “Моих записок”.

Андреев ничего мне не ответил» (Там же).

В заключение заметим, что письменных подтверждений вышеизложенного в воспоминаниях Брусянина не обнаружено, а черновой автограф “Моих записок” не подтверждает догадки о сходстве почерков Толстого и Андреева в период работы над повестью (на что указывалось В.Н. Чуваковым, см. *ССХЛ*. Т. 3. С. 636). Однако версия об антитолстовской направленности повести была в разное время поддержана и другими исследователями, в частности В.И. Беззубовым, хотя и в смягченной форме: “Андреев попытался в иронически парадоксальной форме представить лишь тот логический конец, результат, к которому должны привести идеи пассивности, непротивления (не только толстовские) – к полной отрешенности от жизни, к бездеятельности, к “формуле железной решетки”...» (*Беззубов В.* Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 38). На подспудное присутствие в повести фигуры Толстого, пророка, еретика и “рассудочника”, создающего рационалистическое “новое Евангелие”, указывала и Л.А. Иезуитова (*Иезуитова Л.А.* Рассказ Леонида Андреева “Христиане”: репортаж? – пародия? – притча? // Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2000. С. 199–200; ср. в ее же ранней работе: «...злая сатира “Моих записок” направлена не только против автора теории непротивления злу насилем, но и против его последователей, в частности против Гаршина, пытавшегося найти положительную программу в учении Л. Толстого», – *Иезуитова Л.А.* Л. Андреев и В. Гаршин // *Вестник ЛГУ*. 1964. № 8. Вып. 2. С. 106).

Л. Силард опровергает мнение о пародийной направленности “Моих записок” в адрес Толстого и, сопоставляя не только идейно-философское содержание, но и стиль повести (“повышенную книжность лексики”, “устойчивые формы обращения к читателю” и «“буферные” эпитеты», “гладкую закругленность периодов”, – *Силард Л.* Указ. соч. II. S. 46) с литературно-критическими статьями Луначарского, выдвигает версию о том, что произведение Андреева – пародия на А.В. Луначарского, в том же году поместившего в сборнике “Литературный распад” статью “Тьма” с крайне негативной оценкой целого ряда произведений писателя (*Луначарский 1908*. С. 153–178).

По мнению Силард, помимо статьи о “Тьме”, объектом пародии в повести являются вообще идеи Луначарского, которые он высказывал в своей эссеистике и “полный набор” которых содержат его “Основы позитивной эстетики” (1904). Именно в последней статье высказывается мысль о “приспособляемости” как главном свойстве высокоразвитого организма (ср. определение доминанты характера своего героя Андреевым в беседе с А. Измайловым – “гений приспособляемости”). Вообще, “Мои записки”, по мнению Силард, носят “очевидные следы полемического чтения позитивистской литературы” (*Силард Л.* Указ. соч. II. S. 49)

и легко коррелируются с целым рядом положений Э. Маха, А. Богданова, откликом Н. Михайловского на философию Г. Спенсера; герой же повести определяется как “не просто позитивист, но позитивист махистско-авенариусовского толка, применяющий общие положения позитивной эстетики Луначарского к своему опыту” (Там же. II. S. 57).

“Мои записки” рассматриваются Л. Силард еще и как ключевое звено в философско-эстетическом споре Андреева с Горьким – в том числе и как “ответный отклик” на “богостроительскую” повесть Горького “Исповедь” (1908).

Итогом статей Л. Силард становится вывод: “Мои записки” – “блестящая по форме пародия и пронизательный по содержанию философский спор” с “махистским позитивизмом и выросшим из него русским богостроительством” в лице А.В. Луначарского и М. Горького (*Силард Л. Указ. соч. III. S. 293*): Луначарский – “теоретический объект пародии”, М. Горький – “психологический”.

В предисловии к двухтомнику избранной прозы Андреева В. Чуваков расширяет объект авторской иронии до вообще “философствующего обывателя”, который, “подобно вольтеровскому Панглосу, во всем находит целесообразность происходящего” (*Андреев Л. Повести и рассказы: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 37*).

В полемику о прототипах включается Н.П. Генералова, опровергающая концепцию Силард (*Генералова Н.П. “Мои записки” Леонида Андреева: (К вопросу об идейной проблематике повести) // Русская литература. 1986. С. 172–185*). Генералова полагает, что “говорить об антипозитивистской направленности повести Андреева следует очень осторожно, учитывая, что для него само понятие позитивизма носило, видимо, недифференцированный характер, сливаясь в некий обобщенный образ” (Там же. С. 180), а также определяет путь стилистических сопоставлений как необудительный.

Свою версию генеалогии героя “Моих записок” предлагает Л.А.Иезуитова (*Иезуитова Л. Повесть Л. Андреева “Мои записки” как явление модернизма (предавангарда) // Russian Literature. XXXVI – 1. North Holland; Amsterdam, 1994. P. 29–44*). По мнению исследователя, в “Моих записках” Андреев “вырабатывает принципиально новую конструкцию образа героя и типа сюжетостроения” – “по принципу деконструкции существовавших литературных и философско-исторических картин мира, выделения из них фрагментов, деталей, мотивов, придания им посредством повторов, монтажных комбинаций (...) самостоятельного звучания”; “это мифологемы литературы, других печатных текстов и более или менее известные факты самой жизни, обретающие статус мифа или символа”. К примеру, возводя математическую одаренность героя повести к многочисленным фактам увлеченности математикой: Наполеона (со ссылкой на И. Тэна), декабристов, народников и народовольцев, исследователь видит в формуле “доктор математики” некое включение в полемическое пространство математических – и, шире, рациональных – расчетов “с целью оспорить”, опираясь на Ф.М. Достоевского,

В.Г. Короленко, Фр. Шпильгагена, “рационалистические концепции мира, основанные на умозрительных представлениях о гармонических основах мироздания”. Сама ситуация “виновности-невиновности”, моделируемая в повести, тоже восходит, по мнению автора статьи, к жизненным и фабульным коллизиям русской истории – начиная с романов Достоевского и кончая русскими революционерами.

Андреев, видимо, считал удачной стилизованную манеру героя-рассказчика повести и потому уже после выхода повести в свет написал от его имени два цикла гротескных миниатюр-анекдотов (*Андреев Л.Н. Мои анекдоты: Листки из “Моих записок” // Утро России. 1915. 25 дек. (№ 354). С. 2–3 (“Бочка”, “Триумфатор, или Дружеский привет”, “Танец”, “Сладость сна”, “Сладость веры”); Он же. Мои анекдоты: Новые листки из “Моих записок” // Новый Сатирикон. 1916. 22 дек. (№ 52) (“О рекламе”, “О справедливости”, “О ценности слова”)*)).

Добавим, что повесть “Мои записки”, в свою очередь, стала прообразом и своеобразной матрицей жанра романа-антиутопии, а ее герой – апологет прекрасной на закате солнца тюремной решетки – явился ранним предтечей героя-математика из романа “Мы” Е. Замятина (см.: *Геллер Л. Божественная гармония несвободы: Леонид Андреев и Евгений Замятин // Геллер Л. Слово мера мира: Статьи о русской литературе XX века. М., 1994. С. 97–102*).

В 1938 г. повесть положительно оценил И.А. Бунин, который, как известно, невысоко ставил творчество Андреева при жизни писателя. Так, 22 сентября 1938 г. И.А. Бунин писал Б.К. Зайцеву: «... сообщаю, что вчера начал перечитывать Андреева, прочел пока три четверти “Моих записок” и вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что напрасно мы так уж его развенчали: редко талантливый человек...» (*Андреев Ник. Бунин о Л. Андрееве // Новый журнал. Нью-Йорк, 1978. Кн. 131. С. 210*).

При жизни автора повесть была переведена на чешский (1909), английский (1910, 1916), идиш (1912), французский (1913) языки.

С. 112. ...подобно Ньютону с его знаменитым яблоком... – Исаак Ньютон (1643–1727), английский физик, математик и астроном; по легенде, распространившейся благодаря его биографу У. Стьюкли, а позднее Вольтеру, открыл закон всемирного тяготения, сидя в саду и наблюдая падение яблока с дерева.

С. 121, примеч. 12. ...преlestную сказочку А. Шопенгауэра об италийском осле... – Имеется в виду иллюстрация Шопенгауэра к “одному из важнейших пунктов житейской мудрости” – тезису популяризаторской работы “Афоризмы житейской мудрости”, разъясняющей практические выводы из его философии. Этот пункт “состоит в правильном распределении нашего внимания между настоящим и будущим, чтобы ни одно из них не вредило другому (...) Те, кто, среди стремлений и надежд, живут исключительно будущим (...) в то время, как настоящее проходит для них без внимания и не использованным, – эти люди, как ни строят

они глубокомысленные лица, уподобляются итальянским ослам: чтобы заставить последних идти скорее, на прикрепленной к их голове палке вешают вязанку сена, которую они поэтому постоянно видят перед самыми глазами и надеются схватить. Ибо здесь человек отнимает от себя все существование, так как живет лишь *ad interim*^{*}, пока не умрет” (*Шопенгауэр А.* Полн. собр. соч. / Под ред. и в пер. Ю.И. Айхенвальда. М., 1910. Т. 4. С. 370–371).

С. 126. ...как *Ньютону – его бином, Кеплеру – его законы вращения светил.* — Бином – математическая формула, которой присвоено имя И. Ньютона; впрочем, некоторым ученым утверждение об авторстве Ньютона представляется спорным, так как он лишь обобщил формулу для разных показателей степеней, а вывел ее несколько раньше другой ученый – француз Б. Паскаль (1623–1662). Иоганн Кеплер (1571–1630) – немецкий математик, астроном, оптик и астролог; открыл законы движения планет.

С. 128. ...*микельанджеловского Моисея...* – “Моисей” – мраморная статуя ветхозаветного пророка работы Микеланджело Буонарrotти (1475–1564), занимающая центральное место в скульптурной гробнице папы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро ин Винколи (1513–1515). Изваяние представляет собою старца атлетического телосложения с длинной, спадающей ниже пояса бородой. Главное впечатление от статуи – внешнее спокойствие при громадном внутреннем напряжении, сочетание мудрости, уверенности, неукротимой страсти и решительной воли. Со времени своего создания “Моисей” воспринимался как величайший образ человеческой мощи и зрелости во всей западной пластике. Согласно Пятикнижию, Моисей – основоположник иудаизма, сплотивший израильские колена в единый народ.

С. 157, примеч. 58. *Ретирады* – от *фр.* *retiarde*, устаревшее слово, употреблявшееся как иноязычный эвфемизм для обозначения отхожего места, уборной.

С. 163. *Онания* – Онан – персонаж Ветхого Завета (Пятикнижие), второй сын Иуды, внук патриарха Иакова, который был наказан Богом смертью за уклонение от обязанностей левиратного союза с Фамарью, вдовой старшего брата, Ира. Онан, “когда входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему” (Быт 38: 9), за что и заслужил смертную кару от Господа. От его имени образован термин “онанизм”.

С. 173. *Подобно тому невинному Агнцу, Который взял на Себя грехи мира...* – Агнец – животное (ягненок, козленок), приносившееся в жертву “всесожжения” (Быт 22: 7; Ис 43: 23). В Библии агнец – поэтический образ, символ терпеливого, кроткого человека. У пророка Иеремии (50: 17) еврейский народ в целом уподобляется безгласно-покорному агнцу, ведомому на заклание. У пророка Исаяи агнец символизирует еврейский народ, искупивший своими страданиями грехи предков и других народов (Ис 1: 11; 16: 1; 34: 6; 40: 11; 43: 23; 66: 3). В христиан-

^{*} приуговляясь в путь (*лат.*)

ской апокалиптике Агнец Божий, или просто Агнец – иносказательное обозначение Христа как мессии.

С. 173. *Много званых, но мало избранных...* (Мф 22: 14) – библейский афоризм из притчи Христа о Царстве Небесном, уподобляемом царскому брачному пиру, на который не идут приглашенные. Речь идет об одиночном заключении, а одиночество в системе ценностей героя повести – благо, обычно избегаемое людьми.

С. 174. *Рамена* – плечи (*ц.-слав., устар.*).

ЧА и БМАП

С. 412. *“Горьким смехом моим посмеюся”* (эпиграф) – эпитафия на надгробной плите Н.В. Гоголя; преобразованная цитата из Библии: *“Понеже горьким словом моим посмеюся, отвержение и бедность наведу, яко бысть в поношение мне слово Господне и в посмех весь день”* (Иер 20: 8).

ПЬЕСЫ

ЦАРЬ ГОЛОД

(С. 185)

Источники текста:

ЧА1 – черновой автограф. 27 сентября – 4 октября 1907 г. С подзаголовком “Представление в шести картинах”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 139. Folder 3. 77 л.

ЧА1к – копия-оттиск (через копировальную бумагу) части *ЧА1*. Хранится: *РАЛ*. MS.606 / С.43.i. 37 л.

ЧН1 – черновой набросок перечня картин. С подзаголовком “Представление в шести картинах; соч. Леонида Андреева”. Хранится: *Hoover*. Box 139. Folder 4. 1 л.

ЧН2 – черновой набросок фрагмента картины четвертой. Хранится: *Hoover*. Box 139. Folder 4. 4 л. (л. 90–94).

ЧН3 – черновой набросок финала пьесы. 28 октября 1907 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 139. Folder 5. 6 л. (л. 91, 103–107 по нумерации *ЧА2*).

ЧА2 – черновой автограф. 3 ноября 1907 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 139. Folder 6. 108 л.

Б – Царь Голод (König Hunger). Представление в 5-ти карт. с прологом. Berlin: J.Ladyschnikow, 1908. 95 с.

ШОИ – Царь Голод. Представление в 5-ти карт. с прологом / С рис. Е. Лансере. СПб.: Шиповник, 1908. 127 с.

Ш. Т. 6. С. 7–127.

Пр. Т. 10. С. 3–130.

ПССМ. Т. 5. С. 192–253.

Впервые: *Б*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями (по *Б* и *ШОИ*):

Карт. 2, стк. 424: Вам мало этого? – *вместо*: Вам мало этого!

Карт. 3, стк. 351: Гм? – *вместо*: Гм!

Карт. 4, стк. 460: сударыни – *вместо*: сударыня

Первая редакция драмы (*ЧА1*, текст ее полностью публикуется в *Редакциях*) по своему сюжету и образной структуре в целом достаточно близка к *ОТ*. Написанная за достаточно короткий срок, в деталях она дорабатывалась автором еще в течение целого месяца. Существенным структурным отличием *ЧА1* от *ЧА2* и *ОТ* является обозначение пролога как отдельной картины, поэтому в данной редакции пьеса имеет под-

заголовок “Представление в шести картинах”. Подзаголовок, соответствующий *ОТ* (“Представление в пяти картинах с прологом”), появляется только в позднейшем слое *ЧА2*. По *ЧА1к* восстановлены листы, утраченные в *ЧА1* (см. примеч.).

ЧН1, *ЧН2* и *ЧН3* являются ранними вариантами соответствующих фрагментов *ЧА2*, о чем свидетельствует промежуточный (между *ЧА1* и *ЧА2*) характер их текста. При этом нумерация *ЧН3* совпадает с нумерацией *ЧА2*. Сложнее с *ЧН2*. Из его начала (л. 90) Андреев заимствует и включает в позднейший слой *ЧА2* фразу: “– Это революция. // – Не оскорбляйте революцию. Это бунт” (вставка на л. 84 *ЧА2*). Следующие далее эпизоды с Высоким молодым человеком, который заставляет всех танцевать (л. 90–91¹⁰), и танца с ним Девушки в черном (л. 93) в *ЧА2* заменены эпизодом с одиноко танцующей Девушкой в черном (л. 91–93). Следующий далее в *ЧН2* (л. 91) диалог лакея с хозяином в *ЧА2* сведен к единственной реплике лакея о приближении бунтовщиков; однако при формировании не дошедшей до нас белой редакции (ставшей основой *ОТ*) из этого листа заимствована идущая ниже большая ремарка: “Общий переполох. ~ хриплый рог Смерти.” (*ОТ*, карт. 4, стк. 395). В *ЧА2* эта ремарка (л. 94) по каким-то причинам наполовину утрачена (отрезана соответствующая нижняя часть листа), для восполнения чего приложен л. 91, изъятый из *ЧН2*. Следующий далее в *ЧН2* эпизод с приходом Инженера (л. 93–94) частично текстуально совпадает с соответствующим текстом *ЧА2* (л. 96).

Концовка *ЧН3* свидетельствует о том, что в этой версии, в отличие от *ЧА2* и *ОТ*, наличествовал своеобразный эпилог, перекликавшийся с прологом: диалог Царя Голода, Времени и Смерти по завершении событий пьесы (сохранившийся фрагмент эпилога – л. 107 *ЧН3*).

В рабочей тетради сохранилась запись, связанная с пьесой, которая относится ко времени работы над ней:

“К царю Голоду.

В мире нет правосудия, в мире есть только сила. Разве волк судит зайца и тигр козюлю?” (*МИИ2012*. С. 139).

Уже в середине лета 1906 г. в письме К.С. Станиславскому Андреев сообщает: “{...} задуманы мною две пьесы, – обе совершенно цензурные и обе для меня одинаково интересные. Какую писать? – потому что двух-то ведь не напишешь? Вместе с тем в постановке обе совершенно различны. Одна очень проста, почти без декораций, без необходимости что-либо изучать; другая – сложная, громоздкая, декоративная почти до степени оперы или балета” (*УЗТГУ119*. С. 382). Речь идет о вскоре законченной “Жизни Человека” и существующем лишь в замысле “Царе Голоде”. Приблизительно то же и в то же время Андреев писал и Вл.И. Немировичу-Данченко (Там же. С. 388).

¹⁰ Л. 91 перенесен в *ЧА1* для использования одного фрагмента при формировании *ОТ* (см. ниже).

2 (15) марта 1907 г. он пишет В.В. Вересаеву с Капри: «Для меня “Жизнь человека” (помимо ее чисто интимного характера) имеет огромное значение. Как опыт новой формы. Дело в том, что имела успех пьеса или провалилась бы – я задумал написать и напишу, если не сдохну, целый цикл пиес в таком же духе, стилизованно»

- 1) Голод.
- 2) Война.
- 3) Революция.
- 4) Бог, дьявол и человек.

Тема, как видите, старая, и вся суть в новой форме, которая должна воскресить, обновить и существо этих старых вопросов. Задумано мною хорошо, но как выполню – зависит теперь от многого» (РГАЛИ. Ф. 1041. Оп. 4. Ед. хр. 182).

Вересаев в своих воспоминаниях о посещении Л. Андреева на Капри весной 1907 г. связывает работу над “Царем Голодом” именно с успехом “Жизни Человека” на сцене театра В.Ф. Коммиссаржевской. “К первым телеграммам В.Ф. Коммиссаржевской об успехе пьесы Леонид Николаевич, – пишет Вересаев, – отнесся с недоверием, думая, что его обманывают. Потом, когда успех выяснился с несомненностью, его охватила восторженная, чисто истерическая радость. (...) Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле “Жизнь человека”, подробно рассказал содержание впоследствии написанной им пьесы “Царь-Голод”. В его тогдашней, первоначальной передаче она мне показалась ярче и грандиозней, чем в осуществленной форме” (*Вересаев В.В. Литературные воспоминания // Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 413*). И уже в этом изложении Андреев подчеркивал, как пишет Вересаев, что “Царь Голод” – «изображение бунта, а не революции. “Революция” – это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии» (Там же). В письме К.С. Станиславскому в августе 1907 г. он уже более подробно характеризует особенности драмы: «(...) к будущему сезону я напишу для Вас “Царь-голод”, пьесу, которую я намереваюсь сделать боевой. Не смущайтесь заглавием. Это отнюдь не какая-нибудь политическая злободневщина, которую я сам ненавижу. Голод я хочу подвергнуть исследованию со стороны философской и широко общественной и дать вневременное художественное обобщение его. Очень сложная, даже грандиозная постановка, много действующих лиц и в центре – любопытная фигура самого “Царя-голода”. По настроению эта пьеса подойдет вполне к настроениям будущего года и, не уводя Художественный театр с дороги чистого искусства, даст полное удовлетворение публике в ее запросах. Чувствую, что вещь выйдет большая и неожиданно новая, несмотря на старую тему” (*Вопросы театра. С. 282*).

А 9 октября 1907 г. сообщает Горькому: «Какая у меня жизнь! Пишу, разговариваю, тоскую, смеюсь, пью, работаю – и все это в сто лошадиных сил. Написаны два рассказа, оба мне не нравятся, и в шесть дней соорудил “Царя-Голода” – кажется, вещь большая и серьезная. Сегодня читал на “Среде” (я сюда (т.е. в Петербург. – *Сост.*) перенес московские

“среды”»» (ЛН72. С. 299–300). Судя по дате письма, Андреев читал на “Среде” первую редакцию пьесы (ЧА1), и не удовлетворившая его реакция присутствующих скорее всего повлекла последующую тщательную отделку произведения. О реакции же он писал З.И. Гржебину: «“Голод” понравился не очень. Кудреватое и не страшно»¹¹ (Там же. С. 300; РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 1).

Прочитав “Царя Голода” в рукописи и отправляя ее А.В. Луначарскому, М. Горький сдержанно отозвался о нем: “Мне не очень понравилось это. Чего-то нет и что-то дано в излишке” (*Горький. Письма*. Т. 6. С. 150).

Сам автор, как это бывало с ним нередко, сомневается в полноте реализации очередного художественного замысла. Так, в письме М. Горькому от 11 февраля 1908 г. он замечает: «“Царь-Голод” написан втрое слабее, чем надо, и как-то отдает спрятанным в погребке покойником. Да, есть в нем что-то мертвое, холодное. Местами – хорошо, а фон какой-то серый, плохой», хотя далее и добавляет: «все-таки “Царь-Голод” не окончательно плохо» (ЛН72. С. 302).

Выход пьесы в свет задолго до реальной публикации подогревался различными сообщениями в печати. Хотя дошедшая до нас самая ранняя редакция “Царя Голода” – ЧА1 – датирована “27 сентября – 4 октября 1907 г.”, но упоминания в прессе о том, что Андреев работает над новой пьесой, появляются уже в апреле–мае 1907 г. В одном из самых первых сказано: «Леонид Андреев в настоящее время сильно увлечен драматической формой творчества. Успех “Жизни человека” поощрил его на новый труд. Писатель работает над новой драмой. Тема и название “Голод”. Драма написана в тех же тонах и приемах, что и “Жизнь человека”» (*ОбозрТ*. 1907. 7 апр. (№ 100). С. 7. Отд.: Новости искусства и литературы).

13 августа газета “Свободные мысли” сообщает, что писатель заканчивает “Царя Голода”. В сентябре уже появляются первые слухи о содержании и форме пьесы, с характерными комментариями: “Вся оригинальность этой пьесы заключается в том, что сцена будет разделена на два этажа: подвал и бельэтаж. Действие происходит в подвале, а в бельэтаже будет только пантомима: разумеется, без какого-либо кричащего и претенциозного новшества г-н Андреев не мог бы обойтись” (Русь. СПб., 1907. 3 сент. (№ 233). Отд.: Сцена). В интервью, данном в середине сентября, сам Андреев подтверждает то, что он продолжает работать над “Царем Голодом”, и вместе с тем сетует на преждевременные сообщения в прессе о его новых произведениях (*Эм.-Ге*. Встречи и разговоры: Леонид Андреев // Сегодня. СПб., 1907. 17 сент. (№ 325). С. 3).

9 октября “Обозрение театров” оповещает о предполагаемом чтении пьесы в кругу литераторов. Чтение (присутствовали А. Блок, С. Сергеев-

¹¹ Хотя сразу после чтений на “Среде”, 9 октября 1907 г., в состоянии эйфории Андреев записывает в своем дневнике, что “Царь Голод” был “назван гениальным” (*Андреев Л.Н. Дневник. 1897–1901 г. М., 2009. С. 218*).

Ценский и др.) вызывает пока еще краткие и редкие заметки о содержании пьесы. В конце октября – начале ноября многие газеты дают специальные сообщения об окончании работы над “Царем Голодом”. “Тульская молва” даже сообщает (25 и 26 октября) о готовящихся постановках пьесы в театре Коммиссаржевской и Художественном театре, а “Обозрение театров” (1 ноября) называет дату премьеры в первом из театров – 15 декабря 1907 г. (ни одно из этих сообщений в дальнейшем не подтвердилось).

В начале декабря сообщается о том, что во время своего пребывания в Москве Андреев неоднократно читал пьесу. Результат этих чтений – появляющиеся с середины декабря в московских, а затем и в других газетах подробные изложения содержания пьесы (см., напр.: Р.К. “Царь-Голод”. Новая пьеса Леонида Андреева // Наша мысль. М., 1907. 19 дек.). В январе и феврале 1908 г. прессу наводняют подробнейшие, с большими цитатами, пересказы содержания “Царя Голода”¹². В конце февраля – начале марта публикуются объявления о скором выходе отдельного издания пьесы в “Шиповнике” и переводе ее на немецкий язык, а почти одновременно с выходом в свет (28 февраля) – 1 марта в “Биржевых ведомостях” напечатана большая критическая статья А. Измайлова. Со второй половины марта о пьесе уже читаются лекции (К.И. Чуковским, В.И. Стражевым, Л.С. Козловским, В.Е. Ермиловым и др.).

Публикация пьесы вызвала в прессе ожесточенные споры. А. Измайлов отмечает прежде всего ее новаторство, говорит о ней как о явлении, свидетельствующем о «несомненности внутренней перестройки драматического произведения. Писатель хочет дать чистую пьесу настроения (...) Пусть зритель или читатель забудет все подробности драмы, все частные положения действующих лиц, все меткие, смешные и страшные слова. Но пусть останется вечно властное веяние идеи драмы. В данном случае – страшный образ Царя Голода, который терзает человечество, предательски провоцирует его на бунт, с дьявольской жестокостью выдает его в критическую минуту сытым победителям, сильным пушками и штыками, стоя над трупами.

“Царя Голода” называли продолжением “Жизни человека”, как бы второй частью трилогии или тетралогии. Это не так. Прямой связи нет. Есть только общность манеры. Есть общность писательского мировоз-

¹² Вероятнее всего, их инспирировал сам автор. Ср. воспоминания В. Беклемишевой (правда, она говорит о более позднем времени, 1912–1913 гг.): “Тогда – не знаю кому (помнится мне, что это было сделано при ближайшем участии Ф. Фальковского) – пришла в голову мысль помещать в газетах подробное содержание рассказов и пьес Андреева до их появления в печати. Причем толкование произведения было такое, какое хотел автор.

Это было нелепо и даже вредно, так как поднимало вокруг еще не напечатанного произведения какую-то нездоровую шумиху. Много раз и мой муж (С.Ю. Копельман. – *Сост.*), и А. Оль (зять Андреева. – *Сост.*), и я уговаривали Леонида Николаевича не делать этого, он не соглашался. Мне всегда казалось, что это шло у него от боязни быть непонятым” (*Реквием*. С. 206–207).

зрения. Автор того и другого – человек глубоко трагического настроения, измучившийся до страдания над мыслью о бедном человечестве, счастье, смерти с точки зрения вечности. <...>

Все в новой драме <...> направлено в сторону наибольшего вызова общего и жуткого настроения жалости к бедному человечеству и ужаса к вечному Царю, управляющему миром. Тона его то сгущаются в резкости и угловатости до карикатуры, то упрощаются до намеренного лубка, все стилизовано, если брать это слово, придавая ему прежде всего смысл символа, условности, оголения идеи» (*Измайлов А. “Царь-Голод” // БВед. 1908. 1 марта. (№ 10380). Утр. вып. С. 2).*

Говоря об ирреальности многих образов и сцен пьесы (Голод, Смерть, Время, сцены собрания хулиганов и других люмпенов во второй картине), Измайлов отмечает: “Но в такие антиреальности, невозможности, уже помимо того, что они дают беспощадную карикатуру базарной житейской суеты, может быть отвлечена высшая правда жизни, квинт-эссенция человеческой психологии и быта.

Все в представлении каждой мелочью рассчитано на настроение, и поэтому нет ничего труднее, как познакомить с такою вещью схематически. Самое содержание складывается в пару строк <...>

Дороги мелочи, блики, штрихи, переливы смешанных и зловещих слов и то цельное впечатление, которое вы выносите из всей сцены. А впечатление это на сцене будет огромно. Оно сильно даже при простом чтении. Я считаю эту пьесу лучшею из всех вещей Андреева этого года. Он здесь истинный трагик, художник ужаса и безобразия. Если мы признаем Гою потому, что он будит нашу мысль, и следим за гротэсками Раблэ, то имеет право на полное внимание и трагическая сатира Андреева” (Там же).

Критик особенное внимание останавливает на второй картине, обильно цитируя эту наиболее яркую, по его мнению, часть пьесы, и заключает статью утверждением: “Не надо быть пророком, чтобы предсказывать огромный успех, какой ждет пьесу Андреева в умном и стильном исполнении. Даже в чтении она оставляет сильное впечатление. Ее язык местами звучит как медь. В полной силе дает себя почувствовать прекрасный и исключительный талант Андреева” (Там же).

В другой своей статье Измайлов пытается описать историко-литературную перспективу новаторского произведения. Предтечей новой драматургической поэтики он называет М. Метерлинка, считая основными характеристиками метерлинковской драмы ее краткость (одноактность) и фабульную “простоту”: у Метерлинка и его продолжателей “всюду игра на ожидании смерти, на страшном приближении. Фантазия авторов новой драмы не пошла дальше” (*Неблагодарный читатель [Измайлов А.А.]. Литературные беседы: “Царь-Голод” Леонида Андреева // Слово. СПб., 1908. 21 марта. (№ 411). С. 2).* Андреев уже в “Жизни Человека” делает попытку создать “по типу метерлинковских сцен” настоящую сложную драму, но этот первый опыт не был, по мнению критика, совершенен: «Андреев пытался отрешиться от определенного

быта, времени, места, но по самому сюжету своему рассказанная им история свелась к частной личной драме отдельного человека, который был архитектором и дурно кончил. Тысячи и миллионы – не архитекторы и не кончают таверной. Именно всеобъемлющего, общечеловеческого значения лишилась пьеса.

В своей новой драме “Царь-Голод” Андреев идет уверенным шагом определившего свой путь человека. Нет нерешительности, нет неровностей первых нащупываний. Его художественные принципы теперь ему совершенно ясны (...)

Ничего не нарушает того общечеловеческого вывода, какой должна дать пьеса. Перед нами несомненный новый шаг в области сценического искусства – та новая драма, о которой мечтал Метерлинк (...)

Драма Андреева дает как бы квинтэссенцию реальности. Здесь краски сгущены, линии утолщены, рисунку дана намеренная резкость, грубость и моментами нескрываемая карикатурность. Здесь у персонажа что на уме, то и на языке» (Там же).

В сюжете пьесы все, считает критик, «просто, как просты темы старых классических поэм о Прометеях и Манфредах. Здесь все в деталях и все в настроении, которое должно сгуститься и нависнуть над землей, когда в последний раз опустится занавес.

Драма Андреева могла бы произвести могучее впечатление на сцене. Ее социальный наклон не может быть заслонен даже новизною художественных форм. Страдание рабочего здесь вопиет к небу. Это такой же крик в защиту меньшого брата, как гауптмановские “Ткачи”. И в то время, как Гауптман берет полнотою мелочей, рисующих именно силезского ткача, именно сороковых годов, именно на фабрике Дрейсигера, – Андреев намеренно затушевывает имена, года, особые приметы, все черточки быта (...) Нужно прочитать эту драму, чтобы уловить ее настроение, его не передать в схематическом переходе (Так! Вероятно, нужно читать: “пересказе”. – *Сост.*). Вся внешняя канва укладывается в три строки, и этот внешний сюжет совершенно отступает на второй план. И то, что запомнится от этой драмы после того, как время затушет ее в памяти, будет не сюжет, а общее сгущенное впечатление, какое оседает облаком над этой пьесой даже в чтении. Карикатурно-злое и сатирически-язвительное, страшное и трагикомическое сливается в одно жуткое пятно на фоне горящего города, залитого кровью и содрогающегося от грохота стальных машин (...)

Тона всей пьесы вообще причудливы, капризны, но веяние здорового и трезвого таланта ощутимо над пьесой, производящей сильное и прочное впечатление и выдающей зрелый и смелый талант. Это особенно приятно чувствовать после последних вещей Андреева, столь явно болезненных, что они в такой же мере являлись уже материалом для психиатра, в какой – для литературной критики» (Там же).

М. Неведомский (М.П. Миклашевский) отмечал, что “никогда еще и никто в такой ослепительно яркой и сжатой картине, на пространстве какого-нибудь квадратного аршина, не концентрировал так всех ужа-

сов нашего социального строя, всей его лжи и растлевающей безнравственности” (*Неведомский М.* О “навьих” чарах и “навьих” тропах // Современный мир. 1908. № 2. Отд. 1. С. 231). “Царь Голод”, писал он далее, – “это огромная *трагическая карикатура* в драматической форме, карикатура в стиле Франциска Гоя. Все шаржировано, все дает как бы экстракт жизни, как бы сгущенную ее сущность. И художник мощным размахом бросает проклятие свое в лицо современности и приводит в содрогание сердца” (Там же).

Впрочем, здесь же критик отмечает: «Я не буду упоминать о кое-каких мелких и чисто внешних дефектах. Это уже какой-то рок, висящий над Андреевым. Классической силы и красоты линии у него то там, то здесь обнаруживают излом (...)

К чему, например, эти “бутерброды с сыром”, которыми питается Смерть в сцене суда, или намордники на подсудимых “голодных”, или рабочий в позе Геркулеса Фарнезского (...)? Или почему Царь-голод оказался председателем на суде?» (Там же. С. 232).

Эти замечания вызвали отклик писателя. Видимо, вскоре после выхода статьи он писал ее автору: «Вы так хорошо отнеслись к “Царю-Голоду”, что я решил побороть мою органическую, отчаянную, скандальную и даже свинскую нелюбовь к письмам и разразиться этим посланием. И цель его – кое в чем оправдать Смерть, Царя Голода и себя самого.

Да, Смерть ест бутерброды и именно с сыром, и это не авторская моя прихоть, не этакий дымовский зигзаг пера. Это потому, что она действительно представляется мне как личность. По моему мнению, это ошибка думать, будто Демон, напр., только и делает, что проклинает и влюбляется, Христос только проповедует, творит чудеса и благословляет. Смерть только скалит зубы и косит. Верно? И раз по воле автора у каждого из этих персонажей есть тело, есть и жизнь, то стало быть, помимо профессиональных ихних задач у них должно быть нечто свое, личное, личная так сказать жизнь. И вот как представляется мне Смерть. Это дама очень страшная, иногда яростно свирепая, иногда тупо и холодно жестокая – не очень корректная и, в домашнем своем обиходе, весьма скромная, умеренная и порядочная. По обязанностям службы она жрет всё, но по убеждениям – ярая вегетарианка и с интересом читает статьи против вивисекции. Живет она в чистенькой комнатке, как это бывает у старых дев, еще не потерявших надежду на замужество, на окнах занавесочки и герань, постелька покрыта белым одеялом и наволочка с кружевными прошивками. У нее есть свой кот, очень толстый, и поит его только молоком, а за мышей дерет, безнадежно стараясь из кота сделать вегетарианца. Жизнь у нее сухая, печальная и одиночеством своим она томится; если за ней как следует поухаживать, то она может вдруг раскиснуть и даже впасть в сентиментальность...» (*Искусство.* 1925. № 2. С. 270–271).

Во многом близкую позиции Неведомского интерпретацию идейно-художественные новации пьесы получили у К.И. Чуковского. В своей книге “Леонид Андреев большой и маленький”, вероятно обобщая материал собственных лекций о пьесе, которые он читал весной 1908 г.

в столицах и провинции (газетных статей Чуковского о драме не отмечено, хотя он упоминает о них в своем мемуарном очерке “Леонид Андреев”¹³), он пишет: «Пьесу “Царь-Голод” нужно ставить в цирке Чинизелли или на Марсовом поле, на балаганах. Она не для театрального партера. Она словно не пером написана, а метлой, шваброй, – и, когда я читаю ее, мне кажется, что я слышу, как стучат в огромный барабан.

– Бум! бум! бум!

На барабане сыграешь ли фугу Баха? Ее юмор вульгарен, ее символы примитивны, она вся – для последних рядов райка. Там будут толпиться воскресные зрители, и грызть подсолнухи, и обсыпать шелухой передние ряды, и разевать рты, и хлопать заскоружеными руками, а в передних рядах зрители, очень похожие на тех, которые изображены в самой пьесе, будут вести разговоры, очень похожие на те, которые ведутся опять-таки в самой пьесе (...)

Но едва только начались первые сцены (...) и все заплясало, заискрилось, зазмеилось, и уже ко второму акту мне стало ясно, что предо мною великое создание барабанного искусства, великий шедевр швабры; вдохновенный, как брань на базарной площади, убедительный, как пощечина.

О, швабра совсем не плохая вещь для революционного поэта! (...)

Это поэзия огромных перспектив, широчайших возможностей, а не стишки про дурного городского.

Она должна выйти на базар с вульгарными гиканьем и свистом, с уличными остротами и площадными ругательствами, она должна сама для себя создать новые эстетические требования, а не танцевать от печки Надсона или Михайлова-Шеллера, она должна позабыть все: и Гомера, и Данте, и Вергилия, и прибить на Парнасе табличку: “за отъездом сдается в наем”, ибо ни при Гомере, ни при Данте, ни при Вергилии не было таких высоких фабричных труб, таких огромных вывесок, таких автомобилей, улиц, кинематографов (...)

Пьеса Андреева “Царь-Голод” и кажется мне первым и великим опытом на пути к осуществлению такой поэзии. Андреев, внесший в русскую литературу свой стиль, и свои темы, и свои художественные приемы, – является новатором и здесь¹⁴» (Чуковский К. Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908. С. 25, 27, 28, 29)¹⁵.

¹³ Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2001. Т. 5. С. 123.

¹⁴ «В прошлом году, может быть, замышляя уже “Царь-Голод”, Андреев сказал одному интервьюеру: “Вместе с новым читателем и с введением девятичасового рабочего дня освободится много народу: поэтому будет не только новый читатель, но и *новый зритель*. Он создаст новую сценическую литературу. Вообще все то, что раньше было у декадентов – этот рокфор литературы исчезнет и заменится каким-то черным хлебом, которого до сих пор у нас не было”» (Примеч. К.И. Чуковского)

¹⁵ Судя по всему, Чуковский был знаком с текстом пьесы до ее публикации и аналогичные высказывания донес до ее автора еще ранее. Андрееву они импортировали, как можно судить по его письму Чуковскому от 26 февраля 1908 г.:

Противопоставляя новую пьесу Андреева “Жизни Человека”, А. Тимофеев утверждает: «“Царь-Голод” – великая и мучительная попытка найти *основную силу, двигающую мировую жизнь*».

“Царь-Голод” – это целая мировая философия в противоположность “Жизни Человека” – философской драме, изображающей судьбы одного лишь человечества (...)

То, что совершается на земле, это лишь одно звено в цепи всей мировой жизни (...)

(...) Перед нами опять нет конкретных образов (...) Нет имен у действующих лиц, у них лишь названия, определяющие их *роль* в этой великой драме. Голод, смерть, время, первый рабочий, второй рабочий, третий, голодные, миллионерша – это все лишенные трепетных красок подлинной жизненности символы не разных типов, не разных характеров, а разных слоев человечества, разных слагаемых его» (А.Тим-ъ [Тимофеев А.]. Под кнутом современности // Руль. М., 1908. 9 марта. (№ 51). С. 2). По мнению критика, в пьесе отражена не “только драма человечества” (Там же).

Критик настаивает на том, что особенный философический пафос пьесы побеждает исходный трагизм ее образов: «Как Савонарола, с какой-то поразительной беспощадностью и грозящей безумием откровенностью рисует нам Андреев широкими, змеящимися мазками, сухими, горячими красками – это царство господ земли (...)

Л. Андрееву, как одному из немногих, дано созерцать и мыслить жизнь *sub specie aeternitatis*^{*}, находя за многоликостью и многогласностью бытия извечные источники и двигатели его (...)

Бунт должен кончиться неудачей! Та философия, которую сейчас принимает и исповедует Андреев, – философия разрушения, но не одного разрушения. В бунтующие чувства униженных и оскорбленных, помимо злобы, вплетаются еще и моменты великого, “восторженного воодушевления”.

Эта вторая идея та, что великая сила жизни – голод – должна преобразить, а не поработать человека, она должна превращать его в “восторженного героя жизни”, который в самой смерти ищет погибели и себя и человечества, чтобы после на развалинах распустилось и воссияло “царство детей наших”, где будут и мощь, и красота, и ум побеждать,

“Дорогой Корней Иванович!

Насчет дальнейшего, не знаю – а что помело, то помело. И даже швабра, это верно. А в общем я очень рад, что Вы так – именно так – поняли вещь... (...)

Но хотелось бы и поговорить с Вами. Я крайне заинтересован Вашим взглядом на вещь, столь неожиданным и своеобразным. И по существу, кажется, верным” (Письма Л.Н. Андреева К.И. Чуковскому / Вступ. ст., подг. текста и коммент. А.П. Черникова // Зап. ОР Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина. М., 1987. Вып. 46. С. 233).

* с точки зрения вечности (*лат.*)

где будет “прекрасно”, и само время умрет...» (А.Тим-ъ [Тимофеев А.]. Под кнутом современности (окончание) // Рувль. 16 марта. (№ 57). С. 4).

Неоднозначно оценил “Царя Голода” критик-марксист Н. Валентинов. Прежде всего, он вводит его в литературный и историко-социальный контекст. Так, пьеса Андреева сопоставляется с поэмой “Восстание” Эмиля Верхарна (Валентинов Н. [Вольский Н.В.] “Мы еще придем!” О современной литературе, “Жизни Человека” и “Царе-Голоде” Л. Андреева. М., 1908. С. 59). По поводу финальной сцены торжества победителей над трупами побежденных критик пишет: «Радость победителей – это радость населения Парижа Тьера по случаю избияния коммунаров. Тысячи коммунаров расстреливались тогда при помощи митральез, а “породистый” Париж, справляя тризну, наслаждался вином, абсентом, заглушая оргиями стоны умирающих. “Разодетые”, как у Андреева, “декольтированные дамы и девушки”, осыпанные драгоценностями, оправлялись с детьми на кладбище Pere Lachaise и хохотали, издевались над корчами умирающих побежденных инсургентов» (Там же. С. 61).

Охарактеризовав пьесу как “глубокое и художественное произведение”, Вольский считает, что «эта вещь принадлежит также к числу таких, после которых “хочется думать”. Она обнажает трагизм социальной жизни, ставит на размышление много вопросов и прежде всего, в первую голову – о смысле и содержании заключительного рефрена: “мы еще придем”. Что связывается с этим “еще *придем*” и почему “мы еще не пришли”?

Читатель, внимательно прочитавший “Царь-Голод”, легко поймет, почему “мы” оказались побежденными и дали торжество вандалистической беспощадности победителей. Не говоря уже об “отбросах” общества, неспособных ни к какой организованной борьбе и даже, наоборот, более склонной “продавать себя для реакционных козней” (Маркс); не говоря уже о деревне, у которой, – вспомните сцену на суде, – есть “только попытки к чему-то человеческому”, – посмотрите, в каком виде рисует Л. Андреев даже главную силу, поднимаемую Царь-Голодом. Эта сила бессознательна, инертна, движется лишь по приказу желудка. Это груды кишок, а не сознательное сотрудничество людей, знающих свои цели, пути их осуществления. “Дай нам хоть немного свободы”, – умоляют они машину (...) они не видят, кто стоит за машиной. В машине поэтому они видят своего врага и ропщут: машиной мы “куем собственные цепи” (...) Идея самоосвобождения так же чужда им, как и идея общественного самоуправления» (Там же. С. 65–66).

Развивая эту мысль при анализе образов трех рабочих, критик продолжает: “И с внешней стороны они в описании Л. Андреева таковы, что неспособны вызвать какие-нибудь радужные о них представления (...) Нет поэтому ничего удивительного, что голодные рабочие идут на призыв Царя-Голода ломать, уничтожать машины” (Там же. С. 67, 68).

Вместе с тем он отмечает: “И все же эти несознательные, темные работники не лишены идеальных стремлений. Когда Царь-Голод ставит перед ними роковой вопрос: поднимайтесь, вы погибнете, но выбирайте,

для кого гибель и смерть, для вас или детей ваших? – суровые, покорные и восторженные голоса отвечают: для нас!

Здесь с силой сказывается присущая классу идеальность стремлений: пусть мы умрем, но мы будем мостом, по которому в лучшее будущее пойдут наши дети – грядущие поколения. Но, повторяем, эта свободная смерть не озаряется светом творческого сознания. У Л. Андреева нигде не подчеркнут творческий момент в движении – у него движение масс идет под знаком слепого разрушения, инстинктивной реакции” (Там же. С. 69).

В конце своего анализа критик дает социально-политическую трактовку образов пьесы: «Вот здесь и возникает вопрос: почему не подчеркнут этот элемент в пьесе Л. Андреева? Два возможных толкования: или потому, что Л. Андреев изображает движение, взятое в его ранней форме, когда движение по существу своему только носит характер возмущения голодного желудка, непланомерно, неорганизованно, не связано с сознанием цели и путей творчества. Или другое: всякое движение обречено на гибель, в нем отсутствует творческий момент.

При последнем толковании рефрэн “мы еще придем!” получает ужасное, трагическое значение. “Мы еще придем” и снова напитаем кровью землю, снова ляжем костями. Вот к чему сводится он. В таком понимании социальная трагедия современности превращается в проблему трагической безысходности, угнетающую мозг теорию социального пессимизма! Нет выхода! Человечеству суждено биться в силках зла, ненависти, безумства, преступления, голода, страшных кровавых столкновений! Всякие попытки выйти отсюда вон, найти выход – химеричны (...) Для “породистых” людей нет милее этой санкционирующей status quo философии. То, что есть, останется на веки веков, утверждает она» (Там же. С. 70, 71).

Этому тотальному пессимизму критик-марксист противопоставляет перспективу освобождающей “голодных” социальной революции: «Но есть другой взгляд на будущее с точки людей “непородистых”. “Мы еще придем”, но уже радостными, смелыми и гордыми победителями. На это указывает наука, ее выводы никем не опровергнуты, и дело не разума, а воли, как говорил Фихте, принять и согласиться с этими предсказывающими выводами» (Там же. С. 71).

В.Л. Львов-Рогачевский, во многом совпадая в оценке пафоса пьесы с Н. Валентиновым, специально останавливается на образе Девушки в черном: «“Девушка в черном” не может найти себе место под перекрестным огнем классовой борьбы. Ее связывают родственные узы с победителями, там ее корни, но самодовольство, дикость и трусость и жестокость победителей ее отталкивают, она предчувствует их гибель и может посоветовать им только красивую смерть. Она присуждена по своему социальному положению быть вечно среди победителей, но она чужда им, она среди них неумная, безумная, и они не прочь упрятать ее в дом умалишенных или навязать ей свой оптимизм» (Львов В. Из жизни и литературы: “Девушка в черном” // Обр. 1908. № 5. С. 65).

Критик полагает, что «“Девушка в черном” напоминает нам буржуазные группы российской интеллигенции, тоже попавшие в мертвую точку, тоже изнывающие между двух огней. Некоторые из них – “белые вороны” сумели отделиться и слить свой пыл, свое сердце и силы с голодными, сумели порвать навсегда и без остатков с родным по крови... (...) О такой “Девушке в белом”, несшей знамя и упавшей под пулей с веселым лицом, рассказывает ее товарищ из повести Гусева-Оренбургского “Один”.

Как-то странно и неожиданно сошлись в двух произведениях, написанных одновременно на разных концах, эти две девушки, эти два символа великой трагедии» (Там же. С. 65).

Сопоставляя пьесу с рассказом “Проклятие зверя”, Львов-Рогачевский утверждает: «Обе вещи Леонида Андреева бледны, вялы, неровны и как-то не закончены. Художник не отделявал их, а отделился от них. Образы без лиц, какие-то стигийские тени проходят откуда-то, куда-то. Стигийские тени, как известно, должны испить теплой крови действительности, прежде чем начать говорить. Девушка в черном не имеет места в действительности, стигийские тени колеблются, они призрачны, они переходят в такие неопределенные символы, как “Царь-Голод”, или такие уже готовые, избитые символы, как Смерть или Время (...)

Форма пьесы “Царь-Голод” является только повторением приемов, испробованных художником в “Жизни Человека”, откуда попал в разбираемую нами пьесу не только мотив балльной музыки (в примечании дано указание на картину 2, где имеется данная перекличка. – *Сост.*).

Та же абстракция или “схематизация”, как выражается Леонид Андреев, та же отрывочность картин. Только здесь мы видим призрачную жизнь не абстрактного *Человека*, а призрачную борьбу абстрактных социальных групп» (Там же. С. 67).

В своей позднейшей книге Львов-Рогачевский, во многом повторяя выводы ранней рецензии, усугубляет негативизм своих оценок: «Пьеса Леонида Андреева – это приговор человеку: “Осужден во имя дьявола”.

Пьеса Леонида Андреева – это пляска смерти, это – “мертвое поле”, это бунт и проповедь бунта против жизни, против “большого сада”, где расцветают цветы любви”» (*Львов-Рогачевский 1914. С. 107*).

Сравнивая пьесу Андреева с поэмами и поэтическими циклами Э. Верхарна, посвященными восторгам, великой ярости и радости революционного бунта (“Зори”, “Мятежи”, “Восстание”), критик отмечает: “Этого восторга поэта, пьяного миром, не знает Леонид Андреев. Ярость его мятежников, – ничего не может, кроме сжигания книг и разрушения национальной галереи. Безвестная сила, которая влечет нас по дороге в грядущие дни, неведома музе Андреева, этой *девушке в черном*, которой нет места среди победителей и нет места среди побежденных” (Там же). Общая оценка идеи пьесы в книге определяется анализом ее центрального персонажа: «Предательство Царя-Голода, метаморфозы этого царя и лакея, отца голодных и палача – связывают пролог и картины, но связь эта не прочна. Не прочна прежде всего потому, что лицо

Царя-Голода далеко не выдержано. То мы видим злостного провокатора, который толкает голодных к дикому бунту и никогда не приводит к прочной победе, то друга побежденных, который плачет с ними кровавыми слезами и приходит к сытым победителям, сраженный, подавленный гибелью восставших.

Если читатель спросит, какова же идея пьесы, – я скажу, разверните сборник “Помощь голодающим” и на 22 странице прочтете следующее:

“Систематическое голодание народа всегда было наилучшим средством обеспечения незыблемости существующего порядка – ибо ничто так быстро и верно не превращает человека в раба, как голод; ибо даже разгневанный голодный раб – не революционер, а голодный бунт – не революция”.

Впрочем, эта идея, далеко не новая, проводится художником далеко не последовательно, благодаря какой-то нерешительности – бесчисленным оговоркам, как бы брошенным на всякий случай» (Там же. С. 110).

Еще более резкая оценка была дана пьесе другими критиками социал-демократической ориентации. А.В. Луначарский в своей известной статье “Тьма” из не менее известного марксистского сборника “Литературный распад”, в последней главке «VI. P.S. О “Царе-Голоде”» утверждал, что «⟨...⟩ проблема революции поставлена Андреевым по-детски. На бунт голодных толкает стихийный властелин – Голод. Богатые, опираясь на военные машины, уничтожают толпы бунтовщиков и торжествуют. К этому прибавлена платоническая угроза, что “мертвые встанут”.

Пьеса написана грубо. Но это скорее хорошо. В ней много недостатков, есть и достоинства, но ни на тех, ни на других я останавливаться не буду, кроме одного, главного – бесконечно упрощенного, мрачного, почти клеветнического изображения рабочего класса.

На фоне массы, забитой, голодной, задавленной машинами, ненавидящей их и поклоняющейся им, выступают такие три якобы типичных представителя рабочего класса ⟨...⟩» (*Луначарский 1908*. С. 170). Воспроизведя далее портреты рабочих из пьесы, критик-марксист вопрошает: «Вот вам три основные типа современного пролетария! Правдиво? Между бунтом рабочих и бунтом хулиганов Андреев усмотрел одну разницу: хулиганы несколько сознательнее.

Голодный бунт вроде описанного Гауптманом в “Ткачах” – вот предел мудрости Андреева. Повторяю: в драме есть недюжинные достоинства рядом с множеством слабостей (например, совершенно опереточная смерть, хотя автор хотел, чтобы она была ужасна, и т.п.). Но как общий замысел она убога: голодный расшибает лоб о пушку богатых. Вот и все. Интересно задуманная фигура протагониста не спасает. С такой убогой концепцией не подходят к революции. Это революция, отраженная в голове мещанина, пусть художника, но безнадёжного мещанина» (Там же. С. 172).

Подытоживая эту кратчайшую характеристику пьесы и статью в целом (где ранее была дана резко негативная оценка таких произведений

Андреева, как “Елеазар”, “Иуда Искариот”, “Проклятие зверя”, “Тьма”), Луначарский пишет: “Мысль Андреева всегда будет слаба в своих титанических потугах, ибо он мещанин. Он дошел до нигилизма, до всеотрицания. Боже мой, пустое и всеобщее отрицание есть только утверждение, ибо во тьме, в которую Андреев хочет погрузить мир, все кошки становятся серы. Чтобы тьма была тьмой, надо противопоставить ей свет. Андреев боится его. Другие ищут его и не могут найти. Видали даже, но душа их мещанская не приемлет его, заставляет их исказить его, превращать для себя в полусвет.

Свет же истинный есть идеология рабочего класса, это свет истинный – и тьма не объемлет его” (Там же. С. 173).

Схожие (или просто совпадающие) ноты звучали в статьях других, менее маститых литераторов-марксистов. Так, например, Д.Л. Тальников упрекал писателя в том, что он не сумел встать “на ту единственно правильную точку литературного зрения – пролетарскую, – которая ему открыла бы весь горизонт событий” (Тальников Д. [Шпитальников Д.Л.] Леонид Андреев и его “Царь-Голод” // Одесское обозрение. 1908. 8 апр. (№ 107). С. 2). По мнению критика, анархическое мирозерцание Андреева позволило ему показать только бунт.

Сам Андреев так охарактеризовал создавшуюся вокруг пьесы обстановку в письме М. Горькому в марте 1908 г.: «Снизу доверху, во всех этажах российского литературного дома, иногда весьма смахивающего на веселый дом, меня ругают. Есть в этом и некоторая организованность – компания “Весов” и Мережковских ведет линию сознательно (...) Но больше – от времени, искренне и тупо (...) Да, травля. Кадеты, мистики, декаденты, октябристы, черная сотня – со всех сторон. Но никак не ожидал я, что увенчают травлю с.-деки и что к именам Мережковского, Гиппиус и Брюсова присоединит свое имя Луначарский в “Литературном распаде” – книге, скрепленной твоим именем, – авторитетом»¹⁶ (ЛН72. С. 307).

И далее писатель продолжает: «“Трусливый раб”, “мещанин”, “клевветническое изображение рабочего класса”, ““Царь-Голод” – революция, отраженная в голове мещанина, пусть художника, но безнадежного мещанина”.

Мне грустно не за себя. Мне грустно за дело, которому служат так, как Луначарский – по-лакейски. Говорят о себе, как о людях новой, совершенной жизни, новой психологии, а пишут и думают, как в “Новом времени”.

Там, где Луначарский только дурак, он трогает меня мало, и ведь и в своей жизни дураки останутся дураками. И когда “Бунт” он смешивает с революцией (специально для этих господ у меня есть в “Царе-Голоде” фраза: “не оскорбляйте революцию, – это бунт” – не помогает) и на этом, единственно на этом недомыслии своем строит обвинение меня в мещанстве, – я смотрю спокойно. Недалеко время, когда я напишу

¹⁶ В сборнике была опубликована статья Горького “О цинизме”.

“Революцию” (она является третьей в цикле пьес, и об этом уже было напечатано), – тогда даже Луначарский поймет, что в бессмертии я смыслю больше, чем он, и смерти боюсь меньше, чем он. Да и пролетариат ценю, пожалуй, больше, чем он.

Но есть место в его статье, где он пишет: “Революционный народ у Андреева сжигает национальную галерею. Этого никогда не было и не будет. Революционер-пролетарий всегда охраняет музеи. Эти мелочи дополняют картину беспомощности Андреева перед лицом революции”.

У Андреева сказано:

“*Инженер*. Эти господа зажгли что-то там еще, кажется, Национальную галерею. Такие идиоты! Впрочем, *очень возможно, что галерея зажжена нашими же снарядами*”.

Луначарский:

“Хулиганы у Андреева делают дело вместе с рабочими, сопровождая революцию (опять революцию – вот дурак!) разбоем. Это *бессознательная ложь*. Хулиганы или *расстреливали* рабочих в качестве гард-мобилей, или громили под знаменем монархии или религии, как наши черносотенцы. Там, где революция торжествовала (вот же дурак, господа!), хулиганы трепетали”.

У Андреева:

“*Инженер*. В среде этих же голодных мы нашли за невысокую плату несколько достаточно умных и расторопных господ и снабдили их поручениями интимного свойства. И в настоящую минуту эти идиоты уже начали великолепнейшим образом *истреблять* друг друга”.

Не знаю, как на твой взгляд, но, по-моему, этакая картина ничуть не уступает Буренину и Мережковскому» (Там же. С. 307–308)¹⁷.

В интервью А.А. Измайлову Андреев заявил: «Партийные критики обвиняют меня за “Царь-Голод” в безверии в победу социализма. Луначарский в книге “Литературный распад”, посвященной борьбе с уродствами современной литературы, с точки зрения пролетарского мировоззрения обвиняет меня в почти клеветническом изображении рабочего класса. Идею “Царя-Голода” поняли как объявление банкротства революции. Может быть, я сам до известной степени виновен в том, что я так понят. Я не дал ясно понять, что здесь идет речь только о простом бунте, а не об истинной революции. Правда, у меня один персонаж говорит: “Не оскорбляйте революцию – это бунт”, но в самом деле этого, конечно, мало. Если бы знали весь план моей работы, знали, что за “Миром и войной”, о которой я думаю сейчас, идет специальная часть “Революция”, – этого упрека мне бы не сделали. Пожалуй, меня упрекнул даже в чрезмерном оптимизме. Может быть, мне следовало бы прямо оговорить это в предисловии или в примечании, но я этого не

¹⁷ Позднее Горький в целом оказался солидарен с Луначарским и назвал “Царя Голода” “реакционной вещью” и заявил, что, “если Леонид с этой тропы не сползет, быть ему в мракобесах!” (*Горький. Письма*. Т. 6. С. 199).

сделал. Вот всегдашняя невыгода выдавать труд частями» (*Измайлов А. О Леониде Андрееве // РС. 1908. 8 апр. (№ 82)*).

Действительно, критики, так или иначе близкие к символистскому лагерю, отнеслись к пьесе не менее сурово, чем марксисты. И характерно, что объединение столь различных литературных лагерей в процессе травли писателя “с чувством глубокого удовлетворения” отметил автор черносотенной “Русской речи” (*В. Поверженный кумир // Русская речь. Одесса, 1908. 17 апр. (№ 704). С. 1–2*).

Так, Д.В. Философов писал: «Читая “Царь-голод”, не знаешь, в чем больше убожества: в самой концепции или в ее форме.

Драма претендует на символизм, хочет воплотить “все ужасы социального строя”. Но в ней нет ни символизма, ни ужаса, а наивная аллегория балетных апофеозов, неграмотная риторика провинциальных трибунов. Гете писал Фауста чуть не всю жизнь, а Андреев накатал своего “Царя-голода”, вероятно, в несколько дней. Нет ни одной мелочи, ни одного штриха, за которыми чувствовалась бы органическая ткань подлинных переживаний, подлинных художественных восприятий (...)

Подлинный символизм всегда реален. Возьмите театр Ибсена, или вспомните Мефистофеля. Всеотрицающий дух небытия – существо живое, с плотью и кровью, так же, как и черный пудель, вьющийся около Фауста.

У Андреева все эти сутенеры, профессора, художники, – жалкие аллегорические ярлыки, мертвенные статисты плохого, захудалого театра. Вся пьеса пропитана невыносимой фальшью. Это Ростан наизнанку. Приемы “творчества” те же, только авторы пишут для разной публики. Один для салонов западных буржуа, другой для журфиксов мистических анархистов. Великая драма жизни, трагический символизм только что пережитой нами народной бури превращается под смрадным дыханием пошлости в отвратительный балаган, в издевку над жизнью, над голодом, над святым бунтом. Какая-то оффенбаховщина, которая в свое время покусилась даже на Фауста и создала своего Фауста “наизнанку”. Еще не забыты подлинные ужасы, еще не зажили настоящие раны, а Андреев забавляет нас ужасами картонными, картонными ранами, сутенерами, рабочими» (*Философов Д. Вокруг и около Андреева // Речь. 1908. 2 (15) апр. (№ 79). С. 2*).

Двумя месяцами позже о пьесе высказалась Зинаида Гиппиус (близкая к Философому, как исповедующая те же доктрины религиозной общественности и неохристианства). Оценка очередного произведения Андреева была в устах критика, как почти всегда и ранее, резко отрицательной: «Разложите произведения его в хронологическом порядке: упорно линия идет вниз, упорно каждая следующая вещь – ступенькой ниже. “Царь-Голод” – конец лестницы: не знаю, куда он теперь, – в подполье, что ли, спустится? В “Царе-Голоде” уже почти вовсе нет воспоминаний о таланте. Тут уж середина ниже средней, и притом какая-то бессовестная середина, гримасничающая под “гениальность”. Бессовестность врожденной не бывает, а лишь навязанной; и мне жалко

Л. Андреева, этого бедного, слабого, глупого человека, которого сделали другие бедные и глупые люди таким бессовестным» (*Кириллов Алексей [Гиппиус З.Н.] Без царя: О “Царе-Голоде” // Весы. 1908. № 6. С. 58*). Вместе с тем, в постскриптуме к этой заметке ее автор обращает внимание на только что вышедший “Рассказ о семи повешенных” (вскоре о нем появится весьма положительная статья Д.С. Мережковского – см. наст. изд., с. 630): «Искренняя радость моя – в том, что я опять нахожу в “Семи повешенных” прежнего Андреева, прежние просветы, мелькавшие в “Савве”, в “Губернаторе”, в раннем рассказе его “Молчание”. Опять они окружены безвкусицами и режущими глаз фальшивыми пятнами, – но пусть, что же делать? Я радуюсь тому, что *есть* хорошее, подлинное в Андрееве, что “Царь-Голод” не убил писателя, что опять он – “скорее хороший”, чем “скорее дурной”» (Там же. С. 61).

Ю.А. Айхенвальд в своем кратком отзыве попытался вывести антихудожественность пьесы из нежизненности представляемых в ней образов: «Гражданственность в этом “представлении” значительно преобладает над художественностью. Богатых пугают здесь угрозой, что бедные, бунт которых они подавили, жизни которых они уничтожили, воскреснут, и “они еще придут”. Эта мысль, столь не новая, это предчувствие общественного переворота облечены у Андреева в форму вычурную, и она тем меньше производит впечатления, что жизнь бедных, жизнь рабочих она изображает совершенно неправдоподобно. С удручающей и банальной прямолинейностью рабочие думают и говорят у него только о том, что они голодны, что их давит железо, гнетет чугун, плющит железный молот (...). Всему этому нельзя верить; это сгущение красок нежизненно, и автор, по своему обыкновению, совсем упускает из виду момент привычки. Ведь именно оттого так трудно осуществить всякое социальное движение, что над людьми властвует парализующая и примиряющая привычка – эта огромная центростремительная сила. И если писатель ее вынимает из внутреннего мира своих героев, то в драме голода он не видит ее истинно-трагической глубины. Здесь г. Андреев повинен, впрочем, не в простом недоразумении; оно связано с самой сущностью его писательской манеры, в которой есть нечто грубое, резкое, некультурное. Разделить жизнь, как Чермное море, на две стенки – богатство и бедность; заставить в верхнем этаже танцевать, а в подвале – голодать; (...) вообще, отдаться дешевой сатире, такой же мелкой и бесплодной, как та мелочь, которую в его пьесе подает буржуазное дитя голодной женщине, – все это оскорбительно своей пошлостью. Эстетически-невыносимо читать глупости, которые г. Андрееву угодно приписать рабочему, кашляющему кровью: “У одной богатой и красивой дамы я видел на груди алую розу – она и не знала, что это моя кровь”; из его кашля-де для богатых вырастают розы, и он даже радуется этому!.. Время у г. Андреева поет: “о, бесконечность, дочь моя!..” Какая безвкусица! И ее в “Царе-голоде” так много, что ее не искупают отдельные счастливые слова (детские гробики – “деревянные тихие колыбельки”) и отдельные штрихи смелых олицетворений или остроумия (во второй

картине). В общем, пьеса – шумная, эффектная, крикливая, но пустая» (Ю.А. [Айхенвальд Ю.А.] Леонид Андреев. Царь-голод. Представление в пяти картинах с прологом. Рисунки Е. Лансере. Изд. “Шиповник”. 197 с. СПб. 1908 г. Ц. 1 р. // *РМ*. 1908. № 3. Отд. 3. С. 46).

А.Н. Потеряхин утверждал: “В последней вещи поражает убожество замысла, примитивность выполнения, полное отсутствие работы над произведением, мастерства слова, кисти, техники. Дело театрального критика судить о том, насколько она сценична, но литературному критику делать там нечего”. Ибо, по мнению критика, в пьесе отсутствует присущее русской драме (Островского, Л.Толстого, Чехова и др.) «богатство идей, богатство красок, разнообразие типов, борьба характеров, трагизм положений. В пьесе Андреева ничего этого нет. Все взвалено на плечи театра. Нет ни типов – их свободен творить театр. Нет ни красок – их может создать и придумать театр. Нет ни идей – и создать их некому (...)

Но разве мало у нас памфлетов на буржуазию и памфлетов более богатых, содержательных и идейных, чем эти жалкие потуги на карикатуру в стиле XVI века?

И разве те жалкие плоскости, которыми Андреев надеется характеризовать буржуазию, для нее характерны? И разве она так глупа, так упрощенно-тривиальна?

Нет. Мы знаем буржуазию и мещанство. Но знаем, как тонкого, талантливое и умного врага (...)

И неужели нужно быть большим писателем, чтобы сказать, что голод служит буржуазии и что он слуга, хотя в то же время и враг? А между тем, разработке этой единственной и маленькой мысли посвящена вся пьеса.

Мы знаем дивные символические драмы Ибсена. Как живой, стоит перед нами его Рубек (герой пьесы “Когда мы, мертвые, пробуждаемся”. – *Сост.*) – сама конкретная жизнь и в то же время прекрасный и глубокий символ. Помним “Ганнеле” Гауптмана и “Потонувший колокол”.

И вот теперь “Царь-Голод”. Грубый и аляповатый “Царь-Голод”. Топорный “Царь-Голод”. Почти вульгарный.

Набросок для литературного произведения. План. Черновик. Кусок глины, из которой художник должен был сделать дивное создание искусства – и не сделал.

Повторяю, мы любим Андреева, – мы, нищие в художественной литературе, – мы болееем его болью, скорбим его скорбью, и мы горько чувствуем и прозреваем упадок творчества в целом ряде его последних произведений. И не знаем, чем объяснить его.

И это рядом с такой детальной, артистической обработкой материалов, как у Куприна, хотя бы в его “Изумруде”, “Рыбникове” (“Штабс-капитан Рыбников”. – *Сост.*) и “Суламифи”.

Андреев был хорошим художником и прекрасным мыслителем. Почему он отказался от того и другого?» (Александрович Ю. [Потеря-

хин А.Н.] “Царь Голод” и Л. Андреев // Раннее утро. М., 1908. 2 марта. (№ 87). С. 2).

Г. Полонский пишет, что приход Андреева к форме пьесы-стилизации является результатом все большего нарастания ужаса жизни в его произведениях.

«Я спрашиваю, можно ли еще дальше пойти художественно в ощущении ужасов жизни вообще и может ли это Андреев сделать безнаказанно? Я думаю, что Андреев отвечает на это стилизацией. Стилизация – это алгебра в литературе, а для Андреева стилизация – потуги удержать свои ужасы жизни на той высоте, на какой они естественно держались, когда автор еще не перешел в этом отношении своего предела. Хочу быть понятным. И Царь-Голод – ужас жизни {...}

Я не отрицаю достоинств пьесы, только говорю, что в связи с преобладающим мотивом в совокупности Андреевского творчества, Царь-Голод – слабый намек на то, что Андреев вообще передает с потрясающей силой и художественной мощью. Я говорю, что с этой точки зрения “Царь-Голод” не пьеса, а панорама скопированных картин. Я говорю, что это иначе и быть не могло, ибо свой предел ужасов жизни Андреев давно перешел в “Красном смехе” и в “Елеазаре” и что в этом отношении ему ничего не остается делать, как стилизовать или копировать самого себя» (Полонский Г. “Царь Голод” // Наш день. СПб., 1908. 24 марта (6 апр.). (№ 16). С. 2).

Критик противопоставляет этой стороне творчества Андреева другую: наряду с ужасами жизни “в его груди живет и целый мир радости и солнца”. И ему пора развернуть эту, “другую сторону своего существа, то, что до сих пор только намеками проскользнуло там и тут – мир радости и солнца, мир жизни, безбрежной, великой”.

И. Жилкин даже пытается найти некую психологическую подоплеку этого усиления пессимистических мотивов у Андреева, сравнивая впечатление от андреевских произведений с ужасом ночного кошмара: «Читаешь, например, “Царь-Голод” и тотчас же наваливается тяжелое, нудное чувство. Бросаешь, снова читаешь. И опять темная муть ползет в душу. словно кошмарные видения наяву, двигаются скелеты, оскаленные лица, пылают чудовищные зарева, толпятся звериные, обезображенные ужасом фигуры. И прежде всего хочется стряхнуть с себя эти нудные, кошмарные, чудовищно-преувеличенные страхи, проснуться от книги, уйти от автора.

За Леонидом Андреевым укрепляется в критике мнение, что его главное писательское свойство пугать читателя чрезмерно-мрачными образами {...}

Однако только ли пугает писатель, не напуган ли он сам? Не представляется ли ему действительно вся земная жизнь сплошным кошмаром, не бежит ли для него впереди всего темный мистический страх жизни, и не бежит ли он сам через жизнь, трепещущий, с клубком дыхания в груди, обвитый заревом неотгоняемого ужаса? {...}

В здоровом, цельном человеке удары жизни вызывают огонь борьбы, протеста (...)

Но бывают полосы психического испуга, и наше черное время – самый ближайший и яркий пример, когда немало крупных людей душевно надламываются, надолго, иногда навсегда. Тогда уже нечего ждать здорового взгляда на жизнь (...)

Кошмарным страхом дышали андреевские “Красный Смех” и “Жизнь Василия Фивейского”. Но там еще были краски жизни, редкие улыбки, живое тело, судороги протеста. Мертвеннее “Жизнь человека”. И в полном кошмарном опустошении выступает “Царь-Голод” со своими скелетами, призраками, звериными подобиями людей, сплошным воем и судорогами повальной гибели. Художнику как будто нечем и некого рисовать. Страх закрывает перед ним все краски земли и кружит вокруг него полчища теней призраков. И художник насоро, поспешно, без тщательной лепки и красочной обрисовки, выводит к читателям овладевший им мир пугающих призраков.

Многих читателей, весьма вероятно, писатель приобщит к своему чрезвычайному страху перед жизнью.

Многие отложат книгу с тяжелым, нудным, неприятным чувством.

И очень многие пожалеют напуганного или пугающего писателя, пожелают ему возможно скорее вырваться из царства призраков и вновь взглянуть зорким художественным оком в подлинное лицо жизни, которое бывает ужасно и прекрасно, пошло и велико, и всегда блещет неиссякаемым здоровьем красок» (*Жилкин И.* Кошмар и действительность // Современное слово. СПб., 1908. 6 марта. (№ 151). С. 2).

Резко выступила против опасных и вредных, по ее мнению, идейных тенденций пьесы известный деятель либерального движения А.В. Тыркова. Она считала, что их основой является «дешевый анархизм, лишенный той бодрящей творческой любви к людям, к культуре, к грядущей жизни, которыми святятся утопические теории западных индивидуалистов. И, быть может, именно теперь, когда отяжелевшая от долгих встрясок психология русского человека особенно податлива на отрицанья и проклятия, такие произведения, как “Царь-Голод”, могут действовать на умы, особенно на молодые.

Тут заразительная и развращающая трусость перед жизнью, дающая право скрестить на пустой груди бессильные руки и с улыбкой высокомерного, ни к чему не обязывающего пессимизма смотреть на мелкую и тяжкую борьбу за очистку этих самых смрадных подвалов. Если допустить, что Л. Андреев стал или станет настоящим властителем дум нашего времени, а главное – нашего молодого поколения, тогда остается придти в отчаяние от дряблости того психологического материала, из которого складывается надвигающаяся жизнь России. Ведь если принять его миропонимание, тогда не будет ни сил, ни возможности разоблачить предательские замыслы “Царя-Голода” и освободиться от его власти» (*Вергезжский А.* [Тыркова А.В.] Отравленный поэт // РС. 1908. 6 марта. (№ 55). С. 2).

Автор статьи, в противовес Андрееву, верит в жизнь и знает, «что ее то рыдающий, то ликующий голос сильнее хриплого рога смерти.

Оттого-то, что когда я читаю “Тьму” или “Царь-Голод”, когда Л. Андреев громоздит ужас на ужас, когда он обрушивает на меня все свои страхи, – мне не страшно, мне жалко его. Я чувствую, что поэт живет в каком-то непереносимом состоянии длящегося трепета, что он сам мучительно и безысходно боится жизни и поэтому падает ниц перед смертью. Точно он не смеет признать существование Бога и, по-детски борясь за право неверия, приносит жертвы дьяволу.

Эта больная запуганность отравленной фантазии отражается и на форме его произведений, делает их грубыми, нехудожественными, нарочитыми. В погоне за ужасным он не брезгает не только мелодраматическими, но прямо лубочными приемами, особенно резко выступающими в такой схематизированной символической драме, как “Царь-Голод”» (Там же).

Но критик “Голоса Москвы” несколько иначе интерпретирует те же тенденции писателя. Так, он пишет: «Новое произведение Л. Андреева знаменует собой поворот в творчестве этого исключительного по таланту художника. Поворот этот наметился еще в “Жизни Человека”, но так как “Жизнь Человека” просто “не удалась” Л. Андрееву, то и говорить о повороте было преждевременно. “Царь-Голод” ярко показал, что Л. Андреев ступил на новый путь. В новом произведении – строго выдержанном от начала до конца, – нет того неприятного смешения стилей, которое так досадно поражало в “Жизни Человека”, – вспомните хотя бы стилизованный “бал” и реалистические картины “бедности” и “несчастья” Человека.

В “Царе-Голоде” все стилизовано, все сплошной шарж, умный и беспощадный. “Лубочная” картина, написанная большим художником. Лубочная картина, но без привходящих извне нравоучений и плоской морали. Сытые и богатые не более отвратительны, чем голодные и бедняки; страшный, разрушительный бунт голодных стоит трусости и предательства сытых... И над всем этим заревом пожаров и разрушения видится не только лик Царя-Голода – это просто типичный провокатор, – не Времени-Звонаря – это бледная неудачная фигура, не Смерти – это почти бутафорское создание, – видится страшный, искаженный лик безумного художника, порвавшего связь с действительностью, ушедшего в область безумия и ужаса *par excellence**...

Знаменателен союз Л. Андреева с художниками-живописцами. Прежде произведения Л. Андреева издавались серо и бесцветно “Знанием”, ныне Е. Лансере прекрасно иллюстрирует его “Царь-Голод” в книгоиздательстве “Шиповник”» (В.А. Леонид Андреев. “Царь-голод” – представление в пяти картинах с прологом. Рисунки Е. Лансере. Изд. “Шиповник”. СПб. 1 р. // Голос Москвы. 1908. 13 марта. (№ 61). С. 7).

С язвительной репликой по поводу новаций в “Царе Голоде” выступил критик “Речи” Д. Левин. Иронически оттолкнувшись от слы-

* в высшей степени (*фр.*)

шанного им доклада Вяч. Иванова о двух течениях в современном символизме, он предложил выделить еще третье течение – “символизм леонид-андреевский”, который «есть законный или незаконный, во всяком случае, естественный плод мании великих, или, точнее, величественных (sublimes) замыслов и недостатка в творческих средствах (...)» Это символизм, в котором нет ничего требующего отгадки; символизм преднамеренный и откровенный, символизм голый и тощий, как скелет с косою, изображающий смерть в последнем произведении Леонида Андреева, символизм программный – я бы сказал: символизм программ и даже афиш (...) он вращается в высшем кругу, он имеет дело с особами высокого, даже высочайшего ранга, как “Судьба”, “Время”, “Смерть”... Наконец, “Земля”, “Человечество”. Целая плеяда бесконечных сюжетов, и если рядом с ними появляются хулиганы, проститутки и микроцефалы, то и в них сказывается то же стремление к бесконечности; это эстетика величественного, только вывернутая наизнанку или обращенная в противоположную сторону (...) от величественного до смешного только один шаг, и этот шаг нередко переступается Леонидом Андреевым, а иногда он заходит и дальше, как в своей последней пьесе “Царь-Голод”, где царит не один голод и не одна смерть, а голодная, пожирающая, смертельная скука (...)

Гете писал Фауста всю жизнь, а Леонид Андреев дал нам несколько Фаустов за два-три года, и нет ничего удивительного в том, что когда этих андреевских Фаустов наберется двенадцать, то их будет ровно дюжина» (*Левин Д. Наброски // Речь. 1908. 16 марта. (№ 65). С. 2.*)

Критик “Русских ведомостей” находит в пьесе отражение идейного упадка эпохи “безвременья”, послереволюционной реакции. Согласно его ироническому сопоставлению, несмотря на радикальное различие между чеховскими пьесами и “Царем Голодом”, даже три персонажа андреевской драмы, воплощающие мировые силы, отражают эти веяния времени: «(...) в пьесе г. Андреева от них веет чеховщиной (...) В тон жалующемуся Времени начинает свою жалобную песню Царь Голод (...) И даже Смерть жалуется, что ей “не дали потанцевать” (...) Всеобщая жалоба; всеобщая зависимость от кого-то или от чего-то. Человек зависит от мировых сил или слабостей, мировые силы завязят от него, и все перепутывается в общем хаосе для того, чтобы выделить всеобщую зависимость, всеобщее безволие и бессилие (...)

Не только люди безвольны в его воображении, но даже мировые силы тщетно стремятся “умереть-уснуть”, повторяют бессильный припев трех сестер: “В Москву, в Москву, в Москву»» (*И-тов И. [Игнатов И.Н.] Литературные отголоски. (...) “Царь-голод” Л. Андреева // РВед. 1908. 4 мая. (№ 103). С. 4.*)

Как творческое поражение расценивает новую пьесу Андреева Н. Кадмин, предъявляющий автору одновременно два обвинения (ставшие уже почти стандартными для негативно оценивающих ее критиков): в потакании низменным вкусам публики и в мертвом схематизме: «“Царь-Голод” еще безнадежнее, еще скуднее “Жизни Человека”. Художник к этой вещи вообще не прикасался, ее делал ремесленник, – это

несомненно (...) Замысел ее поразительно убог, а выполнение – однообразно-плоское, мертвое, не дающее ни одного живого штриха (...) И самое страшное – на этой вещи лежит печать какого-то искательства, какого-то угодничества писателя перед злободневными интересами публики (...) Несомненно, писалась она насильственно, без того подъема, который сопровождает процесс живого искусства» (Кадмин Н. [Абрамович Н.Я.] Литературные заметки. “Альманах Шиповника” (...) Л. Андреев. – “Царь-Голод” (...) // *Обр.* 1908. № 5. С. 55). В результате критик (в целом высоко оценивающий творчество писателя) резюмирует: “На сцене внешние эффекты пьесы могут создать некоторое впечатление, но при чтении обнажается скучная пустота этой книги, где художник дал все, кроме самого себя. Пьеса писалась как-то мимо души и таланта художника; это широкий удар в пустое пространство” (Там же. С. 56).

Скептически оценивались сценические новации Андреева-драматурга. Так, театральный критик Э. Старк спрашивал: «Можете ли вы вообразить себе ту сцену, того режиссера, тех актеров, одним словом, все те театральные средства, при помощи которых мыслимо было бы осуществить постановку “Царя Голода” так, чтобы она произвела художественное впечатление на душу зрителей, какое имеет в виду сам Леонид Андреев, а не превратилась просто в глупый, пошлый, смешной балаган?» (*Старк Э.* “Царь Голод” Леонида Андреева как театральное представление // *Тул.* 1908. 22 июня. (№ 25). С. 437). И отвечал на этот вопрос отрицательно: “Андреев пожелал создать такой род сценического произведения, который явился бы для театра чем-то доселе невиданным” (Там же). Поэтому пьеса требует скорее кинематографического, чем театрального, воплощения.

В своей статье “О театре” А.А. Блок, говоря о “действительно великой, действительно мучительной, действительно *переходной* эпохе, в которую мы живем”, утверждает, что “ярче всех до сих пор трепет нашего рокового времени выразил тот же (ранее он цитировал писателя. – *Сост.*) Леонид Андреев”, – и далее целиком приводит обширную вводную ремарку к четвертой картине “Царя Голода” (Золотое руно. 1908. № 3/4, 5. Цит. по: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 22). Ранее, 7 марта 1908 г., Блок писал жене: “Андреев прислал мне Царь Голод с очень хорошей надписью. Это – очень замечательное произведение” (Там же. С. 309).

Столь же разноречивыми были мнения провинциальных критиков.

Например, восторженно принял пьесу М. Королицкий: «(...) это социальная драма, в которой в чрезвычайно ослепительной, яркой и вместе с тем сжатой картине сконцентрированы все ужасы нашего социального строя, всей его лжи и растлевающей безнравственности (...)

Последнее произведение Андреева – яркая художественная иллюстрация “Подвигов” символической и мрачной фигуры “великого несчастного царя” – “Царя-Голода”, который, как проказа, расплзается по телу и духу своих несчастных жертв, который съедает стыд, целомудрие,

достоинство, заставляя замолчать то доброе, страдающее, жалеющее, что заложено в человеке от природы.

И все это изображено с подавляющей силой в громадной трагической карикатуре, в драматической форме во всей ее глубокой сущности.

Это поистине огромная гениальная и вечная вещь, отразившая жуткую злобу современности, дышащая бесконечной ненавистью в своих до наглядности, до осязательности пластичных картинах и живых образах, объятых душевным мраком, близким к самому крайнему отчаянию...» (*Королицкий М. “Царь-Голод”*: (Новое произведение Леонида Андреева) // *Окраина*. Минск, 1908. 18 марта. (№ 191). С. 2).

Противоположной точки зрения придерживается критик “Киевской мысли”: “Новая пьеса Леонида Андреева представляет попытку в символах дать картину классово-борьбы. Вместо детального воспроизведения бытовой жизни различных социальных групп – два-три символа, воплощающих основные элементы классового духа. Случайные и преходящие явления, которые в действительной жизни разбавляют, маскируют, нейтрализуют классовый антагонизм, устранены художником. Сущность классово-борьбы и межклассовых отношений оголена. Вместо целого ряда мелких столкновений, в которых проявляется эта борьба, художник дает в символах те крайние точки, к которым со всех сторон стекается энергия межклассовой борьбы. Здесь накапливаются враждебные силы, сгущаются, достигают высшего напряжения (...)

Символы Андреева – это плоские, грубо и резко разрисованные фигуры. Они не просвечивают, в них нет глубины и обобщения. Это не иррациональные, алгебраические формулы, представляющие собой при внешней простоте сложные комплексы разнообразных элементов. Андреевский символ – это самая простая арифметическая формула, имеющая одну вполне определенную числовую величину. Такой символ может быть заменен одним определенным словом. В большинстве случаев Андреев сам подписывает этим словом свою разрисованную картинку” (*Н.Ш. Царь-Голод // Киевская мысль*. 1908. 12 марта. (№ 72). С. 2).

Приводя далее в качестве примеров подлинного символического творчества образы-символы из драматургии Ибсена (Сольвейг и Гильда), критик восклицает: «Поставим рядом с Сольнесом (герой пьесы “Строитель Сольнес”. – *Сост.*) и другим любым символом Ибсена картонные фигурки Леонида Андреева (...)

Этой крайней карикатурности по внешности соответствует такая же карикатурность в поступках и словах (далее также идут соответствующие образцы. – *Сост.*) (...)

Погоня за крайней карикатурностью, грубой и резко бьющей в глаза, – уже заметна в “Жизни Человека”. Но там большой талант Андреева уступает лишь в немногих местах этой страсти к дешевым и уродливым эффектам. В “Царе Голоде” этому элементу художник отводит центральное место. Кажется, что воскрес газетный фельетонист Джемс Линч (псевдоним Андреева) и овладел пером художника – Андреева.

И вот в некоторых местах символическая драма напоминает обычный тип фельетонов, в которых изображают заседания союза русского народа».

Особо выделяя картину “Суд над голодными” как являющую собой “сплошной грубый шарж”, критик утверждает: «Таким образом, у Андреева символизм теряет свою великую способность концентрировать впечатление вокруг определенных моментов, не давая ему рассосаться в гуще случайностей и повторений. Символизм перестает быть методом экономии сил в искусстве (...)

В художественном освещении “Царя-Голода” душа всех классов, и сытых, и голодных, представляется какой-то однообразной, одноственной, плоской, “двух измерений” (...)

Бессилие Андреева угадать душу социальных явлений выступает наиболее рельефно там, где он с большой любовью и скорбью творит символы близких ему классов (имеются в виду сцены, изображающие голодных. – *Сост.*). Но и эти символы, при внешней режущей яркости, страшно бледны по своему содержанию. Благословлять хочет Андреев, но нет у него слов для этого благословения» (Там же).

“Бедность и элементарность художественной проникновенности Андреева”, по мнению рецензента, отражается и в описании собрания уголовников (картина вторая) и особенно “в символической характеристике пролетариата”: «Песнь будущего, скрытая в недрах еще не осознавшего себя класса, неуловима для невооруженного слуха. Но она должна быть уловлена художником-символистом (...)

Андреев не открыл этой тайны. Он употребляет всевозможные внешние эффекты, чтобы дать внешнюю картину жизни рабочих. Может быть, эта внешняя сторона удалась; вернее, может быть, талантливый режиссер сумеет оживить плоскую пестроту пьесы (...). Внешнее впечатление порабощения человека машиной будет достигнуто (...). Зритель будет ждать, когда наконец в хаосе ударов и стонов прозвучит то слово, которое предвещает задушенному человеку победу (...). Но от марионеток Андреева он не услышит этого слова (...)

Фабричный пролетариат Андреева беднее, бесцветнее ткачей Гаупмана. Там на мрачном фоне безнадежной нищеты, рабской покорности, слепого бунта вырастают фигуры Луизы и Готлиба Хильзе (...). Они несут в себе новую надежду, великую веру в победу своего права (...)

Не то, совсем не то у Андреева. На мертвом поле, усеянном трупами голодных, начинается “какое-то смутное движение, густой хруст переломленных костей”. И из-под земли несется тысячеголосый ропот: “Мы еще придем (...)”. Но зритель не верит, не может верить драматургу. Ибо во всей пьесе он не увидел и тени той силы, которая воскресит мертвое поле.

Социальная драма Андреева оказалась слишком плоской, поверхностной, грубой, чтобы вместить нашу сложную, многообразную социальную жизнь» (Там же).

Близок к подобной оценке пьесы и М. Васенов: «Можно, можно, например, спорить, верно ли или неверно понял автор “Царя-голода”

классовую борьбу и сущность марксизма, но не о том, верно ли изобразил он современную действительность и делающих ее людей, – потому что поэт Андреев в “Царе-голоде” сплелся с социологом-Андреевым, потому что художник начал изображать жизнь такой, какой он ее видит или хочет видеть, а не такой, какой она является на деле, потому что, наконец, он стремился изобразить не жизнь, а смысл жизни, рычаг, приводящий в движение сложный общественный механизм (...) Нужно сначала остановить машину, (...) словом, упростить ее – и лишь тогда увидишь рычаг. Это и есть – схематизация, и на нее был вынужден (пойти) Андреев. Точно так же, как схематизированная машина – не есть уже машина, а лишь упрощенное, даже карикатурное подобие ее, так и схематизированное произведение – уже не поэзия, а лишь жалкая карикатура. Действующие лица такого произведения перестают быть живыми и становятся марионетками (...) И поскольку природа, действительность таких крайностей не знает, постольку схематизированное произведение неестественно, натянуто и вздернуто. Схематизация и поэтичность по этому самому – величины обратно пропорциональные: чем полнее первая, тем меньше вторая» (Васенов М. По литературному полю // Красноярец. 1908. 16 июля. (№ 155)).

В серии статей Васенова “Царю Голоду” противопоставляется “Рассказ о семи повешенных”: “Художник помог Андрееву отделаться от метафизического метода мышления, и жизнь предстала просветленному взору во всем великолепии ее прогрессивного исторического шествия; переливаясь всеми цветами радуги в вечной сменяемости своих форм, ярким светом она загорелась пред глазами великого искажителя смысла ее – и художник победил” (Васенов М. По литературному полю: “Рассказ о семи повешенных” Л. Андреева. Альманах “Шиповник”, 5-й сборник (...) // Красноярец. 1908. 1 авг. (№ 169). С. 3).

Неоднозначно оценил драму киевский критик Джонсон–Иванов, ранее обычно весьма положительно отзывавшийся о новинках Андреева: «Итак, пьеса, стремящаяся дать сгущенный экстракт социальных отношений современного строя, представить как бы главную схему его, хочет, вместе с тем, еще раз сказать ему грозное: Hannibal ante portas!»*

Отчасти этих целей пьеса достигает, но не всегда средствами, имеющими бесспорное художественное значение. В ней, к сожалению, слишком много бенгальского огня, серы, дыма и грома турецкого барабана, много эффектов не столько художественных, сколько специфически театральных. Грозно-эффектна, например, картина, в которой сытые, скрывшиеся в последнем убежище, переживают ужас кровавого и огненной волной разлившегося по городу восстания, ужас наступающей гибели. Но исключите из нее переходы от света к темноте и обратно, страшное зарево, видимое из окон, постоянно трубящий рог Смерти, – и что останется? Останутся обрывки речей, сами по себе далеко не способные вызвать соответствующее настроение. Или возьмите пляс-

* Ганнибал у ворот! (лат.)

ку Смерти, заключающую вторую картину, – разве это не театральный эффект?

Мы намеренно не говорили о третьей картине – сцене суда над голодными: она нарушает стройность пьесы и вклинивается в нее как что-то лишнее. Мысль сцены ясна. Картина имеет целью показать, что правосудие – только покорный слуга имущих классов и творит ради них величайшие беззакония, а также – отношение этих классов к неимущим. Но форма, придуманная для выражения этих идей, неудачна. Это трагический фарс, карикатура, которая, может быть, хороша под карандашом Франческо Гойи, но мало годится в литературном произведении. Хорош в картине момент, когда юстиция, наука и религия одинаково кормятся вокруг жирной свиньи, к которой пригласили их представители высших классов, но участие в судбище Царя Голода в качестве председателя и Смерти в качестве прокурора – неудачный замысел.

В пьесе есть превосходные картины, как пролог и последняя сцена; очень хороша и вторая – на заводе. Сцена с чернью в суде над голодными менее удачна, хотя и заключает в себе очень сильные места. Прекрасно создан образ Царя Голода; Смерть и Время – довольно шаблонные образы.

В “Царе Голоде” Андреев дал бесспорно сильную и красивую вещь, но не могу согласиться с г. Неведомским, что это – гениальная вещь, которая войдет в мировую литературу. На сцене она, вероятно, должна производить огромное впечатление, но сомнительно, чтобы у нас она увидела сцену» (*Джонсон И. [Иванов И.В.] “Царь-голод” // Киевские вести. 1908. 7 марта. (№ 65). С. 2.*

А.Я. Дробыш-Дробышевский, рассуждая о своеобразии новой, “символической”, по его мнению, драмы Андреева, в качестве его предтечи называет Метерлинка: «Только у последнего встречаются попытки таких широких концепций о человеческой жизни, например в “Слепых” и “Тентажиле”». Андреевские “картины”, по его мнению, далеки от изящества и тонкости предшественника, но отличаются “большею широтою и яркостью (хотя местами несколько аляповатой) и несомненно большею силой” (*Уманьский А. [Дробыш-Дробышевский А.Я.] “Царь Голод” Л. Андреева // Нижегородский листок. 1908. 15 марта. (№ 64). С. 2.*

Как считает критик, «[о]твлеченный, антиреальный, если так можно выразиться, характер произведения больше выдержан в “Царе-голоде”, чем в “Жизни человека”. В последнем встречаются места почти реальные, напр., когда изображается молодость “человека”, которые, кстати сказать, особенно нравятся нашей публике, привыкшей преимущественно к реализму. Таких реальных сцен почти нет в “Царе-голоде”, здесь на каждом шагу преувеличения, чудовищные, на первый взгляд, уподобления и выражения, но которые самой преувеличенностью своею ярко рисуют основную мысль автора».

Любопытны сопоставления пьесы с позднейшими, морально-религиозными произведениями Льва Толстого: «Произведение это представ-

ляет как бы скелет социальной жизни, изображая отношения сытых и голодных, в том смысле, как это изображено, напр., в книге Л.Н. Толстого “Царствие Божие” и в разных других его произведениях», а также иные параллели с великим моралистом: при чтении сцены суда над голодными критику припоминается “то, что написал о суде Л.Н. Толстой” (Там же).

В заключение он пишет: «Можно спорить против понимания автором социальной жизни, можно не соглашаться с ним, но нельзя не признать, что произведение написано с большой силой и производит большое впечатление. И когда читаешь его, оно волнует, мучит, точно кошмар, по окончании чтения долго нельзя отделаться от того впечатления, которое производит эта пьеса или “представление”, как назвал автор свое произведение. И достигается это умелым, логическим проведением основного художественного приема, на котором построена пьеса, приема, вовсе не реального, но соответствующего той задаче, какую поставил себе автор» (Там же).

Как бы в противовес упрекам автора пьесы в беспросветном пессимизме, Н. Поярков утверждает: «К победе над злом, к воскресению из мертвых, к торжеству света зовет Леонид Андреев в своей новой пьесе “Царь-Голод”». Он считает, что основой пьесы является особого рода мировоззрение – “пессимизм, таящий в себе призыв к деятельности, пессимизм, на короткое время ужасающий, как бы ошеломляющий. Но это тяжелое настроение быстро, как ужасный ночной кошмар, проходит. Его сменяет новая жажда большой, трудной работы, сурового подвига (...)

Пессимизм последних произведений Л. Андреева подобного рода” (Поярков Н. Однодневки. Х. Леонид Андреев. “Царь-Голод” // Утро. Харьков, 1908. 16 марта. (№ 391). С. 4).

Описывая сцену на заводе (картина первая), он отмечает: “При постановке пьесы на сцене впечатление будет огромное, захватывающее, но вряд ли где-либо в скором времени, даже в Западной Европе, Царь-Голод будет поставлен на сцене”.

Вместе с тем, говоря о сцене суда над голодными, критик недоумевает: “Некоторые детали этой картины кажутся странными, лишними, как и детали в других местах пьесы. Почему все голодные осуждаются во имя дьявола или почему один рабочий похож на Геркулеса Фарнезского? Если это символ силы рабочего класса, то плохой, нехудожественный символ”.

Но в заключение статьи утверждается: «Андреев создал ряд шедевров, доставивших ему почетное место в пантеоне литературы. К числу этих шедевров бесспорно относится и “Царь-Голод”» (Там же).

Высокую оценку дает “Царю Голоду” И.С. Клейнершейхет. Критик указывает на своеобразие сюжетики и образности пьесы, особенно поражающее при первом знакомстве с ней: «Кто-то беспечный подбивает к бунту, кто-то жестокий трубит в рог и беспощадно ломит чьи-то человеческие жизни, какие-то звери вышли из лесов и идут на них. И все эти

“кто-то” рисуются в виде бесформенных теней, бесплотных силуэтов, даже без определенных контуров и схематических очертаний (...)

С точки зрения удобопостановочности пьесы, все неопределенности и бесформенности, как персонажей, так и обстановки, – задача для режиссера, конечно, нелегкая, причем доступная к выполнению только на сценах больших театров. Пьеса эта вообще требует тонкой и продуманной постановки, без которой она легко может быть превращена в лубок, с “летающей смертью” и тому подобными аксессуарами.

В чтении же бесплотность фигур, абстрактность действий не мешает, однако, цельности впечатления, в общем глубокого и подавляющего. Автор избегает обрисовки отдельных действующих лиц (...) Все нарочно задержито полупрозрачным мраком, затушевывающим частности, но создающим зато общий фон главной идеи. Для усиления впечатления “все свойства в каждом из обладателей их достигают крайнего развития”» (Соломин Ил. [Клейнершейхет И.С.] Литературные отголоски. “Царь-голод” Леонида Андреева // Асхабад. 1908. 20 марта. (№ 64). С. 2).

Однако именно эти абстрагированность и гиперболичность образов драмы, по мнению критика, позволяют ее автору выразить глубокие смыслы: “Ни в одной картине нет старательно вырисованных деталей, их заменяют широкие мазки на таком же безбрежном расплывчатом фоне. Но благодаря именно этой широте размаха, главная идея, не затененная и не размельченная, вырисовывается ярче, сильнее. Не ограниченная житейскими условностями абстракция действий дает автору большой простор к обобщениям. От этого главная идея только выигрывает” (Там же).

В заключение он утверждает: «По новизне и выдержанности стиля, по глубине захватывающего интереса, по подавляющему настроению и по высокохудожественной обработке “Царь Голод” исключительно выдающееся произведение» (Там же. С. 3).

Рецензент “Тифлисского листка” категорически не приемлет новую драматическую форму “Царя Голода” (как и “Жизни Человека”). Он считает, что эти пьесы – «голые схемы, которые должны представлять собою жизнь и людей, но это не жизнь и не люди, одетые в плоть и кровь, наделенные чувством и мыслью. Это диаграммы, построенные, однако, не на объективных данных наблюдения и опыта, а на чисто субъективных концепциях мыслителя (...)

В своей новой формуле – “Голод” – Андреев как бы концентрирует сущность социального процесса, такова его схема.

По мнению Андреева, Царь Голод направляет жизнь (...) создает мировые кризисы; он же держит голодных в вечном рабстве – и в этом его трагедия, и нет нигде из этой трагедии выхода, если не считать выходом мало убедительный ропот: мы еще придем! (...)

Несмотря на эту страшную трагедию, мы нигде, ни в ком, даже в самом голоде, не видим ни одного штриха страдания, ни малейшего намека на то, что принято называть душевной мукой, совестью, тоской и пр.

Разве схема страдает? А в трагедию без страдания как-то неохотно верится!» (*Державин [Н.Л.] “Царь-голод”* Л. Андреева. СПб.: Шиповник. 1908 // Тифлисский листок. 1908. 3 апр. (№ 80). С. 2).

Высоко оценил новаторские тенденции драмы тульский критик В. Таланкин: «Последние две пьесы Леонида Андреева нельзя назвать ни драмами, ни трагедиями, ни комедиями, ни сценами. Сам он называет “Царь-Голод” – “представлением в пяти картинах”. Действительно, это представление. Посему (пьесе) Леонида Андреева нельзя играть, изображать, перевоплощаться в действующих лиц, лицедействовать, ее можно лишь “представлять”. И “Жизнь Человека”, и “Царь-Голод” – абстрактные пьесы (...). Обе пьесы – не что иное, как философские трактаты, написанные в диалогической форме. Со строго логической точки зрения пьесы Андреева не могут быть названы “представлением”. Представление – это реальный образ предмета во всей совокупности его индивидуальных черт и свойств». По мнению критика, в пьесах Андреева мы имеем дело скорее с “понятием”, в котором “на место живого и живущего образа становится схема, общее положение, отвлеченная мысль, абстракт”. Поэтому, далее рассуждает критик, “Царь Голод” – это в сущности «социологический этюд, написанный для доказательства, что голод есть в одно и то же время и великий фактор человеческой культуры и прогресса, и фактор его порабощения, унижения, зависимости (...) Андреев создал оригинальный философский диалог. Это не эвристический и эристический диалог гениального Платона: там люди посредством спора и взаимных выпрашиваний выковывают истину по сократическому методу.

У Андреева – иллюстрационный, дедуктивный диалог (...) философский трактат в виде отрывистых выкриков разных символических персонажей и действующих лиц.

Это – разговорный рассказ, иллюстрирующий допрос. Персонифицируемые явления пользуются человеческой живой речью, чтобы выразить свою сущность, описать себя. Вот что такое андреевское “представление”, андреевский театр и школа (...) Вот почему этот стилизованный философский выкрик так трудно, почти невозможно ставить на сцене (...) На сцене он становится скучным, длинным, нудным (...)» (*Таланкин В. “Царь-Голод”* Л. Андреева // Тульская молва. 1908. 22 марта. (№ 144). С. 2).

Из содержания пьесы, утверждает далее критик, понятно, что “для Леонида Андреева пережитая и переживаемая политическая эпоха русской жизни и истории послужила канвой для построения широкой философской концепции. Наш смелый новатор написал философское произведение, в котором решает вопрос, какой основной закон заправляет жизнью человека, жизнью общества, отношением его слоев и классов друг к другу” (Там же. 23 марта. (№ 145). С. 2). Хотя мысль о том, что голод, болезнь и смерть – главные факторы жизни, не является оригинальной, но она – “истина вековечная, святая истина, которую беспрестанно нужно напоминать сытому и буржуазно-довольному, пошлому

человеку. И тем более велика заслуга Л. Андреева, что он, создавши новую литературную форму, философию сделал содержанием литературы, тем самым углубив ее и осерьезив” (Там же).

Полярной точки зрения на адекватность пьесы пережитым Россией событиям революции придерживается церковный публицист Н.И. Боголюбов. Так, он пишет: «Художественный инстинкт несомненно подсказывал ему (Андрееву. – *Сост.*) то же самое, о чем говорил Достоевский, что это – “бесы”, простая нечисть, для которой “свиное стадо” – единственное подобающее прибежище. Но такая правда ему оказалась не по силам (...) И вот Л. Андреев в угоду “освободительной толпе” начинает насиловать свой талант, придумывать неестественную обстановку, употребляет своеобразный нервный стиль и, наконец, достигает того, что вместо бесовской нечисти вырисовываются как будто крупные и сильные фигуры стихийных сил – Время-Звонарь, Царь Голод и Смерть (...)»

В роли крупной фигуры Царь-Голод просто комичен. И любопытно, что сам Л. Андреев в некоторых местах оказывается не в силах заглушить в себе голоса художественного чувства и прямо подчеркивает комичность своего Царя Голода (...)» (*Боголюбов Н. Современный индивидуализм и “интеллектуальное мещанство” // Вера и Разум. Харьков, 1908. № 19. (Окт.) Кн. 1. С. 68–69.*)

Вывод православного критика, как ни парадоксально, во многом пересекается с громкой статьей об Андрееве Д.С. Мережковского “В обезьяньих лапах”: «Едва ли можно найти более ужасную книгу, чем “Царь Голод” Л. Андреева. Не ужасы, изображаемые в ней, страшны: они сплошь отдают неестественностью. Ужасно то насилие, которое производит в ней художник над своим талантом в угоду толпе» (Там же. С. 75).

Автор “Душеполезного чтения” Н.А. Колосов, и ранее не раз писавший об Андрееве, в своей заметке о пьесе отмечает, что ее автору “немало вредит” «некоторая сухость и безжизненность его пьесы, искусственность и механистичность, так сказать, декоративность действия и фигур, а также неестественное смешение мистического с банальным (фантастический Царь Голод и вульгарный инженер-истребитель, Смерть, танцующая, жующая сыр, раскланивающаяся на аплодисменты и говорящая Царю Голоду на его приставанья: “убирайся”, так далее, и т.д.), и в особенности страсть к эффектам и нагромождение их, очевидно, для усиления впечатления, выше всякой меры» (*Колосов Н., свящ. Философия голода (Леонид Андреев. “Царь Голод”) // Душеполезное чтение. М., 1908. Ч. III. (Сент.) С. 133.*)

Характерно финальное замечание критика-священника: “Любопытная подробность. В пьесе несколько раз молятся. Рабочие молятся машине, художники молятся картине, гости молятся дьяволу, судьи молятся Смерти, победители молятся пушке. Видно, молитву никак нельзя вычеркнуть из жизни, и, если изгоняется истинная молитва, появляется молитва кощунственная, пародия на молитву.

Автор осуждает бунт, но его давно уже, как всякое насилие, осудило христианство. Но только христианство осуждает бунт, как и всякое вообще насилие, во имя высочайших религиозно-нравственных заветов; наш же автор осуждает его лишь вследствие его практической непригодности” (Там же. С. 134–135).

В очередной раз характерное противопоставление модернистской по форме пьесы “Рассказу о семи повешенных” дано в статье А.Б. Дермана. Критик отмечает “неровность дарования” Андреева: «... всю силу таланта он отдал “Рассказу о семи повешенных”», а всю “ложь таланта” – “Царю Голоду”: «Новых перспектив в трактовке старой исторической трагедии Андреев не открыл. Мы читаем у него фразы положительно избитые (...)

Поэтому гиперболическое изображение (...) нищеты рядом с прещением – все время остается риторическим “ужасничаньем”, столь частым, к сожалению, в произведениях Леонида Андреева. С любопытством читается лишь “суд над голодными”, где гиперболизм переходит в злую, подчас беспощадную сатиру (...)

Чтобы поразить воображение читателя, писатель придумывает небывалые, даже немислимые положения, замыкает живую, пеструю жизнь в “железный круг предначертания”, но предначертания авторского, вместо человека и жизни – дает контуры и схему» (*La-Vo [Дерман А.Б.] Литературные заметки: (“Царь-Голод” и “Рассказ о семи повешенных” Л. Андреева) // Южные ведомости. Симферополь, 1908. 17 июля. (№ 163). С. 2.*

Чужеродной для таланта и основных мировоззренческих тенденций Андреева считает пьесу С. В. Мирский: «“Царь Голод” – есть нечто как будто извне пришедшее, не связанное с теми философскими размышлениями, которые характеризуют андреевское творчество как таковое (...)

(Царь Голод) предатель, но предатель потому, что не знает, насколько тверда та почва, которую хочет залить кровью, чтобы из этой крови выросли цветы. “Через насилие к свободе”, “через кровь – к любви и поцелуям” – это тайная мечта Царя Голода. Он судит чернь, состоит председателем суда сытых, так как верит, что “чем хуже, тем лучше” (...)

В “Царе Голоде” есть много метко брошенных уколов современному человечеству, есть тонко скопированные человеческие помыслы, есть масса занимательных строк, могущих составить блестящую и глубокую сатиру, но нет той философской глубины, которая так присуща Л. Андрееву. (...) “Царь Голод” задуман чисто по-андреевски: это тот же путь “доказательства от противного”, но здесь, по-видимому, нет достаточно поля для богатых андреевских вариаций, нет необходимого простора для освещения того, что нам, быть может, представляется в одном виде, а Андрееву в другом. Вот почему нам и думается, что “Царь Голод” является незначительным и малоценным в общем творчестве Л. Андреева и мало прибавляет ко всему тому, что составляло до сего времени сущность его интересных исканий» (*Мирский С.В. Литературные заметки:*

“Тьма”, “Царь Голод” и “Смерть Человека” Л. Андреева // Баку. 1908. 13 апр. (№ 47). С. 3).

Почти сразу после выхода пьесы в свет появилась пародия на нее, написанная В.П. Бурениным (*Жасминов Алексис, граф [Буренин В.П.]*). Царь Бедлам: Символическая глупо-драма // *НВ*. 1908. 14 (27) марта. (№ 11496). С. 4; 28 марта (10 апр.). (№ 115100). С. 4). В предисловии “От автора” к “глупо-драме” дан характерный для критических опусов Буренина образчик оценок произведений Андреева, который беспрестанно подвергался набегам одиозного, но весьма популярного в широких кругах нововременского пасквильанта: «Предлагаемая глупо-драма, как, вероятно, сразу постигнут все писатели и критики-модерн, представляет слабое подражание превосходной идиото-драме “Царь Голод”, выпущенной недавно “из себя” г. Леонидом Андреевым, первым гением самой последней секунды нашей современности. Для тех читателей, которые незнакомы с “Царем Голодом”, считаю нужным сделать краткое нижеследующее пояснение. Гениальное творение г. Леонида Андреева вне конкуренции в смысле дохождения до чертиков декадентского чудачества, шарлатанства и фиглярства. Пролог и пять картин “Царя Голода” представляют непрерывное извержение и повторение сумасшедших фраз {...} (далее следует множество примеров. – *Сост.*)» (Там же. № 11496. С. 4). Как обычно у Буренина¹⁸, в пародии фигурируют конкретные деятели модернистской литературы (Л. Андреев, А. Ремизов, Ф. Сологуб и др.) и цитируются отрывки из их произведений или включаются пародии на них (здесь, в частности, дана пародия на рассказ Андреева “Великан” – Там же. № 115100. С. 4). Действие происходит в доме сумасшедших и кабаке, где персонажами произносятся монологи и реплики, способствующие “саморазоблачению” безнравственности и безумия современного (“декадентского”) искусства. Сам Царь Бедлам – отец и покровитель деятелей подобного художества.

В пародии на “Царь Голод” О.Л. Д’Ора действие переносится в современную Россию и полно политических намеков. Так, например, второе действие происходит в “чайной союза русского народа”. По ходу сюжета пародии Царь Голод не находит понимания ни у рабочих, ни у маргиналов-люмпенов. Когда же все-таки поднимается бунт, его некому возглавить, так как Царь Голод, который должен был нести знамя, “со вчерашнего дня пьянствует со старым Звонарем-Временем” (*Д’Ор О.Л. [Оршер О.Л.] Царь-Голод. Пародия О.Л.Д’Ора // Свободные мысли. СПб., 1908. 10 марта. (№ 44). С. 2*). Аналогичным образом злободневные коннотации привнесены в фельетон-пародию на пьесу В.М. Голикова (*Вега [Голиков В.М.] Банкет. Маленький фельетон // Голос Москвы. 1908. 12 марта. (№ 61)*).

Сам автор достаточно высоко оценивал пьесу. Так, в конце 1908 г., уже после отшумевшей критической кампании по поводу выхода ее в

¹⁸ Ср. его же пародию на пьесу Андреева “Черные маски” – “Калоши на головах”, появившуюся в декабре 1908 г. (см. современную републикацию: *БиблиА2а*. С. 142–151).

свет, в интервью корреспонденту “Биржевых новостей” он утверждает, что «(...) более других из последнего, написанного мною, удовлетворяет меня “Царь Голод”. Большинство критиков отнеслось к этой вещи совершенно отрицательно. Но, по-моему, как преувеличены были восторги по поводу “Семи повешенных”, так несправедливы были отзывы о “Царе Голоде”. Во всяком случае, я думаю, что эта вещь получит свою настоящую оценку только в критике будущего» (*Кодак. У Леонида Андреева: (В скиту на Черной речке) // БВед. 1908. 12 нояб. (№ 10806). Утр. вып. С. 2).*

Очередное марксистское толкование пьесы находим в монографии М.А. Рейснера. Профессор-социолог указывает на неспособность Андреева верно интерпретировать такие сложные общественные явления, как бунт и революция: “Массовое истребление всех имущих, не разбирая женщин и детей, – такова одобренная Царем-Голодом программа черни, этого низшего разряда голодных. И картина бунта дает нам полное подтверждение изложенной характеристики. Голодные, вырвавшись на свободу, грабят и убивают, жгут книги и картины, жгут целые дома, наполненные живыми людьми...” (*Рейснер 1909. С. 54*). И далее, приведя ряд иллюстраций как из самой пьесы, так и из других произведений писателя, он замечает: “Как очевидно, и голодные, и сытые у Андреева сходятся в одном – в своем естественном состоянии всеобщего скотства и зверства (...) Его изображения массы таковы, что могут быть использованы в духе самого злого человеконенавистничества и еще хуже – политической реакции” (Там же. С. 61, 73). Рейснер видит истоки подобной “социальной идеологии” в упрощенном нищезанстве (Там же. С. 87–88).

Анализируя пьесу в своем позднейшем обзоре творчества писателя, К.И. Арабажин основной упор делает на неорганичности ее образов. Рассуждая о противоречивости поведения Царя Голода, критик пишет: «“Царь-Голод” – какой-то хамелеон; в нем есть что-то от Андреевского же Иуды; но еще больше чего-то такого, что не поддается психологической оценке. Это поистине “спираль”, все изгибы которой устремляются по линии круга (...) Но еще с фигурой Царя-Голода можно до известной степени примириться (...) с фантастическими фигурами, которые он (Андреев. – *Сост.*) сам и создал, он может, конечно, расправляться как ему угодно. Нельзя допустить такой же простор в отношении к более бесспорным явлениям жизни, подлежащим контролю и критике логики и фактов» (*Арабажин 1910. С. 168, 169*). Обвиняя далее писателя в плохом знании действительности, Арабажин отмечает, говоря, в частности, об изображении в пьесе рабочих: «Представления Андреева об этой среде крайне наивны и даже просто невежественны. Рабочие рисуются ему в стиле гауптмановских ткачей. Убогие, приниженные, голодные, они только и знают, что плачутся (...) Сам Андреев в драме “К звездам” дает нам иной образ смелого, энергичного, умного рабочего Трейча, верящего, что землю, как воск, можно размять и изменить, как того захочет человек» (Там же. С. 170, 171).

По мнению критика, либо Андреев просто не знает рабочих, либо “рискует быть обвиненным в сознательном обмане читателя, в злонамеренном извращении истины ради каких-то непонятных кошмаров” (Там же. С. 178). Столь же неадекватным является и его изображение других “голодных”: “Отношение Андреева к босякам и отверженным – глубоко несправедливое – мещанское... (...) Русский крестьянин рисуется Андрееву гориллой с тусклыми звериными глазами с попытками к чему-то человеческому *(так!)*” (Там же. С. 176, 177). И при показе богатых “Андреев не соблюдает чувства художественных меры и такта. Перед нами ряд карикатур – иногда злых и метких, иногда до такой степени односторонних и неправдоподобных, что прямо делается досадно за талантливое писателя” (Там же. С. 179).

Вместе с тем Арабажин выделяет картину суда над бедными, в которой “сквозь сгущение краски и нарушения перспективы чувствуется какая-то цельная правда наших дней” (Там же. С. 183–184).

Критик утверждает, что позиция самого Андреева выражается в образе Девушки в черном: “Эта девушка достаточно умна и благородна, чтобы жалеть униженных и побежденных, она презирает богатых, но бедных боится” (Там же. С. 187).

Резюмируя свой анализ пьесы, критик пишет: «В третьей картине (суда) есть чрезвычайно вещие слова. Царь-Голод о богатых, о судьях, с которыми он будто только по видимости заодно:

– Они уже перестали понимать, что такое правда – а это начало смерти.

Андреев тоже перестал понимать правду, он увлекся созданием “видений”, “фантазмагорий”, легенд жизни, а это начало смерти в искусстве и самых больших талантов.

Смерть заглянула в душу Андреева и не случайно из всех персонажей его представления о Царе-Голоде – наиболее жизнеспособный, яркий образ, остающийся надолго в нашей душе, – это Смерть!» (Там же. С. 189–190).

До революции запрещенный театральной цензурой¹⁹ “Царь Голод” в самой России не ставился. Однако в Харбине, возможно в связи с особым положением этого города, какое-то время пьеса шла в исполнении местной театральной труппы Арнольдова. Рецензент хвалил сценографию, но остался недовольным “чересчур оглушительной, резкой и вряд ли правильной” интерпретацией пьесы режиссером (*Кин. Царь-голод // Харбин. 1908. 1 июня. (№ 663). Отд.: Театр и музыка*). Однако вскоре в прессе появились сообщения о запрещении местными властями этой крамольной постановки ([*Б.п.*] Кто у нас цензор? // *ОбозрТ. 1908. 30–31 июля. (№ 477–478). С. 6–7*).

¹⁹ На хранящемся в цензурном фонде Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки экземпляре пьесы (№ 30025) имеется соответствующая резолюция: “К представлению признать неудобным”.

Уже после Октябрьской революции, в 1920 г., в кружке при Военно-хозяйственной академии была поставлена 3-я картина пьесы (пост. Н.И. Львов). Рецензент этой постановки находил, что если пьеса “целиком не совсем приемлема для современного зрителя в идеологическом смысле”, то “суд над голодными – завершённое целое, жуткая сатира на буржуазный строй, образец революционной агитации”. Коллектив при воплощении “Царя Голода”, по его мнению, старался приблизиться к стилю “символического гротеска” (В.М. “Царь Голод” в кружке Военно-хозяйственной Академии // Вестник театра. 1920. № 66. С. 14).

В 1921 г. пьесу поставил в Театре Пролеткульта В.В. Тихонович. Как считал рецензент, он привнес в произведение Андреева “настоящий революционный пафос”; особенно сильное впечатление производили фигуры рабочих (Э.Б. “Царь Голод” в Пролеткульте // Вестник Рабис. 1921. № 10–11. С. 121).

В конце того же года к “Царю Голоду” обратился знаменитый эстонский режиссер Пауль Сепп, близкий по своим творческим исканиям В. Мейерхольду и Е. Вахтангову. Спектакль Драматического театра Таллина был подготовлен очень тщательно, режиссер (ранее с большим успехом поставивший “Жизнь Человека”, которая была истолкована им в духе немецкого экспрессионизма) умело использовал декорации художника А. Тууранда и музыку композитора Б. Нерепя, уделил много внимания внешней стороне спектакля: свету, гриму и костюмам актеров, маскам, на что обратили внимание критики. Как писал один из них, в образе Царя Голода (Ю. Пыдере), благодаря костюму и умелому гриму, “чувствовалось нечто сатанинское”. Как обычно, П. Сеппу “особенно удались массовые сцены” (Беззубов В.И., Исаков С.Г. Творчество Леонида Андреева в Эстонии // Труды по русской и славянской филологии. XXIV: Литературоведение. Тарту, 1975. С. 63. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та; Вып. 358)). В 1928 г. “Царя Голода” поставили на сцене Пярнуского рабочего театра. “Постановщик А. Сярев трактовал пьесу как трагедию масс, революционную по своему смыслу: в андреевской драме он увидел прежде всего яркую, резкую по тону картину нищеты и страданий трудящихся масс” (Там же). Особенно поражало сценическое оформление: “художник Хантсов <...> смело вынес на сцену в качестве деталей оформления настоящие машины и моторы. <...> Наибольшее впечатление оставляло третье действие – сцена суда над голодными, полная ядовитой иронии” (Там же. С. 67).

В 1930-х годах пьеса ставилась в Финляндии (см.: *МиИ*2012. С. 307).

В 1967 г. постановка “Царя Голода” была предпринята во Франции труппой из Нантьера, руководимой режиссером Пьером Дебошем, – “Театр дез Амандье”, который поставил ее на сцене парижского театра “Рекамье” (премьера 11 ноября 1967 г., пьеса шла до 21 декабря), а также в Гавре 12–13 января 1968 г.

Критика была неоднозначной. По мнению критика “Аван-Сен”, несмотря на удачные массовые сцены, зрители остались неудовлетво-

ренными (“голодными”) (см.: L’Avant-Scène Théâtre. 1967. N 393. 15 dec. P. 44). Критик газеты “Комба” Жан Паже назвал постановку шедевром и писал о социальной и политической актуальности пьесы и спустя 60 лет после ее создания (Combat. 1967. 20 nov.). Б. Пуаро-Дельпеш из “Монд” еще до премьеры осветил видение драматургических особенностей пьесы Андреева в собственной интерпретации (Le Monde. 1967. 9 nov. P. 15). А в рецензии на постановку писал, что хотя и сомневается в близости сценической версии к оригиналу (чужеродность ему отдельных реплик и т.п.), но считает, что постановка выдержана в духе карнавала, пантомимы, цирка, а это свидетельствует о синтетизме постановки (включение музыки и танца в драматическое представление). Говоря о гротескной природе “Царя Голода”, критик возводил родословную пьесы к Гоголю, преломленному сквозь призму Метерлинка и Мишеля Де Гельдероде (бельгийский драматург-символист) (Le Monde. 1967. 19–20 nov. P. 23). Клод Беньер писал в “Фигаро”, что, хотя и считает диалоги пьесы искусственными, однако гротескное и пародийное начало пьесы, привлекшее Дебосша, придает ей определенный сценический интерес (Le Figaro. 1967. 20 nov. P. 18). Ги Леклер из “Юманите” также оценивал текст пьесы как неубедительный, но саму постановку, сценическое воплощение ее оценивал как новаторское, должное привлечь к пьесе современную публику (L’Humanité. 1967. 20 nov. P. 10). (Использована коллекция материалов о спектакле, хранящаяся в Русском архиве в Лидсе – РАЛ. MS.606/C.43*.ii.)

С. 185. *Царь Голод* – В русской литературе этот образ впервые возник в поэме Н.А. Некрасова “Железная дорога” (1864): “В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему!” (Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 169). Особую политическую остроту образ Царя Голода приобрел в конце XIX – начале XX в. в связи с широким распространением нелегальной брошюры “Царь-Голод” (1883) революционера-народовольца, впоследствии ученого-биохимика, академика А.Н. Баха (1857–1946), в которой излагались основы политической экономии и социологии по К. Марксу. Первоначально напечатанная на гектографе, она затем была издана в тайной народвольческой типографии. О воздействии этой брошюры на круги революционной интеллигенции см.: Горький. ПСС-ХП. Т. 13. С. 548. Отмечено Ю.Н. Чирвой (Андреев Л.Н. Драматические произведения: В 2 т. / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирвы. Л., 1989. Т. 1. С. 509).

Посвящается А.М.А. – Имеется в виду Александра Михайловна Андреева (1881–1906), первая жена писателя.

С. 195. *Я совершил все двенадцать подвигов...* – Имеются в виду двенадцать подвигов древнегреческого героя-полубога Геракла (в древнеримской версии имени – Геркулеса). Ср. более подробное сопоставление с мифологическим образом в ЧА1: “Как Геркулес, я совершил все

двенадцать подвигов, чистил конюшни, срубил головы горгонам, и как Геркулес, я не знаю, зачем я делал это” (л. 14).

С. 201. *...тот мотив, что играетя на Балу у Человека.* – См. т. 5 наст. изд., с. 224.

С. 210. *Морганатический брак* – обычно: брак, заключаемый членом королевской семьи с лицом некоролевского происхождения.

С. 215. *Четвертная бутылъ* – емкостью 3 литра (одна четвертая ведра).

Все указанные свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие, достигают крайнего развития. – Ср. с аналогичной ремаркой в “Жизни Человека”: “Все указываемые свойства в каждом из обладателей их достигают крайнего развития” (см. т. 5 наст. изд., с. 209).

С. 216. – *Как интересно! Это похоже на театр.* – Сравнение суда с театром (при характеристике публики на суде как безразличных к судьбам обвиняемых зрителей) является одним из лейтмотивов в творчестве Андреева (см., например, рассказы “Защита” (1898) и “Христиане” (1904)).

С. 233. *Котильон* – бальный танец, в котором объединяются вальс, мазурка, полька и др.

С. 235. – *Леса идут на нас!* – Аллюзия на эпизод из “Макбета” У. Шекспира, в котором описывается, как в решающей битве Макбета с врагами сбывается роковое предсказание: «“Не знай тревог, пока Бирнамский лес // Не двинется на Дунсинан”. И лес // Идет на Дунсинан» (акт 5, сцена 5).

С. 239. *...один маленький... томик... маленький in octavo...* – In octavo – книжный формат, в одну восьмую долю печатного листа, приблизительно соответствует современному изданию размером 22,8 × 15,25 см. В редакциях *Б* и *ШОИ* вместо “in octavo” было “in quarto”, т.е. “в одну четвертую листа” (см.: *Варианты прижизненных изданий*, карт. 4, стк. 288–289).

ЧЕРНЫЕ МАСКИ

(С. 252)

Источники текста:

Б – Черные Маски (Die schwarzen Masken). Представление в двух действиях и пяти картинах. Berlin: J.Ladyschnikow, 1908. 74 с.

АШ – Черные маски. Представление в 2-х действиях и 5-ти картинах // Литературно-художественный альманах издательства “Шиповник”. СПб., 1908. Кн. 7. С. 7–70.

Пр1910 – Черные маски. СПб.: Просвещение, [1910]. С. 1–107.

Пр. Т. 10. С. 1–107 – Черные маски.

ПССМ. Т. 1. С. 231–272 – Черные маски.

Автограф неизвестен.

Впервые: *Б* – Черные маски (с подзаголовком “Представление в двух действиях и пяти картинах”).

Печатается по тексту *ПССМ*.

В *ПССМ* (т. 1, с. 272) стоит дата: 1907 г. С этой датой вполне согласуются утверждения, что замысел “Черных масок” возник в 1907 г., когда Л. Андреев, тяжело переживавший смерть жены, Александры Михайловны, жил на острове Капри. По словам М. Горького, “его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти”, “он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растревлял свою боль”, говорил о самоубийстве. Возвращение к творчеству началось с “Иуды Искарюта”. «Этим рассказом, – писал Горький, – он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу “Черные маски”, написал злую юмореску “Любовь к ближнему”, рассказ “Тьма”, создал план “Сашки Жегулева”, сделал наброски пьесы “Океан” и написал несколько глав – две или три – повести “Мои записки”; – все это в течение полугода» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 347–349).

Несколько иной вариант истории возникновения пьесы находим в воспоминаниях Андрея Николаевича Андреева, младшего брата писателя. По его представлениям, “Черные маски” «написаны в годину тяжелых испытаний, когда от личной жизни он был “мертвецки пьян” (...) “Черные маски” написаны экспромтом, менее, чем в неделю. Тема впервые явилась при писании “Моих записок” (...)» (*Андреев А. О Леониде Андрееве / Вступ. ст., подг. текста и коммент. Л.Н. Кен // МИИ2012*. С. 75).

В дневнике Л. Андреева дата темы и написания “Черных масок” – это осень 1908 г. «Несомненно, – пишет он 11 октября 1915 г., – что в отношении личных переживаний я в те месяцы был в состоянии психоза, тяжелого полусумасшествия (...) И в это самое время с необыкновенной легкостью и быстротой (...) были написаны: “Мои записки” (...) потом – “Дни нашей жизни”, “Черные Маски”, “Сын Человеческий” и “Анатэма”. И все это было сплошной импровизацией, причем некоторые темы, как например “Черных Масок”, были совершенно новы (...)» (*S.O.S.* С. 23). Тот же 1908-й год как время создания “Черных масок” называется и в письме С.С. Голоушеву (25 марта 1918): “Вершины я достигаю в 906–7 г., когда мною написаны: в 1906 – Елеазар, Жизнь Человека, Савва, 1907 – Иуда и Тьма и в одном 1908 – Семь повешенных, Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатема” (Там же. С. 233).

1908-й год как дата написания пьесы зафиксирован и в газетных сообщениях того времени (см.: [*Б.н.*] Литературная летопись // Речь. 1908. 3 окт. (№ 236). С. 5).

Действие пьесы отнесено к эпохе итальянского Средневековья. Главный герой – рыцарь Святого Духа, сын крестоносца. Хранитель герцогских вин Кристофоро рассказывает, что с покойным отцом герцога Лоренцо он ходил “на освобождение гроба Господня”. Отец героя вернулся из Палестины и умер “в родном гнезде”.

Вместе с тем, средние века “Черных масок” довольно условны. На наличие в драме деталей, разрушающих представление об исторической эпохе, обращали внимание уже современники писателя. В очерке М. Горького о Л. Андрееве есть упоминание о том, как реагировал автор “Черных масок” на замечания по поводу исторических несообразностей еще в ту пору, когда пьеса только задумывалась. «Когда ему говорили, – писал Горький, – что “герцог Спандаро” для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы “князь Башмачников”, а сенбернарских собак в XII веке еще не было, – он сердился: “ – Это пустяки”» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 350).

Вскоре после знакомства с “Черными масками” широкого круга читателей и зрителей в авторе пьесы стали видеть некий прообраз герцога Лоренцо. «Перед вами произведение сверхзашифрованное и в то же время – обнаженное, – писал А.Е. Редько. – Зашифрованное – по форме, обнаженное – по существу. Автор “Черных масок”, прикрывшись маской, вводит нас в интимнейшую область своих переживаний. Он как бы боится стать слишком открытым для нашего глаза и в то же время хочет поделиться чем-то интимно-пережитым, переболевшим в сознании» (*Редько А.Е. [Редько А.М., Редько Е.И.] Элегия Леонида Андреева (“Черные маски”) // Русское богатство. 1909. № 4. Отд. 2. С. 173*).

А.Н. Андреев в своих воспоминаниях привел рассуждения старшего брата: “Я был герцогом Лоренцо, – утверждал когда-то давно Леонид, – не я, но мой прадед, мой давний предок, посеявший свой жизненный опыт во тьме моего бессознательного” (*МиИ2012*. С. 97).

«Темны и мало поддаются контролю силы, дремлющие на дне души человеческой, – писала В.Е. Беклемишева, как бы комментируя мысль писателя, – и не всякий обладает способностью проникать в свой подсознательный мир. Леонид Николаевич владел этим даром с исключительной силой и остротой. Эта особенность андреевской психики в моменты творчества достигала высшего напряжения. С этой точки зрения “Черные маски” являются литературным отображением разрыва между инстинктом и интеллектом. Они значительны по острой и жуткой правде человека о себе» (*Реквием*. С. 255).

По мнению К. Чуковского, герцогом Лоренцо Л. Андреев «сделался, когда писал свои “Черные Маски”» (*Книга о Л.А.* С. 86). И в развитие своего видения своеобразия личности Андреева Чуковский писал: “Гиперболическому стилю его книг соответствовал гиперболический стиль его жизни. Недаром Репин называл его: герцог Лоренцо. Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам, в сопровождении блистательной свиты. Это было ему к лицу, он словно рожден был для этого. Как величаво он являлся гостям на широкой, торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую! (...) Его красивое, точное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, легкая поступь – все это весьма гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл. Это была его коронная роль; с нею он органически сросся” (Там же. С. 81–82).

А.П. Алексеевский, назвавший обширные воспоминания о жизни Л. Андреева “Герцог Лоренцо”, дал интересное толкование одному из самых загадочных мотивов пьесы. По его словам, Л. Андреев рассказывал о “больших черных пятнах”, которые “вдруг появляются перед глазами” – «сначала несколько, потом сливаются в одно пятно, которое, постепенно увеличиваясь, застилает все поле зрения. Обычно черные пятна появлялись у него накануне какого-либо катастрофического события. Домашним существование таких пятен у Леонида было известно давно, еще с гимназической его жизни. Сам он помнил появление первого такого пятна накануне смерти отца, но особого внимания на это не обратил. Незадолго до смерти сестры Зины явление “черных пятен” повторилось, а затем они явились как предвестники несчастных родов Шурочки. Несомненно, что писатель уже сознавал органическую увязку своих “черных спутников” с “черными масками” герцога Лоренцо. Возможно, что под впечатлением именно своих “черных пятен” были созданы и “Черные маски” {...}» (ООГЛМТ. Ф. 12. Оп. 1. № 194. С. 91–92).

Темой “черной маски” заканчивает свой рассказ о Л. Андрееве А. Блок: «Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства – чаще в “хаосе”, реже – в “одиноких восторженных состояниях”. Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, непризнан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске – смерть» (*Книга о Л.А.* С. 102).

Первые отклики на “Черные маски” появились осенью 1908 г. – преимущественно лаконичные информации о вечерах, на которых с чтением пьесы выступал автор. Среди немногих пространных суждений была заметка И. Базилевского. Ее автор, пытаясь дать общее понимание произведения Л. Андреева, сравнивал его с тем впечатлением, которое произвела на него картина “Необходимость” “даровитого немецкого художника-символиста Саша Шнейдера”: “{...} страшное, огромное чудовище смыкает свои гигантские лапы в роковой круг, из которого нет выхода, а внутри этого круга стоит понурился голову беспомощный, обнаженный человек и руки у него скованы тяжелыми цепями. Хищные глаза чудовища горят злым, но каким-то холодным огнем: ему нечего торопиться, нет надобности бросаться на свою жертву, – ведь она и так не убежит; чудовище медленно, спокойно сожмет ее в своих лапах и не торопясь будет наслаждаться ее мучениями до тех пор, пока не замучит окончательно...”

Эта картина Шнейдера невольно станет приходить на память публике, которая будет смотреть новую драму г. Андреева: в ней где-то в глубине сцены чувствуется незримое присутствие этого страшного Идолища {...}” (*Базилевский И.* Новая пьеса Л. Андреева (“Лоренцо”) // Петербургская газета. 1908. 15 окт. (№ 284). С. 4).

Осенью 1908 г. писатель возлагал определенные надежды на постановку пьесы в Московском художественном театре – по этому поводу велись трудные переговоры. 25 сентября Андреев писал Вл.И. Немировичу-Данченко: «Как обещал, кончил пьесу к концу сентября и послезавтра посылаю Вам (...) О “Лоренцо” ничего говорить не стану – сами увидите, что за штука. Мне думается, что театру она дает хорошую работу, интересную. Трудно будет актеру в заглавной роли (я мечтаю о Василии Ивановиче), довольно дорого обойдется постановка, но зато могут быть интересные результаты. Должен сказать, что пьеса не совсем закончена: нужно будет дать стихи для первой и последней картин, найти хорошую, настоящую итальянскую, колыбельную, песенку для второй, и внести кое-какие маленькие поправки. Все это будет сделано мною недели через две-три, так что работе не помешает» (Музей МХАТа. Архив Н.-Д. № 3141/1).

В новом письме (от 9 октября) Андреев пытался уговорить Немировича-Данченко начать работу с “Черными масками”, которые, по его убеждению, “природою предназначены для Художественного театра”: «Я искренне люблю Художественный театр (любовь без взаимности бывает часто самой горячей) и с некоторой самонадеянностью полагаю, что отказ от постановки “Черных Масок” будет вреден не только мне – об этом нечего и говорить – но и Вашему театру» (Там же. № 3141/3).

Переговоры не увенчались успехом. Так, ежедневная московская газета “Новости сезона” в разделе “Хроника” сообщила: «Л. Андреев выслал Художественному театру только что законченную им пьесу. Ее название – “Черная маска”. Этой пьесой предполагается заменить намечавшуюся постановку “У врат царства” Гамсуна» (Новости сезона. 1908. 5–6 окт. (№ 1606). С. 6). Спустя четыре дня в той же газете появилась информация, что «присланная Л. Андреевым Художественному театру пьеса “Черные маски” поставлена не будет» (Там же. 10 окт. (№ 1610). С. 6).

Одновременно драматург пытался заинтересовать пьесой В.Ф. Комиссаржевскую. 3 октября 1908 г. он сообщил ей, что написал две пьесы, одна из них – «“Черные Маски” (“Лоренцо”) – символическая, сложная, с большими трудностями для постановки». Тогда же было высказано пожелание прочитать ее Комиссаржевской: “И я был бы бесконечно рад, если бы Вам и г. Бравичу удалось выбрать свободный вечерок или день и приехать ко мне (...)” (В.Ф. Комиссаржевская и символисты / Коммент. А. Дьяконова (Ставрогина) // Театр. 1940. № 2. С. 115).

А уже в письме от 19 октября Андреев, рассказав Комиссаржевской о мотивах, по которым Художественный театр отказался от “Черных масок” («и очень дорого и очень трудно и негде показать себя артистам, измученным безличностью ролей в “Синей птице”»), выразил уверенность, что, отдав судьбу пьесы в ее руки, может рассчитывать на достижение больших результатов. “Одного мне очень хотелось, – продолжал Андреев, – чтобы в заглавной роли выступил Бравич (если, конечно, он этого захочет) – тогда и успех пьесы и верную передачу

смысла ее можно считать обеспеченными. И одного мне только жаль, что не удалось мне создать в пьесе ни одной роли, достойной Вас; хотя в сцене в капелле перед моими глазами проходили именно Вы, но этого так мало для Вашей великолепной силы” (Там же. С. 115–116).

Двумя днями позднее, 21 октября 1908 г., писатель сделал попытку предложить “Черные маски” в репертуар Малого театра. «Гораздо сложнее, однако, вопрос о “Черных масках”, – писал Андреев А. Сумбатову-Южину. – У Комиссаржевской пьеса почти наверное провалится. В провинции – хотя Киев и берет ее на будущий сезон – ставить ее нельзя; и если откажется Малый театр, единственный, кроме Художественного, который может сладить с постановкою, то пьесу надо похоронить. Мое же отношение к ней таково, что настаивать на постановке я не могу и не хочу (...)» (“...Я оптимист!”: Из неопубликованных писем Леонида Андреева к Александру Сумбаташвили-Южину // Литературная Грузия. Тбилиси, 1979. № 10. С. 104).

В конце концов пьесу решил ставить театр Комиссаржевской. 1 ноября 1908 г. в вечернем выпуске газеты “Биржевые ведомости” сообщалось, что “вчера в театре г-жи Комиссаржевской состоялось первое чтение новой пьесы Леонида Андреева” (*БВед.* 1908. 1 нояб. (№ 10789). С. 5).

Случилось это после запрещения готового к представлению и не вышедшего на публику спектакля Н.Н. Евреинова по пьесе Оскара Уайльда “Саломея” (подробнее см.: *Дубнова Е.* Из истории театра Л. Андреева (1907–1908 гг.) // *МиИ2000.* С. 288–289). В письме Ф.Ф. Комиссаржевскому Андреев высказал свои соображения по поводу неудачи с “Саломеей” и одновременно предостерег начинающего режиссера от аналогичных просчетов в работе над “Черными масками”:

«Под впечатлением декораций и постановки Саломеи, в общем произведшей на меня неприятное впечатленье, я считаю нужным сделать некоторые предупреждения относительно “Черных масок”.

Символизм пьесы внутренний, внешне она почти что реальна. Если это даже и сон герцога Лоренцо, то, как всякий сон, он сверхобычен в целом и крайне реален в деталях.

Декорация первой и третьей картины должна быть такова: реальная и совершенно правдивая по линиям – только в красках и освещении она выдает свою призрачность. Освещение неровное, местами очень сильное, местами совсем слабое, таковы же и краски, то яркие до болезненности, то тусклые и прозрачные. Пусть часть декорационных полотен не будет закончена совсем, оставаясь серым пустым пятном – зато один какой-нибудь кусочек сцены должен быть вылеплен выпукло и ярко.

Такова же декорация и четвертой картины, в капелле: местами призрак, тень, – местами яркая, красочная явь.

Картина же вторая и последняя должны быть с начала до конца строго реальны, в самом обычном смысле этого слова. Никаких решительно ухищрений и пролетов в вечность. И меня очень смущает, что, судя по газетам, декорации пишет г. Калмыков. Я его не знаю, но то, что

он сделал в царевне, лишено вкуса и представляет собою скверный, коробочный, эйнемовский модерн. Если Ирод с пьяных глаз ничего не разбирает, так ведь на то он и Ирод и потерянный человек, а мы-то при чем же? Тут можно было дать такую знойную, страстную, южную ночь – а получилась какая-то петербургская слякоть. За луну же прямо обидно – еще ее никогда так не обижали.

Относительно актеров и игры заранее трудно что-нибудь сказать. Но ни в каком случае не должно быть поз и того дешевого, воющего пафоса, с каким выкрикивали свои роли, в той же Царевне ассириец, его ангелоподобный приятель и маститая Иродиада. И право не знаю, что хуже: этот ли свирепый пафос или те балетные позы, в каких пребывали ассириец и его приятель прежде, чем впасть в бешенство.

Простите, дорогой Федор Федорович, что я выражаюсь так резко (и конечно это останется между нами – но эти ошибки Евреинова мне кажутся опасным симптомом). Мне бы хотелось, чтобы символизм еще некоторое время пожил на белом свете, а такие террористические акты, как “Царевна”, быстро доконают его.

На репетициях я бывать не буду, но если у Вас встретятся какие-либо вопросы, где нужен автор, я с большим удовольствием побеседую с Вами. Да и вообще мне хотелось бы до постановки обстоятельно поговорить с Вами и г. Зоновым. Это наш общий интерес» (РАЛ. MS.606/F.47).

2 ноября начались ежедневные репетиции, через месяц состоялась премьера, в связи с которой петербургская газета “Слово” дала следующую информацию: «Вчера, второго декабря, в театре Комиссаржевской шли в первый раз “Черные маски” Леонида Андреева. Художественно недоделанная символическая пьеса, сбивчивая, как бред, не могла непосредственно захватить публику, но яркая маскарадная краснота постановки обеспечила ей несомненный успех. По окончании спектакля публика долго вызывала автора и режиссеров, но автора в театре не было» (Слово. 1908. 3 дек. (№ 639). С. 4).

Причину своего отсутствия на спектакле Андреев позднее так объяснил в письме Ф.Ф. Комиссаржевскому: «Мне показалось, что мой долгий неприезд на “Черные маски” был истолкован как-то неверно. Главная и почти единственная причина, по которой я не бываю на своих пьесах, – это непреодолимая боязнь публики, которая вызывает. И при следующих моих постановках я попрошу от театра анонса, что ни на свист, ни на аплодисменты автор не выходит, – пора отменить этот варварский обычай» (Театр. 1940. № 2. С. 116).

“Черные маски” были поставлены совместно Ф.Ф. Комиссаржевским и А.П. Зоновым. Костюмы и декорации – Н.К. Калмакова, музыка – В.Г. Каратыгина. Роль Лоренцо исполнил К.В. Бравич.

“Еще раз горячо благодарю Вас за постановку, – писал Андреев Комиссаржевскому 17 января 1909 г. – При некоторых частных недостатках, в целом постановка художественна и благородна. Мне очень

понравился Бравич в сцене у гроба. И вообще вся эта картина трогает и волнует своею внутреннею, тонко данною музыкальностью” (Там же).

Довольно подробный рассказ о восприятии спектакля премьерными зрителями – в воспоминаниях В.Е. Беклемишевой: «Жутко от сознания своей ограниченности, своей замкнутости было на представлении “Черных масок”. И люди в жизни долго казались мне такими же призраками, как на сцене.

К хаосу взывал Андреев, и хаос шел со сцены ⟨...⟩

Единственной реальностью на сцене был герцог Лоренцо. Кругом него носился вихрь безумия. Его бледное, страдальческое лицо, нарастающее беспокойство перед неведомыми и незванными гостями, страх и смятение самих замаскированных перед черными масками, которые вначале робко и виновато крадутся, как будто не чувствуя права на существование, а потом постепенно заполняют весь замок – все было поставлено так, что говорило о большой человеческой трагедии.

Но публика, воспринимая эмоционально трагичность происходящего, не понимала, в чем дело, и протестовала:

– Это какой-то кошмар... ⟨...⟩

Тема двойников, конечно, не случайная в творчестве Андреева, осталась непонятой. Заглянуть в мир двойников трепещущему за свое благополучие обывателю всегда страшно – отсюда смятение, беспокойство и протестующее раздражение, которое ясно чувствовалось в зрительном зале на представлении “Черных масок”» (*Реквием*. С. 244–245).

Большое место в откликах на спектакль заняли рассуждения рецензентов о несценичности “Черных масок”. Так, А. Измайлов высказал предположение, что пьеса Л. Андреева не для театра, она из тех произведений, которым “просто надо оставаться поэмами для чтения” (*Измайлов А. “Черные маски” в театре Комиссаржевской // РС. 1908. 5 дек. (№ 282). С. 2).*

По убеждению Н. Эфроса, автора полемически острой статьи, театр “подвергают самым отчаянным экспериментам”, не считаясь с его природой. Между тем “театр не может выскочить из своего тела, не может быть нереалистичным. Таков его жребий”. И далее Н. Эфрос обстоятельно мотивирует, почему для него “Черные маски” – “законнейший вид литературы, но только не литературы для театра”: Л. Андреев ставит сцене “одну несомненную, совершенно определенную и столь же совершенно неосуществимую задачу: объективировать необъективируемое, совместить несовместимое. Маскарад герцога ди Спадаро, на котором даже музыка ходит в масках, – не просто галлюцинация большого мозга, не кошмарные видения. Это чувства и мысли Лоренцо, вырвавшись из груди и мозга, стали реальностями, оделись в плоть и повели с ним речи, смутные и страшные. Этот маскарад – смятенная душа, вынесенная безумием из человека и поставленная перед его глазами. Не только мысли сошли с ума, но и тени мыслей, что бродят в царстве бессознательного, таятся в провалах души. И они пришли на маскарад, в масках черных, как гости незванные, непрошенные. Свет, хотя бы и

безумия, потревожил всю тьму. И тьма стала живая, населенная. И вышла наружу, стали видимыми глазами безумия те, которых никогда не видно. Это – ирреальности высшей марки, сверхирреальности”.

В качестве иллюстрации невозможности дать “этим сверхирреальностям реальность” Н. Эфрос пишет о том, что в театре Коммиссаржевской был отличный художник, “но когда рисунки стали костюмами, а под костюмами – живые люди, живые лица, – оказался только маскарад, а не обнажившая свое содержание большая душа. Воображение всевластно, подстегнутое художественным словом, оно все может. Сцена, пользующаяся человеком, – нет”. Лишь музыка, хотя автор “не Бетховен, а только Каратыгин”, “давала те впечатления, каких хотел Л.Н. Андреев” (Н.Э. [Эфрос Н.] “Черные маски” на сцене // *РВед.* 1908. 5 дек. (№ 282). С. 4).

Точке зрения театральных рецензентов противостояло режиссерское прочтение пьесы. В интервью, опубликованном в “Биржевых ведомостях” за неделю до премьеры, Ф.Ф. Коммиссаржевский рассказал о том, что ставить “Черные маски” “чрезвычайно трудно, ибо толпа, участвующая в спектакле, роль которой сводится к фотографированию душевных переживаний главного героя, должна быть на высоте своей задачи”. “Создать прототип одного во многих – задача очень неблагодарная и до крайности затруднительная”. И при всем том, мнение режиссера вполне определено: “(...) я считаю пьесу весьма сценической. Она значительно легче понимается со сцены, чем в чтении” (Зеон [Олькин З.Л.]. Около рампы: “Черные маски”. (У Ф.Ф. Коммиссаржевского) // *БВед.* 1908. 26 нояб. (№ 10830). С. 5).

Автор заметки в “Одесских новостях” допускал, что есть пьесы, “которые, может быть, следовало бы только читать, а не видеть”. К ним Лоэнгрин готов отнести и “Черные маски”. При этом он не торопится утверждать, что произведение непригодно для сцены; более того, он разделяет мечты Л. Андреева о собственном театре, надеется на его скорое появление – именно тогда, убежден критик, можно будет “увидеть верхние ступени образцового исполнения его любопытных пьес” (Лоэнгрин [Герцо-Виноградский П.Т.]. Зигзаги: По поводу “Черных масок” // *Одесские новости.* 1908. 19 дек. (№ 7697). С. 4).

В рецензиях театральных критиков крайне мало сведений о режиссерской работе, декорациях, костюмах, музыке, игре актеров – только скупые оценочные реплики, по которым можно судить или о самых удачных, или, напротив, о наиболее уязвимых моментах представления. В этой связи особый интерес представляют воспоминания одного из участников спектакля – А.А. Мгеброва о том, как выглядели декорации Н.К. Калмакова. По словам артиста, “театр, по-видимому, Калмаков любил до исступления” и во всех своих театральных работах стремился к величию и торжественности. «В “Черных масках”, – писал Мгебров, – он воздвиг такие, например, огромные порталы, какие я никогда ни до, ни после не видал на сцене. Порталы эти напоминали величественные залы расцвета средневековья. Сцена была углублена, увеличена в вы-

соту и расширена до всех возможных ее пределов. Само же зало замка Лоренцо было построено и расположено в запутанных, сложных и капризных комбинациях и линиях; сценическая площадка была тоже сложна... Огромные, четырехугольные выступы, тянувшиеся на большую высоту, создавали впечатление грандиозной и вместе мрачной величественности внутреннего зала замка Лоренцо... Все было задумано и сделано в тяжелых и мрачных тонах, с преобладанием черного, особенно в его глубине и переходах... И по этому запутанному залу носились, то рассыпаясь, то свиваясь в сложных карнавалы вереницах, жуткие, почти чудовищные маски, призрачные гости Лоренцо, двойники его души... Здесь фантазия Калмакова нашла себе полный исход... Гримы и костюмы были сделаны им с совершенно исключительной яркостью гротеска...» (*Мгебров А.А. Жизнь в театре. Л., 1929. Т. 1. С. 365–366*).

По свидетельству Л. Галича, «пьесу ставят хорошо, жутко. Маски выползают из-за кулис длинной, страшной, угрожающей вереницей и кажется, что их много тысяч, – “сонмы сонмов”, как детей ада» (*Галич Л. [Габрилович Л.Е.] О “Черных масках” // ТиИ. 1908. 21 дек. (№ 51). С. 912*).

«Групповые сцены, – писал Омега, – были поставлены, в общем, хорошо, хотя не каждый из “чертяк” знал, что ему нужно было делать» (*Омега [Трозинер Ф.В.]. Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской. “Черные маски” // Петербургская газета. 1908. 3 дек. (№ 333). С. 4*).

По словам другого рецензента, побывавшего на втором спектакле, публика отнеслась к непонятному произведению Андреева недружелюбно, хотя “поставлена пьеса весьма хорошо. Колоритны, стильны, красивы декорации и костюмы молодого и несомненно талантливого художника Калмакова. Пожар замка, достигнутый с помощью движущихся экранов – верх театральной техники. Жутко смотреть” (*Шмель [Косоротов А.И.]. Петербургские письма // Рампа. 1908. 14 дек. (№ 17). С. 274*).

Л. Гуревич отметила несомненные заслуги режиссеров, которые “вложили в эту постановку массу изобретательности и труда. Декорации Калмакова монументально-красивы, пышные костюмы разнообразны, некоторые – оригинальны. В массовых сценах на балу есть жизнь, движение и ритм. Музыка Каратыгина – этот лихорадочный и назойливый, как бред, галоп, под который несутся, кружатся и скрываются за кулисы замаскированные пары, а потом тихий реквием за сценой сливается с настроением пьесы”. И при всем том, считала Л. Гуревич, “истинно-художественного впечатления спектакль все-таки не дает”. “Талантливый актер Бравич (...) слишком немолод, тяжел и прозаичен для роли юного, болезненного герцога, объятого фантастикой видений. Его глухой и негибкий голос не передает трепета души, и глубокомысленно-цветистые речи безумного Лоренцо кажутся в его устах еще безжизненнее. Он не господствует в нашем внимании над пестрой толпою масок и не отодвигает ее для нас в сумрак второго плана, где она казалась бы более при-

зрачной и более страшной” (Гуревич Л. Драматический театр: “Черные маски” Л. Андреева // Слово. 1908. 4 дек. (№ 640). С. 6).

Невысоко оценил Бравича–Лоренцо и А. Измайлов: Лоренцо “не в средствах Бравича, слишком здорового, слишком реального, слишком одноцветного для Лоренцо с его психическим изломом и змеиного цвета переливами” (Измайлов А. Указ. соч. С. 2).

У А. Кугеля было иное видение спектакля и отдельных актерских работ: “Постановка, в общем, мне очень нравится. В ней много фантазии, вкуса и выдумки. Отличная музыка г. Каратыгина также идет к делу. Но когда этого много, когда чернота нагоняет черноту, маскарад сидит на маскараде и процессия ужасов бесконечна, – становится скучно. И играть точно так же трудно. Г. Бравич играл Лоренцо – роль необычайной трудности. Он менял маски и чередовал интонации, но одновременно быть убийцей и самоубийцей, покойником и причитальщиком, самим собою и двойником, замаскированным и незамаскированным, слугою Сатаны и Господина – задача решительно непосильная. Очень хорош г. Закушняк – шут. Мила Франческа – г-жа Шиловская. Вообще, редкий спектакль давал такое целостное, ровное и художественное впечатление в смысле сценичности” (Ното новус [Кугель А.П.]. “Черные маски” Л. Андреева // Новая Русь. СПб., 1908. 4 дек. (№ 111). С. 5).

Значительное место в статьях театральных критиков занимали попытки осмысления собственно произведения Л. Андреева. Эти трактовки, как и появившиеся практически одновременно отклики на первую публикацию пьесы в “Шиповнике”, дают довольно интересный разброс представлений об увиденном и прочитанном, о контексте “Черных масок”, о возможностях сопоставления с другими произведениями.

Для А. Косоротова причина “мертвенности” “Черных масок” (как и “Жизни Человека”) в том, что “автор дал грандиозные зрелища, в которых актерам большого диапазона нечего делать. Это не роли, а манекены” (Косоротов А. Мертвый театр // Речь. 1908. 6 дек. (№ 299). С. 3).

Еще категоричнее Н.П. Ашешов: “Это самое неудачное произведение Андреева, наиболее надуманное, наиболее искусственное” (Аш. [Ашешов Н.П.] “Черные маски” Леонида Андреева // Вечер. СПб., 1908. 3 дек. (№ 181). С. 3).

По мнению Боривого, драма Лоренцо – “интересный сюжет для небольшого рассказа, но никак не для пьесы в пять картин”; “наполовину непонятно, что хотел выразить автор”; “неотделанный, незаконченный, набросанный вчерне эскиз” (Боривой [Якушев Д.П.]. Литературные очерки: “Черные маски” // Голос правды. СПб., 1908. 12 дек. (№ 968). С. 2).

Л. Гуревич, посвятившая “Черным маскам” две статьи, убеждена, что “дерзость творческой мысли и роковое бессилие недужной, холодной души одинаково отразились на этой вещи. И оттого, страшная по замыслу, полная ярких, кричащих слов, – она кажется мутною,

глухую и – со всем, что в ней есть, – не захватывает, почти не волнует зрителя”.

И далее – по поводу финала пьесы: “Торжественные слова о грядущем Боге, которые должны были бы знаменовать просветление души, переплавленной в огне духовных мук, звучат фальшиво. В разуме своем писатель намечает необходимость какой-то светлой веры, но вся душа его лежит перед тайнами бытия в тяжком параличе безверия, и от художественно-неискреннего конца его пьесы становится особенно жутко за дальнейшую судьбу его таланта” (*Гуревич Л.* *Драматический театр: “Черные маски”* Л. Андреева. С. 6).

“В надменном писателе, – продолжала Л. Гуревич несколькими днями позднее, – бросающем публике свои черновики, уже чувствуется этот распад, уже начинается паралич творческой воли” (*Гуревич Л.* *Оторванные души: (Леонид Андреев и Федор Сологуб в седьмом альманахе “Шиповника”)* // *Правда жизни.* СПб., 1908. 8 дек. (№ 2). С. 3).

Другие критики, пытаясь понять суть писательского замысла, отказывались от прямолинейного порицания.

Общим местом ряда таких отзывов явилось сопоставление пьесы с произведениями Эдгара По. Так, Лоэнгрин пишет о “невидимых духовных нитях” между Л. Андреевым и Э. По: “Их обоих неотразимо влечет к себе безумие человеческой личности. Они оба любят те грани, где жизнь соприкасается со смертью и мечта с действительностью. Они любят эту странную смесь реального и фантастического, влекутся к ней постоянно” (*Лоэнгрин [Герцо-Виноградский П.Т.]*. *Зигзаги: По поводу “Черных масок”*. С. 4).

А. Кугелю пьеса Андреева напомнила “Маску красной смерти” По (*Ното новис [Кугель А.Р.]*. Указ. соч. С. 5). О том же см.: *Зеон [Олькин З.Л.]*. Указ. соч. С. 5).

По мнению А. Измайлова, фон драмы «мог быть навеян известной новеллой Эдгара По “Маска красной смерти”», но “основная психологическая тема Андреева о раздвоении личности не имеет никакого подсказа” (*Измайлов А.* “Черные маски” // *БВед.* 1908. 4 дек. (№ 10843). Утр. вып. С. 6).

“Зачем сравнивать Леонида Андреева с Эдгаром По? У каждого из них свой масштаб. Эдгар По пользовался методами чистого символизма, Леонид Андреев всегда вне символизма”, – настаивал Г. Чулков (*Чулков Г.* *Сцена: Театр В. Ф. Комиссаржевской. “Черные маски”* Леонида Андреева // *Современное слово.* СПб., 1908. 4 нояб. (№ 384). С. 5).

Спустя несколько лет В. Львов-Рогачевский, обратившись к сопоставлению произведений Андреева и По, напишет, что «замок герцога Лоренцо в “Черных масках” очень напоминает “Заколдованный замок” Э. По. Этот замок возвышается среди долин там, где было обиталище духов добра (...) “Заколдованный замок”, как замок Лоренцо, душа человека, прежде ясная и улыбающаяся, подпадает под влияние черных дум, тревожных сомнений, безумных кошмаров» (*Львов-Рогачевский 1914.* С. 173–174).

По мысли М. Неведомского, “болезненное ощущение непонимания между людьми” сближает Л. Андреева с Мопассаном и одновременно напоминает о прежних произведениях писателя, таких как “Смех”, “Ложь”, “Большой шлем”, “Жили-были”, “Иуда Искарот”. “Черные маски” представляются критику и своего рода продолжением рассказа “Призраки” – их идеи “почти тождественны”, но тема человеческой разрозненности звучит в пьесе “так громко и так кошмарно-болезненно, как никогда раньше” (*Неведомский М. [Миклашевский М.П.] Песни безвременья: (“Мои записки”, “Дни нашей жизни” и “Черные маски” Л. Андреева) // На рубеже: Критический сб.: (К характеристике современных исканий).* СПб., 1909. С. 280, 282).

Для автора другой статьи несомненна связь между “Мыслью”, “Моими записками” и “Черными масками”. “И там, и здесь, – писал М. Морозов, – притворство и безумное торжество помешанного, обморочившего людей, – пронизывает весь ход повествования. И там, и здесь безумная жажда быть господином своего Я, а не рабом неясных и темных сил хаоса – является своего рода пунктом помешательства. И там, и здесь – безнадежное одиночество человеческой души” (*Морозов М. Ужас бесцельности: (“Мои записки” и “Черные маски” Леонида Андреева) // Вершины.* СПб.: Прометей, 1909. Кн. 1. С. 237–238).

Вопрос, «не представляют ли “Черные маски” как бы более полное и широкое развитие мысли, намеченной лишь в общих чертах в “Моих записках”, и, кроме того, не является ли это произведение подтверждением глубокой философской мысли, лежащей в основании “записок”», подробно рассматривал К. Волховский, автор одной из наиболее концептуальных работ, посвященных анализу пьесы. Критик считал человека, которым ведутся “Мои записки”, глубоким философом, убежденным, что всё в жизни ложь, что, создавая законы и устанавливая правила, человечество руководствуется лишь видимостью, а не сокровенной сущностью вещей. Стремление же человека к познанию бессмертной правды порождает тот хаос, который изобразил художник в “Черных масках” (*Волховский К. Что такое “Черные маски”:* (О драме Л. Андреева) // *Сполохи.* М., 1909. Кн. 5. С. 144–145).

К. Волховский обратил внимание на художественную смелость Андреева, пошедшего дальше Метерлинка в дерзком сплетении “отвлеченных понятий с материальными лицами”. По мнению критика, реальные лица – это Лоренцо, шут Экко, Франческа, управляющий, хранитель вин, господа и дамы из свиты, а “все маски без исключения лишь материализованные абстрактные понятия”. Исходя из такого деления, он предлагал усматривать в “Черных масках” две драмы: “видимые действия живых людей” и “глубокую борьбу невидимую, происходящую в душе герцога Лоренцо”. К внешней видимой драме может быть отнесена только пятая картина. “Что же касается до первых четырех картин, – продолжал автор статьи, – то все они представляют внутреннюю невидимую драму в душе герцога Лоренцо (...) На самом деле Лоренцо не созывал маскарад, не убивал самого себя физически, всевозможные

маски не шли в двери и не лезли в окна его замка, это все происходило лишь там, в глубине его души, и лишь в воплощенном виде, образно и ярко представлено автором перед читателем” (Там же. С. 148).

Комментируя финал драмы, К. Волховский писал о том, какой представляется ему идея произведения: «Так во всеобъемлющее пламя должна разгореться робкая мысль человека, и тогда она, свободная и лучезарная, не погаснет под напором черного мрака и неведомых масок (...) Но чтобы разжечь слабый светоч во всепобеждающее пламя, надо стать безумцем, надо быть “Рыцарем Святого Духа”, надо смело разрушить и уничтожить все ложные понятия и представления» (Там же. С. 155–156).

По мнению М. Морозова, “Леонид Андреев прибегает к смелому приему. Он стирает грань, отделяющую сознание одного от сознания всех. Он развертывает жизнь, как она была или бывает, но на отдельные места ее картины направляет лучи больного ума, вы видите их не как они есть, а как они представляются герою пьесы (...) Бредовыми образами и видениями автор пользуется как символами. Это не просто безумный бред, но бред философский. Так, черные чудовища – это символ встающих перед лицом знания неразрешимых загадок и тайн мироздания. Они льнут к свету и теплу, и свет гаснет от них и тепло иссякает. Мысль жуткая, но красивая” (Морозов М. Указ. соч. С. 235–236).

Размышляя над одним из важнейших эпизодов пьесы, в котором певец от имени Лоренцо обращается к Сатане как властителю мира, А.Е. Редько делает следующее наблюдение: «Герцог Спадаро искренно верил в божественность своих непосредственных побуждений. Но пришли черные тени, созданные жаждой жить, и произвели – вернее, открыли ему – тот хаос, который живет в душе человека, так чудовищно сближая потребность в Добре с способностью к Злу (...) Впрочем, это традиционное разделение на два начала – божеское и дьявольское – Андреев употребляет только по привычке к этим обозначениям. Страшное для него в душе человеческой – отсутствие ясных начал и того, и другого. Сталкиваясь с “масками”, герой Андреева убеждается, что божеское и дьявольское далеко не исчерпывают мира. Кроме “масок” определенных, символизирующих как “сердце”, “ложь”, “мысли”, на призывные огни замка явились еще и “черные маски”. Маски, имеющие определенный вид, обращаются к этим пришельцам с вопросом: “Вы от Сатаны?” и получают в ответ: “Кто такой Сатана?” Пришельцы не знают никакого хозяина (...)» (Редько А.Е. [Редько А.М., Редько Е.И.] Указ. соч. С. 179–180).

“Андреев пытлив необычайно, – заметил Лоэнгрин. – Он принимает мир как реальность, но видит повсюду покров тайны (...) Он не мистик. Он только требует от вас, чтобы вы взглянули более глубоко в сущность этой реальности” (Лоэнгрин [Герцо-Виноградский П.Т.]. Зигзаги // Одесские новости. 1908. 23 дек. (№ 7700). С. 6).

Для Л. Галича главное в пьесе – отчетливое субъективное начало, склонность к лиризму, “гипертрофия чувствительности”: «В “Черных масках” нет касаний к “не – я”. Нет взора, обращенного в мир. Это – драма внутренних раздражений. Лирика, элегия на подмостках» (Галич Л. [Габрилович Л.Е.] Указ. соч. С. 913–914).

Г. Чулков видел в создателе “Черных масок” «бурный, мутный и страшный поток, хлынувший на наши пустынные поля (...) Нашу боль, наше горе, нашу – если хотите – истерику, – продолжал критик, – надо было исчерпать до конца, вынести все муки наши и сомнения на улицу, не побояться улицы. И это все взял на себя Леонид Андреев. Это не аристократично, но это необходимо. Это грубо, но это житейски праведно. Что и говорить, было бы худо, если бы Леонид Андреев сделался “учителем жизни”, но он не претендует на это, он только говорит нам, что ему страшно без Бога, что он не знает, кто правит миром – Бог или Сатана, и в этой грубой постановке темы есть та сумасшедшая правда, от которой не убежишь и не спасешься никакими “гносеологиями”, “идеализмами”, “эстетствами” и т.д.» (Чулков Г. Указ. соч. С. 5).

“Отменно скучным” назвал произведение Андреева И. Анненский. По его мнению, которое он подробно изложил в письме от 16 декабря 1908г. одному из своих корреспондентов, цель у писателя была “не столько литературная, сколь феерическая, театральная”. «Улыбающееся сумасшествие герцога, которое началось в нем гораздо ранее, чем он видит масок, – его объективированная Андреевым галлюцинация и мука – в литературном отношении продолжает черствое, рационалистическое, гелертерское сумасшествие автора “Записок”. Там – не имелось в виду декоратора, и потому можно было ограничиться развитием символа “решетки”, сумасшествием, возникшим на почве идеи побега, сумасшествия, экзальтированного тайным пороком. Здесь в “Масках” надо было удовлетворить фигурантов, дать заработок театральным плотникам, а главное, окрылить фантазию “товарища-мейерхольда” (...)

Переходя к мелочам, отмечу, что уже в первой сцене герцог – вполне сумасшедший человек... Его преследует кошмар темноты; башню и дорогу он приказывает залить светом. Сумасшествие его только незаметно, потому что автор еще не объективировал его сценически, не разделил его на десятки жестов, ужимок, замаскированных Страхов, лицедействующих Отчаяний; не заменил еще его лишь прикрыто привычным благообразием тягостной душевной дисгармонии – дикою музыкой второй картины.

Не без искусства Леонид Андреев поставил рядом с герцогом его влюбленную жену: она так очарована своим еще не остывшим желанием, что не может видеть, что любит больного, что целует отвратительного умственного калеку. Шут оригинален, но поневоле, кажется. Л. Андреев очень талантлив, но он совершенно лишен гения – от природы.

В нем нет *ни зерна безумия и юмора*. Его шут – печальный, блеклый, завистливый, негениальный, почти истерический шут XX в., но по-своему новый и нам близкий...

Вот такими представляются мне “Маски”. Их литературное начало у Брет-Гарта и особенно у Эдгара По» (*Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 482–483).

Новая волна критических суждений о “Черных масках” появилась в конце 1909 г. и была связана с осмыслением сценической интерпретации пьесы в театре К.Н. Незлобина.

Работа над спектаклем, премьера которого состоялась 7 декабря 1909 г., продолжалась несколько месяцев. Все это время газетные репортеры подогревали интерес публики к представлению сведениями о посещении писателем театра, о собеседовании с труппой, знакомстве с эскизами и макетами декораций, о количестве проведенных репетиций и о словах одобрения, которые услышали артисты от автора пьесы. Накануне премьерного показа появились сообщения о том, что для московской сцены Л. Андреев переделал свое произведение. Дабы опровергнуть слухи и разъяснить истинное положение дел, К.Н. Незлобин с согласия писателя отдал в несколько изданий текст его письма конца октября. Напечатанное в первых числах декабря (в “Утре России” и “Раннем утре” – 2 декабря, в “Рампе и жизни”, “Московских ведомостях” – 6 декабря), письмо Андреева стало не только предуведомлением к спектаклю, но и одним из самых обстоятельных авторских пояснений к пьесе.

Обращаясь к К.Н. Незлобину, Л. Андреев писал: «Кажется, ни над одной новой вещью своею я не думал так много, как над “Черными масками”: как сделать так, чтобы стала пьеса понятнее и ближе публике. Я не могу забыть буфетчика в театре Комиссаржевской, у которого на “Черных масках” спросили, как идет торговля; и, разведя руками, горько отвечал буфетчик: “Недоумевают – и не пьют”. Как же рассеять недоумение? Гайдебуров читал перед спектаклем лекцию – не помогло и даже, как говорят, стало еще хуже. Сделать пояснения, обнажить скелет пьесы и вложить в уста герцога Лоренцо нечто в высокой степени удобопонятное: на тему о раздвоении личности, о борьбе в душе Лоренцо двух начал – мрака и света, Сатаны и Бога; о том, что мир призрачен, что обманывают нас и люди, и вещи – и мы сами обманываем себя, не зная правды?.. Провести ли, наконец (как того желала критика и зритель), резкую разграничительную линию между реальным и ирреальным, между здоровьем Лоренцо и “болезнью” Лоренцо, наставить вех, дощечек с протянутым указательным перстом, как это делается на немецких тропинках и в аллегорических произведениях, дать ясную хронологию событий: сперва заболел, потом позвал гостей, или сперва позвал гостей, потом заболел? Много думал я, дважды очень внимательно перечел пьесу, и – простите – ничего сделать не могу. Не вижу возможности, да и надобности не вижу. Что бы ни говорили недоумевающие о недостатках работы, о спешности, неряшливости, непродуманности, – для меня “Черные маски”, печальная судьба герцога Лоренцо, есть нечто

цельное, раз и навсегда законченное и ничего вмешательства не терпящее... даже вмешательства автора. И сколько бы я ни пояснял, никогда не поймет меня тот, кому чужды терзания совести бунтующей, печаль потерянных надежд, горе любви обманутой и дружбы попорченной. Никогда не поймет меня тот, чья спокойно-комфортабельна душа, толстым здоровьем здорово ожирелое сердце, чей слух, обращенный к внешнему, никогда не обращался внутрь, никогда не слышал лязга сталкивающихся мечей, голосов безумия и боли, дикого шума той великой битвы, театром для которой издревле служит душа человека... Никогда не поймет меня тот, кто ни разу не зажигал огня на башне ума и сердца своего и не видел освещенной дороги, по которой приближаются странные гости, и не понял той великой загадки бытия, по которой на зов пламени приходит тьма – эти черные, холодные, ни Бога, ни Сатаны не ведающие существа, тени теней, начала начал. Рожденные светом, они любят свет, стремятся к свету и гасят его неизбежно. И ни слова лишнего не хочу я добавить к тому, кто не понимает меня и не поймет никогда. А для тех, кто понимает, лишние слова... излишни. Не гневайтесь на меня, Константин Николаевич. Боюсь, что и вас постигнет судьба тех театров, что мужественно брались за постановку непонятных “Черных масок”, не поймут и вас, хотя, как я видел на репетиции, Вами делается все, чтобы довести вещь и до сознания и до чувства зрителя. Но что поделаешь? Обещание дополнить пьесу я дал Вам в то время, когда был занят другими вещами и несколько позабыл структуру “Черных масок” – теперь я вспомнил ее и вижу, что ничего сделать нельзя. Маленькая вставка, которую я вам посылаю, не касается драмы по существу и не служит к ее удобопонятности: это лишь маленький штрих в наброске уже известного, углубленная линия, резко проведенная черта» (*Незлобин К.Н.* Письмо в редакцию: Леонид Андреев о “Черных масках” // Раннее утро. М., 1909. 2 дек. (№ 276). С. 3).

Режиссером спектакля в незлобинском театре был К.А. Марджанов. Художник – Н. Игнатьев. Роль Лоренцо исполняли Лихачев и Максимов. Франческу играли Станкевич и Неледина, в других ролях были заняты Лилина (шут Экко), Лавров (певец Ромуальдо), Неронов (Кристофоро).

Знакомство режиссера с пьесой состоялось в доме писателя в Вамельсуу, куда он приехал вместе с Евг. Чириковым. «Андреев прочитал нам только что законченную пьесу “Черные маски”, поразившую меня в самое сердце», – писал он в своих воспоминаниях. И здесь же: “Раздвоенные Лоренцо представляло любопытную театральную задачу. Вся драма преломлялась в одной душе, и художественной целью было показать страдание этой единственной души. Это был крайний индивидуализм, настоящая монодрама” (*Марджановили К.А.* Воспоминания. Статьи и доклады. Тбилиси, 1958. С. 45).

По убеждению режиссера, спектакль “имел успех, так как поставленная (...) цель была достигнута” (Там же. С. 49). “Мне хотелось все напоить какой-то жуткой таинственностью, я мечтал иметь в актерах не их материальное тело, а как бы астральное воплощение (...) Мне

нужно было, чтобы маски, наполняющие зал, появлялись не обычным путем, из-за кулис, а каким-то непривычным. И вот я решил вводить их с авансены, но не через публику, что разрушило бы совершенно художественное представление о них, а неизвестно откуда. Я спустил трап в виде лестницы в место для оркестра и от публики прикрыл это место совершенно” (Там же. С. 48).

Первые отклики прессы были восторженные. Так, газета “Утро России”, информируя о генеральной репетиции, состоявшейся “при совершенно закрытых дверях”, писала: «“Черные маски” инсценированы с феерической роскошью; режиссер проявил много причудливой выдумки; пьеса смотрится с захватывающим интересом» ([Б. п.] Генеральная репетиция “Черных масок” // Утро России. М., 1909. 6 дек. (№ 51). С. 6).

По словам автора статьи в газете “Новости сезона”, тоже присутствовавшего на генеральной репетиции, “интерес пьесы, зрелища, постановки был огромный, захватывающий. Г. Марджанов сладил с трудной задачей и показал, что у него бездна фантазии, причудливой выдумки, смелого полета” (*Не-рецензент*. На репетиции “Черных масок”: (Обрывки впечатлений) // Новости сезона. М., 1909. 8 дек. (№ 1874). С. 7).

Другой была реакция рецензентов на премьеру, состоявшуюся 7 декабря. “Часть публики аплодировала, часть свистала”, – извещала газета “Раннее утро” на следующий день после первого представления ([Б. п.] [Бескин Э.М.] Черные маски: Театр Незлобина // Раннее утро. 1909. 8 дек. (№ 281). С. 6). “Кому эта пьеса нужна? – вопрошал позднее тот же автор. – Разве только группе маленьких декадентиков, восхищенно шмыгавших в антрактах по фойе”. По словам Э.Б., «публика не была захвачена ни одной минуты. В самых якобы трагических местах она смеялась. А когда со сцены объявили, что автора в театре нет, кто-то громко отчеканил: “И прекрасно!”» (Э.Б. [Бескин Э.М.] Искусство и маски // Раннее утро. 1909. 9 дек. (№ 282). С. 6).

Среди наиболее содержательных разборов театральной работы – статья С. Яблоновского с элементами стилизации “под Андреева”. В рецензии рассматривалось три аспекта состоявшегося представления – им соответствовали риторические обращения и критика в адрес главных для спектакля фигур. В качестве первого объекта иронических нападок С. Яблоновский избирает писателя: «Безумный Андреев! Несчастный Андреев! Зачем ты отдал театру свои “Черные маски”? (...) В комнате, за книгой, нужно сидеть, чтобы пришли твои “Маски” и обвеяли сердце своим леденящим ужасом (...) В комнате за книгой. И не надо в ней ни лишних, равнодушных людей, ни беззаботности».

Больше всего претензий у автора статьи к режиссеру: «Бедный Марджанов! Безумный Марджанов! (...) Ты не понял безумия Андреева, захотевшего перетащить свою нежную пьесу на грубые, реальные театральные подмостки. Ты не сумел сказать Андрееву: “Да разве же на сцене место этим трепетным, таинственным созданиям потрясенной души. Сцена конкретна. Трепетные видения становятся на ней оперой, балетом, маскарадом”». Режиссер виноват и в том, считал рецензент,

что позволил декоратору штукатурить стены “под мрамор”, пустив по этой пестроте звезды, – получилась “пестрая, несносная безвкусица”, а в финале «позволил бутафору вместо пожара устроить ту “игру цветов”, которая так радовала наш взор в волшебном фонаре в счастливую, невозвратную пору детства». Главная же ошибка Марджанова, с точки зрения С. Яблоновского, выбор артиста на главную роль (“Вся пьеса – один Лоренцо”): “На плечи крепкого мужа можно взвалить подобную тяжесть и с тревогой следить, не надломит ли она этих плеч. А ты взвалил ее на мальчика. И мальчика было жаль. Он старался, он... впрочем, нет, – ноша не была взвалена: ноша лежала недвижно на земле, а мальчик около нее суетился (...)”.

Третье обращение критика – к руководителю театра: “Безумный Незлобин! Странный Незлобин!” Его вина, по мнению Яблоновского, в том, что, позвав в свой замок лучшего писателя и ищущего режиссера, “вместо живых людей с живыми человеческими думами, ты населил его масками (...) Масок изображали маски. И оттого маскированными оказались не только гости Лоренцо, не только звуки, но и идея пьесы, и ее образы, и все ее художественное содержание” (*Яблоновский С. [Потресов С.В.] “Черные маски” // РС. 1909. 9 дек. (№ 282). С. 5*).

В обстоятельной рецензии П. Ярцева, опубликованной в тот же день, что и статья С. Яблоновского, большое место отводилось размышлениям о режиссерских просчетах, следствием которых стал резкий контраст между успешной генеральной репетицией и неудачной премьерой. Общее впечатление критика – “представление нервозно и скованно”, ибо в нем «очень много людей – очень мало актеров. Настолько мало, что для основных ролей нет исполнителей (...) Все в представлении натянуто и взвинчено одним режиссером, который желает слепить из ничего пьесу на сцене, и еще такую, какова “Черные маски”, и еще так, чтобы было возможно все расслышать и все рассмотреть. Поэтому все так напряжено, готово рухнуть каждую минуту, и рушится: нельзя и сравнивать того, как звучала пьеса на генеральной репетиции и как, сорвавшись, зазвучала на спектакле».

Обосновывая свою мысль, П. Ярцев дает негативную оценку актерским работам: “То, что в представлении нет Лоренцо, а есть чтец, его заменяющий, – это передвигает впечатление на те фигуры, что окружают Лоренцо, – маски – и потому, что Лоренцо все пугается и вскрикивает – нужно, чтобы эти фигуры были жутки: жутко двигались и жутко говорили. Между тем, для того чтобы жутко двигаться и жутко говорить на сцене, надо быть больше, нежели средним актером, а на сцене у Незлобина это должны делать статисты (...) Даже для таких, сравнительно несложных вещей, какова роль Франчески, где все только должно быть чисто и строго – звуки и движения – нет в театре исполнительницы. Пропала роль Шута, роль важная: сыграна мелко, и почему-то женщиной, и почему-то женщиной в таком бескрасочном костюме, с такою неприятною мимикой, с напряженным голосом, с неживописными движениями”

(Ярцев П. “Черные маски” в театре у Незлобина // Утро России. 1909. 9 дек. (№ 53). С. 6).

Другие критики, писавшие о спектакле, были едины в похвалах артисту Неронову и столь же решительно порицали игру Лилиной, Станкевич и особенно Лихачева. “Почему-то шута играла женщина, – недоумевал Старый друг, – ее Экко был безликий и был ни смешным, ни трогательным. И слова шута, его насмешки и его слезы падали как-то зря, не вплетая нужных нитей в сложную ткань пьесы” (*Старый друг [Эфрос Н.Е.]*. “Черные маски” // Театр. 1909. 9 дек. (№ 547). С. 6).

А герцог Лоренцо–Лихачев, по мнению того же критика, был лишен необходимой нервной силы: “Его Лоренцо – только наивный и простодушный, ласковый и добрый. Он умеет кротко улыбаться, тихо плакать. В мгновения наивысшего напряжения душевной муки, когда ведет он последнюю, отчаянную борьбу с безумием, когда срывается с основ и в ужасе рушится душа в бездны, – он умеет быть только растерянным. С ним не переживаешь и бледной тени мук несчастного Лоренцо. И лицо у него все время добродушное и ясное, в глазах не зажигаются никакие молнии, и ничто не клокочет в мягком, немного сдобном голосе, хотя произносятся такие страшные слова” (*Н. Эф [Эфрос Н.]*. Театр Незлобина: “Черные маски” Леонида Андреева // *РВед.* 1909. 9 дек. (№ 282). С. 4).

“Внешние данные г. Лихачева, – констатировал Некто, – не отличаются ни скульптурной, ни мимической выразительностью (...) а неудачный грим артиста сообщил внешности Лоренцо крайнюю банальность и бесцветность. И движения были слишком обильны и в некоторых местах переносили воображение зрителя прямо в область балета (...) Голос тоже красивый, но не глубокого тембра (...) Главная роль пьесы пропала – пропала и ее душа”. Исполнительница роли Франчески, продолжал автор статьи, не дала “обаятельной красоты образа”: в ее “фигуре слабо чувствуется жизненный трепет”, лицо артистки “было серо и при некоторых выражениях старообразно”; “совершенно пропала” “яркая и символичная фигура” шута – “был не шут Экко, а ряженая шутиком барышня” (*Некто [Кугель А.Р.?]*. “Черные маски” // Рампа и жизнь. 1909. 13 дек. (№ 37). С. 836).

“Г-жа Лилина, – писал другой рецензент, – вместо безумного шута Экко изобразила бедного больного мальчика” (*Бэн [Назаревский Б.В.]*. “Черные маски”: Представление Леонида Андреева на сцене театра К.Н. Незлобина // *МВед.* 1909. 16 дек. (№ 288). С. 2).

“Черные маски” ставились в Харькове, Одесском городском театре, в рижском Новом латышском театре, в Хабаровске, Томске, Варшаве. По скупым отзывам рецензентов трудно понять художественный уровень этих спектаклей и причины почти повсеместного неуспеха.

Заметным исключением на этом фоне стала работа Первого драматического передвижного театра. До “передвижников” свои “Черные маски” на сцене общественного собрания Томска показала труппа И.М. Суходрева. По словам рецензента газеты “Сибирская жизнь”,

“представление тянулось вяло при полупустом зале”, заглавная роль не далась артисту Наровскому (И.П. “Черные маски” Л. Андреева в исполнении труппы И.М. Суходрева // Сибирская жизнь. Томск, 1910. 13 февр. (№ 35). С. 3).

Приехавшие на гастроли артисты Передвижного театра учли убежденное отношение томской публики к пьесе Андреева и накануне спектакля опубликовали открытое письмо. В нем они объяснили свою позицию: «Наш театр взял пьесу от автора, не испугавшись ее раздутой “непонятности”, потому что, полюбив ее и глубоко почувствовав ее внутреннюю мелодию и красоту, уже не мог не ставить у себя “Черных масок”, не отдав всех сил своих на то, чтобы и русская интеллигенция приняла и полюбила эту трагедию души человеческой, автор которой был всегда так близок ей и так дорог в других своих произведениях» ([Б. н.] Передвижники. К постановке “Черных масок” Л. Андреева: Открытое письмо // Сибирская жизнь. Томск, 1910. 7 апр. (№ 77). С. 3).

В рецензии на состоявшееся представление отмечалось: “Передвижники с честью справились с постановкой этой пьесы”; “прелестным Лоренцо (...) оказался П.П. Гайдебуров. Эта простая и красивая трактовка, эта непринужденность, эта красивая и вдумчивая передача душевной драмы герцога ди-Спадаро (...)” (И.П. Четвертая гастроль передвижников // Сибирская жизнь. 1910. 10 апр. (№ 80). С. 3).

Подробное описание спектакля Передвижного театра дала О. Ковальская. Заметив, что Москва не захотела увидеть серьезность исканий театра, а исполнитель роли Лоренцо – П.П. Гайдебуров не встретил “ни одного отклика, ни одного слова сочувствия”, автор статьи поделилась своими впечатлениями: «(...) постановка “Черных Масок” была хороша, действительно хороша: не театральное “представление”, не возбуждающее зрелище, а нечто гораздо большее: глубокое переживание в “духе”, любовное выявление самого “сокровенного” и потому ценного. Великолепное, слитное построение, почти музыкальное по своей законченности, музыкальное в ритме, в темпе внутреннего движения своего.

В “Черных Масках” есть Лоренцо и только он. Через него все: и душевные кошмары, и пламенная любовь, и самоубийство в убийстве, и дворец, объятый пламенем. Из него, от него вереница страшных образов, вечная игра, вечное сплетение мира действительности и мира грез. Не бал и не маски, и не Франческа, а только мятущаяся, страдающая душа бедного Лоренцо, мрачная, темная бездна души человеческой».

Считая особенной заслугой театра цельность и стройность спектакля, автор статьи обратила внимание на отсутствие в нем мелких деталей – оставлены “лишь основные контуры, основной мотив (...)” В сцене убийства – только эффект колеблющегося во мраке светильника, которым Лоренцо освещает старую книгу времен и ужасное лицо своего двойника (...)

В сцене у гроба – только гроб (декорация художника Петрова-Водкина) с мрачной пышностью золота на черных сукнах, с оплывающим светом похоронных свечей и трауром рыдающей Франчески”.

В итоге, по мнению О. Ковальской, Передвижному театру удалось “передать тайную силу творческого замысла”, а “произведение Л. Андреева получило недостающую ему прозрачность, договоренность” (*Ковальская О. “Черные маски”: К постановке Передвижного театра // Студия. М., 1911. 1 окт. (№ 1). С. 25–26.*

“Едва ли не самым загадочным произведением” Л. Андреева назвал “Черные маски” С. Струмилин, поставивший перед собой задачу “обнажить идейный остов красочной символики”: “С внешней стороны пьеса Андреева может показаться просто высокохудожественной картиной человеческого безумия в процессе его развития. Легко подобрать даже специальные медицинские термины для характеристики всех проявлений глубокой душевной болезни бедного Лоренцо. Но взгляните повнимательнее и в безумии Лоренцо вы откроете столько прозорливости и всеокрушающего аналитического ума, а в его галлюцинациях столько отвратительно-горькой, но все же реальнейшей правды, что у вас невольно встанет вопрос: да уж не символической ли маской в общем маскараде символов Андреева следует признать и это роковое безумие герцога Спадары?”

Далее автор излагает свою версию двойственности “безумца” Лоренцо. С одной стороны, он – “поэт, композитор и мыслитель, он художник-творец”, он символизирует целую социальную группу, которой “можно бы присвоить имя аристократии духа”. С другой – “по плоти он продукт той же глубоко-низменной социальной среды, что и все друзья его. Эта среда – коллективный Хам нашего времени – мещанство”. Именно поэтому в душе Лоренцо непрерывно сталкиваются царственное и хамское, божеское и сатанинское начала. Сталкиваются, порождая “страшную психологическую трагедию, не лишнюю, однако, и глубокого социального смысла”.

Переходя к теме собственно “черных масок”, С. Струмилин предлагает следующую трактовку: «(...) если сияющий замок Лоренцо символизирует собой светлое царство культуры, а званые в нем гости – так называемое просвещенное общество, то незваные черные маски – это попросту “непросвещенная чернь”». И далее: «Очевидно, перед нами вырисовывается борьба “господ” просвещенных мещан с непросвещенной “чернью”, рвущейся к свету. Но крайне характерно, что аристократ духа Лоренцо, вызвавший эту борьбу своими огнями, стоит как бы совсем вне ее» (*Струмилин С. Символика “Черных масок” // Струмилин С. Аристократия духа и профаны: Два идеала. СПб., 1910. С. 191–193, 200, 202.*

Иная интерпретация черных масок в работе Софьи Витте: «В душе Лоренцо происходит хаотическая борьба правды с ложью. Познанные им порочные свойства его души не погасили в ней света самопознания, потому что неожиданно открывшиеся ему в нем самом пороки ведомы человеком в человеке, они не только носят названия, но и маски; но черные маски, символизирующие таинственные, злые силы, действующие в нашей душе, не имеют ни названия, ни лика. Это какие-то первородные

инстинкты, заложенные в природу человека, с самого начала его бытия. Эти неведомые инстинкты обессилены и подавлены в нас, так сказать, – загнаны на самое дно сокровенных тайников нашей души борьбою не только человека с самим собою, но – неустанной борьбой многих и многих поколений культурного человечества. Но эти неведомые, таинственные инстинкты не умерли в человеке, они только дремлют в нем. Разбуженные внезапным толчком, ослабившим волю человека, переставшим быть господином своего “я” – они поднимаются с темной бездны его души и с грозною, стихийною силою овладевают им, опустошая его душу, поглощая в ней весь свет и наполняя ее мраком.

Непосредственность Лоренцо и губит и спасает его. И правда, и ложь обезумили его, но он побеждает свое безумие не ложью, а правдой» (*Bumme* С. Леонид Андреев: Критический очерк. Одесса, 1910. С. 24–25).

До конца жизни Л. Андреев называл “Черные маски” любимым своим созданием. В письме 1916 г. профессору А.М. Евлахову он писал: «И особенно порадовало меня отношение ваше к “Черным маскам”, имя которых в общей критике стало нарицательным для обозначения моей запутанной символики. Для меня лично “Черные маски” – самое значительное из моих произведений, самое близкое и душевно дорогое (при очень многих формальных недостатках исполнения). Но когда я говорю это, добрые люди смеются, – вы же, столь далекий от меня, чутко поняли это; больше того: поняв правильно Лоренцо, вы смело и с тем же глубоким пониманием перекинули мост от него к далекому, казалось бы, и непохожему Тоту. Конечно, они родственны: по духу своему, устремленному горе и связанному землей, по миру фантомов, в котором живут, по источнику страданий, из которого пьют оба. Лоренцо выше, невиннее и чище, нежели отяжелевший и приземлившийся Тот; Лоренцо парит там, где Тот ползет по земле, – но пути их параллельны и цель одна» ([Б. н.] Письмо Леонида Андреева // Приазовский край. Ростов н/Д., 1916. 1 мая. (№ 114). С. 5).

Когда же позднее писателю была подсказана идея отождествления сюжета драмы и хода революционных событий (об этом см.: *S.O.S.* С. 454–455), он развил эту мысль сначала в дневнике, а через год в письме Н.К. Рериху.

«И до конца остается необъяснимым и необъясненным то, – записал Л. Андреев 20 августа 1918 г., – чего и никто объяснить не мог: как столь великолепно начавшаяся революция превратилась в голый поток грязи, крови и безумия? Или в этом сказывается самое *существо* человека, животного, в массе своего злого и ограниченного, склонного к безумию, легко заражаемого всеми болезнями и всякую, самую широкую дорогу кончающего неизбежным тупиком? (...) Да – все сказка о моем великодушном, доверчивом и благородном Лоренцо, который назвал гостей в свой светлый замок. Пожалуй, ни одна вещь так точно не дает существа революции, как “Черные Маски”: всех зовет Революция на свой светлый пир – и гибнет и гаснет в объятиях неведомых “масок”, этих холодных

сгустков человеческой тьмы, не имеющих имени, не знающих ни Бога, ни Сатаны. “Лоренцо – вассал Сатаны!”... Какая страшная участь для того, кто никогда не имел в сердце змея!» (S.O.S. С. 132–133).

За несколько дней до смерти, обращаясь к близкому по мироощущению человеку, писатель еще раз мысленно вернулся к своей пьесе: «О “Черных Масках”. Только в дни революции я понял, что это не только трагедия личности, а и трагедия целой революции, ее подлинный печальный лик. Вот она, Революция, зажегшая огни среди мрака и ждущая званых на свой пир. Вот она, окруженная зваными... или незваными? Кто эти маски? Черновы? Ленины? Но они еще знают Сатану. А вот и они, частицы великой человеческой мглы, от которых гаснут светильники. Ползут отовсюду, свет им не светит, огонь их не согревает и даже Сатаны они не знают. Черные маски. И гибель благородного Лоренцо. Да! Можно, пользуясь цитатами, провести полную аналогию. И как это случилось, что трагедия личности, какою была задумана эта пьеса, стала трагедией истории, революции?» (Л. Андреев – Н.К. Рериху. [3]–4 сентября [1919] // S.O.S. С. 323–324).

При жизни автора пьеса была переведена на немецкий (1908 (отрывок)), украинский (1912), английский (1915, 1918) языки.

Отдельные данные о восприятии “Черных масок” в США узнаем из доклада С.Ю. Сигиды на конференции, посвященной наследию Эдгара По (С.-Петербург, сентябрь 2009 г.), «Карнавальные образы Э.А. По в театральной пьесе “Черные маски” Л. Андреева и музыкальной сюите одноименного названия Роджера Сешенса». В докладе, в частности, говорится: «Пьеса Л.Андреева “Черные маски” (1908) была популярна в США как образец “ультрамодернизма” (...) К пьесе Андреева в 1920-е годы обратился Роджер Сешенс (1896–1985), известный американский композитор. Из ранних опусов Сешенса выделяется музыка к театральной постановке “Черные маски” (1923) (...) Пьеса Андреева с музыкой Сешенса была исполнена студенческим женским театральным коллективом Смит-колледжа, по заказу которого она и была написана. В 1928 году композитор создал на основе музыки к пьесе оркестровую сюиту, получившую известность и в США и в Европе (...) Первая часть сюиты является аккомпанементом к сцене бала. В музыке звучит дикий танец, сопровождаемый возгласами, криками и громким смехом (...) Вторая часть сюиты в драме сопровождает фантастическую сцену встречи Лоренцо с его двойником. Появляются маски, летающие по всему замку (...) Третья часть – Погребальная песня, иллюстрирует разговор двойника Лоренцо с мертвым Лоренцо. В ней мрачно звучит орган и голос священника. Финал построен как самостоятельная сюита и состоит из нескольких контрастных эпизодов. Увидев огонь, гости Лоренцо в ужасе кричат; их страх и смятение выражены хроматическими пассажами кларнета, флейт и скрипок. Черные маски пытаются вылететь через окно, но огонь быстро поглощает их. Премьера сюиты Сешенса к драме Андреева имела огромный успех. Многие критики сравнивали восторженное восприятие публикой “Черных масок” с тем, как слуша-

тели принимали “Пеллеаса и Мелизанду” Дебюсси, “Псалмы” Блоха и “Песни Мерике” Гуго Вольфа» (Наследие Эдгара Аллана По и ХХI век: Каталог выставки. СПб., 2009. С. 82–83).

С. 254. ... не хватает ни кипрского, ни фалернского. – Кипрское – кипрское вино. Кипр издавна известен своими виноградниками и виноделием. Фалернское – вино золотистого цвета, изготовлялось в Фалернской области. С древности славилось как один из лучших сортов вина; о фалернском писали поэты античности (известен пушкинский перевод из Катулла “Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик”).

С. 255. ...на освобождение Гроба Господня... – Кристофоро говорит об участии в одном из крестовых походов на Ближний Восток. Главными лозунгами крестовых походов были освобождение Гроба Господня и Святой земли от власти мусульман.

С. 257. ...арлекины, пьеро, сарацины... – Арлекин (*ит.* Arlecchino) – традиционный персонаж итальянской комедии дель арте. Появился во второй половине XVI в. и играл роль простака, увальня. В конце XVIII – начале XIX в. Арлекин, уже вне комедии дель арте, стал изящным любовником, счастливым соперником Пьеро. Пьеро (*фр.* Pierrot) – персонаж французского народного театра. Возник в начале XVII в. Позднее в Пьеро стали преобладать черты печального любовника – неудачливого соперника Арлекина. Сарацины – у античных историков – кочующее разбойничье племя, жившее вдоль границ Сирии; в языке средневекового рыцарства и крестоносцев – мусульмане.

С. 259. ... ударяя в кастаньеты... – Кастаньеты (от *лат.* castanea – “каштан”) – небольшой ударный музыкальный инструмент, распространенный преимущественно в Испании и Южной Италии.

С. 263. Крестоносцы! – Участники войн (XI–XIII вв.) за освобождение христианских святынь в Палестине. В знак приверженности к учению Христа на плащи, под которыми обычно были латы, они нашивали кресты.

С. 264. ...над разлившимся Арно... – Арно – вторая (после Тибра) по значению река Италии.

С. 271. ...вернувшись из Палестины... – Палестина, где, по Библии, совершились главные события Священного Писания, в XI–XIII вв. стала ареной ожесточенной борьбы мусульман с крестоносцами.

С. 280. Уголок капеллы... – Капелла – в католическом церковном зодчестве молитвенное сооружение небольшого размера, предназначенное для общественной церковной службы, для молитвы отдельной семьи, чествования какой-либо святыни. Капелла представляет собой или отдельное здание, или входит в состав другого.

...идет непрерывная месса. – Месса (*лат.* missa) – католическая служба. Существует несколько видов мессы. В драме речь идет о заупокойной траурной службе по умершим – реквиеме.

С. 284. ...под жестоким дыханием сирокко... – Сирокко (*ит. sci-gosso*) – итальянское название теплого сильного южного или юго-восточного ветра.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

ЦАРЬ-СОН

(С. 297)

Черновой автограф хранится в РАЛ MS.606/B.35*.
Публикуется впервые.

Впервые замысел сказки зафиксирован в одной из рабочих тетрадей писателя, в перечне “Задуманные рассказы”: “30. Детские сказки. {...} 3. Сон” (*МиИ2012*. С. 135). Верхний слой этой записи можно датировать августом 1907 г. Согласно этой записи, а также бумаге и почерку, набросок “Царь-Сон” датируется концом 1907 – началом 1908 г.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩИЕ¹

Б.д. – без даты

Б.п. – без подписи

незач. вар. – незачеркнутый вариант

незаверш. правка – незавершенная правка

неуст. – неустановленное

ОТ – основной текст

Сост. – составитель

стк. – строка

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел (С.-Петербург).

ООГЛМТ – Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Отдел рукописей.

ОР РГБ – отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

РАЛ – Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive). Лидсский университет (Великобритания).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

Hoover – Стэнфордский университет. Гуверовский институт (Стэнфорд, Калифорния, США). Коллекция Б.И. Николаевского (№ 88).

ИСТОЧНИКИ

Арабажин 1910 – Арабажин К.И. Леонид Андреев: Итоги творчества. СПб., 1910.

Бакай – Из воспоминаний М.Я. Бакая: Провокация и провокаторы // Былое. 1908. № 8.

Бвед – газета “Биржевые ведомости” (С.-Петербург).

БиблиА2а – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 2а: Аннотированный каталог собрания рецензий Славянской библиотеки Хельсинкского университета / Сост. М.В. Козьменко. М., 2002.

¹ В перечень общих сокращений не входят стандартные сокращения, используемые в библиографических описаниях и т.п.

Блок ПСС – Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997– .
ВЕ – журнал “Вестник Европы” (С.-Петербург).

Вопросы театра – Письма Л.Н. Андреева к Вл.И. Немировичу-Данченко и К.С. Станиславскому / Публ. и коммент. Н. Балатовой // Вопросы театра: 1966: Сб. статей и материалов. М., 1966. С. 275–301.

Герасимов – Герасимов А.В. На лезвие с террористами. М., 1991.

Горький. Письма – Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997–.

Горький ПСС-ХП. – Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1968–1976.

Зильберштейн – Зильберштейн Я. В.В. Лебединцев // Каторга и ссылка. М., 1928. Кн. 2(39).

Иванишин – Записные книжки полковника Г.А. Иванишина / Публ. А.Д. Марголиса, Н.К. Герасимовой, А.С. Тихоновой // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1994. Т. 17. С. 497–502.

Измайлов 1911 – Измайлов А. Литературный Олимп. М., 1911. С. 235–293.

Книга о Л.А. – Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина, Андрея Белого. 2-е изд., доп. Б.; Пг.; М., 1922.

ЛН72 – Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М., 1965. (Литературное наследство; Т. 72).

Луначарский 1908 – Луначарский А.В. Тьма // Литературный распад. СПб., 1908. Кн. 1.

Львов-Розгачевский 1914 – Львов-Розгачевский В.Л. Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб.: Прометей, 1914.

МВед – газета “Московские ведомости”.

МиИ2000 – Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2000.

МиИ2012 – Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2012.

Вып. 2.

НВ – газета “Новое время” (С.-Петербург).

ОбозрТ – газета “Обозрение театров” (С.-Петербург).

Обр – журнал “Образование” (С.-Петербург).

Пр – Андреев Л.Н. Собр. соч.: [В 13 т.]. СПб.: Просвещение, 1911–1913.

ПССМ – Андреев Л.Н. Полн. собр. соч.: [В 8 т.]. СПб.: Изд-е т-ва А.Ф. Маркс, 1913.

РВед – газета “Русские ведомости” (Москва).

Рейснер 1909 – Рейснер М. Л. Андреев и его социальная идеология: Опыт социологической критики. СПб., 1909.

Реквием – Реквием: Сб. памяти Леонида Андреева / Под ред. Д.Л. Андреева и В.Е. Беклемишевой; с предисл. В.И. Невского. М.: Федерация, 1930.

РМ – журнал “Русская мысль” (Москва).

РС – газета “Русское слово” (Москва).

Семенова – Семенова М. В.В. Лебединцев // Былое. 1909. № 11–12.
Стиридович – Стиридович А. Партия С. -р. и ее предшественники.
Пг., 1918.

ССХЛ – Андреев Л.Н. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худ. лит., 1990–1996.

ТиИ – журнал “Театр и искусство” (С.-Петербург).

УЗТГУ119 – Неизданные письма Леонида Андреева: К творческой истории пьес периода первой русской революции / Вступ. ст., публ. и коммент. В.И. Беззубова // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 119 (1962). С. 378–393.

Фигнер – Фигнер В. Запечатленный труд // Полн. собр. соч. М., 1932.
Т. 3.

Ш – Андреев Л. Собр. соч. СПб.: Шиповник, 1909. Т. 5–7.

S.O.S. – Андреев Л. S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. и со вступ. ст. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб., 1994.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

- А.В. см. *Тыркова А.В.*
А.И. см. *Измайлов А.А.*
А.М.А. см. *Андреева А.М.*
А. Тим-ъ см. *Тимофеев А.А.*
Абрамович Н.Я. (Кадмин Н.) 703, 704
Аврелий см. *Брюсов В.Я.*
Агафонов В.К. 592
Адоньева С.Б. 576
Азеф Е.Ф. 592, 610, 612, 635, 638, 639, 650
Айхенвальд Ю.И. (Ю.А.) 572, 573, 623, 624, 679, 698, 699
Акимов М.Г. 592
Александра Михайловна см. *Андреева А.М.*
Александров В.А. 584, 589
Александрович Ю. [Потеряхин А.Н.] 672, 699, 700
Александровский Г.В. 659
Александровский И. 623
Алексеевский А.П. 722
Алексей Кириллов см. *Гиппиус З.Н.*
Амфитеатров А.В. 636, 660
Ангарский см. *Клестов Н.С.*
Андреев А.Н. 658, 720, 721
Андреев В.Л. 545 (Вадим Леонидович)
Андреев Д.Л. 555, 746
Андреев П.Н. 552 (Павел)
Андреева А.И. (Денисевич А.И., Карницкая М.И., Анна) 544, 588, 597, 598, 655, 656, 657
Андреева А.М. (Александра Михайловна, А.М.А., Шура) 17, 185, 465, 543, 544, 555, 654, 718, 720, 722 (Шурочка)
Андреева З.Н. 722 (Зина)
Андреева М.Ф. 611
Анна см. *Андреева А.И.*
Анненский И.Ф. 668, 733, 734
Антон Крайний см. *Гиппиус З.Н.*
Анучин В.И. 601
Арабажин К.И. (Solus) 580, 581, 632, 636, 663, 715, 716, 745
Ардов Т. [Тардов В.Г.] 577
Арнольдов И.М. 716
Архангельский Н.М. 558, 559
Арцыбашев М.П. 567, 574, 598, 601
Ачкасов А. 565
Ашешов Н.П. (Аш.) 729
Багдасарян И.С. 550
Баженов Н.Н. 560
Базилевский И. 722
Байрон Дж.-Г. 583
Бакай М.Я. 592, 638, 650, 745
Бакст Л.А. 557, 561
Балатова Н.Р. 745
Балмашев С.В. 591
Баранов С.Г. 592, 593, 610, 644
Барсег 567

¹ В Указателе использовано три вида скобок: в угловых дается псевдоним рядом с наст. именем; в квадратных – реальная фамилия человека; в круглых – равнозначное реальное имя/фамилия.

- Басаргин А. [Введенский А.И.] 634
 Басинский П.В. 646
 Бах А.Н. 718
 Бах И.-С. 689
 Башкин В.В. 598
 Бедный Д. [Придворов Е.А.] 601
 Беззубов В.И. 599, 676, 717, 747
 Беклемишева В.Е. 685, 686, 721, 726, 746
 Белый А. [Бугаев Б.Н.] 745
 Беньер К. 718
 Беренштам В.В. 601
 Бернштейн Г. 584, 588, 589, 599, 600, 602
 Бескин Э.М. ⟨Э.Б.⟩ 717, 736, 739
 Бетховен Л. 727
 Бибергаль Е.А. 604
 Благоев Ф.Ф. ⟨Фрицхен⟩ 574
 Блок А.А. 546, 548, 574, 684, 704, 722, 746
 Блох Э. 743
 Бобрищев-Пушкин А.В. *см. Громобой*
 Богданов А. *см. Малиновский А.А.*
 Богданович Н.М. 638
 Боголюбов И.И. 712
 Богучарский В.Я. (Яковлев-Богучарский В.Я.) 593, 603, 614, 617
 Бодлер Ш. 582
 Бодуэн де Куртенэ И.А. 643
 Боева Г.Н. 549, 550, 579, 749
 Бойчук А.Г. 749
 Боривой [Якушев Д.П.] 565, 626, 629, 664, 667, 669, 729
 Боцяновский В.Ф. 665, 666, 668–670
 Бравич К.В. 723, 725, 726, 728, 729
 Брет Гарт [Гарт Ф.-Б.] 734
 Брокгауз Ф.А. 641
 Бруно Дж. 631
 Брусянин В.В.⟨Вас. Б.⟩ 632, 674–676
 Брюсов В.Я. ⟨Аврелий⟩ 557, 561, 567, 569, 571, 695
 Будкевич Л.В. 567
 Булычев К. [Можейко И.В.] 553
 Бунин И.А. 583, 678
 Буренин В.П. (граф Алексис Жасминов) 696, 697, 714
 Быстрицкий В. 601
 Быстров В.Н. 749
 Бэн [Назаревский Б.В.] 594, 623, 738
 В.А. 702
 В. М. *см. Голиков В.М.*
 Вадим Леонидович *см. Андреев В.Л.*
 Валентинов Н. *см. Вольский Н.В.*
 Вас. Б. *см. Брусянин В.В.*
 Васенов М. 626, 627, 706, 707
 Василевский И.М. ⟨Не-буква⟩ 675
 Василий Иванович *см. Качалов В.И.*
 Васильева Л.М. 591, 609
 Вахтангов Е.Б. 717
 Введенская В.М. 550
 Введенский А.И. *см. Басаргин А.*
 Вебер А. 612
 Велигорская А.М. *см. Андреева А.М.*
 Великорус 634
 Веножинский В.И. 609
 Вергежский А. *см. Тыркова А.В.*
 Вергилий 689
 Вересаев В.В. 543, 544, 589, 683
 Вернер А.К. 608
 Верхарн Э. 557, 569, 691, 693
 Вилли 574
 Вильчинский В.П. 591
 Витте С.Ю. 740, 741
 Владимиров В. 601
 Волошин М.А. 668
 Волковский К. 731, 732
 Волькенштейн Л.А. 643, 645
 Вольнов И.Е. ⟨Вольный⟩ 622, 627, 628, 629
 Вольный *см. Вольнов И.Е.*
 Вольский Н.В. ⟨Валентинов Н.⟩ 691, 692
 Вольтер Ф. 566, 677, 678
 Вольф М.О. 659

- Воровский В.В. (Орловский П.) 572, 591, 593, 595, 596, 599, 670–671
606, 609, 611, 621, 636, 637,
653, 654, 659, 660, 677, 683,
684, 695, 696, 718, 720, 721,
746
- Врубель М.А. 562
- Габрилович Л.Е. (Галич Л.) 728,
733
- Гайдебуров П.П. 734, 739
- Гамсун К. 560, 573, 574, 723
- Ганжулевич Е. [Проскурни-
на Т.Я.] 571, 572, 632, 633
- Ганнибал (Hannibal) 707
- Гарольд 575
- Гарт Ф.-Б. *см. Брет Гарт*
- Гаршин В.М. 561, 593, 668, 676
- Гауптман Г. 687, 694, 699, 706,
715
- Геллер Л. 678
- Гельдероде М. де 718
- Генералова Н.П. 668, 677, 749
- Герасимов А.В. 591, 592, 604, 605,
608, 610, 640, 650, 652, 653, 746
- Герасимова И.К. 746
- Германов В. 670, 673, 674
- Гернет М.Н. 601
- Герцо-Виноградский П.Т. *см. Ло-
энгрин*
- Гершензон М.О. (М.Г.) 572
- Гершуни Г.А. 638
- Гёте И.-В. 660, 661, 697, 703
- Гиппиус З.Н. (Антон Крайний,
Алексей Кириллов, Лев Пу-
штин) 547, 556, 570, 571, 630,
631, 653, 662, 695, 697, 698
- Глазунов А.К. 606
- Гоголь Н.В. 560, 668, 680, 718
- Гойя Ф. 685, 686, 688, 708
- Голиков В.М. (Wega) 714, 717
- Головин Н.Г. 644
- Голоушев С.С. (Сергей Глаголь)
545, 677, 720
- Гольдовский О.Б. 601
- Гомер 689
- Гончарова Е.И. 630
- Горнфельд А.Г. 580, 663, 667, 669,
674
- Городецкий С.М. 574
- Горький М. [Пешков А.М.] 543,
546, 548, 555–557, 563, 566,
- Гриневицкий И.И. 684
- Гриневичский И.И. 611
- Громобой [Бобрищев-Пуш-
кин А.В.] 635
- Гудима Н.И. 591, 610
- Гуревич Л.Я. 728–730
- Гусев-Оренбургский С.И. 693
- Гюго В. 582, 594, 598, 601, 638,
641, 652, 660
- Д'Ор О.Л. [Оршер И.Л.] 575,
714
- Даль В.И. 642
- Даниил, библия. 583
- Данилин А. 580
- Данте Алигьери 689
- Дарвин Ч. 659
- Дебош П. 717, 718
- Дебюсси К. 743
- Делич В. 629
- Денисевич А.И. *см. Андреева А.И.*
- Державин Н.Л. 711
- Дерман А.Б. (La vo) 622, 662, 666,
669, 670, 713
- Джонсон И. [Иванов И.В.] 563,
564, 577, 578, 629, 707, 708
- Диесперов А.Ф. 663, 664
- Дмитриев М.М. 561
- Добужинский М.В. 557, 561,
569
- Домолки Я. (János Dömölki) 637
- Достоевский Ф.М. 560, 564, 600,
634, 638, 642, 644, 652, 661,
668–670, 677, 712
- Драчевский Д.В. 591
- Дробыш-Дробышевский А.А.
(Уманьский А., Ум-ский А.)
708
- Дубасов Ф.В. 591
- Дубнова Е.Я. 724
- Дункан А. 575

Дьяконов А.А. (Ставрогин) 723
Дэвис Р. (Davies R.) 550, 747, 749

Евг. Л. *см. Ляцкий Е.А.*
Евлахов А.М. 741
Евреинов Н.Н. 724, 725
Ермилов В.Е. 685
Ефрон И.А. 641

Жаков К.Ф. 632–634
Желябов А.И. 611
Жилкин И.В. 700, 701

Заволокин П.Я. 613, 641
Зайцев Б.К. 545, 678, 746
Закушняк А.Я. 729
Замятин Е.И. 678, 746
Записной И. 564
Заратустра (Заратуштра) 632,
650–652

Заславский Д.И. (Homunculus) 567
Земмель А.М. 618

Зеон [Олькин З.Л.] 727, 730

Зигфрид *см. Старк Э.А.*

Зильберштейн Я. 605, 606, 608,
618, 619, 621, 639, 645, 646,
649–651, 746

Зонов А.П. 725

И.П. 739

Ис-ев С. 659

И-тов И. *см. Игнатов И.Н.*

Иаков, библи. 616, 653

Ибсен Г. 697, 699, 705

Иванишин Г.А. 593, 609, 639, 652,
746

Иванов Вяч.И. 703

Иванов И.В. *см. Джонсон И.*

Иванов-Разумник [Иванов Р.В.]
664, 665

Ивановская-Волошенко П.С. 609

Игнатов И.Н. (И-тов И.) 566, 577,
578, 703

Игнатъев Н. 735

Идельсон М.В. 607

Иезуитова Л.А. 579, 590, 635, 676,
677

Иеремия, библи. 583

Иерусалимский А.М. (Южанин А.) 558

Изгнанник [Антонов И.Н.] 599

Изгоев А. [Ланде А.С.] 622, 628,
629

Измайлов А.А. (А.И., Неблаго-
склонный читатель, Смолен-
ский Н.) 556, 560, 561, 576,
580, 594–597, 621, 637, 657,
658, 665, 668, 676, 685, 686,
696, 697, 726, 729, 730, 746

Иисус Христос 141, 149, 150, 547,
553, 590, 646, 658, 669, 676,
680, 688, 743

Ильев С.П. 591, 593

Ильин М.А. *см. Осоргин М.А.*

Инбер Н.И. 661, 662

Иов, библи. 583

Ирод Антипа 725

Иродиада, библи. 725

Исайя, библи. 583, 679

Исаков С.Г. 717

Кадмин Н. *см. Абрамович Н.Я.*

Казанская *см. Лебедева Е.Н.*

Каин, библи. 558, 583

Калмаков Н.К. 724, 725, 727, 728

Каляев И.П. 591, 638, 646

Каменецкий В. 568, 569

Каменский А.П. 574

Каменский В.В. 611

Камышников Л.М. 566

Кар А. 656

Каратыгин В.Г. 725, 727–729

Карбаускис И. 637

Карницкая М.И. *см. Андре-
ева А.И.*

Катулл Гай Валерий 743

Каширин В.В. 611

[Качалов В.И.] 723 (Василий Ива-
нович)

Келдыш В.А. 550, 749

Кен Л.Н. 550, 545, 657, 720, 749

Кеплер И. 126, 679

Кин 659, 716

Кися *см. Лебедева Е.Н.*

Клейнборг Л.Н. 589

- Клейнершейхет И.С. *см. Соломин Ил.*
- Клестов Н.С. (Ангарский) 598
- Климова Н.С. 651
- Ковальская О. 739, 740
- Кодак 626, 715
- Козловский Л.С. 685
- Козьменко А. 553
- Козьменко М.В. 549, 550, 555, 556, 745, 749
- Колеров М.А. 646
- Колосов Н.А. 712
- Коммиссаржевская В.Ф. 549, 683, 685, 723, 724–730, 733, 734
- Коммиссаржевский Ф.Ф. 549, 724, 725 (Федор Федорович), 727, 730
- Коноплянникова З.В. 652
- Константин Николаевич *см. Незлобин К.Н.*
- Константинов П. 592, 593, 610, 611
- Конфуций 646
- Копельман С.Ю. 685
- Корней Иванович *см. Чуковский К.И.*
- Короленко В.Г. 590, 591, 601, 602, 634, 678
- Королицкий М.С. (М. К.) 562, 563, 704, 705
- Косоротов А.И. (Шмель) 728, 729
- Кранихфельд В.П. 621, 626–628, 632, 646
- Кржижановский Г.М. 647
- Кугель А.Р. (Негорев Ник., Некто, Ното повус) 729, 730, 738
- Кузмин М.А. 574
- Куприн А.И. 548, 564–567, 574, 699
- Л.И.Н. 562
- Лавров, актер 735
- Ладыжников И.П. (Ladyschnikow) 553, 557, 600, 681, 719
- Ланде А.С. *см. Изгоев А.*
- Лансере Е.Е. 681, 699, 702
- Лбов, атаман 643
- Лебедев Б.К. 579
- Лебедева Е.Н. (Казанская) 592, 593, 604, 609, 610, 639, 640
- Лебединцев В.В. (Марио Кальвино) 593, 604–611, 618–620, 639, 640, 645, 648, 649, 650, 746, 747
- Лев Пущин *см. Гиппиус З.Н.*
- Левин Д. 702, 703
- Леклер Г. 718
- Ленин [Ульянов В.И.] 690, 742
- Лилина М.П. 735, 738
- Лихачев В.И. 735, 738
- Лознгрин [Герцо-Виноградский П.Т.] 627, 727, 730, 732
- Луначарский А.В. 569, 570, 609, 676, 677, 684, 694, 695, 696, 746
- Львов Н.И. 717
- Львов-Рогачевский В.Л. (Львов В.) 546, 582, 628, 632, 633, 660, 667, 692, 693, 730, 746
- Люсин М. 661
- Ляцкий Е.А. 547
- М.Г. *см. Гершензон М.О.*
- М. К. *см. Королицкий М.С.*
- М.П. 632
- Мазурин В.В. 642
- Маккей Дж.-Г. 582
- Маковицкий Д.П. 582
- Максимов В.В. 735
- Максимовский А.М. 638
- Малиновская Е.К. 660
- Малиновский А.А. (Богданов А., Вернер Н., Рядовой, Галерка) 608, 677
- Мандельштам М.Я. 598
- Марголис А.Д. 746
- Марджанов К.А. [Марджанишвили К.А.] 735–737
- Марио Кальвино *см. Лебединцев В.В.*
- Марк Аврелий 646
- Маркер А.М. 674, 675
- Маркс А.Ф. 543, 552, 746
- Маркс К. 691, 718
- Маров В. 660
- Матфей (Мф), еванг. 547, 553

- Мах Э. 677
 Мгебров А.А. 727, 728
 Мейгас 612
 Мейерхольд В.Э. 717, 733
 Мережковские 630, 646
 Мережковский Д.С. 547, 624, 625, 630, 631, 646, 647, 652, 653, 695, 696, 698, 712
 Метерлинк М. 686, 687, 708, 718
 Микеланджело Буонаротти 679
 Миклашевский М.П. *см. Неведомский М.П.*
 Мин Г.А. 591, 652
 Мирбо О. 601
 Мирский С.В. 565, 628, 713
 Михайлов-Шеллер *см. Шеллер-Михайлов А.К.*
 Михайлова М.В. 581, 749
 Михайловский Н.К. 629, 677
 Могилянский М.М. 646
 Моисей, библ. 646, 679
 Мопассан Г. де 731
 Морозов К.Н. 646
 Морозов М.В. 564, 565, 667, 672, 673, 731, 732
 Морозов Н.А. 597, 609, 651
 Муйжель В.В. 567, 598
 Муравьев Н.В. 606
 Муратов А.Б. 576
 Муратова К.Д. 556, 591
 Мурилин 613
 Мюллер И.-П. 647

 Н.К. 555, 566
 Н.Л. 711
 Н.Ш. 705
 Н.Э. *см. Эфрос Н.Е.*
 Надсон С.Я. 689
 Назаревский Б.В. *см. Бэн*
 Найденов С.А. [Алексеев С.А.] 563
 Наполеон Бонапарт 677
 Наровский А. 739
 Наумов В.А. 604
 Наумова А.И. 645
 Неблагодарный читатель *см. Измайлов А.А.*
 Не-буква *см. Василевский И.М.*
 Неведомский М.П. [Миклашевский М.П.] 547, 590, 631, 632, 633, 671, 672, 687, 731
 Невский В.И. 746
 Негорев Ник. *см. Кугель А.Р.*
 Незлобин К.Н. (Константин Николаевич) 734, 735, 736–738
 Некто *см. Кугель А.Р.*
 Некрасов Н.А. 718
 Неледина, актриса 735
 Немирович-Данченко Вас. И. 601
 Немирович-Данченко Вл. И. 548, 549, 682, 723, 746
 Нереп Б. 717
 Неронов В.И. 735, 738
 Ниеминен Я. (Jarmo Nieminen) 637
 Никитенко Б.Н. 604
 Николаев, студент 593
 Николаевский Б.И. 745
 Николай Николаевич *см. Романов Н.Н.*
 Николай II, имп. 604
 Ницше Ф. 556, 582, 632, 650, 651, 652, 661
 Новорусский М.В. 643, 644
 Ноев С. 568
 Носков Ник. [Васильев Н.В.] 664, 666
 Ньютон И. 112, 126, 678, 679

 о. Тихвинский *см. Тихвинский Ф.В.*
 Олигер Н.Ф. 601
 Оль А.А. 545, 685
 Олькин З.Л. {Зеон} 727, 730
 Омега [Трозинер Ф.В.] 728
 Орлицкий Ю.Б. 578, 579
 Орловский П. *см. Воровский В.В.*
 Оршер И.Л. *см. Д'Ор О.Л.*
 Осоргин М.А. [Ильин М.А.] 605, 606, 649
 Островский А.Н. 699

 Павел, апост. 570
 Павел *см. Андреев П.Н.*
 Паже Ж. 718
 Паскаль Б. 679

- Перовская С.Л. 611, 675
 Пессимист 621, 625
 Петр, апост. 553
 Петр I, имп. 639
 Петров В. 567
 Петров Г.С. 590
 Петров П. *см. Пильский П.М.*
 Петров-Водкин К.С. 739
 Пешкова Е.П. 660
 Пильский П.М. ⟨Петров П.⟩ 626, 630
 Платон 711
 Плеве В.К. 638
 Пли-кий 563
 По Э. (Po Edgar) 730, 734, 742, 743
 Полонский В.В. 573, 749
 Полонский Вяч. П. 662, 663, 670
 Полонский Г. 700
 Поляков С.Л. ⟨Эс. Пэ.⟩ 557
 Поссе В.А. 623, 635, 674, 675
 Потемкин А. 627
 Потеряхин А.Н. *см. Александрович Ю.*
 Потресов С.В. ⟨Яблоновский С.⟩ 661, 668, 736, 737
 Поярков Н.Е. 709
 Премиров М.Л. 628
 Пуаро-Дельпеш Б. 718
 Пушкин А.С. 643, 652, 743, 745
 Пыдере Ю. 717
 Пятницкий К.П. 552, 555, 557
- Р.К. 685
 Рабле Ф. 686
 Раев В. 622, 625, 626
 Распутина А. [Распутина-Шулятикова А.М.] 592, 593, 610
 Редигер А.Ф. 591
 Редько А. [Редько А.М. и Е.И.] 632, 721, 732
 Рейснер М.А. 581, 582, 632, 715, 746
 Ремизов А.М. 714
 Репин И.Е. 600, 721
 Рерих Н.К. 547, 557, 561, 741, 742
 Ришина Р. 600
- Рогачевский *см. Львов-Рогачевский В.Л.*
 Рогов Л.Э. 545, 657
 Романов Н.Н. (Николай Николаевич, вел. кн.) 592, 593
 Романов С.А. (Сергей Александрович, вел. кн.) 638
 Рославлев А.С. 557, 561
 Ростан Э. 697
 Руднев А.П. 552
 Рукавишников И.С. 561
 Руссо Ж.-Ж. 569
 Рысаков Н.И. 611
- С-ий Н. 667
 С-ич 566
 С.О. 659, 660, 666
 Савицкий А.А. 643
 Савонарола Дж. 690
 Сазонов (Созонов) Е.С. 591, 638
 Сахаров И.Н. 601
 Сахновский В.Г. 632, 633, 656
 Севастьянов И.Н. 597
 Семенова М. [Юделевская М.С.] 607, 619, 648, 649, 747
 Сепп П. 717
 Серафимович А.С. [Попов А.С.] 551, 601
 Сербов Н. 661, 665
 Сергеев П., свящ. 635
 Сергеев-Ценский С.Н. ⟨Ценский С.⟩ 684, 685
 Сергей Александрович, вел.кн. *см. Романов С.А.*
 Сергей Глаголь *см. Голоушев С.С.*
 Сешенс Р. 742
 Сигида С.Ю. 742
 Силард Л. 674, 676, 677
 Симбирский Н. 623
 Синегуб Л.С. 592, 593, 609, 640, 648
 Синегуб С.С. 592
 Смирнов А., крестьянин 592, 593, 610
 Смоленский Н. *см. Измайлов А.А.*
 Снайдер Э. (Anne Snyder) 637
 Соболев Ю.В. 625, 629, 632
 Соболевский А.И. 642

- Соколовский М.К. 625
 Сократ 646
 Соловьев В.С. 633
 Сологуб Ф. [Тетерников Ф.К.] 548, 567, 574, 714, 730
 Соломин Ил. [Клейнершейхет И.С.] 709, 710
 Софья Андреевна *см.* [Толстая С.А.]
 Спенсер Г. 677
 Сперанский В.Н. 632
 Спиридович А.И. 591, 592, 607, 639, 641, 642, 747
 Станиславский К.С. 546, 682, 683, 746
 Станкевич [Ким-Станкевич А.П.] 724
 Старк Э.А. (Зигфрид) 704
 Стародворский Н.П. 597
 Старый друг *см.* *Эфрос Н.Е.*
 Столыпин П.А. 592, 638, 651
 Стражев В.И. 685
 Струмилин С.Г. 740
 Стуре Л.А. 592, 593, 605, 609, 639, 640
 Стюкли У. 678
 Сумбатов-Южин А.И. (Сумбатов-Швили-Южин А.) 724
 Суходрев И.М. 738, 739
 Сыромятников С.Н. 634
 Сярев А. 717
- Табачков О.П. 637
 Тальников Д. [Шпитальников Д.Л.] 695
 Тан [Тан-Богораз В.Г.] 568
 Татищев С.С. 552
 Телешов Н.Д. 552, 746
 Тимофеев А.А. 690, 691
 Тихвинский Ф.В. 590
 Тихонова А.С. 746
 [Толстая С.А.] (Софья Андреевна) 582
 Толстой А.К. 652
 Толстой Л.Н. 46, 569, 570, 582, 584, 589, 598, 599, 601, 602, 622, 623, 625, 626, 628, 644, 652, 653, 660, 661, 670, 674–676, 699, 708, 709
 Трауберг А.Д. (Карл) 591, 592, 638
 Трахтенберг В.Ф. 642, 643
 Трезини Д. 645
 Трозинер Ф.В. *см.* *Омега*
 Троцкий Л. [Бронштейн Л.Д.] 633
 Трубецкой Ю.Ю. 639
 Тургенев И.С. 594, 600, 629, 673, 745
 Турков З. 637
 Тууранд А. 717
 Тыркова А.В. (Вергежский А., А.В.) 565, 701
 Тэн И. 677
 Тяпков С.Н. 576
- Уайльд О. 724
 Ум-ский А. *см.* *Дробыш-Дробышевский А.А.*
 Уманьский А. *см.* *Дробыш-Дробышевский А.А.*
 Уорд Л. 570
 Уточкин С.И. 656
 Ушерович С.С. 591, 592, 609
- Фалеев Н.И. 601
 Фальковский Ф.Н. 685
 Фатов Н.Н. 613, 641
 Федор Федорович *см.* *Коммиссаржевский Ф.Ф.*
 Ферри Э. 601
 Фигнер В.Н. 543, 591, 592, 600, 604, 609, 747
 Философов Д.В. 547, 556, 571, 624, 630, 631, 653, 697
 Фортунатов Д. 622
 Франк С.Л. 630, 632, 651
 Франс А. 601
 Фрицхен *см.* *Благов Ф.Ф.*
 Фриче В.М. 632, 636
- Хам, библиотечная 740
 Хантсов 717
 Хворостьянова Е.В. 576
 Хеллман Б. 747
 Хин Р. 601

Хлебников В.В. 578
Холли М. (Martin Hollý) 637

Ценский С. *см. Сергеев-Ценский С.Н.*
Цивьян Ю.Г. 637

Чагин А.И. 749
Чердынин П.И. 637
Черников А.П. 587, 591, 593, 611, 690
Черный С. [Гликберг А.М.] 573
Чехов А.П. 561, 625, 626, 629, 670, 672, 699
Чиж В.Ф. 560
Чинизелли Г. 689
Чирва Ю.Н. 718, 749
Чириков Е.Н. 735
Читатель 623
Чоколов И.И. 647
Чуваков В.Н. 659, 676, 677
Чуковский К.И. 545, 613, 622, 632, 656, 685, 688–690, 721, 746
Чулков Г.И. 624, 630, 660, 661, 730, 733, 746
Чулков М.Д. 643

Шалыгина О.В. 550, 749
Шанский Н.М. 649
Шебуев Н.Г. 573
Шекспир У. 560, 572, 660, 719
Шеллер-Михайлов А.К. (Михайлов А.) 689
Шепелев Л.Е. 644
Шиловская Э.Л. 729
Шишкина Л.И. 550, 591, 611, 631, 646, 749
Шмель *см. Косоротов А.И.*
Шопенгауэр А. 121, 419, 567, 647, 648, 678, 679
Шпитальников Д.Л. *см. Тальников Д.*
Шулятиков В.И. 591
Шулятиков В.М. 610
Шура (Шурочка) *см. Андреева А.М.*

Щеглов Ив. [Леонтьев И.Л.] 575
Щегловитов И.Г. 592, 593, 604, 605–607, 619, 638, 639, 644, 650
Щепкина-Куперник Т.Л. 545

Э.Б. *см. Бескин Э.М.*
Эккерт Г. 576, 577
Эм.-Ге. 684
Энгельс Ф. 672
Эс Пэ *см. Поляков С.Л.*
Эфрос Н.Е. (Н.Э., Старый друг) 726, 727, 738

Ю.А. *см. Айхенвальд Ю.И.*
Южанин А. *см. Иерусалимский А.М.*
Юлий II, папа римский 679
Юшкевич С.С. 563

Яблоновский С. *см. Потресов С.В.*
Яковлев-Богучарский В.Я. *см. Богучарский В.Я.*
Якушев Д.П. *см. Боривой*
Ялгубцев М.П. 659
Янгиров Р.М. 637
Янчевская В.Л. 592, 593, 610, 639, 640
Ярцев П.М. 737, 738

Davies R. *см. Дэвис Р.*
Dömölki J. *см. Домолки Я.*
Hannibal *см. Ганнибал*
Homo novus. *см. Кугель А.Р.*
Homunculus *см. Заславский Д.И.*
Hollý M. *см. Холли М.*
La-vo *см. Дерман А.Б.*
Ladyschnikow *см. Ладыжников И.П.*
Nieminen J. *см. Ниеминен Я.*
Snyder A. *см. Снайдер Э.*
Solus *см. Арабаджин К.И.*
Po Edgar *см. По Э.*
Pierrot P. 573, 574
Whist 563

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ В ТОМЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. АНДРЕЕВА

- Анатэма 544, 656, 666, 720
Бездна 567
Большой шлем 731
В тумане 567
Великан 565, 714
Город 582
Губернатор 624, 698
День первый 543
Дни нашей жизни 544, 548, 549,
656, 661, 671, 720
Елезар 656, 666, 695, 700, 720
Жизнь Василия Фивейского 577,
599, 701
Жизнь Человека 543, 545, 558,
596, 598, 608, 632, 656, 667,
682–684, 686, 690, 693, 702,
703, 705, 708, 710, 711, 714,
717, 719, 720, 729
Жили-были 667, 731
Защита 719
Иван Иванович 546, 549, 551, 552
Из письма 603
Иуда Искариот 656, 668, 695, 715,
720, 731
К звездам 631, 667, 715
Красный смех 552, 603, 623, 666,
700, 701, 731
Ложь 581, 731
Любовь к ближнему 720
Мои анекдоты: Листки из “Моих
записок” 678
Мои записки 407, 543, 544, 546,
547, 550, 581, 653–680, 720,
731, 733
Молчание 698
Москва. Мелочи жизни 578
Мысль 603, 658, 666, 667, 731
Океан 720
Призраки 731
Проклятие зверя 301, 543, 544,
546, 549, 553–583, 666, 693,
695
Рассказ о семи повешенных 316,
544–547, 550, 584–654, 656,
660, 666, 675, 698, 707, 713,
720
Рассказ о Сергее Петровиче 581
Савва 554, 624, 655, 656, 666, 669,
698, 720
Сашка Жегулев 590, 614, 643, 660,
720
Стена 667
Сын Человеческий 544, 547
Так было 624, 645
[Тот, кто получает пощечины] 741
(Тот)
Тьма 557, 560, 567, 570, 632, 656,
660, 661, 666–668, 676, 695,
702, 714, 720
Христиане 676, 719
Царь Голод 465, 544–546, 550,
565, 582, 598, 626, 627, 666,
681–719
Царь-Сон 297, 550, 744
Черные маски 538, 544, 546–550,
656, 667, 668, 671, 714, 719–
744
Шхеры 645

СОДЕРЖАНИЕ

	Основ- ной текст	Другие ред. и вар-ты	Ком- мен- тари
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ			
Иван Иванович	7		551
Проклятие зверя	17	301	553
Рассказ о семи повешенных	46	316	583
Мои записки	111	407	653
ПЬЕСЫ			
Царь Голод	185	465	681
Черные маски	252	538	719
НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ			
Царь-Сон	297		744
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ	299		
КОММЕНТАРИИ			
1908 год в творчестве Андреева	543		
Условные сокращения	745		
Указатель имен	748		
Указатель упоминаемых в томе произведений Л.Н. Андреева	757		

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*В.Н. Быстров, Н.П. Генералова,
Р.Д. Дэвис (зам. главного редактора),
В.А. Келдыш (главный редактор), Л.Н. Кен,
М.В. Козьменко (зам. главного редактора), В.В. Полонский,
А.И. Чагин, Ю.Н. Чирва*

Основные тексты и другие редакции
и варианты произведений подготовили,
комментарии составили:

*Г.Н. Боева, Р.Д. Дэвис, Л.Н. Кен, М.В. Козьменко,
О.В. Шальгина, Л.И. Шишкина*

Ответственный редактор тома

В.А. Келдыш

Рецензенты:

А.Г. Бойчук, М.В. Михайлова

*Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук*

**Леонид Николаевич
АНДРЕЕВ**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТРЕХ ТОМАХ

Том шестой

Редактор *М.Л. Береснева*

Художник *В.Ю Яковлев*

Художественный редактор *Ю.И. Духовская*

Технический редактор *З.Б. Павлюк*

Корректоры *З.Д. Алексеева, А.Б. Васильев,*

Г.В. Дубовицкая, Е.А. Желнова, Т.А. Печко,

Е.Л. Сысоева, Т.И. Шеповалова

Иллюстрации воспроизведены
в соответствии с представленными
архивными оригиналами

Подписано к печати 15 07 2013

Формат 60 × 90 ¹/₁₆ Гарнитура Таймс

Печать офсетная

Усл печ л 48,6. Усл кр.-отт. 48,6 Уч.-изд л 50,0

Тип. зак 3695.

Издательство “Наука”

117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail secret@naukaran.ru

www.naukaran.ru

Первая Академическая типография “Наука”

199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28

ISBN 978-5-02-038067-7



9 785020 380677

